

НОВИНКИ • СОВРЕМЕННОСТИ •

Георгий
Семенов

УМ
ЛИСИЦЫ



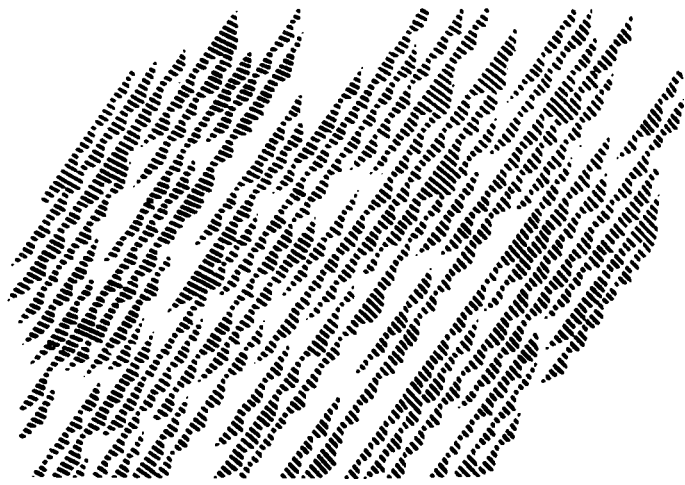
Семенов Г. В.

С30 Ум лисицы: Рассказы, повести.— М.: Современник, 1987.— 464 с.— (Новинки «Современника»).

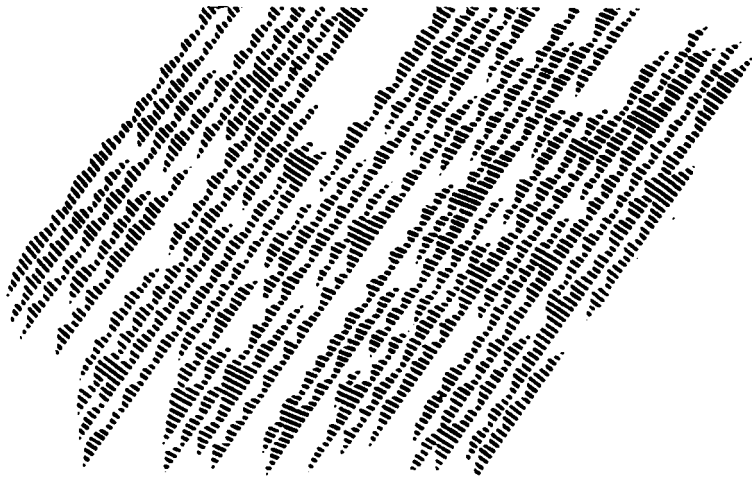
«Я убежден, что к читателю нужно выходить только с открытием, пусть даже самым малым»,— таково кредо лауреата Государственной премии РСФСР писателя Георгия Семенова. Повести и рассказы, вошедшие в эту книгу, являются тому подтверждением. Им присущи художественная выразительность, пластика стиля, глубина и изящество мысли. Прозу Г. Семенова окрашивает интонация легкой грусти, иронии, сочувствия своим героям — нашим современникам.

С $\frac{4702010200 - 142}{M106(03) - 87} 80 - 87$

ББК84Р7
Р2



РАССКАЗЫ





Отраженная в чистой воде

А. Беляускас

Голые яхты у пирса покачиваются на ветру, вычерчивая мачтами в сером небе черные дуги. Металлические фалы колотят по звонким стрелам мачт, издавая звуки, похожие на перестук подкованных копыт по булыжнику. Воздух свистит в вантах, гудит и воет. От порывов ветра громче и дробнее цокающий стук скачущих коней. Крутобокие яхты переваливаются с борта на борт, бесшумно скользя, как в масле, в мутной воде гавани. Коричнево-лаковые и белые, царапают они небо колючими мачтами. У каждой из них, причаленной к пирсу, свой ритм и свое поведение, будто это живые существа зябко волнуются под осенним ветром в ожидании хозяев и прочной зимней стоянки под заснеженными брезентами. Белая яхточка, по-утиному легкая и верткая, раскачивает маятник мачты с торпливостью ходиков. Прогонистое тело соседки, горделивой в своем ореховом великолепии, валко раздвигает осклизлыми бортами маслянистую воду, широко и неторопливо размахивая стройной мачтой, нацеленной в лохматую муть дождистых облаков.

Ледяные дожди, набегающие вместе с мраком с востока, видны издалека. Люди успевают приготовиться к ним, спрятаться под навес или подняться в душистое тепло стеклянного бара.

Небосвод распахнут. Воздушное пространство занимает тут весь мир: плоская поверхность воды освободила для глаза всю необъятность небес. Видны и голубые просветы в золотисто-белых облаках, вздыбленных к зениту, и серые, сизые, и почти черные, как угольный дым, наплывы низких текучих туч с метлами дождей, вылизывающих затуманенный горизонт.

Вдруг запылает солнце — и почернеет водный простор. Ярко обозначатся гребешки волн, метущихся ветром к бетонному пирсу, ухающему от ударов прозрачно сияющей воды. Все вокруг засверкает, засветится, загорится. Каждая лужица отразит голубое небо, в ветреном гуле которого звонко цокают торопливые подковы. Автомшины блеснут хромом и лаком. Яхты брызнут солнечными бликами. Деревья вспыхнут кронами осенних листьев.

Но так же неожиданно, вдруг натечет панически-торопливая рваная туча на солнце, погасит его, задушит все краски на земле, пронзит ледяным дождем и шквалистым ветром, обесцветит воду и надолго укутает землю в мокрые свои обтрепанные одежды, пропахшие рыбой.

Внизу, на первом этаже, зал ожидания и касса, а наверху — бар, куда ведет наружная лестница с бетонными ступенями. Грубое здание на пирсе — самая дальняя, выдвинутая в водную стихию точка городка, который, запахнувшись от ветра и дождя черепичными крышами, спрятавшись за старыми ивами, соснами и тополями, словно бы отпихнул от себя, лишил гражданства уродливое это сооружение. Местные жители приходят сюда только в те часы, когда из мутного пространства прилетает на подводных крыльях «Комета» с длинным пенным хвостом.

Рыбачий поселок с некоторых пор превратился чуть ли не в курортный городок, прославившись своими дюнами, соснами, лесной тишиной, купаньем и рыбной ловлей. Тот, кто знает городок, никогда не рассчитывает на хорошую погоду, особенно в осеннее время, бежит сюда из шумных столиц, на авось... Одежда в дорогу самая простая — штормовка, спортивные брюки, джинсы, кроссовки или кеды. Багаж еще проще: рюкзак, удочки, запасы лески и крючков. Деньги тоже по возможности или, во всяком случае, по

правилу: сколько ни возьми, пятьдесят рублей или в пять раз больше, все равно хватит. Но не останется!

В городке этом есть все. Магазины, кафе, бары, сувенирные киоски, столовые и даже пивная под соломенной крышей, в которой подают к пиву фирменную закуску — обжаренный в подсолнечном масле, соленый, хрустящий черный хлеб с тмином, горячий горох и рыбу фри. Бочковое пиво приятно на вкус и всегда охлаждено. Подносят его в тяжелых стеклянных кружках, в которых оно янтарно светится под шапкой густой пены. Столы, как полагается, примитивные, из струганого дерева и слегка обожженные до румянца, стулья с высокими резными спинками, за которыми можно спрятаться от соседей, создавая себе уют за столом, тем более если хочется заглянуть в глаза той, что сидит напротив. Потолки под старину, конечно, прокопченно-черные, оконца подслеповатые, а над столами — бронзовая арматура светильников.

Рыбачий городок богат, как если бы не рыба была доходной статьей, а золотые или алмазные прииски, как если бы люди, обогатившиеся на промысле, позволили себе роскошь жить, работать и отдыхать в комфортных условиях курортного заповедника, украшенного театрално-декоративной архитектурой, в которой смешались средневековый стиль с современными удобствами. Попавший сюда впервые недоверчиво смотрит на жилые постройки, ахая с завистью и охая, и чуть ли не шепотом разговаривает, боясь спугнуть архитектурное чудо, как будто городок этот — музей.

В некотором смысле это и на самом деле так. Городок расположен в пограничной зоне. Попастъ сюда можно только по приглашению местных жителей или по путевкам дома отдыха. Кстати, местные жители имеют постоянную клиентуру, и чтобы новому человеку снять в летний сезон комнату, нужны предварительные переговоры с хозяевами, а также ходатайство старых жильцов, по какой-либо причине отказавшихся от комнаты. Причем хозяевам хочется в этих случаях непременно удостовериться заранее, что новые их жильцы имеют, как говорили наши велеречивые предки, печать интеллигентности и внутреннего сознания собственного достоинства в выражении физиономии. Людей с улицы сюда не приглашают. Глаз у местных жителей зоркий. От того, какое впечатление произведет на них новый жилец, зависит и отношение к нему. Не мудрено поэтому, что в городке царит атмосфера чопорности, выражающейся в едва

заметном высокомерии и той полупрезрительной замкнутости и неразговорчивости, которыми отмечают местные жители гостей, не пришедшихся ко двору.

С течением времени эти отношения приобрели характер неписаного закона, и тут уместно будет вспомнить изречение мудреца, предупреждавшего, что если одно поколение что-нибудь просит, то другое уже требует как права. Тем более что у исконного жителя заповедного городка право это подкреплено особым режимом пограничной зоны.

Здесь даже дети на расстоянии чувствуют невоспитанную, расхристанную душу заезжего человека, на черствость которой они безошибочно, как летучие мыши, реагируют, словно перед ними глухая стена, грозящая столкновением и всяческими неприятностями. «Квазимодос!» — раздается вдруг насмешливо-иронический негромкий голосок среди девочек, провожающих взглядами, казалось бы, ничем не примечательного человека. Брезгливо дуются губки, глаза ждут поддержки у прохожих, призывают обратить внимание, возмутиться вместе с ними. Из груди вырывается язвительное хихиканье, и с недобрим, недетским захлебом в голосочке опять звучит негромкое «квазимодос!» — как будто самая главная задача девочек оттолкнуть от себя безобразную, не вписывающуюся в их собственное понятие о гармонии фигуру чужака.

Это, конечно, обидно слышать, но думать, что местные жители вообще недружелюбный и враждебно настроенный ко всему чужому народ, было бы слишком поверхностно и опрометчиво. Здесь как нигде сильна традиционная, идущая от простого рыбацкого племени привычка к естественному и благожелательному началу в человеке. Всякое же отклонение от нормы возмущает хозяина красивого уголка земли, пробуждая в нем молчаливый протест, который воспринимается порой как чванливая чопорность. Угодить в таком случае местному жителю или искусно подстроиться под его представление о добропорядочном человеке невозможно. Даже мелкая фальшь всплывает на поверхность, какдохлая рыба, и зловоние ее беспокоит окружающих. Тут постоянно происходит непонятный и непредсказуемый отбор, и, пожалуй, будет правильно сказать, что в отборе этом первое место занимают эмоции: нравится — не нравится. Разобраться же в том, почему нравится и почему не нравится, почти невозможно.

Молоденькая миловидная женщина, Катя Плавская,

впервые приехавшая в этот городок, явно тут не понравилась, хотя хозяйка квартиры, где она по совету друзей сняла комнату, такая же юная, как и Катя, женщина по имени Аудроне, что в переводе на русский означает «буря», встретила ее очень хорошо.

Была дождливая суббота. Сентябрь. Успокоенная осенним дождем светлая вода чуть колыбалась. Серое небо было темнее молочно-белой воды. Даже чайки казались грязными на ее поверхности.

Белая «Комета», волоча за собой снежно-пенный шлейф, такая же грязная, как чайки под дождем, замедлила бег, погрузнела, осев в воде, и уверенно вошла в узкое горло гавани. В огненном ее чреве рокотали отработанные газы. В воздухе резко пахло дымом. На борту толпились пассажиры, ожидая конца швартовых хлопот.

Похожая на девочку женщина в землянично-красном пальто и белых брюках спустилась по трапу, с отчаянным усилием таща высокий плоский чемодан из гладкой кожи. Желтый бок чемодана терся об ее ногу. Свободная рука была откинута, как противовес, землянично-красные, напмаженные губы искажены, водянистые глаза в капризном недоумении смотрели на женщину под зонтом, который та, приблизившись, подняла над ее головой.

— Лаба дена, как доехали? Все хорошо?— спросила.— Здравствуйте, я вас сразу узнала. Вас зовут Катя. Очень приятно. А я Аудроне. Можно просто Дроня. А то — мой муж. Подойди сюда, Ромас! Возьми чемодан. Что ты такой неповоротливый?— ласково сказала она ему.— Не стесняйся.

Большой и тяжелый, с выступающей вперед челюстью, похожий на добрую, хотя и странную заморскую рыбу, Ромас ссутулился в поклоне и, прожевав челюстью неопределенный звук, взял чемодан, который сразу как будто уменьшился в размерах, понес его к машине, ярко-желтой «шестерке» с помятым, облупившимся и проржавевшим на изломах крылом.

За рулем «Лады» Ромасу было тесно, он потягивался, почесывал ляжку, а переводя рычаг переключения передач, кричал и хакал, как мясник, разделявающий тушу.

До дома доехали быстро. Машину он провел по узенькой дорожке до крыльца и остановил под мокрой яблоней, каждая ветвь которой была отягчена бледно-розовыми, туманными яблочками. На холодных яблочках бугрились большие затуманенные капли. Дождь шепелявил в листьях, в георгинах. Всюду раздавалось чмоканье и треск падающих

с ветвей тяжелых капель, которые были крупнее дождевых.

— Дождь,— со вздохом сказала Катя, оглядывая сад и дом под кирпично-красной черепицей.— У нас говорят, дождь в дорогу — к удаче. Посмотрим. Ох, как я устала...

Она стояла под навесом крыльца, с черепицы которого стекали вниз бисерные нити дождевой воды, буравя землю и разбрасывая мелкие грязные брызги. Каждая травинка, цветок, листик вздрагивали и шевелились под дождем. Дождь был повсюду. Он начался в Москве и сопровождал ее в дороге. Когда ночной поезд останавливался у перрона какого-нибудь вокзала, слышно было покалывание капель, видны были на освещенном снаружи окне косые иглистые царапины. Она со вздохом отворачивалась к стене и, засыпая, надеялась на чудо. Но «Комета» тоже летела под дождем. Дождь был такой густой, что казалось, будто он залил всю землю и быстроходная ладья плывет на своих крыльях над затопленной планетой — по воде и под водой, в безбрежном водном пространстве.

«Куда? Зачем?— спрашивала себя Катя.— Как же я буду здесь жить? Под этой водой... Зачем? К тому же еще и за деньги...»

Нерешительность, в какой она замерла на крыльце дома, пахнувшего изнутри жареным луком, так угнетала ее, что она готова была расплакаться и в слезах просить хозяев, чтоб они, пока не поздно, отвезли ее обратно на пристань.

— Отдыхайте,— говорила ей Аудроне, приглашая в дом. У нее было большое, значительное лицо. улыбка на этом лице при всей своей открытости казалась вымученной, словно бы не могла объять все лицо, а захватывала только отдельные его участки. И если губы улыбались, глаза пребывали в усталости.— Надо обязательно отдохнуть после дороги,— с вежливой настойчивостью уговаривала она гостью, застывшую на крыльце. — Немножко отдохнете, переоденетесь, умоетесь, а потом — обедать к нам. У нас сегодня цеппелины...

— Что?

— Потом, потом...— пропела Аудроне, мягко махнув в воздухе рукой.

— Хорошо... А солнышко у вас бывает?— нахмутив брови, спросила Катя.

— Бывает,— откликнулась Аудроне.— Солнышко бывает. Заходите в дом, холодно.

Катя разглядывала темные пятна дождевых капель, которые на земляничном пальто казались черными, и ей хоте-

лось плакать. Все, о чем ей рассказывали, когда она собиралась сюда, все те восторги и завистливые вздохи, с которыми провожали ее друзья, пробудив в ней сказочно прекрасные, как сны, видения,— все эти иллюзии вильнули ей хвостиком и хрюкнули, превратившись в мокрое, туманно-дождевое, холодное нечто, способное свести с ума.

— Ну ладно,— сказала она, понимая себя в эти минуты пошлой разнаряженной дурой, собравшейся на праздник.— Ладно, что ж... Подождем под дождем...

Переодеваться не стала, и пока шел дождь, а шел он непрерывно четыре дня, чемодан ее стоял нераспакованным, как если бы все это время она продолжала куда-то ехать. По ночам она часто просыпалась и подолгу не могла уснуть. Ее мучил страх, ей казалось, что она не доживет до утра, она явственно чувствовала боль в области сердца, не хватало воздуха, и она боялась, что вот-вот начнет кричать среди ночи и звать на помощь хозяев, которые тоже беспокойно, как ей казалось, похрапывали внизу, в большой, завешанной коврами спальне.

Сама же она поселилась под крышей, на втором этаже, в комнате, потолок которой, оклеенный розовыми обоями, покато уходил куда-то в потемки. Масса неудобств в этом подпотолочном жилище, годившемся, наверное, только для летних жарких дней, когда с утра до вечера светит солнце, пахнет сосновым соком, песком и водой. Усталой и перегревшейся возвращаешься в сумерках в свое жилище, слипаются глаза, белая простыня и холодная подушка кажутся шелковыми, прикосновение к ним равносильно наслаждению... Ей же хотелось кричать, когда она просыпалась среди тьмы и слышала ровный шум дождя, поливающего с тоскливым однообразием крышу. Было страшно в потемках чужой комнаты, в которой ярко горел в углу красный огонек электрического обогревателя.

На третий день Катя Плавская купила в обувном магазинчике резиновые сапоги красного цвета и, заправив в них белые брюки, стала гулять под дождем, распустив над собою зонтик.

В красном пальто, в белых брюках и в красных, лаково поблескивающих сапогах она медленно, словно бы с трудом преодолевая сопротивление влажного воздуха, шла по улочкам городка, местные жители внимательно оглядывали ее, и Катя, привыкшая знать о себе, что она красива, была уверена, что все без исключения любят ее. Уверенная в этом, она с холодным равнодушием королевы, которой нет дела до

восторгов толпы, не замечала никого вокруг или, точнее сказать, старалась не замечать, как если бы все это уже так наскучило ей, что ничего, кроме раздражения, она не могла испытывать, ловя на себе любопытные взгляды прохожих. Мозг ее был так удобно устроен, что в лабиринтах сложнейших его мыслительных операций не нашлось места для одной простой, казалось бы, операции — умения взглянуть на себя со стороны. Эта преимущественно женская способность была в полной мере присуща Кате Плавской, исполняя охранительную роль в ее жизни.

Впрочем, душевное состояние ее было настолько подорвано, горе так велико, что в эти дождливые дни в чужом городке она и в самом деле была далека от того, чтобы как-то оценивать себя со стороны и считаться со вкусом прохожих. Ей было все равно, нравится она или нет.

Четыре месяца назад умер муж. Он был старше на двадцать восемь лет, то есть ровно на столько, сколько было ей самой.

— Дождь,— говорила она по таксофону, засовывая монетку за монеткой в аппарат.— Растительность скудная. Да. Одни сосны. Сосны и песок... Но ты же знаешь, я не люблю песок, когда его слишком много! А тут целые дюны, горы песка. Нет, мама, не успокаивай и сама тоже зря не волнуйся. Я молчу уже третий день. Молчу! Потому что не с кем. И потому что не хочется ни с кем говорить. Вот сейчас с тобой говорю впервые за весь день. Что? Нет, мне не весело, конечно. А я и не веселиться приехала сюда. Ты же знаешь. Как раз то, что мне нужно. Мне надо помолчать. На юг? На юге я сошла бы с ума. Мне нужно побыть одной. А я тут совсем одна. Даже, может быть, слишком одна. Потому что не понимаю языка. Ну почему ж не говорят! Говорят и по-русски. Но если я молчу, как со мной поговоришь? Ты у меня чудачка. Да, дождь... Все время. Купила сапоги. Гуляю, как дура. Я смирилась. Сначала хотела сразу же уехать домой. А теперь мучаю себя, и мне хорошо. Тебе не понять, да. А мне хорошо. Ну, мамочка, ладно! Кончились монеты, уже нолик! Целую... целую... целую... Все хорошо. Солнышка нет, и я уже не жду. Нет, не жду. Мне и так хорошо. Целую...

Медленно вышла из кабины, медленно покинула здание почты, задумчиво нажала на кнопку зонта и, слыша привычный треск дождя, пошла по лужам, получая от этого удовольствие.

Резиновые сапоги она купила очень удачно. Который раз она думала об этом! Резиновые сапоги стали событием в ее

жизни, она радовалась, что купила их, особенно после того, как увидела, что в магазине не осталось сапог. Она же успела! Это были первые резиновые сапоги в ее жизни. Они приятно успокаивали ее, как если бы Катя избавилась от унижительной куриной привычки смотреть себе под ноги и наконец-то шла по земле, с любопытством разглядывая мир, залитый водой.

Она никогда так долго не гуляла под дождем, а это оказалось очень приятным развлечением — чувствовать себя бегущей босиком, как в детстве на даче после летней грозы, по маленьким лужам на зеленой лужайке. Почему-то это называлось пробежаться паровозиком, то есть почти не поднимая ног, разбрызгивая что есть силы прозрачную лужу, чтобы белые фонтанчики разлетались в стороны, как струи пара из-под колес паровоза... Это была радость!

Ровно четверо суток шел дождь. Барометр упал до отметки семисот пятнадцати миллиметров. Люди шатались от слабости и головокружения. На пятую ночь поднялся шквальный ветер, и Катя Плавская, проснувшись ночью, никак не могла понять, что происходит. А потом в страхе слушала, как глухо стучались о землю падающие яблоки, как трещали ветки и гудела крыша.

Ветер дул с востока. Звонкие звуки скачущих по булыжнику коней далеко разносились по ветру. Им вторили точно такие же, но более громкие бубенчатые перезвоны, несшиеся от здания почты, над крышей которой на высокой металлической антенне колотились на ветру яхтовые фалы, струны тросов. Тревожные эти перестуки, перезвоны метались в воздушных порывах над городком, то утихая, то с новой силой разгораясь в колких, дробных переливах бубенчиков и в цоканье подкованных копыт, будто невидимые кони вдруг пугались и бешено неслись по черепичным крышам, путаясь гривами в черных лохмотьях низких туч, скользящих над землей.

Восточный ветер сулит удачу, городок в ожидании путины лакомится рыбой. Примета пращуров не подводит рыбаков. На живца, на мелкую плотву, идет судак. Не крупный, от килограмма до двух, он собрался огромной стаей возле берега, и начался жор, о каком не помнят даже старожилы.

Рыбы собралось так много, что иной судак, подхваченный волной, оказывается вместе с разбившимся в брызги гребнем на пирсе, в рябой луже среди камней. Плавает на мели, сливаясь цветом с камнями, бороздя спинным плавником поверхность. Мальчишка заметит и, радуясь смешной удаче, убь-

ет, хрястко ударив с размаха раз-другой об острые камни.

Тихая гавань кишмя кишит мелкой рыбешкой, которую черпают рыбаки самодельными, из сетчатого тюля сшитыми малявочницами. Отбирают в ведро веселых плотвичек, а остальных обратно в воду или на забаву зрителям кидают чайкам, которые с хриплым ором носятся над гаванью.

Ахает, стонет, ухаёт вода, гонимая ветром с востока, колотятся стальные фалы, качаются мачты. Шумно на пирсе,людно и весело. На камнях белобрюхие судаки с колючими, льдисто растопыренными плавниками, с дублеными спинами, зубастые, злобно перят взгляд неживых студеных глаз в беспокойное небо.

Такие же, как эти, жируют на подводных пастбищах, охотясь за рыбешкой, как волки за овцами. Пир горой на земле!

Большой поплавок с яркой вершинкой, видный даже в крутой волне, вдруг уменьшится в размерах, торопливо пойдет в сторону и, как перископ нырнувшей подлодки, пропадет в оливково-серых волнах, смутно мелькнув напоследок в подводном стремительном скольжении.

Резкая подсечка с широким махом удилица, как правило, верная. Хотя каждый рыбак знает, что пасть судака жесткая, как жесь, и просечь ее острием крючка дело непростое. Но! «Ира!»— возбужденно шепчет рыбак, с напряжением держа в руках изогнутое удилице спиннинга. И тут уж только ленивый не откликнется, не отзовется душой на радость соседа. Всё к услугам рыбака, вываживающего рыбу! Без суеты, без зависти помогают друг другу потомственные рыбаки, теснясь в привычной забаве, пока не началась путина, пока рыбацкие катера с грудями зеленых, как водоросли, сетей качаются в гавани, котовые к тяжелым дням осенней страды. Лодки, привязанные к корме, трутся жеребьями о просмоленные черные борта суденышек, пропахших горячей похлебкой, острой, жаренной на сале картошкой с луком, точно качаются у мола не катера, а походные кухни и не рыбаки балансируют на шаткой палубе, а хозяйственные мужчины, думающие только о своем животе, о сытости и сладкой лени.

В белесых телогрейках, в шапках-ушанках, в литых резиновых сапогах, потертые, мятые и небритые, сходят они, молодые и старые, с утлых посудин на берег и с добродушной усмешкой разматывают лески, насаживают живцов, забрасывают снасть с видом избалованных, нездешних детей, по-

знавших в короткой своей жизни великие удачи и радости, каких не знают сухопутные бездельники.

Три девушки в разноцветных нейлоновых курточках тут, на пирсе, среди телогреек, брезентов, резиновых сапог и озябших лиц кажутся в юной, несбыточно-нежной красоте притаившимися изваяниями — так чутко и почтительно замерли они за спиной молодого парня в телогрейке, только что поймавшего судака. О чем-то перешептываются, прижавшись друг к дружке, цветут в таинственных улыбках, в тихом восторге и раболепном преклонении перед исконным делом мужчин, которым и деда их и прадеды занимались и запах которого вошел в души и кровь красавиц как запах жизни и благополучия.

— Лаба дена, Юстас,— тихо говорит самая смелая из них, повергая в священный трепет и в улыбки смутившихся подруг.

Юстас широко и вольно поворачивается на голос, лицо его, заросшее неухоженной, выцветшей бородой, вдруг освещается мгновенной голубизной растерянных глаз, но, расправляя плечи, точно это не серая телогрейка на нем, а пластинчатая броня, склоняет Юстас голову перед ровесницами, подкравшимися со спины, и смеется, сияя зубами над серебристо-русой бородой. А вот уж и сам он смущает девушек, разглядывая их с любопытством Париса, внимающего обещаниям богинь. Что тут делать? Кто из них Афродита? Кого ловить? Куда смотреть? На поплавок он уже и не смотрит, конечно, покачиваясь перед девушками в резиновых своих ботфортах, отвернувшись от воды, как будто ему дела нет до судаков, хотя только что сердце его замирало от радости при виде скользящего под воду поплавок.

Песчаный берег горбится в золотисто-дымчатых далях. Вода переливается красками. Черно-синие волны вспыхивают белыми гребешками. Чем ближе к берегу, тем заметнее нефритовая зелень во взволнованной воде. Ярче тогда играют молниевые блики в прихотливых изгибах волн, прозрачной масса, в которой прыгают, проваливаясь и возносясь на неверные вершины, поплавки рыбаков, освещенные солнцем. Тени скользят тут и там в раскачивающейся воде. Багряные и голубые, зеленые и белые промельки — восьмерки, кольца или змейки — пляшут чертиками в зыбком лоске волн.

В преддверии зимы беснуется вода, как будто хочет натешиться вволю перед ледоставом, нагуляться напоследок, бросить вызов не близкому еще, но неизбежному морозу, ко-

торый скроет живую мрачную хлябь на долгие дни под ледяным черепом, под вьюгами и искристым снегом.

Не проходит года, чтоб не случилось беды на ледяной равнине. Зима здесь не славится свирепыми морозами, часто бывают оттепели, лед ложится тонким слоем, который при сильном ветре начинает ломаться, громясь торосами. Горе тогда рыбаку, увлекшемуся ловлей: черная пасть дымящейся воды в реве и грохоте разрушения, в чавканье и визге, в треске и хрусте не упустит своей жертвы. Много рыбацких душ отлетело в горние выси, распрощавшись с брэнной оболочкой, изнемогшей в неравной борьбе со стихией, много еще отлетит, с печалью провожая искаженные ужасом лица, измятые, безжизненные тела, затертые льдами.

Но никакая наука не идет впрок отчаянным храбрецам. Мчится по льду лихач на мотоцикле, а за ним тянется длинный капроновый фал с большим поплавком, который прыгает и скачет по льду веселой собачкой. Это на случай, если мотоцикл провалится под лед. Сам рыбак надеется на авось, а вот мотоцикл боится поплавком, потому что только так и можно отметить место и при удаче достать со дна. С автомашинами, конечно, сложнее, но и их тоже поднимают с помощью вертолетов. Ничто не в силах запугать рыбаков, как будто жизнь им дана провидением только лишь для того, чтобы, рискуя ею, почувствовать в руке сопротивление пойманной рыбы и вытащить ее из темной глубины, будь то судак, окунь или ряпушка, в жор которых на лед выходят все, кто только может выйти. Ради этой горячей минуты и живет рыбак, готовя по вечерам уловистую снасть, чтобы, как только представится случай, кинуться очертя голову на лед или в лодку, забыв об опасности.

И вдруг — неожиданность! Судак сам подошел к берегу, сбился стайей у пирса, жируя на придонных пастбищах, и, нарушив все законы привычной ловли, стал ловиться и днем и ночью, и вечером и утром.

Суетятся на пирсе мальчишки, забывшие про школу... «Ира! Ира!» — кричат в возбуждении, упираясь ногами в каменную твердыню пирса, чтоб судак не осилил их и не сбросил в воду. Повадки у них как у бывалых рыбаков. И только волнуются не по-рыбацки, зовут на помощь, если судак сел на крючок, торопятся, кричат, мешают друг другу — обрывов и сходов много. «Нерá», — упавшим голосом выдохнет белобрысый мальчишка, у которого сошел судак. Глаза у него бледнеют от досадной неудачи, челюсти смыкаются в мужской злобе. Обидно! Но все равно каждый из

них несет домой судаков, серые хвосты которых жестко торчат из ведра.

Такого лова не помнят даже древние старики. Приезжие люди диву даются, думая, что здесь только так и ловят рыбу: прямо с пирса, как карасей в пруду, с той лишь разницей, что в затишье клева рыбак может подняться по лестнице в бар, заказать себе чашечку черного кофе и рюмку коньяка для обогрева озябшего нутра.

Чудеса эти не на шутку пугают жителей городка. Аудроне и та с пугливой улыбкой нет-нет да и скажет молчаливой своей гостье:

— Ромас принес восемь судаков, а ловил всего час! В природе что-то случилось. Такого не должно быть. Почему рыба пришла к нашему берегу? Я боюсь. Это нехорошо. Я думаю, что-то случится. Судак — осторожная рыба, я знаю... Мой отец ловил рыбу, дед был рыбаком... Почему судак перестал бояться людей?

Гостья пожимает худеньким плечом, улыбается недоуменно, не желая понимать, о каких страхах речь, пытается шуткой развеять испуг суеверной женщины.

— А может быть, судаки,— говорит она, качая глазами в шутливой кокетливости,— пришли к людям, чтобы... ну, чтобы наладить дипломатические отношения? Может быть, они что-нибудь хотят сказать нам, а мы их ловим и едим? Такого разве не может быть?

— Вам хорошо,— отвечает Аудроне,— вы уедете, а мы тут останемся.— В глазах тревога, как будто слова о дипломатической миссии судаков застали ее врасплох и ей стало не по себе.— Вам хорошо говорить... А я чего-то боюсь. Может, буря будет.

— Какая вы странная! Просто развелось много рыбы. Разве не бывает? Зачем же выдумывать!

Теперь уже гостья тревожится и даже сердится, потому что при упоминании о буре у нее возникает перед глазами картина страшного бедствия, когда сдвинутся и взлетят на воздух горы золотистого песка, во тьме которого скроется небо и погибнет все живое на земле.

Она даже смотреть боится на лысые вершины дюн, на желтые эти затылки, окаймленные густыми сосновыми зарослями. В неизменных своих сапогах гуляет она по чистым улочкам, стараясь любоваться окрестными красотами — какой-нибудь песчаной дорожкой, уходящей в лес прямо из городка, или замшелой черепицей, сочетанием ярко-зеленого и красного цветов.

В окрестных лесах высыпали белые грибы: полное ведро в руках прохожих — обычная картина. Каждая такая встреча вызывает улыбку и печаль, будто все это теперь навсегда заказано для нее: ауканье в гулком лесу, радость охотницы, нашедшей белый гриб...

Неторопливым, замедленным шагом выходит она и на пирс, обращая на себя внимание рыбаков. Останавливается на ветру, с задумчивым видом разглядывая оцепеневших, убитых судаков, извалянных в песке. Лежат они на камнях, в стороне от рыбаков, словно бы никому не нужные, отслужившие свой срок детали неведомой машины. Ощетинившиеся, колючие, зубастые, они не вызывают жалости, как если бы существам этим никогда не свойственна была даже самая примитивная реакция на боль или радость бытия, а потому и переход от жизни к смерти для них тоже так же естествен, как для упавшего с ветки дерева желтого листа.

Ветер раскидывает волосы, отбрасывает их со лба, обнажая белокожую выпуклость, гладкая поверхность которой кажется голубой. В глазах недоумение; взгляд устремлен в тишину былой, отшумевшей жизни; на помаженные губы кажутся двумя лепестками алой герани, прилепленными к бледному лицу. Холодными, худыми пальцами придерживает она разлетающиеся волосы и под звон и перестук яхтовых снастей так же неторопливо и задумчиво уходит с пирса, провожаемая взглядами озябших мужчин, руки которых пропахли рыбой.

На все попытки случайных мужчин заговорить с ней — молчание и полное равнодушие.

Глубокий траур в сочетании с яркими красками одежды волнует молодую вдову, как если бы это был праздничный ритуал, соблюдение которого доставляет удовольствие, словно бы право это досталось ей по счастливой случайности, на что она никак не рассчитывала.

— Он был такой большой, но такой ребенок, — говорит она в минуты душевной расслабленности. — Когда он впервые увидел меня, он развел руками и сказал: «Ужасная суета! Даже некогда влюбиться... да и не в кого...» А я сказала: «Влюбитесь». У меня и в мыслях не было, что это возможно! Женатый человек, намного старше меня... А он мне на это: «Хорошо». И так спокойно, так уверенно, что со мной что-то случилось, я сразу поняла: мы с ним будем вместе.

Она стоит перед Аудроне в саду и смотрит, как та собирает яблоки, оставшиеся на ветвях.

— И дети были?— спрашивает Аудроне, быстро взглянув на нее.

— Да, взрослые. Один — мой ровесник. Они не простили отцу, и это его погубило. Во всяком случае, он очень тяжело переживал это. Он был такой добрый! Хотя очень любил Наполеона.

Замужняя женщина, мать четырехлетнего мальчика, Аудроне опускает глаза. Большая улыбка, которая не сходит с ее лица, занимая всю нижнюю часть, кривит длинные губы. Яблоки, сорванные ею, теснятся в ивовой старой корзине. Гостья смотрит на одно из них, у которого на плодоножке остался темный листик.

— Можно я возьму это яблоко?— спрашивает она.

— Возьмите.

— Что это за сорт?

— Не знаю. Это дерево посадил мой отец. Он не говорил, какой сорт.

Гостья стоит перед ней в белых брюках и в розовом свитере с широким пушистым воротником. Стойка у нее, как у капризной худенькой девочки: втянутая грудь и выпяченный в прихотливом изгибе тела плоский живот, эдакая поза встревоженной кобры. Оттого и походка у нее странная, как у беременной, как будто несет она бесценный плод, но никто из смертных не догадывается об этом, вызывая на ее лице полупрезрительную усмешку.

Когда же она садится перед Аудроне на краешек мягкого кресла, подушка под ней совсем не проминается. И смотрит на нее Аудроне как на крылатое насекомое, как на большую, радужно поблескивающую муху, прилетевшую с улицы.

Яблоко сочно хрустит на зубах у гостьи. Привычка густо помадиться потянула за собой другую: она ест яблоко, широко разевая при этом накрашенный рот и скаля мелкие зубы, как будто не откусывает, а кусает, жалит яблоко, впиваясь в его сочную плоть. Это стало тоже привычкой, и она изловчилась так съесть яблоко, чтобы запах помады не попал на язык. Но Аудроне знает: чайная посуда, из которой пьет по вечерам за общим столом гостья, пахнет приторным вазелином. И когда моет посуду, то обязательно вынюхивает каждую чашку, находя ту, что испачкана помадой, отмывая ее с особенной тщательностью. Занятие это неприятно ей, но она не находит в себе сил предупредить квартирантку, чтобы она не садилась за стол с на помаженными губами. «Как это нехорошо,— говорит она мужу.— Я, конечно, отмою, но мне

неприятно. Я-то уничтожу запах, но ведь она обедает в столовой! Разве там моют так чисто посуду? Это же неприлично. Придет человек, возьмет ложку или вилку, а она пахнет вазелином. Почему она не понимает этого?» — «Ты умная жена», — отвечает на это Ромас и дотрагивается до ее плеча.

— Я все время хочу вас спросить, Аудра, — говорит гостья, покачиваясь в кресле. — Вам бывает когда-нибудь скучно? По-моему, ваш Ромас такой молчаливый. Я даже не слышала его голоса. Живу у вас целую неделю, а он, по-моему, целую неделю молчит. Он всегда такой или стесняется?

— Мне не нравятся болтливые мужчины, — отвечает Аудроне.

— Я не о болтливости, а о простом общении, о каких-нибудь рассказах. Он вам что-нибудь рассказывает: как он день провел, что увидел, услышал? Это же вам должно быть интересно. Как же иначе жить с человеком?

— Я не люблю болтливых, — настаивает на своем Аудроне, навесив на лицо вежливую улыбку. — Когда ему надо что-нибудь сказать, он говорит. А когда не надо, он молчит и смотрит на меня, а я все понимаю и все про него знаю. Он отец моего сына! — удивленно восклицает она. — Он так много сказал мне, что хватит на всю жизнь. Разве этого мало? Я разговариваю с сыном, он тоже разговаривает.

— Как интересно вы рассуждаете.

— Интересного мало.

— А вот мой покойный муж, он любил мне про все рассказывать, особенно про Наполеона. Он так много знал о Наполеоне, что просто удивительно, откуда такая заинтересованность. Он даже знал, например, что Наполеон никогда не снимал перчаток...

— Как это?

— А так. Он их рвал. Подсовывал большой палец под ладошку и рвал перчатку. Я от него так много узнала! Он был очень умный, начитанный человек, он иногда даже пересказывал целые романы. И как! Потом возьмешь этот роман, но никак не можешь читать, потому что гораздо интереснее было слушать. Это удивительная способность! Или кино какое-нибудь, которое я не видела. Рассказывает так, как будто сидишь в зале, а перед тобой картина. Он мне про все рассказывал. У него были очень натянутые отношения

с директором. Директор во многом виноват, что все так печально кончилось. Он его буквально изводил! Хотел совсем выжить. Я все это знаю... Все, все... Как он мучился, сколько лекарств, сколько «неотложек»... Я три года, которые прожила с ним, была сиделкой. Во всяком случае, последний год ему бывало очень плохо.

— От чего он умер?

— От чего умирают умные, добрые люди? Инфаркт, конечно. Он не мог больше выносить хамства своих детей, они не признавали его, а он их очень любил. А директор? Сколько страданий принес он ему! Он так мучился, когда все его предложения, все проекты отвергал директор. Я одна только боролась за него, ободряла, вселяла оптимизм, защищала его от всяких нападков. Я столько нервов потратила на эту борьбу! Если бы вы знали, Аудра, как нелегко быть женой талантливого человека! Он не позволял мне нервничать, очень страдал, просил не вмешиваться и поберечь себя. Но как я могла не вмешиваться, я, молодая, сильная женщина? Я, разумеется, шла и ругалась с его врагами. Я одна помогала ему. И он это ценил! У него была широкая, очень нежная, с сильным биополем ладонь. Он клал свою ладонь на мою голову, и мне делалось так приятно, как будто я была маленьким, несчастным существом с иссякшей энергией, а он, огромный, могучий человек, заряжал меня жизненной силой, радостью и бог знает какими еще энергетическими ресурсами. Я ему всегда говорила: «Спасибо». А он: «За что?» Я целовала его ладонь и не стыдилась этого. Если бы мне сказали раньше, что я когда-нибудь в своей жизни буду целовать руку мужчины и говорить спасибо за это, я бы просто-напросто рассмеялась или сочла бы эти слова оскорбительными. Ах, как мы плохо знаем себя! Он очень ценил во мне друга, товарища. Свою бывшую жену, которая довела его до стресса, он называл Жозефиной и говорил, что ушел от нее, чтобы со мной завоевать весь мир... Он почему-то обожал Наполеона. Такая уж слабость. Кто сейчас думает всерьез о Наполеоне? А он думал. Это было так интересно! Он был очень честным человеком. До щепетильности! Вот он, например, называл ее Жозефиной, но при этом всегда вздыхал и говорил, что все удаchi Наполеона были связаны с Жозефиной, а потом, когда он расстался с ней, они изменили ему... Он улыбался, а я плакала. Это обидно было слышать, и я очень не любила, когда он начинал говорить о Наполеоне. Сначала это мне нравилось, а потом рассказы о жизни Наполеона стали мне

неприятны. Вы можете себе представить: не кто-нибудь, а сам Наполеон стал мешать нам — мучил меня и совершенно сводил с ума мужа. Согласитесь — это уже что-то ненормальное, какой-то опасный сдвиг. И я возмущалась, конечно, и всячески глушила разговоры о Наполеоне. А вы знаете, Аудра, у Наполеона был брат Иосиф... Нет, я что-то хотела другое сказать... Что-то я хотела сказать, а мне опять этот Наполеон пришел на ум... У нас были вечные ссоры на эту тему. Нет, не ссоры, я просто уводила его в реальный мир от дурацких фантазий. А что это на улице так вороны раскаркались? — спросила она, прислушиваясь. — И сороки, по-моему, тоже... Что это они так разорались?

Тревога, которую вдруг поднимают птицы, живущие рядом с человеком, — вороны, галки, сороки, воробьи, — рождает тревогу и в душе человека. Что-то случилось в мире!

Так было и на этот раз. Вороний и сорочий гвалт был настолько тревожен и азартен, что Аудроне пошла посмотреть на улицу, а за ней и гостья.

Над стадом, в пестром, залиственном его углу, над забором перелетали с ветки на ветку всполошенные сороки и вороны и истошно орали. На ор этот слетались другие вороны. Творилось в птичьем мире что-то невообразимое.

В этот холодный ветреный день нежно-серый мышонок зачем-то выбежал из-под дома, из-под крылечка, и, подпрыгивая, быстренько пробежал к углу дома, юркнув там в спасительную подпольную тень. Явление!

И это увидели женщины, переглянувшись в мгновенном страхе. Аудроне, а за ней и ее гостья, внимательно приглядываясь, пошли в угол сада, в то его место, над которым волновались птицы. И вдруг обе остановились в испуге.

На заборе сидел огромный грязно-белый, как баран, кот с большой лобастой головой и смотрел на женщин оранжевыми глазами, выражая полное равнодушие к воронам, сорокам и к женщинам. Морда его была недружелюбно наморщена, как будто вся эта суматоха мешала ему спать.

Белый цвет взъерошенной, всклокоченной шерсти делал кота неестественно большим, и нужно было напрячь воображение, чтобы понять, что это обыкновенный кот, а не какой-нибудь великан, забравшийся на забор.

Аудроне сказала:

— Я его никогда не видела раньше. Пошел! — крикнула она, махнув рукой.— Пошел отсюда!

Но кот только прижал уши и облизнулся, издав фырчащий, угрожающий звук.

Тогда она подняла с земли яблоко и, не по-женски сноровисто размахнувшись, бросила его в кота. Яблоко ударилось о забор, а кот плавно и невесомо стек с забора, как если бы тело его было наполнено летательным газом, и пропал за серыми досками.

Глаза у Аудроне покраснели от напряжения. Губы выцвели и стали сиреневыми, как на морозе.

— Такого кота у нас никогда не было. Откуда он пришел? — громко сказала она, подозрительно глядя на гостью, которой передался ее страх.

Вороны и сороки переместились вместе с котом и теперь стрекотали и каркали в отдалении.

— О-о, хулера! — крикнула Аудроне и погрозила кулаком в сторону забора.— Хулера какая! Чтоб тебя собаки разорвали! Хулера! Вы когда-нибудь видели таких котов? — спросила она у гостьи.— У него не глаза, а настоящие янтари. Нет! В природе что-то происходит. Это уж несомненно так. И мне страшно. Не знаю почему, — говорила она, шагая в ознобе к крыльцу, из-под которого только что выбежал мышонок.— Нет, я неверующая, — говорила Аудроне уже в доме.— И Ромас тоже неверующий. Но когда его мама садится с нами в машину и шепчет молитву, я думаю: пусть пошепчет, не помешает. Ромас тогда лучше ведет машину. Я неверующая, но лучше — и все. Не знаю почему. Это и ему помогает. У него ни одной дырки, ни одного нарушения, ни одной аварии... Почему? Не знаю. Но я неверующая, не подумайте, пожалуйста. Когда мне было девять лет, у меня умер дедушка. Он жил в старом доме. В этом доме все комнаты были с двойными дверями, сначала одна дверь, а потом другая, а между ними темные пространства. Не знаю почему, но так было. Дедушка умер... Сорок дней еще не прошло... Я вхожу в его комнату, открываю первую дверь... А там что-то белое. Как толкнет меня в грудь! Я упала и потеряла сознание. Я с тех пор боюсь этого дома. Даже когда мимо иду, у меня такой страх... Невозможно просто! Я стараюсь не ходить мимо дома, потому что падаю от страха, ноги не идут. Не знаю почему. Не могу понять, что это было.

— Астральное тело, — тихо сказала гостья.

— Астральное? Что это?

— Небесное... Иначе говоря — душа.

— Нет, я неверующая... Если бы мне рассказали, я бы не поверила, но тут я сама на себе испытала. Очень сильный толчок, как удар электричества... Ну, может быть... Ну да, сорок дней не прошло... Может быть... Ой, в природе происходят такие чудеса, мне делается страшно. Не знаю почему...

Берег освещен солнцем, а над взрыхленной водой сизый мрак. На берегу возле домика ярко светится желтая автомашина, видны яблоки в саду... Вода успела уже замутиться и стала бежевого цвета, пропитавшись донным илом. Взмученные волны захлестывают кромку пирса. Рыбаки следят за поплавками, повернувшись к земле спинами. «Ира!»— говорит рыбак, чувствуя тяжелое сопротивление на подсечке. Озябшие, с мокрыми ногами, помогают они друг другу, не ведая зависти. Идет судак.

Холодно тут и ветрено.

А в лесу, за дюнами, тишина. Солнышко оживило смолу, которая медовыми каплями поблескивает на седых, засахарившихся стволах корявых сосен. И кажется, будто воздух золотится в зеленых ветвях. Песчаные тропы, присыпанные рыжими иглами, далеко видны в лесных зарослях. Стронутый с лежки лось вырастает вдруг горой среди дымчатых стволов и, дымчато-серый, сутулый, бежит прочь, как на ходулях, клацающая копытами в тишине.

И страшно и весело смотреть ей, как громадный зверь убегает. Лишь однажды она испугалась, когда вдруг вспомнила про красное пальто. В тот раз она быстро повернулась и ушла из леса, почувствовав свободу только на пустынном синем шоссе.

Шоссе с песчаными обочинами лежит среди сосен. Одинакового росточка, в меру пушистые, сосны эти как будто кем-то посеяны тут.

Странное состояние души, что никто, кроме нее, не видит однообразной красоты леса, угнетает ее. За три года Катя Плавская привыкла рассказывать обо всем, что видела вокруг, чувствовала и о чем думала, доброму и умному человеку, живя с которым она как бы перестала быть взрослой, а превратилась в маленькую капризную девочку. Он всегда внимательно выслушивал ее и часто говорил: «Ты у меня очень наблюдательная. Как хорошо ты рассказываешь! Молодец».

Говорил серьезно и озабоченно, как если бы радовался успехам своей ученицы.

Она идет вдоль темно-синего, как лунное небо, шоссе, вспоминает все это, и ей больно чуть ли не до слез. Чувствует она себя так, будто дали ей три или четыре цветных карандаша и сказали: нарисуй-ка, Катенька, красивую картинку. А она взяла и нарисовала. Сама для себя. Никто эту картинку не увидит, кроме нее одной, никто не учует прохладного запаха смолы. Поэтому и не верится, что она — реальность. Легкомысленная фантазия — не более того.

Другая реальность мучает ее и не дает покоя. Надо обязательно кому-то рассказать, освободиться от нее и постараться забыть. Неосознанная потребность выговориться оглушает, делается навязчивой идеей, и нет никаких сил у нее бороться с этим наваждением.

— Аудра, а как умирал ваш дедушка? — спрашивает она с перехваченным дыханием.

— Я была маленькая, не помню, — отвечает та.

Они сидят за вечерним чаем, вдвоем за круглым столом, накрытым бордовой с кистями скатертью. Комната освещена розовым торшером, и чудится, будто сидят они в лепестках пунцовой розы: бордовый ковер, бордовый палас, бордовая скатерть, розовый колпак торшера. Ярко-красные лепестки губ, которыми пачкает гостя фарфоровую чашку, полураскрыты и дрожат от волнения.

— Мне было девять лет, — поясняет Аудроне. — Я помню, он был бородатый и сердитый. На лице его было много морщин, а как он умирал, я не помню. Зачем об этом вспоминать? Я знаю, что он простыл на воде и долго кашлял... Он не был очень старым.

В этот вечер Ромас ушел на рыбалку, рассчитывая половить и ночью.

— Я очень раздражилась из-за этого кота, — говорит Аудроне. — И ни о чем не могу думать. Я первый раз в жизни увидела такого большого кота с янтарными глазами. Зачем он приходил? Сколько прошло времени, как умер ваш муж? — вдруг спрашивает она очень серьезно и строго.

— Ну что вы такое говорите, Аудра! При чем тут это? Прошло четыре месяца с лишним... И что?

— Ничего. Хочу узнать, откуда пришла в мой сад эта хулера.

— Какая же связь, простите? Приблудный кот, голодный, наверное... А вы бог знает что!

— Слышали, как разорались вороны? Что ж они, кошек не видели? Нет, это неспроста. Судаки подошли к берегу, белый кот заглядывает в сад... Природа хочет что-то нам

сказать, а мы не понимаем. Может быть, так.. Вы, может быть, правы... И зачем только Ромас пошел ловить рыбу?

Она смотрит на гостью изучающим, бесцеремонным взглядом серых с прозеленью глаз, но как будто не видит ее. А та сидит в кресле невесомая, золотисто-бледная; голова ее на тонкой шее кажется круглой кошачьей головой; запах дорогих духов действует на Аудроне одуряюще.

— Наш народ любит кофе, а ваш народ любит чай,— ворчливо говорит она, наливая из чайника жиденькую заварку в чашку гостьи. Думает она при этом, что слишком грубо намекнула на нежелательность таких продолжительных чаепитий, и опускает глаза в смущении.— Да,— со вздохом произносит Аудроне,— остаться в такие годы без мужа... Это очень обидно. Я понимаю.

— Не те слова, Аудра!— восклицает гостья.— Страшно! Особенно, если он умирает у тебя на руках... Вы знаете, как умер мой муж?! Это ужасно! Нет, это ужасно... Я не могу...— Слезы слышны в ее утончившемся голосочке.— Это ужасно... Мы зашли в овощной магазин, хотели что-то купить... Был такой хороший майский день, а у мужа весной всегда обострение, он плохо себя чувствовал. Я попросила очередь, чтоб нас пропустили вперед, я очень беспокоилась за мужа... А меня и слушать не захотели... Я сорвалась. А он... он сказал мне... И упал прямо на грязный пол. Он, такой чистоплотный, брезгливый, упал в грязь, и я тогда сразу поняла, что он... он на полу, большой и беспомощный... Я не закричала, нет. Я была очень спокойна, вызвала «скорую», зашла к заведующей и сама позвонила по телефону, потом подложила под его голову свою кофточку... Стояла над ним и знала, что он мертвый. А мне совсем не было страшно... Даже не плакала. Мне трудно объяснить... Такое чувство, что так должно было случиться. Его увезли в морг прямо из магазина, а я пошла домой, позвонила всем, что он умер, и уснула. Какая-то странная бессердечность! Как будто что-то оторвалось и лишило меня всяких чувств.

Аудроне слушает, покачивая головой, а про что думает в эти минуты, она и сама не знает. Разглядывает свою гостью, жалеет, что согласилась пустить ее в свой дом, связывая ее приезд с теми природными аномалиями, которые так раздражают ее воображение.

— Что же он сказал вам?— спрашивает она.— Вы сказали, он что-то сказал...

— Ах, это! Да... я помню. Он сказал... Это был деликатный человек, начитанный, интеллигентный, мягкий по харак-

теру. Наверно, поэтому так нравился ему Наполеон. Ему, наверно, не понравилось, что я сорвалась и наговорила кучу гадостей людям в очереди. Он никогда не позволял себе ничего подобного. Этим все пользовались — директор, сыновья, бывшая жена, которая довела его до такого состояния. А я не хотела терпеть, я хотела быть его Наполеоном, нет, не то... его Жозефиной... нет, я хотела быть недостающим его звеном, его опорой в жизни. Хотела драться за него со всеми, одна против тех, кто губил его или не уважал... И мне все равно было, как они посмотрят на меня, что подумают. Какое мне до них дело. А он, бедняга, сказал мне тогда, в магазине: почему ты не умеешь разговаривать с людьми? Так и сказал: почему не умеешь? А зачем мне, Аудра, миленькая, надо было уметь разговаривать с теми, кто не сочувствовал моему мужу? Теперь как вспомню его последние слова, слезы у меня от обиды, и я не знаю, что мне и подумать. Как же так? Я себя не жалела, чтобы защитить его, а он так несправедливо... Нет, я ничего не хочу плохого сказать. Он был слишком демократичным человеком, ему казалось, что я оскорбляю людей, если защищаю его от их нападок. А как бы вы, Аудра, вели себя, если бы Ромаса кто-нибудь обидел?.. Он тоже, кажется, мягкий, добрый человек...

— Он мягкий,— откликнулась Аудроне,— и добрый, да. Но он сильный, и его боятся обидеть.

— Что значит — боятся? Люди ничего и никого не боятся. Разве хам чего-нибудь боится? Хам — это одичавшая собака! Раньше она жила с человеком, изучила его и, одичав, перестала бояться, зная все его слабые стороны. Волк благороден и осторожен. А одичавшая собака совсем утратила эти свойства. Так и хам!

— Не знаю. Никто еще не пробовал испытать характер Ромаса. Я не знаю таких. Потому все и думают, что он мягкий и добрый. Зачем ему быть злым? А моей защиты он никогда не попросит.

— Мой муж тоже не просил! Ах, Аудра! Вы не хотите меня понять!

Улыбка исказила лицо Аудроне, сделала его непонятным и очень большим. Она покачала головой и сказала:

— Я все понимаю. Это очень тяжело — носить такие слова.

Кате Плавской только кажется, что Аудроне первый человек, кому она доверила свою тайну. Она наделена способностью внушать себе уверенность, что тайна ее оста-

лась неприкосновенной. А тот человек, которому она рассказала о последних словах мужа, это всего лишь мираж, собственная ее фантазия, туманное видение, исчезающее при легком дуновении ветра. Делает это она очень просто: она говорит себе, что человек, которому была доверена тайна и который не выразил сочувствия, не обладает достаточно тонкой душой, погряз в житейской грубости и не в силах вырваться из болота. Человек этот один из тех, которые вечно стоят в очереди и никого никогда не пускают вперед себя, как и те, что стояли тогда в овощном магазине за редиской и бездушием своим убили ее мужа.

Ей теперь некого защищать, она лишь презирает мелких, бездушных людей, не удостаивая их даже словом.

— Ну, знаете, Аудра!— сказала она в тот вечер. И резко отодвинула блюдце с чашкой, из которой выплеснулся на скатерть чай.

Ушла наверх и стала собирать вещи. Аудроне не оставила ее.

Ночью на пирсе остаются самые заядливые рыбаки. И среди них Ромас, приехавший сюда на своей «шестерке».

Еще с вечера упал напор ветра, утихло цоканье скачущих коней, выпрямились и замерли мачты яхт. Волна тоже ослабла и уже не захлестывала пирс, а лишь облизывала ржавые сваи, колыхаясь широко и умиротворенно.

С наступлением темноты вспыхнули неоновые лампы безлюдного, закрытого бара, освещавшие прозрачно-бурую поверхность воды и поплавки рыбаков. Напротив этих огней в черном осеннем небе загорелась голубая Венера.

Чайки белыми призраками возникали в отдаленной темноте и, влетая в освещенное пространство, фосфоресцировали в воздухе и снова таяли, исчезали в тихой ночи, которая мягко колыхалась длинными волнами, возникавшими во тьме то ли неба, то ли воды. Казалось, будто бетонированный пирс с ярко освещенным стеклянным баром плавно покачивался, как огромный корабль, плывущий без рулей в глубокую бездну ночи. Чайки бесшумно выплывали из этой бездны и, отражаясь в полированной воде, увеличиваясь в размерах, светились чудесными привидениями и неслышно улетали в сторону сияющей Венеры.

Рыбаки, сгрудившиеся на освещенной стороне пирса, молчали, подавленные фантастическим зрелищем и вынужденным бездельем.

Поплавки, хорошо видимые в свете бара, неторопливо переваливались с волны на волну, но ни один из них за много часов терпеливого ожидания не порадовал рыбаков.

Судак, который еще вчера так жадно жировал у пирса, куда-то пропал, как будто его и не было тут никогда.

Лишь к полуночи Ромас увидел поклевку: поплавок его торопливо заскользил в сторону и скрылся в маслянистой тьме воды. Рыбаки вдруг оживились. Ромас подсек, крикнув, как мясник. «Ира?» — с надеждой спросил сосед.

— О-о, хулера! — пробормотал Ромас, сматывая леску. — Нера.

Утром Катя Плавская навсегда улетела из тихого городка на сверкающей под солнцем, мощной и стремительной «Комете». Ее никто не провожал.



Торопит коня человек

Пойдет немного времени, и, если не случится чуда, Сергей Васильевич Ипполитов, зарьялый, обрюзгший, рано состарившийся человек, умрет, отравив себя вином, закончит жизнь, которая когда-то обещала ему другую славу. Сам Ипполитов не понимает этого, забыв ту пору, когда был молод, а если и вспоминает иногда, то не иначе как с удивлением: было это как будто не с ним самим, а с человеком дерзким и мечтательным, с которым ничто не связывает его, как если бы человек тот говорил на языке, непонятном Ипполитову.

Ветер несет по жесткому асфальту пыль и сухие листья, царапает ухо. Холодно, как бывает только осенью. Рука дрожит, зажав хрустящую десятку. Дрожат губы на испитом лице. Сизые глаза смеются, бесятся в привычном веселье, и сиплый крик рвется руганью из щербатого мокрого рта.

— Бычий глаз! Десятка — это бычий глаз! Запомни, — кричит Ипполитов, — бычий! Так и будем звать — бычий

глаз.— И показывает большой палец, дерет его вверх с азартом игрока.

Никому не понятно, что он хочет сказать, о каком бычьем глазе кричит невеселый мужик, лицо которого скалится в неживом смехе, какие силы распирают весельем человека, нажившего себе болезни, съедающие дряблкое, но некогда красивое, прочное тело, рассчитанное на долгие годы.

Взгляд безумноватых глаз мечется в отчаянной надежде найти отзвук в глазах тех, кому кричит он, и, смутно помня лето своего детства, силится объяснить, рассказать людям про бычий глаз. Но никто не хочет слушать его и понимать. Да и сам он не может найти связующих слов. Мозг вырывает из тьмы незавершенные фразы, которые будят в сознании лишь тревогу. Глаза мутно пучатся от слез, голос срывается в бессилии, и слышны сквозь смех посвистывающие звуки, мучительный рев большого зверя, пойманного людьми, которые никак не хотят понять его, бессловесного.

— Бычий,— мычит он в иступлении и, стиснув зубы, мнет в кулаке бумажную купюру.

В винном отделе магазина ему ничего не дают и, зная по имени, гонят домой — не грубо, но и не ласково, как гонят скотину, которая нужна в хозяйстве.

Участковый милиционер, заглядывающий в этот отдел по вечерам, берет Ипполитова двумя пальцами за одежду выше локтя.

— Сергей Васильевич,— вежливо говорит он и бледнеет от смущения, от неприятной своей обязанности.— Опять, Сергей Васильевич? Вы же мне обещали...

— Обещал,— покорно соглашается Ипполитов.— Обещал, да... Я обещал,— твердит он, размахисто махая при этом головой, и разводит руками.

— Сергей Васильевич,— продолжает участковый, откашливаясь от волнения, освобождая спертую грудь,— пойдите-ка домой. Я вас провожу.— И тянет за рукав побелевшими цепкими пальцами.

Ипполитов, как вагон на рельсах, стронутый с места, подчиняется силе этих пальцев и боком движется прочь из магазина. Молоденький лейтенант, похожий на десятиклассника, аккуратный и свежий в сером своем плаще, молча идет, потупившись, рядом, словно боится осуда людей, наблюдающих печальную сцену, морщится, слушая сиплый крик Ипполитова, который опять, как и в прошлые разы, начинает ругать жену, корит ее и проклинает за измену. Но, опомнившись, останавливается вдруг и шепотом гово-

рит милиционеру, испытывая его терпение:

— И ты мне поверил, Саш? Ты мне поверил? Скажи... Эх, люди! Сволочишься — верят... С добром к ним — не верят... Любит она меня! — кричит он в отчаянии. — Любит! Понял? Любит меня. Я знаю. Я все знаю. Не мне жаловаться! — ожесточает он голос. — Не мне! — Грозит пальцем терпеливому лейтенанту, который соглашается с ним, не давая Ипполитову задерживаться.

Идти недалеко.

— Пойдем, Сергей Васильевич, — говорит он в печали. — Жена у тебя хорошая, простит. Она тебя любит. Я это точно знаю.

На улице сумерки. Автомашины включили габаритные огни, люди скользят опасными тенями, перебегая мостовую в зыбком полусвете, когда еще не зажглись уличные фонари, шоферы сигналият лучами фар. Ветер шумит в оголившихся ветвях деревьев. Суетный тревожный час окончания дневных работ, наплыва людей в магазины, час переполненных автобусов, трамваев и метро...

Ипполитов вяло сопротивляется, тянет руку в сторону, освобождаясь от хватки.

— Ты, Саша, знаешь, — шепчет он при виде подъезда, освещенного желтой лампой. — Художник не подведет. Я художник, Саша. Мои фантазии нужны людям, а не мне. Меня они мучают, а людей забавляют. Я с детства такой. С детства хвалили, я привык. Ты тоже хороший, но ты думаешь, фантазия — это нарушенный порядок. А у меня в душе нет порядка, если живу как все. Тоска, Саша! Ох, тоска... Зачем ты меня сюда привел? Я нужен людям.

В глазах его проблеск здравого смысла, надежда, что молчаливый и застенчивый лейтенант, отпустивший локоть, поймет его.

Но Саша неумолим, и приговор страшен, потому что произносит он его смущенным мальчишеским голосом:

— Такой вы никому не нужны, Сергей Васильевич. Только если медицине.

Ипполитов растерянно смотрит на мальчика, которому очень идет милицейская форма, и со вздохом спрашивает:

— Значит, никаких надежд?

— Ну почему? Надежду никогда не надо терять! — неожиданно весело говорит лейтенант. — Вы сами до лифта? Или проводить?

— Я, Саша, не пьян. «Я страшно болен — снами»... «Послушай, где, когда я прежде жил?» Это стихи такие,

Саша, не смущайся. Кажется, не забыл... Именно так: «...где, когда я прежде жил? Я страшно болен — снами». Ты меня любишь, спасибо. Мне нужно, чтобы меня любили люди. Я не могу жить, если меня не любят. Я художник! Когда меня не любят, я падаю с небес, как самолет... А когда падаешь... Я, конечно, могу послать в эфир: «Борт такой-то... Падаю. Падаю». А больше уже ничего, потому что когда падаешь... — Ипполитов задирает голову и смотрит на уходящую в небо стену. — Ненавижу эту стену! — говорит он плаксивым от бешенства голосом. — Эту плоскость... ненавижу. А ты меня привел опять сюда... А знаешь, Саша, какая у меня была кличка в юности? Нет, не скажу, не скажу, ты перестанешь меня уважать... и будешь смеяться. Ты будешь смеяться надо мной! — опять кричит Ипполитов сиплым своим ревом, видя, что лейтенант уходит. — Ты будешь смеяться, Саш! Постой! Куда же ты? Я тебе обещаю, ты будешь, — кричит он голосом, искаженным болезненным смехом, — будешь смеяться! Меня звали Герцогом! Слышишь, я Герцог! Саша, постой! Я Герцог! Это ведь очень смешно! Герцог!

— Идите домой, — строго отзывается лейтенант, останавливаясь на мгновение. — Иначе приму меры.

— Саша! Ведь это смешно. Я никогда не говорил... Но это правда смешно.

Сутулая женщина тихо здоровается с Ипполитовым, проходя в подъезд. Он, смешавшись, глядит ей в спину и неуверенно отвечает: «Здравствуйте... Добрый вечер», — узнавая соседку по этажу, и, влекомый новой фантазией, забывает о Саше и, как ему кажется, молодцевато устремляется вслед за соседкой, чтобы принести ей свои извинения.

— Одну минуточку! Одну минуточку! — гремит он в гулком подъезде. — Одну минуточку! Не оставляйте Герцога в беде. Вы слышали, я Герцог! Ха-ха-ха! Меня так звали в далекой юности. Прошу вашу тяжесть, у вас затекли пальчики. Да, да! Я был когда-то юн. Простите меня великодушно.

Ипполитов роняет голову на грудь и, сипло дыша, прижимает руку к сердцу.

— Ограбление в подъезде, — грохочет он сквозь одышку. — Пьяный бандит напал на беззащитную женщину.

И смеется, и кашляет. Тело его дергается в смехе и в кашле.

— Это очень смешно, — говорит он, успокаиваясь. — Очень смешно.

Полуголодная, туманная за далью лет весна сорок седьмого, первые ее теплые дни без снега и ночных заморозков. Южный склон холма над мутной Яузой. Грифельно-бурый от слоя пыльных прошлогодних листьев, исчерченный влажными черными стволами лип и косыми их тенями, старинный парк. Солнышко сквозь московскую дымку в голубизне вешнего неба. И прохлада воздуха, пропахшего испарениями земли.

Той самой земли, укрытой прелыми листьями, на которой стоит в блекло-розовом пальто очень бледная, худая, тонконогая девушка, светящаяся на холме. Резиновые боты, надетые на туфли, делают ноги худыми, как палки, обтянутые коричневыми чулками. Тонкая шея торчит из широкого ворота. А выше ее, там, где должна быть голова, сияет что-то ослепительно любопытное, сплошное какое-то удивление, состоящее из блестящих глаз, зубов, губ, дымчатых впадин ноздрей, дымчатых бровей и волнистой дымки зеленовато-желтых волос, шевелящихся вокруг расплывчатого пятна, обозначающего голову девушки.

— Здравствуйте,— говорит она, не зная, куда девать худые длинные руки: то прячет их за спину, то по-бабьи сцепливает на впалом животе. Переступает с ноги на ногу, подламывая то одно, то другое колено, которые скрыты под долгополым пальто.— Я тут гуляю... Я из этого дома.

Ей, наверное, лет пятнадцать. В глазах следы детского сна, губы яркие, оттого что эмаль зубов снежно-белая, неправдоподобная.

Старинный дворец, бывшее имение князя, род которого играл значительную роль в истории России, светится бело-желтым ковчегом за свинцовыми стволами лип. Теперь там пытаются лечить туберкулез.

Сережа Ипполитов, такой же худой, как и она, стоит перед ней в черной шинели нараспашку, приглаживает рукой густые волосы, как будто они мешают смотреть на девушку, лицо которой он никак не может разглядеть. Рядом с ней он кажется коричневым индейцем, робко опускающим взгляд перед красотой бледнолицей.

Он многое пережил к тому времени... Голод дальней, долгой дороги в товарных теплушках, тупики заснеженных разъездов в предуральской степи, выклянчивание каменного угля, малиново раскаленный бок ржавой печки, едва спасающий ребят от холода, и тоска по дому, и крестьянский труд, и лапти, узнал все тяготы, какие нес воюющий его народ: и кровь, и грязь, и вши, и болезни, и хлеб, кислый

запах которого туманил голову, с болью выдавливая голодную слюну. Все это было.

А эта девушка, его ровесница, прошедшая, наверное, такой же, а может быть, и более трудный путь, чем он, дождавшаяся, как и он, победы, говорит теперь с детской радостью, что она из дома, который своими строгими ампирическими формами торжественно светится за деревьями. Говорит так, будто понятия не имеет, почему она в этом доме, как если бы вкусные завтраки, обеды и ужины, чистое белье, уход санитарок и врачей вскрыли ей голову и она решила, что попала в санаторий и что ей наконец-то очень повезло в жизни.

— Тут хорошо, но немножко скучно,— говорит она, поглядывая на фибровый чемоданчик молодого человека.— А вы тоже сюда?

— Нет,— выдавливает из себя Ипполитов.— Мы сюда на практику. Там где-то беседка... Я из художественного училища... Там старая лепка. Лепнина гипсовая... И вот мы... А вы тут никого не видели больше? Мы договорились, а я, наверное, первый...

Он очень смущен, будто обидел девушку, сказав, что не сюда, не в этот дом, что у него иная жизнь, ни на что он не жалуется и пока вполне здоров. Но в ней сияет такая радость!

— Вы художник?— с придыханием спрашивает она, окутываясь шевелящейся дымкой вскинувшихся бровей, волос, слово «художник» звучит для нее мечтательной музыкой.— Да, да, там над Яузой, над речкой, старинная беседка с колоннами, там на потолке... там голубой потолок и там... ангелы...

Ипполитов знает, что не ангелы, и хмуро улыбается, боясь поправить ее, сказать, что это амуры.

— Ангелы разве бывают со стрелами?— спрашивает он, набравшись храбрости.

— А вы видели?

— Это амуры,— говорит он, не чуя земли под ногами.

Смущена и девушка, догадываясь, что амуры со стрелами, маленькие эти пузатенькие дети, наверное, для того, чтобы...

— Ах, это они,— говорит она.— Да, да, конечно, со стрелами...

Оба нечаянно прикоснулись звуком своих голосов к таинственному слову, произнеся его весенним утром на пустынной, недавно просохшей от талой воды дорожки среди листьев, и слово это, смутившее их, каким-то загадочным образом насторожило девушку. Лицо ее определилось вдруг

в мгновенной задумчивости, опростилось и стало доступным для разглядывания. Тени под глазами, румянец на щеках, очень яркие губы и большие розовые глаза, отражавшие цвет пальто.

— Я больше никого не видела,— удивленно сказала она.— Вы, наверное, первый.

Каждое слово теперь, сказанное звуком ее голоса, стало казаться Сереже Ипполитову многозначительным обозначением чего-то гораздо большего, чем понятие, точно она не просто говорила, отвечая ему, а нарочно подбирала слова, чтобы намекнуть ему, что он первый. Не здесь, не в этом парке, а вообще в ее жизни первый! Он был почти уверен, что так оно и есть на самом деле, потому что, когда он услышал, что он первый, она не только звуком своего голоса подтвердила это, но и взглядом своим уверила его. Он остро чувствовал, что ему тоже надо сказать ей что-то такое, чтобы она обязательно поняла и ощутила рядом с собой его остановившуюся жизнь, а именно это состояние испытывал он, как будто всякое движение в нем остановилось в изумлении перед явившейся красотой этой слабенькой жизни, прошлое, настоящее и будущее — все замерло в смятении и в ожидании чуда. Она должна знать об этом! Она ведь может не догадаться! Это он такой догадливый, а она, может быть, ничего еще не понимает.

Но слов, которыми он мог бы сказать ей об этом, не было в нем. И он очень испугался вдруг, что не успеет ничего сделать, когда увидел пожилую женщину в валенках и галошах, подходившую к ним по дорожке.

— А я смотрю, где ж моя Люся,— сказала она, прикрывая рот шерстяным платком.— А она тут с кавалером разговаривает. Здрате наше вам.

Сережа Ипполитов оскорбленно посмотрел на нее, кося глазом, и кивнул, спрашивая тут же взглядом у девушки, что ему делать с этой теткой.

— Это тетя Нина,— живо откликнулась девушка.— Мы с ней вместе живем... Меня, вы слышали, как зовут, а вас? Это, тетя Нин, художник!— радостно воскликнула она, прижимаясь грудью к старухе и не спуская при этом глаз с незнакомца.

— Только нас и рисовать,— проговорила женщина.

— Я не рисовать, а работать,— сказал Ипполитов, чувствуя себя так, будто эта женщина имеет право на внимание девушки в ущерб ему.

Сережа Ипполитов был влюбчивый подросток, уверенный

в непогрешимости своих чувств, сила которых как бы освободила его от верности и постоянства, от этих презренных качеств старости, казавшихся ему чуть ли не лицемерными и лживыми. Его влекла лишь острота чувства, а когда оно притуплялось, он искал новизны и ни с чем не считался, не зная жалости, как завоеватель в чужой стране.

Не позже чем сегодняшним вечером, в назначенное время у часов на Выставочной площади, где делает круг трамвай, издающий высокий воющий звон колесами, он встретится с другой девушкой, которая еще вчера казалась ему необыкновенной и которая очень любила целоваться, доводя себя до дрожи, до иступленного состояния, до холодного пота, останавливая Сережу влажными и сильными пальцами, когда он позволял себе лишнее, дурея от ее поцелуев. И он знал, что сегодняшним вечером в парке, в который они пролезут через пролом в ограде, известный окрестным ребятам, ходившим в парк бесплатно, он уведет свою податливую девушку в сторону темного Нескучного сада, найдет скамейку, не занятую другими, и начнет, как и прежде, целоваться с ней и гладить ее упругие коленки. Но это будет в последний раз.

Он уже предчувствовал, представлял себе другие встречи и, тайно радуясь, торопил время, думая, как бы скорее избавиться от надоевшей вдруг дуры, которая стала ему казаться такой ничтожной, такой толстой и здоровой кобылой, что все его прежние чувства к ней отдались в нем ноющей болью, словно его до сих пор жестоко обманывали, но он наконец-то прозрел и должен теперь безжалостно наказать за обман.

Именно обманутым понимал себя влюбчивый этот подросток, когда наступала пора нового его увлечения.

— Меня зовут Сергеем,— сказал он, не замечая старой тетки, кашляющей в платок, сказал с обидой в голосе, давая уже понять своей избраннице, что недоволен ею за ее внимание к тетке.— Я буду там, наверное. Если хотите...

— Я приду,— ответила она, опередив его.— А вы помните мое имя?

Он знал о себе, что красив и талантлив, что нравится девушкам и даже двадцатилетним «старухам», над которыми всякий раз смеялся, замечая, как они любят им и строят глазки. Он был из тех, кто в юные годы выглядит старше, а в преклонные — моложе своих лет. Сизые его глаза, угрюмо

выражавшие обиду или угрозу, были малоподвижны, как пасмурное небо, отразившееся в притихшей воде. Ни всплеска в них, ни волнения — одно лишь напряженное, пронизывающее холодом внимание, требующее покорности и ответного внимания, как если бы он с карандашом в руке разглядывал натуру, стараясь понять и уловить не столько телесную, плоскую, сколько духовную ее суть.

С отроческих лет он любил рисовать, а после войны, вернувшись из эвакуации, набросился на краски, масляные и акварельные, грунтовал холсты, натянув их на самодельные подрамники, завел дружбу с одноклассником, ходившим в студию и знавшим рецепты грунтовки и технику масляной живописи, делая копию со старой открытки — пейзажа с коровами, пьющими в мелкой речушке воду. Корова, которая подняла голову, особенно хорошо получилась у него — с губ ее, влажных, блестящих в солнечных лучах, падали в речку капли воды, отражения живо колебались в течении речки. Сочная, яркая, картина эта удивила родителей, которые впервые всерьез задумались над способностями сына. Нашлась для картины дубовая рама и место на стене.

Он входил с бумагой, карандашами и ластиком в парк и, не зная никакой школы графики, усевшись в укромном местечке, рисовал парковые скульптуры. Начинал он рисунок с головы или с ноги, не делая никаких набросков, прикидок, разметок. Глаз его был настолько точен, что, заполняя лист бумаги штрихом, он в конце концов дорисовывал последнюю деталь скульптуры, не нарушив пропорций тела, словно бы на чистом листе ватмана ему с самого начала был виден рисунок, каким он должен быть, и оставалось лишь заштриховать, расположить свет и тени на этом несуществующем рисунке.

Однажды, когда он заканчивал рисунок бронзовой девушки с кувшином, сзади к нему подошел какой-то мужчина и долго смотрел, как он работает, как мягкий карандаш его в полную силу тона уверенно продвигается к голове девушки, которая не была даже слегка намечена на бумаге и вырастала на глазах у зрителя. Сережа ждал похвалы. Но услышал критику: так не рисуют, так нельзя, так никогда ничего не получится, а то, что он делает, гораздо лучше сделает обыкновенный фотоаппарат.

Слышать это было обидно, и он подумал, что критик ничего не понимает, потому что сам он считал этот рисунок удачным. А когда его обижали, он злился. Разозлился и на этот раз, с трудом сдерживая желание наброситься на

критика с кулаками, как он частенько поступал со своими ровесниками. Смуглое его лицо обметала бледная серость, глаза потемнели, наливаясь черной ненавистью, дыхание перехватил спазм, и он с трудом выдавливал из себя гневные слова.

— Идите отсюда! Чего вам надо?— с бешенством выкрикивал он, глядя в упор на обидчика и прикрыв грудью изруганный рисунок, как будто это было его детище, а он был отцом этого несчастного уродца, над которым поиздевался равнодушный прохожий.— Идите, не мешайте! Как хочу, так и рисую. Чего уставились?

— Дурачок!— сказал ему мужчина почти с нежностью.— Ах какой ты! Но молодец! Правильно, хотя и грубо. А художник имеет право грубо разговаривать только с королями. Я же не король!— Сказав это, он рассмеялся.— Дай-ка твой рисунок. Дай, дай, не бойся... Я не испорчу. И карандаш дай... Уж больно ты... Но молодец! Надо защищаться, конечно... Мало ли критиков... Молодец!— говорил он остывающему рисовальщику, а сам что-то писал тем временем на бумаге.— Меня, пожалуйста, слушайся впредь. Будь уж так любезен.

Это был адрес художественной школы, куда его пригласил на занятия добрый человек, не ведая, какую страшную беду накликает он на голову парнишки своим приглашением, своим вниманием к нему и помощью, какие страдания заложит он в душу мальчика, направляя его на жесточайшее попрание художника.

— Спасибо,— мрачно проговорил Сережа Ипполитов и чуть не расплакался от радости и смущения.

Бронзовая девушка лила из кувшина воду и полусонно улыбалась из своего прекрасного далека, из которого пришла она, размноженная по всему свету мастерами, в этот уголок московского парка. Вода лилась с бесконечным певучим журчанием... Сережа Ипполитов с горящим от стыда лицом подошел к маленькому круглому бассейну фонтана, вода в котором волновалась и, преломляя солнечные лучи, мягко играла бликами на замшелом донышке, уселся на цементный овальный бортик, бездумно уставился на прозрачную, завивающуюся в косичку струю, чувствуя страшную слабость во всем теле, будто случайный этот прохожий вынул из него душу, лишив уверенности, и вдохнул великую надежду...

Это был первый в жизни профессиональный художник, увидевший его работу.

«Я буду художником,— сказал себе в тот день Сережа Ипполитов и, подумав, сердито и даже с какой-то угрозой сказал еще:— Я буду великим художником».

...Сергей Васильевич Ипполитов не стал, к сожалению, ни великим, ни просто известным художником. И нельзя его винить в этом, потому что художником, если поразмыслить, стать невозможно — есть редкие исключения из правил. Он не стал этим исключением. А людей, которые что-то лепят из глины, высекают из камня, что-то пишут красками, людей этих много, и затеряться среди них ничего не стоит. Тем более что Ипполитов, самолюбивый, ветреный человек, усвоивший в первую очередь право грубо говорить с королями, бросил образование на полпути, увлекся лепкой, большими заработками и свободой, кутежами, женщинами, работая мастером первого класса в лепной мастерской Дворца Советов. А когда лепной работы не стало и нужно было думать о будущем, Ипполитов понял однажды, что пропал. К тому времени он был женат, у него был участок земли в Подмосковье, маленький домик и плодоносящий сад. Но у него не осталось главного — профессии, которая погибла, не принеся ему не только славы, но даже признания в художественных, архитектурных кругах Москвы.

Облупившийся купол голубых небес с пожелтевшими от времени кучевыми облаками, с вершин которых курчавые дети целятся из лука, порхая на крылышках над лепным карнизом, разрушенным дождями и морозами долгих-долгих лет.

Ах, какая это была весна!

Погода? Нет... При чем тут погода, пейзажи, запахи! Голод, который надо было чем-то утолять, прекрасная погода, заставлявшая двигаться, мыслить, добиваться, требовать, стучаться в двери, ненавидеть и очень нежно любить такую же изголодавшуюся живую девушку, мечтающую о будущей сытой жизни, о торговле без карточек, о хлебе не по талончикам, а о большой, тяжелой, теплой буханке на двоих, о сытости во имя будущей жизни, которую надо выкармливать молоком из упругой груди... Надежда — так называлась погода той отдаленной весны. Она светила во всем, эта радостная надежда.

— Ты скоро поправишься,— говорил Сережа Ипполитов.— Я слышал, есть новое лекарство, его очень трудно достать, но я достану, я разобьюсь в лепешку. Когда что-

нибудь захочу, я добьюсь. Это лекарство называется... как-то очень... не помню... Но я...

— Пенициллин,— говорила ему возлюбленная, от которой, казалось, пахло теплым паром слабенького тельца, коротким дыханием впалой груди.— Его не достанешь. Я знаю, у нас все говорят. Но нам сказали, что скоро будет, так что ты не беспокойся. Еще очень много раненых... Есть такие тяжелые раны, люди до сих пор в госпиталях, что ты! Даже не пытайся, это нехорошо, потому что тогда не достанется раненому этой крошечки... А она, может, жизнь ему спасет. Нет, не вздумай... Я хорошо себя чувствую, меня скоро выпишут. Пожалуйста, не надо,— говорила она и с усилием гладила прозрачными продолговатыми фалангами пальцев тугие его волосы, ласкаясь щекой о его уже бритую, слегка покалывавшую, шуршавшую щеку.

Закатное солнце золотит недвижимый, сиреневый, как облако, куст заводского дыма над окраиной Москвы. Чирикают воробьи, поют, как умеют, на вечерней заре, рассевшись на тлеющих ветвях. Яуза в каменных берегах уже дышит холодом, отсырев без солнечного света. Свет этот затмит пыльными лучами пепельные дали, замерев на круглых дымчатых стволах и на земле меж тьмою длинных их теней. Темен синий купол ротонды, черны трещины и щербины ионических колонн, оранжево светящихся на закате. Темен лик возлюбленной, отвернувшейся от зарева, черны губы, шепчущие: «Я хочу стать женой... Сережа, твоей... Я не боюсь... Правда, не боюсь, честное слово. Ну и что ж, что... Правда! Сережа...»

Осенью она умерла от скоротечной чахотки.

«Ну и что ж, что...»— слышит Ипполитов, дрожа на ветру, и, не в силах унять этой дрожи, спрашивает у тети Нины, с которой жила когда-то рано осиротевшая девочка:

— А где она... ее похоронили?

— Сожгли в Донском крематории. Там, в колумбарии, на полке... под каким-то, наверное, номером...

«Ну и что ж, что...»

Оттуда на кладбище Донского монастыря, не найдя урны и не очень стараясь отыскать... Слезы каменной драпировки, плач надгробия, изваянного великим Мартосом, скорбь замшелого, потемневшего камня. Пестрота желтых листьев в безмолвии черных тесных могил. Шорох еще одного падающего, царапающий сердце, пугающе громкое падание

пятипалого листа лимонного цвета, смертельно холодной звездой легшего у ног.

«Ну и что ж, что... — испуганно стучит кровь в висках. — Ну и что ж, что...»

— Великим художником, — в немоте говорит вдруг Ипполитов с тяжелой угрозой в голосе. — Великим! Только великим!

Точно смерть возлюбленной — еще один порог на крутом подъеме к тщеславию. Всего-то...

Большая Спасская улица, криво пролегла между Садовым кольцом и Каланчевкой, постепенно застраивается новыми домами, становится многолюднее. На месте двухэтажных, в которых жили когда-то пять-шесть семей, воздвигаются высоченные коробки, рассчитанные на проживание сотен. Улица теряет лицо. Люди из новых домов смотрят на нее с высоты своих балконов с равнодушием гостей, заброшенных сюда по воле случая. Никто из них не родился здесь и вряд ли умрет, потому что теперь это принято делать в больницах, перебираясь потом с помощью санитаров из палаты в морг, а из морга на кладбище, под бугорок с цементным столбиком. Но старые дома, штукатурка которых похожа на измятый картон; все еще улыбаются прохожим перекошенными окнами. Пугают весной кошачьей тьмой подъездов или нависшими сосульками, с которыми ведется борьба в дни половодья, в дни таяния ледяного черепа зимы. Какой-нибудь смельчак, привязавшись за трубу веревкой, стоит с ломиком или лопатой на краю крыши и ударяет по жестяному водосливу. А внизу на тротуаре, огороженном веревкой, управляют аварийной работой еще несколько человек, покрикивают на зевак, которые, ничего не замечая, идут как заведенные по привычному пути, кричат тому, кто на крыше, подсказывают, хорошо ли идет дело или нет — тот, кто на крыше, не видит, отвалились сосульки или нет. «Еще разочек! Здоровая, зараза! — кричат ему жэковские добровольцы. — Вдарь еще!» А тот, что наверху, укрепившись в стойке, нащупав чуткой, упругой ногой опасный край неверной жести, бьет опять наугад по ледяному наплыву, и на этот раз удачно. Снизу видно, как после удара, звук которого теряется в шуме улицы, ледяная масса сосуллек отделяется от крыши и, стеклянным промельком скользнув в весеннем воздухе, с хрустящим хлопком врезается острыми иглами в тротуар, разлетаясь осколками.

Солнце голубым и золотистым огнем играет в груди разбитого льда. В мутные лужи робко текут струйки чистой воды. Шумно и мокро на улице. Солнце в ледяных осколках, грязные брызги из-под колес. И кажется, будто улица — река, на которой в разгаре ледоход.

На Большой Спасской неподалеку от знаменитого ломбарда, не раз выручавшего многих москвичей, стоит между старыми домами кирпичное здание школьного типа. Оно построено на месте снесенной церкви, о чем напоминает чугунная решетка ограды, выходящей полуразрушенными столбами на улицу. Теперь там разместился, кажется, техникум; до войны была школа; в военные годы, всего вероятнее, госпиталь, а в сорок седьмом художественно-промышленное училище объявило первый набор, собравший под крышу этого здания одаренных людей, которым выпала честь продолжать традиции старого Строгановского училища. Стране нужны были мастера альфрейных и лепных работ, краснодеревщики и чеканщики, специалисты самого высокого класса, способные, если понадобится, фресками и лепными украшениями в бронзе, камне и дереве прославить отечество. Собрали в этом здании фронтовиков, а вместе с ними и мальчишек с девчонками, едва закончившими седьмой класс средней школы, чтобы все они, пока не поздно, успели перенять у состарившихся мастеров их искусство. И это было, конечно, разумно и по-хозяйски расчетливо сделано, потому что каждая профессия, особенно такая тонкая, например, как альфрейное или лепное дело, жива прежде всего в руках мастеров, в чутких их пальцах, в простеньких на первый взгляд, но очень важных секретах, о которых не расскажет ни один учебник, как бы глубоко он ни освещал предмет. Профессии ремесленников переходят только из рук в руки, а тайны их раскрываются только тем, кто способен внимать голосу мастеровитых рук, ловить на лету сноровистость их движения, стараясь запомнить и усвоить бессловесный этот урок, который важнее всяких теорий, объясняющих процесс. Не кто иной как ремесленник придумал, наверное, поговорку, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.

Все это, несомненно, так! И да здравствует ремесло, украшающее жизнь человека! Но вот в чем беда. Молодые люди, а особенно пятнадцатилетние подростки, собравшиеся в этом училище, заносились в дерзких своих мечтах так высоко над прозой обыденного ремесла, что мало кто из них всерьез собирался посвятить себя этому полезному делу. И если ка-

кой-нибудь мальчик учился на скульптурном факультете, на отделении подготовки мастеров, или, как тогда сокращенно называлось, на ОПМ, то он и думать не хотел о славе, например, старого преподавателя, милейшего и добрейшего Михаила Васильевича Бучкина, а мечтал, конечно, быть на равной ноге с Роденом или Антокольским, в душе посмеиваясь над стариком, обучавшим его изяществу линий и форм.

В этом, наверное, нет ничего уж очень плохого, многие начинали с панибратского отношения к гениям — молодости вообще свойственно примериваться к вершинам человеческих знаний и дел. И это естественно, потому что именно гордыня и позволяет чего-то большего добиваться каждому новому поколению по сравнению с предыдущим. Кажется, именно это и называется прогрессом?

Однако есть тут маленькое «но»... Это совсем не годится для таинственной и, можно даже сказать, смутной, чувственной области искусства, где вершины остаются навеки непокоренными.

Многие человеческие знания, считавшиеся непоколебимыми, со временем устаревали и становились наивными, многие изобретения человеческого гения отжили свой век, уступив место более совершенным. И только творения великих художников с годами кажутся все более прекрасными и истинными. Наверное, в этом и кроется неразгаданная тайна искусства.

Не наивны ли, кстати, попытки электронщиков создать машину, которая могла бы творить? В области художественного творчества это, увы, очень трудно сделать, потому что она будет работать скорее всего по принципу прогресса — сегодня лучше, чем вчера. В то время как в истории искусства сплошь и рядом бывает наоборот — вчера лучше, чем сегодня. Машина должна развиваться по законам человеческого мозга, день ото дня накапливая знания, ощущения, эмоции, познавая аффекты и их скрытые механизмы. Но ведь человечество тоже не дремало и значительно поумнело за последние, скажем, триста лет. Почему Рафаэль остался непревзойденным? Как же машине решить эту задачу? Ведь ее прототип не в состоянии это сделать. Все его знания, весь накопленный опыт, изощренность мыслительной и чувственной деятельности — все это ни на йоту не продвинуло его за сотни лет к постижению таинственной силы, исходящей с холстов художников.

Впрочем, да здравствует и электронный мозг, если он ве-

рой и правдой послужит человеку будущего. И пусть стараются мальчики, стирают в прах именитые авторитеты, по праву занимая высшие места на неверном пьедестале, с которого их обязательно сбросят подрастающие дети.

Всеми этими досужими рассуждениями Сережа Ипполитов, конечно, не засорял себе голову в те далекие годы, когда он легко прошел конкурсные экзамены и поступил учиться в Строгановку.

Резкие и нервные, обгоревшие, безногие, с бледными шрамами фронтовики, молодые еще ребята, усевшиеся за столы изучать историю искусств, вызывали в Сереже двойное чувство. Он относился к ним примерно так же, как к своему отцу, вернувшемуся с фронта, или к дяде, потерявшему руку, и поэтому все они казались ему очень старыми. Но когда он увидел, как они рисуют, ему стало неловко за них и обидно за себя, словно экзаменаторы, приняв его в училище и посадив за один стол с этими бездарями, уравнивали его с ними, щелкнув таким образом по носу. Отчасти самолюбие его было, конечно, удовлетворено — он учился с фронтовиками на равных, но, поступая в училище, рассчитывал встретить равных себе по силе таланта ребят, знакомством и дружбой с которыми он мог бы гордиться. А тут получилось, что его приняли как бы в класс отстающих учеников, второгодников, посчитав в суматохе приемных дел таким же двоечником, как и все они, старые эти, злые на вид и замкнутые в себе люди. И он разочаровался, как будто его приняли в училище на общих началах, ничем не отметив и не выделив среди других, на что он тайно рассчитывал.

Если бы хоть один из этих не остывших еще после войны, не успевших привыкнуть к новой своей роли в жизни, жадных до знаний, усидчивых ребят мог догадаться о тайных мыслях горделивого мальчика, быть бы беде. Но они, не успев накопить жизненного опыта, познав лишь опыт духовный, приняли молчаливую обособленность талантливой мальчишки за естественную скромность. И когда он, закончив, например, рисунок головы гневного Давида, с той же гневной непосредственностью отвергал все их искренние похвалы, им казалось, что он, как истинный талант, недоволен своей работой и тем более похвалой товарищей. Не догадывались, что Сережа Ипполитов просто игнорировал их, не принимал всерьез восторженных оценок.

Ему, недавнему школьнику, неприятны были внимательные лица этих мазил, как он их называл, когда они выслушивали замечания педагогов, без спора соглашаясь с каждым

их словом; неприятна была их исполнительность, казавшаяся ему угодливой, и та кропотливость, с какой работали они в мастерской, постигая азы лепного искусства.

Если бы они знали об этом! Они, которые с трудом верили в свое счастье, попав в художественное училище, под опеку знаменитых мастеров, подавленные и растерянные на первых порах, словно бы и карточка в столовую и обмундирование — черные шинельки, ботинки, диагональные брюки, выданные бесплатно, — внимание учителей, тишина рисовальных классов и лепной мастерской, детскость и сказочность всей этой обстановки даны им не по заслугам, словно они и так уже были обласканы жизнью, вернувшись живыми домой, а те три года учения, три года беспечной и сытой жизни, щедро подаренные им, были так неправдоподобны и удивительны, что они все время чувствовали душевную потребность быть благодарными всем людям, окружавшим их, как если бы каждый из этих людей внес свою долю в их удачу.

А к Сереже Ипполитову все они относились с особенной любовью, будто бы именно он, юный этот, талантливый, самый молодой в группе человек с обиженным и сердитым выражением сизых глаз, невольно поделился с ними надеждой и верой в то, что и они тоже успеют в жизни, которая совсем недавно казалась им пропащей, прославить свое имя, во что без всякого сомнения верил этот юнец.

Чудесное заблуждение славных этих ребят в конце концов струнуло лед в душе самолюбивого гордеца, он почувствовал себя капризным баловнем, раскрепостился, повеселел, стал пробовать свой голос в тиши мастерской.

— «Мое сердце восторгом трепещет!.. — напевал он песенку из «Риголетто». — Где нет свободы, там нет и любви...» — звонко выводил любимую эту песенку, ломая красивый голос на высокой ноте, срываясь и начиная вновь: — «...восторгом трепещет!..»

— Сереж! Хватит орать, — добродушно просил его кто-нибудь из ребят.

Ему же теперь нравилось дразнить их:

— «Если мне полюбилась красотка... то сам Аргус...» Это же Верди! Вы что! — кричал он, работая стеклом и задиристо улыбаясь. — Это же знаменитая песенка Герцога!

— Твой герцог тот еще ходок! — говорил кто-нибудь угрюмым баском.

Хохот приплясывал в мастерской, перебиваемый покашливанием прокуренных глоток.

— Жалко мне вас!— оскорбленно вспыхивал певец, пытавшийся шуткой сбить насмешку.

У Сережи Ипполитова установились довольно странные отношения с фронтовиками, которые все прощали ему как малолетке. И если он иногда у кого-нибудь спрашивал: «А ты хоть одного убил?» — а тот смущенно отвечал: «Стрелял. Не знаю»,— Сережа мог себе позволить хлопнуть его по спине и сказать: «Мазила! Небось жмурился от страха...» И передразнивал: «Не знаю». Ты хоть целился?» — повергая в краску фронтовика, не находившего в себе сил рассердиться на парнишку. «А ты картошку когда-нибудь ел?» — спрашивал у него застенчивый фронтовик, слезливо улыбаясь в табачном дыму. «Ну и что? Ел».— «С головы или с хвоста?»

В мастерской, большие окна которой выходят во двор, сытно пахнет жирной, влажной глиной. Голубовато-холодная, она легко вбирает в себя тепло пальцев, разминающих ее, и, эластичная, покорно подчиняется им, умелым и неумелым, являя собой акантовый лист или вьющийся орнамент, радуя или печалю ученика, привыкающего к податливой ее, живой нежности.

В лепной мастерской Сережа Ипполитов ничем не выделялся среди своих сокурсников, ему никак не удавалось наполнить жизненным соком пластический рисунок, который не слушался его рук, раздражая и зля, как если бы эта глина была упрямой собакой.

Здесь, в этом светлом зале, заставленном верстаками и деревянными щитами, на которых работают ребята над орнаментом, Сережа чувствует себя неуверенно, скрывая свою неуверенность заносчивой бравадой.

— Печником пойду!— кричит он, смятая ударом кулака неподдающийся материал.— Не крутится у меня ничего! Михал Васильевич!

Смеется, злится, кривя сочные, крупные губы, судорожно мнет в кулаке ненавистную глину, не сводя глаз с испорченной работы, которую надо исправлять.

И лишь к концу учебного года, к весне, пальцы его начинают чувствовать глину, ощущать ее нежную слабость, которую необходимо уберечь и обратить в мимолетную и словно бы случайно состоявшуюся красоту акантового листа.

К тому времени пальцы его стали очень чувствительными, кожа на подушечках утончилась от постоянного сопри-

косновения с глиной и приобрела шелковистость. Когда он расчищал скорпелью ионики от наслоений сухой побелки, которая отлетала от них яичной скорлупой, он вдруг с изумившей его чуткостью ощутил первозданную красоту этих обнаженных, открытых свету пластических форм. Отлитые из нежного, тонкого гипса, они были наполнены странной, загадочной жизнью, которую вдохнул в них безымянный мастер.

— Ты посмотри, как все это просто!— говорил он той, которая приходила.— Потрогай пальцами... Ты ощутишь, какая упругая красота! В чем тут дело? Так просто и так красиво! Я так не умею. Не-ет... Это тайна!

И она соглашалась с ним, хотя, покоренная его восторгом, не могла понять этого восторга.

Однажды среди зимы он привел сюда другую девушку, которой хотел показать ротонду, похвастаться работой. Было морозно и снежно, мерзли пальцы. Девушка, когда они остановились на расчищенной площадке парка, стала приплясывать, согреваясь. Из рта у нее постреливал пар. Лисий воротник, тонкой остью касающийся щек, заиндевел. Шерстяные варежки пустые болтались в рукавах, она сжала пальцы в кулачки и, боясь обидеть Сережу, терпеливо улыбалась, спрашивая обмороженным, радостным взглядом, что они будут делать дальше.

Он увидел заснеженную ротонду, скользнул торопливым взглядом по искрящейся поверхности золотистого склона к Яузе, утыканного черными колоннами стволов, заметил среди снежных искр крохотное хрупкое соцветие липовых семян, похожих на горошины черного перца, вздрогнул в зябкой судороге и стремительно подхватил под руку свою подружку, с которой они побежали, спасаясь от мороза, прочь из неприступного парка.

После этого они ходили по Москве.

Пальцы скачут по клавишам. Пляшут, беснуются маленькие розовые ножки Нифа, Нафа, Нуфа, толстенные, пухленькие, с лакированными острыми копытцами, они перепрыгивают с черных клавиш на белые, с белых на черные, слева направо, справа налево, издавая чуть ли не чечеточный ритм быстрого фокстрота. Радостный танец поросят, перехитривших волка, крикливый, яростный звук, отраженно выстреливающий из каждой стены комнаты в уши, в виски, в лоб, в затылок оглушенного Сережи Ипполитова, который

сидит на деревянном диване и ест пирожок с капустой.

Волна белесых, ярких волос вздрагивает на упругой пояснице, обтянутой темно-зеленым шелком, мелькают локти прыгающих по клавишам рук. На пианино свеча в бронзовом подсвечнике и тарелка с жареными пирожками, вкус и запах которых напоминают Сереже довоенную елку, первый день Нового года, когда в полусвете комнаты, в блестящем кафеле хорошо протопленной голландки колеблются смутные отражения свечей и разноцветных шаров, когда все самое вкусное на столе, а все веселое и радостное в прыгающем сердце, а впереди каникулы и снежные игры в очень своем, отгороженном от внешнего мира, пушистом, зимнем дворе.

— Ешь еще! — кричит ему девушка, в беглом повороте бросая пирожок, который он ловит на лету. Не прерываясь, она колотит и колотит по жирным клавишам, выбивая очень громкие, дробные, колкие звуки.— Тебя откармливать надо! И развлекать... Я буду развлекать тебя, хочешь?

Сережа Ипполитов, жуя пирожок, улыбается, думая про нее, что она дурочка, что от ее развлечений он когда-нибудь взорвется, но вот насчет кормежки...

— Я не против,— говорит он, чувствуя себя бывалым сказочным солдатом в походе, которому по чудесному волшебству выпал случай подхарчиться со стола боярской дочки, влюбившейся в него по прихоти. Весело ему от сознания своей военной хитрости и легко на душе.

Дом этой девушки полон всяких вещей и вещичек, которыми забиты комнаты и которые ползут как будто с пола на стены, а со стен на высокий потолок, блистая лаком дерева, гранями фарфора и металла, ненужные и нужные, свезенные сюда из другой страны, оказавшиеся здесь тоже по случаю, как и сказочный солдатик в плохих ботинках, сидящий на скользком диване из темно-вишневого красного дерева, удобном и неудобном, странном и непривычном, с деревянной овальной спинкой, с глубокими подлокотниками, такими же полированными и скользкими, как и широкое сиденье.

На этом диване девушка мучается по ночам оттого, что матрасик скользит и сползает на пол, оттого, что мысли все время тоже скользят, уносятся в сиреневые заросли, в поцелуи и в прочую желанную и томную муть, без которой она давно уже чувствует себя одинокой и несчастной, ужасно уставшей от родительской, раздражающей ее любви.

Девушке восемнадцать! Оставьте ее в покое! Не может же она влюбиться в первого встречного! Ну их всех, ну их! Ей нужен особенный, талантливый, умный и обязательно

красивый. Неужели никто не понимает, что она тоже особенная, умная, талантливая, не говоря уж о красоте? Оставьте ее в покое!

Когда узнала, что он художник, увидела его глаза и губы, примерилась к его росту, она схватила его за руку и сказала себе: «Я пропала. Он будет мой, или я пропала».

Она, конечно, не схватила его за руку в буквальном смысле, хватка ее оказалась куда крепче: она стала поклонницей его таланта, не уставая восхищаться всем, что он делал: рисовал ли ее портрет, писал ли пейзаж акварелью, пел ли свою любимую песенку или лепил барельеф.

Сережа Ипполитов ошибался, думая, что она дурочка!

В громоздком доме, оштукатуренном с фасада, но не отделанном с тыла, неряшливо нависающем над двором голдой кирпичной кладкой, ржавыми балкончиками, железными пожарными лестницами, в четвертом подъезде, на четвертом этаже жили в своей квартире Попутины, которых знали многие жильцы этого подъезда и почему-то побаивались. Особенно самого Попутина, его внимательного, улыбающегося, всезнающего взгляда. Боязнь эта была особенная. Никто не знал, где он работает и чем занимается, почему и за что за ним каждое будничное утро приезжает «Победа» мышинового цвета, привозя обратно очень поздно, и почему этот внимательный, улыбчивый человек никогда не отвечает на приветствия соседей, а только всезнающе останавливает на мгновение свой исподлобный взгляд и прищуривается. Люди побаивались его как бы на всякий случай. Здоровались тоже на всякий случай, думая потом с неприязнью об этом невежливом человеке, но, ничего о нем не зная, надеялись Попутина неведомой силой. А неведомую силу люди испокон веков опасались и без нужды на рожон не лезли.

Коренастый, сутуловатый, с неживыми, обвисшими плечами, точно с ярмом на шее, он ходил легким, хотя и шаркающим шагом, был подвижен и быстр, неожиданно появлялся и исчезал из комнаты дочери, был бесконечно ласков с ней, не скрывая отцовских своих нежностей, как если бы дочь пребывала в младенческом возрасте. Очень беспокоился за нее, когда она задерживалась, не находя себе места, прислушиваясь к голосам на улице и к шагам, к шуму лифта. Когда же она появлялась, невредимая и здоровая, плакал от счастья, не стыдясь слез, сквозь зыбкую призму которых смотрел на своего идола, поглаживая по плечам и

целуя, помогая дочери раздеваться, подавая ей туфли, халат, зажигая горелку в ванной, чтобы большая холодная комната успела прогреться.

Человек этот невзлюбил Сережу Ипполитова за то, что тот художник. Страдая от сознания, что дочь увлеклась художником, при каждом удобном случае велеречиво и хитроумно старался намекнуть ей, что художники — легкомысленные, самолюбивые, тщеславные, ни на что не годные люди. Ужасался при мысли, что дочь его может выйти замуж за этого себялюбца, представляя себе картину нищеты, и, распаляя воображение, видел плачущую, обиженную, несчастную дочь, которая просит денег взаймы, унижаясь, как нищенка, и получает отказ за отказом. Потому что кто же из серьезных людей даст взаймы необеспеченному художнику, не имеющему твердой зарплаты? А если и даст, то что же это, как не милостыня?

Но добродетельный отец, истязавший себя любовью к дочери, ошибался, полагая, что Сережа Ипполитов художник. То есть, наделяя Ипполитова всеми качествами художественной натуры и опасаясь за будущее дочери, он был очень близок к истине. Но в то же время ошибался, ибо не мог знать, что человек этот, даже учась в художественном училище, приобретая профессиональные навыки, не наделялся главным признаком, который, собственно, и делает из художественной натуры подлинного творца. Определяющий этот признак так прост и обыден, так доступен для понимания каждого, так много о нем говорят, что обычно он не берется людьми в расчет, хотя именно он и заключает в себе те черты человека, тот главный, решающий импульс в его натуре, который и выносит приговор — быть человеку художником или не быть. Признак этот или знак, которым обладает человек независимо от своей воли или желаний, — сверхъестественная работоспособность, страсть, не дающая покоя, потребность, изнуряющая человека и приносящая ему одни лишь разочарования, но вновь и вновь заставляющая браться художника за дело в тайной и счастливой надежде, не покидающей его до последних дней, что именно эта работа, это напряжение сил, эта попытка наградит его радостью познания истины.

Сережа Ипполитов был слишком легкомыслен для такого подвига, в нем не было той одаренной личности, которая толкала бы его на путь творчества, хотя он и обладал многими качествами одаренной личности. Впрочем, эти качества сбивали с толку и вводили в заблуждение в первую очередь

самого Сережу Ипполитова. Ему очень нравилось быть художником. Ему казалось, что жизнь избранников судьбы, к каковым он причислял и себя, полна счастливых минут, преисполнена праздности, богемной ветрености, детскости и всесокрушающей гордости, которая, как говорил ему первый учитель, давала право грубить королям и не признавать авторитетов. Все эти качества Сережа Ипполитов воспринял с необыкновенной легкостью, присвоил их и усугубил убогим подражанием образцам далекого прошлого, которое никак не вязалось с тяжелым послевоенным временем, выпавшим на долю Сережи Ипполитова. Он отыскивал в биографиях, в жизнеописаниях великих художников такие детали и штрихи жизни, которые лучшим образом соответствовали его собственным представлениям, и легко перенимал их, отпуская, например, волосы до плеч, воспитывая в себе легкомысленное отношение к женщинам как отличительную черту истинного художника, гордясь своей влюбчивостью, с упорством, достойным лучшего применения, стараясь быть небрежным в одежде и не утруждая себя чистоплотностью. Что, впрочем, нетрудно было сделать, потому что одежда его состояла из вельветовой курточки с вытершейся тканью на локтях и расклешенных клиньями брюк, из которых он тщетно пытался выпарить утюгом въевшиеся пятна жирной грязи. Ходить же в баню в то время было хлопотно, надо было выстоять длинную очередь, чтобы попасть в окутанное мыльным туманом, гулкое, плещущееся горячей водой, набитое бледными, согбенными телами помещение, ступив на скользкий пол которого Сережа всегда себя чувствовал обиженным и несчастным, гоняясь за освободившейся жестяной шайкой, белесой от въевшегося хозяйственного мыла, присаживаясь в тесноту голых намыленных тел, на бетонную, с мраморной крошкой, полированную плиту, занимая место для мытья с брезгливой неуверенностью чужака, осужденного на это мытье за какие-то грехи. Длинные его волнистые волосы после мытья превращались в тусклую гриву. Он не любил баню. Нос его и глаза опухали от насморка. Он страдал душою, теряя привычный облик смуглолицего, сизоглазого, вдохновенного художника, переживая послебаный период с тоской линяющего селезня, утратившего свой весенний брачный наряд.

Нет, он не был художником! Он мог безмятежно наслаждаться бездельем, забыв про бумагу, карандаш или глину, и если его однокурсники покупали пластилин, чтобы работать дома, он покупал на скудные свои деньги цветы для деву-

шек, считая, что и без того слишком много времени отдает занятиям. Он быстро уставал от рисования, от лепки, от акварели, теряя к ним всякий интерес, хотя всякий раз, начиная работу, брался за нее горячо и с азартом, стараясь с наскака сделать то, что требовало выдержки и терпеливой любви. Он уставал и, перегорая, заканчивал работу наспех, теряя к ней от усталости всякий интерес. Истинный же художник не знает, что такое усталость, для него чуждо это понятие. Мнимый ищет под разными предлогами причину отдохнуть от дела, уйти от него и забыться в развлечениях, легко оправдывая себя тем, что уже заслужил на них право.

Хотя, конечно, редкому художнику свойствен аскетизм. Мало кто умеет так хорошо и красиво отдыхать, как истовые эти работяги. Но все-таки даже в часы бравадного отдыха, бражного застолья, в веселье дружеской пирушки их неотступно преследует счастливая озабоченность, которая вдруг прорывается неукротимым желанием рисовать. Если нет под руками карандаша, в ход идет обгорелая спичка, если нет бумаги, рвется пачка из-под сигарет, чтобы на оборотной ее стороне можно было провести уверенную линию смутного рисунка и высвободить накопившуюся энергию, мучительное давление которой постоянно испытывает истинный творец.

Именно этих художников, этих сумасбродных людей суеверно боялся сутуловатый человек, обожавший свою дочь. И он ошибался, думая, что Сережа Ипполитов тоже принадлежит к ним, что несравненная его дочь может вдруг попасть в лапы бешеного гения, забывающего себя в истовом своем служении искусству, и погибнуть в ничтожной роли жены.

Если бы знал добропорядочный, велеречивый и хитроумный отец, что Сережа Ипполитов всего лишь тень этих дьяволов, спорящих с природой о совершенстве мироздания, он, может быть, изменил бы свое отношение к нему. Но и он и его жена, старомодные люди, не хотели и слышать о зяте-художнике. Загадочным образом донесли они в своем сознании до нынешних времен предвзятое отношение к артистам, художникам, поэтам как к людям низшего сорта.

Но они не замечали за собой ничего подобного, считая себя простыми людьми, трудившимися всю жизнь, умеющими презирать бездельников, к числу которых относили и художников, этих захребетников, отлынивающих от труда, в чем оба они были до изумления единодушны.

В этом своем единодушии они пошли на преступление, мерзость которого сами понимали, но ради любви к дочери, ради спасения ее будущего все-таки решились, догадываясь, что отношения их дочери и Сережи Ипполитова зашли так далеко, что пора принимать решительные меры.

Кто надоумил сорокалетнюю женщину совершить это преступление? Какие силы разбудили в дремлющем ее сознании этот коварный замысел? Глядя на ее добродушное, оплывшее жирком, часто потеющее, лоснящееся лицо, на мягкие очертания беззлобных губ, на ее улыбочивые, бледно-голубые, как весеннее небо, кроткие глаза, в которых как бы всегда слышалась радостная песенка жаворонка, трудно было поверить, что женщина эта способна совершить что-нибудь непристойное.

Неужели любовь к дочери и забота о мнимом будущем могли толкнуть ее в этот мрак? Да будь она проклята, такая любовь!

По прошествии многих лет сам Ипполитов не мог вспоминать об этом, стыдясь за людей, которые сыграли с ним изменную шутку, пряча от себя и от близких подробности случившегося с ним несчастья, тихим стоном загонял в глубины памяти тот день, когда все это случилось, стараясь забыть, выветрить из головы безумное дело, поломавшее ему жизнь.

Лишь иногда говорил он скороговоркой, морщась от душевной боли и сомневаясь до сих пор, что люди ему верят: — В двух словах... так было. Эта попросила, чтоб я снес в комиссионный ее меховую шубу, манто каракулевое... Я и понес. Сдал на свой паспорт... А тут ко мне: здрасте. Манто сдали в комиссионный? Сдал. Вот квитанция. И так далее... Меня под локотки. В чем дело? Она меня сама просила! Ей деньги были нужны... Ничего, говорят, разберемся... Вот так! Чтоб ее черти подковали! Тогда это просто было. Шпаны, хулиганья, воров всяких война наплодила... Я любил их дочку! Суматошная была девушка, веселая... Мне бы с ней легко было жить. С такими легко бывает! Поругался, помирился... и люби себе опять на здоровье. Но ведь тоже поверила!— вскрикивает Сергей Васильевич Ипполитов, выдавливая слезы из опухших глаз, которые смеются в отчаянном недоумении.— Не мне! Не мне... Что ты! Мне тогда никто не хотел верить! Я уж было совсем струхнул, думаю, ну все! А тут эти... фронтовики мои... дорогие!

Что ты! Пришли, прорвались... Что, как, почему? Их на горло не возьмешь. Все рассказал, как было. Колька этот, без ноги, скрипит протезом, скачет вокруг меня, ругает, а я плачу, не могу. Фронтовики! Они ж, знаешь, они человека насквозь видят. Сразу поняли. Что ты! Ешь твою двадцать! Спасли! Как вспомню, не могу... плачу... Я потом пройти боялся мимо этого дома, что-то во мне, веришь ты, поломалось. Пугаться стал людей... А я художник! Мне нельзя. Художник только себя имеет право бояться, замыслов своих, а я напуганный ходил, милиционеру в глаза не мог посмотреть, как преступник. Все мне чудилось, будто они с подозрением на меня поглядывают. Это, веришь ты, трудно пережить. А все равно мне впрок ничего не пошло!— орет со смехом в голосе Ипполитов, мотая головой.— Все равно дураком остался.

Измятая земля, скованная сухим морозцем, ломает ноги, ставит подошвы то вкось, то вкривь. Идти по ней и весело и приятно, как будто она играет под ногами, подставляя то бугорок, то ледяную, хрустящую ямку, то белую лужицу, иссушенную морозцем, наступить на которую радостно, как в детстве, и смешно.

Контора отделочных работ, ее бухгалтерия, выдает аванс лепщикам-модельщикам, молодым ребятам из лепной мастерской, которые как учились, так и работают вместе, направленные сюда, в эту контору, по счастливому распределению. Среди них и Сережа Ипполитов в потертом на рукавах плащишке, прорезиненном, синем, на воротник которого мать нашла цигейку, велев «застегивать горло». Грудь его нараспашку, голая шея видна до ключиц. В кармане упруго сложенные, большие бумаги заработанных денег, ни много ни мало — четыреста рублей, запах которых будоражит душу, рождает в голове всевозможные мысли с вариантами, потому что мать в этот раз велела купить на Зацепе рубашку. Рубашка, конечно, нужна. Он и так уже заправляет поглубже под воротник вельветовой курточки протертый до дыр, заштопанный воротничок единственной рубашки в полосочку. Да и тот уже перелицован и едва держится. Рубашка нужна. Хотя и жалко тратить на нее деньги. На какую-то тряпку. Но в то же время — как без рубашки? Придется покупать.

— Рубашку надо покупать!— говорит он в знобкой радости.— Поеду завтра на Зацепу, на толкучку.

Ребята посмеиваются над Герцогом, которого они совсем

еще недавно взяли на поруки, ищут подходящих слов, чтоб чего-нибудь смешное сказать, посмеяться вместе. Но не находят.

— Ты и так в рубашке родился,— говорит Николай, поскрипывая на ходу, поспешая на своем протезе, который на каждом шагу сначала подламывается, а потом выскакивает вперед, так что Николаю приходится как бы все время укрощать свою пружинную ногу, хотя он и делает это автоматически, ерзая тренированным потным туловищем в морозном воздухе.

«Тяжело ему и, наверное, обидно»,— думает про него Сережа Ипполитов, а сам смеется, понимая, что ребята одобрительно относятся к этой его затее.

— Сколько они стоят-то сейчас?

— Хорошая рубашка рублей двести...

— Обидно столько денег за тряпку!— возмущается Ипполитов.

— Зато девушки еще больше будут любить. Как увидят новую рубашку, так это...

— Чего «такета»?— смехом передразнивает Сережа.— «Такета»! Для «такеты» рубашка необязательна. Ты психологию девушек не знаешь. Увидит рубашечку заштопанную, так вся твоя. А в новой — еще поглядит, что ты за пижон... Наши девушки знают...

— Твои-то особенно хорошо знают,— обрывает его Николай с натуженным захлебом в голосе.

— Ты за всех не говори, Коля! За всех не надо,— заносчиво откликается Ипполитов, заставляя умолкнуть добросердечного Николая, молодого еще парня с бледным, белесым от седовато-светлых усов лицом, из которого как будто навеки ушла кровь, потерянная при ранении.

Незастроенная, барачная, пустынная окраина Москвы, серая в этот морозный день. Заляпанные дорожной грязью штакетники, за которыми горбятся крышами частные домики, ветвятся старые тополя. Овраг, заросший дымчатым чапыжником. Прыгающая на мерзлых колдобинах дороги грузовая машина, оглушающий грохот кузова. И опять деревенская тишина, нарушаемая чавкающим скрипом протеза.

Теснота «Голубого Дуная», деревянного, крашенного в синий цвет строения на краю шоссе, запах тушеной капусты, горячих пузатых сарделек, которые подает на тарелочке буфетчица, щелкая на счетах, наливая в граненый стакан сто пятьдесят граммов водки и пиво в тяжелую кружку.

Каждый несет осторожно этот груз, вцепившись пальца-

ми в стакан, в тарелку, в кружку, глотая слюну от предвкушения горячей, острой еды. А на синих полках, что тянутся вдоль стен, стоят пол-литровые банки с горчицей. Полка, упираясь в ребра, кажется желанной опорой. Ноги гудят от дневной усталости. Сарделька, проколота алюминиевой вилкой, лопается на зубах, брызжет пронзительно вкусным соком. Коричневая груда капусты дышит в лицо горячим паром. Горчица жжет язык и губы.

— Эх, ребята, хорошо!— говорит кто-нибудь в блаженстве.

— Хорошо,— отзывается кто-нибудь, потягивая холодное, жгуче-острое, пенное пиво.

— А-ля фуршет!— говорит Сережа Ипполитов.— Сто пятьдесят с прицепом.

Всем это кажется очень смешным, и все долго и тихо смеются, поглядывая друг на друга, обращая на себя внимание других посетителей, которые тоже жуют сардельки, снимая с них толстую кожицу или не снимая, работают вилками и зубами, тихо и мирно беседуя, никому не мешая и не позволяя даже смехом мешать себе.

Когда же и с кем это было? Ни грубости, ни пьяной колготни, ни слез, ни драк. Никому и в голову не приходило добавить к выпитому, напиток допьяна, до безобразия, хотя и деньги были, и водка в разлив, и пиво в бочке...

— Поедем завтра на Зацепу,— говорит Сережа Николаю, лицо которого в сумерках кажется зеленоватым, освещенным изнутри фосфоресцирующими приборами, как будто он в ночном полете.

— Зачем?

— Рубашку мне купим. Посоветуешь.

— Ты мать позови.

— Мать работает в воскресенье.

Долгая дорога на трамвае, пересадка на метро, а потом на троллейбус. Светящееся окошко знакомой девушки...

Мать Сережи Ипполитова работала официанткой в «Шестиграннике». Красивая, молодая, быстрая, она привыкла к своей работе, к чаевым, к полупьяным комплиментам случайного гостя, к послеполуночным возвращениям домой, когда муж и сын уже спали, а она, еще возбужденная вечерним спектаклем в шумном огромном зале, садилась за стол и в тихой задумчивости припоминала подробности, успокаиваясь, вспоминала решительного летчика, молоденького капитана, улыбалась, прикрыв глаза, и мечтательно разворачи-

вала действие, которое могло, если бы она захотела, продолжиться... Если бы она захотела...

Комната, в которой жили Ипполитовы, казалась ей в эти таинственные минуты убогой и затхлой, храп мужа и сына наводил на печальные мысли, ей казалось, что так, как живет она, могла бы жить какая-нибудь другая женщина, которой все равно, как жить, но только не она... И ей делалось очень грустно, как если бы она обречена была жить в неволе, зачем-то возвращаясь в ночные часы в душную комнату, где никто ее не встречал, не радовался, не говорил, что она красива, и никогда ничего не дарил. А там, в освещенном свежем воздухе зала, где ее называли девушкой, она ловила влюбленные взгляды, походя с профессиональной привычкой улыбаясь в ответ, делала глазки, как, например, капитану, который очень просил проводить ее, умоляя не отказываться, а ей пришлось обмануть его, незаметно уйти черным ходом, а потом по темной аллее, прячась за кустами, миновать опасное место, где он поджидал ее, решительный и очень симпатичный, совсем молодой человек, которому так к лицу была летная форма. Она вспоминала его глаза, и они ей казались очень грустными, будто серый их взгляд серым дождем повис в ресторанном зале, над столиками и над головами шумных гостей, будто дождь этот всюду был с ней в этот вечер. Теперь ей холодно, промокшей насквозь, теперь ее познабливает пугающая фантазия, и она сидит в оцепенении, представляя себе стройного летчика, который, может быть, все еще ждет ее у погасшего ресторана, в пустынном уже парке, на аллеях которого лишь шаги милиционеров раздаются в тишине да редкие их свистки.

Теперь ей очень зябко одной слушать храп своих мужиков и хочется плакать, хотя и понимает она, давно уже работая официанткой, как обманчива, иллюзорна ее разыгравшаяся фантазия, как просто все это начинается, как просто и грубо кончается, не оставляя в душе ничего, кроме стыда и раздражения, скрывааемых показной бедовостью, озорством бывалой девахи.

Храп мужа обрывается, и она слышит, как он тихо, застенчиво дышит полураскрытым ртом. Непослушными, сонными губами он смято спрашивает:

— Танюша... ты?

Она не отвечает на этот глупый вопрос — кто же еще может прийти после полуночи в эту душную, темную комнату, кроме нее; прийти, чтобы жить дальше, ни на что уже не надеясь.

— Ложись... скорее спать,— бормочет муж единственную свою ласку и проваливается в сон со стонущим вздохом облегчения: все дома.

«Дурачок ты, дурачок, капитан!— чуть ли не шепчет она, не шевельнув ни единым мускулом.— Видел бы ты все это... Разве такая тебе нужна? Спустишься со своих небес, летчик...»

Слова эти, которые вяжутся в ее сознании, звучат для нее похоронно, вызывая слезы. Но слез, увы, нет, только воспоминание о них, душевная гримаса, изображающая слезы, или горькая усмешка над несостоявшимися слезами. А это все равно.

Гудит, топчется, передвигается многоглазая, очень серьезная, озабоченная толпа; зябнет в телогрейках, шинелях, в платках и ушанках ногастая, мощная, непонятная масса людей. Ни улыбки, ни смеха, ни громкого голоса — слышно только, как глухо стучат по окаменевшей земле кирзовые сапоги, солдатские бутсы, хромовые на подковках прохари, полуботинки, туфельки, смешиваясь в общий нестройный, сыпучий гул, будто каменный уголь сыплется и сыплется из вагона на землю, разгружаемый лопатами.

Какого старья тут только нет! Рядочками стоят на земле начищенные гуталином черные, коричневые, бежевые ботинки, туфли, измятые в долгой ходьбе, подбитые, подшитые, исправленные набойками, подклеенные, подновленные, развесившие слюни полусгнивших шнурков. Пара новых сапог блестит красным татарским хромом в руках хитроглазого мужика, взгляд которого пытливо ищет покупателя, просеивая проходящую мимо толпу. Вязаное, шитое, стеганое тряпье, стираное-перестираное, любовно отглаженное, болтается на полусогнутых руках; колышутся обтрепанные женские платья, летние и зимние. Пальто, полусубки, телогрейки, вонючие тулупы ходят, накинутые на плечи, раскачивают пустыми рукавами, ожидая хозяина, который залезет в их овчинное или ватное тепло.

Серее Ипполитову страшно на этой толкучке, разметавшейся вдоль и поперек Зацепы, возле Павелецкого вокзала, охватившей своим многоликим телом дощатые будочки, поломанные заборы, киоски, сарайчики, втянув их в свою вязкую массу, как амеба втягивает пойманную инфузорию.

Боязно ему и за деньги, которые лежат в боковом кармане. Юркие типы все время снуют в толпе, находя, как мыши,

свои какие-то норы, входы и выходы в плотной людской массе.

Земля под ногами — как пересохшая печная глина. Морозец хоть и слабенький и еще не в силах подготовить логово снежной зиме, но все-таки подсушил уже землю ранним холодом, напомнил о неизбежности зимы, сжег оставшиеся листья на деревьях, скрутил их и смял.

На этой глинистой сухости, там, где народу поменьше, сидит на своей самодельной тележке на истершихся шарикоподшипниках молодой, с багровым лицом, безногий инвалид в солдатском ватнике... Обрубки его ляжек спеленаты дерматином и перекрещены ремнями. Похожие на деревянные утюги, стоят рядом с ним подручные отталкиватели, которые бог их знает как называются, но которыми сноровисто отталкивается инвалид, когда бежит на своей визгливо жужжащей по асфальту тележке, обгоняя прохожих, ловко объезжая их ноги, словно бы резвясь по-ребячьи. А теперь они, эти деревяшки с засалившимися рукоятками, стоят рядом с тележкой. В руках у парня большая губная гармошка, двухрядная, с хромированным корпусом, трофейная, издающая пиликающие, ветреные звуки, общий звон которых напоминает что-то очень знакомое — то ли русского, то ли цыганочку. Губы у парня мокрые от слюней, бесцветные глаза полны лихого веселья, бурые руки, держащие гармошку, так и скачут слева направо, справа налево. Небритые русые щеки усердно надуваются воздухом, а глаза разбрасывают веселье прохожим.

— Командующий!— кричит парень, протягивая гармошку улыбающемуся Сереже.— Видал вещь? Продается... Продавал за двести, отдам за сто пятьдесят. Тебе! Только тебе... Вижу, что талант! У меня глаз наметан! Поэт? Сто пятьдесят за музыкальный инструмент! Даром отдаю... Командующий! Жалеть будешь... Слушай, маршал! Я к тебе обращаюсь. Герой войны к тебе обращается!

— Мне не надо, спасибо,— смущенно лепечет Сережа Ипполитов.— Не надо...

В этом «не надо» и боль за безногого, и собственное бессилие помочь ему, и испуг перед отчаявшимся человеком, которому осталось от жизни одно веселье, одно спасение в нем, в этом гибельном веселье, разрывающем искалеченную душу:

А тут же рядом, расстелив на земле подстилочку из клеенки, заманивает другой инвалид азартных людей веревочкой, набрасывая ее то и дело на клеенку замысловатой

тройной петлей. Угадаешь — выиграешь... Остановит твой палец петлю — твои деньги, скользнет мимо веревочка — проиграл. Зеваки стоят кольцом над ловким игроком, который сам тычет пальцем в одну из петель, дергает за веревочку, а палец то ловит ее, останавливая змеиное скольжение, то торчит пустым пеньком: заманивает, колдует, жмет на психику возможностью выиграть, обогатиться в минуту, заставляя кого-нибудь зашуршать деньгами и присесть на корточки, чтоб попытаться счастья в загадочной игре, которая на первый взгляд проста, как мычанье... Вот она, эта петля, которая задержит веревочку! Все тут ясно как божий день. Именно эта петелька! Туда и надо ставить палец... Веревочке некуда деваться... Точно! Ан нет! Скользнула мимо, будто развязался какой-то невидимый узел на ней, и нет уже больше надежд. Что за чертовщина? Вроде бы все было точно рассчитано... Как же так получилось? А ну-ка, давай еще раз раскинь! Не мог же я так ошибиться!

Сережа Ипполитов тоже удивлен и не может понять, как это вдруг ускользнула эластичная веревочка, обогнув напряженный палец. Знает, что игра в веревочку — обман, а все-таки чудно получается. Вот она, та петелька, которая... и тут уж веревочке некуда деваться... Нет! Опять ускользнула! Невероятно!

И пошла игра, разгорелись страсти в ногах у прохожих. Деньги из кармана в карман, будто клев начался у подледного рыбака, склонившегося над лункой. А денег и нет уже. Клев прекратился. Испарина на лице проигравшего, растерянный, жалкий взгляд, видящий только себя, дурака. Немало было денег и непросто они достались, а вот поди ж ты — отдал ни за понюшку табаку... Нет! Какой там, за понюшку! Так отдал, дурак... Чего ж теперь?

Сережа смотрит с жалостью на одураченного мужика, который хмурит брови и сопит, будто ему ударили по лбу кувалдой — вот-вот упадет. И хочется ему успокоить этого бедолагу, сказать ему слова утешения, но опасается, боясь, что примет тот его за сообщника и отвесит сгоряча кулачищем между глаз. Стоит мужик, роется в глубоких карманах шинели, в которых гремит, позванивая, медная мелочь, набычился, потемнел лицом и сопит, глядя, как его враг собирает клееночку, сует ее за пазуху и поднимается на костылях, поддерживаемый рядом стоящими. И расходятся все, теряются в безликой толпе. А мужик обалдело стоит на месте и все роется, роется длинными руками в долгих карманах, будто никак не может нашарить оружие.

Сколько лет прошло, а Ипполитов не может забыть своей глупости! И не забудет, наверное, никогда. Ведь как получилось.

— Сам же я и оказался в дураках!— ворчит он, вспоминая свою промашку. Бьет рукой по воздуху, будто гонит от себя нечистую силу, смутившую его в тот далекий холодный день поздней осени.— Деньжата свои пощупал,— продолжает он, поглядывая исподлобья сизым своим мраком с красными молниями набухших жилок на роговице,— и пошел... А сам про себя думаю: не такой я дурак, чтобы играть тут... Про рубашку совсем забыл, так мне мужика этого жалко стало. Лицо у него, веришь ты, все синее, как будто в наколках,— это после фронта, от пороха, наверное... А тут совсем черным стало, как у задушенного. Во годы какие были! А? А ведь никто не пикнул. Знали, что их тут шайка... Понимаешь, как они играли: он выиграет, а тут другой на подначке... Он как-то так свою петлю кинет, чтоб тот выиграл. Деньги при себе не держал. Сразу двойная выгода: деньги передал и азарту подбавил. Это я теперь все понимаю, а тогда дурак был, завидовал тем, кто выигрывал. Ешь твою двадцать! Дурак! Какая-то баба, смотрю, рубашку продает новую... Шелковая такая, бледно-зелененькая, в мелкую клеточку... Клетка серенькая, как паутинка... Баба молодая, лет тридцать, наверное, а лицо... Я как-то на лицо невнимательно посмотрел, но что-то мне в ней не понравилось. Челочка коротенькая из-под платка, кожа слоновья... Никакого лица как будто и нет, а просто пятно грязное... Я ведь только на рубашку и смотрел... Как раз размер подходящий... Воротничок, смотрю, хорошо лежит, пуговки, планочка... Развернул, а сам, дурак, думаю: во рубашечка так рубашечка... И главное, не двести, а сто восемьдесят просит. Я и торговаться не стал. Отдал ей деньги. В бумажку, в газету какую-то рваную заворачиваю рубашку, а бабы уже и след простыл. Нет нигде. Туда-сюда посмотрел — нет. Что-то мне подозрительно стало, но, думаю, рубашка у меня, вот она... Я ее из рук не отпускал. Хорошая рубашка, думаю! Наверно, думаю, спекулянтка, привыкла смываться. А у меня еще денег рублей двести... Красота! Главное дело сделано. Толкаюсь, поглядываю по сторонам, любуюсь сапогами татарскими. Из красной кожи, красивые такие... Я бы, конечно, их не купил, я бы, конечно, черные, если бы деньги были... Они дорого стоили! А мне тогда так сапоги хотелось купить. Вообще тогда модно было — сапоги. Девушки носили. Не такие, как сейчас, дамские, а простые, офицерские. Идет ка-

кая-нибудь в плиссированной юбочке и в сапожках, ножки бутылочками — цок-цок... Сейчас бы смешно, конечно, было, а тогда — красиво. Тогда война еще свои правила диктовала, свою привычку: народ войной еще жил, победой. Ну, ладно, ничего... Смотрю, опять играют. В три карты. Один хмырь подставочку держит, а другой ловко так карты тасует, показывает и кладет кверху рубашкой. Каждую сначала покажет, а потом на глазах у всех кладет. Не то чтобы быстро, а так, не очень быстро, все можно увидеть, заметить. Там ошибиться-то невозможно! Покажет, например, короля и положит его, покажет даму и рядом положит. Думаю, чтой-то... Смотрю, один выигрывает мужик. Рублей двести выиграл, потом проиграл чего-то, а потом опять выиграл. Я уж сейчас не помню точно... Кажется, короля надо было прижать. Увидел короля, раз его пальцем, и получай денежки. Пригляделся, думаю... А у самого, веришь ты, уши горят. Думаю, вот так сейчас выиграю рублей двести и пойду домой. Рубашечка-то и получится задаром. Черт меня дернул! Тук его пальцем. Держу. Сколько? Полсотни. Давай! Открываю... Ешь твою двадцать! Дама! Как же я, думаю, ошибся? Я даже видел, когда он клал карту, пригнулся и видел уже в последний момент, что король. Отдал полсотни. А лицо у парня равнодушное и, главное, честное. Смотрит на меня. А я опять за картами слежу. Народ на меня смотрит, переживают все за меня, будто все против парня этого. Тут опять! А кто-то говорит: «Ну, точно!» А я сам знаю, что на этот раз точно. Улыбаюсь, думаю, во, ешь твою двадцать, выиграл. Поднимаю карту, а там опять... тройка или какая-то еще, сейчас не помню. Не моя карта! «Как же так, — кто-то говорит. — Точно ведь было!» Хороший такой мужик стоит, переживает за меня, волнуется, на парня даже прикрикнул. Короче, все денежки отдал. Стою, как тот мужик, дурак дураком. И что обиднее всего — очень это быстро произошло. Быстро! Так быстро, что я даже вроде и не помню ничего. А денег уже нет. Как будто бросил я их в толпу, а толпа ходит, топчется, поглядывает. И никто ничего не знает. Никто! Я туда-сюда, к парню этому, а он уже другой какой-то, без карт и на хмыря не похож. «Чего?» — говорит. «Отдай деньги!» — «Какие деньги?» Стыдно сейчас вспомнить, а я так расстроился, даже не ожидал от себя. Парня уже нет. А я к какому-то мужику: «Отдай деньги!» — и чуть не плачу. «Ты что, парень, с ума сошел? Какие деньги? Я с тобой не играл». Никто не играл, это правда. Стояли, смотрели. Один только сказал мне с сочувствием: «Дурачок». И

спиной. А люди уже чужие вокруг, смотрят на меня равнодушно, проходят мимо, ничего не знают. Как я из этой толпы выбрался, не помню. Домой приехал, успокаиваю себя как могу: ладно, думаю, хоть рубашку купил, хоть успел, а то бы и эти деньги коту под хвост. Развернул газетку, погладил ее — хорошая рубашка. А мерить стал... Хорошо, молодой был, выдержал... Рубашка эта — два лоскута. В нее не влезешь. Один воротник настоящий. А так — две тряпки сшили. Эх, думаю, какой же я дурак! Так обидно было! Мать на работе, никого дома нет. Бросил эту рубашку и заплакал. Стыдно вспомнить! Реву и реву. Еле успокоился. Матери пожаловаться хочется, а она на работе. А один уже не могу все это переносить. Отцу побоялся сказать — ругаться будет. Да и матери тоже как скажешь? Четыреста рублей все равно что выбросил! А это деньги были! Ходил, ходил по Москве, все придумывал, как бы сказать, чтоб самому не стыдно было и чтоб не ругали. Ведь если сказать, что проиграл, стыдно в глаза будет смотреть. Также мне Германн, ёшь твою двадцать! «Три карты, три карты!» Придется, думаю, врать. Сказать — потерял, вряд ли поверят. Как потерял? Опять ругаться будут. Скажу, думаю, украли, а как? Дескать, отдавал деньги за рубашку, вынул их все, а потом пощупал карман, а их уже нет. Может, думаю, пожалеют. И самому как-то легче стало. А что! Считай что украли. Допоздна гулял, замерз, жрать охота, думаю, мать чем-нибудь накормит. Я туда частенько захаживал, все меня знали, и я тоже всех знал. «А, Сережка пришел!» Мать там с сорок четвертого работала, придешь к ней, а она за служебным столиком и борщом накормит с хлебом, и какую-нибудь котлету... Кто ее знает, откуда она брала. Может, кто не доест. Мне она не говорила. Иду через дырку в парк, денег на вход даже не осталось. С черного хода захожу, меня там все знают, мимо кондитерского цеха... А там, посреди «Шестигранника», если в плане смотреть, в самом центре — площадка с фонтаном. Фонтан, конечно, без воды, все поржавело. В асфальте трава проросла, в каждой трещине, потому что площадка эта под открытым небом. Мороз ее прижал, но все равно торчит. Освещение, конечно, слабенькое, тускловатое. Вижу, у фонтана какая-то парочка стоит и целуется. Военный какой-то и официантка. Я остановился, чтобы не смущать. А это мать была. «Сережа! — кричит. — Сережа!» И за мной бегом. А я плачу, бегу как ненормальный, прыгаю через кусты, ничего не вижу. А она сзади: «Сережа!» Сережа в то время все уже понимал. И

она это знала. Щеку себе тогда расцарапал, — глупо смеется Сергей Васильевич Ипполитов, проводя рукой по одутловатой, гладкой щеке. — Наверно, об ветку какую-нибудь колючую. Или об дырку в ограде. Эту дырку всегда проволокой какой-нибудь оплетали, мазутом мазали, чтоб пацаны не лазали. А они все равно проволоку разогнут и лазят с девушками. Сам всегда девушек бесплатно в парк водил. Теперь хорошо ребятам, а раньше — рубль за вход. Больше и рассказывать нечего. Хотя есть, конечно, что порассказать. Да не хочется... Мелочи все это. Неинтересно. Отца мне, правда, не жалко почему-то было — не знаю. А вот мать жалко. Не знаю почему. Красивая была! Веселая! А отец скучный, как сын. Сидит, молчит, зевает. Никаких интересов. Но самое страшное... Эх-ха-ха! До сих пор не могу простить себе! Подлец я! Сволочь последняя! Убить меня мало, гада ползучего, — мычит Ипполитов, стискивая зубы и наливаясь слезой, от которой краснеют мутные веки и дрожит голос. — Фронтвики мои, веришь ты, когда я им рассказал про рубашку и про деньги соврал, даже про щеку оцарапанную соврал, сказал, что побежал за вором, а кто-то мне ножку подставил, и я упал на доски с гвоздями... Сволочь! Когда я им все это рассказал, они на меня посмотрели с сожалением, видят, что глаза заплаканы и нет на мне лица... У них и сомнений никаких, чего бы мне врать! На другой день, в обед, собрались вокруг меня, смущаются... Эх! А Коля говорит: вот тебе, говорит, твои деньги, мы тут сообщаем... В общем... А у меня руки не берут. Испугался. Какой там! Бери, и все тут. Как вспомню — не могу, плачу. И тогда тоже расплакался. Рыдаю просто. И главное, ребята тоже, фронтвики! Тоже слезы вытирают. Разжалобил я их своим враньем, сволочь! Хоть ты провались! А как теперь дело поправишь? Я ведь сказал-то, не думая, что они для меня деньги собирать будут. Сказал и сказал. Чтоб самому не стыдно было, чтоб не смеялись надо мной, мне и так тяжело. А они, видишь, что придумали! Фронтвики! Сейчас вспоминаю, лет по двадцать пять каждому... Мальчишки! Таких ребят теперь нет. Мне что хочешь доказывай, а таких — нет! — Стучит кулаком по столу возбужденный, ревуший силым бычьим басом, гибнувший, слабый человек. — Нет таких! Я за них умру! Скажи, и я умру. А что ты думаешь! Только кому это нужно? Вот что обидно. Кому это нужно? Им, что ли? Нет. Они, если узнают, прибегут и спасут меня. Их на горло не возьмешь. На них танки шли, ёшь твою двадцать! Всякие «тигры», «пантеры», «фердинанды». А я что?

Мокрица! Я и тогда на них смотрел как на людей, которых мне не понять никогда. И знаешь почему? У них судьба другая. Разница у нас — пшик один. Пять-шесть лет. Ну, семь. Какая тут разница. А разница огромная! Мне и мать и тет-ка, помню: не трогай ножик, обрежешься. Уж во какой был, а мне все равно: не трогай ножик, обрежешься. Понял? А им дали нож и сказали: наточи и зарежь врага. Ну не нож, конечно... Это я так... Слышал только: нельзя, нельзя! А им: наточи нож! Вот так. Это другие люди. Все равно что древние римляне. Я по сравнению с ними итальяшка, макаронник. А они — легионы воинов. Прошли рядом со мной, да так близко, что я и дыхание, и запах их, и улыбки их увидел, доброту их почувствовал. Вот они! Рядом! А все-таки мимо прошли. Стройный, блестящий легион! Идут! Эх, ребята! Наточи свой нож! А мне этого никто никогда...

Осенний день так тих и спокоен, что слышно, как шуршат в лесу падающие листья. Туман подкрашен в голубизну легким дымом, который стелется по земле. Желтые листья, еще не опавшие с берез, нежно светятся в этой дымчатой голубизне. Пахнет жареным, подгоревшим мясом.

На садовом участке, хозяин которого Ипполитов Сергей Васильевич, гости. Свояченица с мужем, военным человеком в чине подполковника. Ипполитов с подполковником одеты в засаленные, прожженные телогрейки без пуговиц — для дачного антуража. На Ипполитове иссеченные молью, дырявые шерстяные тренировочные штаны и растоптанные ботинки без шнурков. На подполковнике тоже что-то в этом роде. Стоят над костерком, над дымящимися, вспыхивающими огнем угольями, подпертыми с двух сторон кирпичами. На длинных шампурах куски жирной свинины, обожженные до черноты. Глаза слезятся от дыма, пропахшего сладковатой гарью.

А жены их, тоже одетые кое-как, тоже в спортивных штанах, сажают клубничные усы. Стоят обе вниз головой, растопырив ноги в нелегкой работе, с налитыми кровью лицами, с черными от сырой земли руками.

Ипполитов, грузно и ненадежно ступая в стоптанных башмаках, подходит к рыхлой грядке, останавливается и, тяжело дыша, смотрит, как работают сестры. В круглых дырочках, выеденных молью, светится бледная кожа тощих ляжек. Говорит, подбирая вежливые слова:

— Что, сестрички? Скоро вы? Ужинать пора.

Жена его, с трудом разгибая поясницу, поднимается в рост, упираясь запястьями в ягодицы.

— Опять?— спрашивает она, глядя на Сергея.— Когда успел? Отвечай. Опять прикладывался?

— Дым!— говорит в изумлении он.— Глаза ест. Дым. Не-ет... Я — не-ет. Дым.

— Знаю я твой дым,— ворчливым бабьим голосом говорит жена.— Ой, поясницу не могу разогнуть!— И смотрит на сестру.— Кончай, Марин. Надо пообедать. А то вон мужики уже мясо подожгли. А ты чего, Сашк,— кричит она подполковнику,— мясо-то поджег? Горелым пахнет.

— Немножко,— откликается тот, поворачивая шампуры.— Сколько раз Сережке говорил: нужен мангал. Неудобно на кирпичах. Не то! А вообще вы, девочки, что-то заработались.

— Я и говорю, ужинать пора,— говорит Сергей Ипполитов, покорно глядя на жену.

— Тебе все ужин!— обрывает она его, отряхивая руку об руку.

Распрямляется ее сестра, очень похожая на нее, такая же узколикая, носастенькая, с маленькими сухими губами. Кажется, будто они ровесницы, хотя жена Сергея моложе на шесть лет. Глаза у нее резче прочерчены, чем у старшей сестры, а на переносице маленький шрам, мягкая вмятина. Волосы у обеих черные, курчавые и очень жесткие — гребенки ломаются.

День под сереньким небом незаметно меркнет. Угли костерка горят раскаленным красным цветом, который усилился, поярчал в сумерках. Белый домик, отдаленно похожий на украинскую хатку, погас в потемках, когда зажегся свет на террасе. Дым брошенного костра вьется синей, прозрачной, тонкой лентой, слоями стелется над маленьким участком, как летний туман.

С террасы слышен ревуший голос Сергея Васильевича и смех женщин.

— Я ее, Сашк, уговариваю, отпусти в Сибирь, я, может, оттуда тысяч пять-шесть привезу, а она уперлась — нет, и все. Зря!

— Ну да, конечно! Какая-нибудь Фрося приголубит,— говорит со смехом жена,— будет мне тогда шесть тысяч с половиной. Сиди уж!

— Нет, а ты зря... Я же серьезно говорю: отпусти, пожалуйста, хоть на полгода!

Женщины смеются.



Отсутствие внимания

В темноте пробежавшей ночи ему приснился странный сон, и когда он проснулся, душа его была загадочно спокойна и безмятежна. Он сидел полуголый за столом и, не умывшись, не позавтракав, курил первую сигарету натошак, получая удовольствие от дыма и от созерцания промелькнувшего сна, который почему-то хотелось задержать в сознании, продлить непонятную его прелесть.

Ему приснилась старая, давно умершая собака, которую он когда-то любил за ее преданность и за восторженный взгляд, каким она всегда встречала его. Была она очень добрая, и доброта эта распространялась на все живое, что окружало ее. Кроме кошек. Кошек она терпеть не могла. Как только в поле ее зрения появлялась кошка, в груди у нее рождался утробный рык, мускулы вздрагивали, висячие уши приподнимались, и ничего не слышала тогда эта добродушная собака, в которой просыпался зверь, глухой ко всякой доброте и ласке. Если это случалось на асфальте, раздавался вместе с азартным визгливым лаем царапающий

треск когтей собаки, уносящейся с небывалой скоростью за мелькающей впереди рыжей, дымчатой, белой или черной кошкой. Удержать ее в эти мгновения не было никакой возможности, если, конечно, она была спущена с поводка.

За городом же при виде кошки или при одном ее запахе, попавшем в чуткий собачий нос, происходило то же самое, но только с той разницей, что когтями своими она рвала землю. Кошка, взлетев на дерево с легкостью белки, замирала на сучке, с отвращением и злобой поглядывая на прыгающую возле ствола, царапающую его когтями, лающую собаку. Оттащить собаку от этого дерева можно было только силой, только пристегнув к ошейнику поводок. Собака задыхалась от безумной страсти, отчаяния и, казалось, готова была загрызть самого хозяина, который не дал ей расправиться с ненавистной зеленоглазой зверюгой.

Ему приснился очень странный и дьявольски хитрый сон. Приснилось замкнутое, тускло освещенное пространство, паркетный блестящий пол и очень пушистая кошечка на этом полу, которая шла навстречу оцепеневшей собаке, стоявшей без поводка и даже без ошейника.

Он смотрел на эту сцену сближения с замиранием сердца, как смотрел когда-то в далеком Ниме, прованском городке, в знаменитом римском амфитеатре корриду. Измученный черный бык, трясая цветными бандерильями, торчащими из окровавленной холки, остановился в тупом недоумении перед торжественно светлым, голубо-розовым тореро, струнно-тонко поблескивающим перед черной массой обманутого быка. Острые, опасно изогнутые длинные рога оказались бесполезными в борьбе с ускользающим, как сверкающая стрекоза, неуязвимым существом, с кошачьей осторожностью и легкостью обнажившим вдруг из-под рваной мулеты блеснувшую шпагу.

Он смотрел на кошечку, которая была так красива и так осторожна в своем приближении к большой собаке, и ни о чем не думал, зная, что сейчас, сию минуту оцепеневшая собака рванется с места, царапая паркет, сомнет в реве и ненависти пушистую красоту, задушит, загрызет и превратит в комок окровавленной, измусоленной шерсти.

Но ничего этого не случилось! Собака сделала нерешительный шаг навстречу, принялась к кошечке, которая была перед ее мордой, завилала хвостом, зажмурилась в собачьей улыбке. А кошечка, приподнявшись на задние лапы, обняла передними эту морду и маленьким, розовым,

шершавым язычком стала лизать черный нос присмирившей от удовольствия собаки.

Реальность этой сцены была почти физически ощутимой даже и теперь, когда, проснувшись, он отчетливо еще видел кошачий язычок и зажмуренные глаза, удивляясь бесстрашию кошки и ее любви к собаке, которая принимала кошачью ласку с явной благосклонностью, смилив себя и заставив подчиниться извечному своему врагу.

Это было так странно видеть, что он пребывал в состоянии полного блаженства, словно душа его наконец-то обрела гармоническую связь со всем сущим на земле.

Он с нежностью вспоминал собаку, которая умерла лет двадцать назад от старости, и думал, что человек в своей жизни, если она не оборвется случайно, может пережить не одну, а целых пять собак — пять удивительных всплесков непонятной любви протяженностью в пятнадцать лет. Пятнадцать лет незаслуженной любви! Возможно ли это? Ну хорошо, не пятнадцать, не все собаки доживают до этих лет. Пускай будет десять — двенадцать. Все равно счастье.

В это пасмурное ноябрьское утро, когда синий свет за окном рассеял тьму только в семь часов, он почувствовал вдруг острую потребность в любви, в сочувствии, в жалости, словно до сих пор был лишен всего этого, поглощенный совсем другими заботами и делами. Будто он только и делал, что ругался, требовал, приказывал, привыкнув, что и его тоже ругали, ему тоже приказывали и требовали, стуча по голове жесткими, точными и тяжелыми словами.

Вся жизнь показалась ему в это задумчивое утро слабым отсветом настоящей, сильной, яркой жизни, которой он зачем-то лишил себя, потерявшись в коридорах и кабинетах огромного здания, всасывающего по утрам и выплевывающего вечером тучу красиво одетых, приятных лицом и телом и как будто вполне счастливых людей, стремившихся, как и сам он когда-то, во что бы то ни стало укорениться в каменном великолепии, врасти в его кабинеты, комнаты, коридоры, лифты и лестницы, чтобы чувствовать себя своими среди своих.

Словом, в это странное утро Олег Федорович Тарасов, выкурив натошак сигарету, пережил небывалое доселе или, точнее сказать, давно забытое чувство, как если бы он полюбил, а о любви этой никто еще не знал и даже не догадывался, и в первую очередь сам он и та, которую полюбил, — невозможная, невероятная, неясная еще и как бы в другом измерении существующая, недоступная красота.

Ему казалось, что с ним никогда еще не случилось ничего подобного или, вернее, давно уже не случается. Он и представить себе не смел, что может порой твориться в нем это радостное и туманное предчувствие беспредметной еще любви, к постижению которой он как бы вполне уже был подготовлен.

Но вот что особенно удивительно! Сон, который он только что видел, совершенно истаял, пропал бесследно, пока на кухне жена готовила яичницу, пока сипел на огне закипающий чайник и пока он брился, разглядывая заспанное свое лицо, обросшее сивой щетиной. Он только смутно помнил, что видел собаку.

— Собаку нашу видел во сне,— сказал он жене.— Какой-то чудной приснился сон...

— Хорошо,— отозвалась жена, заливая кипятком сухой индийский чай, вяжущий аромат которого вырвался из чайника горячим паром.— Ты слышал прогноз? Туманы и морось... Лучше на поезде: всего одна ночь.

— Ну это напрасно! Как будто от меня зависит. Все летят!

Он только теперь, сейчас, сию минуту понял, забыв про сон, почему такое радостное предчувствие переполняет его в это утро — он сегодня уезжает из дому. Не надолго, на четыре дня... Впрочем, нет... Он часто уезжал, при чем тут...

— Что за чай ты заварила?— спросил он.— Очень душистый!

— Обыкновенный. Такой же, как и вчера.

— Нет, сегодня... Между прочим, надо бы купить белую рубашку. На парад. Что-то вдруг захотелось надеть... Сто лет уже не носил белых рубашек.

Ему очень нужно было вспомнить подробности ускользающего, забавного, как анекдот, сна, чтоб рассказать жене: казалось, будто сон этот навсегда останется в памяти. Но ничего не мог вспомнить.

Начинался день, шум, движение, потом привычный рев стартующего самолета, пробивающего в наборе высоты сплошную облачность, и солнце над облаками, которое яростно брызнуло в иллюминаторы, освещая под дрожащим, плывущим в небе крылом бескрайнюю взрыхленную поверхность той самой облачности, из которой моросил на скрытую землю летучий дождик, и вот уже слепое, тягостное снижение в мутной толще, окутавшей землю, басовитый, утративший пронзительный гул рокот турбин, и туманная земля, очень близкая вдруг и мокрая, с фольгой луж, маленьких

озер и речек, с колючей сизостью перелесков, с черепицей промелькнувших домиков и металлическим блеском мокрых дорог, по которым ему, пассажиру приземляющегося самолета, никогда, наверное, не ходить и не ездить.

Девять знакомых и полужнакомых сотрудников сели в зеленый «рафик», горделивый человек с латышским акцентом сказал им, вежливо улыбаясь, когда они разместились сначала в микроавтобусе, а потом и в гостинице: «Давайте немножко разденемся, немножко перекусим с дороги...» И для всех этих девяти, среди которых был и Тарасов, началась новая, непредсказуемая жизнь, а вернее, крохотный ее отрезок, уже отсчитывающий секунды в прибалтийском городе, укутанном таким же морозящим туманом, какой они только что видели в Москве.

Все-таки что бы там ни говорили, а современная гостиница, блестя стекляннно-металлическим фасадом в пасмурном небе, оскорбляя старинный силуэт города, таит в себе особенную, понятную, может быть, только заезжему гостю, притягательную, функциональную красоту, синтетическое чрево которой затягивает сиротливую душу командированного человека, согревая его в холодные дни и ночи, ласкает взгляд чистотой прогонистых коридоров, чистых номеров, в которых ничто еще не успело состариться, радуя слух игривым перезвоном лифтов, раздвигающих бесшумные дверцы глубокой шахты и приглашая в скоростную, с мягким торможением, сияющую светом кабину, в которой какие-то люди, молчаливые и предупредительно-вежливые, улыбаются невидимыми улыбками, словно рады видеть нового пассажира, живущего вместе с ними в этом чудесном доме с буфетами на этажах, с ресторанами, с душистыми кафе и заманчивым разноголосьем свободных от всех забот на свете и в то же время приятно озабоченных гостиничных жителей, торопящихся что-то успеть.

Ничем не отличался от них и Тарасов.

«Ну что, драгоценный мой?— спросил он, заглянув в прямоугольник зеркала.— Пора бы тебе побриться».

Но бриться не стал, почистил зубы, как будто старая эмаль с помощью пасты могла измениться к лучшему, ощерился, причесал седеющие волосы, понравился сам себе, увидев себя, как давно привык, глазами двадцатилетнего, у которого просто поседели волосы, просто поредели зубы, просто образовались складки на щеках, просто врезались морщины на лбу, просто...

«Старый стал»,— говорил он на людях, и ему было при-

ятно слышать смех или удивление, насмешливое несогласие и даже обвинение в кокетстве.

Со стороны он казался именно таким, каким и был на самом деле: худощавым, хорошо пожившим мужчиной «с судьбой», как сказала одна знакомая, намекая на особенную, таинственную какую-то судьбу, которая якобы оставила свой отпечаток на лице, придав ему значительность. Глупость все это! У него было обыкновенное лицо, которое, как это часто бывает у мужчин, улучшилось старением, обрело законченность форм, истончилось, подсохло и насквозь прокурилось табачным дымом. А что? Именно эта долголетняя привычка щуриться в табачном дыму придавала его слабеющим глазам особый блеск и ту самую слезу, которая так смущала порой сентиментальных женщин, замечавших во взгляде его чуть ли не вселенскую печаль. Он был высок ростом и сутуловат. И никто никогда не видел его в застегнутом пиджаке — он всегда носил пиджак нараспашку, словно похваляясь впалым, плоским животом, обхваченным тугим ремешком.

Когда Олег Федорович Тарасов поднимался на трибуну, а это ему приходилось делать довольно часто, ни тени робости не заметно было на его лице. Он не боялся пауз, говорил только по делу, не стеснялся называть имена, обходясь без обтекаемых «некоторых товарищей», хотя критика его не была обидной, потому что он никогда не позволял себе выйти из рамок деловых отношений, правильно рассчитывая наносимый удар, который должен был пойти только на пользу общему делу. Его любили слушать, любили спорить с ним, ибо он умел соглашаться с доводами противника, если они оказывались правильными. Его считали знающим, перспективным специалистом, хотя знал он и умел в своем деле не больше других, обладая одним лишь преимуществом — умением хорошо читать доклады, то есть наделен был способностью свободно говорить на трибуне, излагая свою мысль четко и ясно, интонацией голоса подчеркивая главное, не теряясь даже на самых ответственных совещаниях, каким было, например, и это всесоюзное, на которое он прилетел с уверенностью осведомленного в своем деле специалиста, не видящим никакой трудности в том, чтобы подняться на трибуну конференцзала и прочесть свой доклад.

— Вы должны знать,— говорил он вечером, ужиная в шумном зале с женщиной, которую много раз мельком видел в Москве, встречаясь с ней то в лифте, то в коридорах.—

Вы должны знать,— повторил он, не совсем еще ясно понимая, что должна знать эта усталая женщина, с которой свел его случай. Растрепанная, словно ее спросонья подняли с постели и привезли сюда, на это совещание, она лишь улыбалась, ничего не понимая. В надтреснутом ее голосе звучала гармошка на басовитой ноте.

— Что же?— спрашивала она, поедая с улыбкой мясной салат под майонезом.— Я уж все, по-моему, знаю. Слишком.— И она, прицелившись вилкой, как клювом, в горошину, махнула ею, словно перечеркнув что-то.— Лучше бы поменьше...— Улыбчивый взгляд ее остановился, пропал.— Что же,— спросила она,— должна я знать?

— Вы должны, например, знать, что поговорка «работа не медведь...»— знаете такую?— «...в лес не убежит»... Эту поговорку, как вы считаете, кто придумал?

— Ленивцы...

— Заблуждение! Вот мне, например, говорят: бóльшую часть времени человек проводит на работе, приходит домой только на ночлег, всего себя отдает работе и рабочему коллективу. Так? Допустим. Но разве количеством времени можно определить сущность человека? Как будто ход жизни, ее тайна — мелочь по сравнению с жизнью на работе.

— Вы сказали — тайна? А что это?

— Работа не медведь... Что? Подождите! Ее не надо бояться, потому что работа и в самом деле не медведь. Это сказал человек, знающий себе цену и уверенный, что работу свою сделает вовремя, потратив на нее столько времени и сил, сколько эта работа заслуживает. Ни больше ни меньше! Как и полагается мастеру. Работа для него не медведь, на нее не надо идти с рогатиной, она всегда при тебе, и ты ее все равно сделаешь, но без паники, без спешки, крика и хвастовства — она ведь не медведь. Заметили? Я люблю парадоксы... Это вы так, наверное, думаете. А я думаю, что это не парадокс, а элементарное исследование. С этого все начинается.

— Вы сказали — тайна...

— Не обращайтесь внимания! Послушайте лучше, что я скажу... Это интересно. Один мой знакомый всю жизнь устраивал свои личные дела: женился, разводился, опять женился и опять разводился — ничего другого не успел... Меня терпеть не может с некоторых пор. Тоже, конечно, мог бы сказать: работа не медведь... Но был бы не прав. Что за дурость такая! Когда все это кончится? Живем в обнимку с медведем, не пускаем его в лес... Так, что ли? Ничего себе

радость! Это ведь все время на грани — кто — кого. Так работают бездари и лодыри. Шуму-гаму-тарараму — будто и в самом деле идут с кольем и дубьем на медведя, а не на работу. А ведь любая работа — любая! — дело тонкое, ее полюбить надо. И она подчинится. Она ведь не медведь! Ее не надо сажать на цепь, она в лес не убежит. Так что поговорку эту придумали не ленивцы, нет! Она всегда с нами! Верно я говорю? Какой уж там лес!

На эстрадном помосте сияли цветом, лаком и хромом музыкальные инструменты, оставленные на несколько минут уставшими ребятами. В зале было относительно тихо. Кто-то смеялся.

Тарасов смотрел на женщину, имя которой он забыл, хотя совсем недавно она назвалась то ли Надеждой, то ли Татьяной. Неважно. Он вовсе не собирался продолжать знакомство с этой дурнушкой, которая случайно оказалась с ним за столом. У нее были необычно широко расставлены глаза — светлые, с голубыми косметическими тенями. Небольшой лоснящийся носик. Длинные губы, похожие на губы глуповатого мальчишки, не перестающего улыбаться.

Он опять услышал:

— Вы сказали — тайна жизни...

— Разве? Это не из моего лексикона. Тайна жизни! Неужели я это сказал? Нет... я не хвастун, но люблю похвалиться тем, что сделал хорошего, — сказал он, испытывая потребность что-нибудь говорить. — Во всяком случае, тем, что мне самому кажется интересным и полезным. А как же иначе! Я сделал! Именно я! Попробуй ты. Тут скромность не украшает. Скромно помалкивать надо, когда ты чего-то не сумел, когда ты берег себя, свою нервную систему, — вот тогда и помалкивай в тряпочку. Тайна жизни! Это такое понятие... Если я, допустим, участвовал в прокладке сложнейшей трассы, строительстве сложнейшего какого-нибудь объекта — что ж тут таиться. Я дело делал. И горжусь этим. Горжусь, что рисковал, лез на рожон, что степень риска была очень высокой, но я вышел победителем. Я не люблю скромных! Скромность, скромность... Ах, какой он скромный! А кто скромный? Черта русского характера? Заблуждение! Это отголосок крепостничества, рабства. Когда эта черта появилась в народе? Не с крепостных ли времен, когда замалчивание самого себя во имя хозяина, которому доставалась вся слава, будь то живопись, зодчество, театр, было делом подневольным? Хозяин-то не скромничал! Может быть, эта черта, это качество так густо заквасило нашу кровь,

что мы никак не можем избавиться и думаем, что мы все еще маленькие люди? Это бывает. Я помню... Я старый человек! Я помню... Когда у нас в Москве был фестиваль? Давно... Я тоже забыл... Весной того года я охотился в Вологодской области, к северу от Вологды. Нас с товарищем приютили старик со старухой. Верующие люди. Дело было перед пасхой, они постились. А мы голодные! Все молоко наше! А они хлеб с рыбой пекли, пироги такие с камбалой — невкусные. Ни телевизоров тогда, ни радио у них в деревне... Нет, радио было, конечно, но у стариков... Для них москвичи в доме — событие... Как там в Москве, что, какие новости? Про фестиваль стали рассказывать, вот, мол, съедутся со всего света. И про негров, и про немцев, и про другие народы, которые приедут, и про французов... Старик со старухой слушали, молчали, а как про французов услышали, дед встрепнулся: «Французы?!» — и такое у него выражение на лице, дескать, как же это так, французы? А французов никогда не видел. Но, видимо, в крови у деда память отцов, память предков о французском нашествии, ограбежах в Москве, о пожаре... Вот вам и тайна! Видимо, отцы его воевали с Наполеоном, а у него осталось. Он о них, как о сегодняшних врагах. Москву грабили! Мародерничали. Та Отечественная для него ближе была, чем последняя. Та в крови, а не эта! Эту он сам, своим опытом познал, а та внушена памятью. Генетическая эта память порой и мешает нам. Ах, какие мы скромные, какие хорошие! А ведь сейчас такая ярмарка, что свой товар не похвалишь — с носом останешься. Не о быте я, нет! Я о ярмарке народов! Как-то во Франции... Идем мы в каком-то, уж не помню сейчас, городке... Красивый старый город. Погода хорошая. Какой-то француз услышал, что мы русские, подбежал, стал здороваться. Говорит, недавно был в Советском Союзе, в Ленинграде, в Москве. Говорит, очень понравился Ленинград, а Москва — нет. Ах ты, думаю, сукин сын! За Москву обидно, я ему с улыбкой: «У вас, мсье, мания величия! Наполеону тоже Москва не понравилась». Не глупый попался француз, не обиделся. А с ними так и надо. У них ведь тоже с наполеоновских времен... Кажется, сам Наполеон изрек: «Этих новоявленных европейцев надо загнать в свои границы». У них в крови это сидит, чванство такое. А кстати, тот, для кого мастера крепостные старались, тоже ведь мог быть русским. А занимать ли ему скромности? Садам своим, фасадом, театром, актрисами... Чем только не гордился на всю Россию! Не своим гордился, а мы теперь своим, кровным, вот этими руками сделанным

стесняемся похвалиться. Нам с такой чертой не выжить. На этой, на вселенской-то ярмарке! А для этого надо, чтоб работа не была для нас медведем, чтоб не с медведем в обнимку жить, который в лес может убежать, а с любимым делом. Вот вы говорите — тайна. Конечно, тайна есть, конечно, чванство, похвальба претит русскому человеку, ему неприятно видеть человека, который собой хвалится... И правильно! Хвалиться надо делом. Работа не медведь, говорит умный человек, в лес не убежит. Я ее сделаю как надо. Никуда она не денется. Разве это не тайна? Живет человек и вроде бы не работает, не кричит, не шумит, а все у него получается... Другой шумит, базарит, медведя своего на цепь посадил, покорил... Теперь не убежит.

— Что-то я запуталась с вами. Кто медведь, кто не медведь... При чем все это... Вы сказали, тайна жизни и смерти...

— Нет, я этого не говорил. Не мой лексикон.

Она сидела перед ним, размешивая сахар и глядя в кофейную чашечку, как женщина, которая хочет понравиться и для которой ресторан и мужчина, вечер в гостинице и наступающая ночь больше, чем просто вечер и просто ужин. Во всяком случае, так казалось Тарасову. А что! У нее приятный голос... Писателю какому-нибудь говорят: у вас превосходный язык... Толстому или Достоевскому этого никто не говорил, наверное. И все-таки у нее голос в самом деле похож на звук гармошки... Если растянуть мехи, прижав две-три кнопочки или клавиши, гармошка издает похожий звук...

— Жизнь и смерть! — сказал Тарасов. — Категории... не по мне... Люблю думать, что я деловой человек. Много болтаю, согласен. Это бывает. С мужиками я молчаливее. А тут просыпается вдруг болтун. Матовые плечи, матовые плечи! Для меня это понятие примерно такое же — жизнь и смерть. Что за чушь! Матовые плечи... Мучной червяк тоже матовый... Или еще: ветерок блаженства... А что? Вот сейчас, например... Ветерок блаженства коснулся души... В Индии, между прочим, есть министр здравоохранения и благополучия семьи. Недавно смотрел по телевизору передачу для молодежи... Вы любите телевизор? Я, например, люблю. Умный парнишка, только что начавший работать на заводе, симпатичный... У него корреспондент спрашивает, что он больше всего любит, что ему приносит радость. А он, умница, говорит: «Выходные дни люблю, когда все вместе, всей семьей собираемся, завтракаем вместе, обедаем...» Как хорошо! А корреспондент: «Кто ж не любит!

А в работе радости были?» — «В работе? — спрашивает парнишка. — Были... Но еще мало. Я работу еще плохо знаю, еще многое непонятно». Вот умница! А тот, кто спрашивал, дурак. Разве можно так: «Кто ж не любит!» Многие, увы, не любят. Вы, например, любите?

Ему неприятен был взгляд этих широко расставленных, словно бы косящих глаз, которые не вписывались в поле его зрения: надо было смотреть в какой-нибудь один из них. Ему казалось, что женщина эта поглядывает на него насмешливо, а он не привык, чтобы на него так смотрели женщины, тем более что насмешливость ее была какая-то снисходительная: мне, конечно, смешно, но бог с вами, упражняйтесь... Что-то в этом роде, как если бы он был предметом наблюдения.

— Вы согласны со мной? — спросил Тарасов.

— В чем?

— Я хотел сказать... Вы поняли меня? Мой вопрос.

— Вы что-то говорили о литературе... Начали говорить...

— Я?! Никогда. С чего вы взяли? Я говорю, вы согласны со мной, что скромное помалкивание расслабляет? Не дает энергии думать и делать лучше и красивее? А когда хвалишься, то и... Впрочем, мне это все равно.

— Нет, вы все-таки говорили о литературе, — упрямо сказала она, растягивая губы в улыбке и глядя мягким своим плаксиво-насмешливым глазом, как будто умоляла согласиться. — Вы что-то сказали о тайне, о смерти. Почему-то наша литература не касается этого... Ищу и нигде не нахожу. Просто найти попытку понять, задуматься хотя бы, что такое смерть. Никому не хочется, наверное. Это ведь очень страшно. Надо уйти в своем воображении из жизни. Не каждому под силу. Я понимаю. Но ведь надо!

— У каждого свое, — возразил Тарасов. — То есть она у каждого своя, личная, так сказать. Зачем же ее делать общественным достоянием? Да и не сделаешь все равно! Я думаю, у литературы, если уж вы хотите о литературе, другие задачи.

— О жизни, конечно. Да, но ценность-то жизни чем повернется? В этом смысле...

Она так низко склонилась над столом, так обмякла на стуле, что почудилось, когда она посмотрела на Тарасова, будто взгляд ее выкатился из-под стола.

Вернулись музыканты, вскрикнула и зазвенела музыка, запела худенькая девочка в белом брючном костюме, раскачиваясь в ритме. Лет ей, наверно, двадцать пять, а кажется

пятнадцатилетней. Может быть, это издалека. О чем она?

— О чем, думаете, она поет?— спросил Тарасов.— Я тоже не понимаю, но уверен — про любовь. По-моему, эстрада стала сейчас народным искусством. Не каждый способен спеть русскую песню. Голос нужен. У кого нет голоса, тот не сплет. А вот такую, как эта,— кричал он, пересиливая звон и грохот музыки,— такую каждый может. Всяк на свой лад предельно искренне внушает человечеству свою любовь к людям, к земле, к женщине, к мужчине, к детям. Плачут, печалются, радуются на глазах у всех, красуются, демонстрируют. Что? Моду демонстрируют, голос, чувства. Каждый как может. Плохого в этом нет ничего. Тут и голос никакой не нужен, можно выехать на ритме, на чувстве, на тембре... Ну и хорошо! Это сейчас самое народное искусство. Старики ругаются? На то они и старики. Ворчат. А вы о смерти! Вы никак не хотите меня понять! Ну вот, например, разве позавидуешь волку, который всю жизнь пасет стадо оленей? Все время в бегах, всю жизнь подчинил этому стаду проклятому, которое то туда, то сюда... А ты за ним плетись, стереги слабого, загоняй его. Вообще-то все мы привязаны к какому-нибудь делу, крутимся вокруг него, не можем отойти, плюнуть на это дело, потому что оно кормит нас. Ходим, как бычки на привязи вокруг колышка, щиплем травку и думаем, что за бугром травка сочнее и гуще. А разве так должен жить человек? Человек как личность должен быть больше своего дела. Дело только для того, чтобы укрепиться материально, достичь душевного благополучия. А дух человека — это не то же, что душевность. Дух — мятежное начало. Если говорить о тайне, то именно дух и есть тайна. Потому что он может разрушить материальное и душевное благополучие и сделать человека. Дух — это озарение! Только там и начинается личность... А что вы улыбаетесь как-то странно? Глупость говорю?

— Нет. Шумно очень. Я услышала про волка и про бычка... Медведь, волк, бычок...

Тарасов был смущен.

— Мне бы басни сочинять,— сказал он.— Отвлеченная тема — не моя стихия. Но вы-то почему? Вы меня с толку совсем сбили. Тайна, смерть, мистика!

В лифте он спросил, когда она нажала клавишу с цифрой восемь:

— Какой у вас номер?

Она показала набалдашник ключа, он увидел — восемьсот четырнадцать.

— У меня четыре единицы: одиннадцать — одиннадцать. Зажег свет в номере, включив все, что светилось, включил радио, открыл воду в ванной. Сел за столик, стал изучать карту. Набрал номер телефона. «Ничего,— подумал,— как-нибудь».

Женский голосок очень близко и очень бодро сказал:

— Алло, говорите...

— Это я,— неуверенно сказал Тарасов.

— Как это я?

— То есть как? Простите, я, наверно, ошибся.

Набрал еще раз и опять:

— Алло, говорите...

Что-то он делал не так... Снова внимательно прочел телефонные правила.

— Алло, говорите...— прозвучало в трубке, как магнитофонная запись.

Время еще только девять, в номере скучно, за окном лиловая тьма с желтым криком огней, стальные рамы двойной своей изоляцией оградили его от уличного шума. В ресторан не попадешь, мест уже, конечно, нет. Хотелось на люди. Выключил свет, радио, воду. Спустился вниз. Спросил у дежурной:

— А как позвонить в восьмьсот четырнадцать?

Та назвала совсем другой номер, ничего общего не имеющий с тем, по которому он звонил.

— А куда же я звонил? Я набирал...— В это время раздался телефонный звонок, дежурная подняла трубку. «Алло, говорите»,— услышал Тарасов и больше ничего не стал спрашивать. Девушка говорила уже по-латышски. Хорошенькая, отметил он про себя. Голубая и розовая.

— Это я,— сказал он, позвонив из автомата и услышав знакомую гармошку.— Что вы сейчас делаете?

Она спустилась очень скоро. Дверцы лифта раздвинулись, и она, осветившись вдруг, вышла из стены: была одна в кабине, но все равно улыбалась, широко расставив глаза и приподняв одну бровь. Волосы все так же растрепаны. Она их как будто специально коротко остригла, чтоб больше никогда не тратить времени на прическу. Она была в брюках, давно уже вышедших из моды, похожих на мужские, взятые напрокат. Подошла к нему так, будто он назначил ей свидание, оторвав от дел, и ей это смешно. Зачем-то пришла! Интересно, что будет дальше. Но видно было, что очень волнуется: глаза ее растекались серостью на виски, и она как будто с трудом с ними справлялась.

Ну и что?— как бы спрашивала, вскидывая голову вместе с глазами.

— Погулять бы, да ведь дождь,— сказал Тарасов.— А тут нейтральная территория. Вы ко мне в номер не пошли бы? Сидели бы сейчас.

В ответ она нервно передернула плечами.

— Я не сомневался,— сказал он.— Это, конечно, неприлично — дама к мужчине. «В номера, в номера!» Нельзя. А что же нам делать? Мне и вам скучно. Кто-то нас должен развлекать или мы сами? Теперь говорят, все надо делать самим.

— Дама к мужчине? Почему? Это прилично,— пропела она, подыгрывая ему.— Сейчас, говорят, неприлично, если дама к даме или мужчина к мужчине.

И сильно покраснела, чуть не прослезившись от смущения. Тарасов вырубил ее, тронув за плечо.

— Я понимаю, шутка. Что вы так смутились! Шутка!

— Не моя стихия, как вы говорите,— ответила она.— Я одиночества боюсь.

До двух часов ночи они азартно говорили, не понимая друг друга. На следующий день вечером они ужинали за общим столом, говоря о делах, а потом, когда выпили немножко, все стали говорить почему-то о зубах, о протезах, и Серафим Иванович Клейн, давным-давно обрусевший немец, старый, добрый человек, голова которого была украшена серебристо-белыми, очень чистыми волосами, сказал:

— Надо следить за зубами... Мне семьдесят два, а посмотрите!

И он, оскалившись, постучал очень ровными, чистыми зубами, издав четкий костяной звук, который был услышан за столом.

— Да!— удивились мужчины.— Это редкость. Это фантастика! Нельзя поверить... Удивительно!

— Все-таки,— сказала она, сидя рядом с Тарасовым,— в определенном возрасте даже свои зубы кажутся искусственными. Не будете же вы всем объяснять, что зубы у вас собственные.

— Ха-ха,— сказал Клейн, покачав аккуратной, чистой головой.

В голосе ее было столько язвительного зла, так это у нее вырвалось неожиданно, что она опять покраснела и никак не могла справиться с глазами.

— Ну правда,— тихо сказала она, обращаясь к Тарасову, ища у него поддержки, потому что над столом, как говорится, пролетел тихий ангел: все-таки Серафим Иванович! Все-таки Клейн! Член-корреспондент! Можно было бы пощадить старика.— Странно!— проговорила она, чувствуя отчуждение сидящих за столом.— Никто не смеется! Первый раз в жизни, по-моему, удачно пошутила... А никто не смеется.— Голос ее вибрировал, как гармонь в руках искусного музыканта.

— Ха-ха-ха,— засмеялся Серафим Иванович, снимая напряжение.

Она сказала спасибо, поднялась, оставив Тарасову три рубля, и ушла, сказав ему: «Расплатитесь, пожалуйста, за меня. Я вам позвоню... Думаю, трех рублей хватит... Но я позвоню...»

— Ха-ха-ха!— повторил Серафим Иванович свой речитатив.— Товарищи мужчины! При чем тут три рубля? Почему ее отпустили? Нехорошо.

Получилось и в самом деле очень нехорошо. Тарасов позвонил, но никто не подошел. Он не отходил от телефона, пока не дождался. У нее был свежий голос. Он слышал ее дыхание, и дыхание это было радостным.

— Гуляла. Под дождем. Какие тридцать восемь? Ах, сдача... Спасибо. Хватило? Я очень рада. Отдали бы официанту. Я не хочу вас обижать... Что вы, что вы! Ну, пожалуйста... Что? Нет... Сейчас? Хочу пораньше лечь. Спасибо. Что я вижу из окна? Ах, что я из окна вижу... Понятно... Я сейчас посмотрю и расскажу... Сейчас... Из окна я вижу...— он слышал ее дыхание и видел улыбку.— Озеро вижу. Пароходики. Небо желтое. Огоньки. Я у вас все время хотела спросить, а что вы читали?

— В каком смысле?

— В смысле художественной литературы.

— Вряд ли... Не помню, нет. Ничего, кажется... Некогда пока. Детективчик иногда...

— А что вы хотели услышать? Что я должна была увидеть из окошка? У меня всегда так... Хорошая погода, гулять не хочется. А в дождик тянет. Под дождичком гулять — удовольствие. Привилегия городского жителя. Все блестит. А в окошко я только себя вижу, больше ничего. Ничего хорошего. Спокойной ночи.

— Да, кстати, «Литературку»,— сказал он, но она уже повесила трубку,— я выписываю каждый год,— медленно закончил он, слыша отбой.— Кто такая?

Ниточка оборвалась, и в этом стеклянном параллелепипеде он так и остался непонятым.

Хотя, если быть точным, он и сам себя не понимал. А это было очень неприятно, тем более что все последние дни ему приходилось вопреки желанию слышать в себе самом очень грустную фразу, которая вздыхала в нем стонущим звуком и по сути своей была полна отчаяния, но не задевала его, а просто мешала. «Никаких надежд...» — слышал он, не понимая, о какой надежде идет речь, но прислушивался к этому вздоху. «Никаких надежд...» — печально говорил кто-то в нем, обращаясь к миру, к людям, и отвлекал его, заставляя задумываться и прислушиваться к тишине души, в которой словно бы шел какой-то обратный отсчет времени, похожий на откат волны, только что ударившейся о берег. «Чепуха какая-то!» — думал он, вновь возвращаясь к уже знакомому и изведенному, что не вызывало в нем большого интереса, но как бы гасило азарт к жизни, перечеркивало что-то и путало, — к печальному мотивчику: «Никаких надежд...»

Одесса, летний дождь, Дерибасовская, мокрый, измятый костюм, полуподвальное помещение швейной мастерской. «Здравствуйте», — говорит он приемщице, которая в черном халате склонилась над столом. Никакого ответа. «Нельзя ли у вас отгладить костюм?» Не поднимая головы, приемщица отвечает: «У нас костюмы не гладят». Но он знает, что уговорит эту женщину с круглой спиной. «Я же впервые приехал в Одессу, — говорит он смеющимся голосом. — И попал под дождь! Такая досада... Вы бы взглянули на мой костюм! Как я в нем пройду по вашей знаменитой Дерибасовской?!» Не поднимая головы, круглая спина громко кричит: «Нюра, прими клиента». Выходит девочка с лицом опытной женщины. На ногах пляжные босоножки, на левой струнно-худенькой смуглой стопе нет мизинца. В глазах изумление пополам с иронией. Он идет за ней следом в маленький, крохотный цех, в котором швейные машинки, недошитые, простроченные белыми нитками платья, а в углу кабинка для переодеваний. Пахнет новой шерстяной тканью. За окошком слышно, как чирикают воробьи. Они чирикают на тротуаре, но тротуар выше окна — воробьи где-то высоко. Она бросает ему розовую полосатую пижаму, годную для коренастого юнца, и когда он с костюмом в руках выходит из-за штор, девочка иронически оглядывает его и без улыбки говорит: «Тоже мне жених!» — молча начиная гла-

дить брюки. А он стоит в этой бледно-розовой пижаме, смотрит на смуглую руку с длинными мышцами и слышит, как клацает разболтавшаяся ручка большого утюга.

Он много раз в жизни вспоминал эту коротенькую сценку и улыбался. И теперь она тоже всплыла в его памяти, и он услышал клацанье утюга и даже почуял запах душноватого пара, исходившего от влажных брюк.

Почему? Зачем? Какая такая радость? А вот пожди ты!

«Тоже мне жених!» — слышит он цедающий сквозь ленивый ротик восторг насмешливой одесситки. Помнит, словно это было вчера, свое восторженное ощущение жизни. Неужели никаких надежд? И не понимает, о какой надежде речь, когда слышит это проклятое «никаких надежд...».

Он плохо спал, видел страшные, непонятные сны, просыпаясь в отчаянии, и не на шутку пугался тьмы за окном. Однажды, проснувшись, он с облегчением понял, что светает, но было всего четыре часа ночи, а за окном шел снег, похожий на утренний неверный сумрак. Слышно было, как сухие снежинки с шорохом скользят по стеклу. Значит, подморозило, синоптики не ошиблись.

Бетонная полоса, пегая от снежных наметов, приняла на себя грохот раскаленных газов стартующего аэробуса и скользнула вниз, проваливаясь в белесую муть, удаляясь все дальше и дальше, пока не оборвалась, не исчезла. Огромный летательный снаряд, оттолкнувшись от нее, тяжело набирал высоту. Серые шлейфы сожженного на форсаже горючего тянулись за ним, провиснув в небе дымными грядками.

Зеленый «рафик», как детская игрушечка, развернулся. Горделивый человек, встречавший группу из Москвы, сказал другому, который был в «рафике», что совещание прошло успешно, имея в виду свою административную роль, тот согласился с ним, сказав что-то похожее на русскую поговорку: «Конец — всему делу венец», — достал из нагрудного кармашка стеклянную фляжечку, отвинтил пробку, сделал маленький глоток и напомнил своему товарищу, чтобы тот не забыл отвезти на вокзал женщину, фамилию которой не назвал. Тот уверил его, что все будет сделано как надо и что он ничего не забудет.

А тем временем аэробус был уже далеко от Прибалтики, унося в глубь страны своих пассажиров, которые, как все авиапассажиры мира, жили от минуты к минуте, отвлекаясь от нехороших мыслей, выгоняя их из сознания нарочитой

дремой, чтением или разговором. Ощущения полета никто, пожалуй, и не испытывал в огромном, похожем на кинозал салоне. Это было нечто другое (кто из живых существ на земле летает сидя!): перемещение по воздуху.

Тарасов оказался рядом с Клейном.

— А где же наша...— сказал Олег Федорович, вертя головой,— что-то я не видел ее сегодня...

— Она поездом,— ответил Клейн.— Ядовитая штучка.

— Да, очень странная,— согласился Тарасов.— Мистические идеи! Тайна смерти, попытка заглянуть туда, понять... и, по-моему, хочет поверить в загробную жизнь. Впрочем, это сейчас модно, она, видимо, подвержена, и я не удивлюсь, если мне скажут, что ее волнует спиритизм... Мне не нравится все это не потому, что я ханжа, а потому, что это уже было в начале века. Всего-навсего лишь мода, которая имеет циклический характер... Мода повторяется...

— Один умный человек сказал,— заметил Клейн со вздохом,— что особенность мистического мышления заключается в отсутствии внимания. Внимание все приводит в порядок. Это бесспорно.

Тут вмешался дремлющий с другой стороны от Тарасова молодой ученый с лысым черепом. Очень рафинированный на вид, обреченный на жизнь в среде таких же, как он сам, интеллектуалов, ибо представить себе, что его могут понять и принять в народе или что сам он может как-то вписаться в группу простых неученых людей,— представить себе такое было невозможно. Тарасов, когда видел этого молодого человека в очках и в ковбоекке, почему-то жалел его. Ученый открыл глаза, поправил очки и очень вежливо сказал:

— Товарищи, это не мода. У нее недавно погиб сын.

— А-а-а?— откликнулся Тарасов, почувствовав тычок запнувшегося сердца.— А-а-а...

А Клейн чмокнул губами и понимающе склонил белобрысую стариковскую голову.

Молодой ученый опять прикрыл глаза, уткнувшись подбородком в грудь.

Снижая скорость, теряя высоту, самолет шел на посадку, выпустив многопалые шасси, по-орлиному готовясь вцепиться черными лапами в бетонную полосу, которую переметал сыпучий снежок. И когда он бежал по бетонке, издавая утробные, тяжкие стоны тормозов, когда погашенная скорость сравнилась с автобусной и стали видны в снегу желтые стебли травы, Тарасов, очнувшись, перевалился всем корпусом к своему соседу, к молодому этому ученому,

чтобы спросить... Но кресло, где сидел он, было уже пусто.

— Ах, как глупо получилось!— в сердцах сказал он.— Стыдно, черт побери. Позор!

Ведь это она смущенно говорила ему о бессмертии, приводила слова Толстого: «Смерти нет!» А он с ухмылкой: что это вы все о смерти, давайте о жизни. Она не хотела верить в пустоту смерти и, наверное, ждала хоть крошечку сочувствия, а он петушился: я деловой человек, реалист. Она заполняла перевоплощенной жизнью, энергией души страшную пустоту, а он ей про какую-то работу, про медведей, волков и прочую скотину. Она в отчаянии пыталась верить, что мальчик ее где-то там, в каких-то других измерениях, будет вечно жить, оставив на земле воспоминание о себе, а он ничего этого не знал, не слышал ее тоски, ничего не разглядел, исполняя роль беспечного, влюбленного в себя болтуна.

— Ах, как стыдно,— шептал он, спускаясь по трапу.— Как нехорошо все вышло.

Клейн поглядывал на него с деликатным любопытством, думая, наверное, бог знает что о нем, хотя Тарасову было безразлично, что там роилось в аккуратной голове старика, сохранившего собственные зубы.

Он мог бы, конечно, узнать отдел, в котором она работала. Но так уж случилось, что никогда больше не увидел ее, не встретил случайно, хотя и приглядывался к толпам женщин, выходивших в шесть часов вечера из широких тяжелых дверей и похожих на школьниц, бегущих домой после звонка. Он даже порой думал, что она просто избегала теперь его и пряталась, стараясь не попадаться на глаза.

Лишь однажды в вагоне метро вдруг почудилось, что он слышит знакомый голос, такой же надтреснутый:

— С меня хватит... Я боролась! У меня было столько конструктивных предложений, но меня никто не слушал. И с меня хватит! Я боролась, а теперь пусть борется мой сын. У меня сын Глеб. Пусть теперь он сам борется. А с меня хватит. Между прочим, у всех генералиссимусов были сыновья Глебы. У всех!

Он с ужасом посмотрел туда, откуда раздавался знакомый голос. Но увидел согбенную старушку, осторожно выходившую из вагона на платформу, придерживаясь глянцево поблескивающей пухленькой рукой за край дверного проема. Две девушки, сдерживая смех, обогнали ее.

Это была другая женщина. Он, к счастью, ошибся.



Земные пути

Помимо всех недостатков, которые я имею, — говорит низкорослый мужичок, дразня людей заносчивой ухмылкой, — есть у меня еще один странный недостаток... Кто-нибудь начнет что-нибудь строить, а я присматриваюсь, что он там строит, зачем и на какие средства. Тут один мужик колодец начал летом: роет землю. С чего бы это? Водопровода, что ли, нет? Говорит, у меня изжога от железа и хлорки, я чистой воды хочу, колодезной. Водку пьет, а тут какой-то хлорки испугался. Бред! И что же? Он этот колодец строил неспроста.

Под растопыренной, как у ящерицы, пятерней — головка дочери, которая жметя к отцу спиной, поглядывая на дядек с той же, как у отца, заносчивой, подозрительной хитрецей во взгляде неустоявшихся, но уже не по-детски любопытных глаз. Выгибается дугой, упираясь затылком в живот отца, тербит его руку, которую тот держит на вязаной шапочке дочери.

— Упадешь, Светик, поскользнешься ножками и

упадешь. Стой спокойно,— говорит ей отец, а сам уже знает, что слушатели у него на крючке и можно выдержать паузу.

На дворе середина апреля. Солнечный день. В старых березах, в голых ветвях черно от грачей и растрепанных гнезд. Угомонившиеся после прилета, деловитые птицы звонко и певуче ворчат. Деревья кажутся распухшими, заржавевшими после зимы, коричневыми, как и узкое шоссе, что пролегло под пегими их стволами, утонув в глине. Шумно от машин, от липкого, клейкого качения резиновых протекторов по грязной мокряди. Машины по самые стекла все одного цвета — коричневые. Обочины тоже залиты несенной красочкой.

Весна в этом году скороспелая, с теплыми туманными ночами, полными шорохов и журчания бубнящих, гулькающих голосов бегущей воды.

Возле дверей магазина, закрытого на обед, сидят на горячей лавочке двое, а перед ними стоит, покачиваясь на каблуках, коротконогий, со старческими чертами лилипута мужчина с дочкой. На нем нейлоновая куртка под цвет ранней весны, старомодные ботинки на высоком каблуке с белыми разводами выступившей соли, а на голове зеленая грубошерстная шляпа с плетеной лентой и с металлической эмблемой немецких охотников — голова рогатого оленя в хвойный ветвях.

Он не знает о своем прозвище, не слышал, хотя даже жена знает, посмеиваясь над ним за глаза, но тоже не говорит, не хочет обижать обиженного природой. Прозвище это Пупок.

— А чего неспроста-то?— спрашивает один из сидящих, снисходительно поглядывая на Пупка в шляпе.

— А то и неспроста!— откликается тот.— Золотишко между бревен прятал. Работал на приисках, наворовал, а куда девать? Думал, думал и придумал, дурак. В колодце спрятал. Для чего ему золото? Куда его денешь? И золото и себя погубил. Вот тебе и богатство! Думаешь, позвонил куда надо? Нет, я этим не занимаюсь. Но интерес к строительству имел огромный, сердце чуяло, что дело тут неладно. Зачем человеку колодец, если у всех водопровод в домах? А?— спрашивает он и с нешутейной угрозой, подозрительно переводит взгляд с одного сидящего на другого.— Вот я и говорю — странный недостаток. И не стыжусь, потому что этот недостаток — наблюдательность. От меня ничего не ускользнет. Любая мелочь. Все пройдут мимо, меня что-то остановит и заставит задуматься: а для чего это, зачем и какая цель преследуется?

— Врешь ты все, Паша. Где-нибудь прочитал, а теперь треплешься. В газете писали, я помню.

— Это твое личное дело, верить мне или нет! А я все-таки не вру и не треплюсь. Только когда человек что-нибудь строит для себя, я задумываюсь — говорит он, подняв кверху маленький указательный палец.— У меня глаз! Если человек строит, то обязательно что-нибудь украл или что-нибудь предосудительное задумал. Верить человеку нельзя! Особенно, если он что-нибудь большое задумал, не по средствам, не по нутру своему...

— Ты лучше, Паша, скажи,— лениво говорит другой сидящий на разогретой лавочке,— откуда сам взял денег на «Жигули»? Это не колодец вырыть.

— Не перед тобой мне отчет держать, но скажу вот что: ты сейчас сидишь тут, ждешь, когда магазин откроют, для чего? Бутылка нужна или две. Так? И сигареты по шестьдесят копеек, потому что, я знаю, других нету у Вали. Так? А я жду, чтобы хлеба купить, масла и шоколадку ребенку. Есть разница? Вот и думай. По арифметике троечка была или двойка в четверти? Ты домой придешь, жену попроси подсчитать и потом разницу помножь на четыре года. Ревизор! Я в землю ничего не прячу. В этом доме,— говорит он, махнув рукой в сторону берез,— родился, в нем и умру. И ничего мне больше не надо. И вот что еще учти! Езжу я без всяких прокладок, бензин не ворую, как полагается, жгу девяносто третий, а не семьдесят шестой.— Он отодвигает дочку от себя, насаждает на двоих, машет перед носом у них пальцем, пятит живот, перетянутый поясом, и вид у него такой, что дочка покусывает верхнюю губу и ждет, что отец сейчас будет драться.

— Ладно, Паш, пошутили, и хватит. Кончай шуметь.

— Бытовые пасквилянты! Вот вы кто! — кричит не на шутку оскорбленный Паша.— Мелкие пасквилянты! — И смотрит на них, вытаращив глаза, словно бы требует, чтобы они сейчас же упали от его слов, скошенные ими и убитые наповал.

Но те, кому он кричит, посматривают на него с незлобивым удивлением, плывут в недоуменных улыбках, переглядываются.

— А чего он хочет? — спрашивает один другого как об отсутствующем.

— В лоб получить.

Паша опять набрасывается оскорбленно:

— Ты это брось, словечки такие! Я тебя знаю...

— Знаешь, и хорошо. Я тебя не трогаю, и ты не лезь,— говорит один из них спокойно, с сознанием своей силы.— Не лезь, Паша.

Дочка не спускает глаз с отца, и, как ни странно, ни тени страха на ее лице — одно яростное любопытство, словно ей страстно хочется увидеть драку, посмотреть, как отец будет бить этих дядек. Ротик у нее открыт, глаза сияют восторгом, кулачки стиснуты до побеления кожи, редкие зубки ощерены, а дыхание затаено.

Но отец не лезет.

Так уж случилось, что никто никогда не бил его. Даже в детстве только замахивались ребята, если он задибался, но не били. А задибался он привык, язычок у него был хорошо подвешен. Словечки подбирал обидные, нрав же у него был неуживчивый, скандальный, и что особенно бросалось в глаза и обижало людей от мала до велика — это нравоучительный тон, который с годами окреп в Паше Зобове, превратился в непреодолимую потребность, изощрился, как если бы Паша нашел свое призвание и уверовал в миссионерскую роль среди заблудших овец. Страх он не знал, как будто жизнь свою не ценил и себя не жалел ради правды.

Не было случая, чтобы Пашка Зобов не встрял, не влез в какую-нибудь свару, выкрикивая витиеватые свои речи, к которым, как это ни странно, почему-то прислушивались, недоумевая и посмеиваясь как над непривычным явлением. Дух противоречия был, пожалуй, главным двигателем всех его поступков, и даже если, например, кто-нибудь говорил в солнечный день, наступивший после продолжительных дождей, что на улице сухо, он усмехался и обязательно отвечал, вспоминая подходящую поговорку: «Сухо по самое ухо».

Братья Губастовы, которые сидят на лавочке, известны в поселке своими драками, приводами в милицию, пьянством и вопреки всякой логике добротой, которую поддерживают в них сердобольные старухи, знавшие этих братьев со дня их рождения, с тех пор как остались они без отца, опившегося вином. Братьев Губастовых побаиваются люди и, встречаясь в темноте, ждут от них непредсказуемого, обмирая от страха.

Один только Пупок придирается к ним, большим, поджарым, длинноруким, с тяжелыми костистыми кулаками, с кожи которых никогда не сходят багрово-бурые ссадины то ли от грубой работы, то ли от драк. Братья агрессивны к молодым мужикам и бесцеремонны с женщинами, как будто цивилизация не коснулась их. Они даже к неодошевленным

предметам относятся агрессивно, если эти предметы почему-либо мешают им. Идут, например, зимним деньком, и вдруг кто-нибудь из них поскользнется на обледенелой дорожке, ворчливое ругательство вылетает изо рта, взгляд упирается в скользкое местечко, глаза тяжелеют от ненависти и злобы, как если бы накатанная ледянка на дорожке обернулась заклятым их врагом.

И только к старушкам питают они слабость, называя всех без разбора тетями, спрашивают о здоровье, сочувствуют, выслушивают жалобы и даже советуют, как лечить ломоту в костях: «Ты, тетя, как бузина покраснеет, набери ягод, напихай в бутылку и залей водкой. А потом натирайся этой жидкостью. Все пройдет! Еще бегать будешь! Бузина. Которой самовары чистят... Замечала? Позеленеет самовар, а бузина всю эту зелень съедает... Так и здесь. У тебя в костях образовалась, как бы это сказать, ее ничем оттуда не вытравишь. Одна женщина ходить не могла. У всех врачей побывала, а потом ей посоветовали, теперь на высоких каблучках ходит. Все пройдет, тетя! Еще на танцы в клуб будешь бегать».

Старушки любят Губастовых, здороваются с ними, улыбаются и, если встречают одного брата, спрашивают озабоченно, где другой, потому что привыкли видеть их обязательно вместе. Передают привет матери, а то и помощи какой-нибудь попросят, кабанчика, например, зарезать, обещая за это бутылку водки, от чего братья никогда не отказываются, с радостью берясь за рукоятку длинного острого ножа. Почесывают жесткую щетинку откормленного хряка, успокаивают, ласкают его, а потом бьют ножом в сердце, вынимая визжащую жизнь из вздрогнувшей и обмякшей туши. Тут уж, конечно, и печенка жарится на газу, и водка разливается по стаканам, и травятся байки про то, как увели со двора у учителя опаленную тушу, которую подвесили к дереву, пока сами за стол, под печеночку, сели: «Сидят, смотрят на улицу, а учитель говорит: с утра уже пьяные. Гляди, гляди, еле идет... Смотрят, а посреди улицы двое ведут мужичка в шляпе, в длинном плаще: повис и еле шевелится, на нашего Пупка похож... Пьянство до хорошего не доведет, говорит учитель, а сам стопаря поднимает за здоровье. С утра, говорит, а уже вдугоря... Выходит во двор, а там... одно дерево стоит, а кабана нет».

Смеются, хохочут, жуя горькую печенку. Под ногами кровь, на лице тоже ее брызги. Старушка и та смеется, любясь, как дробят печенку зубастые челюсти добрых ее по-

мощников: где теперь найдешь за такую цену резáку, это ж серьезное дело — зарезать кабана, опалить и разделать. А братцам как будто в удовольствие, как будто не труд это, а простая забава, праздник, подвернувшийся нечаянно.

«Один рассказывал,— начинают братцы наперебой,— из Талдома мужик. У них там гробов не делают, в Дмитров надо ехать. Поехали, похоронить надо было кой-кого. Двое в кабине, а третий в кузове. Купили гроб, едут обратно, а тут дождь. Двоим хорошо, а в кузове... Что делать? Залез в гроб, крышкой накрылся, пригрелся и уснул. Бабки какие-то стоят на дороге, голосуют. Хотите, садитесь. Да у нас, говорят, гроб... Как хотите. А что делать? Залезли. Сидят тихонечко, все ж таки гроб... Едут. А в гробу-то этот проснулся, крышку приподнял и рукой это... смотрит, капает или нет... Бабки руку увидели, заорали, из кузова сразу и поспрыгивали. Ободрались, одна ногу сломала, другая ключицу... Шоферу год дали условно».

Посуда трясется, позвякивая от хохота, старушка не знает, смеяться ей или нет, переживает рассказанное, примеривая всю эту историю на себя... Во рту у нее пересохло от суеверного волнения, и улыбается она только из вежливости, чтоб не обидеть веселых братцев.

Байки их ненормальные какие-то, смешного в них мало, одно безобразие. Про мужика, например, который в столе дырку проделал, прорвал и измазал скатерть в красной краске, а сам под стол залез и голову свою просунул в эту дырку, жена домой пришла и грохнулась на пол, увидев голову мужа на столе в крови, еле откачали...

Рассказывают они плохо, но рассказывают и хохочут, кашляют, хрипят, давясь смехом, как будто сами все это проделывали когда-то, а теперь вспоминают с удовольствием о детской своей шалости, о приятном пустячке.

Паша Зобов тоже наслышан о братцах, не любит их и, если встречается на улице, останавливается и молча провожает подозрительным взглядом. Вид у него тогда такой, будто размышляет он только об одном: как бы придраться к ним и сказать в лицо все, что он о них думает. Старческое личико его собрано в гладкие складочки, морщится в едва выносимой брезгливости, будто плюнуть хочет вслед ненавистным верзилам, которые проходят мимо в грязных своих брюках, не замечая его и, конечно, не здороваясь.

Теперь, когда они сидят перед ним на скамейке, его подмывает ударить их. Но ничего, кроме обидных слов, нет у бедного Паши против великанов, от которых пахнет затхло́й,

пропотевшей одеждой, кислой грязью засалившихся волос, неживыми запахами разложения, точно два трупа сидят перед ним, дразня его своей неуязвимостью. Зачем притворяются живыми? Нет ответа у Паши на этот вопрос.

— Мертвяки проклятые,— цедит он сквозь зубы, опять нащупывая вязаную шапочку под рукой.— Не бойся, Светик. Это очень плохие дяди, но ты их не бойся. Их нельзя бояться, а то они о себе очень много думать будут. Не бойся.

Грачи неумолчно ворчат в гнездах, степенно летают, иссиня-черные, важные. Березы, залитые солнцем, светятся золотистой охрой, старые ели чернеют зимней хвоей. Из-под стены магазина грядкой торчат зеленые кустики перезимовавшей травы. Бабочка-капустница пролетает в воздухе, несомая проснувшейся энергией, как будто на хрупком тельце насекомого ожили и заработали солнечные батареи и не бабочка это, а весеннее чудо в прохладном воздухе напоминает всем живущим на земле о всемогущем солнце — так удивительна и неправдоподобна она в порхающем, радостном, торопливом полете в этот апрельский денек.

Наконец магазин открывают, и братья, потягиваясь и разминая ноги, идут неторопливо к дверям, не обращая внимания на подоспевший народ, который давится в дверях, оттирая и Пашу Зобова.

Один из братьев наваливается на застекленный прилавок, растопыривает локти, отодвигая любопытных, и зовет по имени продавщицу.

— Чего тебе?

Показывает ей ручные часики, тихонечко цокающие на жесткой ладони.

— Ну и что?— спрашивает продавщица и сердито смотрит на часы.

— Две бутылки дашь? — шепчет ей лохматый братец.

— Цена-то им три копейки,— громко говорит продавщица.— Иди, иди отсюда,— отмахивается она.

— Ну одну!

— Не дам, не получишь, иди отсюда.

Братья переглядываются, кривят разочарованно губы, проклиная промышленность, которая столько на выпускала этих часов, что за них даже бутылку не дают. Цена им и в самом деле три копейки. А Паша смотрит на того из них, у кого часы, и злорадно ухмыляется.

— Иди-ка сюда!— строго говорит он командным голосом.— Дай!

Тот недоверчиво протягивает часы. Паша внимательно

осматривает их, слушает, подносит к уху, показывает дочке, дает и ей послушать.

— Ворованные?

— Нет,— с надеждой отвечает расслабившийся братишка.— Свои. Вон его... Хорошие часы, бери, если надо.

Паша опять с ухмылкой вертит часы, зачем-то ногтем постукивает по стеклышку, слушает, потом роется в кармане, бренча мелочью, достает горсть медных монет, среди которых светлеет один гривенник, протягивает великану вместе с часами, говорит задиристо:

— Поклонились бы очереди: люди хорошие, подайте... Держи, нищий!— И раскрывает кулак. На сморщенной ладошке часы и мелочь.

Что это за странность такая! Вот и опять, как бывало в детстве, замахнулся на него рассвирепевший мужик, занес кулак, а ударить нет сил. То ли убить боится, то ли обладает Паша Зобов таинственными биотоками, непробиваемой броней, на которую натывается кулак, повисая над головой ехидно смеющегося человечка.

— Замахиваться!— кричит Паша и вдруг, пугая людей в очереди, бросает на каменный пол хрупкие, тяжеленькие часики.— Ползай, гад!

Но опять ничего особенного не случается. Братья быстро поднимают, подхватывают часы, трясут их у себя над ушами, прислушиваются, но нежного цоканья уже нет. В изумлении, в тихом немом бешенстве смотрят на Зобова как на нечистую силу, справиться с которой не хватит у них никаких сил.

— Чего ж ты наделал, а?— спрашивает один из них как у несмышленища.— Ты хоть понимаешь, а? Удавить тебя, что ли? Чего молчишь? А?

А Паша смотрит на них уже без улыбки, зная, что сгоряча зашел в своей задиристости слишком далеко, но и страха нет в его глазках.

— Цена им три копейки,— говорит он, прижимая к себе дочку.— А ворованным и того меньше. Выкинь их и забудь. Не было, нет и не будет ничего. Живи спокойно, звонить я никуда не буду. Я знаю, у тебя таких часов никогда не было. И у него тоже. Знаю, знаю... У меня один недостаток есть, я говорил... Вот и учти. А будешь хулиганить, замахиваться, грозиться — смотри! Я тебя за оскорбление личности. Тебе чего Валя сказала? Иди отсюда. Иди, иди... Я тебя не боюсь. И тебя тоже!— возвышает он голос.— Хулиганье! Мертвяки проклятые! Идите оба отсюда! Быстро!

Братья чуть ли не плачут от бессилия, делаются вялыми,

полусонными, словно мерещится им бог знает что, когда они смотрят на Пупка, какая-то странная сила исходит от напористого, ядовитого мужичка, расслабляя волю и желание сопротивляться, спорить, ругать его или тем более бить. Сами они как побитые уходят, роняя ругательства и угрозы.

Дочка смотрит на отца, жметя к нему, словно хвастается перед людьми, ластится к герою, который прогнал страшных дядек, и глаза ее купаются в припухших веках.

— А это вы птичек стреляете?— спрашивает она у рыбака с удочками, который покупает сигареты.

— Это удочки,— отвечает тот.

— Вы из удочек птичек стреляете?— все тем же укоризненным тоном спрашивает девочка.

— Кто ж из удочек стреляет? Я рыбу ловлю.

— А это вы птичек стреляете, да?— не унимается маленькая Зобова, не слушая рыбака.— Зачем вы птичек стреляете?

Тут у любого терпение лопнет.

Жена Зобова родилась далеко от Московской области, в некогда большом уральском селе, в родном селе самого Паши, а точнее сказать, отца его, приехавшего в Подмосковьё в сорок шестом году по вербовке. Паша родился уже в Подмосковьё.

Это была крупная, тяжелая по весу, ласковая и робкая женщина с рыхловатым, широким лицом, истекающим податливой, одинаковой для всех и словно бы греховной, глуповатой улыбкой. Звали ее Доней.

— Доня Саладилова,— сказала она когда-то Паше Зобову, приехавшему погостить к родственникам.

— Тоня?

— Нет. Такое у меня имя. Доня.

— Дуня?

— Да нет же!— сказала она, всплеснув руками и подавшись всем телом вперед, глядя на Пашу с удивлением, словно он хотел обидеть ее, а она никак не ожидала от него этого.— Доня. Такое у меня имя редкое.

Потом она рассказывала ему о себе, когда он держал ее мягкую, большую руку в своих ручках:

— Послали меня стрижечь овец, а я не умела. Не умею, говорю, а мне говорят: иди, научишься. Я и пошла. Пришла на базу, а на базе окна все и с этой стороны и с той стороны открыты. Женщины говорят: не можно работать на сквозняке. Тут сквозняк. Не можно работать. А я думаю, что ж это такое — сквозняк? Никогда не видела его. Что он

такое? Не знала сквозняка. А как стариться стала, так и узнала, что это такое...

Было ей в ту пору двадцать семь лет, и она считала себя старой, не рассчитывая на замужество.

Паша не стал разуверять Дону Саладилову и женился на ней. А она, поплавав немножко, смирилась с маленьким мужем, который едва доставал затылком до ее плеча, хотя ты води его за руку, как ребенка.

Женитьба эта изменила Пашу Зобова, напрягла его нервы, и стал он сам за собой замечать приступы ревности. Если, например, Доня, гуляя с маленькой дочкой, о чем-нибудь начинала говорить с посторонним мужчиной, он обязательно устраивал ей выволочку, допытываясь, кто этот мужчина и давно ли она знакома с ним, не веря ни единому ее слову. Он доводил себя до такого состояния, что правая рука его помимо воли быстренько и резко ударяла Дону по мягкому лицу, на что Доня, почувствовав тычок кулачка, удивленно спрашивала с улыбкой: «За что?» А второй, третий и четвертый удары принимала с греховным оханьем, как будто они доставляли ей маленькое удовольствие. Она только закрывала глаза и уворачивалась от кулачка, который все-таки находил ее лицо и резким тычком причинял тупую боль. Делал это Зобов молча и очень старательно, как будто ему тоже доставляло удовольствие изловчиться и попасть в рыхлую мякоть, минуя большие руки жены, которыми она закрывала лицо. Как будто он комаров бил на лице жены, тщательно прицеливаясь всякий раз и работая своим кулачком так, точно каждый свой удар очень высоко ценил и не хотел тратить зря. Ахающие стоны испуганной жены возбуждали его, а покорность ее и беззащитность прибавляли в нем уверенность, что разговор с мужчиной был не случайным.

Особенно ревновал он ее к водопроводчику, который не пропускал случая заговорить с Доней, повторяя всегда одно и то же. «Продай дочку, я хорошо заплачу,— говорил с улыбкой, выпятив вперед злобную на вид нижнюю челюсть. В глазах его дремала едва разбуженная, не воспитанная никем доброта.— Продай, а то украду».

— Какой-то бандит,— говорила о нем Доня.— Какой-то страшный мужик.— Отшучиваться она не умела, и слова его очень пугали ее.

«У меня три сына и два внука, а внучки нет,— пояснял он свое отношение к маленькой девочке.— Я бы тебе взамен двух внуков отдал... Соглашайся лучше, а то украду».

— Какой-то ненормальный,— говорила Доня.— Я его боюсь, Паш. Он и правда украдет.

А Зобову казалось, что это у них свой язык наладился и что не о дочери тут речь, а о чем-то совсем другом.

Дыхание его прерывалось, когда он узнавал о новой встрече, руки сжимались в кулачки, а Доня, пугаясь этих уже привычных приготовлений мужа, спрашивала его жалобно:

— Паша, чтой-то ты, Паша, чтой-то... Он же старик... Паша! Ой...

Но Паша уже не слышал ее. Голова его гудела от тоскливого бешенства, словно жалобным вскриком своим жена признавалась ему в своем грехе. Он подскакивал к ней и с подпрыгом бил по лицу жестким кулачишком, наслаждаясь ее испугом и податливой, недоуменной улыбкой, с которой она обычно принимала первый удар.

Жена его была так велика ростом и телом, что Паше Зобову порой чудилось, будто сама природа создала ее не только для него одного, а и для других охотников, которых ходит вокруг так много, что ему вроде бы волей-неволей надо делиться с ними. Как если бы лакомый кусок был слишком велик для него одного: люди все это видели, знали и посмеивались над ним, ухватившим от жизни чересчур много товару. Глаза Дони, оплывшие полусонными веками, казались ему до того развратными, а взгляд их таким блазнящим, что иной раз он ни с того ни с сего требовал от нее подробного рассказа о прошлой жизни, когда еще не был на ней женат, чувствуя себя в эти минуты допроса опытным и хитрым следователем.

— Так, значит, ставишь вопрос,— говорил он с угрозой в голосе.— Даже не целовалась.

— Не целовалась, Паша...

— Не любила, что ль? — задавал он подковыристый вопросик и с подпертым дыханием ждал ответа, потупив глаза, чтоб не спугнуть жену.

— Не любила,— признавалась Доня.

— Так, значит... Прямо к делу приступала?

— К какому такому делу?

— Хоть бы врать научилась, корова!— кричал на нее Зобов, взрываясь злобой. И тычком в лицо вызывал глухой и жалобный стон из Дониной груди.

Делал он это всегда осторожно, боясь повредить глаз, губу или нос, чтобы никто не заметил следов его ударов, и если утром, когда Доня собиралась на работу, одевая дочку

в ясли, обнаруживал на лице ее небольшой синячок, он подсказывал ей об этом и заставлял припудрить поврежденное место, что Доня и делала с покорностью.

Таким своим поведением он так запугал добрую свою и глупую жену, что она стала бояться не только заговорить с посторонним мужчиной, но даже и взглянуть или поздороваться в ответ, предпочитая молчать и отводить взгляд в сторону.

Около пыльного железнодорожного переезда, недалеко от станции расцвели старые липы. В чаде и гари проносившихся поездов, газующих автомобилей с дымными дизелями и ядовитыми бензиновыми двигателями липы эти цвели безмятежно и самозабвенно, хотя и не было слышно запаха цветов, в чаще которых жужжали бы пчелы, собирающие нектар. Огромные цветущие деревья, покрытые пылью, гигантскими искусственными букетами закрывали пристанционные постройки, скрашивая неряшливые дела людей на земле.

Именно в этом месте на мокром шоссе после легкого летнего дождика случилась авария, в которой автомобиль Паши Зобова сильно пострадал. Он резко затормозил, пощадив пробежавшую собаку, его развернуло, а встречный трайлер смял ему своим колесом переднее крыло, сдвинув на сторону колодец, в котором размещается двигатель, и сильно повредил переднюю подвеску.

То, что полчаса назад называлось автомашиной и стоило больших денег, перестало быть таковой, превратившись по воле случая в нелепое нагромождение измятого металла, жалко подвернутых колес и всего того убожества, какое представляет собой пострадавшая машина.

Паша выпрыгнул на асфальт, увидел весь этот ужас, махнул рукой и, шатаясь, отошел к обочине, к кювету, сел в мокрую траву, свесив ноги вниз, и заплакал.

Он так любил свою новенькую машину, так гордился собой, научившись управлять быстроходной «Ладой»! Он сидел к ней спиной, не веря в случившееся, грыз горьковатую травинку, сорванную в кювете, и слышал бубнящие голоса людей, собравшихся возле его изуродованной красавицы, с которой он не знал, что делать. До дома три километра, но своим ходом или даже на буксире туда уже не добраться. Надо вызывать техпомощь, а как ее вызывать — Паша не знал. Он опять и опять слышал бухающий, арбузно-сочный, лопающийся удар, от которого упал с сиденья, и удар

этот плющил мысли в голове, разъединяя всю его жизнь на доаварийную и послеаварийную.

Солнце быстро высушило асфальт, но трава в кювете была еще влажная. В грязной ее зелени посверкивали на тонкой паутине крупные каменисто-прозрачные капли, похожие на бриллианты, с таким же внутренним слепящим сиянием. Никто, кроме Паши, не видел их и никогда не увидит. Они, как сон, забудутся завтра. Наяву останется только разбитая машина, под передними колесами которой темнела лужа охлаждающей жидкости, как кровь из разбитого носа.

— С праздничком!— весело сказал кто-то из любопытных.

— А что такое?

— Сто лет русской балалайке!

Послышался смех. Кто-то еще сказал:

— Живу? Нормально. Кофе, коньяк, сигареты... Дженгельменский набор! Чья это тачка?

Паша, который все так же понуро и убого сидел над придорожной канавой, подумал вдруг со страхом и удивлением, что все эти люди очень радуются, разглядывая некогда красивую, сделанную умелыми мастерами умную вещь, исковерканную в аварии. Чему же они радуются? Ведь это зло? Или радость?

Мысль эта поразила его, и он, вытирая руками слезы, маленький, неказистый, поднялся, глядя на веселящихся людей, и, хрустя осколками разбитой фары, с жалостью глядя на лужу жидкости, черно поблескивающую на асфальте, подошел к своей машине, потрогал ее, разогретую под солнцем, и закричал на людей, издав трубный, капризно-ноющий вопль. Слова не слушались его, напирали друг на друга.

— Ну чего! А-а! Как же? Что? Гуляете! Чего встали? Не видели? Машина вот... Ну и гуляйте! Чего смешного?— говорил он быстро, но невнятно, наваливая слово на слово.— Смеются! Радость какая! Раскорячились! Ума-то не нажили. Разве это веселье? Машина разбилась... Ну и что ж?! Разбилась, а вы веселитесь. Что же вы, братцы? Совесть-то! Эх, вы! Желторотые! Цирк какой нашли! Идите, идите! Эх, люди! Совесть-то где потеряли? Над чужой бедой...

Он стоял перед машиной, размахивая руками, а люди смотрели на него в недоумении. Крики его, как взмахи рук, суматошно неслись в горячем воздухе, глохли в шуме проезжающих грузовиков, в грохоте товарных эшелонов. Было

что-то очень родственное в смешной, измятой горем, растерянной фигурке человека и машине, уткнувшейся радиатором в землю, сплюсненной и разбитой, как будто и он и она обрели наконец сходство в вопиющем убожестве, в страдальческом том виде, какой имели они тут, на проезжей дороге, под липами.

Людям смешно было слушать его, и они смеялись, поглядывая на маленького человечка, размахивающего коротенькими руками и кричавшего что-то непонятное.

Работал Паша Зобов в ремонтной конторе, научив и жену свою клеить обои, белить потолки, красить рамы и двери, покрывать лаком паркетные полы, настилать линолеум. Заказы оформляли на пару и работали заинтересованно. Она в комбинезоне, на котором не было живого местечка, словно комбинезон этот был маскировочным — так густо и пестро он был измазан всякими красками. А Паша работал в халате, не сумев ничего путного подобрать по росту. Помимо официальных заказов брали они и частные, зарабатывая немалые деньги. В работе Паша был сердит и строг, исполняя роль ведущего, а жена, будучи, так сказать, ведомой, беспрекословно подчинялась ему и никогда ни в чем не перечила. К концу рабочего дня Паша худел, и брючки сваливались с него. С годами у него выработалась привычка подтягивать их на поясе локтями, потому что руки всегда были грязными или липкими от клея.

По привычке он стал это делать и в выходной одежде, особенно если сильно волновался.

В день аварии, когда подъехал на мотоцикле инспектор ГАИ, Паша Зобов тянулся перед ним, а локти его с дьявольской сноровкой ерзали по поясу, сам он весь встряхивался при этом и шмыгал носом. Несчастный и словно бы обескровленный, он очень боялся вежливого лейтенанта, который что-то долго и обстоятельно записывал в свой блокнот. Паша понимал, что в аварии виноват он сам, и говорил об этом инспектору ГАИ, забывая, что повторяется.

— Выскочил прямо под колеса... Жуковый такой, лохматый. Глянул на меня, а я чую, что сшибу его, и по тормозам... Хороший пес, жуковый... Глазищи как у человека.

— Какой?— спросил лейтенант, не отрываясь от бумаги.

— Жуковый... Черный такой.

— А-а, черный. Ясно.

— Жалко стало, а вот как все... Обидно. Глаза его увидел, вот так, как будто он попросил меня, я и по тормозам. Даже не подумал, что скользко. Я бы его сбил.

Зобов поддернул опять штаны, встряхнулся и шмыгнул носом.

— Неповторимо все,— сказал он.— Жаль. Эх-ха-ха! Не знаю прямо, чего теперь делать...

Вдруг подкатили на велосипедах два пацана и девчонка из поселка, узнавшие об аварии, и, тормозя юзом, узрились с испугом и восторгом на автомобиль. Потная и всклокоченная девчонка, таращась на Зобова, выпалила в возбуждении:

— Все, дядя Паш! В кайфе!

Он с сомнением взглянул на красное ее, вспухшее от прилившей крови лицо, увидел полоумные белки выпученных глаз, учуял запах пота и ничего не сказал, подумав, что в поселке теперь только и говорят об аварии и что Доня тоже знает обо всем.

Солнышко еще раз прослезилось, поблестев в каплях дружного и скорого дождя. Над шоссе закурился пар, и запахло мытыми, влажными половицами.

Ласковые эти дожди стали началом затяжных ливневых дождей.

— Самсон поливает,— говорила Доня, поглядывая в окошко.

День начал темнеть, дымчатое небо меркло, и слышался в безветренной тишине шум, похожий на шум листвы. Шум этот нарастал, и становилось понятно, что это дождь. Ничто не мешало ему, и он, густея и светлея на глазах, рушился на землю отвесно. В шуме его тонули все другие звуки: беззвучно бежали ручьи, беззвучно проезжали неторопливые автомашины. И чудилось тогда, будто над головой толщи воды и что поверхность земли — зеленое дно вселенского океана. Люди жаловались, что трудно дышать, будто вспоминали об утраченных когда-то в процессе эволюции спасительных жабрах и жалели об этой утрате.

— Рыжиков хочется,— со вздохом говорила Доня, вспоминая холмы своей юности, поросшие островерхими елками и густо вытканные лилово-оранжевыми цветами иванда-марьи, помня ноздрями жаркое, терпкое благоуханье еловой смолы и прохладный запах рыжиков, которые высыпали под елочками среди цветов.— Сладкий гриб!— мечтательно пела она, утонув задумчивым взглядом в шумящем ливне.— С картохой во как баско! У вас тут, в Москве, народ и народ, ходят, как никто не работает, чего-то ищут,

ищут, никак не найдут. Выйдут из дома и не знают, чего делать, по магазинам ходят, меряют одежду — ах-ах, деньги забыли на рояле... Ой, домой хочется, Паша! Помнишь дорогу к Качинской яме? Рожь высокая-высокая, идешь, и ничего не видно — колоски да небо. И все! Всегда помню, как по ней ходила. Рожь звенит, а туесок в руке с малиной — так сладко пахнет ягода! И рожь тоже пахнет. Я уж забывать стала, как она пахнет. У нее такой запах, прямо в сердце. Его только сердцем и можно запомнить. Вот черемуха, как про нее вспомню, так вот тут где-то и слышу ее запах. А рожь — не помню. Соскучилась. Надо бы съездить, Паш, а то совсем ацетон задушит. А я босиком ходила по этой дороге, пыль как бархат, цветы, как они называются, розовые или белые... Вытянутся на плеточках и распустятся под солнышком, а как дождь, так сворачиваются, как бабочки крылышки сложат... Интересно! Паш, а тут, я гляжу, воробушек прилетел, от дождя спрятался... Серенький и серенький, а как пригляделась, ой, Паша! Какой красивый! Каждое перышко белявеньким обведено, а там рыженьким, а тут черненьким. А я тебе про дедушку своего не рассказывала? Он охотником был: белку стрелял, а то и куницу. Лис приносил, зайцев. А уток сколько! Рябчиков! Я маленькая была, пожалею какую-нибудь птичку, а он мне и скажет: не плачь, потому что птицы, которые на земле гнездятся, человеку предназначены, а те, что на ветвях гнезда вьют, это богово. А я ему: а утки на воде живут. А он мне в ответ: а рождаются? Рождаются на земле. Потом уж их matka на воду ведет. Это и человек тоже: на земле рождается, а потом кто куда, кто в небо, кто на воду. А кто и по земле всю жизнь ходит, как я, любит красотой, сердце свое радуется. Он у меня все время что-то думал, задумчивый был.

Паша после аварии притих. Поругивал только дождливую погоду. В голову ему лезли странные мысли, которые он высказывал вслух жене.

— А вот если бы, — говорил он мечтательно, — человек не ел хлеба, не знал бы вообще, не привык. Ел бы желуди, рыбу, мясо, коренья всякие, а хлеба не знал бы. Что было бы? Вот степи-то были бы красивые! Все в цветах! Такая бы красота на земле была. А то засеют все поля... Не люблю я однообразия. Не хлебороб я, вот и не понимаю этой красоты. Какая же это красота, если от края до края одна пшеница или рожь? Это вон люди газоны делают. Ну и что? Мне лужок на лесной опушке больше нравится. Красота была бы настоящая на земле, если бы человеку не нужен был хлеб.

Трава по пояс, цветы. Кони среди степей, коровы. Орлы в небе, а на земле всевозможные стада животных, диких и домашних. Люди бы их выращивали, или, вернее, животные сами бы паслись среди степей, а люди отлавливали бы их и ели.

— Без хлеба?— спрашивала Доня.

— Без хлеба. А что? Разве нельзя людям без хлеба? Тебе, например, даже полезно. Если на столе рыба, мясо, ягоды, плоды всякие, орехи... Разве нельзя? Что ж хлеб — наказание, что ли, людям? Добывать его в поте лица, преклоняться перед ним. Странно все это и непонятно. Если сверху посмотреть на планету, когда хлеб созрел, она, наверное, пожелтела вся от полей. Планета ведь что? Это живое существо. Она сама себя заселяет всякими цветущими травами, может быть, ей нравится, как пахнут цветы, может, ей больно, когда плуг вспарывает...

— Все-таки без хлеба скучно,— возражала ему Доня.

— А без степей не скучно? А сколько из-за хлеба приходится сыпать землю всякой ядовитой химией? Каждый год, каждый год! Сыплем, сыплем, как дураки. Болота осушаем, пойменные луга, реки вычерпываем на поливку, лес уничтожаем. Это ж какая цена получается? Хорош хлебущек! Поклоняемся ему, а он нас губит. Разве не так? Толстяк какой-нибудь — для него хлеб все равно что яд. А он мучается, как алкоголик без вина, без этого хлеба. Что это люди глупые какие! Ради хлеба погибнуть готовы. Реки, озера, леса — все сводят, лишь бы поле хлебное процветало. А полезного в нем ничего нет. Как чуть заболит человек, что-нибудь у него с животом, так врачи хлеб не разрешают... А люди мучаются без хлеба. Что это такое! Едят, толстеют, жиреют... С весны до осени мучаются, выращивая его, сводят с земли всю красоту, степи, которые все в цветах, в пчелах... Зайчики там всякие... Красота!

За окном рушится ливень, в комнате, где сидят задумчивые люди, полусумрак и тишина.

Самсон поливает.

Паша Зобов любил цветы. В душе его в отличие от многих других людей сохранилась любовь к полевым, диким цветам, названий которых он почти не знал. Цветы и цветы. Особенно нравился ему колючий чертополох. Ругался, если ребяташки секли его палками, рубили и ломали ненавистные колючки. Ждал, когда он зажжет малиновый свой свет, звезду нежнейшего цветка, окруженную седыми иглами. И лопухи тоже любил, большие розоватые их стебли, похожие

на древесные стволы, а осенью — конский щавель, когда он красновато-коричневым огнем полыхал среди луга.

Любви этой стыдился, тая ее от людей, как блажь, зная, что никто все равно не поймет его.

Доня, глядя на притихшего мужа, который перестал даже драться, очень жалела его, словно он тяжело заболел. И однажды, когда Зобов сидел воскресным днем у открытого окна и смотрел, как колотит разбухшую землю бесконечный дождь, подошла к нему сзади и погладила по голове.

Все, что произошло дальше, было так неожиданно и обидно, что она даже боли не почувствовала, когда он вскочил со стула и с визгливым непонятным криком: «Научилась!» — с разворота, с подпрыга сильно ударил ее в глаз.

Она только ахнула, схватилась руками за глаз, во тьме которого ослепительно ярко разгорелся белый обжигающий огонь, и с плачем побежала на кухню, пустила там воду и стала под холодной струей мыть лицо, прикладывая воду пригоршнями к усиливающейся, сверкающей боли.

Как ни старалась она утром припудрить багровый кровоподтек, ничего у нее из этого не получилось, глаз по-бычьему свирепо смотрел из-под распухших, мрачных век.

В этот день она не пошла на работу, то и дело принимаясь плакать. Стыдно было показаться на людях, и чувствовала она себя так, будто муж жестоко обманул ее. Она ему прощала все: и ругань, и злые тычки кулаками в лицо, но удар по глазу словно бы нарушил негласный уговор, и она уже никогда не сможет забыть это предательство. Стыдно было сознавать, что муж попал кулаком по глазу. Может быть, он и не хотел, но она теперь не простит его. Не столько себя жалко, сколько мужа, который как бы превратился вдруг в маленькое, злое, глупое существо, а тот Паша, с которым она мирилась, умер.

Но выйти из дома ей пришлось, и, как она ни пряталась под косынкой, люди заметили синяк. Во всяком случае, братья Губастовы, встретив ее на осклизлой глинистой дорожке, загородили путь и остановили чуть ли не силой.

— Доня, стоп! Гоп-стоп, не вертухайся. Вдруг из-за поворота, знаешь, гоп-стоп! Это что? В аварию попала? — наперебой говорили они, хватая ее за руки, за плечи и пугая настырностью. — Поговорить надо. Это Пупок тебя так? Вот этот вот? — говорил один из братьев, показывая рукой росточек Паши Зобова. — Он, что ли? Донь! Ты ж хорошая, умная баба. Как ты терпишь? Донечка! Не верю...

А она вдруг неожиданно для самой себя расплакалась

и обо всем рассказала братьям, как муж и раньше бил ее и как она прощала, потому что он ревновал, а на этот раз ударил по глазу, и она не знает теперь, что ей делать.

Братья, застигнутые врасплох ее исповедью, выслушали рыдающую Доню, и один из них, поигрывая желваками, спросил с заиканием:

— О-осадить не можешь? Врежь ему по уху! Или нам бутылку, мы его сделаем...

— Жалко мне его!— пискляво отвечала Доня, хлюпая носом и вытирая лицо косынкой.— Маленький он. Как такого ударишь?!

Тогда другой сказал:

— А ты его на табуретку поставь.

Доня улыбнулась сквозь слезы. Братцы отпустили ее, ушли, большие, плечистые, в литых резиновых сапогах, с мокрыми от дождя волосами, диковатые в своей недоступности, живущие как будто не по людским законам, а по своим собственным, не пригодным для человеческого общения.

Лягушки под дождем выпрыгивали к вечеру на дорогу, охотясь за мошкаррой. За одной из них играючи погналась коротконогая собачка. Все это случилось на глазах у Дони. Она видела, как лягушка, поняв, что ей не уйти от собаки, не спастись, обхватила передними лапками голову, закрыла, как руками, глаза, словно зажмурилась перед неизбежным концом, и, перевернувшись зачем-то на спину, замерла. Доня собаку прогнала, лягушку осторожно положила на брюхо, но та, обхватив голову лапками, лежала неподвижно, как будто не верила в свое спасение.

Это было очень знакомо ей самой. Она тоже с таким же отчаянием закрывала голову руками, прячась от кулачков мужа, маленьких, но сильных, резкие удары которых приводили ее в панический ужас.

Страшное открытие — сходство с лягушкой — так расслабило Доню, что она опять заплакала. И когда из темноты дома вышла кошка, она и к ней тоже отнеслась как к родственному существу. Кошка вопросительно, чуть слышно и печально мяукнула, как будто с трудом разлепив свой ротик.

— Ну что?— спросила у нее Доня.— Скучно? Пошли погуляем.

Кошка мяукнула еще раз и побежала рядом бесшумной дымчатой тенью. Было похоже, что кошка поняла ее и что стало ей тоже немножко веселей с Доней или, во всяком случае, приятнее жить на свете.

А Доня опять вспомнила свое село, и дорогу к Качин-

ской яме, и озерцо, затянутое по берегам осокой и тростником. Озерцо было небольшое, но чистое, как дождевая капля, и такое же, как летящая капля, вытянутое, заостренное с одного края, словно с хвостиком, который пропадал в заболоченной лощине. В болоте жили утки, домашние и дикие. Озерцо это лежало на окраине чувашской деревни. В узеньком месте был перекинут с берега на берег деревянный мосток. Такой мосток, который как бы сам тут образовался из горбылей с поручнем из кривых жердин, вырос, как выросли здесь тростник и осока, кувшинки в прозрачной темной воде. В черноте зеркальной поверхности он отражался так четко и резко, что если долго смотреть, то над водой, а точнее сказать, над бездонной какой-то пропастью, казалось, были перекинуты с берега на берег два мосточка. Если какой-нибудь человек шел по мостку, то он точно так же шел и по тому мосточку, который опрокинулся вниз поручнем, но только, конечно, шел вниз головой.

Доня помнила черную, утрамбованную ногами, упругую, как резина, тропу, змеей вползавшую на мосток, помнила тьмистую глубину под сваями, в которой золотыми глыбами светились листья водорослей и медленно плавали полосатые рыбы. Помнила с душевной тоскою плеск упористой воды и торопливые взмахи крыльев взлетевших уток.

Все эти душистые, теплые, озвученные радостью картинки ластились к сердцу нежными лапами пихтовых чащоб. Доня с болью вздыхала, прогоняя видения. Но день ото дня они становились все ярче и красочней. Солнце вдруг своим лучиком освещало в сознании рубиновые ягоды малины или дикой смородины. Полосатый бурундук взбегал от нее на поваленную лиловую от старости ель. Заяц не спеша уходил по мшистой подстилке, вскидывая зад с белым подхвостьем. А то вдруг возникал в ее памяти зимний колодец с деревянной бадьей на журавле. Колодезный сруб, как огарок свечи, залит наплывами стеаринового льда. Вода дымится в ведрах, а в воде колышутся льдинки... Упадет капля на валенок и тут же побелеет. Пробежит заиндевелая лошадь, впряженная в розвальни, стрельнет душистым паром. Морозный воздух запахнет свежим, шелковым сеном. Луч низкого, задымленного морозом солнца остро блеснет в затертой полозьями колее. Половицы в снях взвизгнут под ногами, клубы пара ворвутся в теплую избу, пропахшую ржаными шанежками с картохой. Оцинкованные ведра с водой побелеют от изморози в запашистом тепле жилья.

— Домой я поеду, Паша,— сказала она однажды, из-

мучившись вспоминательной тяжелой болезнью, с которой уже не в силах была справиться.— Возьму Светочку и уеду. Как хочешь. Не могу.

В ответ Паша стиснул челюсти и молча ткнул ее кулачком в щеку. Она даже не прикрылась от удара.

— Все равно уеду,— сказала с грустным равнодушием и всплеснула руками.— Да что это такое!— вдруг закричала она.— Что ты измываешься надо мной?! Кто я тебе? Жена?

«А ты его на табуретку»,— услышала она насмешливый голос. «А вот и поставлю!»— отвечала она в бешенстве.— А вот и врежу!»

Как она это успела сделать, Доня потом и не помнила, но с бесовской силой подбросила Пашку, смяла в охапку, поставила на стул. «Пусти!— слышала она испуганный его голос.— Тебе говорят, пусти!» А она его укрепила на стуле, он вырос над ней, перепуганный и растерявшийся, и с размаху ударила его по шее. Стул полетел с грохотом в одну сторону, Пашка Зобов в другую и, ничком растянувшись на полу, так и остался лежать с задранный штаниной, изпод которой белела сухая, безволосая кожа ноги.

Страх охватил ее при виде валяющегося на полу мужа, она уж было кинулась к нему откачивать, приводить в чувство. Но Паша сам поднял голову, потрогал шею, поморщился, сел, потрогал коленку, которую, видно, ушиб при падении, покрутил головой и неловко встал на ноги.

— Чтоб твоей...— сказал он, опасливо глядя на жену.— Чтоб не было... Корова проклятая!

Через два дня Доня Саладилова уехала, забрав с собой дочку и большой кожемитовый чемодан с металлическими, проржавевшими от времени уголками. Собиралась она так, будто ее наконец-то отпустили на волю и она лишь одного боялась — чтобы не задержали ее, не заставили жить опять в опостылевшем доме, в котором она и так уже слишком много дней жизни потратила впустую.

У Паши Зобова появилась с тех пор привычка поводить головой в сторону. Делал он это с напряжением, как если бы ему давил на шею тугой воротничок.

— Вот, например, человек,— говорил он случайным слушателям, выводя голову из нырка,— всю жизнь проработал на свечной фабрике. Свечи делал. Весь его труд сгорел, и ничего от него не осталось — одно воспоминание. Что же, выходит — зря трудился? А вот и нет, не зря! Есть такое дело, от которого ничего не остается, один огонек в памяти людей.

Да и то! Разве упомнишь, какая свечка в твоей жизни как горела? Огарок выбросил и забыл. Или лыжи натер... Вот и все. А ведь кто-то делал эту свечку. Не сеял, не пахал, а жизнь свою отдал людям. Урожая не собрал. Никого не накормил, не напоил. А все-таки огонек людям оставил на память, душистый или нет — другой вопрос. Люди смотрели на огонек и о чем-нибудь думали. И ладно! Значит, нужное дело, хотя и сгорело дотла... Я к чему это говорю? Тут, смотрю, Губастовы и еще какие-то двое три бутылки коньяка выпили. Я при этом присутствовал незаметно, но участия, конечно, не принимал. Есть у меня такой маленький недостаток. Помимо всех других. Спрашивается, откуда у них деньги на коньяк? Я, например, зарабатываю, а коньяк даже, по-моему, не пробовал никогда. Потому что дорогой для меня, не по карману. А они три бутылки! Ведь тоже, казалось бы! Кто-то делал, заливал в бутылку, этикетку наклеивал, затыкал пробкой. Это тоже работа, за которую деньги платят. А что осталось? Больное сердце, нервы, печень — все больное. Бытовое какое-нибудь преступление остается, разбитая семья... Что-то я хотел сказать? Тут мне в Москве одна продавщица отпускает килограмм перловки. Вешает, а я ей говорю: это я для рыбной ловли. Что ж на нее, говорит, ловится? Щука или карась? Плотва, говорю. А что ж это за рыба такая? А такая вот рыба есть, серебряная. Ты этой серебряной скажи, что девка голубоглазая крупу отпускала, пусть лучше ловится. Спасибо, говорю. Поехал на рыбалку с товарищами... У меня товарищей много! — говорит Зобов, поводя головой. — И столько рыбы наловил, сам не мог поверить — килограммов шесть отборной плотвы. Вот тебе и девка голубоглазая! Слово знает! Никогда столько не ловил. Девке этой, правда, лет пятьдесят. Голубоглазой! А то бы я в долгу не остался. Это я не к тому, что развратничать или это... Но если надо будет... Меня что возмущает в жизни? Сидят, например, эти Губастовы, забутыливают, а у меня нервный тик пошел от возмущения... Надо же такое! Не работают нигде. Это про машинную смазку говорят: повышенной ползучести. Братцы эти Губастовы — точно!

Пашу Зобова никто не слушает, посматривают на него с усмешкой, вспоминая о прозвище и о том, что ушла от него жена. Кто-нибудь спросит с подковыркой:

— Ты бы лучше рассказал, как тебя жена на табуретку поставила.

Голова Паши идет плавным нырком вниз и в сторону,

он ухмыляется, возвращая ее на место, говорит, отмахиваясь:

— Вранье. Все это проклятый быт... Дело десятое. Скатываться в быт не хочу! Есть, конечно, люди. Я их, знаешь, как называю: верноподданные идиоты собственной семьи. У меня на первом месте работа, труд, общественное дело какое-нибудь. А на быт я внимания особенного не обращаю никогда. Вот, например, ответ мне: другие народы едят соленые грибы? Я тебе отвечу на это: нет. Они только шампиньоны едят. А мы любим гриб лесной. Такого народа нигде нет на свете. Шампиньон — это все из области быта. А для меня свобода главное. Я вот что тебе скажу напоследок, а ты запомни,— говорит Паша и поднимает указательный палец.— Бойся судьбы дающей — смирись с отбирающей...

Подтягивает локоточками брюки, вскидывается телом, шмыгает носом и, довольный своей речью, уходит, поскребывая по асфальту высокими каблуками. Но останавливается и, вызывая улыбки людей, громко говорит:

— А про Губастовых скажу так: только уголовники ведут себя одинаково — на воле или в тюрьме. Им это все равно! Это у них особенность такая. Но веревку я им все-таки не продам! На которой они меня вешать будут. Не такой я дурак! Я знаю, они охотятся за мной. Но я им веревку не продам! Так и скажите, если увидите. Бытовых этих пасквилянтов! Они у меня на крючке! Есть у меня один недостаток. Они знают.

Осенью, когда на дорожках появился желтый лист, Паша Зобов пригнал отремонтированную, окрашенную заново, блистающую лаком машину. А на следующий день, к вечеру, плакал над ней, кусая губы и безнадежно поглаживая рукой грубые царапины, проведенные гвоздем или ножом по капоту и дверцам. Царапины были угловатые, островерхие, перекрещивающиеся своими линиями, и составляли они трехбуквенные слова, никогда вслух не употребляемые Пашей Зобовым, презирающим всякую матерщину.

— Что за народ!— шептал он, слизывая слезы с губ.— Что за народ! К каждому по одному милиционеру надо... К каждому! Ох, народ!

Утром он подумал, что все это приснилось, и даже улыбнулся спросонья, вспоминая страшные царапины, которые померещились ему. Но тут же спрыгнул на холодный пол и, взмокнув от горячего липкого пота, застонал в бессилии.

— Доня!— подвывал он, схватившись за голову и раскачиваясь всем телом.— Доня! Донечка...



Жертва истории

Майское полнолуние очень беспокоило Клавдию Александровну Калачеву. С приближением ночи она чувствовала себя так, будто надвигалась грозовая туча. Зашторивала наглухо окна и, слыша, как в овраге гулко шелкает рассыпчатыми трелями соловей, затаивалась над библиотечной книгой, осторожно перелистывая ветхие страницы. Но понять что-либо из прочитанного не могла. Душа ее была так далека от книжных страниц, что она не только понять, но и прочесть толком не в силах была ничего, пребывая в тревоге и странном волнении, зная, что ночью ей опять не удастся заснуть.

— Полнолуние, — говорила она с вялой улыбкой на другой день, если у нее спрашивали, не больна ли она. — А когда полнолуние, человек не спит две ночи до него и две ночи после. Я очень мучаюсь.

Говорила так, будто она только и была человеком, а все остальные жили на свете с более ясным и простым предназначением, никогда не испытывая радость в такой мере

и никогда не пугаясь так, как радовалась или пугалась она одна.

Полнолуние врывалось в ее жизнь стихийным бедствием, перед силой которого все ее собственные силы превращались в ничто, а стонущий в испуге мозг молил небо о пощаде. Только вспышки ночной молнии и грохот грома приводили ее в подобное смятение и страх.

Если же она, застигнутая тьмою, видела за лесом, за силуэтами черных елок светящийся в ночи, яростно сияющий круг, она отворачивалась в ужасе, ища спасения во тьме. Но огромная луна, поднимающаяся над лесом, чудовищно грубым и резким блеском словно бы пронизывала ее насквозь, горяча кровь, которая с такой силой начинала пульсировать, что ей трудно становилось дышать и она боялась за свои иссякающие силы. Она убыстряла шаткий шаг, но чувствовала, что и луна тоже, приплясывая, перекачивалась за колючими силуэтами высоких елок, которые на своих лапах словно бы играючи подбрасывали, перебрасывали, перекидывали четко очерченный в темно-синем небе шар, избавиться от которого можно было только в освещенном доме, спрятавшись за прочными его стенами, за плотными синими гардинами.

О себе самой Клавдия Александровна Калачева говорила, что она — жертва истории.

— Смешно звучит,— прибавляла она с печальной улыбкой.— Но это факт: именно жертва истории.

Седая ее головка с пышной, серебристо-белой, волнистой прической, которая, как это ни странно, молодила Клавдию Александровну, всегда была чуть-чуть склонена на правый бочок, а глаза по-девичьи опущены долу. На плечах душистый оренбургский платок дымчатого цвета, кружевной воротничок на платье английского покроя.

— Неважно, какая ткань, хорошая или не очень, важно, где и как сшито платье. Тот, кто понимает, тот понимает. Это дано или не дано — середины тут нет.

Туфли на неизменно высоком каблуке, напряженные струнно-длинные мышцы, играющие в легкой торопливой поступи, головка с блистательной сединой, потупленный взгляд скромницы или величайшей гордячки — такова была Клавдия Александровна, эта милая жертва, которую побаивались и уважали сослуживцы. А работала Калачева секретарем-машинисткой в крупном институте, у руководителя очень серьезного отдела, была чрезвычайно внимательна, корректна, исполнительна и помимо основных своих

обязанностей брала на себя обязанности стенографистки на совещаниях, за что получала надбавку к зарплате или, как она любила говорить, гонорар.

Она много читала, не пропуская и новинок современной литературы, были даже годы, когда выписывала «Новый мир» в жесткой обложке. К литературе последних лет относилась крайне критически, называя многие сочинения литературой вприсядку, но при этом внимательно все прочитывала, с брезгливой насмешкой перелистывая страницы толстых журналов, от которых ничего хорошего она не ждала.

Все книги, стоявшие на полках в ее комнате, были давно прочитаны, новых она не покупала, брала в библиотеке свежие журналы или старые романы с распухшими, тряпично-дряблыми страницами, сулившими наслаждение.

Но когда надвигалось полнолуние, Клавдия Александровна бедствовала ужасно, глотая успокоительные таблетки, которые, увы, не оказывали должного воздействия, как будто не луна выкатывалась на чистое небо, а вселенская катастрофа грозила ей гибелью.

Она понимала, конечно, что природа слишком велика, чтобы быть только нежной и приятной, подходящей на все случаи жизни. Любила зимние метели со снежной поземкой, с дымящимися сугробами, летние и осенние дожди или нестерпимый солнечный зной. Но даже воспоминание о ночной тишине, о соловьином овраге, освещенном прожектором круглой, всевидящей и вездесущей луны вселяло в нее тревогу. Она старалась успокоить себя, думая, что ей, в общем-то, повезло родиться в тот миг бесконечной жизни природы, когда еще поют соловьи, гремят грозы, распускаются ландыши и высыпают грибы; когда все человечество сидит за рулем автомобиля, а в недрах земли есть еще запасы нефти; когда летают майские, шелковистые на ощупь, серебристо-коричневые жуки и толкутся комарики,— но тщетно. Душа не в силах была примириться с тем ужасом, какой наводила на нее полная, задумчиво-круглая луна, которая, как ей казалось, высматривала на земле, искала и находила только ее одну, ни в чем не повинную, одинокую женщину, вынужденную прятаться от безмолвного нашествия равнодушного губительного света, вызывавшего в ней тяжелое заболевание — смертельную тоску. И ей было страшно сознавать, что никто из ее знакомых никогда не испытывал ничего подобного, а некоторые даже уверяли, что любят гулять майской ночью, когда в небе полная луна.

— Смешно как,— говорила она в этих случаях, уйдя взглядом в глубину своих раздумий.— Смешно как. Значит, я одна такая ненормальная.— И думала при этом, что, видимо, знакомые люди недостаточно чувствительны и в некотором смысле недоразвиты, не доведены эволюцией до той остроты чувственных переживаний, какими в полной мере обладала она, отзывающаяся на любое явление природы легко, как сверхтонкая мембрана.

— Клавдия Александровна, голубушка,— говорил ей вечно занятый, сипящий в одышке руководитель, отдавая на перепечатку доклад.— Тут надо бы такую идейку подкинуть, чтоб она смотрелась.

— Что значит смотрелась?

— Ну да... Я это так выражаюсь... Что-нибудь, Клавдия Александровна... Чтоб красивая, заманчивая была идейка... Нет так нет! А если вдруг придет в голову... У меня, например, голова — арбуз, замотался! Сами знаете... Получится — да, а нет — и ладно. Умеете, умеете, Клавдия Александровна! Ни минуты свободной! Вы ход моих мыслей знаете? Вот в этом ключе, чтоб ребята шли на производство, а не лезли в институты... и тому подобное... Клавдия Александровна! Не в службу... У вас головка умненькая, серебряная. А за мной не заржавеет...

— «Смотрелась», «не заржавеет»! Что за выражения, Игорь Степанович! Когда вы избавитесь, честное слово?— говорила Калачева, конечно же обольщенная своим медведем, как она называла Игоря Степановича, хотя и хмурилась и сердилась, показывая всем своим видом, что задача эта не под силу ей и вряд ли она справится, прекрасно зная, что справится и придумает что-нибудь, разукрасит, доведет до ума те тезисы, которые доверяет ей Игорь Степанович, человек измотанный, уставший и рассеянно-приятный, словно вышедший в жизнь со страниц какой-то старой книги, прочитанной еще в детстве.

— Мой любимый парадокс знаете? А? Надо знать! Половина больше целого,— говорил он, выпуская из рта зловонный дым сигары.— Как так? А вот! У половины есть вторая половина. А у целого ничего нет. Вот я, к сожалению, это самое целое — никаких резервов. Спросите у меня, как я живу. Я отвечу: как трактор — без запасных частей.

Он был похож на старого картинного Черчилля и, может быть, поэтому курил сигары. Принимал даже позы Уинстона — разваливался в кресле, выставляя челюсть с погасшей сигарой, сопел, свернув толстую шею вбок. «Ах, Игорь

Степанович, до чего же вы похожи на Черчилля». Он только отмахивался, хотя казалось, что это ему приятно. В носу сипел выпускаемый воздух с дымом, глаза наливались смущением.

— Я не занимаюсь политикой, — отвечал он, перебарывая одышку. — У меня для этого нет хорошо вооруженной армии... Вы же знаете, Клавдия Александровна! Иначе я, душечка, сделал бы вас маршалом.

Клавдия Александровна улыбалась, потупив взор, а сама думала при этом, вспоминая известное изречение, что избыток ума равносильен недостатку оногo.

Это умение Игоря Степановича говорить обо всем, но только общими словами, не переходя на конкретные дела, которые творились как бы сами собой, за кулисами жизни, эта начальственная привычка нравилась Калачевой, как будто ей каждый день предлагалась приятная игра, в которой она исполняла роль доверенного лица добрейшего и умнейшего руководителя.

Как всякий бездеятельный человек, Игорь Степанович все время куда-то спешил, задавал вопросы, но не ждал на них ответов, пребывая в постоянной рассеянности, будто впереди у него уйма важных дел, хотя главные его дела были у всех на виду. Но такая уж у него была натура.

Клавдия Александровна верно и преданно служила своему медведю, не замечая за собой, что верность ее со временем превратилась в простую доверчивость, а преданность — в покорность. Она никогда не задумывалась о том, куда ведет этот милейший человек то дело, которому они служили, — к гибели или процветанию. У нее тоже был всегда на уме знаменитый парадокс, смыслу которого она старалась следовать в жизни: нищий раздает — богатый нуждается. И ей было приятно сознавать себя нищей в том христианском понимании этого слова, которое имеет в виду человека смирившегося, отбросившего всякую гордыню, покорившегося судьбе. Она и в самом деле ни в чем не нуждалась и способна была только раздавать, что имела. Ей иногда, правда, казалось, что она очень злая, раздражительная женщина, бессмысленно прожившая жизнь и никому не сделавшая ничего хорошего.

Кстати, надо, конечно, рассказать, почему Клавдия Александровна Калачева называла себя жертвой истории. Дело в том, что двухэтажный московский дом, в котором когда-то жила семья Калачевых, подлежал в тридцать девятом году сносу по плану реконструкции. Красная черта, как говорила

Калачева, проходила как раз посередине ее довоенной комнаты. Их было четверо: брат с женой и сыном и сама Клавдия Александровна. На четверых им дали десять тысяч рублей, по две с половиной тысячи каждому, определили участок под Москвой, помогли со стройматериалами и сделали их, коренных жителей Москвы, владельцами четырехкомнатного подмосковного домика с земельным участком, который покато пластался на склоне оврага, заросшего черемухой и старыми ивами. Хотели они того или нет — никто у них не спросил. Конечно, они горевали, покидая Москву, которая, раздвигая ширину своих улиц, поломала привычный их быт и жестоко обошлась с ними, словно они были неодушевленными предметами, помешавшими росту ожившего великана. Каменный город отшвырнул их в сторону и не заметил этого. А Калачевым было очень обидно сознавать такое равнодушие. Непривычные к сельской жизни, они очень скоро научились выращивать картофель, морковь, огурцы и даже патиссоны, не говоря о всевозможной зелени: петрушке, укропе, луке и чесноке. На участке у них созрел крыжовник и малина, а весной сорок первого зацвели яблони и вишни.

— Семья рассеялась по дороге, — грустно говорила Клавдия Александровна, никогда никому не рассказывая о гибели брата в сорок втором году, о смерти его жены, об офицерской жизни племянника, который служил на западных границах, редко приезжая к старой тетке, к коке, как он называл свою крестную мать. «Рассеялась по дороге» — вот все, что знали люди о прошлом ее семьи.

Военные и послевоенные годы Калачевы пережили легче, чем москвичи, если не считать, конечно, гибели Миши: огородец был серьезным подспорьем в нелегкой их жизни. Они не раз благодарили судьбу, которая когда-то вышвырнула их из Москвы. Войска противовоздушной обороны, стоявшие в поселке, порой пошаливали, обирая малиновые кусты или обтряхивая яблони, начавшие в сорок третьем году плодоносить. Клавдия Александровна, набрав в корзину маленьких яблочек, приходила на аэростатный пост и смущенно жаловалась командиру, который казался ей тогда старым; тот, принимая подарок, уверял, что девушки его не могли лазить в сад, и отдаривался хлебом. Но мелкие неприятности никак не отражались на общей жизни Калачевых, оплакавших к тому времени гибель мужа, отца и брата. Один в трех лицах, он навсегда остался для них, и особенно для Клавдии Александровны, тем непревзойденным идеалом

человечности, к которому они всегда обращались с чувством поклонения мученическому образу своего защитника, как если бы он был причислен к лику святых и мог творить чудеса на грешной земле. Клавдия Александровна словно бы канонизировала его своей волей и своевластием, вписала гуманно-неясной фреской в сознание и с религиозным мистицизмом несла по жизни, уверенная в том, что никто из ныне живущих не чтит так свято память погибших своих воинов, как делает это она, безвестная жертва истории, единственная и неповторимая, которой вдруг ни с того ни с сего приходит на ум бередящая душу мысль, что она слишком злая и раздражительная женщина. Случается это, как правило, перед очередным полнолунием.

Ей становится невмоготу, и тогда она старается всем угодить, насилуя себя ласковым поведением, добротой и открытой сердечностью.

— Ах, какая у вас хорошая кошечка,— говорит она соседке, на коленях у которой жмурится желтая кошка.

— Мальчик,— солнечно отвечает соседка.— Сама видела, как он с девочкой кадрился... Мужчина это.— И ласково смотрит на лентяя.

— Ах, это котик! Вот какой лобастенький, мурлыка. Все-таки какой у нас воздух! Приедешь из Москвы, и душа радуется. Сиренью пахнет. Соловьи поют.

Соседку свою она почему-то считает старенькой, хотя той недавно исполнилось всего лишь пятьдесят девять лет, на один год больше, чем самой Клавдии Александровне. Себя она видит еще молодой, а когда узнает случайно, что какой-нибудь старушке, которая казалась ей совсем уж древней, примерно столько же лет, сколько и ей, она удивленно переспрашивает, не веря своим глазам, и с брезгливостью думает, что женщина эта не следит за собой и выглядит поэтому старше своих лет.

Как перед тяжелым припадком, возбуждена Клавдия Александровна и неестественно добра. Готова присматривать за соседскими детишками, ластится к ним, заигрывает, выпрашивает любовь и ответную ласку, делая это с той неумелой чувствительностью, которая отличает женщин, никогда не рожавших своих собственных детей.

А Клавдия Александровна не была ни матерью, ни женой, хотя и скрывает от людей одну романтическую историю. Сама она вспоминает с неохотой об этой истории, но и не сопротивляясь, как о приятной безделице, которую никогда уже не вернешь и в которой ничего не заменишь, но

которая зачем-то нужна была в ее жизни, оставив ощущение родства со всем миром сущих на земле.

— «Мое творчество, мое творчество!— любила она пародировать кого-то.— Ах, мое творчество!» Смотрю на актрису-лечку, и в чем бы она ни была: в дубленке, в бальном платье, в пелерине,— все равно на ней домашний халат и тапочки... знаете, такие размятые, расшлепанные грязные тапочки... Может быть, это от излишней сексуальности? Или от плебейства? Не знаю. Все домой, да здравствуют халат и тапочки. Привычка, может быть?

— Клавдия Александровна, ну почему вы такая злая?— простодушно задавал ей кто-нибудь этот милый вопросик.

— Я? Злая?.. Тебя бы в мою шкуру, посмотрела бы. Злая!

— А что в вашей... этой самой?

— В шкуре? Сколько там? Несколько литров крови... Разве нет? Белка в колесе... Карамзин говорил, история злопамятней народа... Народ не помнит зла, а история помнит и ничего не прощает. История злопамятна. История в моей шкуре, в крови... У меня зубы грызуна, такие же сильные и крепкие, острые, но я никого не кусаю, а только орешки. И все! Не те зубы, хотя на вид и те... Все это в шкуре, в моей... Ну что еще там? Не знаю. Идеалы, наверное! Да, конечно, идеалы! У меня сохранились идеалы, потому, может быть, может быть... я кажусь злой? Странно. Совсем не знаю себя, не вижу, не чувствую... Всю себя до донышка отдала людям, а люди не поняли... Жертва истории! Это смешно звучит. Я понимаю. Мне депутатом каким-нибудь быть, я бы себя показала.

Вещей и вещичек со временем накопилось в ее доме так много, что они обрели способность исчезать, прятаться, как будто стали живыми и играли с хозяйкой от нечего делать. Ищет, ищет она какую-нибудь вещичку, перероев весь дом, а ее и след простыл — нет нигде. И лишь спустя время вещичка вдруг сама покажется на глаза: вот она я. Где была? Где пропадала? А нигде. Среди вещей спряталась, меня и не заметили. А я тут лежала на виду.

Клавдия Александровна останавливалась в таких случаях и, закрыв глаза, давила пальцами на виски, стараясь понять, что же такое с ней происходит: не старость ли?

«Циклон,— думала она без всякой связи,— это, кажется, область пониженного давления.— Антициклон — повышенного... Так, что ли? Или наоборот?»

За вечер вторая гроза надвигалась со стороны Москвы.

Деревья не успели просохнуть, а небо набрякло опять погромывающей тьмою, и все притихло, как будто это надвигалась сама ночь.

Один только соловей не умолкал в овраге. Деревья, нежной листвой распластавшиеся на темном шелке тучи, казались золотисто-зелеными, вытканными яркими соломенными нитями — так темна и водянисто-тяжела была туча, охватившая уже полнеба и сотрясающая землю громами. В этой зеленой и синей тьме, в прохладе захламленного оврага гулко щелкал и разливался невидимый соловей. И чудилось, будто песня его пахнет мокрой сиренью.

Клавдия Александровна, вслушиваясь в нескончаемый упругий поток однообразно повторяющихся звуков, очередность которых она могла уже угадывать, думала со страхом, что соловей не поет, как считала она до сих пор, а что-то упрямо и настойчиво втолковывает своим соперникам, что-то им говорит в отдалении. Гром подавляющей своей силой наваливался на пронзительно нежные звуки соловьиного голоса, глушил их безжалостно, и казалось, соловей замолкнет теперь навсегда. Но он не умолкал ни на миг, зная по-своему, что именно он тут главное действующее начало, неистребимый сгусток жизненной энергии, которую невозможно уничтожить. Он как будто не замечал адского грохота и ослепительных вспышек молний.

И когда Клавдия Александровна думала так о соловье, ей становилось стыдно быть рядом с ним и понимать себя человеком, принадлежать к великому и всемогущему роду, который уже изобрел средство для гибели всего живого на земле, средство ужаснее всех гроз на свете, способное испепелить жизнь на планете и убить песню этого соловья, который пел в овраге, зная, что он тут хозяин и ему принадлежит будущее. Ничего не останется от соловьиного звука... Умрет вселенная...

Стыдно было за трусливое существо, которое в непосильной борьбе с собственным страхом с помощью изощренного мозга уже создало разрушительную энергию, которая, вместо того чтобы избавить от страха, усугубила этот страх, доведя его до отчаяния, когда на первое место в сознании всего человечества выступила вдруг безобидная кнопка, превратившись в символ самоуничтожения и исчезновения всякой жизни на земле.

Клавдия Александровна затворила и зашторила окно, выходящее в овраг, но и сквозь рамы слышно было соловьиное щелканье в промежутках между раскатами грома, пока

все звуки не утонули в шуме тяжелого водопадopodobного ливня. Даже громы как будто отсырели и поутихли, и только молнии раздирали тьму электрическими конвульсиями, до смерти пугая несчастную, которая лежала на деревянной кровати, потеряв всякую способность о чем бы то ни было думать, кроме грозы, кроме молний и громов, понимая себя в эти минуты мишенью. О каждом разряде молнии она думала как о промахе, как об отсрочке неминуемой своей гибели, в ожидании которой жизнь уже покинула ее, ничком лежавшую на неразобранной постели.

«Господи, за что же мне такое наказание!»— думала она утром, шатаясь от слабости и проклиная грозовую ночь, в чистых просторах которой, когда утихали громы, мышью скользил повсюду лунный свет. Она, не видя, видела его. С закрытыми глазами видела срывающиеся с крыши, посверкивающие в лунных лучах капли, мокрую крышу, залитую ртутным, смертельным блеском, и не могла скрыться от этого наваждения, спрятаться и не думать о нем. Мозг ее сам рисовал устрашающие картины, пугая Клавдию Александровну, словно бы забавлялся веселой игрой.

— Какая сегодня гроза была ночью,— говорила она Игорю Степановичу, жалуясь на бессонницу.— Вы мне сегодня ничего важного не доверяйте, пощадите меня.

— Гроза?— удивленно переспрашивал Игорь Степанович.— Какая гроза? У нас даже капельки не упало.

— У вас хороший сон.

— Не в этом дело. Я знаю, никакой грозы не было. Все сухо! А дождь как раз нужен, очень пыльно... Дождь!

— Уж вы все-таки позаботьтесь, Игорь Степанович, о тех малых, голоса которых замирают на расстоянии,— с печальным кокетством говорила Клавдия Александровна и устало улыбалась.— Никаких сегодня сил.

— Хорошо, я учту, — отвечал он тоже с улыбкой.

Когда в лесу зацветала медуница, Клавдия Александровна поддерживала свои силы, поедая в больших количествах нежные первые лилово-розовые цветы. Кто-то ей сказал, что в медунице содержится много витаминов, и она поверила в расхожий бред, выедавая целые поляны весенних цветов. Она крадучись приближалась к зарослям медуницы и, воровато оглядываясь по сторонам, вытягивая шею, как полудикая кошка, которой достался кусок мяса, рвала с корнями цветы, запихивая их в сумку жадно и торопливо, словно кто-то другой мог покуситься на ее добычу. Дома она промывала цветы, рубила их ножом и, подсолвив, ела со

сметаной, испытывая странное наслаждение, как если бы делала что-то противоестественное, запрещенное нравственными законами людей. В ней словно бы просыпались атавистические чувства, когда она поедала эти первоцветы, над которыми недавно жужжали лохматые шмели, пробудившись после зимнего оцепенения; ела то, что нельзя было есть людям, чувствуя себя бесстрашной преступницей, чуть ли не пьющей живую кровь, которая укрепляла жизненные ее силы. Этого никак нельзя было делать, она это знала, потому что медуница, как и ландыш, охраняется законом, но искушение было слишком велико. И когда в ольховых чащобах или в орешнике распускались первые сиренево-розовые цветы, ласково светящиеся на бурой подстилке из прошлогодних листьев, сердце ее заходило в охотничьем азарте и она, не помня себя, устремлялась к этой красоте, думая лишь о сметане, за которой надо идти в магазин.

Цветущая весна под сметаной как будто и в самом деле прибавляла ей энергии. Во всяком случае, Клавдия Александровна была уверена в восстановлении упавших сил, вообще к еде относясь как к воскрешающему началу, а к подмосковным подснежникам, распускавшимся раньше всех лесных цветов, даже испытывала таинственную любовь, радуясь, если находила в лесу никем не тронутые, рдеющие под ногами ковры медуницы. Порой ей чудилось, когда она с оглядкой рвала безуханные цветы, что весенний лес улыбается, радуясь вместе с ней, и как бы поощряет ее, верящую в целебную силу подснежников, словно она была его избранницей, которой он открывал свои тайны. Пепельная улыбка касалась ее глаз, когда она чувствовала лесную любовь к себе, к истовой поклоннице природы.

Со временем в окрестных лесах заметно поубавилось медуницы, единственной кормилицы проснувшихся шмелей, но Клавдия Александровна и подумать не могла о своей вине и оскорбилась бы, если б кто-нибудь упрекнул ее. Более того! Она при случае язвительно нападала на человечество, которое в конце концов погубит природу в своем неукротимом стремлении к комфортабельной жизни, говоря всякий раз об этом человечестве так, точно оно было глупой биомассой, не ведающей, что творит на своем пути к совершенству, безумствующей в прихотях, которые неизбежно приведут глупую биомассу к самоуничтожению, если она не прекратит издеваться над природой.

— Природа превратится в труп,— говорила она с энергичной насмешкой в голосе.— В смердящем трупе задохнет-

ся человечество. Оно не выдерживает испытания на простую сообразительность, губит самое ценное — природу. А если так, то, значит, человечество на земле — чья-то ошибка, которую нужно исправить. Пусть живет только тот, кто способен жить в мире и согласии с природой. Какие еще могут быть варианты? От этого никуда не спрячешься: или — или...

Но, говоря так, Клавдия Александровна безотчетно подумевала, что сама она к этому безмозглому человечеству не принадлежит и вполне способна в отличие от других жить в мире и согласии с природой.

Такой завышенной самооценкой грешат, впрочем, многие жители планеты, обвиняющие во всех бедах некое умозрительное человечество, но отнюдь не самих себя. А потому нельзя, конечно, уж очень строго осуждать Клавдию Александровну в невольном ее заблуждении — она всего лишь одна из многих миллионов, не более того.

Но порой ненависть к тупой биомассе заходила так далеко, что Клавдия Александровна, возбужденная весенним салатом из медуницы, придававшим ей небывалые силы, брала чистый лист бумаги, шариковый карандаш, зажимая его в пальцах левой, непривычной к работе руки, и, задыхаясь от волнения и злости, начинала выводить на бумаге каракули, которые должны были сразить ненавистного ей почему-либо писателя.

Этим делом она стала заниматься не так давно, в одну из майских бессонных ночей, когда измученные нервы бросили ее однажды к столу, требуя немедленного действия, словно что-то вскричало в ней: «А почему я одна должна мучиться?! Не хочу! Пусть другие тоже, тунеядцы проклятые, помучаются. Хватит!»

Так началась вторая ее жизнь, которая каким-то невероятным образом доставляла ей то же наслаждение, какое она испытывала весной, когда рвала и ела медуницу. Вторая эта жизнь заключалась в том, что Клавдия Александровна писала анонимные, пасквильные письма. Она разработала несколько вариантов почерка, должных характеризовать людей из разных социальных слоев, и, избрав себе жертву, впивалась в нее когтями своих писем, делая это с маниакальным сладострастием, будто видела, как видела лунный свет, искаженное негодованием лицо адресата, прочитавшего ее послание. Страсть эта так захватила ее, что Клавдия Александровна стала со временем выкидывать дешевенькие шариковые карандаши, которыми писала то или иное письмо, замечая таким образом следы, стала

отправлять письма из разных концов Москвы, не жалея времени на дальние поездки. Сердце ее безумно колотилось, дыхание спирало грудь, когда она опускала письмо в почтовый ящик, словно не пасквиль отправляла по почте, а признавалась в любви давно любимому человеку, желая остаться в неизвестности.

После этого скрытного акта, когда она понимала, что дело сделано и вернуть письмо уже невозможно, она чувствовала сладостную истому и физическую слабость во всем теле.

— Клавдия Александровна, вы беспощадны, — говорили ей, когда она выступала против человечества. — У вас прямо-таки колюще-сосущий аппарат вместо язычка, как у клеща какого-нибудь. Именно колюще-сосущий... Уж вы бы лучше молчали. Живой язычок, но без слов — это вам больше подойдет. Без слов, но живой! Как хорошо!

В таких случаях Клавдия Александровна не оставалась в долгу и отвечала очень грубо:

— Выкидыш, вот вы кто! Выкидыш цивилизации. Из-за таких, как вы, и погибает мир. Вам бы что-нибудь послаще, а я не кондитер, милостивый государь. Вы не по адресу. И не морщите свой пятак, не боюсь.

В письмах Клавдия Александровна варьировала не только почерк. Она и лексикон подбирала соответственно тому или иному почерку, достигнув в этом трудном деле заметных успехов. Полудетский почерк без знаков препинания и с нарочитыми ошибками она снабжала таким содержанием, какое обычно отличает человека простого, малограмотного, но не потерявшего совесть и чувство справедливости.

«И не стыдно вам, так называемый писатель, выставить свою наглуемую рожу с убитыми птицами? По всей земле сейчас бьют в колокола об охране природы, лучшие умы заняты этой проблемой, а вот такие хмыри и тунеядцы уничтожают ее. Не в аппарат пялься, а посмотри, кого ты, лопух, убил. Тебя за это не на карточку... — Клавдия Александровна задумывалась, перечитывая написанное, и, не уверенная, нужно ли расставлять знаки препинания в простецком этом письме, продолжала: — Тебя за это не на карточку снимать, а врезать разá между глаз твоих пороссячьих. Постыдился бы хоть называться, на всю страну позориться. Всех вас вместе с вашим альманахом на цепь посадить и намордник надеть».

Она снова перечитывала написанное, слыша, как колотится сердце, спотыкаясь в ритме от волнения, и, словно после резвой пробежки, никак не могла отдышаться. Ей очень нравилась строчка, пришедшая неожиданно и так кстати:

«...врезать разá между глаз твоих поросячьих». Перед внутренним ее взором сразу вставал немолодой уже, строгий и сердитый мужик, который мог бы именно так грубо и зло выразиться — врезать разá. Женщина так не скажет, думала Клавдия Александровна, довольная собой и своим сочинением. И «альманах» тоже пришелся кстати. Такие люди, от имени которых она писала, любят вставлять в свою речь не очень понятные им слова: «альманах», «лучшие умы»... Ее несколько смутил оборот «так называемый писатель», потому что вряд ли воображаемый автор письма употребляет его в обыденной своей речи, а тем более в письменной. Она нахмурилась, прикусила нижнюю губу, но подумала: а почему бы и нет? Оборот этот сейчас очень распространен, автор вполне мог усвоить его, и успокоилась. Что еще? Может быть, слово «аппарат» написать с одним «п»? Орфография и синтаксис вроде бы не соответствовали стилю и содержанию письма — ни одной ошибки. Это подозрительно. Но в то же время пишет человек читающий, а стало быть, грамотный. Да и нет в письме особо сложных форм, все написано четко и ясно, и, пожалуй, придраться тут не к чему. Именно грамотный, умный и озабоченный человек, доведенный до бешенства, мог написать так грубо и испепеляюще злобно, то есть врезать разá, чтоб было больно.

Фамилии, которыми Клавдия Александровна подписывала письма, она никогда не выдумывала. И в этом случае машинально поставила знакомую, изменив только инициал, — В. Мокеев. Подумала и добавила: «Кто же теперь книжки твои в руки возьмет после этого? В. М.»

Письмо получилось вполне натуральное: крупные буквы шатались, как пьяные, говоря об авторе письма, что он редко берет в руки карандаш, расположение строчки на листе бумаги тоже могло подсказать, что человек редко пишет и не приучил свою руку к расчетливой строке — одно словечко, которое требовало переноса, загнулось книзу и получилось оно как бы с повисшим хвостиком, что тоже, конечно, о многом могло сказать внимательному читателю.

Одно лишь обстоятельство всегда смущало ее: она не знала домашних адресов писателей и отправляла письма в редакцию издательства или журнала, в скобках обязательно приписывая требовательное словечко «лично», и ставила три восклицательных знака. Но все равно не была до конца уверена, что письмо попадет в руки адресата. Это доставляло ей массу волнений, она видела нечистоплотных людей, которые, взяв письмо без обратного адреса, могут распе-

чатать его, прежде чем отсылать автору, прочесть, посмеяться и бросить в корзину. Она заранее возмущалась, кляла девчонок из отделов писем, ругалась, войдя в роль грубоватого героя, чувствовала себя непризнанным борцом. Но всякий раз, мучимая сомнениями, оставляла пустым то место на конверте, где пишется адрес отправителя.

Клавдия Александровна прекрасно знала, что это нехорошо, что всякий уважающий себя человек идет на бой, как она любила высказываться, с открытым забралом, презирая всякие безличные выступления. Но, понимая все это, она испытывала ни с чем не сравнимое наслаждение, скрывая истинное свое лицо, словно отвергала чью-то любовь и выходила из объятий непорочной девственницей, одержав победу над низменным чувством. «Нет, я не могу быть твоею!— как бы говорила она с гордостью.— Я слишком высоко ценю независимость».

Резко очерченные, беспокойные ноздри ее вздрагивали. Глаза, полуприкрытые голубоватыми колпаками век, источали смертельную усталость, точно она и в самом деле только что вышла из борьбы.

Настенное зеркало в раме уже отражало смутный свет, пробивавшийся сквозь плотные гардины. Лунная грозовая ночь кончилась. В овраге льдисто, колко щелкал соловей.

Клавдия Александровна задремала с библиотечной книжкой в руках, зачитанной до жирной грязи, уснула с блаженной улыбкой, вкусив сладость истинной поэзии, небывалой красоты, заключенной в простой и трогательно-нежной обещающей фразе: «Сена еще едва отражала улыбку утра, но на вершине холмов уже серебрился день. Легкий ветерок, веющий с холмов, бирюзовые небеса, синяя река, сияющая, словно огромная змея,— все заставляло его отдаваться мечтам о том, что его так поразило. Перед ним, как живая, стояла m-me d' Этиоль».

— Полнолуние,— жаловалась она на другой день.— К тому же эти грозы... Они меня сведут с ума.

— Хотите, я вас немножечко развеселю?— говорил ей Игорь Степанович, воняя сигарой.— Во время первой империалистической пародировали Вильгельма Второго, кайзера, который был почетным доктором медицины: «Зашел в госпиталь, посмотрел, как ампутировать ногу,— не понравилось. Показал, как надо,— отрезал другую ногу. Спросил у больного, как он себя чувствует,— молчит. Сказали, умер. Что за благодарность!»

Смех Игоря Степановича напоминал свистящее шипение

проколотой автомобильной камеры, такой же прерывисто сиплый звук вылетал из его рта.

— Я не понимаю. Что вы имеете в виду?— отвечала Клавдия Александровна.— Ведь не просто так вы это мне рассказали, есть какая-то причина.

— Причина? Что вы, голубушка! Смех без причины, знаете? Вот именно. Я сейчас оттуда,— посмеиваясь, говорил он, снизив голос и показывая сигарой на потолок.— Впрочем, все это детали... Вы знаете, чем я вчера занимался? Изучал устройство домиков для кур. Мечтал о курах и радовался. Можете себе представить? Кто-то строит домики для кур, слушает петушинные песни... Почему бы вам не разводить кур? У вас для этого все условия. Изучал вчера домики и думал о вас: какая вы все-таки непрактичная женщина!

В кабинете у Игоря Степановича стоял аквариум, вода в котором была похожа на зеленый ликер «Шартрез», в котором лениво и маслянисто-упруго передвигались скалярии... Добродушный человек, он достиг такого положения, что ему стало трудно отличать друзей от льстецов, а их при нем было много. Кажется, он очень страдал от такого недоразумения.

— Какие новости?— спрашивал он, но не ждал ответа.— Я бы на вашем месте построил курятник, обзавелся породистыми курами и всю жизнь... А что вы такое сказали про мой юмор? Он не безумен, нет, нет... Вообще, вот что, голубушка, давайте повышать с вами качество жизни. Договорились? Чтобы можно было проявить свои духовные потребности и особенности... Вы говорите, гроза? Как это, наверно, приятно! Кто-то хорошо сказал: жизнь не берегли, но любили наслаждаться ею. Ах, как хорошо! Это и есть качество жизни... У нас оно низкое, надо повышать. Не беречь, но наслаждаться! Бросьте вы все свои страхи, охи, ахи. Вы подсчитывали когда-нибудь, сколько раз пожары сжигали Москву дотла? А сколько раз она отстраивалась? Живем на пепелище — на святом месте! Великие были пожары! Евгеники утверждают, например...

Клавдия Александровна покорно слушала, склонив голову, потупив взгляд, но, улучив момент, холодно сказала:

— Я могу заняться своими делами?

Игорь Степанович осекся, внимательно посмотрел на нее и ворчливо продолжил:

— Евгеники утверждают, что нация, потерявшая в войнах лучших своих сынов, глупеет впоследствии и вырождается. На первый взгляд это так. Вы согласны? Но у лучшего, у са-

мого одаренного, талантливого чаще всего вырастают далеко не лучшие и не талантливые дети — серенькие граждане... По-моему, евгеники ошибаются. Как вы считаете?

— Я так не считаю.

— Напрасно вы не хотите понять меня. Я болтаю всякую чепуху, несу чушь, потому что... Пожалуйста, не сердитесь на меня, голубушка. Я вас понимаю, скучно, конечно, слушать человека, который необъяснимое хочет объяснить необъяснимым... До меня это многие пытались сделать, но безуспешно. Куда уж нам... Это, знаете, еще один знаменитый пример: заднее колесо бежит с такой же скоростью, что и переднее, но отстоит от него на почтительном расстоянии. Вот я и есть то самое заднее колесо. Кстати, еще об евгенике: я вырождаюсь в своих детях — вас это устраивает?

Клавдия Александровна никогда еще не видела шефа в таком растрепанном состоянии. Но она настолько привыкла к дистанции или, иначе говоря, к той нейтральной полосе, которая пролегла между ним и ею, что каждый шаг, сделанный в сторону сближения, казался ей чуть ли не преступным, и она, подчиняясь инстинктивному порыву самосохранения, была холодна и официально строга, хотя и сказала, чтобы не обидеть его:

— О, мой лев, не причиняйте себе забот!

Игорь Степанович вздрогнул и с досадой сказал:

— У нас с вами, Клавдия Александровна, вы замечали? У нас не получается шуток. Какая-то полуправда! Она, конечно, тоже бывает смешна. Но чаще всего отвратительна. Вы согласны? Не умеем шутить.

— Да,— отвечала Клавдия Александровна,— я согласна.— И внимательно пригляделась к Игорю Степановичу, точно он был так пьян, что с ним надо было только соглашаться.— Можно, я вас буду называть Нил Филадельфович?

— В час добрый,— сказал он и грузно пошел от нее боком за свой стол.— У меня был знакомый по фамилии Сиренев, у него спрашивали: а как ваша настоящая фамилия?

Мир и спокойствие были восстановлены: «Нил Филадельфович» засипел в смехе, Клавдия Александровна тоже тихонечко засмеялась и, поигрывая струнными мышцами, коротким энергичным шажочком вышла из кабинета.

В этот день она нежно любила своего шефа, человека мягкого и приятно ироничного, к которому, как она замечала, льнули умные некрасивые женщины, а красотки, зная себе цену, посмеивались над ним.

Именно в этот день Клавдия Александровна почувствовала вдруг прилив крови к голове, закрыла глаза, надавив на виски пальцами, и, боясь подступившей дурноты и слабости, заставила себя думать о прохладном весеннем лесе, о сырой, еще не хоженной тропе, затянутой кожистым слоем прошлогодних листьев, увидела побеги папоротника, напоминавшие коричневых улиток, вспомнила прозрачный крап распускающихся березовых листьев...

«Господи,— подумала она в волнении,— зачем же я поставила эту фамилию? Что же со мной происходит? Мокеев! Разве он мог бы так написать? Впрочем, В. Мокеев! А он Николай. Он Коля... Носик у него, как побег папоротника, улиточкой, а глаза в зеленую крапинку. Н. Мокеев, а не В. Ничего страшного. Мокеев! Вот оно как!»

Страшного ничего не случилось с ней. Она лишь особенно ярко вспомнила вдруг сержанта Мокеева, кургузенький его носик и себя, протягивающую ивовую корзинку с яблоками. Нет, не просто сержанта, а старшего, с одной широкой лычкой мутно-красного цвета на зеленом погоне с голубым кантом и с серебристыми крылышками войск ПВО. Худенького, жилистого тридцатилетнего командира аэростатного поста, ничем, однако, не похожего на командира. Он так же, как и солдаты, бинтовал по утрам икры своих кривоватых ног холщовыми обмотками, обуваясь в разлапистые солдатские бутсы сорок пятого размера. Даже ремень на выгоревшей гимнастерке был солдатский, с простой петливой пряжкой, в которую Мокеев продергивал промасленный мягкий конец с дырками, стягивал себя до предела и разгонял складки гимнастерки за спину. Так они и торчали утиным хвостом над обвисшей мотней диагональных хлопчатобумажных штанов. В подчинении у Мокеева был моторист и восемь девушек, которым в отличие от командира и моториста выдали кирзовые сапоги. Жили они все в небольшом здании поселковой школы, приспособив классные комнаты под спальни, столовую и кухню. Был у них свой огород неподалеку от аэростата, серебрившегося перкалевой рыбеёй чешуёй под маскировочной сетью. Днем они отсыпались, а ночью работали: во всяком случае, Калачевым казалось, что днем они ничего не делали. Только вечером, перед налетом на Москву, сдавали в небо аэростат, выводя его с балластом из-под сетки. На земле сразу пусто тело без аэростата, только темно-зеленый прочный газгольдер оставался на бивуаке, а громадный аэростат, освобожденный от мешков с песком, полоскался хвостом над

лебедкой, закрывая полнеба брюхом, простеганным резиновыми стежками, гудел, как парус, в воздушных потоках и рвался ввысь, подъемной своей силой подергивая лебедку, установленную на полуторке.

Со временем это зрелище стало привычным, и Калачевы, жившие поблизости, не обращали внимания на аэростат, уплывающий в небо на прочном поблескивающем тросе. Утром аэростат возвращался на землю из своего ночного бдения и опять, отяжеленный балластными мешками, но не угомонившийся, строптивый, непокорный, отрывая от земли вцепившихся в него девушек, уплывал, ведомый ими, под маскировочную сеть и, намертво притянутый крепежкой к земле, словно бы засыпал до вечера. Как и те, кто обслуживал его на зорях и дежурил ночью на посту. Впрочем, и днем на биваке оставался часовой — девушка с винтовкой, чуть старше Клавы Калачевой, года на три, на четыре, не больше. Ей в то время было пятнадцать, но по развитию она ничем не отличалась от девушек в пилотках, прятавших короткие, до плеч, волосы в нитяные сетки, похожие на вуалевые мешочки, точно это так полагалось им по уставу, чтоб не ходить растрепанными. Кирзовые голенища солдатских сапог они умудрялись обуживать по ноге и, начистив до глянца, носили эти обновленные сапожки чуть ли не с гусарским щегольством. Рядом с ними старший сержант Мокеев казался нескладным в своих обмотках, кривоногим и старым, особенно если смотреть на него со спины: ноги полусогнутые, коленки пузыряются над обмотками, гимнастерка, расправленная на животе, гармонируется сзади и хвостом висит из-под ремня. «Командир,— говорили ему девушки,— давай подошьем гимнастерку, укоротим малость. А то она на вас не то платье, не то фартук». Зеленые, солнечные крапинки сияли в его глазках, носик совсем подворачивался, поблескивая розовой упругостью ноздрей. «Обойдемся,— отвечал он, одергивая полы гимнастерки,— без портных! Ясно? Вот куплю шевиотовый отрез, беж в полосочку, полуботинки тоже беж и шелковую сорочку... А сейчас обойдемся! Война, девушки. Радио надо слушать и газеты читать. Война все ж таки! Слыхали? Никифорова!— обращался он к веснушчатой девушке с выщипанными бровями.— Еще раз замечу, что этот с собакой... на пост к тебе пришел, смотри! Мало ли что военный! Я сказал! Ясно?»

Улыбчивый на вид, он мог быть и гневливым, резким, как старый мужик, у которого в семье восемь девок на выданье, а женихов — один моторист, да и тот ленив и обжо-

рист, зевотой своей раздражавший Мокеева. «А шо я могу поделать? Спать охота, вот и зеваю! Не могу ничего поделать. Можя, какая болесть... не знаю. До войны не замечалось. А теперь сам удивляюсь... Зеваю и зеваю. Не обращай внимания, командир. Может, само пройдет. Я как на девушек погляжу, так и зеваю... От нервов, наверно».

Зевал он с хрустом в салазках, со стонущим приглушенным ревом сытого зверя, словно бы и в самом деле страдая от этой привязчивой зевоты, с которой не знал, как бороться. Мокееву слышалось всякий раз, когда зевал моторист, протяжное и заразительное «уй-ё-о!», которое и его тоже тянуло на зевоту и клонило в сон. Уй-ё-о-о...

Над всем этим подсмеивался старший сержант Мокеев, рассказывая Калачевым, когда заглядывал к ним на огонек, на тусклый моргасик, от потрескивающего фитилька которого в комнате пахивало жженым керосином. Клава Калачева с восторгом смотрела на командира аэростатного поста, пока не поняла, что Мокеев приходил к ним не просто так, а с тайной надеждой на внимание несчастной вдовы погибшего Миши, которая и летом и зимой ходила по дому в стеганых бурочках, жалуясь на отеки. Перед сном, снимая бурки, она морщилась, а потом долго смотрела на опухшие ноги, на желтые подушки, из которых торчали короткие плотные пальцы, нажимала на кожу голени, и в ней оставались белые ямочки.

Ей было всего двадцать три года, она гладко причесывала переливчатые темные волосы, светлой ниточкой пробора разделяя на две половины красивую свою голову с двумя большими черными глазами и прямым тонким носом, двумя полукруглыми черными бровями и овальным подбородком. Миша очень любил ее. Сама она тоже знала о своей красоте, позволяя ему подолгу любоваться собою. Она замирала в неясной улыбке перед зеркалом и большим гребнем расчесывала длинные, тяжелые волосы, которые были холодными на ощупь. Но после гибели Миши она остриглась, оборвала плавную линию текучих, тяжелых волос, оголила сзади белую шею, не обласканную солнечным лучом, и стала распухать от водянки, хотя в то время еще казалось, что она просто растолстела. «Кла-а,— говорила она, называя Клавдию одним этим звуком,— когда ты меня похоронишь, то, во-первых, позаботься о мальчике, а во-вторых, постарайся узнать, где лежит Миша, съезди на могилу и привези горсточку земли. Ладно? Потом эту землю высыпи на мою могилу, а в то местечко посади душистый горошек. Миша мне

всегда говорил, что душистый горошек его любимый цветок. По-моему, этот цветок принес ему несчастье... Но все равно посади: на могиле ему будет самое подходящее место. Почему-то я всегда пугалась, когда он дарил мне эти цветы. Почему — не знаю. Всякий раз мне делалось нехорошо. Миша, конечно, не замечал, я ничего не говорила ему, не хотела, а он всегда так нежно дарил цветы, заходил сзади, обнимал и подносил цветы к моему лицу, спрашивая: «Это для чего-нибудь пригодится?» А у меня сердце обрывалось. Честное слово! Не могу объяснить, почему так происходило. Я даже вздрагивала, господи, думаю, опять душистый горошек!»

Налеты на Москву прекратились. Аэростатчики снимали урожай со своего огорода, и Мокеев угощал Калачевых огурчиками, помидорами или морковью. Все это росло и у самих Калачевых. Но вот хлеб...

Хлеб, который приносил иногда Мокеев, завернув буханку в старую газету; хлеб, о появлении которого они сразу догадывались, видя под локтем у старшего сержанта тяжелый кирпичик в газетной обертке, чудесное присутствие большого хлеба, еще не принадлежащего им, но уже вошедшего в их дом; хлеб этот, когда Мокеев разворачивал его и клал на стол, хлеб с подгоревшей верхней корочкой и бледно-серыми ноздреватыми боками — душистый хлеб плавал в возбужденном воображении, заполняя нетронутой своей цельностью весь дом. Хлеб! Черное лезвие кухонного ножа с похрустыванием тонуло в плотной мякоти, которая обметывала лезвие крахмалистой, липкой пленкой. Тяжелый и сырой, он был так вкусен, что казался самым лучшим хлебом, какой когда-либо ела Клава Калачева.

Теперь, если Клавдия Александровна видела в кино или читала в книгах, что люди в ту пору собирали крошки со стола и отправляли их в рот, она очень раздражалась, потому что тот, военный, необыкновенно вкусный, душистый хлеб не крошился: он наполовину был из картошки, был липкий, был увесистый, как глина. Она помнила картофельные кусочки, светлеющие на срезах черного хлеба, помнила его клейкую массу, но вот крошек на столе не было — хлеб не крошился. И никогда не черствел, потому что не успевал подсохнуть: ни у кого не хватило бы терпения ждать, когда хлеб, принесенный в дом, зачерствеет.

Но это все-таки был хлеб! Он так и остался в памяти хлебом Мокеева.

Хотел, как говорится, усладить вдовушку, но она была

неприступна. После войны след старшего сержанта Мокеева был потерян. Красавица вдова умерла. Мальчик ушел в артиллерийскую спецшколу, а потом в училище, а после говорил: «Я воин по призванию и воспитанию», — имея в виду, наверное, погибшего отца, за которого он должен мстить, и войну, которая вошла в его кровь вместе с млечным светом суетливых прожекторов в московском небе и оружейной стрельбой по самолетам.

Была однажды зима на берегу Черного моря, теплое солнце и шторм. Оливковые волны, ударяясь о камни, с пушечным грохотом вздымались вверх и белоснежной лавиной рушились с плеском на набережную. Ровный ветер гнал и гнал кологривые волны. Их удары о камни с ритмичной постоянностью отсчитывали время, какое выпало на долю Клавдии Александровны в этом прохладно-зеленом краю.

Как-то раз термометр упал ниже нулевой отметки, усилился холодный ветер, резче стала волна. Вечнозеленый кустарник, до которого долетали брызги, оделся в молочнолдыстую, позвякивающую на ветру кольчугу. Солнце освещало море и далекие горы с заснеженными вершинами и падами, зеленые газоны и толщу ударной волны, катящейся вдоль набережной и извергающейся к небу с вулканической мощью и величием.

И страшно было и весело смотреть на взбушевавшееся море, на яркую среди зимы сочную траву, лоснящуюся под солнцем, на черных дроздов и самшитовый кустарник, поблескивающий роговицами жестких листьев.

В этот день Клавдия Александровна купила парниковых огурцов и заглянула в аптеку узнать на всякий случай, не появилось ли косточковое масло. Игорь Степанович, у которого внучка страдала аллергическим диатезом, просил привезти, и она чуть ли не каждый день заходила во все аптеки города в тщетных поисках — детский диатез стал повальным бедствием. Впрочем, Калачева всегда с интересом забегала в аптеки, подолгу разглядывая стеклянные прилавки, словно надеясь на эликсир молодости, который вдруг бы появился на ее счастье в продаже.

Так и теперь она вошла, как ребенок в детский мир, поправляя сбившиеся на ветру волосы, и с любопытством склонилась над стеклянным прилавком, над тем его отделом, где лежали коробки и пакеты с лекарственными травами. Увидела мяту и обрадовалась. Встала в очередь за мужчиной в распахнутом плаще, из-под ворота которого виднелся стоячий воротник офицерского кителя с ярко-голубым кан-

том, толстым, нашитым уже по изношенному, истершемуся канту неумелой рукой. Шея с двумя высоко расположенными поперечными складками, одна из которых подрезала жирный затылочный бугор на коротко стриженной седой голове. Клавдия Александровна чутьистым своим носом уловила неприятный капустный запах и отстранилась от соседа, который, когда подошла очередь, попросил таблетки пенталгина, на что ему любезная провизорша ответила, что это лекарство отпускается по рецепту.

— А где я возьму рецепт? Зачем такой формализм? Я старый человек, защитник вашего города, а мне даже не дают каких-то таблеток. Надругательство над старым человеком, и ничего больше... С таким неуважением я сталкиваюсь впервые,— скрипучим, скучным голосом говорил мужчина в кителе.— Неужели нельзя без рецепта? Я всегда брал без рецепта... Никакой заботы.

— Нельзя,— отвечала ему провизорша.— Я как раз и забочусь о вашем здоровье. Может, вам вредно. А рецепт в городской поликлинике. Пожалуйста, приходите с рецептом.

— Вы сугубо узко смотрите на жизнь,— продолжал мужчина однотонным, бесцветным голосом, не отходя от прилавка.— Лишь бы мне хорошо, а на остальных наплевать. Это сугубо узкий взгляд. Молодая, а такая формалистка.

— Я не формалистка. Я вас хорошо знаю, вы не первый раз приходите и требуете пенталгин. Я же помню вас! Тратите столько времени! Давно бы уже получили в поликлинике рецепт — и тогда пожалуйста. А то ведь ходите, ходите... Странно, честное слово! Оскорбляет еще,— говорила юная провизорша с тонкой, чувствительной кожей щек, которые зарделись свекольным соком, оттенив белизну лба и шеи, черноту возбужденных глаз.— Мы за это лекарство отчитываемся. Я вас слушаю,— обратилась она к Клавдии Александровне.— Что вам, женщина?

А та, не услышав ее обращения, взглянула на мужчину, отходившего от прилавка, на его лицо, и, спрятав глаза, отлетела мысленно из аптеки, из этого шумного приморского города, растворилась, пропала в мгновенном смущении.

— Я вас слушаю,— повторила провизорша, сдерживая раздражение.— Что за день такой выдался! Злые все, как не знаю кто!

Клавдия Александровна встрепенулась и, протягивая деньги, с мучительно-неловкой вежливостью виновато проговорила:

— Мяту, пожалуйста. Извините.

А сама смотрела вслед уходящему мужчине, на груди у которого под распахнутым плащом увидела металлический блеск многочисленных значков. Да, конечно, коробочку с мятой в сумку, на огурцы.

— Спасибо...

Шаг от прилавка и скорей, скорей, чтобы не потерять, разглядеть, убедиться, что это ошибка, что неприятный тип со складчатым затылком...

Она торопливо вышла, оттолкнув в дверях идущих навстречу, и сразу увидела того, за кем побежала. Он стоял, откинув полу плаща, и что-то искал в кармане брюк. Большие блестящие значки были разбросаны на груди старенького кителя с голубым кантом.

Клавдия Александровна вдруг испугалась, подумав, что это, наверное, все-таки он. Мысли и чувства ее смешались, и она прошла в растерянности мимо, услышав, как в кармане у него бренчат мелкие монеты. Она чувствовала себя так, как если бы спустя много лет случайно наткнулась на бандита, совершившего насилие над ней, и теперь не знала, что ей нужно делать, как поступить: кричать, звать на помощь или попытаться взять его в одиночку, рассчитывая только на свои силы. Это странное ощущение пугало ее, но она все-таки пересилила страх, повернула обратно и увидела, что он идет ей навстречу... Она подняла взгляд, встретившись со взглядом некогда улыбчивых, крапчато-зеленых глаз, которые теперь были полуприкрыты птичьей как будто пленочкой мутных безресничных век. Кургузый нос, обожженный солнцем, загнулся ноздрями над плотно и скорбно сжатыми серыми губами, ввалившимися в беззубую полость рта.

Ничто не дрогнуло в равнодушном его взгляде, он не узнал ее, и тогда она остановилась и, выждав, медленно пошла следом, обдумывая, как ей поступить, как подойти и окликнуть.

Большие коричневые ботинки были то ли велики ему, то ли не крепко зашнурованы — задники скользили по пяткам, и шел он, старчески шаркая каблуками по асфальту. Резиновые каблуки были круто стесаны с внешней стороны, усугубляя кривизну ног. Брюки измятыми складками напозали на ботинки. Он был очень стар на вид и немощен.

«Если это Мокеев, то как изменился! — думала Клавдия Александровна. — Но как же он мог защищать этот город? Ложь. Ну какая разница! Сказал и сказал. В общем-то, каждый защищал, освобождал, строил... каждый... Он тоже. Там и здесь. Не важно. Ах, как жалко его, если это он...

А это он! В нем и тогда жил этот старичок, сидел в нем где-то, виден был и тогда. Разве иначе узнала бы через столько лет? Невозможно. Господи, неужели Мокеев? Такой несчастный вид!»

Когда старик присел наконец отдохнуть под кипарисами на краешке скамейки, освещенной солнцем, Клавдия Александровна, пугаясь встречи с прошлым, потерянным навсегда и вдруг возникшим в таком убогом виде, подошла сбоку и негромко, удивленно позвала:

— Николай!

— Что это вы?— востропнулся тот и, всем корпусом, по-стариковски поворачиваясь на голос, спросил опять: — Что это вы?

— Не узнаете, Николай?

— Что это вы?

— Помните, аэроостанционный пост, Подмосковье?.. Хлеб, который вы?.. Помните? Я Калачева!— чуть ли не взмолилась она. — Помните? Заходили к нам... Хлеб приносили. Буханку...

— Что это?— капризно проговорил старик.— Какой хлеб? Куда я приносил? Ничего не понимаю. Хлеб. Вы говорите, хлеб? Я хлеб чайкам не кидаю, вы ошиблись. Я хлеб не приносил. Вы меня с кем-то путаете! Да, да... Это какое-то надругательство! Постыдились бы, дамочка! Какой хлеб? Надругательство!

Клавдия Александровна, убежав от старика, долго еще ходила вблизи набережной, гася холодным ветром внутренний жар и судорожную улыбку, которая помимо воли кривила ей губы. В грохотании волн она не стыдилась стонать в голос, переживая недавний свой страх и, как ей казалось, жуткий позор. «Дура, дура,— торопливо пронеслось в сознании, и опять улыбка глупо вылезала наружу.— Ах, какая дура! С чего это я вдруг решила?! Ах, дура, дура...»

Со стороны могло показаться, что женщина, подставляя ветру лицо, ходит, любуясь бушующим морем, и не скрывает своего восторга.

«Что вы, Николай, что вы! Зачем, Николай? Не надо. Это слишком. Такое богатство! Это же хлеб, Николай. Что вы с нами делаете! Чем же отдариться? Садитесь, Николай. Сюда, пожалуйста. Или нет, лучше сюда, здесь вам будет удобнее. А если хотите, садитесь на диван. Садитесь, мы самовар раздуем, а вы посидите, пожалуйста. Ой, Николай, какой вы! Чем же вас угостить? У нас — ничего... Ну как это вы не хотите! Что-нибудь придумаем. У нас, кроме фрук-

того чая... Картошечки отварим! По-домашнему. Как, Николай? Селедочка есть! Отварим картошки, хлеб! Сейчас мы устроим пир!»

Это и в самом деле было пиршество.

В Москве Игорь Степанович, узнав, что косточкового масла Клавдия Александровна не привезла, пошутил, как всегда, неудачно:

— Ну что ж!— сказал он.— Зато привезли обещание, которое обещали.

И началась обычная ее жизнь от понедельника до пятницы или, как еще говорила она, переняв манеру шефа подшучивать над собой, в стиле блюз, то есть неторопливо и пресно, без огонька.

Лишь майское полнолуние выбивало ее из привычного ритма, словно высшие силы врывались и взрывали изнутри размеренную ее жизнь. Даже выражение лица менялось в эти дни, когда в небе царствовала луна. Тяжело и загнанно дыша, Клавдия Александровна была на грани слез, как это бывает с пересмеявшимися людьми, когда смех превратился уже в наказание, в истерическое безумие, отнимающее силы и доводящее до нервного шока, до потрясения, даже до слез.

— Полнолуние,— жаловалась она, тщетно пытаясь найти отклик в душах людей.— Человек не спит два дня до полной луны и два дня после, когда луна идет на ущерб. Я неделю не сплю и очень мучаюсь.

— Может, вы по крышам гуляете?— спросил ее как-то Игорь Степанович.

Они встретились с ним в обеденный перерыв на Центральном рынке возле рядов, заваленных первой зеленью, редиской, драгоценными помидорами и огурцами. На нем была в этот день надета легкая и просторная куртка цементного цвета, с карманами и с кнопочными застежками, кепка, похожая на жокейскую, брюки и замшевые спортивные туфли тоже маскировочного защитного оттенка.

— Все молодитесь,— ответила Калачева, кивая на одежду.— Вам бы еще пробковый шлем. Вместо этого козырька. Похожи на тренера.

— Что ж!— откликнулся он, сипло выдавливая воздух из груди.— Вы не поверите. А я в свое время хорошо прыгал. Особенно в длину. Как разбежишься, как прыгнешь! Летишь и радуешься. Я, наверное, был бы неплохим прыгуном. Прыгал бы во всех странах. Там рекорд, там достижение, там аплодисменты. Жизнь! Никто не подтолкнул в ту сторону, а жаль. Я бы лихо прыгал, у меня ноги так устроены —

и легко подпрыгивал и получал удовольствие. Ни с того ни с сего разбежишься и перепрыгнешь лужу. С удовольствием! Удивишь людей и идешь себе дальше. Теперь вспоминаю и не верю: я ли? Легок был на ногу, на пружинах ходил, ширипрыжку. А теперь сижу, курю, толстею, порчу себе нервы, ублажаю дураков. Чуть ли не главное внимание — дуракам. У нас ведь как? Идея не идея, если не способна удовлетворить всех, а в первую очередь дураков. С ними надо считаться. Если идея не понравится дураку, он ее угробит... Наш главный тормоз — дурак. Дурак любит задавать вопросы, вот как я, например, задал вам: не гуляете ли по крышам? — Игорь Степанович медленно шел к припаркованной возле чугунной ограды автомашине. Было жарко, и он вытирал платком шею, посмеиваясь, покашливая, поглядывая красным, воспаленным глазом на свою секретаршу. — Дурак, — продолжал он, остановившись перед лавиной машин, — никогда не знает ответов. Для него главное задать вопрос. У него на все случаи жизни запасены вопросы. Попробуйте решить какое-нибудь дело, если дурак против! Никакая хорошая идея не пойдет, если он не в силах осмыслить ее и понять. Нужно, чтоб дураку обязательно понравилось. Дикари! Знаете, в чем особенность нашего дурака? Вот получил, например, он в хозяйство трактор, а трактор оборудован бочкой для поливки, ножом для уборки снега... А на кой черт?! Сняли, выбросили, погубили, списали... Все в порядке. Приходит уборщица, тряпку просит — нечем полы мыть. А где я тебе тряпку возьму? У меня тряпок нет. Просит лопату, дорожку от снега расчистить. А лопата, знаешь, сколько стоит? Три рубля! Надо еще изыскать, а потом купить лопату — тогда и приходи... На сотни рублей выбрасывает, а трех рублей или тряпку достать не может. Дикарь! С техникой никаких связей нет, он не понимает, не чувствует, не ощущает ее стоимости, не ведает о напряжении народа в производстве того же трактора. А тряпка предмет знакомый — он этот предмет чувствует и знает. И все его усилия, все его дела на уровне половой тряпки. Или метлы. Она ему тоже понятна — родной инструмент. Вот что такое наш дурак... Должность очень выгодная. Заметная!

Клавдия Александровна слушает, задыхаясь едким газом, висящим в разогретом пыльном воздухе, и, страдая от своей безгласности, думает с язвительной иронией, что человек этот тоже, как и все, кого она знала в жизни, не видит себя со стороны. Сейчас он отопрет ключом дверцу своей

«Лады», сядет за руль, бросив на заднее сиденье портфель с редисом, накинёт ремень безопасности, попросив то же сделать и ее, ворвется в поток машин и будет ворчать на дураков, которые сидят в других машинах и не умеют ездить, а вот он, единственный избраннык фортуны, ведет машину так, как полагается на загруженных улицах Москвы. Зимой держит машину в гараже и не ездит на ней, выезжает только в мае, но при этом считает себя виртуозом.

— Странный народ американцы,— говорит между тем Игорь Степанович, вглядываясь в дорогу.— Любят подвергать себя опасности из любопытства. Но любопытства хватает ненадолго. Среди нашей молодежи, кажется, тоже что-то похожее процветает. Как-то это не по-русски. Что скажете, Клавдия Александровна?

— Шаловливые переливы радужной мысли,— глухо говорит Клавдия Александровна, грудь которой теснит ремень безопасности.

— Стихи?

— Нет, я про американцев. Сумасшедшие непредсказуемы.

— Почему они сумасшедшие?

— А вы бы, например, купили на аукционе поношенную вещицу из гардероба битлзов? За бешеные деньги.

Игорь Степанович пожимает плечами, морщится: в глубине души он любит американцев.

— Раньше,— говорит он с заминкой, не отрывая взгляда от дороги,— как было? Пыль увидели, значит, враг идет.— И с сипящей усмешкой замечает: — Они пыль в глаза любят пустить. Попылить. А вас едят комары? Меня что-то перестали кусать комары. Всех жрут, а меня игнорируют. Может быть, у меня болезнь какая-нибудь? Даже соскучился! Осторожный, нежный, пьет и жалит ласково.

В этот день Клавдию Александровну все раздражало, ей хотелось ругаться, и она с трудом сдерживалась. День был безобразный, и ночь обещала быть лунной.

На соседнем дворе сушилось на веревке белье: что-то огромное, голубое и розовое. Смотреть на исподнее разноцветье было тошно, Клавдия Александровна отвернулась, проходя мимо, и, чуть не плача, вошла в пустой свой дом, слыша, как позвякивает посуда в старом буфете, и заперлась в деревянном убежище, которое давно уже требовало

ремонта. Нижний венец, источенный временем, взялся трухой, и дом покосился, наклонившись к оврагу. Половицы с черными щелями пружинили под ногами, охра во многих местах облупилась, обнажив слой прежней коричневой краски. Круглый стол, накрытый белой скатертью с русской вышивкой, тоже качнулся, как и буфет. Вода в хрустальной вазе заколыхалась, свежие гроздья ярко-лиловой сирени вздрогнули, как будто подземный толчок тряхнул состарившийся дом.

Мутно-серая, увеличенная с любительского снимка фотография брата, висевшая на стене в рамке, почему-то все время сползала набок. Клавдия Александровна всякий раз поправляла ее, передвигая бечевку по гвоздю, но рамка через некоторое время опять висела криво. «Что же это такое! — с игривой укоризной в голосе говорила она Мише, круглолицему мальчику с нахмуренными бровями, под которыми задиристо улыбались глаза, глядящие прямо на Клаву. — Что за баловство! Опять покосился», — выговаривала она брату, и ей казалось, что улыбка его на мутноватой фотографии становилась мягче.

В этот день, в предвечерний час, когда в открытое окно привычным звучанием жизни влетели вместе с золотистым воздухом ласковые и радостные птичьи голоса, их свисточки, дудочки, трещотки, пискульки, сливающиеся в общий неясный звон, Клавдия Александровна обессиленно опустилась на стул и, локтями сдвинув скатерть, уронила голову на руки. Пальцы ее, костистые, жесткие пальцы старой машинистки, зарылись в волосах, застыли в оцепенении, словно бы замерзнув в снежной белизне.

Мальчик хмуро смотрел из серой дымки на постаревшую свою младшую сестру, затихшую в ожидании ночи и мучительной бессонницы под луной. А ей хотелось плакать. Она думала о бархатистых кротах, живущих в темноте подземелья. Маленькие слепые зверьки с лопатистыми лапами иногда попадались ей летом на лесных тропинках. Мухи, поблескивающие зелеными брюшками, всякие жучки и крохотные козявки возились, копошились в дохлых тушках лесных гномов, живущих под землей. Она даже подумала однажды, что кроты выходят умирать из-под земли на ее поверхность, под ночное небо, на вольный дух, освобождая свою обитель, темное подземелье от зловонного гниения... Эта мысль кольнула ее своей необычностью: люди освобождают поднебесное жилище и роют могилы, в то время как для кротов поверхность земли — безжизненное пространство,

что-то вроде космоса. Насекомые быстро расправятся с маленькой тушкой и, накопив энергию, разлетятся, расползутся в разные стороны, и жизнь на земле и под землей пойдет своим чередом: никто не заметит исчезновения бархатного жителя подземелья.

Если бы Миша остался в живых, он был бы сейчас на пенсии — седенький жилистый старичок, как те ветераны, которых она видела на экране телевизора, — смущенные перед телекамерой, старые люди с медалями и орденами на пиджаках. Они стояли, скупившись возле Вечного огня. Каждому из них пионеры преподнесли по тюльпану. Старички держали эти тюльпаны, как зажженные свечи, и многие из них плакали, глядя на прозрачное, рвущееся на майском ветру пламя.

Брат ее мог стоять среди них. Но он там, в этом нервном, рваном, суматошном огне.

Лет двенадцать назад, морозным, звездным вечером, Игорь Степанович, ездивший тогда на «Москвиче», подвез ее до дома, и она пригласила его выпить чаю. Очень волновалась, излишне суетилась, зная, что жена Игоря Степановича в командировке, боялась и ждала бог знает чего, приготовившись ко всему. А когда он, выйдя во двор, слил горячую воду из радиатора машины...

— Утром разогреем самоварчик, — сказал он молодежлив, зычным голосом. Она вздрогнула и переспросила:

— Утром?

А он вдруг сказал:

— У тебя, Клавочка, тишина... Дай мне отдохнуть в тишине. Здесь такая тишина, такие звезды, так хрустит снег... Я сейчас вышел и ахнул. Снег сверкает под фонарем, деревья в снегу, все искрится. Наши деды не знали такой красоты! Они не видели деревьев в снегу и вообще снега под электрическим светом. А это чудо! И вот что странно! — удивленно воскликнул он и неожиданно тихо, ласково позвал: — Иди ко мне... — Позвал так, что она не могла не подчиниться. — И вот что поразительно! — продолжал он, обнимая и поглаживая ее спину. — Смотрел сейчас на фонарь, а из чистого неба... звезды! В небе звезды, и откуда-то оттуда летят маленькие кристаллики. Это даже не снежинки... Ты слышишь меня?

— Ага, — на слабом выдохе откликнулась Клавдия Александровна. — Ага...

— Это не снежинки, а крохотные звездочки, каждая не больше комарика и каждая сама по себе. Они сейчас ле-

тят и поблескивают в электрическом свете... Какая тут тишина!

— Ага,— слабеющим голосом отзывалась она, оглушенная и раздавленная своим повиновением, рабской подчиненностью самоуверенному мужчине, от которого пахло табачным пеплом и въевшимся в кожу лица миндально-тленно горьким одеколоном.— Ага...

Ей было стыдно за свое убогое, как ей казалось, непрочное, шаткое жилище, за грязную занавеску с желтыми потеками, за саму себя, не готовую, не умеющую, не знающую, как тут быть. «Ага,— рвалось из нее то ли восхищенное восклицание, то ли стон.— Ага...»

— Это кто?— спросил Игорь Степанович, увидев на стене портрет.— Племянник?

— Ага,— ответила она, но, спохватившись, поправилась.— Нет, не племянник...

— А кто же?

Она испуганно посмотрела на стену, увидела дымчатые очертания нахмуренного мальчика, вперившего в нее свой насмешливо-задумчивый взгляд, отстранилась от Игоря Степановича и, поправляя волосы, ответила чуть слышным, внятным голосом:

— Брат,— отворачиваясь и с трудом глотая сухость во рту.

— У тебя брат?!

— Был, да... Старший... Погиб... Довоенная карточка...

— Совсем не похож...

— Семнадцать лет... или даже шестнадцать.

— Все равно,— говорил Игорь Степанович, исподлобья разглядывая портрет Миши.— Все равно ничего общего.

— В маму, а я в отца...

— Может быть,— задумчиво говорил Игорь Степанович, закуривая папиросу (тогда он еще не курил сигар).— А что?— воскликнул он и запнулся...

— Что?

— Погиб?

— Да...

— Фу-фу-фу-фу...

И оба взглянули друг на друга, словно в доме появился третий.

— Какая здесь все-таки жуткая тишина. Что это? Звонит, звонит все время... А?

— Лампочка перегорает.

— Я думал, в ушах. Так-так-так... В таком возрасте! Мальчик. А может, это легче?

— А вы, Игорь...

Он тяжело посмотрел на нее и, надвинув на глаза воспаленные веки, ответил, понимая ее вопрос:

— Я моложе, чем вы думаете, Клавдия Александровна.

Потом она грела чайник и большую кастрюлю, ожидая над плиткой, когда закипит вода. Потом помогала Игорю Степановичу заливать горячую воду в промерзшую машину... Был уже поздний час. В овраге щелкнуло дерево, колкий этот звук, как будто топором по звонкому, промерзшему полену, одиноко и пугливо раздался вскриком в тишине ночи.

Она очень старалась, заглушая чрезмерным, угодливым рвением неловкость, возникшую между ними. Ей не терпелось остаться одной. То же самое, наверное, испытывал и он... «Лишь бы завелась»,— думала она о машине, стекла и эмаль которой искрились жестким серым инеем.

Разбуженный стартер с натугой провернул в загустевшем масле коленчатый вал. Раздалась одна вспышка, другая... Но еще долго принимался и глохнул холодный мотор, пока наконец не взялся, подняв клубы пара...

Утром на том месте, где стояла машина, снег был пробуравлен горячей водой до земли и забрызган черной копотью, вылетающей из выхлопной трубы, пока Игорь Степанович прогревал мотор.

С тех пор у Клавдии Александровны и сложились с шефом игриво-деловые отношения, словно и тот и другой не в силах были забыть растерянности, какая развела их зимней ночью. И если она вспоминала вдруг о той неловкости, в душе ее начинало что-то вскрикивать, стонать в стыдливом отчаянии, как если бы она вспоминала о самом позорном дне в своей жизни. «Шаловливые переливы,— твердила она заученную фразу,— игривой мысли... Шаловливые переливы... Ах, господи! Игривой мысли»,— зачеркивая витиеватой фразочкой воскресшие картины.

А в птичий звон между тем ворвался и зазвучал, окреп, осилив все другие звуки, соловьиный голос. Он был так же ясен и чист, как диск огромной луны, подозрительно, немо и холодно восходящей в свой час на иссиня-блеклое небо.

Вот уж много лет в овраге пел один и тот же соловей, Клавдия Александровна знала его голос, насчитывая шесть

или семь колен в его песне. Особенно ей нравилось одно колленце с энергичным и стремительным подъемом звука, с эдаким мощным крещендо, которое обрывалось едва слышимым скрипучим высвистом, переходящим в яростное шелканье, раскатисто и гулко разносящееся по оврагу. Песня этого соловья славила, как объяснил ей однажды старый соловьятник, своей поволочкой. «Поволок, поволок, поволок! — как бы выговаривал соловей. — Под куст, под куст, под куст! На пень, на пень, на пень!» Клавдия Александровна очень смеялась, когда добродушный старик именно таким словесным набором переводил ей на русский язык замысловатую песню, сказав, что соловей с поволочкой ценится особо, как редкий талант.

Но в дни полнолуния соловей этот волновал ее так, что она ненавидела его. Умолкали все дневные птицы, дрозды, устраиваясь на ночлег, последними засыпали на ветвях, и в оглушающей тишине звуки соловьиной песни, словно золотистые зерна, очищенные от плевел, округло, выпукло раскатывались под луною, напоминая ей о таинственной освещенности оврага. Ей даже чудилось иногда, будто это не соловей, а сама луна издавала пронзительно-чистые, светящиеся, фосфоресцирующие звуки, царствуя над миром.

В эти дни она и жителей Москвы ненавидела, которые, как ей казалось, вытолкнули ее когда-то из города, а сами вселились в огромный дом, построенный на месте особнячка, где жили Калачевы. В чистых удобных квартирах — какое им дело до нее, коренной москвички, вынужденной коротать жизнь над оврагом, какое им дело до луны, затерявшейся в московском небе, до той безумной тишины и соловьиной песни: они спят в привычном многолюдье под неумолчный рокот города, радуясь снам, если грезятся в них цветущие сирени и соловьи. Им хорошо. Им вполне хватает летнего месяца такой жизни, какой живет она, выброшенная из каменных чертогов в это одиночество: ни позвонить, ни зайти в гости...

Как же она злилась, думая о людях, которые с завистью восклицали, узнавая, что она живет в Подмосковье: «Счастливая! Чистый воздух, тишина!» Наигранная зависть бесила ее, и она еле сдерживала себя от грубости. «Давайте меняться, — стертым голосом отзывалась на эти восторги, склонив голову набочок и опустив глаза, — если так нравится. Что ж?»

Все краски жизни блекли и темнели, наливались мраком в бедственные дни мая, когда спутница земли, отразив

солнечный свет, являлась во всей красе на небесном своде. Успокоительные таблетки туманили голову, расслабляли волю, но не приносили облегчения. Жизнь казалась конечной, люди жестокими и глупыми, достойными только презрения.

Рука ее тянулась к писчей бумаге, трясущиеся пальцы сжимали скользкий лист, мысли путались, тревожили и уносили ее из полутемной комнаты с занавешенными окнами в неведомое ей благополучие, в которое она, как бомбу, должна была бросить свое раздражение и хотя бы ненадолго освободиться от мучительного страха перед бессонной ночью.

«Прочитала ваш рассказ,— начинала она письмо, накидывая буквы на бумагу резко и размашисто, ломая почерк непривычным наклоном,— прочитала и удивилась, что вы могли написать такую чушь! Хотя понятно — ведь вы сам старый (вам уже 53) и поэтому ваш герой тоже старый и, конечно,— писала она, отбросив правила синтаксиса,— в него влюбляется молодая красивая женщина да еще и современная — в джинсах.

Видимо вы сам уже из ума выжили раз такую чушь могли написать.

Зачем вы оскорбляете нас 26 летних девушек и заставляете любить стариков? За что их любить? Ведь противно даже очень противно лечь в постель вот с таким 60 летним дедушкой, а вы целый рассказ об этом написали. Мечты, мечты!

Может быть вам показаться психиатру? Может быть вы больны? И какой дурак печатает эту чушь???

Мы молодые и любить хотим молодых. Если хотите чтобы мы вас читали то и писать нужно реальные вещи а не всякую чушь, которую бы вы хотели чтобы так было. Понятно — вы сам старый и вам нравятся молодые элегантные женщины, но разве вы думаете что вас может полюбить 26 летняя женщина? Никогда! Ведь у вас уже хр. гастрит, нейроз, бессонница, остеохондроз и климакс — вы уже развалина зачем вы нам такой нужны? Да еще и лысый.

Посмотрите на себя в зеркало и хорошенько подумайте!

А почему бы вам не написать рассказ где молодой парень 26 лет влюбляется в 60 летнюю старуху оригинально будет! Желаю успеха!»

Сердце зашло в груди, когда она закончила письмо, улыбка сводила судорогой левую щеку, пальцы дрожали... Она сложила вчетверо исписанный лист и, не перечитывая, взяла конверт, но передумала. Развернула бумагу и припи-

сала: «Прожили уже 53 года а ума не нажили. Рита Овражная — 26 лет».

Портрет брата, рамка которого опять висела косо, чернел в полутьме, видны были только нахмуренные брови и светлое полотно открытого лба. Она знала, что луна сейчас восходит за деревьями, полыхая оранжевым диском, похожая на живой огонь, на зловещий лесной пожар, и ей было страшно выйти из комнаты, страшно было посмотреть в сторону окна, за которым шел соловей...

«Что же это такое! Как я несчастна! Почему никто не хочет понять меня? За что же мне такое наказание? Я больше не могу! Я сойду с ума!»

Она прилегла на диван и закрыла глаза. Г слова кружилась, и ей чудилось, что диван плывет по волнам, что в комнату, как морозным днем, врывается волнистый, качающийся, зыбкий пар.

Она испуганно села, озираясь вокруг. Ей казалось, что она умирает.

«Люди! Да помогите же мне! — чуть ли не кричала она. — Не могу я так жить! Неужели вам непонятно?»

В эту ночь ей хотелось подчинения! Очень хотелось подчинить себя людям, которые знали бы что-то такое, чего не знала и о чем не догадывалась она сама.

Жить в послушании! Она знала, что спасение ее в безропотном послушании людям. Умным, добрым и очень честным, улыбчивым людям.

«Жизнь прошла, — думала она, вглядываясь в темные углы комнаты. — Жизнь прошла. Я никому не нужная жертва...»



Калманок

Был однажды в моей жизни хороший, добрый дождь. Он лил двое суток подряд, не усиливаясь и не утихая. Прохладный воздух наполнился однозвучным, затяжным звоном. Дождь опускался на землю ровно, без всякого усилия или торопливости, не мешая никому жить.

Лесные дали едва виднелись. Было безветренно. Свежо пахло мокрой травой, цветами, березовыми листьями. Я выходил из дома в дождь, и тут же по штормовке начинали постукивать капли. Эти трепещущие звуки усиливались, уплотнялись, намокающая парусина грубела, каленя от воды. Чем дальше уходил я от дома, тем сильнее казался дождь.

Каждое дерево жило под дождем особенной, сложной жизнью, окутанное туманной задумчивостью. Река расплывалась в зеленых берегах. Вчера еще сморщенная на перекатах и вспученная на омутах, она разгладилась под дождем и словно бы остановилась.

Около реки в мокрых травах, в запахах цветущего аира

особенно хорошо был слышен слитный звон благодатного этого дождя.

К берегу подошла крупная рыба. После уверенной поклевки и подсечки удилище сгибалось в дугу, и я с трудом вываживал из глубины на поверхность крупную рыбу, которая ударами хвоста поднимала в сизой серости реки пенные буруны и, кувыряясь, сверкала чешуей и белым брюхом.

В жизни я не ловил такую ровную, крупную плотву. И когда поплавок, едва торчащий над дождливой поверхностью, в плавном своем проплаве по течению в очередной раз спотыкался, скрываясь под водой, в душе моей что-то вскрикивало, рука, держащая проводочную удочку, привычно делала резкое и короткое движение вверх, ощущая тяжесть и дрожь пойманной рыбы, которая крепко и надежно садилась на крючок.

Не верьте рыбакам, которые сравнивают ощущение от пойманной рыбы с зацепом! Живую тяжесть пойманной рыбы никогда не спутаешь с мертвой его тяжестью. Или я не рыбак!

В плетеном садке становилось тесно от пойманной рыбы, и, когда я, не веря в удачу, поднимал его из воды, чтобышний раз убедиться в богатом улове, плотва с жарким треском билась в сетчатом барабане, рвала его из рук, точно одна очень большая рыба, которую я едва удерживал, рассыпаясь ртутным, тяжелым блеском.

И ничего, кроме радости, не испытывал я, глядя, как бьется непонятная мне, чужая, не постижимая сердцем жизнь хладнокровных тварей, одетых в чешую.

Мне ближе и понятнее была жизнь разбитой молнией ивы, растущей на берегу. Мне легче было представить себе это дерево в образе женщины, наделить его человеческими чувствами и, может быть, даже мыслями, чем подумать о рыбах, что они испытывали сейчас боль и страх, что до поры они вольно жили в реке, зная все ее донные ямы и перекаты, умея приспособливаться к течению и к зимовке подо льдом, что и у них могли быть какие-то страсти и прихоти, что радость жизни заставляла их тоже игриво выпрыгивать на зорях из воды, веселиться в таинственном подводном царстве или стоять на хрящеватом доннышке в безжизненном оцепенении, пережидая дни, знойные или ненастные, незаметные для людей перемены в погоде, когда плотва переставала браться, точно ее никогда и не было тут.

Распаренная перловка, которую я изредка подбрасывал

на подкорм, с булькающим треском, как дробь, падала в воду. Длинное и хлесткое удилище, когда я взмахом через плечо закидывал леску, издавало вибрирующий, ветреный гул. Поплавок с черно-белым острием огружался, принимая вертикальное положение. Не видимое глазом течение влекло его справа налево, пока не наступал момент поклевки. Они были нечасты, и порой казалось, что клев прекратился. Но поплавок неожиданно вдруг исчезал под водой, и в руках у меня опять мускулисто изгибалась сильная плотва, хлопающая жаберными крышками и чмокающая белыми губами, в глубине которых поблескивал крошечный крючок, впившийся в хрящик рта. Жесткая крупная чешуя, оранжевый полумесяц черного глаза, резкий и пьянящий запах рыбы, вырывающейся из руки,— все это приводило меня в легкое исступление, в счастливое помешательство, будто я переживал лучшие минуты своей жизни, подаренные дождливым небом и господином Случаем, который привел меня на берег этой реки.

Я бы не сказал о себе, что суеверия мешают жить, но все-таки иногда я посмеиваюсь над собой, если, например, слишком начинала баловать удача. Э-э-э, думаю я в таких случаях, будь настороже, не обольщайся, как бы не пришлось отыгрываться.

Усмешка эта встряхнула меня, когда я, мокрый, поднялся по тропинке к задам большого села, к бурьянам, разросшимся на месте избенки, от которой осталась одна стена с трухлявыми оконными проемами да завалившаяся крыша. Да кривая калитка на ржавой петле. Да яблоня тут же стояла, одичав в бурьяне, усыпанная кислой мелочью, падавшей на землю и на крышу. Червивые яблочки, как осенние листья, желтели во взъерошенной щепе, почерневшей от дождя.

И вдруг из бурьяна, из мокрых лопухов выбежали с топотом и треском, с рывкающим грозным хрюканьем громадные ошпаренно-розовые чудовища в угольно-черных пятнах.

Это было так неожиданно, что я обмер, ошеломленный. Жирная лопухая свинья торпедой бросилась на меня, презрительно впившись белесым злым глазом. Но что-то ее отвлекло, она вмиг забыла обо мне и уткнулась черным рылом в землю.

Кого-кого, а свиней я никак не ожидал встретить! Они мне даже показались огромными чудовищами, которые хотели напасть, но испугались и так же суматошно, с треском и

рывканьем спрятались в густых репейниках, паутинные шары которых закачались из стороны в сторону.

Вот тогда-то я и усмехнулся, подумав, что эта встреча не к добру.

И не ошибся.

Дождливой ночью недалеко от села, на проселочном шоссе, произошла катастрофа. Жертвами ее стали трое молодых людей, которые ехали в автомобиле «Жигули» и на всем ходу врезались в трактор, оставленный на дороге. Водитель не успел перекинуть ногу на педаль тормоза: серый от грязи, неосвещенный трактор возник перед его глазами слишком поздно... Теперь можно было только гадать, как это случилось и что почувствовали в последний свой миг молодые ребята и женщина, собравшиеся в лес за грибами.

До боли было обидно сознавать нелепость и несправедливость трех этих смертей. Я даже испытывал чувство вины перед погибшими, вспоминая, как сладко спал в холодной половине избы. Ничто не подсказало о беде, никакая жилка не дрогнула, и в груди не толкнулось сердце, когда в пятистах метрах от дома, в котором я ночевал, случилось несчастье.

— Калманок,— слышал я причитания хозяйки.— Калманок... Увезли. Чего же теперь будет? Калманку-то? А? Калманка это трактор. Жена прибегала в слезах. Неужели посадят? Калманка-то? Разве виноват, если трактор сломался? Жена-то, жена-то убивается!

Я смотрел на яркие цветы махровых гераней, пышно растущих в старых кастрюлях, и не мог понять, о ком так жалобно и плаксиво говорит хозяйка. Цветы были кроваво-красные и белые. Катастрофа казалась особенно зловещей в тихом и теплом доме, в котором безмятежно цвели герани.

— Калманок-то! Всего тридцать восемь... Вот и обидно,— говорила хозяйка, думая только об этом Калманке.

— Какой Калманок?

— Племянник... Володька. Пьяный был, засудят... У него жена с ребенком. Он ее с ребенком взял. Жалко.

Так она убивалась, старая эта женщина, оплакивая Калманка, что и я тоже пожалел было и жену, и ребенка незадачливого этого человека, да и его тоже стало жалко, потому что не хотел же он убивать людей.

— Пьяный был?— спросил я у жалостливой женщины, которая смотрела на меня, как на заступника, вытирая кончиком платка слезы, легко бежавшие из поблекших голубеньких глаз и растекавшиеся по морщинистым щекам.— Это

плохо, что пьяный. Все плохо! Три человека погибли... А у них и матери, и отцы, и у двоих тоже, наверное, жены...

И вдруг с лица этой женщины исчезли следы слез, глаза задымались сухой злобой, которая словно бы шатнула ее, и она ухватилась за спинку стула, чтобы не упасть.

— Тухельки напялят на каблучках, в креслице сядут, пожалуйста, отвезите меня в лес, я грибы искать хочу! В тухельках!— осипшим голосом произнесла она и в злобном отчаянии даже хохотнула с нарочитой басовитостью.

Перемена эта была так неожиданна и ужасна, что я даже не нашел, что сказать ослепшей, оглохшей и обезумевшей от горя старухе.

А через день встретился с Калманком. Встретился случайно, безо всякого со своей стороны желания, а уж тем более охоты о чем-либо говорить с ним.

Он сидел на обсохшей после дождя лавочке около дома и, когда я проходил мимо, громко окликнул меня:

— Эй, дай-ка мне... зубы погреть.

Сапоги с кирзовыми голенищами, острые коленки худых ног, небритое хмурое лицо и бесцветно-светлые с визгливым выражением бесноватые глаза, в которых то ли ненависть таилась, то ли веселое ухарство и хвастовство. Смотрел он на меня с вызовом, словно бы не просил, а требовал сигарету.

Я сделал вид, что не расслышал, и тоже хмуро переспросил:

— Не понял. Чего тебе?

— Сядь сюда,— сказал он и стукнул жесткой ладонью по доске.— Сядь, говорю. Не бойся. Покурим. Слышал про Калманка? Так это я. Сядь, посидим, ну...

Волосы песочно-грязного цвета были спутаны и вихрились по всей голове, подчеркивая расхристанность тусклого этого человека, неинтересность его и пошлость.

Что за натура у меня такая покорливая! Не хотелось, а вот взял да и подчинился ни с того ни с сего его прихоти, будто кто-то мне шепнул, чтобы я сел и поговорил с ним по душам, как если бы посулил мне этот человек нечто очень важное поведать, рассказать о себе, приоткрыть темные подвалы своей души, в которых должно же было что-то храниться, должны были дремать добрые какие-то силы... Не для зла же родился на свет Калманок, есть же и у него высшее предназначение в жизни, зачем-то ведь он живет в облике человека, а не какого-нибудь козла.

— Ты бы хоть поздоровался,— сказал мне вдруг Кал-

манок.— Проходишь мимо и отворачиваешься. Нехорошо. Культурка хромает,— и добавил, погрозив маслянисто-черным пальцем: — Тоже кой-чего понимаем! Тут... это... один мне... обиделся... Говорит: дай «Пегас». А у меня «Беломор». Нужен мне его «Пегас» кислый! Я ему хотел это... а потом думаю, пускай ходит...

Губошлепный рот растянулся в сочной, мокрой улыбке: что-то вспомнилось Калманку смешное, но он отмахнулся и сощурился в дыме, который окутал плоское его лицо, как туман гнилое болотце.

Не успел я подумать о нем, поразиться его толстокожести, представить на его месте себя, как он опять таким же требовательным тоном, как и курить просил, велел мне отвечать на его вопрос, который он задал так, будто я был в долгу перед ним.

— Правда на белом свете есть, или где ее искать? Где найти? Ответь-ка мне на вопрос, где? Это вопрос или нет? Вопрос! Во-о-о! И ты не знаешь... А что человека направить может? Только она и может — правда! Ничего другого не надо! Дай мне правду... У меня нужда! Нужда!— сердито и хрипло выкрикнул он, взмахнув рукой, как для удара, словно бы яростно заспорил с несогласным.— Нужда в правде великая! Так я скажу... Я четыре ездки сделал, да? Сделал... Бабы свидетели. Они траву косили, а я возил телятам. Чудная жизнь! Телята стоят, а люди за травой ездят. Трава растет, а телята стоят, ждут, когда им в рот сунут. Четыре тележки в день. Мой бы отец со смеху подох! Уж не говорю о дедах. Они б те — вообще не поверили. Ну и что? После рабочего дня... имею право. Не все же мне в лес за травой, могу и в магазин... Верно я говорю? Вот ты мне и скажи теперь направление, где искать правду. А не скажешь — я в обиде не буду, потому что, значит, не врешь. Я устал уже... Не старый, а душа болит. И ничего меня не вылечит, кроме правды... У меня болезнь смертельная, вот так я скажу. Опять Калманок виноват! Угробил троих! Зацепка, конечно, есть. Эта зацепка, как ступенька для ноги... А ты обопрись на эти, на перила, вот тогда я соглашусь. Для чего перила нужны, ты мне скажи? Вот и ты молчишь! А что тут скажешь! Зацепились и дело шьют... Калманок виноват. Калманку не отмазаться теперь. А я не боюсь. Отсижу свое, раз никто направление правды не учитывает. С малых лет и до этой...— сказал он, махнув рукой, и засмеялся.— Знаешь такую собаку, называется королевский дог. Мне один говорил, до семи лет живут, а больше не

выдерживают. А может, я королевский дог? Не выдерживаю тоже!

Давно уже сказано, что там, где ты ничего не способен достичь, нельзя ничего и хотеть. Пора бы и мне было встать и уйти от мутного этого человека, в котором и тени раскаяния я не заметил, будто не люди погибли из-за него, а какие-то насекомые, не достойные жалости и даже простого упоминания. Разум мой не в силах был сделать поправку неприятному впечатлению, какое произвел на меня Калманок, чтобы впечатление это стало терпимым и приемлемым, хотя душа и должна была совершить неусыпный этот труд во имя здорового духа и, пусть это обидно звучит, лишь бы жить дальше с верой в людей.

Тут у меня ничего не получалось, хоть я и делал попытки.

— Какая же тебе нужна правда, Калманок? Ты хочешь правды? Хорошо. Вот слушай: ты выпил, запорол мотор трактора, бросил его на проезжей части дороги и ушел домой спать. Был дождь, темно. Твой трактор на дороге, а тем более с тележкой, все равно что мина или какая-нибудь неогороженная яма. Вот, пожалуйста, правда. А другая сторона этой правды — три смерти. Три загубленные молодые жизни. Ты хоть узнал, что это за люди были? Нет. Вот еще одна сторона этой правды.

Но Калманок, набычившись, твердил свое:

— Зацепка это, а не правда. Да и без тележки трактор... Я тележку отцепил. Зачем зря говорить!

Злонамеренного человека можно, конечно, причислить к хищному зверю и соответственно отнести к нему, как к угрожающему жизни субъекту. Но с Калманком особый случай. Он был опасен тем, что никак не хотел и, наверное, не мог осознать степени своей вины. Передо мной был какой-то оборотень, какое-то брюхо с кашей, а не человек. Я его даже бояться стал, как опасного явления природы, бороться с которым невозможно, а разрушительные действия которого непредсказуемы. В белесых его глазах я видел непроницаемый мрак невежества и нечеловеческой тьмы, приводящей меня в отчаяние.

— Подожди, Калманок,— говорил я ему.— Ты скажи мне, пожалуйста, вот что: тебе хоть жалко людей, которые погибли?

— Ты мне это не шей. Ты мне правду скажи, разве я виноват? Что ж они, трактор не заметили? А может, они пьяные ехали? Вот так! Может, пьяные... Вот тут-то и не-

чем тебе крыть! И ты меня не запугивай! А то знаешь, что из это бывает! Я хоть по верхушкам, но законы знаю. Моей вины тут нет. Засудить меня, конечно, могут. Кто такой Калманок? Пешка! А люди разные бывают: одни в навозе находят жемчуг, другие в жемчуге всю жизнь копаются и навоз находят. Вот тебе и направление!

— Надо же какой философ!

— А ты как думал! Думаешь, если руки деревяшки, так и в голове ничего нет? Э-э, брат! Не-ет!

— Выходит, что ты куча жемчуга?

— Я этого не говорил. Но и не навоз, как ты думаешь обо мне. Я, бывало, трактор и тот уговаривал пахать, а ты говоришь! Ты меня не оскорбляй. Я своих врагов всю жизнь помню. Не прощаю!

Я уже стал думать о нем как о человеке, который сознает себя таковым только в тех случаях, когда причиняет вольно или невольно страдания другим. Невидимыми слезами людей орошается тогда душа его и прорастают в ней семена лютой ненависти к людям и небывалой любви к самому себе, истинному страдальцу, невинно осужденному, бедняге Калманку.

— Слушай, Калманок!— с мольбой в голосе и ужасом в сердце обратился я к нему.— Но ведь люди-то погибли! Молодые люди! Может быть, очень добрые, умные люди... Ведь они тоже хотели жить! Ты ведь должен понять...

— Чего мне понимать!

— Ты ведь должен понять, Калманок! Если бы ты не бросил на дороге трактор, они бы остались в живых. Неужели у тебя сердце не болит? Совесть-то у тебя есть?

— Хочешь дело пришить? Все шьют! Ну что ж, страдаем...

— Подожди ты об этом! Тебе людей-то жалко? Матерей? Ты представляешь, что сейчас с ними?

— А меня кто-нибудь пожалел?— озлобленно спросил Калманок, задышав в лицо душным, неистребимым перегаром.

— За что ж тебя жалеть?

— А нужда у меня такая!— хрипло крикнул он, белея взглядом.— Нужда. Чтоб меня тоже жалели! Вот так! Меня чего ж жалеть! За что? А что же я, не человек, что ли?

Горе мне с моим характером! Не такой уж я хороший и примерный, а бываю просто плохим человеком, о котором спустя время так и хочется сказать: встретил бы себя вчерашнего — убил бы! Но все-таки сострадание и чувство при-

частия к человеческому горю или счастью заложены во мне семенем, брошенным, видимо, в добрую почву. Во всяком случае, боль чужого человека отзывается во мне только болью, и ничем другим, а счастье — радостью.

Я никак не могу избавиться от взгляда на людей как на моих кровных братьев, которые тоже, как и я, способны брать на себя боль или клясть себя за поступок, принесший другому человеку страдание. Мне кажется все время, что люди в этом смысле очень похожи друг на друга, и, как правило, не ошибаюсь в такой оценке — этим живу.

А тут я обманулся так жестоко, что никак не мог примириться, не с Калманком, нет, а с самим собою! Какой-то нервный срыв, болезненное недоумение, тоску испытывал я, притянутый внутренним магнитом к этому непонятному мне человеку, к его несоответствию с моими представлениями о человеке вообще. Словно мне обязательно нужно было понять — человек предо мною или оборотень под личиной человека?

Я спросил:

— Ты когда-нибудь плакал, Калманок?

Тот от неожиданности улыбнулся, ощерив желтые, похожие на куриные клювы зубы, и хохотнул, мотнув при этом головой, как будто я хотел его рассмешить.

— Плакал, конечно,— ответил он уверенно.— Что ж я, не человек, что ли? Я как выпью, мне сначала весело, а потом обидно почему-то. Ох, я плачу! А потом драться лезу. А что?

— А плакал на трезвую голову?— допытывался я, глядя в беспородные, туманно-глухие, неглубокие глаза, которые он удивленно тарачил на меня, не понимая вопроса.

— Ты что ж думаешь, я с детства пью? Ошибаешься, командир! В детстве плакал, а как же! А что тебе нужно-то от меня? Непонятно чего-то! Ну, если не плакал, ну и что? Плохо, что ль, это? Я же не баба какая-нибудь.

— На твоём месте я бы заплакал,— сказал я с безнадежной тоской в сердце.— Жалко мне тебя, Калманок.

Хотел я ему сказать, что он не человек, но мне стало страшно за себя, потому что бездушное это явление природы могло себя повести непредсказуемо опасно, могло вдруг сбросить с себя личину человека и обратиться в нелюдь, явив себя в истинном облике.

Тем более что в сторонке от нас остановились две маленькие девочки, одна из которых, сунув пальчики в рот, с опаской поглядывала на Калманка. И такой страх цепенил все

ее хрупкое тельце! Мне и подумать было жутко, что с ней стало бы, если бы Калманок ощерил вдруг свои куриные клювы и, задрожав, скинул с себя человечью кожу, явившись бурым, щетинистым зверем перед детьми.

— Себя пожалей,— сказал мне Калманок угрожающе тихо и протянул руку.

Я смотрел на его бурую, одеревеневшую, опухшую от алкоголя пятерню, которая, как я понимал, требовала без слов очередную сигарету «погреть зубы», и, когда я, вопреки своей воле, достал из пачки и сунул ему в эту пятерню сигарету, руку мою обжег сухой и яростный жар, исходящий от его пальцев.

— Себя пожалей,— повторил Калманок с задумчивой угрозой.— У тебя нужды в правде нет, а у меня она, нужда эта, вот тут,— и он сильно, как разъяренная обезьяна, стукнул себя кулаком по гулкой груди.

Ему не надо было это говорить. Я очень жалел себя, жалел, что не нашел человека, хотя и очень старался, страдая от того, что впервые в жизни натолкнулся на существо, которое своей непостижимостью отстояло гораздо дальше, чем пойманная мною рыба.

Я подумал об этих рыбах как о мудрых и таинственно-прекрасных подводных жителях, способных безмолвно страдать и радоваться, выпрыгивать из золотистой реки на утренней или вечерней заре, громким плеском веселя сердца людей, и надолго исчезать в глубинах, переживая тяжелые для себя времена.

Был однажды в моей жизни хороший, добрый дождь...



Вальс

Маленький, шуплый человечек лет семидесяти пяти надевал весной старенькое пальто темно-зеленого цвета, однобортное, реглан, с вытертыми обшлагами и засалившимся воротником; надевал темно-зеленую фетровую шляпу с короткими полями, тоже старую и грязноватую, с заострившимся заломом на тулье; накидывал на сухонькую, морщинистую шею красный шарфик с замутившейся бежевой клеткой и шел гулять по подсохшим тротуарам, легкомысленно заговаривая с женщинами. По какому-то наитию он безошибочно угадывал тех из них, которым его внимание не будет в тягость и которые шли по тротуару не очень быстро, но были при этом не старые и приятные на вид.

С затуманенной весенним воздухом головой он подравнивался в шаг к такой женщине и вежливо заглядывал снизу вверх в ее глаза.

— Вы меня извините, конечно,— начинал он разговор с ней, мелко вышагивая рядом.— Вот, говорят, вальс, вальс! А кто сейчас умеет по-настоящему вальсировать?— спра-

шивал он и сам себе же отвечал: — Никто! — настораживая женщину, которая с любопытством смотрела на смешного старичка. — Вы мне поверьте, уж я-то знаю. Никто не умеет! А я в свое время вальсировал в левую сторону... Я и сейчас... А вы знаете, что это такое? А-а-а... Вот вы дама, я бы мог вас пригласить, и вы тогда поразились бы... Да! В левую сторону, вот так, — говорил он, взмахивая короткими ручками и как бы кидая тело свое влево. — Это я не пустое говорю, уж вы мне поверьте, это не каждый умеет. И даже дамы, бывало, смущались. Но ничего! Это уж дар от бога. Лишь супруга моя покойная... и то, я скажу вам, не сразу!.. Лишь она одна научилась вальсировать таким-то вот образом. Не без моей, конечно, помощи, как вы, наверное, догадываетесь, — говорил он с хитрецей в голосе, как щеголь подстраиваясь в шажочке к шагу своей случайной спутницы и чувствуя себя кавалером. — Это уж так! — восклицал он, то и дело меняя ногу и шаркая при этом в торопливой припрыжке по асфальту, точно пританцовывал всякий раз.

Он был похож в эти минуты на маленького, ярко расцвеченного самечика аквариумной рыбки гуппи, волнующегося возле степенной, серенькой, большой самочки.

Когда же он видел, что его дама сворачивала к дверям продовольственного магазина, он смущенной скороговоркой успевал ей сказать на прощанье:

— Вы дама, вы поймете, я вас приглашаю, приходите ко мне... И больше ничего! Я еще и не то умею... Жду вас! Вы меня извините, конечно.

И, легонько тронув шляпу, кивнув улыбнувшейся женщине, шел дальше, молодежато оглядываясь по сторонам.

Походка у него была торопливая, но он шел при этом медленно, словно не шагал по тротуару, а как бы брал дорогу крохотными щепоточками, помаленьку продвигаясь вперед незнамо куда. Лицо его светилось; грязноватенькие, непромытые морщины как бы все время меняли свои извилистые и прихотливые линии; счастливые глазки смеялись от удовольствия, точно он и в самом деле назначил свидание молодой еще женщине и жил теперь надеждой.

На нем были короткие брючки, из-под которых виднелись красные, под цвет шарфа, бугристые и сползающие на ботинки носки, натянутые на полотняные кальсоны. Ботинки на микропористой резине никогда не знали сапожной щетки, и только мыски их были кое-как очищены, смутно чернея среди лишаисто-белесой кожи.

Он семенил по тротуару в толпе нарядных людей, кото-

рые невольно оглядывали его и улыбались, но он эти улыбки воспринимал как обыкновенную весеннюю радость молодых людей, влюбленных во все и во всех, какую испытывал и сам он, дождавшись новой весны. И жизнь ему казалась прекрасной!

Весна была еще пыльная, не умытая ливнями. Снег еще чернел в затененных домами северных углах. Но светило солнце, дули порывистые ветерки, завихряясь вдруг в игривом набеге и увлекая за собой прошлогодние сухие листья, которые бурой стайкой с птичьим крылатым шорохом взметывались с запыленных газонов, но опадали тут же, как только уносился вихревой ветерок, ползли с царапающим шумочком по асфальту и замирали, похрустывая под ногами прохожих, как скорлупки. На коричнево-пыльных газонах без умолку чирикали такие же коричнево-пыльные воробьи, похожие на прошлогодние листья. Все вокруг двигалось, шумело, пело, веселилось, и даже дома, казалось, ожили, помахивая со своих балконов сохнувшим на веревках бельем.

— Вы меня извините, конечно,— говорил он в другой раз другой какой-нибудь женщине, с которой оказывался рядом в людском потоке на тротуаре.— Вы, разумеется, слышали сегодня по радио объявление? Ах, не слышали! Ну так я вам вкратце расскажу, в чем дело. Очень правильное решение! Я в прошлом рыбак, и такой заядлый, что просто, знаете... Ах! Я это о том, что теперь в местах нерестилищ запретили на два месяца всякую ловлю. И правильно! Даже граждан, которые выезжают отдохнуть на природу... Сейчас ведь, знаете, у многих собственные машины... Даже их просили не нарушать тишину, чтоб рыба могла спокойно отнереститься. Что такое нерест, не знаете? Это место, где рыба мечет икру: заливы, речки, которые в какой-нибудь водоем впадают или в озеро,— одним словом, рыбий роддом, вы меня извините, конечно, за такое сравнение. Вот я, например, заядлый рыбак, а скажу вам, и я даже духом воспрянул от такого правильного решения. Весной все радуются, влюбляются, надеются на разные радости... Вот вы, например, очень красивая дама, вам должно быть понятно это чувство. Не только ведь человек радуется! А другие что же? Они тоже радуются весной. Им тоже не надо мешать. Пусть весной все танцуют! Вальсируют в любовных своих играх. Вон, видите, воробушки,

пот там, на газоне... Вон что выделявает, вон как пляшет, и прыгает, и кружится, и крылышками трепещет... А кружится-то в левую сторону, обратите, пожалуйста, внимание. Вон тот, в черном фартучке. Он самец, петушок, так сказать, а вон та, серенькая, самочка. Видите, видите? Вальс вытанцовывает! Люди теперь другие танцы танцуют, а вальс, хоть и говорят: вальс, вальс!— вальс никто не умеет. Это вы мне поверьте! Не говоря уж о том, что в левую-то сторону вальс никто теперь совсем не танцует. Раньше тоже, конечно, редко кто умел. Но ваш покорный слуга кружил свою даму в вальсе только в левую сторону,— говорил он, шаркая ножками и подстраиваясь под шаг любезной женщины, слушающей его.— Вы, конечно, можете не поверить, но... Одна лишь покойная моя супруга легко подчинялась мне, а другие дамы терялись, и я всегда выходил победителем. Нескромно хвастаться, я знаю, вы уж извините, но таков мой талант.— И он застенчиво взглядывал украдкой в глаза насмешливой и, как ему чудилось в эти минуты, кокетливой спутницы.— Мы с супругой, можно сказать, были королями вальса. Никто не мог потягаться с нами. Да! Так и было. Я и сейчас могу вызвать кого угодно. Ни один молодец не сравняется со мной. Между прочим, я сегодня такой разговорчивый и, извините, приставучий, потому что услышал про это решение. Душа радуется! И хочется с другими поделиться радостью. Очень правильное, я вам скажу, решение. Раньше на берегах речек, в которых нерестилась рыба, не то чтобы ловить ее, а даже если, например, церковь стояла, то в это время в колокола даже не звонили, чтоб не пугать ее. Вообще-то моя супруга всегда была против рыбной ловли. Я думаю, она ревновала меня. Перед выходным, когда я на рыбалку ездил, накупит рыбы в магазине, нажарит, наварит. Ну зачем нам, спрашивает, еще какая-то рыба нужна? Разве тебе не достаточно? А ведь ездил-то я из чисто спортивного интереса! Она этого не понимала. Думала, что я к каким-нибудь знакомым дамам, знаете... Да. Не понимала. А я упрямый был. Однажды зимой запрятала перед выходом все мои теплые вещи. То ли к соседям отнесла, то ли еще куда, не знаю, только найти своих валенок, тулупчика, шапки я так и не смог и, можете себе представить, все-таки поехал. Мороз был изрядный, градусов двадцать, а я в прорезиненном плащишке, в брючках, в кепочке собрался чуть свет, пока супруга спала, и тихонечко уехал. Не ловля была, а беготня сплошная, еле живой остался на льду-то, да ветерок еще поднял-

ся с поземкой, а я в ботиночках и в кепочке. Но домой раньше времени не вернулся... Ох-хо-хо! Доказать хотел супруге, что она в данном случае не права. А вот теперь думаю,— говорил он, опустив голову и погрузнев,— теперь вот обидно. Выходной-то у нас с ней вместе один на двоих был. А может, ей в гости куда-нибудь хотелось сходить, потанцевать, повеселиться. Ведь это я ее к танцам-то приучил! Супруга моя до замужества танцевала, конечно, но уж вальс, извините... Вот все говорят: вальс, вальс. Немудреная штука — покружиться под раз-два-три, раз-два-три. Это вон и воробушек кружится, а вот так станцевать, как мы с покойной супругой, бывало, так никто не то что не умел, а просто не мог, потому что вальс, когда его танцуешь с поворотом в левую сторону, не только голову, но и сердце кружит, сердце в груди будто радуется, будто ты ему польстил, что в его сторону повел даму и сам тоже в его сторону кружишься, кружишься...

Но опять любезная дама, послушав и поулыбавшись странному старичку, оставляла его, садясь в троллейбус или уходя в метро. Но он и ей тоже успевал сказать на прощанье с вежливой и игривой торопцей в голосе:

— Вот увидимся как-нибудь на балу, непременно приглашу вас на вальс! А то, милости просим, приходите, я вам и не то еще покажу, жалеть не будете, могу и свидание назначить! Вы дама, вам и решать, будьте счастливы, приятно было познакомиться. Вот и все, и больше ничего,— говорил он уже в спину обожаемой даме, поигрывая всеми своими морщинками, совершенно уверенный, что доставил даме удовольствие, считая вообще женщин существами особенными, которые любят, когда мужчины на что-то интимное намекают им, и, удовлетворенный, продолжал свое таинственное путешествие по бесконечным тротуарам, пребывая в блаженном состоянии духа.

Была однажды затяжная, поздняя весна. В ветреную и холодную погоду не хотелось выходить на улицу, и он подолгу просиживал у окна, в отрешенности глядя с высоты пятого этажа на раскинувшиеся окрест каменные дали. Сидел и ждал погоды, видя сквозь верхние ветви голого тополя, качавшегося на ветру перед окном его комнаты, в которой он прожил без малого двадцать лет, до мелочей знакомую картину громоздящихся до самого горизонта и пропадающих в дымке безликих людских жилищ, и как бы сердцем слышал

из далеких этих каменных башенок детский плач или смех, стон умирающих стариков, любовный шепот или брань, и ему даже казалось в эти хмурые дни, что все люди, живущие в кирпичных и бетонных домах, тоже скучают, сидя у своих окон, и в унынии смотрят на небо, из которого то и дело порошит на холодную землю сырой снежок, и тоже, как и он, ждут хорошей погоды.

За окном уже сумерки. В мутном небе ворона еле справляется с ветром, летя зачем-то навстречу ему, останавливается в бессилии, ныряет, словно хороший пловец под гребень волны, и, выныривая за потоком, опять летит. Ветви тополя с ждущими тепла медового цвета почками рогато топорщатся на ветру, раскачиваясь сурово и неохотно...

Скоро этот тополь украсится клюквенно-красными сережками, набухнет в брачном наряде, точно готовясь к битвам с себе подобными, побагровеет, сбрасывая на землю побуревшие сережки, и, умиротворенный, спрячется в густеющей зелени. Листья на ветвях обметаются душистым липким клеем и прозрачно засветятся в солнечных лучах. Гулко и весело зазвучат, как весенние школьные звонки, голоса драчливых и потерявших всякий страх воробьев, а чирикание их, стократно отражаясь в глянцевых листьях, будет с утра до вечера греметь в зеленых чертогах старого тополя. Но все это только будет...

А пока за мутным стеклом качаются в сумерках голые рога тополя, вершинные его ветви, заглядывающие в окна пятого этажа; дует ветер со снегом; летит взъерошенная ворона, копошась в ветренном потоке, который мешает ей лететь.

В один из таких сумеречных дней, когда лопнуло терпение ждать настоящую весну, пришла к нему мысль пойти и посидеть вечером в каком-нибудь ресторане. Подумав об этом, он и сам очень удивился, невольно взглянув на фотографический портрет жены, висящий в золоченой рамке на стене, и тут же вспомнил, что девятнадцатого апреля у нее день рождения. В этот день она, как бывало подшучивали друг над другом, догоняла его и сравнивалась в летах. Ему вдруг показалось, что она улыбнулась ему с портрета, как бы сказав с добродушной ворчливостью в голосе: «Ах ты, гуляка ты эдакий, ишь ты придумал чего». А он в ответ тоже улыбнулся и, вспомнив молодые годы, решил поступить по-своему.

В парикмахерской, когда молоденькая мастерица касалась своими душистыми пальцами его головы, он не утерпел

и стал говорить с ней, обращаясь к ее отражению в большом зеркале.

— Вы уж меня извините, старика, но вот гляжу на вас и просто люблюсь. Такая вы красивая, стройная! Дай-то вам бог никогда не стариться, а главное — не толстеть. Чего в жизни нажил, от того уже не избавишься. Вот вам пример: картошечка с мясом — кто не любит? А мало кто знает, что это вредно. Потому что для картошки свой желудочный сок нужен, а для мяса свой. Картошка переварилась, например, а мясо еще нет. Вот вам и парадокс! Это я не пустое говорю... Или вот вам еще пример. Пообедал человек, а ему попить хочется, он и попил чайку. А ничего вреднее этого нет. Я, конечно, сам этих правил не соблюдаю и всю жизнь любил картошечку с мясом, а потом и чай пил, но вот недавно узнал: вредно, говорят, это. А я считаю самым вредным лишний вес. Сам никогда толстым не был, гляжу на толстых и думаю, как же они живёт на белом свете. Вот вы, например, красавица, и тут уж чего говорить, вам и решать, вам любой мужчина подчинится. С вашей-то красотой да с вашей фигурой! Был бы я молодой, уж я бы... Ничего, конечно, но на вальс при случае непременно бы пригласил! Вот тогда бы мы поспорили, чей верх, тогда бы вы на меня другими глазами взглянули. Вы извините, не расслышал, что вы сказали? Ах, одеколон! Да уж, думаю, да... Оросите!

И он зажмурился, потеряв из виду зеркальное отражение красавицы, ласковое прикосновение которой вызывало в нем столько добрых чувств к ней, что ему жалко стало, когда она про одеколон спросила. А она быстренько расчесала его влажные волосы, сняла простынку с плеч и велела платить деньги в кассу.

— Вы меня извините, конечно, вы дама, вам и решать, — сказал он смущенным бормоточком, — но уж вы разрешите вас поблагодарить за хорошую работу. Вон какого из меня красавца сделали! Я свою благодарность не только устно, но и письменно могу засвидетельствовать, если желаете...

И он с удовольствием увидел улыбку на лице молоденькой красавицы.

А потом был вечер. Он сидел за столиком в переполненном ресторане, за которым вместе с ним сидели еще два молодых человека и девушка. И были они так красивы, что ему все время хотелось сказать им об этом, но из деликатности не решался, потому что они были заняты только самими собою, а его, тоже, наверное, из деликатности, старались не замечать. И лишь когда поднимал рюмку с красным болгар-

ским вином, он поглядывал на них с вежливой улыбкой и, кивая им, делал маленький глоточек, как бы выказывая тем самым свою симпатию к ним. Но они почему-то не замечали этого. Он смущался, и в голове его начинало звучать нелепое словечко: ч а в ы ч а. «Чавыча, чавыча, чавыча,— бессмысленно повторял он, оглушенный-то ли оркестром, то ли вином.— Чавыча! И кто это такое слово придумал? Ч а в ы ч а... Что бы оно значило?»

Гремел оркестр, а посередине зала, возле эстрады, в ярком свете танцевали веселые люди. Он смотрел с улыбкой на них и был очень доволен собой. Он так редко бывал в ресторанах, что забыл и не мог бы вспомнить, когда это было в его жизни. Может, и не было никогда? Нет, он, конечно, бывал, но как-то всегда получалось, что... Нет, он, конечно, помнил, как много лет тому назад их с женой пригласил племянник на свадьбу в ресторан. Было весело. Он опьянел. На другой день ему было плохо. Он и так-то никогда не пил ни вина, ни водки, а с той поры вообще перестал даже думать об этом, не понимая, чего хорошего люди находят в пьянстве. Тогда тоже была музыка, он это помнил, но играли не так громко и мелодии были другие. Но это его не смущало теперь, когда он сидел один, по глоточку отхлебывая темно-красное, багряно посвечивающее в рюмке вино, потому что видел, как радуются люди, танцующие под эту новую музыку, хлопая всякий раз в ладошки оркестрантам, кончавшим играть.

Ему было очень хорошо в этом шуме-веселье и все время хотелось сказать кому-нибудь, как ему хорошо. Под музыку ноги его притопывали в такт, и он с какой-то счастливой завистью смотрел на танцующих. Однажды даже сказал молодым людям и девушке, которые танцевали втроем и которые вернулись за столик смеющиеся и утомленные:

— Браво.

Поднял рюмочку, сияя всеми своими морщинками, протянул ее через стол в сторону девушки и, как бы чокнувшись с ней, выпил вино до дна.

Красавица с подведенными глазами, губы у которой блестели, как красное вино, усмехнулась в ответ, и все трое напряженно переглянулись.

«Чавыча, — опять зазвучало в его голове.— Чавыча».

Тем временем музыканты ушли отдохнуть, танцующие люди расселись за столики, в зале сразу все стихло, хотя людские голоса на все лады звучали вокруг, звенели рюмки, ножи, вилки.

Официант уже несколько раз строго спрашивал, не желает ли он заказать еще чего-нибудь, но ему не надо было ничего, ему и так было вполне достаточно на весь вечер графинчика вина, салата и порции чавычи.

Ему лишь одного хотелось: поговориться со своими соседями, рассказать им что-нибудь интересное, и особенно девушке, которой он бы сказал, как она красива и какое гибкое у нее тело, как легко она танцует и как бы хотелось ему самому быть молодым и пригласить ее на танец... Пускай это будет не вальс, но уж он бы не подкачал, он бы сумел доставить ей удовольствие, потому что танцы, какие он видел в этот вечер, не шли ни в какое сравнение с вальсом, который он...

— Между прочим,— вежливо сказал он неожиданно для самого себя,— я вам хотел сказать...

— Не на-до,— с холодной улыбкой перебил его один из молодых людей и выставил вперед руку ладонью в его сторону.

— Извините.

«Чавыча, чавыча...»

Этот молодой человек тоже был красивый и, наверно, очень добрый человек, потому что у него глаза были хорошие, а взгляд, хоть он и постарался охладить его, был теплый и мягкий.

Музыканты в малиновых сюртуках с черными лацканами стали возвращаться после передышки на эстраду и наконец уселись на свои места, приготовились, взяв инструменты, и вдруг...

Нет! Он не поверил своим ушам! Он вздрогнул, как от выстрела, отпихнул свой стул, пружинисто поднявшись из-за стола, и, ничего не понимая, не чувствуя себя, но влекомый какой-то странной силой, устремился на освещенное пространство, которое словно бы ослепило его. Раскинул свои ручки и, легко поймав такт знакомой до боли в сердце музыки, закружился, прижмурив глаза в наслаждении, закружился, вальсируя в левую сторону, один на огромной и, как ему показалось вдруг, вращающейся арене. Вокруг была тьма, была музыка, были люди, которые останавливались, не входя в этот огненно-яркий круг, с недоуменными улыбками разглядывая танцующего старика, кружащегося в какой-то неуловимо-загадочной страсти, словно он танцевал не один, а был галантным кавалером. Левая рука

его то поддерживала талию невидимой дамы, то возносились над ее головой, словно таинственная невидимка, подчиняясь ему, кружилась перед ним, перебирая свои пальцы в его пальцах. То сам он кружился вместе с ней, очарованный ею. Ноги его, хоть и были обуты в ботинки на резине, успевали в стремительном кружении чеканно улавливать такт. Лицо его, отуманенное страстью, было исполнено такого блаженства, так высоко были вздернуты брови, так мечтательно полуприкрыты глаза, такую страдальческую улыбку источало это удивительное лицо, иссушенное морщинами, что никто не посмел войти в круг и тоже танцевать.

Люди стояли полукружием и с удивлением, с нежданной радостью смотрели на танцующего, а к ним подходили, поднимаясь из-за столиков, другие и тоже, играя неуверенными улыбками, останавливались и, не совсем понимая еще, что происходит, то посмеивались, то умилялись, то переглядывались, покачивая восхищенно головами, то опять посмеивались, точно боялись показаться излишне чувствительными.

Музыканты, выдавшие виды за годы вечерних своих программ в ресторане, и те, вытянув шеи, привстав, смотрели на танцующего старика, играя лишь для него одного, замедляя специально для него темп музыки, видя усталость на лице вальсирующего со своей невидимкой кавалера.

Но сам он не видел никого вокруг, запрокинув голову и томно прикрыв глаза. Лицо его изображало такую сладостную муку, так оно было прекрасно в забытьи вальса, что казалось, будто он может так танцевать до бесконечности.

Музыканты пощадили его.

Он неуверенно остановился и, покачиваясь от изнеможения, медленно опустил руки, открыл усталые и испуганные глаза, увидев и услышав вдруг людей, которые, смеясь, восторженно хлопали в ладоши, глядя на него. Он тяжело и часто дышал, открыв пересохший рот, горло его ходуном ходило в глотательных движениях, он старался улыбнуться, поняв наконец, что люди ему хлопают, жмут его ослабевшие руки, его поздравляют. Даже музыканты хлопали, кивая ему, как своему собрату. Он старался улыбнуться людям, но, стоя среди них, окруживших его, вдруг жалко всхлипнул, лицо его сморщилось, глаза налились слезами, он зажмурил их и, опустив голову, торопливо пошел, покачиваясь, к своему столику, услышав за спиной новый всплеск музыки.

Застольные его соседи ушли танцевать, он ухватился

рукой за спинку стула и ища глазами официанта, позвал его. Тот кивнул ему и понимающе улыбнулся, появившись вскоре с подносом, на котором стояла бутылка с минеральной водой.

Он с жадностью выпил целый фужер и, все еще тяжело дыша, робко сказал официанту, который выжидательно смотрел на него:

— Вот как неловко получилось! Взял да расплакался. Спасибо вам, милый... Я еще тут чуток посижу, отдышусь и уж тогда уйду. Ничего, что я так вот сижу здесь? Соседи мои что-то обижаются...

Официант поднял брови и пожал плечами, ничего не ответив.

— Ну, если нельзя, я уйду. А вам спасибо, спасибо большое.

Он шел домой, чувствуя легкое кружение в голове. Было уже поздно. Дул холодный ветер. Было по-зимнему светло от снега. Но свет разливался какой-то особенный, светился как будто сам воздух. И когда он взглянул вверх, то увидел в темно-синей голубизне неба яркую луну. И сердце его возликовало.

Утром он проснулся от дробного перестука капли. Светило солнце, отовсюду капала талая вода, было мокро, грязно и блестя на улице.

Он взглянул на портрет жены, виновато потупился, вспомнив вчерашнее, и на цыпочках пошел доставать из шкафа зеленое свое пальто, зеленую шляпу и красненький шарфик.



След собаки

Крупный, лещеватый кобель из породы ирландских сеттеров был очень строг к незнакомым людям и каждого, впервые входящего в мой дом, встречал басовитым, львиным рыком. Его огнисто-рыжая морда скалилась клыками; длинное переносье морщилося злобой; коричневые глаза косились в угрюмом взгляде, которым он словно бы примеривался к моему гостю, обливая его мрачным презрением; орехово-красная, остистая шерсть на спине вставала дыбом, щетинясь от затылка до хвоста. Настороженным и замедленным шагом приближался он к человеку, всем своим видом пугая даже неробких людей и приводя в панический ужас, в остолбенение тех, кто не отличался особенной храбростью. И как ни старался я уверить, что собака не тронет, что мой добрейший Флай лишь напускает на себя такой сердитый вид, совершая ритуальный обряд знакомства, и не пройдет минуты, как он начнет приставать с ласками,— веры мне в таких случаях не было. Я уводил грозного притворщика в комнату, что вызывало в нем жуткое него-

дование, будто я наносил ему неизгладимую обиду на всю жизнь: он ревел и вырывался из рук, гневно скалился на меня, задыхался и кашлял в ошейнике, хрипел в своей неукротимой, казалось бы, злобе. Я становился заклятым его врагом, как если бы оттаскивал его от такого же разъяренного противника, с которым он сцепился в драке и которому не успел отомстить. Мне самому, признаться, становилось порой не по себе, хотя я твердо знал, что мой чудаковатый добряк, диким и сильным зверем вырывавшийся из моих рук, никогда не пустит в дело свои уже пожелтевшие клыки.

Нет, я не был для него богом в образе человека, мы жили с ним на равных. Он ни за что не отдал бы мне говяжью кость и ударил бы зубами мою руку, если бы я протянул ее к душистой кости, которую он глодал и которая принадлежала ему, а не мне. То что было его, являлось табу для меня, а то, что было мое, было табу для Флая, который признавал во мне лишь вожака: я мог наказать его за ослушание, за нарушение неписаных законов нашего общества, и если я был прав — он недолго сердился на меня, не таил обиды, покорностью признавая вольную или невольную свою вину. Но когда я наказывал его в пылу раздражения, наказывал несправедливо, что иногда случалось со мной в минуты неудач и срывов, мой умный Флай скалил зубы и готов был защищать свое достоинство, следя змеиным взглядом за моей рукой, держащей плетку.

Однажды он доказал это на деле и, как ядовитый аспид вонзившись взглядом в мою падающую на него руку, ударил ее клыком, пробив кожу до крови. Клюквенно-красная капля тут же навернулась на месте сильного и злобного удара. Взбешенный видом собственной крови, я не знаю, если бы не жена, чем бы кончился наш поединок, наша лютая ненависть друг к другу: я готов был убить его, а он, понимая, что преступил границы дозволенного, тоже, как мне теперь кажется, готов был драться до конца, и, конечно, дрался бы, зная, что я поступил несправедливо и правда на его стороне.

Он был тогда молод и полон сил, этот трехгодовалый красавец орангутанговой масти, вооруженный острыми, белыми клыками. Молод был и я. И мне хватило бы, конечно, силы убить или искалечить собаку, осмелившуюся пустить мне кровь. Но, к счастью, не сделал этого, укрепив в своем любимце чувство собственного достоинства, а в себе покорив зверя, который, правда, долго еще выкрикивал грозные ругательства, поглядывая на непокоренного противника,

отвечавшего суровым, предупредительным рыком. Дрожь пробегала по лоснящемуся телу ирландца, тяжелый, кровавый мрак теснился во взгляде его глаз, следивших за каждым моим движением. И если я, снова и снова теряя власть над собой, подносил к нему, kloкочущему утробным рыком, свою руку, пахнущую йодом, спрашивая: «Кто это сделал?! Как ты посмел?! Ты понимаешь, что ты натворил?!» — он с жестокой горделивостью поднимал голову и, дрожа всем телом, смотрел в сторону, будто не видел моей руки, не видел меня и не слышал моего крика, хотя в мощной его груди рокотали пугающе свирепые, грозные звуки, похожие на отдаленный гром.

Ссора наша длилась недолго. Мы простили друг другу обиды, потому что опять наступал месяц май, и я опять, как и в прошлый и позапрошлый годы, мечтал о красном своем Флае, несущемся в волчьем галопе по ярко-зеленому майскому лугу, заставляя себя верить, что не все еще потеряно, что проклятая чума, из которой он с трудом выкарабкался, не убила в нем чутья, охотничьей страсти и резвости, что те нервные припадки, которые случались теперь с ним на бегу, когда он вдруг останавливался, как вкопанный, и начинал задыхаться, закатывая в предсмертной агонии мученически прекрасные глаза, когда воздух с пугающим хрипом вырывался из лиловеющей его пасти, а ходуном ходящие ребра, казалось, готовы были разорвать грудь, — что все эти напасти остались в прошлом и впереди у нас счастливое время натаски, а потом и охоты по первому полю.

Мне легко было поверить в это, глядя в широко раскинутые, высокие, как у вальдшнепа, большие и задумчивые глаза Флая, который смущал меня порой своим вопрошающим взглядом, словно бы хотел узнать, зачем и для чего он родился на свет, смутно догадываясь о своем призвании и прося моей помощи. Я гладил его великолепную голову, теребя тяжелые подвесы на ушах, дышал душноватым воздухом, выталкиваемым легкими из его разинутой пасти с повисшим на сторону сиреневым языком, и разговаривал с ним, как с человеком, рассказывая о будущей нашей жизни: говорил о холодных душистых росах в проснувшемся лесу; о тетеревиных набродах на опушке, залитой тенистым ранним солнцем и тяжелой росой; и о нем самом, замеревшем в стойке мокрым, бурым от росы изваянием и до того разгоряченным, что даже пар валил от него, тая в холодном воздухе августовского утра; а потом о веселом,

трескучем взлете молодых тетеревов, о торопливых выстрелах, о запахе порохового дыма и теплого тетерева, от которого тоже, казалось, пахло дымком сожженного пороха.

Флай внимательно слушал меня. Затаивая дыхание, клонил голову то влево, то вправо, с любопытством и огромным интересом всматриваясь в меня или, быть может, в мои слова, точно слова мои имели для него физический объем, материализуясь в те реальные предметы, которые они обозначали. Глаза его изображали удивление и робость, горячую страсть охотника и смущение... Суховатые, черствые ноздри все время вздрагивали, будто он обнюхивал каждое мое слово, стараясь запечатлеть в своем сознании его значение и смысл. А когда я сам, смущаясь, заканчивал свой рассказ и дружески трепал по холке зачарованного слушателя, Флай возбужденно вскакивал с места, вопросительно и зовуще смотрел на меня, жарко помахивая рыжим пером, и мне тогда чудилось, что он хорошо понял меня и предлагал немедленно приступить к делу, ради которого родился и жил.

Родился и жил, чтобы в струях ветра над пожелклыми травами влажного, заболоченного луга, в ароматных настоях поймать чутьем тот единственный, благоуханный запах чужой и теплой жизни, исходящий от таящегося в кочках дупеля, и, поймав, умереть в мгновенном ошеломлении, в страстном и изумленном восторге...

Жестокая болезнь, которую перенес Флай в детстве, лишила его этого счастья, и я, увы, хорошо понимал всю тяжесть его положения. Хотя и не в силах был примириться, надеясь на чудо. Вызывал знаменитого в ту пору ветеринарного врача, носившего зимой шубу с бобровым воротником шалью и кожаный баульчик с лекарствами и инструментами.

— Уберите свою собаку! — закричал он мне, снимая боярскую шапку, которую не знал, куда повесить в скромном моем жилище.— Нет! Я такую собаку не буду даже смотреть. Вы что, не можете справиться? Что он орет на меня?! Где ваш арапник?

Когда Флай успокаивался, знаменитый врач словно бы забывал о нем, и в склеротическом его мозге возникали странные ассоциации. Он говорил о каких-то невежественных людях, кормящих собак медом, который противопоказан собакам, потому что понижает кислотность, и без того уже низкую в силу физиологических особенностей собачьего организма. Я отвечал ему с предельной почтительностью, что Флай ни разу в жизни не пробовал меда. Врач недовольно

амурился и опять требовал, чтобы я убрал собаку, которая своей невоспитанностью раздражает его.

— Что он меня обнюхивает? — спрашивал он так, будто впервые в жизни увидел живую собаку.— Пусть идет на место. У него есть свое место? Собака должна знать свое место, и место должно быть чистым. Ни в коем случае нельзя делать ватные матрасики! Это самая негигиеничная подстилка, вы должны хорошенько это запомнить. Лучше всего простая парусина на раме. Скажите, пожалуйста, а зачем вы меня вызывали? У вас вполне здоровая собака! Чего вам нужно от меня? Я трачу на вас время, а у меня еще четыре визита. Что за безобразие такое! Где у вас можно вымыть руки? И, пожалуйста, чистое полотенце.

Тщетно пытался я рассказать ему о странных припадках, случающихся с Флаем, который и в самом деле выглядел вполне здоровым псом: врач и слушать меня не хотел. С недовольным видом получал он свои «профессорские» за визит, надевал с пытением тяжелую шубу, снова крича мне, чтоб я убрал собаку, надвигал на розовый лоб, на белые полубачки бобровую с бархатной опушкой шапку, брал свой залоснившийся баульчик с защелкой из двух металлических шариков, как на старинных дамских ридикюлях... Ах, да! У него была еще крепкая, толстая палка с кривой рукоятью, которую он вешал на подогнутую в локте руку.

— И больше, пожалуйста, не вызывайте меня без нужды. Мне и без вас не хватает времени. Ваш холерик совершенно здоров. Давайте ему отвар из пустырника, чайную ложечку. Купите в аптеке, там все сказано, как и что надо делать. А главное, заведите хороший арапник! — снова начинал кричать он.— Я в жизни не встречал таких невоспитанных собак! Пошел вон! Пошел! Уберите же, в конце концов... Нет, это невозможно! Невыносимо!

И, не прощаясь, он уходил, освобождая мое жилище от своего большого, дородного тела, одетого в дорогие, но уже потертые, посекавшиеся меха.

А мы с Флаем плясали от радости, благословляя и даря любовь ворчливому старику, излечившему нас хотя бы на время от гнетущих сомнений. Мы были и в самом деле невоспитанными субъектами с холерическим типом нервной деятельности. Тут старик несомненно прав. Хороший, добрый ворчун, уставший от больных собак и сумасшедших хозяев! Где он теперь? Жив ли? Или душа его отдыхает в райских кушах, созерцая гармонию запредельного мира?

Куда же еще, если не в рай, вознесется его душа, приносящая столько облегчения исстрадавшимся собакам, кошкам, лошадям, кроликам, птицам, коровам — всем, в ком текла горячая кровь и кто был подвержен земным страданиям, от которых он избавлял или, во всяком случае, старался избавить всех живущих под солнцем.

В том числе и людей, ибо нет для человека боли сильнее той, которую он не в силах перенести на себя и перебороть в своей душе и о которой он может только догадываться, глядя с состраданием на бессловесное существо.

По Савеловской железной дороге есть станция Луговая, следующая за Лобней, за Кияновым озером, знаменитым своими чайками. В те времена эта станция казалась такой далекой от Москвы, леса глухими, а жизнь в тех местах такой заманчивой и привольной, что мы, не задумываясь, сняли в небольшом поселке две комнатки и маленькую террасу на лето. Хозяева наши были настолько добры к нам, что пустили с годовалой дочкой и даже с собакой. Мы с женой впервые в жизни самостоятельно сняли дачу, впервые заказали грузовое такси, перевезя на нем в пустые комнатки чуть ли не всю обстановку, какая у нас была в ту пору в Москве. И если я по каким-либо делам заезжал теперь домой и оставался ночевать в гулкой комнате, мне приходилось спать на полу, накрывшись пальто. Естественно, меня тянуло на Луговую.

А лето в том году выдалось необычно холодным и, я бы сказал, солнечно-тучевым, потому что каждый день по небу быстро текли иссиня-черные, четко очерченные в небесном просторе тучки, из которых срывался на землю холодный крупный дождь, а следом выкатывалось на небо ярое, торопливое солнце, освещая всеми своими прожекторами сочно-зеленую, мокрую землю. Тучки тогда начинали казаться совсем черными, небо лазурным, а листья и трава — малахитовыми, отполированными до блестящего лоска драгоценностями, разбросанными по окрестностям.

В лесах в то лето было много белых грибов. Я знал, что леса эти славились вальдшнепиными тягами и осенними высыпками, но вот летний выводок молодых вальдшнепят, которые еще только-только поднялись на крыло, я ни разу в жизни не находил нигде.

Мы шли с Флаем по лесной тропинке. Тяжеловатым галопом бегал он впереди меня и, весь мокрый и взъерошенный, похожий на пугало, то и дело отряхивался. У меня же была корзина, плетеное донышко которой уже прикрыли

обрызганные дождем белые грибы с шоколадно-коричневыми, будто оплавившимися на солнце шляпками.

Когда оно, это удивительное солнце, сияющим взрывом вспыхивало за краем черной тучи, которая только что повергала в мрак лесную чашу, поливая ее дождем, все деревья распускались вдруг, как весной, и, роняя сверкающие в воздухе капли, так яростно и кипуче зеленели под горячим светом, так торопились жить в лучах солнца, что вся эта прихотливая смена тьмы и света казалась мне веселой игрой природы, в которой я тоже был участником: я тоже промокал под дождем и тоже торопился согреться в солнечном тепле, ощущая телом его живое проникновение, исцеляющую его силу.

И поэтому, когда мой Флай, замешкавшись в ольховых кустах, спугнул вдруг там сойку, истошно закричавшую хриплым своим и трескучим голосом, я, хорошо зная крик осторожной сойки, почувствовал себя вдруг так, как если бы игривая эта природа, веселый и насмешливый лес, сверкающий мокрыми искрами, решили посмеяться надо мной. Я почувствовал себя полным идиотом, и мой бедный мозг не сразу вышел из помрачения, когда вместо сойки я увидел бьющуюся над зарослями ольхи рыжую, пеструю птицу с длинным и тонким клювом, которая стала на моих глазах вдруг падать, как будто я своим взглядом подранил ее... Я увидел Флая, заметив, что он тоже смотрел на куврыкающуюся в воздухе птицу, которая в косом падении забилась наконец на тропинке в десяти шагах от меня. Мы с Флаем бросились к ней, и уже на бегу, мгновенно сообразив, я завопил на весь лес:

— Тубо! Назад! Нельзя, Флай! Нельзя! Тубо-о-о!

Но было поздно. Большая вальдшнепиха выпорхнула из-под носа Флая и, перелетев кустарники мелкого орешника, снова упала и забилась на изгибе лесной тропочки, закричав опять по-сорочьи или по-соичьи.

Ничто уже не могло остановить Флая. Если даже я, знавший о подобных проделках, пускай не вальдшнепиных маток, а тетеревиных,— если даже я был обманут храброй и хитрой вальдшнепихой, уводившей нас таким образом от своего выводка, и побежал за ней, бросив, как последний дурак, корзину с грибами, то чего же можно было требовать от горячего Флая, впервые увидевшего трепыхающуюся перед ним птицу!

— Назад! — кричал я, слыша удаляющийся хруст и шорох веток.— Тубо! Назад!

Команды, которые он хорошо знал прежде, оказались бессильными перед проснувшейся и взорвавшейся его страстью: он просто не слышал меня.

Я знал, что где-то здесь, в ольховых зарослях, остался выводок, что не все еще потеряно и, может быть, случай этот, пробудивший во Флае охотника, будет тем счастливым чудом, на которое я не переставал надеяться: может быть, Флай, да и сам я, вместе с ним грубо нарушивший все правила натаски легавых собак,— может быть, Флай что-то поймет теперь, может быть, страсть, целиком поглотившая его, будет той чудотворной силой, которая воскресит загубленное болезнью чутье... Если, конечно, он вернется ко мне, а не падет в припадке где-нибудь там, в сверкающих чертогах смеющегося леса, под зелеными его шатрами, на сырой земле, пропахшей грибной прелью.

И я снова звал его и звал, зная, как плохо он ориентируется в лесу, не умея чутьем находить меня, особенно если подчинялся панической какой-то неуправляемой страсти. Он боялся леса и мог потеряться в пяти шагах от меня, пустившись бежать что есть духу в любую сторону. Он всегда скулил от радости, когда возвращался на мой голос и, мокрый, лез на грудь лизаться, изнемогая от безумной радости, что нашел меня. Иной раз даже чудилось, будто он плакал в эти минуты...

Я и сам не отличался сдержанностью, тоже теряя разум в минуты захлестнувшей меня страсти. И даже теперь, когда Флая увела в лесные чащобы хитрая птица, я хоть и очень тревожился за него, звал во весь голос, а все-таки глаза мои в каком-то суетливом и томительном ожидании шарили по земле в поисках затаившихся вальдшнепят. Зачем мне они, я не знал, и рассудок не мог ничего подсказать, лишившись возможности вообще что-либо трезво оценивать в эти тревожно-счастливые минуты. Я знал лишь одно: мне нужна собака и нужны вальдшнепы. Инстинктом чувствовал, что вальдшнепы и собака способны на всю жизнь осчастливить меня, хотя и не понимал, почему я непременно буду счастливым, если собака найдет затаившегося где-то тут поблизости лесного кулика величиною с галку. В подобные минуты легкого помешательства во мне тоже смещалось привычное представление об окружающем мире, я терял голову и делал все не так, как хотел и как нужно было делать. Я тоже становился неуправляемым, как и огневой мой Флай, и мы были под стать друг другу. Надо бы в свое время приобрести собаку поспокойнее, помягче, а я из всех

пород выбрал ирландского сеттера, самолюбивого и гордого, упрямого и очень горячего красавца, с которым не в силах был справиться и с которым как бы соперничал все время в самолюбии и упрямстве, совершая одну ошибку за другой.

Так было и на этот раз.

Прежде чем вернулся Флай, прилетела назад храбрая вальдшнепиха, опять тревожно заверещав надо мной, кипувшись, как мне показалось, чуть ли не к моим ногам, и, едва не касаясь земли, опять вдруг взмыла над ольховыми кустами, закричав еще громче и отчаяннее прежнего. Тут же из кустов поднялись два или три птенца и, порхая, как бабочки, полетели прочь. Крылья их были еще так слабы, что я видел, как птички стали снижаться, планируя меж стволами деревьев.

В этот момент подбежал запыхавшийся и обезумевший мой пес, диковато озираясь и не видя меня.

— Ко мне, Флай! — крикнул я, распираемый нетерпением. — Ко мне! Кому говорят!

Он метнулся от меня, даже не взглянув в мою сторону, но тут же возвратился, будто что-то забыл, и стал внимательно прислушиваться: висячие уши мешали ему, и он склонил голову набок, приоткрыв чуткую раковину. Я опять позвал его к себе. Он наконец увидел меня, бросился, застояв от восторга, стал прыгать на грудь, а я как мог успокаивал его, свистящим шепотом приговаривая:

— Тихо, Флай, тихо... Все хорошо. Только — тихо!

Ему не хватало воздуха, и он словно бы рвал его зубами, глотал и глотал его, захлебываясь пенистой массой, надрываясь и страдальчески стелая при этом.

Я же тем временем шел к высокой елке, широко раскинувшей нижние ветви, под которую, как мне показалось, опустился один вальдшнепенок.

— Ищи, Флай, — молил я собаку. — Птичку ищи! Вот тут где-то птичка, ты понимаешь?

Глаза его, казалось, пожелтели, пропитались ублюдошной зеленкой; кожа вокруг разинутой до ушей пасти собралась складками; длинный язык часто-часто в такт дыхания дергался, свесившись через зубы набок, — вид у Флая был загнанный и несчастный, а глаза как будто слезились в страдальческом прищуре: он не понимал, о чем я его прошу.

И тогда я проклял его! возненавидел! испепелил злобным взглядом! Готов был ногой пнуть этот рыжий, мокрый, трясущийся ком глупой шерсти, глядевший на меня с вековой тоской какого-то смертельно усталого кули.

Я забылся в дикой своей страсти и, схватив за шиворот, поволок Флая к елке, в безумии приказывая ему искать, искать, искать.

Но вдруг сам обомлел, обессилел, расплылся в глупейшей улыбке; рука моя, вцепившаяся в мокрую, теплую холку собаки, пахнущую псиной, ослабла, и я позабыл о Флае, который испуганно дрожал у моих ног.

Под шатром еловых ветвей, в буром полусумраке, в аромате смолы, на ровной подстилке из опавших коричневых хвоинок, лежал на брюшке, как котенок, затаившийся птенец.

Он был так тих и спокоен; выпуклый глаз его так задумчиво и умно смотрел на меня; коротковатый еще, розовый клювик, уткнувшийся в хвоинки, придавал всей его позе такой обиженный вид; так он хорош был в своей сáмости и трогательной независимости, в какой-то хозяйской уверенности, что с ним ничего плохого не может произойти под этим большим шатром возле смолисто-сахарного могучего ствола огромной ели, что я сам вдруг превратился, созерцая это чудо, в чутьистого и осторожного сеттера, замершего в стойке над причуянной птицей; я не в силах был шевельнуться: все мышцы мои и суставы были парализованы, дыхание остановилось, словно оно мне и не нужно было совсем.

Но в тот момент, когда я с ужасом понял, что Флай тоже увидел птенца и, увидев, тут же кинулся, я успел опередить его и, ломая ветви, бросился на взлетевшего вальдшнепенка, изловчился и уже в падении достал рукой, сбил в воздухе, в тесном пространстве под еловыми ветвями, и накрыл его на земле, чувствуя пальцами трепетание пойманного мною маленького дикаренка.

Может быть, только в детстве испытывал я нечто подобное, когда доставал из марлевого сачка трепещущую в нем красавицу бабочку. Может быть, только тогда, в несмысленную пору своей жизни, радовался я с такой же беззаботной жестокостью, когда сжимал в пальцах хрупкие крылья, одетые в тончайшую парчу осыпающейся пыльцы, бессмысленно губя прелестную летунью.

В таком же бездумном, сумасшедшем восторге держал я теперь в своих руках живого и, казалось, совсем не напуганного мною, тихого вальдшнепа, который словно бы только очень сильно обиделся на весь белый свет и погрустнел. Лишь колотящееся, жаркое сердечко выдавало всю тревогу пойманного птенца, так нескладно начавшего

свою жизнь. Изредка крылья его вздрагивали в моей руке, точно по ним пробегала легкая судорога. Но головка с бурундучьими полосками на темени, его глаза, вынесенные к затылку, розовый клюв — ничто как будто не выражало никакого беспокойства: головка была все так же обиженно опущена, глаза с равнодушием полированного камня смотрели на мир, и мне даже почудилось, когда я с затаенным дыханием рассматривал его, что он не видит или не хочет видеть меня, что я, страшный великан, поймавший его, глубоко безразличен ему.

— Видишь, Флай! — говорил я прыгающему псу. — Вот каких птичек надо искать! Во-от каких! Теперь у нас есть своя птичка! Теперь я научу тебя искать ее. Теперь ты все поймешь!

Говорил я это так, будто теперь мы с ним были спасены и впереди нас ждали радостные дни жизни; говорил так, будто теперь у меня было все для истинного счастья: своя легавая собака и свой живой вальдшнеп.

Я подобрал брошенную корзинку и пошел домой, любуясь белыми грибами, лежащими на ее доньшке, и маленьким вальдшнепенком в руке. Рядом со мной понуро бежал мой послушный Флай, который, казалось, повзрослел за этот день, понял что-то очень важное для себя и как будто чего-то испугался: мне даже иногда чудилось, что он боялся меня. И если я, в попытке развеселить его, протягивал ему вальдшнепа и говорил: «Смотри, какая у нас птичка! Понюхай, понюхай... Ты должен знать ее запах...» — Флай в какой-то странной заторможенности отворачивался и пугливо поджимал хвост.

Для меня это было полной неожиданностью, и я начинал опять злиться на своего дурака, который не хотел радоваться вместе со мной.

«Другой бы на его месте, — думал я, раздражаясь, — не сводил бы глаз с птенца, принюхивался, приставал бы ко мне... А этот смущается и даже смотреть не хочет. Ничего себе охотник!»

Я нес птенца, держа его в руке, как голубя, осторожно и бережно, стараясь не помять перьев, не повредить крылья, легонько прижатые большим пальцем, и не сломать длинные его, бледно-розовые лапки, торчавшие у меня между пальцев. Ладонь вспотела от горячего тепла пленника, и мягкие перья на брюшке птенца, когда я его перекладывал из руки в руку, стали взъерошенными и влажными. Как это ни странно, он не пытался вырваться у меня из рук и

даже не встрепенулся ни разу, покорившись своей судьбе.

Я всю жизнь со стыдом вспоминаю восторженно-глупую улыбку, с какой протянул жене, державшей на руках проснувшуюся дочь, печально-тихого вальдшнепенка.

— Кто это? — спросила она в изумлении.

— Это вальдшнеп. Ты что ж, не узнала вальдшнепа? Это птенец! Я его поймал.

— Зачем?

— Как это зачем! Буду Флая натаскивать.

Она торопливо посадила дочь в коляску и нежно взяла у меня из руки птицу, тревожным и растерянным взглядом рассматривая ее.

Моя жена никогда не страдала излишней сентиментальностью, ездила со мной на охоту, пока не родила ребенка, ошипывала битых уток и тетеревов, с удовольствием ела поджаренную на костре или в газовой духовке дичь, радовалась меткому выстрелу и подсмеивалась надо мной, а то и язвила, если я мазал. Когда же я ездил один и, возвратившись, бросал к ее ногам тяжелую связку весенних селезней и вальдшнепов, украшенных можжевеловыми веточками, тетеревов или громадного, не похожего на птицу желтоклювого глухаря, сияющего перламутрово-синей грудью и черным в белую искру хвостом, она поздравляла меня с удачей, разделяя со мной мою страсть и охотничье возбуждение, одаривая своим восторгом, который всегда бывал для меня каким-то заключительным и торжественным аккордом моей любви к охоте.

— Зачем же ты это сделал? — спросила на этот раз она с нескрываемой жалостью и пристально посмотрела на меня.— Он же еще маленький. Где ты его поймал? Ты с ума сошел! Где ты его поймал? Флай или ты? Я не пойму, кто поймал?

Она с печальным состраданием смотрела мне в глаза, точно я сам был пойман, и теперь даже она не в силах была освободить меня из плена. Глаза молодой матери, только что резвившейся с проснувшейся дочерью, набухли слезами, когда она снова стала рассматривать птенца, покорно сидевшего в ее руке.

— Ну вот видишь! — воскликнула она с жалобным каким-то писком.— Видишь, что ты натворил! Как же ты посмел?! Бедненький мой,— говорила она, разглядывая вальдшнепенка.— Тебе больно... Ну вот видишь... Ты ему сломал лапку! — вскрикнула вдруг она, вперив в меня ненавидящий взгляд.— Балда!

А я и в самом деле чувствовал себя балдой, не ожидая такой встречи.

— Кто сломал? — спросил я. — Что ты выдумываешь?

— Вот! Полюбуйся! Охотничек! — И она осторожно прогнала голенастую ногу, тонкая косточка которой, увы, была подломлена. — Что теперь делать? — спросила, всхлипывая.

Возмущение и злость на жену, встретившую меня руганью, сменились еще бóльшим негодованием на самого себя, искалечившего птицу, и я не знал, что мне делать, как быть.

— Ну мне же он нужен! У меня пропадает собака! Подумаешь, какая-то птичка! — вскрикнул я, разозлившись на весь белый свет. — У меня же собака пропадает! Мне нужна подсадная птица, я ведь тебе прожужжал все уши, ты должна меня понять.

— Но он же маленький!

— Какая разница!

— Пропади она пропадом, твоя собака, раз ты не понимаешь, какая это жестокость! Посмотри на Флая. Посмотри, посмотри! Думаешь, он не понимает твоей жестокости? Как бы не так! Он пришел сам не свой.

— Да что ты понимаешь! Если бы я не поймал вальдшнепа, он, твой милый Флаюшка, задавил бы его, он бросился, как зверь, я сумел опередить, я схватил и спас его, а ты, не разобравшись, клянешь меня как последнего негодяя. Ты же не знаешь ничего!

Я ухватился за эту спасительную идею и, развивая ее, успокаивая потревоженную совесть, поверил сам в истинность своих добродетельных намерений: да, действительно, собака, успеет она поймать бьющегося в ветвях вальдшнепка, конечно же, задавила бы его, а я лишь сломал ему лапку, которая заживет со временем. Так оно и было на самом деле, уверял я сам себя, оправдываясь перед женой, а потом чуть ли не обвиняя ее в скором суде... Я говорил об инстинкте, который помог мне понять или, вернее, ощутить нависшую над птенцом опасность и спасти его от гибели в зубастой пасти.

— Что мне оставалось делать? Ну что, скажи? — спрашивал я у жены, которая слушала меня, поглаживая пестрые, как у воробья, перышки бедняги. — Ты избаловала собаку, он совершенно не слушается меня, неуправляем, не слышит ни крика, ни свистка. Скажи мне спасибо, что я успел дотянуться до птицы. Обидно, черт побери! Какие-то

глупые упреки! Типичная женская логика! Судить по последствиям и напрочь отметать причины! Разве так можно? Ну, сама посуди, похож ли я на изверга? Если ты хочешь, я сейчас же пойду и выпущу его. Отыщу то место, где поймал.

Не поднимая головы, жена сказала:

— Ах-ах-ах, какое благородство... У него ведь лапка сломана! Надо наложить шину, а потом уж думать, как поступать дальше.

И я согласился с ней.

Флай между тем уже крепко спал и не слышал моих речей. Я, конечно, не погрешил против истины, он и в самом деле мог бы убить вальдшнепенка, но все-таки чувствовал я себя неловко перед ним, будто совершил маленькое предательство.

Птенца мы выпустили в сумерках того же дня, наложив на сломанную ногу маленькую, аккуратную шину. Он бесшумной тенью скользнул в потемки леса и скрылся за деревьями. Вряд ли, конечно, он выжил, если его не нашла старая вальдшнепиха. А найти его было трудно, потому что я так и не вышел на то место, где встретил выводок.

Много осеней подряд я бродил с Флаем по желтым лесам Подмосковья, но охотник в нем так и не проснулся: он работал только на глазок и на слух. Я не раз поднимал в кустах крупных вальдшнепов и даже убивал некоторых из них, но Флай был до удивления равнодушен к ним. Однажды он сделал что-то похожее на стойку, сунувшись в облетевший куст орешника. Из куста с треском вырвался жирный вальдшнеп, по которому я позорно промазал, а Флай тем временем, уткнувшись в траву, стал оглушительно лаять на кого-то. Это оказался крупный еж, свернувшийся шаром и издававший прерывистое, угрожающее шипение.

В тот день я окончательно убедился в непригодности Флая к охоте. Тем более, с годами он стал заметно сдавать и физически, быстро утомляясь, и, как выражались старые охотники, чистил шпоры, плелся сзади меня, отставая, и порой даже укладывался отдохнуть под какой-нибудь березкой.

Я перестал его брать с собою, оставшись на долгие годы без собаки: стареющий матерый кобель, домашний этот баловень, и исполнял теперь роль строгого сторожа, с которой он, как известно, превосходно справлялся, нагоняя на себя всякий раз такую свирепость, что у всех моих званых и незваных гостей холодела спины.

Мы с женой хоть и шутили, что таким образом он зарабатывает себе на хлеб, но в шутке этой, я думаю, была доля

правды: Флай отличался слишком гордым и независимым характером, чтобы жить на дармовщинку.

...Я всегда немножко завидовал людям, умеющим хорошо плавать, тем из них, которые с необыкновенной легкостью ушли далеко в море и долго не возвращались, покачиваясь на волнах где-то вдаль от берега, в ртутном блеске млеющего под солнцем моря. Я знал, что люди эти получали наслаждение от головокружительно-долгих заплывов, возвращаясь на раскаленный пляж с какой-то усталой полуулыбкой, со счастливой истомой, как если бы море с любовью ласкало их невесомые тела прозрачными своими и упругими волнами, целуя в губы соленой горечью зыбкой прохлады... Именно так красиво и вычурно представляю я себе то наслаждение, которое мне не дано испытать и о котором я могу лишь смутно догадываться, сочиняя для себя все его не изведенные мною прелести.

Точно так же не дано мне в жизни испытать красоту классической охоты с хорошо воспитанной, вежливой подружкой собакой. Видимо, особенности моего характера никогда не позволяли мне вырастить из породистого щенка послушного и уравновешенного помощника, о каком я мечтал и продолжаю мечтать, хотя уже и не надеюсь ни на собаку, ни на дупелиные высыпки, ни на выводки кургузов тетеревов, разбредшихся по росистой лесной опушке и оставивших в седой траве зеленые следы. Кто не охотник, тот не в силах понять и ощутить тот восторг, который охватывает душу при виде этих зеленых извилистых тропок, которые образуются, когда тетерева, пробираясь среди поникших от тяжелой росы трав, стряхивают со стеблей и листьев капли жемчужно-серой влаги.

Вот тут-то и нужна вежливая собака! В минуты мечтательных раздумий, когда я вижу эту поляну, освещенную стелющимися лучами зоревоего солнца, душа моя изнывает от тоски по улетевшим дням, сулившим мне столько наслаждений, столько надежд и обернувшимся для меня вечной охотой за самим собой. Теперь я в изощренном своем воображении вижу нехоженые лесные поляны, краснеющие земляничными листьями, серебрящиеся старыми выгоревшими пнями; слышу трескучий взлет разомлевших в горячих порхалищах тетеревов; чую запах стреляной гильзы и ласкаю в мыслях белозубую, огнисто-рыжую голову улыбающегося сеттера, пробующего языком на вкус липкую каплю крови битого тетерева-петушка в фазаньем пестром пере с черными выкружками образующейся уже лиры.

Мне неведомо то наслаждение, какое испытывают хорошие пловцы. Так и многим людям никогда не понять, не изведать того восторга, какой знаком каждому истинному охотнику по перу. Лишенные этого дара, они с поразительным легкомыслием клянут охотников, и, разумеется, меня в том числе, хотя я знаю по опыту, что некоторые из этих ярких противников ружейной охоты лакомятся с удовольствием кусочком жареной дикой утки или глухаря, добытых мною, и никто из них не поднимает тогда голоса против охоты или против меня, угощающего их дичью. Может быть, кто-то и знает людей, отказывающихся от рябчика или перепелки из принципиальных соображений,— мне ж, увы, не повезло на знакомство с такими последовательными борцами против охоты, хотя слов я наслушался предостаточно. Каких только гневных слов не слышал я, когда в какой-нибудь компании заходила речь об охоте! Слова, слова... Несть им числа.

Но мне надолго врезались в память слова, высеченные на маленьком постаменте, золотящиеся в жемчужно-черном блеске лабрадора.

Был хороший майский день. Старый русский городок, кирпично-бурый, малоэтажный, с горбатыми улочками, крашеными-перекрашеными заборами, за которыми ютились тесные дворики, заросшие травой с ярко-желтыми одуванчиками и кустами цветущей сирени, смотрел на меня гераневыми своими окошками, или, точнее сказать, одним каким-то удивленным оком доброго старца, встретившегося мне на дороге жизни. Кирпичные рельефчики на фасадах этих обреченных, дряхлых домов, кирпичные навершия над окнами, похожие на удивленно поднятые брови,— все это кирпичное разнообразие резко контрастировало с белёными фасадами новых домов, поднявшихся на окраинах города. Свое свободное время я проводил, бродя по булыжным мостовым, по которым так редко проезжали автомобили, что между камней росла неприхотливая, выносливая травка. Старые люди сидели на скамеечках перед этими домами, под цветущими на подоконниках розовыми, алыми и белыми геранями, и мне, столичному жителю, волею случая попавшему в этот тихий уголок исконно русской жизни, было так хорошо, душу мою переполняли такие добрые чувства к старым людям, которые внимательно смотрели на меня, когда я проходил мимо, что я, как со старыми знакомыми, как с родными, здоровался с ними, слыша в ответ удивленное и тихое «здрассте», которое смущало меня, будто люди одаривали ме-

ии, случайного прохожего, незаслуженным благословением.

Была золотая пора цветущих одуванчиков. Ярко-желтое сияние вездесущих цветов ласкало глаз свежестью и чистотой. Трава, в которой теснились цветы, лоснилась в солнечных лучах, волнуясь под струями легкого ветра. Было тепло, и пахло медом. Я шел по цветущим одуванчикам, по сиреневой тропке, вьющейся вдоль серенькой реки, похожей на Москву-реку моих дедов и прадедов, выросших на московской земле, в которой тлеют теперь их косточки и, даст бог, истлеют когда-нибудь и мои,— шел в счастливом каком-то забытии, не слыша шума города; шел без дороги, без цели, заглядывая в сувенирные магазины, любясь «кукушками», отсчитывающими время; шагал по тротуарам современного города, который тоже, как мне казалось, был похож на довоенную, старую, не тронутую реконструкциями Москву, на родное мое Замоскворечье.

Бродя по улочкам, которые то вверх вели, то вниз, я вышел к краеведческому музею. Музеи созданы не для меня: не люблю. А тут вдруг какое-то затмение нашло на мою голову. С неожиданным любопытством взглянул я на фасад приземистого здания и с заколотившимся сердцем потупился, рассматривая свои пожелтевшие от одуванчиков ботинки. Я словно бы сопротивлялся властной силе, повлекшей меня к этому зданию-склепу, к гробнице, пропахшей тишиной минувших веков, ржавым железом, тленом льняных одежд, тяжелой неподвижностью костей или бивней мамонта, кошунственной мертвечиной наформалиненных чучел животных, обитавших или поныне живущих в окрестных лесах и полях... Бог с ними, с этими останками! И да простят мне служители музеев, если я невежественным своим суждением нанес им незаслуженную обиду. Да и вряд ли кто-либо из здравомыслящих людей мог согласиться со мной в этом неприятии. Ибо что такое современный город, как не хранилище материальных, а стало быть, и духовных ценностей народа? Где еще сберечь в назидание потомкам все нетленные богатства, если не в музеях больших и маленьких городов? И как тут обойдешься без подвижнической деятельности музейных работников, по крупницам собирающих предметы былого быта народа и былой его культуры?

Все это так! Но тем не менее живет во мне упрямый противленец, будто все, что накоплено во всех музейных хранилищах, давным-давно известно мне и понятно, как если бы я жил на земле уже тысячи лет и сам когда-то пользовался вещами, какие мне показывает экскурсовод, на-

чиная от каменного топора и бронзового наконечника стрелы до первой печатной книги и сохи. Всегда, когда мне по неволе приходилось бродить по музейным залам, я как бы узнавал эти вещи, лежащие не на своих местах, не там, где им положено было быть и где я их словно бы оставил ненадолго, чтобы снова поднять, когда нужно, топор или взяться за соху. Меня всегда беспокоило и тревожило странное чувство причастности ко всему, что лежало под толстыми стеклами и к чему прикасались когда-то мои руки. Нервы мои не выдерживали, и я незаметно для экскурсовода выходил из музея на улицу, чтобы отдышаться и прийти в себя.

Может быть, потому я и не люблю музеи. Мне всегда чудится, будто сделанные мною и мне принадлежащие вещи, про которые я забыл, кто-то заботливо подобрал, не спросив у меня разрешения, и выставил напоказ, уверяя, что ими пользовались наши пращурь. Какая-то мистика преследует меня, когда я хожу по тихим музейным залам.

Тревожное предчувствие остановило меня и на этот раз, хотя я и не переступил порога городского музея.

Площадка перед ним, густо затянутая сочной травой, в которой жарко светились прохладные и пушистые цветы одуванчиков, была похожа на старый церковный дворик с протоптанными тропами, с кустами желтой акации, с покосившейся чугунной решеткой на серых столбах из песчаника.

Взгляд невольно искал могильную плиту или крест, и я припомнил вдруг заброшенную и полуразрушенную церквушку в Переславле-Залесском, неподалеку от Плещеева озера, мимо которой спешили мы с другом на утиные охоты. Резиновые наши сапоги, чавкая в грязце осенней дороги, выносили нас вдруг на каменные плиты, втоптаные в дорожную хлябь, будто кто-то вымостил ими спрямленный путь к озеру. Мы торопились утолить свою страсть, которая ослепляла наши души, и шагали по грязным плитам, зная, увы, что под ними лежат останки усопших, что церковнославянской вязью высечены на камне непонятные слова, заляпанные разжиженной жирной землей... Вспомнил и другие камни, вывороченные дорожными строителями, ремонтировавшими асфальтовое покрытие московского переулка. Гранитные брусья, которыми был выложен бортик тротуара, кольнули вдруг сердце отполированными плоскостями с вознесенными к небу полустертыми словами. «Да придет ца...» — взывал обтесанный обломок надгробной гранитной

плиты с исчезнувшего московского кладбища, лежащий теперь под ногами прохожих.

Все на свете подвержено тлену или разрушению. Равнодушная природа вырывает из рук человека созданные им памятники самому себе, превращая их в прах и обломки. Произведения человеческих рук, сотворенные его гением на века, изваянные в камне, отлитые в бронзе и чугуне, с момента наивысшего своего совершенства начинают стремительный путь к самоуничтожению, к хаосу, к изначальному состоянию, словно земля, вода и воздух, восстав на борьбу с человеческим разумом, дерзнувшем поспорить с самой природой, возвращают себе свое. Жизнь одного человека так коротка и быстролетна, что он не успевает заметить исчезновения вещей, сделанных даже задолго до его рождения, и умирает с сознанием вечной неколебимости вещественного мира, который окружал его при жизни... Но что, как не промельк, для вселенского времени тысячелетия, которыми человек отмечает возникновения и гибели цивилизаций на Земле?

Все бrenно. И лишь слово, произнесенное и услышанное, будет жить вечно. Сердце и душа человека не очерствеют и не устанут творить добро на земле, ибо высшее добро — есть Слово.

Под ветвями раскидистой акации, в нежной зелени игристых листьев, чернел четкой гранью угла шлифованный камень. Это был невысокий постамент, утопающий в зелени одуванчиков. Синеватый блеск был разлит по его поверхности, как синий цвет побежалости на ружейных замках с глубинным, прихотливым рисунком...

В шевелящихся на ветру ветвях чирикали воробьи, камень был забрызган белым их пометом.

Я с удивлением увидел на верхней его плоскости четыре глубокие язвы, забитые старой ржавчиной. Увидел слова, сбегающие по вертикальной плоскости. Позолота стерлась, оставив мутный след в канавках некоторых букв...

Я читал с замиранием сердца эти слова и не верил глазам: на постаменте стояла когда-то отлитая из металла фигура охотничьей собаки, судя по надписи, это была русская псовая борзая по кличке Угар. Он прожил на свете девять лет конца прошлого века, из-под него было принято два волка, затравлено им было много лисиц и зайцев, о чем подробно сообщалось в длинном перечне полевых заслуг. Родился, прожил девять лет, прославившись на всю округу резвостью и злостью, прославил и без того, навер-

ное, славного своею охотой губернского помещика, богатого и лихого человека, прожигавшего жизнь в чаду неумемных страстей; нарезвился вдоволь, дважды выходя победителем в схватке с волками, и сгорел на десятом году жизни — пал, как было высечено на камне. Случилось ли это в поле, или какая-нибудь болезнь одолела Угара — об этом никто никогда уже не узнает. А может быть, коварство завистливого соседа, не пережившего славы чужой собаки, погубило Угара? Все может быть! И напрасны гаданья.

Можно только в воображении представить себе бронзовую или чугунную собаку, запечатленную скульптором, судя по тем язвам на камне, скачущей, сжатой в пружинистом толчке для нового маха, для смертельного того броска, который бегуны называют спуртом, в последнем том напряжении физических сил, когда знаменитый волкодав Угар в летящем своем скоке первым из стаи настигал серого разбойника и ударом груди валил его с ног, вступая в схватку с матерым хищником.

Сам я никогда не охотился с борзыми собаками, знания у меня об этой охоте книжные, заимствованные, а поэтому я не в силах, да и не вправе, пользоваться теми удивительно емкими и редкими теперь словами, какие бытовали и бытуют среди борзятников. Когда-то я знал эти слова, но теперь забыл и не могу вспомнить. Я знаю, например, что борзая, настигая зверя, ускоряет свой бег и что это ускорение называется, конечно, не спуртом, а как-то иначе, более понятно для русского уха и души и более благозвучно. Но, имея возможность заглянуть в словарь или какой-нибудь очерк о псовой охоте, чтобы найти и вспомнить и использовать для себя это слово, я не делаю этого, потому, что, повторяю, не знаю охоты с борзыми. А когда чего-нибудь не знаешь, когда не прочувствовал собственным напряжением души, собственным потом какого-либо дела, то ни один словарь, каким бы полным он ни был, не поможет тебе воссоздать живую картину, и всякий знающий человек поймет твою ложь, как бы ты ни был близок к правде. Я знаю, например, одного военного летчика, который никогда не читает беллетристических сочинений о летчиках, потому что ему претят невольные ошибки самоуверенных авторов, раздражает неправда, сквозящая в строках приблизительных романов и повестей.

Вот поэтому-то я только мысленным взором могу увидеть никогда не виденную в поле, скачущую борзую, то исчезнувшее с камня металлическое изваяние, которое ум-

чалось в небытие, оставив на камне ржавые следы напряженных лап — следы былой утехи русских людей.

Я стоял перед камнем, снова и снова перечитывая невиданный мною доселе некролог, запинаясь всякий раз на словах: «Из-под него принято...» Принято! Как хорошо это соскакивал с храпящей лошади и принимал от своего любимца придавленного к земле волка, брал на себя кровавый миг удачи, тот последний удар кинжалом, которым он приканчивал волка, с восторгом принимая от злобного и резвого Угара этот царский подарок, трубя славу борзому красавцу, отголоски которой дошли и до наших дней, до меня, стоящего в растерянности перед живым этим камнем.

В залах музея ему не нашлось места, и он, привезенный когда-то сюда, был за ненадобностью брошен в кустах и забыт, а само изваяние, вероятнее всего, отправлено было на переплавку как не имеющее художественного значения и олицетворяющее лишь помещичью прихоть и самодурство.

Остались слова.

И я опять вспомнил Флая. К тому времени его уже не было в живых, он тоже пал, так и не свершив в жизни ни одного охотничьего подвига, хотя и прожил на свете дольше легендарного Угара. Ему шел двенадцатый год, он сильно одряхлел, шерстка на губах и вокруг чутья поседела, в глазах появилась старческая задумчивость, с какой он порой внимательно рассматривал меня, лежа по подстилке, походка его стала грузной, он почти не бегал во дворе, и у него отросли когти, которые шаркали по полу, мешая ему, но он никому не позволял подстригать их. Он все так же злобно встречал моих гостей, пугая мрачным рыком, но его перестали бояться, посмеиваясь над ним, как над старым клоуном, блиставшим когда-то своим искусством. Казалось, что ему и самому изрядно надоела эта игра. Поморщив морду, порычав, он рушился на пол, гремя старыми костями, и погружался в чуткий сон.

Флай тяжело болел, и никто не в силах был вылечить его.

В один из мартовских дней, когда продымленные, набитые мокрой пылью сугробы истекали черной водицей, когда скрытое за облаками солнце с трудом справлялось с весенними заботами, Флай вдруг попросился гулять.

С неожиданной торопливостью, с молодеватой какой-то напряженностью подбежал он ко мне и остановился, глядя мне прямо в глаза и нетерпеливо потопатывая передними лапами, как он это делал всегда раньше, когда ему нужно

было выйти из дома. Палевые лапы его, похожие на длинные лапы зайца-русака, говорили мне своим притоптыванием, что медлить ни в коем случае нельзя, что надо сию же минуту собираться, хочу я того или нет, и что внеочередная прогулка крайне необходима. Глаза, устремленные на меня, требовали, чтоб я понял его и ни в коем случае не отказывал. «Мне очень нужно,— как бы говорили эти странно возбужденные ясно-карие глаза.— Постарайся меня понять и не вздумай отказывать. Самое страшное случится, если ты мне сейчас откажешь!»

Именно так я понял его и подчинился.

Флай торопливо выбежал из квартиры и, повиливая хвостом, уставился на глухую дверь шахты, прислушиваясь к гудящему движению кабины лифта.

Я не узнавал его. Мне казалось, что передо мной не дряхлый старик, измученный болезнью, а молодой, полный сил и энергии мощный кобель, каким он был лет шесть или семь тому назад, и я верил и не верил в чудесное исцеление, пытаюсь понять причину неожиданной страсти, вдруг обуявшей Флая.

В жизни своей он скулил, только будучи маленьким щенком, отнятым от матери, да и то недолго, всего лишь какую-нибудь неделю. С тех пор я ни разу не слышал от него гнусавого нытья. И лишь в последнее время Флай иногда стонал во сне и даже вскрикивал, как ребенок, просыпаясь от боли и виновато поглядывая на нас с женой.

Болезнь его была так тяжела, что всякие здравомыслящие люди на нашем месте отвезли бы собаку в ветеринарную лечебницу и усыпили ее, утешив себя мыслью, что таким образом прекратили ее страдания. Но нам с женой не хватило здравого смысла, мы не расстались с Флаем, разделив до конца его мучения. Иногда человеческая глупость бывает умнее и чище торжествующего здравомыслия.

Когда мы спустились с Флаем вниз, он с таким же нетерпением выбежал из кабины лифта и, торопя меня, резво, как в молодости, побежал к дверям дома, потоптыванием перед ними требуя, чтоб я быстрее открыл их...

— Сейчас, Флаюшка, сейчас,— говорил я, поспевая за воскресшим своим любимцем и распахивая перед ним дверь...

...Распахивая перед ним дверь, которая вела, увы, в небытие.

Какая-то лихая сила вынесла Флая на асфальтовую площадку перед домом, он пробежал вприпрыжку несколько метров, как это делал раньше, и вдруг остановился в

мгновенном оцепенении и медленно опустил голову. Я успел подбежать к нему, поддержать шатающееся его тело, напрягшееся в мучительном вздохе, распирающем ему грудь.

Сердце мое зашло в предчувствии беды, я ухватился за собачий ошейник и, наговаривая какие-то ласковые слова, хотел отвести Флая домой. Но он в упрямом напряжении, в бездыханном своем сосредоточии направился через силу к черному сугробу и, пытаясь взобраться на него, поскользнулся и упал бы, не поддержи я его. Я понял, что ему обязательно надо взойти на этот рыхлый и мокрый сугроб, на который он раньше, в другие зимы, взлетал одним махом, и я опять подчинился его молчаливому и строгому требованию. Я увидел его остановившиеся глаза, взгляд которых был устремлен вовнутрь, словно Флай разглядывал нечто ему одному открывшееся, еще никем из живых не познанное, обыденное, мучительное чудо жизненного конца, к которому он пришел.

Я помог ему в последнем его усилии и чуть ли не втащил его на этот словно бы спасительный для него холодный сугроб.

Голос мой дрожал, когда я окликал своего красавца, мне не хватало воздуха, точно я взобрался на самую высокую вершину мира. Но Флай уже не видел и не слышал меня.

Он медленно прилег на черный снег и завалился набок, положив голову в грязь. И это было страшно видеть: прекрасную его рыжую голову, лежавшую на весеннем снегу, в кружевной его черноте. Раздался чуть слышный в городском шуме полустон-полукрик, показавшийся мне каким-то жалобным и капризным, Флай пружинисто дернулся, и голова его, которая только что лежала в черной грязи, вдруг упала в эту грязь. Казалось, всего-навсего повернулась набок! Но этот чуть заметный поворот был самым страшным падением, какое я когда-либо видел в жизни.

Оклика Флая, я приподнял его упавшую голову и почувствовал в руках тяжесть этой головы и поразительную мягкость шеи, будто мощная его шея превратилась в тоненькую пуховую шейку убитого вальдшнепа.

Слез у меня не было, мне нечем было дышать. Липкий и расслабляющий пот покрыл мое тело, когда я вернулся домой один, оставив на сугробе Флая, и сказал жене, что все кончено.

Для нее это было так неожиданно, она уже налила в миску теплую овсянку для Флая, заправив ее молоком, и

ждала нас с весельем в душе, потому что ничто не предвещало беды, когда мы уходили из дома, а наоборот, казалось, что болезнь вдруг отступила и жизнь с небывалой доселе силой вселилась в измучившегося Флая,— для нее это было так неожиданно, что она вскрикнула, точно ей сказали о смерти близкого человека, и выбежала на лестницу, тут же вернулась и, пугая меня своим видом, спросила в жалобном сострадании:

— Где он?

Я вышел с ней на балкон и, с трудом сдерживаясь, показал с высоты седьмого этажа на ярко-рыжий лоскут, лежащий на мрачном сугробе. Чернели дыры от моих ног, Флай лежал на боку, раскинув, как в беге, ноги; лежала рыжая моя мечта, многие годы бередившая мне сердце. И было страшно видеть неподвижность огненно-коричневого силуэта бегущей собаки.

Это был единственный подвиг, совершенный Флаем за всю жизнь: он исполнил обычай предков — убежал из дома, собрав последние силы, и умер в одиночестве, чтобы не доставлять хлопот тем, кто оставался жить.

Но хлопот, увы, было еще много, прежде чем приехала за ним машина ветеринарной спецслужбы, «УАЗ» защитного цвета с синим крестом на борту, и двое молодых людей, получив от нас вознаграждение за услугу, увезли нашего горемыку в электрическую полутьму прохладных вечерних улиц, скованных мартовским морозцем.



Запах сгоревшего пороха

Страсть, которая преследовала его всю жизнь, возникла внезапно, как заразная болезнь. Старая «бердана» с медной гильзой в патроннике резко толкнула в плечо, и раздался громкий хлопок выстрела; взрыв черного пороха метнулся из ствола клубом дыма, а консервная банка, поставленная на березовый пень, вдруг исчезла, словно ее сдунуло.

Серее Куликову было в то время четырнадцать лет. Онемев от восторга, он смотрел на друга, который дал ему выстрелить из ружья, и в минуту этого высшего напряжения сил понял, зачем родился на свет.

Он недоверчиво погладил холодный металл, мягко повернул и дернул на себя затвор. Черное нутро медной гильзы издавало пряную вонь сгоревшего пороха. Запах этот вскружил ему голову, как запах первого снега, как заячий след в заснеженной меже обледенелого пегого поля, на окраине которого, в сухой траве, пересыпанной колючим снегом, на

опушке прорубленного, пнистого подлеска Сережа впервые в жизни выстрелил из настоящего ружья...

— Попал!— закричал он, смеясь от радости и веселя своим восторгом друга, который, приехав в Москву с Печоры, знавал уже утиные охоты.— Видишь! Вот она, валяется! Ага!! Вот!

Самодельные дробины оставили вмятины на жестянке. Только одна из них пробила банку насквозь. Пыжи из газетной бумаги, забитые и сплюсненные навойником, не сумели сообщить дробовому снаряду нужного ускорения. Дробина, осилив одну лишь стенку, так и осталась лежать на донышке. Сережа, алчно разглядывая рваную дыру, увидел в темном чреве банки свежесрезанный блеск свинца и с тем же, наверное, трепетом, с каким нырлящик извлекает крупную жемчужину из раковины, извлек смятую дробинку.

— Насквозь!— закричал он.— Во сила! Смотри! Светится дырочка! Ого-го!— кричал он, не зная еще, как слаб и бессилён был позеленевший патрон, снаряженный неумелой рукой друга. Плохи были и ружье, и рубленая дробь, и газетные пыжи... и лишь сам выстрел был для него чудом, а живой толчок отдачи как будто подтолкнул его, бесцельно бредущего по жизни, направил, разбудил дремавшую в нём страсть к охоте, и он целиком отдался ей, все свои планы и мечты сопрягая только с охотой. Даже книги теперь он читал только те, в которых писалось об охоте. Читал и перечитывал Пржевальского, упиваясь рассказами о баснословных охотах в Уссурийском крае, зачитывался Аксаковым, вчитывался в краткие строчки мудрого Пришвина, вычитывал у Брема все, что касалось охотничьих птиц и зверей, перемежая чтение мечтательными картинками своих будущих охот, которые заманчиво грезились ему, дразня воображение.

Был он бледен и худ, этот взрослый мальчик, мечтавший в сорок пятом голодном, послевоенном году о собственном ружье и об охоте на кряковых уток, вкуса которых он отродясь не знал, хотя и слышал, что, жаренные, они очень вкусны. Он легко представлял себе удачную охоту на зайцев, в грезах видя счастливую мать, которой принес бы он двух или трех тяжелых русаков, огромное это богатство, или пять больших и тоже очень вкусных тетеревов, мяса которых ни он, ни его братья, ни мать никогда еще в жизни не пробовали. Мало ли чего еще можно было добыть на охоте?

Рябчики и кулики, дрозды и лесные голуби — всё это

бегущее, летающее, ныряющее и скачущее племя дикарей казалось Сереже Куликову единственной в жизни достойной целью, на которую нужно было направить все свое внимание, чтобы как следует изучить повадки сторожких птиц и зверей. Для того только изучить, чтобы легче добыть их на мясо, которого так недоставало всем им, живущим из последних сил на зарплату матери. Даже на самое необходимое не хватало тех денег, какие она зарабатывала на фабрике, возвращаясь в опустевший дом с отчаянием прожитой жизни, очень старого, несчастного человека, изломанного горем, хотя ей в ту пору было всего лишь тридцать четыре года.

Ах, как хотел полуголодный с серыми тенями под глазами мальчик накормить мясом двух младших братьев и бедную мать, чтобы увидеть радость и маслянистую сытость в провалившихся их глазах! К этой цели он не знал пути короче, чем ружейная охота!

В тринадцать лет он уже мог свободно рассуждать с охотниками о знаменитых угодьях и оружейных фирмах, мог вступить в разговор об охоте, никогда, впрочем, не выставляя себя бывалым, а лишь спрашивая, лишь накапливая знания о разных охотах, чтобы как можно быстрее освоить в будущем это чудесное дело, казавшееся ему несбыточным.

Он хорошо рисовал и без труда поступил к тому времени в художественно-промышленное училище, получил бесплатно черную, похожую на военно-морскую, шинель, с бортов которой он, как и все его новые друзья, спорол пуговицы с эмблемой трудовых резервов, заменив их двумя рядами золотых пуговиц с тусклыми якорями.

Но самое главное — он теперь получал ежемесячно карточки на завтрак, обед и ужин.

В столовой, в которой кормились шумные, изначально гениальные соученики, мечтающие о славе Репина или Антокольского, думающие о будущей своей профессии лепщиков, альфрейщиков, чеканщиков, краснодеревщиков как о чем-то временном и малозначительном, в обеденный час он съедал за один присест и завтрак, и обед, и ужин, талончики на которые отбирала официантка.

Сережа Куликов бывал теперь сытым каждый день, получая к тому же еще семьсот граммов черного хлеба... О белом люди забыли, как будто пшеничная мука и та стала при выпечке давать хлеб темного цвета. Черный хлеб с очень черной, глянцевой коркой был тяжел и плотен, но

был самым вкусным хлебом, какой когда-либо потом едал в своей жизни Сергей Куликов. Это был хлеб! К нему тянулись жадные и бережные взгляды изголодавшихся людей. Его тепло и сытый, исцеляющий запах делали человека увереннее в себе, придавая ему не только физические, но и духовные силы. Позже, когда появились коммерческие магазины, торгующие хлебом без карточек, хотя и по повышенной цене, Сережа чуть ли не целый день простоял в толпе счастливых людей, записав номер очереди химическим карандашом на ладошке, зато принес домой три буханки хлеба, которым в тот вечер наелись досыта братья и мать, наслаждаясь жеванием хлеба, хлеба, хлеба. Его было так много, что даже не верилось, что это хлеб. Это было пиршество, никогда потом в жизни не повторившееся, хотя были потом действительно пиршественные столы со всевозможными яствами, о которых тогда и подумать никто не смел — не хватило бы фантазии...

Но это было потом. А в начале сорок седьмого, когда Сереже должно было исполниться шестнадцать лет, которых он ждал как освобождения от бесправного детства, ждал, чтобы с паспортом в руках прийти в общество охотников и получить билет, — в начале сорок седьмого, учась на втором курсе, он голодал уже третий месяц, продавая через день талоны в столовую, копя таким образом деньги на вожеленное ружье, снившееся ему по ночам... Денег было уже достаточно, чтобы купить одноствольное ружье, но они плыли из рук, истраченные на коммерческое мороженое. Эскимо в шоколаде стоило двадцать пять рублей, а без шоколада — десять. Сережа, гуляя в парке с девушкой, позволял себе этот безумный шик — эскимо в шоколаде, которым он угощал такую же полуголодную, истосковавшуюся по сытной и радостной жизни девушку. Она брала ледяное эскимо, делая вид, что это лакомство привычно ей и ничего не стоит, но по задумчивости, которая туманила лицо девушки, Сережа понимал, что мороженое она ест впервые после довоенных лет... «А сам ты не хочешь?» — спрашивала она, спохватываясь. «Нет, — отвечал с небрежностью в голосе Сережа. — Я терпеть не могу сладкое». «Не понимаю! — восклицала девушка. — А я так люблю сладкое...»

В то прекрасное время, когда его шатало от голода, когда темный обморок, приключившийся с ним, напугал его старшего друга, талантливого рисовальщика и заядлого охотника, знакомого с самим Мантейфелем, который пригласил его в экспедицию по Средней Азии, где он, Саша Фе-

доров, рисовал всяких гадов, совершенствуясь в искусстве анималиста,— в прекрасное это время он зашел однажды в охотничий магазин, который был открыт тогда на углу Кузнецкого моста и Неглинной, где теперь помещается продовольственный, и засмотрелся на блистающие ряды репарационных немецких ружей, не смея мечтать ни об одном из них.

— Что, молодой человек,— услышал он голос за ухом,— любуемся? А вот купите у меня ружейный погон. Хороший! Видите, ремень кожаный, нашитый на зеленую тесьму. А это видите? Пряжки металлические обшиты кожей, чтоб не поцарапать ружье. Это старинный погон, вы никогда не купите такого. Купите... не пожалеете.

— У меня ружья еще нет,— признался Сережа, любуясь погонным ремнем.

— А деньги?— с сожалением спросил голос.

— Что деньги! Билета охотничьего нет, потому что паспорта нет.— Сережа доверчиво посмотрел в лицо толстого, отечного горбуна, который держал в дрожащих, разбухших от водянки пальцах этот потертый погон, стоимость которого равнялась стоимости бутылки белоголовой водки.— Да денег-то всего!..— воскликнул Сережа, смущенно разглядывая ружейный погон невиданной красоты и прочности, который мог бы украсить любое ружье.— Денег-то у меня на одностволку,— сказал он, боясь, что горбун принимает его за настоящего покупателя.

— А что ж! Это тоже ружье! В ваши-то годы...— Он лукаво взглянул исподлобья, вывернув коричневые белки отечных глаз, в которых скользнула улыбка доброго человека.— Если хотите, мы можем договориться. Я запишу ружье в свой билет, а вы... Что мне нужно! Вы мне кинете десять процентов от стоимости. И делу конец. Что мне нужно! Вот продаю, что осталось... На этом погоне я носил «Лебо», вот об это плечо потерлась тесьма. А теперь — что мне нужно?! Прошла пора весны. Все продал, все бросил в кучу пепла. Только и остался от костра моей жизни... этот пепел... Вот так, молодой человек. Если хотите, не мешкайте... Я могу вас здесь подождать.— Горбун повернулся к нему спиной, туго стянутой защитного цвета солдатским бушлатом, и пошел к дверям магазина, неся на руке погонный ремень. Но остановился и добавил: — Я не шучу, молодой человек, я буду вас ждать. Торопитесь. Возьмите, в залог этот погон... Я вижу, что вы не обманете и вернетесь хотя бы для того, чтобы вернуть мне эту вещицу. Возьмите,

возьмите... Если у вас останутся деньги, я уступлю. Вам же не обойтись без погона! Это и ребенок понимает... Возьмите, иначе я не ручаюсь, что я дождусь вас. А мне вам хочется помочь...

Сережа Куликов никогда так не спешил, как в этот морозный, туманно-солнечный день января. Он вернулся в охотничий магазин весь мокрый от пота, из-под цигейковой шапки на горячее лицо сползали соленые капли... Белый шелковый шарфик выбился из-под черного ворота шинели, и Сережа никак не мог его заправить. Крутоспинного, согбенного застарелой болезнью старика нигде не было видно. Маслянисто шелкали затворы дорогих ружей. Сережа с отчаяньем смотрел на длинные «ижевки» с березовыми, ярко-желтыми лакированными ложами, которые жались в сторонке, в крайней секции стеклянной витрины, как бы смущаясь соседства с ореховыми, шоколадно отполированными, хищно вытянутыми двустволками, с этими знаменитыми «Зауэрами» и «Мефертами», бокфлинтами фирмы «Меркель» или «Зимсонами», блистающими воронением и перламутровой победальностью, разлитой на казенниках. Но ни одно из этих немецких ружей не привлекало к себе внимания Сережи Куликова: он влюбленно смотрел на прогонистые стволы «ижевок», ровно выстроившихся за стеклом, — такие близкие и такие далекие... Он все еще находился под властью первого своего выстрела из одноствольного ружья и не видел ничего привлекательного в двустволках, которые казались ему даже не настоящим оружием, а как бы игрушечным. Другое дело одностволки! Тяжелые, грубые, как армейские винтовки, надежные и дальнобойные стальные звери, способные исторгнуть из своей пасти смертоносный снаряд дроби или картечи, — он был влюблен в их примитивную красоту, в березовые их ложа, удобные цевья, в хищно прижатое ухо курка, торчащего над стволом. Он слышал шелк взводимого тугого курка и готов был расплакаться от обиды, не видя среди толпящихся охотников доброго своего горбуна в бушлате и солдатской ушанке.

Но вдруг голова его с багрово-красными щеками, в заиндевелевшей шапке, бодливо просунулась в дверь магазина, коричневые белки мутно оглядели залу и блеснули, наткнувшись на Сережу, который радостно кинулся навстречу и доверился доброму своему гению, отдав и деньги, и ружейный погон, рассчитав все так, как велел ему старик: десять процентов и плюс стоимость бутылки водки за погон. Старик достал из-за пазухи потрепанный охотничий билет, трясу-

шимися пальцами раскрыл красненькую книжицу, предел мечтаний Сережи Куликова, и протиснулся к стеклянному прилавку.

Сережа со страхом наблюдал за ним, покусывая губы от волнения. Он не боялся за деньги, которые скопил с таким трудом, продавая обеденные талоны и хлеб на барно-шумной, старой Домниковской улице, у входа в столовую, — он боялся, что продавец, любовно ласкающий масляной тряпочкой иссиня-черные стволы дорогих ружей, которые возвращали ему покупатели, выбирающие себе единственное, прикладистое, с добротным витым орехом ружье, — что этот суровый и строгий продавец фыркнет прерительно и прогонит от прилавка сгорбленного, толстого старика, отмахнется от него и с привычной деловитостью займется с солидными покупателями, понимающими толк в оружии.

И он не поверил своим ушам, когда старик, страдая от одышки, сказал вдруг громко и сердито-требовательно:

— Степаныч! Ты что же это меня-то не замечаешь? Стою тут стою, а ты ноль внимания.

Продавец улыбнулся, склонился над ним, кивая головой и выслушивая старого своего знакомого, а потом торопливо пошел к крайней секции, где стояли «ижевки», и так же осторожно, как дорогое ружье, достал одну из них — самую лучшую, самую драгоценную, самую что ни на есть подходящую Сереже одностволку с медово-желтым ложем и плоскими черными щечками замка. С привычной сноровкой переломил ее, осмотрел на свет сверловку ствола, вложил пустую гильзу с пружинным капсюлем, захлопнул, отвел курок и, нажав на спусковой крючок, щелкнул. «Порядок! — сказал кто-то из покупателей. — Сто лет будет служить. Бой у них зверский...»

— А что! — сказал невозмутимый продавец, отсоединяя цевье. — Хоть и чума на вид, а бой действительно сильный. Берешь, Александр Ларионович? Ну так я заворачиваю, а ты иди в кассу... Билетик оставь.

Сережа с затаенным дыханием смотрел, как этот добрейший Александр Ларионович, трясаясь, отсчитывает большие листья казначейской бумаги, как берет он маленький чек и, набычившись, идет обратно к прилавку.

Завернутое в плотную серую бумагу, перевязанное бечевкой, тяжелое ружье, которое Сережа принял в руки, как драгоценный подарок, так возбудило его, так он был счастлив, держа его в руках, что и слова не мог вымолвить пут-

ного, а только говорил старику: «Спасибо большое... спасибо большое...»

А старик улыбался, пучась на него коричневым глазом и тяжело ступая по жидкой грязице на плиточном полу, вышел вместе с Сережей на улицу, придержал его за рукав легкой шинельки.

— Не холодно в такой-то мороз?— спросил, как у внука, которого осчастливил подарком.

Сережа только засмеялся в ответ.

Стояли они напротив картографического магазина, над перекрестьем двух старинных улиц — Кузнецкого моста и Неглинной. По-зимнему звонко раздавались шаги торопливых прохожих под стенами домов, изукрашенных лепкой; иней обметал провода над улицей, и они висели, как бельевые веревки над мостовой... Сереже не терпелось убежать от доброго горбуна, чтобы скорей очутиться дома, развернуть и собрать ружье, которое он видел лишь издалека.

— Вы с ним поосторожнее, молодой человек,— сказал Александр Ларионович.— Не забывайте — это оружие. А номерок — в моем билете. Случись что, меня к ответу потянут. Ну да я уверен в вас! И вот что еще хочу сказать! Не гонитесь вы за дорогими ружьями. Уж каких только ружей не бывало у меня! И «Лебо», и «Франкотт», и «Льеж»... Ах ты, господи! А пока не завел себе хорошую собачку, был стрелком, а не охотником. Пух-пух! Когда собака хорошо работает, вы и с таким вот ружьишком с добычей будете, с великой радостью. Вот я и хочу сказать: вы еще не охотник, а стрелок. Конечно, не все сразу, приобретете когда-нибудь и ружьишко двуствольное, и собачку, а пока гуляйте с богом по белой и черной тропке, по болотам, по лесам. Как же я вам завидую! Ах ты, господи! Прошла моя пора... всё продал, ружья... вот и погон продал, ничего не осталось... Два года тому собака моя околела от старости. Шоколадно-пегая сука, но не континенталь, а поинтеришка с черным глазом, смышленная, легкая, как струнка, я еще с ней лет пять тому, как охотился по выводкам. Таких подавала мне петушков, Рона моя золотая... Ступайте, молодой человек, и не поминайте лихом, не обижайтесь на меня — дело житейское. Не дай бог вам такой старости! Прощайте.

И Сережа рванулся от него, как бегун от старта.

Часами он мог любоваться новым своим, еще не пристрелянным ружьем, по нескольку раз на день снимая со стены, любуясь погоном, и, вскидывая, ловил на мушку какой-нибудь фарфоровый ролик на потолке старой комнаты с по-

черневшими от времени кручеными проводами, протянутыми по стенам и потолку; вел стволом за воображаемой уткой, летящей под высоким дымчато-серым потолком, и, нажимая на спуск, издавал губами стреляющий звук: «пах!» Слева направо, справа налево, встречную и угонную, взлетающую и идущую на посадку: «пах!» С терпением заправского зубрилы штудировал он книжечку, в которой подробно рассказывалось об охотничьем оружии, о снаряжении патронов, о пристрелке ружья, об искусстве стрельбы на скидку и с поводкой, об упреждении, какое нужно давать летящему чирку или крякве...

Ружье, висевшее не стене, постепенно зрело для первого выстрела, для первого злобного плевка смертоносной дробью, направленного в живую цель. Так же, исподволь, созревал и Сережа Куликов, готовясь к первой своей охоте, которая, как он предполагал, должна была начаться весной, с прилетом птицы. Он всё рассчитал! Двадцатого февраля сорок седьмого года ему будет шестнадцать, через неделю после этого он получит паспорт и тут же вступит в общество охотников, благо вступить в это общество не составит никакого труда: заявление, вступительный взнос, госпошлина, две фотографии... Что там еще? Нужна ли рекомендация? Это надо узнать у Саши Федорова, который второй уже год как член охотничьего общества.

Все в жизни Сережи складывалось в том году счастливо; он ждал февраля, ждал весну, которая набухнет, провиснет талыми снегами речных долин, зашумит мутной водой, над которой пролетит первая чайка, первый чибис, первый селезень, освещаемый утренним солнцем. Под рыхлым, тающим снегом, через который пойдет он напролом к бегущей воде, оставляя за собой дыры следов в крупенистом снегу... А что будет дальше? Подойдет к воде, проваливаясь в снегу... Нет! Под рыхлым снегом нога почувствует землю!.. Ах, как соскучился он по земле, по ее прочной надежности, по озимой траве, залитой чистой водой половодья, по теплу весеннего солнца и запаху согретых елей, по вечнозеленой бруснике, глянцевающей в солнечных лучах...

Он плохо спал, страдал от этих зримых картин, звуков и запахов раскрывшейся весны — первой весны в его жизни, когда он придет в ее теплый мир охотником, включившись в неумолимый ход ее законов, в игру жизни со смертью, где он будет вершить свой неправый суд, силой оружия захватив власть над всем сущим под туманно-голубым небом, царствуя и упиваясь пьянящей властью.

Какая жалость! О чем это вы?! Только верный выстрел, только добыча, только восторг при мысли о невидимом острие летящей к цели дробины, которая сумеет порвать живые ткани птицы и сломать ей кости, чтобы она упала бездыханной на землю. Только это! Лишь бы не упустить налетевшего вальдшнепа! Не промахнуться, целя в токующего на лесной поляне тетерева, к которому с таким трудом подошел на верный выстрел! Только бы свалить зазевавшегося селезня, свечой взлетающего из затопленных кустов. Только бы насладиться рыхлым пером и пухом теплой еще птицы, на жареное мясо которой набросятся голодные братья, выжимая жадностью своей слезы из глаз страдающей матери.

Какая уж там жалость!

— Хочешь пострелять?— спросил однажды долговязый Федоров, сияя розовыми прыщами и медвежьими-загадочными глазками.— Тебе надо потренироваться, привыкнуть к ружью... А это, то-сё, как раз что нужно...

И он стал объяснять с азартом увлекающегося человека, куда и зачем надо ехать. То была новая территория московского зоопарка, закрытая еще со времен войны для посетителей. В вольерах бродили медведи и тигры, в клетках и загонках жили, как прежде, звери, птицы и копытные, их кормили мясом, зерном и сеном. Прокорм их стоил довольно дорого. Притом какой-нибудь бурый или белый мишка, живущий в открытой вольере, не сразу набрасывался на кусок мяса, который получал на обед, а мог спокойно проспать обеденный час, решив расправиться с мясом попозже. Серые вороны и галки тем временем не терялись и оставляли медведю одну лишь общипанную кость. Эти пиратские налеты бесили работников зоопарка, на глазах у которых вороны драли драгоценное мясо, обрекая хищников на голод. Саша Федоров, завсегдатай зоопарка, где он пропадал с бумагой и карандашами, имея честь быть на короткой ноге даже с самим Мантейфелем, предложил свои услуги, и, как он уверял Сережу Куликова, сам профессор дал ему разрешение на отстрел ворон и галок, которые стали бичом для зоопарка. Он уже ходил стрелять, но одному скучно.

Все это он рассказал с такой страстной убежденностью, что Сережа сразу согласился, услышав тем более, что жареные вороны, а особенно галки очень вкусные, а кто не знает вкуса дичи, ни за что не отличит воронятину от какого-нибудь глухаринного мяса: такое же темное и жесткое.

В воскресенье на рассвете они встретились на площади Восстания. Десятиградусный морозец веселил и без того

исцелых и возбужденных ребят, в резиновых сапогах и в старых телогрейках, с вещевыми мешками за спинами шагающих под горку в сторону Большой Грузинской улицы...

В то время плохо было с порохом, и в продаже появился мощный, но опасный пистолетный, обладающий способностью иногда детонировать без видимых причин, рвать ружейные стволы и руки... Снаряжение патронов требовало особого внимания. Ни в коем случае нельзя было туго досылать пороховой пыж, нельзя было туго закручивать папковую гильзу, чтобы не стронуть с места этот пыж, нависающий над пороховым зарядом, над зеленовато-острыми цилиндриками толщиной с конский волос, которые после снаряжения патрона должны были прослушиваться, если потрясти гильзу, чуть заметным шорохом, какой издают семена мака в сухой коробочке.

Для Сережи Куликова, который никогда в жизни не снаряжал патронов, это стало серьезным испытанием.

Не было в продаже и пыжей, которые он нарубил медной гильзой двадцатого калибра из старого валенка, обмазав их потом горячим стеарином.

Не было и дробы, которую пришлось рубить из свинцовых полос, а потом раскатывать на большой чугунной сковороде сковородкой поменьше, стараясь кое-как замять острые углы.

Но все эти заботы остались позади. Тяжелые патроны оттягивали карманы — первые в жизни патроны, снаряженные Сережей. Он чуть ли не целую неделю провозился с ними, снарядив ровно пятнадцать штук.

Он еще не успел купить чехол для ружья — не было денег, — и оно, разобранный и завернутое в тряпку, торчало стволом вверх из вещевого мешка. У Саши Федорова был потертый брезентовый чехол, как у настоящего охотника.

— Кому сказать, не поверят! — говорил, смеясь, Сережа. — На охоту в зоопарк! Умора!

— На тигров! На львов! На медведей, то-сё, — говорил ему длинноногий друг. Лицо его на морозе казалось фиолетовым, глазки хищно щурились. — А что! Мы с матерью ели ворон и облизывались. А галки — те вообще объеденье. Каждую косточку обсосали. Жрать-то надо чего-то. У тебя вон братья, им, то-сё, расти надо, а для роста мясо необходимо. Вот и давай... Ты, главное, не торопись. Они там непуганые, налетают на верный выстрел... Будь спок! Настреляем. Бабушка пришла в гости, а мы как раз едим с матерью ворон. Я их четыре штуки приволок и двух

галок. Ой, чтой-то, говорит, как вкусно пахнет? А мать ей, то-сё, и скажи, что это, мол, Сашка уточек диких настролял... Бабушка, то-сё, ест и нахваливает, ест и нахваливает... Нет чтобы подумать, откуда зимой утки... Мать зря ей сказала потом, что это вороны были... Плевалась! Она у нас верующая. Ругала нас с матерью, погаными называла, а мы смеялись: ела, главное, и нахваливала, а когда сказали, плевать стала. Вот что значит предубеждение. Жизнь так устроена. Я беличье мясо ел — во! — говорил Саша Федоров с таким возбуждением, будто спорил с кем-то, доказывая свою правоту. — Жрать-то чего-то надо! Верно?

— Конечно, — соглашался с ним Сережа. — Предрассудки все это. Только бы не погнали нас оттуда. Честно! Есть разрешение или нет?

— Есть, тебе говорят! Что же я, дурак, что ль, стрелять в зоопарке? Сам подумай.

Сережа Куликов совсем успокоился, когда сторож в проходной будке узнал Сашку Федорова и с добрым сердцем пропустил как хорошего приятеля, пожелав ни пуха ни пера... Пропустил он и Сережу, добродушно оглядев его, бледно-зеленого, которого даже морозец не сумел подрумянить.

Но не только хужоба и истощение были тому причиной. Жестокий нервный озноб бил его, и справиться с ним Сережа никак не мог. Первый раз в жизни шел он на охоту с собственным ружьем, первый раз в жизни предстояло ему стрелять в живую птицу, стрелять, чтобы убить и съесть... Несовместимость понятий: охота и зоопарк, сомнения в праве на эту стрельбу мучили его и пугали, будто он делал что-то нехорошее, хотя страсть к стрельбе была сильнее этих сомнений и страхов. И когда он, уходя все дальше от звенящих трамваев к каменным вольерам, которые он помнил с детства, увидел лежащего на снегу бурого медведя, увидел сизые сугробы и запустение, увидел закуржавленные сиреневым инеем старые деревья, сивыми дымами вознесшиеся в золотисто-туманное, утреннее небо, подсвеченное солнцем, он успокоился и по-настоящему развеселился, услышав колкие вскрики галок и карканье ворон. Пошептывая крыльями, вороны пролетали над деревьями, садились на ветви, с которых осыпался иней. Пепельно-светлые, большие, с черными крыльями и головами, они показались Сереже упоительно красивыми, невиданными птицами.

Он торопился. Озябшими пальцами развязывал веревку, которой было закручено ружье. Потом никак не мог вставить

ствол в казенник, чертыхаясь и злясь на себя, тем более что Сашка был уже готов к стрельбе и вскоре выстрелил, свалив в сугроб ворону, крыло которой черным парусом возникло вдруг над сверкающим розовым снегом.

— Одну уgomонил!— крикнул Сашка, проваливаясь в сугробе.— Здоровая!— голос его срывался от возбуждения, выстрел был красивый: ворона падала черным комом, испустив дух еще при падении, и Саша был доволен.

«Как хорошо он стреляет!— думал с завистью Сережа.— С первого выстрела! Вот бы мне-то так!»

Он уже вложил гильзу в патронник, изготовился к стрельбе и, когда над ним, часто махая крыльями, радостно и звонко вскрикивая, пролетели две торопливые галочки, не целясь, выстрелил и, не услышав звука выстрела, понял, что промахнулся.

— Не торопись!— крикнул ему Саша.— Ворона идет... слева.

Но Сережа не успел перезарядить ружье и пропустил неторопливую ворону, пролетевшую с хозяйской серьезностью над его головой. А потом долго ждал, чтобы опять промахнуться, на этот раз по вороне, пролетевшей так низко и так спокойно, что он был уверен, что не промажет.

Черные, они появлялись на фоне заиндевелых, пушистых деревьев, озаренных поднявшимся солнцем. Сережа внимательно целился, вел стволом, как полагалось, но резкий, сухой выстрел толкал в плечо, а ворона медленно, как ни в чем не бывало, летела дальше. Одна из них даже сбросила помет на лету, который тяжелой каплей упал в снег.

— Черт возьми!— вскричал Сережа, промахнувшись в очередной раз.— Что же я никак!

— Не торопись! Все идет своим чередом,— откликнулся Саша, убивший уже две вороны и одну галку.

Вороны — птицы умные и хорошо организованные: они уже знали об опасности, которая подстерегала их возле вольеры бурого медведя, валявшегося ободранной шкурой на обледенелом, утрамбованном снегу своей площадки. И хоть рядом с его треугольной башкой лежал промерзший розовый кусочек вчерашнего мяса с торчащей желтой костью, ни одна из ворон уже не осмеливалась пролететь мимо серебряных деревьев, под которыми стоял человек, стреляющий в них из ружья. Они расселись по дальним деревьям, дожидаясь, когда уйдут эти странные люди, которых они отродясь не видели на своей территории, привыкнув к полной своей безопасности рядом с человеком и зверьем, понимая,

наверное, по-своему, что им изрядно повезло по сравнению с другими воронами, живущими в городе. Они, может быть, даже судачили между собой в часы досуга, насытившись мясом или распаренной сахарной свеклой, о тех горемыках, которые обитали в московских двориках, промышляя на помойках, где, кроме тонких картофельных очисток, ничем нельзя было им поживиться, и, может быть, даже по-своему жалели их или злорадно посмеивались, издавая хриплые звуки самодовольства и сытости. Каждая ворона знала всех других ворон, живущих в зверинце, не допуская чужих, которые, впрочем, и не залетали сюда, исполняя законы предков.

И вдруг эта страшная напасть — люди с ружьями! Особенно один из них был страшен, унеся уже не одну жизнь покоя века живущих здесь, на своей территории, птиц. Умные вороны, может быть, даже чувствовали себя так, будто неведомое племя диких кочевников вторглось в их страну, или, быть может, понимали этих двух людей, убивающих их братьев и сестер, взбесившимися вырожденками человеческого племени, потому что каждая из ворон, не один год живущая на земле, никогда ничего плохого не могла бы сказать о людях, не мешавших им жить по закону предков. И лишь эти двое, внешне похожие на всех остальных людей, вели себя ужасно и непонятно.

В вороньем царстве наступила траурная тишина. Утихли и галки. Лишь изредка тонкий голосок одной из них раскалывал тишину, лишь изредка в стороне пролетала торопливо и высоко одинокая ворона, зная о смертельной опасности, которая подстерегала ее возле медвежьей вольеры. Основная их масса переместилась и расселась на деревьях возле серого купола планетария. Но и там они безмолвствовали, пережидая тревожное время. Оттуда доносились гудки автомобилей, шум Садового кольца, который долетал сюда, в заснеженное безлюдье, где жили звери, шумом другой жизни, отдаленной в сознании озябшего Сережи, как будто ту жизнь передавали сюда по радио, а он слушал ее, не умея выключить радиоприемник, и чертыхался, потому что она мешала ему быть на охоте.

Он так обвыкся с безлюдьем и тишиной, что хруст шагов по мерзлому снегу и черная фигурка женщины, появившейся вдруг из-за гранитного парапета вольеры, насторожили и испугали его, как зверя.

Женщина в большой, не по плечу, телогрейке защитного цвета остановилась в нерешительности, увидев Сережу с

ружьем, но все-таки решилась и медленно пошла к нему, издали сказав певучим голосом девушки:

— А я думала, это Саша Федоров. Мне на проходной сказали, что Саша пришел.

— Сашк!— истошно заорал Сережа.— Тебя тут спрашивают.

Саша вынырнул из-за стволов деревьев, где он таился, и, сутулясь, пошел, как голенастый лось, через снежные заносы, растекаясь в улыбке.

— Здорóво!— крикнул он, поднимая на воздух убитых ворон, которых держал за черные лапы, отчего они, разбросавши крылья, казались больше, чем были на самом деле.— Здравствуй,— повторил он, склоняясь над маленькой женщиной, утонувшей в валенках и телогрейке.

— Сашк!— воскликнула женщина, как галка.— А ты свое обещание-то помнишь? Забыл небось! Эх ты!

— Почему забыл! Не забыл. А где их взять-то? Я их не видел.

— Да они там,— женщина махнула рукавом телогрейки в сторону насыпной горы за сетчатой оградой.— Где овес, там и они... Чего им тут делать! А это твой товарищ, что ль? Иду, думаю, господи, кто же это такой?

— Помощник,— ответил Сашка и опять поднял взъерошенных ворон.— Во, набил! Сколько мяса каждая сожрала бы? Помощник мой, правда, чего-то это... то-сё... Ничего!— сказал он, бросая ворон под ноги, и Сережа услышал глухой стук их голов об мерзлый снег. Сизые пленки уже затянули мертвенно поблескивающие глаза.— Ничего!— повторил Сашка, похлопывая по плечу своего младшего друга.— Мы сейчас с ним за воробьями двинем. Будь, Маруся, спок! Набьем твоим соболям и куницам деликатесов!

— Не-е,— нытьем откликнулся промерзший насквозь Сережа.— Не-е... Я не пойду! Я еще ни одной, а ты вон сколько!

Вечернее пиршество, о котором мечтал он, представляя себе запах жареного мяса, похожего, как уверял его Саша, на глухаринное, превратилось в какую-то очень обидную ошибку, словно его кто-то жестоко разыграл, а он, дурак, поверил...

— Зачем мне воробьи? Я их из рогатки... у себя во дворе... А это... Не-е, я не пойду.

— Не тебе!— гаркнул Саша, разглядывая Сережу, который, как ребенок, чуть ли не плакал от обиды.— Мелким хищникам воробьи, а не тебе. При чем тут ты!

И оба они, Сашка и Маруся, засмеялись, даже не представляя себе, какая тоска легла на сердце Сереже, думавшего о голодных, оборванных братьях, которых он обманул, пообещав им сытный ужин! Он так долго снаряжал патроны, так старался, а теперь вот стоял промерзший, не чуя ног в резиновых, с наклеенными заплатами, сапогах, и с обидой думал о себе, о братьях, об измученной матери...

— Я должен, понимаешь!— сказал он с дрожью в плачущем голосе.— Хотя бы одну ворону...

И свершилось тут чудо! Неосторожная птица, летевшая из-за каменной горы вольеры, вдруг спланировала на растопыренных крыльях и, каркнув, села на дерево, на качнущуюся ветвь, с которой посыпался иней.

Сережа, как скованный, поднял ружье, вставил приклад в плечо, прицелился и нажал на спуск. Ворона замахала крыльями, но не полетела, а вцепившись лапой в ветвь и продолжая махать крыльями, повисла вниз головой, но стала вдруг медленно падать, стучаясь о ветви и ствол иглистой шеей. На нижней ветви она застряла в развилке и притихла, шевеля черными когтистыми лапами... До нее было так высоко, а ствол старой липы был так гладок и толст, что Сережа, задохнувшийся от радости и побежавший было к дереву, остановился, пораженный этой явной несправедливостью, насмешкой, издевательством и ехидством мертвой вороны, которая не хотела падать дальше, в снег.

— Эй!— крикнул он то ли Сашке, то ли вороне.— А как же теперь? А?!

— Щас!— откликнулся Сашка.— Мы ее снежками или, лучше, ледышками собьем! Щас! Куда она денется!

Ах, какой хороший этот Сашка! Какой прекрасный стрелок! Настоящий охотник! Именно ледышками! Как же он сам-то не догадался сразу?!

И они стали кидать комья смерзшегося снега, целясь в ворону. Саша наконец попал в нее, она вздрогнула и черной мохнатой шапкой мягко упала в снег, взглянув на Сережу сердитым мертвым глазом, когда он поднял ее за крыло, почуяв запах черного пороха, исходивший от рыхлого пера и теплого еще тельца, просвечивающего сквозь перо иссиня-белесой, пупырчатой кожицей.

— Ого-го!— крикнул Сережа, шмыгая носом.— А я уж думал, ружье виновато или патроны. Не-ет! Это я, мазила, виноват.

Радости его не было предела, когда он клал эту первую

свою добычу в вещевой мешок, аккуратно сложив шуршащие черные крылья, чтобы не помять.

Маруся ушла. Сашка звал стрелять по воробьям. Сережа спросил:

— Да зачем они нужны?

— Как зачем! Как зачем?!— отвечал ему Сашка, сердито и криливо.— Маруся за мелкими хищниками ухаживает. Мясом их кормит. Куниц, соболей... Им мясо нужно, понимаешь? А если мы набьем воробьев, Маруся покормит зверей воробьями, а мясо возьмет себе. Не понимаешь? Воробьи для мелких хищников — лакомство. Ну? А мясо им все равно полагается. Она воробьями покормит, а мясо домой унесет. Я обещал. Отношений я портить не хочу — нас не гонят, а наоборот, потому что мы государственное добро бережем. Да что я тебе, как маленькому, объясняю?! Сам должен понимать, то-сё. А мы еще придем сюда. Будь спок! Они нас сами звать будут.

— Я понимаю, Сашк! Только мне бы еще одну птицу! У меня еще восемь патронов осталось. Давай подождем.

— Ладно. Только не уходи никуда, тебя тут никто не знает, стой, пока не приду,— сказал Саша и пошел в сторону каменной горки, где за сеткой паслись горные козлы с крутыми, тяжелыми рогами. Вскоре там раздался негромкий хлопок выстрела, и тут же крикливая галочка вылетела оттуда и села на дерево, до которого было метров сто, не меньше.

Головастенякая, ладная, она звонко покрикивала, словно бы дразнила Сережу, а когда он крадучись пошел к ней, прячась за стволами деревьев и держа ружье наизготовке, умолкла, прыгнула с ветки на ветку, сорвалась и перелетела на дерево, стоящее еще дальше!

Забыв обо всем, Сережа пошел за ней и совсем было приблизился на выстрел, но она опять сорвалась и пересела на другое дерево. Преследование так увлекло Сережу, что он только и видел одну эту галку, не замечая сугробов, через которые лез, не чувствуя снега, набившегося в голенища сапог, и понимал он себя охотником, скрадывающим дичь в глухом лесу.

Он даже и не заметил, как очутился за оградой зоопарка, выйдя каким-то непонятным образом на территорию планетария... Галке наконец надоело преследование, и она, слетев с макушки сияющего под солнцем заиндевелога дерева, с цокающим покрикиванием быстренько промчалась вверх и села на купол планетария. И в это время над Сережей,

тяжело махая крыльями, появилась большая ворона, которая летела, поворачивая голову то в одну, то в другую сторону, и не обратила на него никакого внимания.

Сереза приложился, поймал стволом летящую птицу, дал небольшое упреждение и, продолжая вести ружьем за полуугонной птицей, выстрелил, зная, что на этот раз не промахнулся... Ворона споткнулась и, кувыркаясь, свалилась в снег... Он побежал к ней, упал, увязнув в снегу, поднялся и снова побежал, не спуская глаз с вороны, будто она могла исчезнуть.

Она лежала на снегу, распростерши черные крылья и подвернув голову. Сереза алчно увидел на клюве темно-красную кровь, окрасившую снег. Капля за каплей кровь бежала из клюва, наворачываясь маленькой ягодкой и, когда он поднял птицу, быстро стала капать ему на сапоги. Птица была горячая и показалась Серезе очень большой и пушистой, чуть ли не с курицу величиной.

Сам он тоже был горячий. Пот выползал из-под шапки, собираясь каплей на кончике носа, спина была мокрой. Намокли и портянки: снег, набившийся в сапоги, успел растаять.

Но ничего этого не замечал Сереза. Он видел красные капли на снегу и, тяжело дыша, улыбался, жалея лишь о том, что Сашка не видел выстрела. Радость распирала ему грудь, и он готов был поцеловать ружье.

— Сашка!— закричал он вне себя от счастья.— Сашка!!

И вдруг с ужасом наткнулся взглядом на ограду... За оградой Садовое кольцо, он увидел калитку в этой ограде, а в проеме калитки молодого милиционера в шинели, подпоясанной ремнем с портупеей. Он тоже удивленно смотрел на Серезу и с какой-то хмурой полуулыбкой стал манить его к себе пальцем.

— Вы меня?— громко спросил Сереза.

— Тебя, тебя,— ответил милиционер. В голосе его звучало полное недоумение и даже растерянность, потому что впервые, наверное, на его глазах, за оградой Садового кольца, во дворе планетария, человек стрелял из ружья по вороне, как бы выйдя на охоту.

Сереза с поспешной послушностью, даже как будто с удовольствием, пошел к милиционеру, улыбаясь во все лицо, словно ему было приятно сознавать, что нашлись свидетели его красивого выстрела...

Мгновенный испуг, который он испытал, исчез. Он был уверен, что младший лейтенант сейчас все поймет, как только он расскажет ему, зачем он отстреливает ворон.

Застенчиво и широко улыбаясь, он сказал младшему лейтенанту:

— Я вас понимаю, конечно... Это действительно смешно... Но у нас есть разрешение.

— Что за разрешение?— с выразительной строгостью спросил младший лейтенант.

— На отстрел ворон... Они, понимаете... они у медведей... мясо жрут... Разрешение у моего товарища... Он по воробьям сейчас пошел...

— Куда пошел?

— Воробьев стреляет... для соболей и... этих... ну как их, — Сережа запнулся, потому что младший лейтенант, которого обступили люди, крепко вдруг ухватил ружье рукою, потянул на себя и резко выдернул его из Сережиных рук... Сережа оцепенел и жалостливым голосочком сказал: — У нас же разрешение... Ну, пойдете... Он ведь там... около козлов... там воробьи...

И вдруг услышал, как женщина с клеенчатой кошелкой шепотом сказала, обращаясь к людям, смотревшим на Сережу насупленно или удивленно, с улыбками.

— Это сумасшедший...

— Да нет!— воскликнул Сережа возмущенно.— Что вы тут... говорите! Мы ворон отстреливали, они у хищников мясо ели... В зоопарке. А сюда я случайно... Увлёкся и не заметил... Увлёкся просто. Скажете тоже!— И он неуверенно засмеялся, глядя на сурового младшего лейтенанта.— Я вас прошу. Пожалуйста! У моего товарища есть ведь разрешение...— Во рту у него пересохло от волнения, говорить было трудно, мысли путались, потому что он и сам понимал и младшего лейтенанта, и людей, разглядывающих его.— Я вас очень хорошо понимаю... Но, честное слово, я... прошу вас, пойдете, он там... А воробьи нужны Марусе... Она нас просила...

— Какой такой Марусе?— спросил младший лейтенант как бы между прочим, а сам переломил ружье и вынул стреляную гильзу, от которой донесся до Сережи кисленький запах пистолетного пороха.

— Я ее не знаю... Она Сашку попросила. Работает там... у зверей.

— Вот что,— сказал младший лейтенант,— ты о своем Сашке, о Марусе, о козлах, о воробьях каких-то в отделении расскажешь.

— Как это!— удивленно воскликнул Сережа, чувствуя себя совершенно обескураженным и очень глупым.— Обык-

новенные воробьи. Они... эти воробьи... они для соболей — лакомство и для этих...

— Вот и про лакомство... тоже расскажешь...

И он с брезгливостью взял Сережу за рукав телогрейки, в которой мать, работая истопницей, ходила когда-то на фабрику, взял двумя пальцами и потянул за собой... Люди расступились и молча пропустили их... Сережа понял, что дела его плохи и что ружье теперь, конечно, отберут, потому что он даже охотничьего билета не успел получить, и сказал дрожащим голосом:

— Что вы меня держите... Я и сам пойду.

Но младший лейтенант как будто не услышал его.

Сережа помнил лишь, как они пересекли улицу, а куда пошли дальше, никогда потом не мог вспомнить, будто шел с завязанными глазами.

За деревянным барьерчиком тесноватой комнаты сидел старый, как показалось Сереже, и очень усталого вида капитан с лицом солдата Великой Отечественной... Курил махорку, зажав в йодисто-коричневых пальцах сигарку, скрученную из газеты. Шурился от ядовитого дыма, смотрел сквозь этот дым на Сережу и никак не мог взять в толк, что же он делал с ружьем в зоопарке.

— А может, ты какого-нибудь фазана или лебедя убил... откуда я знаю,— говорил он раздумчивым, дребезжащим от прокуренных связок голосом.— Сколько тебе лет?

— Пятнад... нет... вот уже через... раз, два... через восемь дней будет шестнадцать.

— А ружье чье?

— Мое,— еле слышно ответил Сережа.

— Как же это? Я, парень, порядок знаю. Где ты его взял?

— Купил.

— Кто ж тебе продал?

— Я в магазине, на Кузнецком... Мне один старик предложил... записал в свой билет... и купил... Он инвалид... Я и обрадовался.

— «Обрадовался!»— передразнил его капитан, что-то записывая на бланке.— Инвалид, говоришь? Ладно, пошли дальше... И часто ты там охотишься? Хе! Охотник! Нет, слушай... ты меня просто удивляешь, парень... Ну, я понимаю, поехал бы за город, походил бы там, может, зайчика поднял... Я и сам охотник! А то ведь куда? В зоопарк! Даже не знаю, как это расценить.

— Так у нас же это... разрешение... Я бы не пошел просто так. Мой товарищ там часто рисует всяких зверей. Его там

хорошо знают. Его и попросили, а он меня позвал...

— Кто его попросил?

— Не знаю. Кажется, Мантейфель.

— Кто такой?

— Кажется, профессор, биолог. Я не знаю точно.

— Вот видишь: «не знаю», «кажется»... А пошел все-таки. Разве так можно? И главное — ружье не оформлено. — Он склонился на запотевшее ружье, стоящее там, за барьером, уже как будто бы чужое для Сережи. — Какого калибра? Шестнадцатого?

— Да, — вибрирующим вздохом ответил Сережа...

Капитан вдруг разозлился почему-то и крикнул злобно:

— Ну чего ты в ворону-то эту вцепился?! В мешке тоже ворона! Зачем они тебе?

Сережа не удержался от слез и заплакал, корча лицо в мучительных, обидных слезах, крепясь что есть силы, но уже не владея собой...

Капитан, как будто не замечая слез, все так же грозно крикнул опять:

— Что тебе в этих воронах?! Есть, что ли, собрался? Говори!

Сережа звонко, сквозь слезы, жалобно выкрикнул:

— Да!

Капитан загремел стулом, пристально взгляделся в плачущего парнишку, нахмурился и поднял доску на петлях, молча вышел из-за барьера. Глухим голосом тихо спросил:

— Отец-то где?

Сереже стало вдруг так жалко себя, что он разрыдался, размазывая окровавленной рукой слезы по лицу, не выпуская при этом из другой руки ворону... А когда капитан положил на потную его голову горячую, сухую свою ладонь, он даже вскрикнул, как от боли, и крик этот получился писклявым, как визг.

— Он без... без... без... — никак не мог выговорить он это страшное «без вести пропал».

— А мать? Ты один у нее? — спросил чуть ли не шепотом капитан, задумчиво поглаживая его по голове.

— Два младших... два брата еще... — сдерживая рыдания, хлюпая мокрым носом, еле-еле выговорил Сережа, обливаясь слезами. — А мама... она истопницей работает... А Сашка... сказал, что вороны... что вкусные они и их можно... есть... Я и пошел. Простите меня, пожалуйста, я больше не буду, — сказал он и закрыл глаза, из которых никак не переставали течь слезы.

Капитан вдруг тоже как будто вскрикнул на вздохе.

— Ах ты, господи,— сказал он с мучительной горечью в охрипшем сразу голосе и, с треском откинув опять доску на петлях, взял ружье и вынес его.— Вот что, Сережка. Давай-ка сейчас мы с тобой так сделаем... У тебя чехла-то нету? Не купил еще? Ничего, купишь... Как ружье-то? Я знаю, у них бой отличный,— говорил он, разбирая ружье и заворачивая его в тряпку.— Придешь домой, протри как следует маслом. Масло купил?

— Да,— ответил Сережа.

— Это правильно. Щелочным протри канал ствола, поддержи, а потом протри насухо и нейтральным смажь. Оно тогда послужит тебе верой и правдой. Вообще-то вот еще что! Никогда не забывай: зимой охотишься, поставь сначала ружье где-нибудь в сених, а уж потом вноси в дом, чтобы оно не потело с мороза. Кидай ворону свою в мешок. На охоту-то настоящую ходил?

— Нет еще...

— Да что ты говоришь! Первая добыча?! Поздравляю. А жарить их можно, это точно. Мы и то, бывало, на фронте, из винтовки двух-трех и в котел... Грач, конечно, вкуснее, но и ее тоже можно. Вот так, сынок ты мой хороший. И не плачь! Иди домой. Не поминай лихом. Придет время, вспомнишь про это и улыбнешься. Станешь рассказывать — не поверят. А жизнь наша наладится со временем. Не сразу, но наладится... Все будет! Иди, сынок. И прости ты меня, старого, что до слез довел... Но вот тебе мой совет: не ходи ты больше в зоопарк на охоту. И вот еще: в общество обязательно вступи и ружье зарегистрируй. Это обязательно. Когда, говоришь, шестнадцать? Ага, через восемь дней... Ясно. Может, еще посидишь немножко, обсохнешь? Не тороплю... А то потный выйдешь — прохватит морозцем... Свалишься. Нет? Ну смотри!

— Большое спасибо,— говорил Сережа.— Большое вам спасибо.

Капитан, на груди которого Сережа разглядел орден Красной Звезды, проводил его до входной двери, пожелал ни пуха ни пера, подмигнул лукаво и помахал рукой.

День был в разгаре. Февральское солнце слепило глаза, и после полутьмы казалось, что на улице весна.

Сережа ликовал. Он торопливо шел по тротуару Садового кольца, забыв про троллейбус. Пешком дошел до Крымского моста и, когда шел по мосту, увидел на заснеженном льду Москвы-реки разгуливающих ворон... В парке

шрррла музыка, а отсюда, с моста, видны были скользящие на коньках по изрезанному льду люди. Звона коньков не было слышно, но он хорошо себе представил этот приглушенно-хрустящий металлический звук.

Он был очень голоден. Хотелось есть. Он представлял себе горячий, острый запах жареного мяса и никак не мог отвлечься от этого запаха, как будто февральский воздух стал пахнуть жареным мясом.

С тех пор как он поступил в училище, мать не кормила его в будни, зная, что он обедает в столовой. Но в воскресенье, хотя он и съедал в субботу сразу два обеда, как думала мать, она готовила на четверых, варила в большой-большой кастрюле жидкий овсяный суп. Из сухого омлета пекла вкусные поджаристые лепешки, с которыми все они пили чай, подслащенный сахарином.

А сегодня они полакомятся жареным мясом! Если не думать, что это воронье мясо, будет, наверное, очень вкусно. А зачем думать? Да и не какие-нибудь помоешницы эти вороны! Как-никак, сами ели мясо, ворую его у медведей и пингвинов. Значит, должны быть вкуснее всех других ворон.

Он вспомнил, что сегодня надо еще напилить и наколоть дров и что вряд ли сумеет вечером сходить в парк на каток, потому что сон уже сейчас казался ему очень приятным и радостным, сейчас уже голова кружилась от усталости и перевозбуждения.

Скоро весна, скоро поедет он на охоту... Надо готовить патроны. Надо купить чехол, патронташ. Достать бы где-нибудь настоящей дробинки! И черного пороха. Настоящего черного пороха, дым которого пахнет убитой вороной или, может быть, даже приятнее. Опять придется продавать обеденные талоны, скрывать это от матери и делать вид, что ему совсем не хочется есть, когда будут уплетать овсяный суп его братья-иждивенцы.

Зато впереди будет весна, будет охота, грохот выстрелов и пение дроздов на вечерней зорьке... Говорят, дрозды очень вкусные. Даже Аксаков их ел... Надо будет обязательно настрелять. Только вот где достать мелкой дробинки? С рук, конечно, можно купить самодельной... Хоть и дорого, но придется...

Большая Калужская улица, которой теперь нет в Москве, Первая градская больница, где родились его дед и мать и он сам с братьями, двухэтажный домик, которого тоже нет и в помине. Три окошка на втором этаже по фасаду. Темно-зеленые листья лилий, оранжевые их цветы... Столетник... Их тоже давно уже нет.



Приятная привычка

Легко ли в наш век представить себе луг, обметанный туманом, бронзовый проблеск воды меж кустов, купола пятиглавой церкви, чернеющие в желтом небе, криковых уток, тяжело несущих вытянутые тела над безмолвной речкой, и услышать пересвист их крыльев, упруго выющийся в недвижимом воздухе? Увидеть темные купы деревьев на бугре, коричневые в закатно тлеющем небе, и светлую на отлогом склоне тропинку, разбежавшуюся рукавами в смутной зелени травы, ведущую вверх, где во тьме деревьев светятся два окна невидимого дома?

Легко ли с помощью воображения перенестись в патриархальную эту картину? Давайте же остановимся, замрем перед живой тропкой и, вдохнув воздух, пропахший цветущей пижмой, поздним этим цветком Подмосковья, который называют еще дикой рябинкой, потому что ярко-желтые его корзинки, собранные в плотный щиток, напоминают соплодия рябины; взглянемся в таинственный свет окон, похожих на две дыры, сквозь которые в их тьме виднеется зарево

шката, и попытаемся представить себе с помощью все того же воображения этот дом-невидимку и живущих в нем людей...

Смею уверить вас, что сделать это довольно просто, потому что картинка, которую я кое-как изобразил, не моя фантазия и не в прошлом веке, не на краю земли, а всего лишь в тридцати километрах от Москвы протекает речка, нарисованная мною, а церковь без крестов давно превращена в промышленный склад, и на красном кирпиче рельефного ее фасада белыми буквами выведено: «Не курить». Утки же, летящие на вечерней заре,— настоящие кряквы, которые теперь охотнее гнездятся в самой Москве, где их не тревожат люди, и которые так хорошо приспособились к жизни рядом с человеком, так хорошо знают закрытые для охоты территории Подмосковья, что безбоязненно выводят птенцов и поднимают их в середине лета на крыло в самых что ни на есть дачных местах, забросив излюбленные свои уголья, где когда-то гнездились гордые их предки.

Впрочем, все это вы знаете и без меня, потому что кто же из вас не видел заката над речкой, затуманенных кустов на лугу, похожих на копны сена! Все, конечно, видели и если не останавливались в изумлении, то это лишь потому, что заняты были самими собою или детьми, а может быть, так устали за день, что вам уже не до красот было, а лишь бы поскорее добраться до станции, сесть на переполненный воскресный электропоезд, а потом на метро или троллейбус, подняться на свой этаж, отпереть темную квартиру, включить свет, зажечь газ, согреть чайник и выпить чаю перед сном, который уже так сморил вас к тому времени, что большего наслаждения, чем лечь в прохладную постель и утонуть в мягкой подушке, вам уже трудно представить.

И правильно! Даже львы и те спят большую часть суток, оставаясь при этом царями зверей. Все хотят спать. И это славно, когда от усталости человек крепко-крепко засыпает и спит до утра. Ни снотворных таблеток, ничего не надо здоровому человеку для того, чтобы уснуть, кроме, может быть, хорошей усталости, накопленной за день.

Итак, да здравствует крепкий сон с красивыми видениями, и пусть мой дальнейший рассказ станет для вас сном, посмотреть который будет, может быть, интересно кому-нибудь. Во всяком случае, я постараюсь, а вы, как говорится, закройте глазки и, засыпая, представьте себе на миг туманный луг, прилегающий к речке, летящих уток и два освещенных окна — два из восьми окон большого рубленого дома,

вознесшегося вместе с вековыми деревьями над узенькой речкой.

А зачем мне это нужно, спросит настороженный читатель, много раз уже листавший ветхие страницы, где писалось про тихие закаты, луга и речки в тумане, про церквушки и летящих в небе диких уток!

И будет несомненно прав, потому что нельзя, наверное, в наш век начинать рассказ с такого вот привычного и легко вообразимого пейзажа, в надежде завлечь читателя лирической благостью и убаюкать его бдительность.

Нет, уважаемый читатель, я вовсе не хочу вводить тебя в заблуждение. А в оправдание могу сказать, что пейзаж, написанный мною, вовсе не патриархален, каким он может показаться на первый взгляд, ибо вдалеке, поперек широкого луга, перекрывая его перспективу, насыпана земляная дамба, обросшая белым и желтым донником, а через речонку перекинут тяжелый бетонный мост.

По этой дамбе, валом возвышающейся над туманным лугом, по мосту проносятся, пошумливая, автомашины, скользя в потемках горящими углями габаритных огней, а через речку тянутся с берега на берег провисшие провода электропередачи, перечеркивающие размашистыми штрихами церквушку. В темнеющем небе, кроме уток, гудят, гася все звуки, далекие в небесном просторе самолеты с аэронавигационными огоньками на крыльях и фюзеляже. Ажурная телевышка тоже обозначена красными огнями, чтобы самолеты случайно не столкнулись с ней.

Катятся с горки на горку автомашины, гудят пролетающие в высоте самолеты. И лишь в редкие передышки между этими шумами до слуха доносится пружинистый свист острых крыльев летящих уток...

Может быть, я и сам бы рад увлечься прозрачным туманом, таинственным светом в окнах бревенчатого дома, зайти в который так порой хочется, когда одиноко и грустно на душе, когда тянешься к людям, мечтая встретить в них отзывчивость, и доброту, и сострадание. Это ведь так заманчиво — встретить красивых людей, умеющих сочувствовать ближнему!

Их не так уж и много осталось на свете. Но как зайдешь? Да и те ли это люди, о которых мечтаешь в минуты тоскливого одиночества? Не нарвешься ли на холодное равнодушие, на унижительную подозрительность?

Остается мне войти в этот дом с помощью испытанного средства — воображения — и представить себе, что жи-

нут в нем приятные и, как говорили в старину, деликатные люди. На большом столе, накрытом скатертью, сипит самовар, пахнет в комнате сгоревшим древесным углем и домашними пирогами... Но прихотливое мое воображение подвело меня на этот раз. В доме этом, оказывается, живет не молодая, но и не стареющая женщина, про таких говорят — загадочная... Так оно, разумеется, и должно было быть, потому что за таинственными окнами скрывается, конечно же, загадочная женщина! Кто же еще?! Загадочная, красивая, одинокая, окруженная любовью легкомысленных молодых людей, обожающих ее... Как же я сразу не догадался!

Жанна Купреич. Дочь известного в прошлом режиссера, свободная художница, пейзажистка, на полотнах которой бесконечная весна: ранняя и в разгаре цветения, с заснеженными оврагами под блеклым небом и с бледной дымкой лопнувших почек. Жалуется на плохое качество масляных красок, выпускаемых химической промышленностью, и, каждодневно борясь с морщинами на лице, мучая себя всевозможными косметическими масками, говорит своим близким, меланхолически улыбаясь:

— Жизнь — приятная привычка! Не более того.

Фразу эту она где-то услышала и незаметно для себя самой присвоила, произнося ее с явным удовольствием, будто увидела в краткой формуле сущность своего собственного бытия, находя и оправдание в ней и в то же время скрываясь за ней, как за вуалевой дымкой, наброшенной на лицо; прячется за этой фразой и нападает с ее же помощью, оставляя за собой право быть такой, какая она есть и будет до скончания века.

Очень хочется пристальнее взглядеться в эту женщину и, помня условия игры, которую мы затеяли с тобой, уважаемый мой читатель, незаметно понаблюдать за ней в минуты, когда она остается наедине с собой, перед зеркалом, в которое может очень долго и внимательно смотреться, в змеином оцепенении разглядывая незнакомое свое лицо... «Кто ты, старуха?» — как бы спрашивает она, обращаясь к этому пеплом подернутому, поблекшему лицу, кожа которого день ото дня теряет эластичность, зависая над глазами паутинно-легкими горькими складками, меняя взгляд озабоченных, потухших глаз. Словно измученная бессонницей, смотрит она на безжалостное разрушение, пытаюсь понять причину происходящего. Но не в силах этого сделать, потому что вопрос: «Кто ты, старуха?» — искусно пря-

чется на донышке души, и она снова видит себя такой, какой привыкла быть в своем игривом воображении, которое во много раз сильнее жалкой и ничтожной реальности. Тем более у нее, у Жанны Купреич, художницы, обладающей даром повышенной чувствительности и артистизма.

Почему Жанна? А потому, что у матери была подруга — Жанна, и когда родилась дочь, она назвала ее в честь подруги, доказав таким образом свою верность ей. Фамилия осталась от мужа. По отцу она Емцова. С мужем развелась, но фамилию менять не стала.

Ей нравится быть Жанной Купреич. Единственная выставка, которая прошла с успехом, принесла ей довольно ощутимый гонорар от проданных картин, называлась: «Пейзажи Жанны Купреич». Так было написано сухой кистью на суровом полотне при входе в зал. Одна картина даже уплыла за океан, чем не устает до сих пор гордиться Жанна Николаевна, расценивая это как мировое признание ее таланта.

Дом, в котором она живет, похож на старинный, усадебной архитектуры, особняк, хотя он и построен из дерева, пропитанного когда-то горячей олифой, и ни разу еще не обновлялся. Участок размером в два гектара обнесен покосившимся глухим забором из подгнивших досок, который приходится время от времени ремонтировать, чтобы кое-как залатать провалы и проломы или просто поднять повалившуюся часть забора, укрепив его новыми столбами. Ремонт дома и забора стоит так дорого, что Жанна Николаевна Купреич только усмехается, когда кто-нибудь говорит про это.

— У нас всегда в таких случаях отделялись каламбуром, — отвечает она с усмешкой. — Купишь уехал в Париж!..

Участок просторен и светел. Дом стоит под столетними дубами, а за домом, на поляне, окруженной лиственницами и елками, Жанна Купреич, увлекающаяся с некоторых пор теннисом, построила корт. Металлических сеток нет, но играть все-таки можно, елки и лиственницы задерживают мячи. Любители тенниса, которых в поселке много, приходят, играют, чувствуя себя тут хозяевами, потому что корт построен в складчину, на кооперативных началах, Жанна Николаевна лишь хозяйка земли, но не корта, который стал местом сбора очень приятных ей, спортивных и умных, интеллигентных молодых людей, относящихся к хозяйке как к одной из партнерш по игре, хотя играет она

из рук вон плохо. Но ей все прощается, ее все любят, приходят пить чай, легкое вино, благо, места для этого в доме много, а в хорошую погоду и вообще не надо заходить в дом, потому что по фасаду опоясывает его широкий балкон, отделанный резьбой. Он еще достаточно прочен, чтобы принимать на нем гостей, усаживая их в плетеные креслица, на диванчик, а то и просто на стулья, если собралось больше шести человек.

Жанна Николаевна боится поверить в свое счастье, когда она, раскрасневшаяся и разгоряченная, в коротенькой юбочке, в мягких полукедах, в блузке, похожей на магроску, вся в белом, смуглая, возбужденная и радостная среди таких же радостных и от игры возбужденных молодых людей и юных женщин, смеется, хлопчет, угощает, показывает свои новые работы, с трепетом ждет оценки, зная, что работы понравятся, догадываясь, что молодые люди будут хвалить ее, называя, как свою подружку, Жанночкой, Жаннетой или просто Жан, что ей почему-то очень нравится. А потом будут сумерки, будет самовар, кто-то будет его разжигать в саду, кто-то принесет вина, конфет, печенья, кто-то магнитофон, и начнутся танцы, и кто-то вдруг пригласит и ее, какой-нибудь красавец в белых брюках и в рубашке-«сафари», высокий, стройный, пахнувший силой и молодостью, и у нее закружится голова, и ей станет так хорошо, как только и было в ранней юности.

Сад запущен, но это тоже нравится Жанне Купреич. Даже старые яблони, убитые морозом и стоящие среди прочей зелени какими-то странными, будто бы сотканными из дыма изваяниями, трогают ее душу, наводя на раздумья о бренности всего сущего на земле, и она не хочет и слышать о том, что надо выкорчевывать их и сажать на их место молодые деревья...

Четыре дерева, замерзшие в лютые морозы, видны из окошек ее спальни. Стоят они дымчато-серые, на склоне к реке, напоминая всегда о туманах, об утках, о зимнем холоде, и кажутся лиловыми среди буйной зелени и цветов.

Под елками и лиственницами разросся шиповник. Свежесколько-яркие его цветы с солнечным пятном тычинок перемешались с лиловыми и нежно-розовыми вспышками люпина, с ажурными кружевами цветущего дудочника, с желтыми, глянцево поблескивающими цветами ледвенца, похожими на цветы весеннего дрока, который тянется по стеблям

люпина, дудочника и шиповника, чтобы как можно выше вознести соцветия, поймав солнце и заманив пчел. Заросли источают освежающе нежный аромат, и в знойные часы дня кажется, что здесь прохладнее воздух и легче дышать.

Втоптаный в землю песок, завезенный сюда в то время, когда строился корт, зарастает по краям травой. Мелколистный клеверок затянул темно-бархатными листочками окраину песка. Цветут, как это ни странно, запоздавшие лютики, тоже очень мелкие и совсем не похожие на те весенние, которые давно уже погасли на опушках леса и в лугах.

На это разноцветье можно смотреть, как смотрят люди на живое пламя,— не отрываясь.

И если кто-нибудь спрашивает у Жанны Николаевны в эти минуты:

— Грустим?

— Нет,— отвечает она с отстраненной улыбкой.— Растворилась в цвете.

— Значит, ушла?

— Уйти — это уйти! А я, скорее, пришла... Потому что уйти — умереть. Уйти за угол. А я пришла и вот люблюсь... Живу.

Голос у нее молодой, но особенно молодо звучит он по телефону, смущая абонентов, которые иногда даже теряются, думая, что их неправильно соединили. Она искусно играет гласными окончаниями слов, неуловимо меняя фонемы, переплетая их в певучей своей речи, похожей на какое-то сладостное и нежное стенание, будто голос ей дан не только для того, чтобы говорить с людьми, выражая мысли и чувства, но и для того еще, чтобы обласкивать им людей, обволакивать томным воркованием, когда человек забывает о смысле слова, прислушиваясь только к его звучанию. Странное чувство испытывают люди, с которыми говорит Жанна Купреич!

По сути своей она прирожденная соблазнительница. Она даже женщин умеет покорять, влюбляя в себя.

— Вы очень несовременная,— тихонечко, как бы по секрету, говорит она новой своей знакомой, очарованно разглядывая ее и любуясь ею.— Удивительно несовременная!— страстно повторяет Жанна Николаевна, зная, что смущенная ее словами молоденькая женщина будет долго помнить лестное для себя определение, которое почему-то всем приходится по вкусу.

Неужели только потому, что никто из женщин не хочет быть похожей на своих современниц? Тогда надо отдать должное Жанне Николаевне — она к тому же еще, оказывается, прирожденный психолог, интуитивно нащупывающий в своих целях слабые и сильные стороны человеческой натуры.

— Если бы я была портретисткой, — говорит она, вглядываясь в лицо другой своей знакомой, — я бы ваш портрет писала в сиреневых тонах, в широкополой шляпке, которые носили в конце прошлого века, из золотистой соломки... Вы вся в сиренево-золотистых тонах! Вы просто чудо! Я не встречала ничего подобного! Вы пришли к нам из прошлого века...

Однажды на корте появилась новая пара: Сухоруков Василий Александрович и Сухорукова Екатерина Аркадьевна — так они отрекомендовались, представленные хозяйке, тридцатипятилетние, приятные люди, при знакомстве с которыми Жанна Николаевна почувствовала себя очень неуверенно, словно бы растерялась, как бывает, когда долго ждешь нужного человека и готовишься к встрече, проигрывая в сознании возможные варианты своего поведения, репетируя свою роль, а при встрече теряешься, забывая слова, и говоришь глупости. Так случилось и с Жанной, когда Василий Александрович Сухоруков, чрезвычайно красивый и стройный, высокий мужчина, голосом, похожим на басовый голос виолончели, сказал ей, зная, что он красив и умен:

— Не знал, что здесь общество. Играю в шахматы, хожу израненный... А тут, оказывается...

— Что так? — скоро спросила Жанна, выразив сочувствие на лице.

— То доска на голову, то ладья... Выигрываю все время! — объяснил ей аристократически-изысканный, с холодной усмешкой на лице, Сухоруков, добавив насмешливо: — Нервные люди! А я играю на деньги.

Ей стало очень стыдно, что она не поняла этой глупой шутки про доску и ладью.

— В шахматы — на деньги?

— В шахматы на деньги, — внятно подтвердил он, с явным напряжением склонив горделиво посаженную голову. Худой, как доска, он весь был переплетен мускулами, которые пульсировали, когда Сухоруков поднимал руку, чтобы пожать руку Жанны Николаевны.

Она протянула ему руку так, как протягивают для поце-

луя, а он, заметив это, сказал с улыбкой, но так тихо, что никто не услышал:

— Предпочитаю целовать у женщин другие местечки.

Сказал так, будто пропел на басовой ноте, водянисто-струнно и ветрено.

Жанна Николаевна покраснела и промолчала, сумев, однако, осуждающе, с боку на бок, покачать головой.

Екатерина Аркадьевна, или Катенька Сухорукова, была резкой противоположностью мужа. Курносая, жиденькая, непрочная, озаренная все время восторгом, она не стояла на месте, куда-то звала мужа, что-то показывала, успела сбегать вниз к забору, принесла оттуда яблоневый сучок причудливой формы, любовалась им, увидав в изгибах его затаившуюся рысь, которую никто не мог себе представить, хотя Катенька и старалась подсказать, объяснить, растолковать. Василий Александрович добродушно отмахивался от нее, говоря ей, как кошке: «брысь».

— Екатерина Аркадьевна всюду видит зверей. Я у нее похож на гепарда, вы, Жанна Николаевна, уверяю вас, тоже уже на кого-то похожи. Она иначе не умеет,— сказал он о жене, как о девочке.

— Я ее понимаю. Но у гепарда маленькая круглая головка?— вопрошающе сказала Жанна, посмотрев наконец-то на очень мужскую какую-то голову Сухорукова, в которой не было ничего от гепарда. Такие головы хорошо удаются скульпторам — все черты выявлены: подбородок, губы, скулы, впалые щеки и глазные впадины, из глубины которых смотрят то ли полусонные, то ли насмешливые, то ли просто холодные, темно-серого цвета, смелые глаза.

Ей вдруг стало скучно, она почувствовала смертельную усталость, легко представив себе, что этот самоуверенный Васенька, как про себя назвала она его, скоро уйдет и никогда ничего толком не узнает про нее. А полоумная Екатерина сравнит ее с каким-нибудь животным, они посмеются вместе и тут же забудут, над чем смеялись. И она ни с того ни с сего рассердилась на этих новых людей, которые пришли под вечер. Пришли так, будто им нечего было делать и они решили показать себя, покрасоваться, демонстрируя типичного мужчину и типичную женщину.

— А я знаю, на кого я похожа!— сказала она с надменной ноткой в голосе.— Давно уже пригляделась.

— Я тоже,— сказал Сухоруков.

— Я похожа на старуху в молодости,— жестко отчеканила она и, почувствовав, что краснеет от той неожиданности,

с какой вырвалось это у нее, добавила: — Или на ребенка в старости. Впрочем, это все равно. А кстати, ошибаются те, кто думает, что шахматисты очень умные люди. Они умные машины. У них хорошо развита одна лишь функция мозга: комбинаторика. А когда гипертрофированно развивается одна какая-нибудь функция — это признак вырождения.

Сухоруков голосисто рассмеялся и виолончельно-грустно спросил:

— За что же вы меня так? Помилуйте! Вы совсем не похожи на старуху или ребенка! Кто вам сказал?! Я вас уже видел в магазине и теперь узнал и хотел сказать... Простите, — и он крикнул жене, — Катенька! — которая собирала в кулак опавшие лепестки шиповника. — Нам пора!

— Вы никуда не пойдете! — резко прикрикнула на него Жанна, которая, не сознавая себя, валилась в какое-то месиво, из которого ей уже невозможно было выбраться. — Да! Никуда не пойдете! И останетесь с нами чай пить. Вот так!

— Ну и ну! — только и сказал на это Сухоруков, склонив голову набок и поглядывая на Жанну сверху вниз.

Вот тут как раз, уважаемый читатель, я и должен прервать свой рассказ и, если мне удастся, поразмыслить по поводу «одинокой и загадочной» женщины, которая так странно и так непредсказуемо дерзко повела себя, встретившись с незнакомым ей, женатым, хотя, на первый взгляд, и неприятным, по-моему, мужчиной. То есть не то чтобы поразмыслить, а должен просто рассказать о ней, похожей на некую барыньку, меценатствующую в своем имении, как это делали когда-то некоторые помещицы, окружая себя талантливой молодежью, художниками, артистами, музыкантами... Мне, признаться, и самому показалось странным ее поведение, и особенно ее злость и какое-то мстительное нерасположение к Сухорукову и его супруге, которые, конечно, не заслужили такого отношения к себе. И начну я, пожалуй, издалека, чтобы ничего не оставить без внимания...

Лет десять назад было лето, была гроза в конце знойного дня и ливень. А после грозы среди темных дубов, в золотистых лужах, в траве, во влажном воздухе — всюду чмокали и гулькали, хлюпали и по-птичьи попискивали падающие с листьев капли. Отсыревший воздух палево туманился закатом, мутно светился над мокрыми дубами.

Наступал вечер, но чудилось, будто занимается утро и тьма грозовой тучи уходит с небосвода, освобождая пространство для наступающего дня. Ноги скользили на глинис-

той тропе, намыленной дождем. В ясном тумане, в сырости, в блеске сочной зелени ореховых кустов через тропу перелетали дрозды, странно сухие во вселенской мокряди, пепельно-желтые, всполошенно квохчущие.

Приятно было все это так неожиданно и необычно видеть и до озноба приятно было слышать и чувствовать, ощущать озябшей кожей, что гроза далеко и не вернется, что жизнь, совсем недавно пропадавшая под молниями, колотится в груди, избавленная от страха.

Промокший насквозь, шумно дыша грозовым воздухом, Миша Купреич торопливо шел домой, скользя по глине, и чувствовал себя так, будто плыл по озеру среди зарослей душно цветущих кувшинок. Вода в озере темная от нависшего леса, а кувшинки покачиваются на длинных волнах, кружа голову своей таинственностью, пугая подводным царством, в глубинах которого они родились, поднялись к солнцу, чтобы с последним лучом опять опуститься во мрак глубины.

Дом ему казался прочным берегом. Вот он, рядом, видны уже окна за стволами деревьев, слышна речь диктора, читающего последние известия, а под ногами уже прочная, присыпанная песком дорожка к дому, размытая ливнем, со сломанной веткой дуба, лежащей на мокром песке. На ветке маленькие зеленые желуди, листья прекрасны в своей скульптурной завершенности: подарок Жанне от него и от грозы.

— Это тебе от Ильи-пророка, — говорит он, улыбаясь под мокрой чернотой вьющихся волос и протягивая ветку жене, которая любит рвать цветы, собирая букеты с искусством художницы.

Ей нравится мокрая ветка, нравится он сам, стягивающий ботинки, джинсы, рубашку, мокрые трусы и остающийся в чем мать родила перед ней, которая, не переставая, думала о нем, пока гремела гроза. Она сидела дома, закрыв окна, холодея от каждой вспышки, от ударов и треска электрических разрядов, веселящихся в померкшем небе.

Они давно уже вместе, и нагота не смущает ее, она лишь задергивает занавески на окне. Хотя вряд ли кому-нибудь постороннему интересно смотреть на голого мужчину, тем более что сам Миша Купреич относится к этому с цинизмом некоего высшего существа, которому нет дела до всяких прочих человеков. Ему даже как будто бы приятно выйти рано утром на балкон дачного дома, заняться гимнастикой и кое-какими упражнениями хатха-йоги.

Сегодня такая жарница в Москве! Удрали с обеда купаться в Серебряный бор,— кричит из комнаты Миша, надевая на себя сухое.

— Я уже поняла,— откликается Жанна и входит в комнату с его мокрыми, измазанными в глине джинсами, которые хотела бросить в таз с водой.— Я это вижу,— говорит она в растерянности, держа в руке зеленый маленький влажный купальник, модный тогда мини-бикини, который она вытащила из кармана, думая, что вытаскивает носовой платок...— Что это такое? Чей это?

Миша смотрит на купальник и улыбается. Лицо его краснеет, глаза слезятся от смущения, и он хорошо это сам чувствует, но ничего не может с собой поделать.

— Да это... дура! Наша эта, Светка...— говорит он, выпутываясь из тьмы смущения.— Переоделась и сунула мне в карман... А потом дождь... А эта дура забыла...

— Какая Светка?!— восклицает Жанна, швыряя на пол шелковый купальник.— Что ты врешь! Подлец! Какая Светка!

Криком он отвечает ей:

— Какая, какая! Наша машинистка! Я-то тут при чем? Это она!

Он почти не врет: да, действительно поехали в Серебряный бор, Светка была не готова к этому, и он ей купил по дороге купальник, который она потом сунула ему в карман, когда они побежали домой под хлынувшим ливнем и оба забыли про злополучный купальник, которого не было у Светки еще днем и к которому она не успела привыкнуть. Все примерно так и было, если не считать, что Светка для него давно уже не просто машинистка...

Он с отвращением, на какое только способен, ругает Светку, безмозглую эту дуру, у которой не оказалось сумочки, и она попросила его на время спрятать купальник, чтобы потом, в метро, взять у него и завернуть в купленную газету.

Но Жанна не хочет этому верить, плачет и ругается, прислушиваясь, что там еще ей врет этот мерзопакостник.

— Неужели я такой дурак!— кричит Миша.— Принес купальник домой! Подумай сама! Если бы я что-то... если бы у нас со Светкой, то уж, будь спокойна, я про купальник бы не забыл.

— Пошляк!— стоном говорит ему Жанна, глядя на него опухшими от слез ядовитыми глазами обманутой жены.— Какое мне дело, что у тебя там с этой Светкой! Меня бе-

сит, почему именно к тебе в карман она положила купальник? Почему к тебе, а не к кому-нибудь другому?

— Откуда я знаю! Другие в брюках, а у меня джинсы, может, поэтому! Откуда я знаю!— кричит он на Жанну.— Я и сам забыл про это! Черт бы вас всех побрал с этим купальником! Дичь какая-то! Успокойся, пожалуйста, и не зли меня. Ты же знаешь этих эмансипэ! Дети стыдливее их... Тебя, может быть, это удивляет, но наши женщины целуются со мной при встрече, целуются, зовут Мишей и вообще не считают меня за мужчину... Разве ты не знаешь? Стиль поведения. Ты далека от этого, тебе трудно понять, но что же мне-то делать? Не могу же я со своей специальностью работать надомником. Если уж на то пошло, я бы мог тебе вообще не говорить, что мы сбежали купаться. Духота была такая, просто невозможно находиться в помещении. Завтра могут быть неприятности, но черт бы с ними.

Жанна, свалившись на кровать и уткнувшись лицом в подушку, начинает как будто успокаиваться, и он, пользуясь затишьем, продолжает объясняться с ней, рассказывая о нравах своих сотрудниц.

— Ты же знаешь, я не из тех, кто за каждой юбкой волочится, но что мне делать, если мы вместе ходим в столовую и я обедаю не с тобой, к сожалению, а с той же Светкой или еще с кем-нибудь, сижу за столом, разговариваю, они кокетничают, вместе смеемся. Что же делать? Я тебе даже больше скажу! Когда Светка вспомнит, что забыла купальник в моем кармане, ей и в голову не придет, что ты можешь... что тебе это будет неприятно. А если рассказать про нашу ругань из-за этой тряпки, она лопнет от смеха. Ты понимаешь? Она сочтет тебя ревнивой дурой, идиоткой, бабой, выжившей из ума, кретинкой. Потому что у нее отсутствует чувство стыда, она не поймет, как это можно возмущаться, если она просто-напросто забыла в кармане у товарища свою тряпку.

— Замолчи,— слышит он голос Жанны, которая почти поверила ему и совсем не хочет слушать рассказы о том, как он проводит время на работе, как целуется, обедает и что про нее подумает эта девчонка...— Какое мне дело до этого! Целуйся с кем хочешь, только оставь меня в покое и, пока мы вместе, не занеси в дом какую-нибудь заразу. Я очень прошу!— Она резко поднимается с кровати и, полыхая красным, измятым в подушке лицом, кричит, опять чуть ли не плача: — Очень прошу! И скажи мне на милость, чем, каким укусом, или содой, или чем еще отмывать мне теперь руки?—

И она вытягивает их перед ним, растопырив пальцы, которые мелко дрожат.— Чем отмывать?

— Не-ет!— рычит Миша, закрыв лицо руками.— Это невозможно терпеть! Это какой-то кошмар! Кстати, лазить по чужим карманам, даже если это карманы моих брюк, неприлично!

Он ждет ответного удара, но Жанна, с трудом владея собой, тихо отвечает:

— Нужны мне твои грязные карманы. Я думала, что это носовой платок. Хотела, дура, выстирать твои джинсы. Слесарь ходит на работу чище, чем ты, неряха.

Ей и в самом деле очень неприятно чувствовать на своих руках воображаемую чужую грязь, ощущать влажную скользкость чужого купальника, ей кажется, что пальцы плохо пахнут.

— Можешь быть свободен,— говорит она ему с холодным равнодушием в голосе.— Вольному воля,— добавляет она и сухо смотрит на него, мокрого, жалкого, полураздетого, зримо представляя себе, как он купался с этой девкой, с которой ходит обедать. Она и сама пугается словам, слетевшим у нее с языка. Но дело сделано. И она повторяет: — Можешь быть свободен. Между прочим, для справки: о своих сотрудницах так плохо, как это ты делаешь, мужчина не имеет права говорить. Нельзя о тех, с кем работаешь, отзываться так плохо. Это бесчестно.

Миша Купреич раздавлен. У него нет сил защищаться. Она победила.

— Молодчина,— говорит он, хмуро усмехаясь.— Честное слово, молодчина.

Это все, на что он способен. И это, пожалуй, лучшее, что могло прийти ему в голову.

Хоть и дьявольское дело — помнить зло, но Жанна Купреич запомнила, и у нее появилось к мужу чувство некоторой брезгливости, выразившейся в неловкости и заторможенности поведения, будто она стала хуже видеть и слышать.

А Миша вскоре забыл про свою промашку, обладая чуть ли не с детских лет способностью забывать все то, о чем ему неприятно было знать. Летом он любил футбол, зимой хоккей, страстно болел за «Спартак», помнил каждого игрока, знал, откуда, кто и когда пришел в команду, и если играл «Спартак», у него не было дела важнее этой

игры, и ничто не могло тогда свернуть с пути к телевизионному экрану. Возле экрана вел себя так, будто цветные фигурки хоккеистов, скользящие по льду, могли слышать его крики негодования или радости, будто бы комментатор сидел с ним рядышком и тоже слышал замечания Миши Купреича, которые он делал с ехидством или возмущением, если комментатор ошибался... Он кричал на арбитра, если тот удалял спартаковца в сомнительной ситуации, когда можно было бы, по мнению Миши, не удалять игрока. У него поднималось настроение, когда «Спартак» забивал шайбу или мяч в ворота противника, и портилось, если команда проигрывала.

К серьезным делам жизни он относился куда менее заинтересованно, чем к спортивным играм, оберегая себя от неприятностей. Любил посмеяться над человеком, но без всякого желания обидеть, уверовав с какой-то удивительной легкостью, что будто бы ни один человек на свете не вправе обижаться на него, на Мишу Купреича, потому что, как он думал, всякая идея должна иметь улыбку на хвостике. В том числе и человек, которого он рассматривал не иначе, как носителя определенной идеи. А раз так, то у каждого на хвостике непременно должна быть улыбка, а на улыбку можно всегда откликнуться улыбкой.

Он даже со своей Светкой, женщиной некрасивой, но добивающейся успеха у мужчин легкомыслием и доступностью, считал нужным посмеяться над глупым положением, в какое попал с ее купальником, рассказав и о том, как вела себя Жанна, посмеявшись заодно и над ней, хотя вскоре и пожалел об этом, потому что история с купальником стала всеобщим достоянием и над историей этой стали посмеиваться люди, которым Миша Купреич никогда бы не доверился. Эта неприятность насторожила его, он строго выговорил Светке, которая клялась, что никому ничего не рассказывала, но насторожила ненадолго. «Спартак» в очередной раз проиграл с разгромным счетом, и это повергло Мишу Купреича в такое уныние, что все другие неприятности показались ему легким дымом, который рано или поздно развеется сам.

Но он ошибался, думая так.

Жанна Купреич, приехав однажды в Москву и открыв почтовый ящик, нашла там конверт с письмом, в котором язвительно рассказывалось о купальнике, подаренном ее мужем некоей Светочке, над историей с которым всласть посмеялись друзья(?) Миши Купреича.

Она читала письмо, перебегая со строки на строку, пугаясь и торопясь, хотя уже сразу, с первых же слов, поняла, о чем этот донос, написанный со старательностью начинающего юмориста, которому во что бы то ни стало надо рассмешить. Она скомкала подметное письмо, бросила его на пол, стремительно побежала от почтовых ящиков к лифту, нажала на кнопку и, оглушенная собственным пульсом, поняла, что случилось в ее жизни непоправимое, тут же вернулась, подхватила с пола письмо и, скомканное, сунула в сумку. Кабина лифта тем временем опустилась, дверцы раскрылись, подождали немножко и опять стиснулись, и пока Жанна бегала за брошенным письмом, кто-то уже вызвал кабину, и она, словно бы издеваясь над Жанной, ушла наверх. Видеть сейчас кого-нибудь из людей ей было не вмоготу, и она пошла по лестнице на шестой этаж, совершенно не понимая, что она делает, куда идет, зачем... На площадке четвертого этажа, запыхавшись, достала скомканную бумажку, расправила и попыталась внимательно прочесть «произведение» без подписи и без адреса.

Но опять глаз ее выхватывал лишь куски текста, мозг отказывался верить в то, что там было написано про «Свечечку и Мишу»... «Какого Мишу, какую?..— словно бы спрашивала она себя.— При чем тут я? Нельзя верить анонимкам! Это безнравственно — читать такое! Надо себя не уважать, чтобы верить...» Но, увы, не поверить она не могла, потому что «друг» писал о таких подробностях, которые хорошо были знакомы ей самой, но с той лишь разницей, что Миша все ей объяснил иначе, чем его «друг».

На улице было холодно, она приехала в пальто. Не раздеваясь, подошла к зеркалу и долго, внимательно смотрела на свое отражение, а точнее, на свою улыбку, которую как будто впервые увидела у себя на лице,— это была улыбка спящего человека, видящего во сне себя в стране небывалых чудес: испуганная, но в то же время умиротворенная, мудрая улыбка все понимающего, познавшего истину человека — что-то среднее между усмешкой и улыбкой.

Позвонила подруга, с которой когда-то учились. Та в декретном отпуске, кормит вторую девочку: все забросила, краски засохли, кисти запылились; звала взглянуть на маленькую, которую, конечно же, назвала Дарьей, Дашенькой.

Жанна подумала и согласилась.

Девочка как девочка, но Жанна похвалила: прелесть! Мать исхудалая, с сизыми подглазьями, с натянутыми стру-

нами бледно-желтых рук, с большой молочной грудью на истощавшем теле.

— Ну и к черту!— кивает на мольберт, на кисти, на холсты.— Все равно лучше ничего не напишу, чем мои девки. Дурью-то мучиться!

Смеется, жалуется, хвастается и опять жалуется. На этот раз на приходящую домработницу. Говорит о ней шепотом, не стесняясь слов, которыми обрисовывает девушку. Она и в институте любила нецензурно ругаться, делая это с шиком, который никак теперь не идет ей, ставшей матерью. Ребенок, сосущий грудь, и вдруг из той же груди площадное словечко, как взрыв, разрушающий святое, чему всегда поклонялось человечество,— материнство.

Домработницу свою боится, потому что она, не стесняясь, заигрывает с ее мужем, прошла огни и воды и медные трубы, хуже самогонки, такая же отравка, которой страшно доверять детей. Муж потихоньку балдеет, девочка ему нравится — молоденькая, смазливая, с остреньким язычком,— не хочет и слышать о замене, да и трудно это сделать. Хоть бы кто-нибудь переманил ее.

И вдруг улыбка, которую Жанна заметила сегодня на своем лице и которая как бы сама по себе существовала, не отражая никаких душевных движений, никакой радости или удивления,— улыбка эта опять разлеглась на ее лице жмурящейся кошечкой, поймавшей мышь. В ушах у нее зашумело, голова закружилась, и она услышала, как сказала подруге:

— А у нас такое хозяйство... так много всяких забот... мне одной никак не удастся... Я бы пригласила. Я бы взяла, если бы она пошла.

Когда же увидела эту «девку», вернувшуюся из магазина, поняла, как жить дальше и что теперь нужно делать.

Она ни словом не обмолвилась Мише о письме и о домработнице, которую легко уговорила, соблазнив ее дачей, а главное, тем, что у них не было и никогда не будет детей.

— У нас гости?— радостно воскликнул Миша, увидев молоденькую особу, словно бы только что покинувшую институт красоты.

В этот день должен был играть «Спартак», Миша очень волновался, предвкушая победу, но то, что он узнал от Жанны, которая познакомила его с этой очаровательной

девочкой по имени Таня, сбило его с толку, он едва ли помнил теперь о «Спартаке», мысли его и помыслы закружились вокруг Танечки, как будто жена преподнесла ему бесценный подарок, сказав, что Танечка летом будет жить у них на даче, а зимой в Москве. Опытным глазом он сразу разглядел в Танюше, как он стал называть эту девочку, те особенные, плохо скрываемые черты характера, которые вскружили ему голову, точно он давно уже был знаком с ней, знал ее губы, улыбку, знал, что она курит, щуря глаза в дыме, знал ее говорящие глаза, хотя не мог понять одного: как это Жанна решилась привести в дом такую красавицу?

Впрочем, это несколько не насторожило его, он даже подумал с благодарностью, что Жанна полностью доверяет ему, что она в некотором смысле дурочка — хорошая, добрая женщина с широкой душой, решившая, как он думал, доказать ему этим жестом свою независимость и то, что она способна отказаться от предрассудков.

— Конечно, тебе тяжело одной,— оживленно говорил он Жанне, соглашаясь с ней во всем.— Такойдомище содержать в порядке — это надо всю себя посвятить мокрой тряпке. Тебе надо работать, ходить на этюды, писать... Все правильно. А Танюша — девочка молодая, сильная, справится, она все успеет: и обед приготовить, и в магазин сходить, и убраться, и погулять,— говорил он, с ухмылкой поглядывая на очень скромно сидящую за столом женщину, которая ледяными пальчиками стала доставать сигарету из пачки. Пачка трепетала, шурша в руках,— Танюша волновалась.

Миша щелкнул зажигалкой, перегнулся к ней через стол, поджег сигарету, на что Танюша очень скромно и как-то уж очень торопливо откликнулась:

— Большое спасибо...

— Теперь и покурить можно в компании,— воскликнул он, приглашая посмеяться и Жанну и Танюшу, а сам тоже зажег сигарету, пустив дым в сторону новой своей знакомой, которой всячески хотел понравиться.

Все это заметила напряженно-молчаливая Жанна, похожая в эти минуты на затаившуюся охотницу, подсадная утка которой успела подманить очумевшего от страсти селезня. На лицо ее опять легла сонная улыбка, хотя на этот раз сильный тик передергивал веко левого глаза, мешая ей смотреть на грязного этого мужчину, избалованного и пустого, страдающего лишь оттого, что ему не с кем сыграть

партию в шахматы или же если проигрывал «Спартак». Как же она сразу не поняла его?! Семь лет жила с омерзительным типом, привыкла считать себя любимой и любящей, жалела подруг, у которых не сложилась личная жизнь, и стеснялась говорить им о своем благополучии, о том, что подходит очередь на автомашину, что они мечтают объехать на машине Прибалтику и обязательно съездить в Закарпатье. Боже мой, какой самодовольной дурой она была, думала Жанна, видя словно бы во сне оживленного петушка, который ел в этот день с неприятной торопливостью, пополам с глупыми разговорами, с ухаживанием за скрытной Танюшей, которая всякий раз отвечала ему кивком головы — «большое спасибо». Были мгновения, когда Жанне хотелось закричать, завопить во всю силу легких и выгнать всех из дома, но она пересиливала себя и, прикрыв глаза, как бы засыпала с полуулыбкой-полуусмешкой на лице, маясь непроходящим тиком.

Через год Танюша забеременела, и, как Миша ни выворачивался, как ни клялся в своей невинности, как ни плакал, вымаливая прощения у Жанны и у Танюши, на этот раз ему не удалось выкрутиться. И более того, хитренькая Танюша женила его на себе, родив мальчика, а потом другого: Гришу и Петю.

За эти годы Жанна Купреич резко изменилась к худшему: состарилась лет на десять, стала раздражительной, мучилась бессонницей, от которой спасалась таблетками родедорма. У нее даже с восприятием цвета что-то произошло. Этюды ее приобрели зеленовато-синий, холодный оттенок, были небрежно исполнены, а картины, над которыми она работала, так и оставались размалевками, словно она никак не могла закончить их, разучившись писать маслом. На живопись теперь у нее не хватало терпения, она ругала краски, кисти, холсты, картон... И занялась акварелью, решив, что по своей стихии это более подходящий для нее материал. Уходила теперь из дома с легким по сравнению с прежним этюдником, приспособив для воды круглую грелку, садилась на какой-нибудь пень или поваленное дерево в шуршащем от прошлогодних листьев, коричневом понизу теплом уже лесу и училась заново работать, осваивая трудную технику акварельной живописи.

В лесу теперь часто можно было увидеть на земле клочки плотной белой бумаги с цветовыми пятнами акварели: это Жанна Купреич пробовала краски. Пятна были живописны, прозрачны и неожиданно гармоничны, как бывают

гармоничны звуки гитары, которую пробует опытный музыкант, извлекая из ее звучащего нутра задумчивые, бесвязные аккорды. Эти цветные пятна вызвали порой бóльший отклик в душе зрителя, чем сам пейзаж, старательно описанный с натуры.

Дело и тут не двигалось, хотя самой Жанне казалось, что акварели ей удаются.

Она виделась с бывшим своим мужем, который приезжал к ней жаловаться на судьбу. Но она улыбалась и спрашивала, как будто бы о сущем пустяке:

— А помнишь,— говорила она, вся восторженувшись,— ты сказал обо мне, что я вчерашний обед?

— Я этого никогда о тебе не говорил.

— Я знаю, это ты обо мне говорил,— мягко возразила она.

— Нет, ты ошибаешься.

— Я не ошибаюсь, я услышала, не подслушала, а случайно услышала, как ты это сказал. Очень остроумно! Но не вовремя было сказано. Сейчас — да! Сейчас это было бы очень своевременно. Но я тебе тоже должна напомнить одно остроумное высказывание. Оно тоже очень своевременно,— говорила она, не переставая улыбаться и не сводя глаз с Миши, который отпустил черную курчавую бородку.— Тебе, кстати, не идет борода. Ты похож на какого-то киношного меньшевика.

— Не важно...

— Для меня совершенно не важно!

— Какое же высказывание?

— А-а-а... Французы говорят: месть — это блюдо, которое едят холодным. Как тебе нравится?

— Хочешь сказать, ты мстила? Каким образом? Ты? И месть? Этого не может быть. Чепуха!

— Это же так просто!— говорила Жанна, и голос ее звучал почти что нежно.

— А за что мстила? Каким образом? Так тонко, что я даже не заметил? Ничего себе месть!

— Это моя тайна,— отвечала Жанна, которая только что с удовольствием слушала жалобы Миши на свою молодую жену. «Ты знаешь, она заявляет,— рассказывал он, как бывало и раньше.— Она говорит: «Я? Связала мужа по рукам? Это я-то, которая все ему позволяет? Он делает все, что хочет! Хочет смотреть телевизор — пожалуйста! Хочет пригласить меня в театр — пожалуйста, я не против. Хочет везти меня на машине, я даже не спрашиваю, куда.

Еду. Все, что хочет, то и делает»,— рассказывал Миша, печально улыбаясь и рассчитывая, как бывало, на сочувствие.— Это моя тайна, Мишенька,— повторяла Жанна Куприч.— Тебе лучше не знать о ней. Я тебе сразу сказала: ты свободен. Ты хотел свободы, я тебе ее предоставила. Но я же должна была позаботиться о твоём будущем, как ты думаешь? Все-таки семь лет совместной жизни накладывают определенные обязательства на человека. Я все сделала, чтобы ты не остался одиноким.

— Ты ошибаешься,— говорил Миша, и голос его садился от волнения.— Ты ошибаешься. Это ты сейчас придумала. Для таких штучек у тебя не хватило бы воображения и характера.

— Если тебе так легче, пусть будет по-твоему,— соглашалась Жанна и счастливо потягивалась в нервной зевоте.

А Миша смотрел на нее с испугом, боясь подумать о блюде, которое приготовила для него бывшая жена, боясь развить эту тему в своем сознании, обдумать все ходы противника, которые привели к матовому положению в его жизни. Он готов был бежать из этой новой жизни куда глаза глядят, готов был броситься к ногам Жанны, чтобы она вернула его в старую и такую беззаботную, такую драгоценную, красивую жизнь, в которую он с трудом уже верил, будто она приснилась ему. И лишь когда видел Жанну, он убеждался всякий раз, что жизнь эта была и он сам отказался от нее. Сам? Он не мог себе позволить даже подумать о том, что Жанна сыграла в его судьбе роль злого гения.

— Не может этого быть,— медленно и изумленно говорил он, отстраняясь от нее.— Не может быть... Нет, ты на это не способна. Ты наговариваешь на себя. Зачем?

— Пусть будет по-твоему,— пела Жанна, у которой постепенно выработывалась кокетливо-певучая интонация речи.— Ты же знаешь женщин... У тебя их было слишком много, чтобы узнать хотя бы одну из них. Ты ручной мужчинка... Ты потерял чутье, а твой инстинкт состарился и атрофировался за ненадобностью. Как же ты живешь без инстинкта самосохранения? Мишенька, мне тебя жалко! Но что ж я могу?

И она смеялась, очень довольная собой, пока Миша не уходил. Когда же за ним закрывалась дверь, она плакала, и сомнения не давали ей покоя. Жестокая бессонница усугубляла ее мучения, доводя до состояния, близкого к

помешательству. Похоже было на то, что месть не столько холодное блюдо, сколько обоюдоострый нож...

Со временем она успокоилась, пришла, что называется, к себе, привыкла к новому своему положению, и, если иногда Миша, она всячески отговаривалась от встречи. Если же все-таки встречалась с ним, то уже не чувствовала потребности в торжестве над этим жалким человеком, от которого частенько теперь пахивало винным перегаром. И даже странно было подумать, что именно этот человек мучил ее когда-то плакать, страдать и не спать по ночам. Она теперь выгоняла его иной раз, бесцеремонно и грубо, как выгоняют непрошенных пьяниц, забредших на огонек и расчете на угощение. Миша не обижался, а только что-то мычал в свое оправдание, и это было особенно неприятно.

Теперь же она перестала даже вспоминать о нем, и он окончательно вышел из поля ее зрения...

Вот такая женщина, терпеливый мой читатель, жила в большом деревянном доме, в который мы с тобой зашли невидимыми, решив поближе узнать обитателей этого жилища, построенного еще до войны.

В доме было восемь комнат и очень много дверей: маленькие, узкие, ведущие как будто бы в чулан, они оказывались потайными дверцами, соединяющими комнаты или выходящими прямо на лестницу из стены комнаты, словно покойный хозяин вел скрытную жизнь и был всегда готов к незаметному бегству из дома, к таинственному исчезновению... Недаром в доме было три лестницы, одна из которых, например, спускалась ступенями со второго этажа на кухню, другая — в гостиную с большими окнами, а третья, главная, находилась, как и полагается лестнице, при входе в дом.

Такая сложная планировка дома, состоящего как бы из одних дверей и лестниц, объяснялась довольно просто, хотя и странно в то же время. Покойный хозяин сам планировал и сам присутствовал при строительстве, тщательно следя за тем, чтобы не было никаких отклонений от проекта. Николай Сергеевич Емцов страдал клаустрофобией. Так называлась болезнь, выражавшаяся в том, что человек испытывает душевное стеснение или даже ужас, когда оказывается в замкнутом пространстве, из которого нельзя выйти сразу, как только ему захочется. Он мог жить и чувствовать себя спокойно только в доме, где было множество больших и малых дверей, где было несколько лестниц, по каждой из которых он в любой момент и из любого места дома мог

быстро спуститься на первый этаж, а оттуда на улицу. То есть ему надо было знать, что он всегда может выбежать из дома. Только в этом случае его болезнь отступала и он мог нормально жить и работать.

Постройка дома обошлась ему в копейку, но по теперешним временам не так уж и дорого, потому что дача эта, даже в таком плачевном состоянии, стоила теперь многие десятки тысяч.

— Продали бы вы ее, Жанна Николаевна, — советовали практические люди.

На что Жанна Купреич даже и не откликнулась, будто не слышала.

Дом этот стал для нее больше, чем просто домом для жизни, — он стал как бы живым продолжением самой Жанны Николаевны, ее раковиной, защищавшей от опасностей, которую она, эту воображаемую раковину, всюду носила в своем сознании, в памяти, не расставаясь с ней и чувствуя себя без нее незащищенной.

Она знала все его скрипы и вздохи, шорохи и постукивания, боялась этих ночных звуков, но не могла жить без детского страха, будто он делал жизнь ее интереснее и таинственнее, возвращая в детство, когда так легко было спрятаться от страхов под одеялом или заглушить их тихим криком: «Мама!» — которая обязательно просыпалась, даже если крепко спала, и приходила.

После упругих хлопков звенящих ракеток по мячу, после поражений и побед, уже на закате, усталые игроки, за которыми терпеливо наблюдали Сухоруковы, ничего не понимающие в теннисе, убрали ракетки в чехлы, подобрали зелено-желтые прыгающие мячики, похожие по цвету на пушистых утят, и по привычке направились в дом, где их ждал накрытый стол с печеньем, конфетами и горячим самоваром, который на этот раз разжигала сама Жанна Николаевна.

Она была недовольна собой, и ей хотелось быть лучше, чем она была днем, когда беспричинно разозлилась на Сухоруковых, на этих новеньких, которых привели с собой завсегдашние корта милые Антоновы. Тяжеловатые по весу, Антоновы усиленно играли в теннис, грызли все время яблоки, сорванные с ветвей, граненые яблочки сорта «белый налив», отказываясь от всего мучного и от сахара. Соблюдали они и водный режим, хотя и не отказывались от чашки чая.

Были тут и двое молодых людей, один из которых, всякий раз, промахиваясь или не успевая к мячу, досадливо кричал, с укоризной смотрел на ракетку, называя ее лопатой, вскрикивал возмущенно: «Что это я сегодня!» — как будто вчера он играл намного лучше.

Вообще, как понял любознательный Сухоруков, играли все плоховато, и игры эти скорее походили на тренировки, на физкультурные упражнения, и собирались тут люди по каким-то неясным пока причинам, как собираются преферансисты, например, отличаясь ото всех остальных людей непомерной страстью к престижной карточной игре.

В одеждах этих людей, как и самой хозяйки, преобладали белые тона. Спортивные костюмы, в которые они оделись после игр, если и были ярко-красные или голубые, то лампасы были белые, хотя тот, кто сегодня возмущался своей игрой, надел белый костюм с красными лампасами и наконец-то почувствовал себя настоящим спортсменом, уверенным в себе.

Все они давно знали друг друга и, перекидываясь словечками, шутками, здоровые и приятно усталые, понимающие друг друга с полуслова, прекрасно ориентировались в доме: мылись в душевой комнате, шумели, как будто их ждал бражный пир.

Вася Сухоруков с усмешкой озирался вокруг, разглядывая бледно-зеленые пейзажи, висящие на бревенчатых стенах гостиной. Зажгли свет, и коричневые стены засияли словно бы собственным огнем, очень теплым и душистым. Самовар шумел на подносе из желтой меди. Самовар из меди красного цвета под оранжевым абажуром, коричневый свет, разлитый в воздухе, благовоние бездымного сгоревших углей, лестница, полукружием ступеней уходящая к темному проему в высоком потолке, — все это как бы само собой подразумевало других людей, рассаживающихся за столом, в других каких-то одеждах, с обязательной бабушкой возле самовара, пьющей чай вприкуску с колотым сахаром.

— Какой интересный дом, — шепотом сказала мужу Катя Сухорукова, подавленная коричневым цветом, древесным запахом и освещением гостиной.

— А где же кошки? — громко спросил Сухоруков, не обратив внимания на шепот жены.

— Какие кошки? — живо откликнулась Жанна Николаевна.

— Какие кошки? — спросили Антоновы, которые уже и не рады были, что привели сюда этого Васюку.

Никому и в голову не пришло, что Вася Сухоруков спрашивает об обычных кошках.

— А как же тогда мыши?— опять спросил он громко и уверенно, вызвав наконец-то неуверенный смех за столом.

— Они тоже живут в этом доме,— ответила Жанна Николаевна.

— Кошки?

— Нет, мыши,— уточнила она с той радостной интонацией в голосе, какая вдруг родилась в ней, когда она уловила в вопросах этого лещеватого, сухопарого Васеньки Сухорукова одной лишь ей понятную словесную игру, которую он предлагал ей, и только ей.— Мыши живут в подполье, а сюда не приходят. Я хитрее всяких кошек! Я кормлю своих мышей, и они меня не беспокоят.

— Я тоже люблю природу,— сказала толстая супруга Антонова, жующая «белый налив». Лицо ее горело румянцем, короткие волосы, мокрые от неиссякающего пота, прилипли к коже лба. Когда все грохнули хохотом, она поправилась:— Я имею в виду все живое... А Васька охотник, ему лишь бы пустить кровь.

— Почему «лишь бы кровь»? Я ем все, что убиваю. И давно не убиваю то, чего не ем. Мышей я бы, например, ни за что не стал убивать, драгоценная моя Веруня.

К чаю был подан лимон, сочно желтеющий прозрачными дольками на зеленой керамике.

Жанна Купреич, зная вкусы своих гостей, наливала то крепкий, то жиденький чай, и лишь у Сухоруковых спросила, любят ли они крепкий.

— Я люблю кое-что и покрепче чая,— ответил Вася Сухоруков, вызвав на этот раз смущенный смех, как будто он поставил хозяйку в неловкое положение и ее надо было срочно выручать.

Но Жанна легко встала из-за стола, легко и пружинисто поднялась, мелькая беленькими джинсами, по кружившимся ступеням, щелкнула выключателем наверху, откуда хлынул тоже как будто бы белый свет, и так же легко, как матросик, сбегала вниз, держа в руке бутылку, в которой плескался коньяк. В другой руке две маленькие хрустальные рюмки, из каких когда-то пили ликеры и коньяки.

— У нас тут никто не любит,— говорила она еще на лестнице, возбужденная и очень радостная, точно делала что-то предосудительное, но приятное ей.— Я не подумала сразу, что вы... Я правильно поняла?— спросила она, ста-

ни бутылку на стол, а рюмочки возле Васи и Кати Сухоруковых.

— Не совсем,— ответил Сухоруков, смутившись.— Катенька не пьет ни капли. Я тоже не пьяница. Хотя в словаре Даля пьяница тот, кто пьет на чужие, а если на свои, то это гуляка. Так вот я, выходит дело, бываю иногда гулякой.

Все, кто сидел за столом, были очень смущены, лица и глаза сияли молчаливыми, но обжигающими какими-то улыбками. Сухоруков начинал нервничать, не понимая, что происходит, но коньяк налил в рюмку...

— Тогда налейте-ка и мне,— с явной бравадой сказала Жанна Николаевна.

И он налил и в другую, сказав с откровенностью удивленного и искреннего человека:

— Интересный у вас дом!

— Почему? Потому что никто не пьет?

— Потому что не пьете,— согласился он, напряженно склонив голову.— Потому что в доме есть початая бутылочка, не допитая до доньшка... Это приятно! У меня, например, не застаивается. А тут, я смотрю, стекло даже запылилось.

— Я забыла протереть,— сказала Жанна, тоже сияя улыбкой, как и гости ее, у которых чуть ли не слезы блестели в глазах от смущения.

— Он наговаривает на себя,— азартно вмешалась Катя Сухорукова.— Наговаривает! Он любит наговаривать на себя: и что он гуляка, и что кровожадный-беспощадный... Вы не верьте ему!

— А то, что стекло запылилось,— продолжал Вася Сухоруков,— это тоже приятно. А ты, Катенька, не делай из меня ангела.— Он поднял рюмку.— За ваш дом, Жанна Николаевна!— И тут же, пытаясь снять напряженность, какая воцарилась за столом, сказал:— В прошлом году я привез с охоты шесть уток. Катенька поджарила три штуки, остальных мы подарили друзьям. И вот приходит к нам одна милая особа, мы угощаем ее уткой, а она говорит: «Ой, я не могу ее есть, она мертвая». Помилуйте, говорю я ей, она жареная! Попробовала — понравилось, обглодала все косточки и говорит: «Вон, оказывается, чем вы питаетесь!» А ведь тоже любила природу.

Он отчетливо понимает, что не нравится сейчас мужчинам, сидящим за столом, что пришелся не ко двору, хотя и чувствует в то же время особое к нему расположение Жанны Николаевны. Он и сам себе не очень нравится, на-

чав знакомство с вызова, словно бы его могли принизить люди, играющие в теннис, в котором он не разбирается и даже ни разу не держал ракетки в руке. Он и про «кое-что покрепче» тоже ведь сказал из чувства противоречия, не рассчитывая и вовсе не желая ничего, кроме чая, который, кстати, тоже пил без всякого удовольствия. Задор, с каким он затеял странную эту игру, подчинившись Жанне Николаевне, теперь угас, интерес пропал, и он понимал, что пришло время становиться серьезным по отношению к молодым людям и к Антоновым, потому что вряд ли они простят ему его пошловатую болтовню. Во всяком случае, на их месте он уже перестал бы смущаться, особенно на месте Антонова, о жене которого он позволил себе сказать нечто не очень уважительное.

— Жалко стрелять уток,— говорит Жанна.— Глупые, но уж очень красиво летят... Что-то такое сразу меняется в мире, когда летят утки... Крылышки мелькают, посвистывают, шеи вытянуты,— полет быстрый. Я очень люблю, когда на закате увижу уток в небе,— душа радуется, и ни о чем не думаешь в эти минуты, а только: «Утки летят». И все. Их тут не тревожат, вот и разведись. Но какой-то дурак стреляет,— говорит она, глядя в полутьму за окнами.— Даже отсюда слышно. Пороть таких надо! Утки почти поверили людям, почти перестали бояться, люди им как будто сказали: идите к нам, мы вас не тронем, живите рядом, если хотите... А их все равно кто-то дробью встречает. Это ведь какое-то предательство прямо! Обман! Они поверили, а их обманули... Ну как такое можно простить? Кто ж нам после этого поверит? Я, когда слышу выстрелы, стыжусь за людей, за себя, как будто я тоже виновата. Разве можно обрывать такой красивый полет?— спрашивает она у Сухорукова, и страдальчески-удивленная улыбка старит ее, точно усталость души отражается на лице.— У меня просто все внутри вздрагивает, когда я слышу выстрелы.

Нечто большее, чем доверчивые утки, в которых стреляют охотники, волнует ее... Думает она и о себе, о своей доверчивости, об обидах, пережитых ею, и новая, еще не осознанная обида тяготит ее, будто кто-то позвал, обнадежил ее и она готова уже довериться этому зову, хотя и знает, что ждет ее впереди...

— Они как серпики в небе,— говорит она в молчании, разрываемом позвякивающим стуком чашек о блюдца.— Вы можете смеяться надо мной, я не обижусь, потому что я вас всех хорошо знаю. Я не обижусь. Это все равно

что обижаться на кошку, если она вдруг оцарапает руку.

— Какая кошка?— резко спрашивает Сухоруков, скаля в улыбке крупные резцы.

— Пошли домой,— тихо говорит ему жена.— Я пошла домой... Слышишь?

Молодой человек, имени которого не помнит Сухоруков, резко ставит чашку на блюде.

— А вам не кажется,— задиристо спрашивает он,— что вы себе много позволяете?

— Мне кажется,— отвечает Сухоруков, не глядя на задирю,— что я гость Жанны Николаевны, а не ваш, и если ей будет угодно, она мне сама покажет на дверь,— и берет сыпучее домашнее печенье, как веточку смородины, усыпанную ягодами, кладет в зубастый свой рот, запрокинув голову, зная, что этот жест еще больше разозлит молодого человека. «Глупо»,— думает между тем о самом себе и слышит голос Катьки, которая очень расстроена.

— Ну что вы! Он же здесь не стреляет! Что вы такое говорите?! Он уезжает далеко, у него охотничий билет, путевка... Как же так можно обвинять человека, не зная ничего? Я пошла домой, а ты как хочешь... Слышишь, Вася, я пошла домой,— говорит она.

Жанна Николаевна успокаивает всех.

— Ради бога!— говорит она.— Не надо! Я во всем виновата. Пожалуйста, Катенька, я прошу вас. А ты, Саша, зря кипятишься!— обращается она к молодому человеку.— Они и в самом деле мои гости. Что это такое! Я тебя не просила защищать меня. Да и кто сказал, что я нуждаюсь в защите! Что за глупость. Катенька, сядьте, пожалуйста, прошу вас... Я ведь не о вашем муже говорила, что вы!

Антоновы виновато поглядывают на Жанну Николаевну, презрительно-кисло на Сухоруковых и тоже кого-то успокаивают, о чем-то просят, называя всех ребятами, мальчиками, девочками...

Нарушена привычная атмосфера вечерних чаепитий, которая до сих пор была так безмятежна и так хорошо успокаивала, что всем участникам вечеров казалось, будто никто уже не в силах растревожить их дружественную уединенность, их избранность и в некотором роде сектантское братство интеллигентных трезвенников, объединенное страстной любовью к теннису. Чужие, ввалившиеся с глуповатыми шутками, представляются им чуть ли не стихийным бедствием, нашествием низших существ, не способных понять их увлечений, как не способны были, по выражению

Руссо, варвары, нахлынувшие в Европу, судить о том, чего они не могли чувствовать.

А Сухоруков, жуящий печенье, никак не может отделаться от мысли: людей этих объединяет скука, и ничего больше. И лишь хозяйка ему интересна. Он ловит себя на мысли, что ему хочется понравиться ей, что все его глупости, которыми он щеголяет,— лишь попытка заострить ее внимание. Он даже не прочь подраться с кем-нибудь, так остро чувствует он в себе желание покорить эту женщину.

— Если хочешь,— говорит он опечаленной жене,— иди домой, а я тут посижу немножко.— И смотрит на Жанну Николаевну, получая от нее негласное одобрение, понятное только ему одному, словно оба они только и думают весь вечер, как бы избавиться от всех прочих людей.

Но люди понимают и тоже чувствуют связь, возникшую вдруг между обожаемой ими Жанной, удивительной их Жаннетой, несравненной Жан, и этим костлявым нахалом с плоской грудью и широкими, угловатыми плечами, который, конечно же, недостоин ее внимания. Тем более что он к тому же женат.

Жанна Купреич с неприязнью чувствует добровольную опеку, которую взяли над ней друзья, и это раздражает ее, хотя она больше всего боится разочаровать их своим особенным вниманием к новенькому. Боится предстать перед ними слишком легкомысленной для своих лет, ибо она старше всех, кто собрался у нее, о чем ей горько подумать. Она вскрикнуть готова, топнуть в негодовании ножкой и как-нибудь так распорядиться собою, чтобы никто не посмел посмотреть на нее косо. «Какое им дело! Какое дело!— крутится в голове.— Что им за дело! Кто их просит?»

Выручает зашедший на огонек старый сосед Жанны Купреич. Рукастый, волосатый, всклоченный, он похож на пальму в кадке, пыльную, полуживую, скучную. Лет ему, наверное, сто.

— Крови не будет, нет...— ворчит он.— Будет пепел, если развяжется война. Один пепел...— Усаживается на диван, продолжая ворчать: — Может быть, осел поступает по-своему логичнее человека, потерявшего рассудок... Но человек остается человеком, потерявшим рассудок, а осел ослом, даже если поступки его логичнее последнего... Как бы не так! Человек, потерявший рассудок,— это осел, но не только упрямый, но и опасный. Надо это, наконец, понять! Что, Жанночка, самовар пуст? Или остыл?

— Остыл, Вячеслав Иванович, да и пуст тоже.

Все с почтением смотрят на старца, ждут от него чего-то — то ли слова, то ли действия, но, не дождавшись, Антонов спрашивает вежливо и громко, как спрашивают у глуховатых людей:

— Есть что в театре смотреть?

— Я бы не сказал, — отвечает старец.

Он зол и ворчлив, словно бы все, ради чего он старался в жизни, ради чего тратил силы и здоровье, — все это превратилось в туман, в безделицу, потому что его сверстники — люди, с которыми он жил и как бы невольно состязался, добиваясь первенства и успеха, стали дряхлыми стариками, равнодушными к славе, или умерли. А молодые, которые теперь воздавали ему по заслугам, — они ему были малоинтересны и даже вроде бы неприятны, ибо он знал, как они ошибаются, думая о нем, что он счастлив и доволен судьбой.

— Что театр! — зло говорит он. — Забыли правило: комедия — это когда люди изображаются менее значительными, чем они есть на самом деле, а трагедия — более значительными... Какой театр?! Забыто главное... Аристотелевское... Актеры не знают, что им делать!.. Им предлагают сыграть самого себя или в лучшем случае такого, как я... Зачем? Кому это нужно? Разве это театр?

Он поднимается, опираясь на толстую палку, отмахивается от помощи Антонова и Жанны Николаевны, точно хочет ударить их волосатой рукой... И уходит, разобиженный на весь свет. Но останавливается в дверях, улыбается в бороду.

— Слышал нынешним летом, — говорит он, — и видел... Слышал вопль... вопящее чириканье молодого воробушка, которого уносил ястребок... Воробьи барахтались в пыльных купальницах, а этот чертенок подлетел над самой землей, схватил одного и понес... Воробушек в когтях еще живой, вопит, жалуется... Небо ясное, день чудный, все живы и здоровы, чирикают, а ему одному погибать. Это ничуть не менее трагично и печально, чем вопль человека... Но ведь и ястребок не виноват: ему птенцов кормить надо... Я это тебе, Жанночка, зачем-то хотел рассказать... Прости старика. Воробушка жалко, вспомнил его...

Дверь на пружине захлопнулась за ним, пружина зазвенела...

Жанна смотрит на дверь, будто ждет, что старик вернется. Говорит в растерянности:

— А почему он мне это хотел рассказать? Странно. Я ничего не поняла. Какой воробушек?

На лице ее чуть заметный суеверный испуг.

— Неудобно получилось,— говорит Антонов.

— Почему? Ах, ты насчет чая! Не-ет! У нас с ним без церемоний, он дружил с отцом, когда меня еще не было. Единственный человек на свете, кто может мне рассказать, какой я была... Один остался, кто помнит...

Сегодня ей особенно не хочется оставаться в пустом громадном доме, рассчитанном на большую семью с детьми и внуками, который по воле судьбы принадлежит только Жанне Купреич.

— Я знаю одного господина,— говорит ни с того ни с сего Сухоруков, рассматривая проем в потолке, куда ведет кружащаяся лестница.— Знаю человека по фамилии Ма́кушкин. Он поправляет всякого, если его фамилию произносят с ударением на втором слоге, говорит: «Ма́кушкин!» — взглядывает с вежливой строгостью и повторяет по слогам: «Ма-куш-кин! От ма́ковки, от мака! Вот что. Прошу не путать». Только начальству не осмеливается заметить... Боятся. Начальство зовет его — Маку́шкин.

Но никто не улыбается, молодые люди смотрят на него недружелюбно, один из них хмыкает презрительно — блондинчик с розовой кожей и серыми глазами.

— Пойдемте гулять!— приглашает всех Жанна Николаевна.— Над речкой туман, коростели кричат...

Над речкой густой туман. Вся долина сумеречно светится холодным паром, над верхними слоями которого тут и там темнеют островками затопленные кусты. Отсыревший хруст коростелиного крика вспарывает тишину то в отдалении, то словно бы прямо под ногами.

Сухорукову не хочется идти в сырую прохладу — у него слабые бронхи, и он знает, как легко может схватить простуду с изнуряющим ночным кашлем, но Жанна, вся в белом, идет вниз по тропинке, размахивает руками, восторгается, читает Кольцова:

— «Не расти траве после осени, не цвести цветам зимой по́ снегу!» Тихо!— шепотом восклицает она и останавливается как вкопанная, упираясь руками в грудь идущему рядом с ней Сухорукову.— Тихо! Слышите? Утки...

В темно-синем небе, в звездах, замирают отчетливо различимые звуки: «совью-совью-совью...»

Утки летят неторопливо, но, кроме Сухорукова и Жан-

ны, никто не слышит их. Блондинчик, поправляя спортивную сумку на плече, говорит:

— Тебе послышалось, Жан! Никаких уток нет... Комары только пищат!

— Это вам не услышалось,— отвечает за нее Сухоруков, чувствуя тепло рядом стоящей Жанны Николаевны.— Интересная у вас логика! Я их не слышу — значит, их нет. Вы идеалист!

Не в словах тут дело, а в тоне, каким они были сказаны. Блондинчик парень задиристый и, как видно, ревнивый.

— А не лучше ли будет,— спрашивает он,— если вы приклеетесь к своей жене?

Сухоруков жестко смеется, очень довольный, что сумел разозлить еще раз своего неприятеля. Подходит к нему, говоря на ходу:

— Это называется вмешательство во внутренние дела... И пишутся в таких случаях ноты протеста... Но я не дипломат... У меня другие привычки.— И он хлопает парня, как лучшего своего друга, очень сильно и тяжело опуская руку на крепкое его плечо.— Я в таких случаях люблю разговаривать где-нибудь на огороде. Вы бы давно согласились с моими доводами. Где тут огород, Жанна Николаевна?

Сам он чувствует, что драки не будет, хотя ему страстно хочется подраться. Дрожь мешает совладать с собою.

— Васька, перестань!— кричит взбешенный Антонов и отталкивает его от парня.

— Мальчики!— вторит ему Веруня Антонова.— Мальчики, что это вы! Как не стыдно!

Катя Сухорукова на этот раз молчит, как и Жанна Николаевна, но вдруг резко поворачивается и почти бежит по тропинке в гору, оскорбленная поведением мужа, который, как она догадывается, задирается и с вызовом ведет себя только ради это старой Жанны, этой допотопной куклы.

Жанна Николаевна усталым голосом певуче-грустно говорит Сухорукову:

— Перестаньте рисоваться... Хватит. Что вы все время рисуетесь?— и улыбкой своей обнимает его, глядя из светлой темноты прямо в глаза, пристально и доверчиво.— Смотрите-ка!— говорит она, словно бы ничего существенного не произошло,— это Москва!

За речкой, за туманным ее одеянием, над темной гранью земли, небо светится мутной желтизной. Чуть ли не до зенита весь небосвод в той стороне пропылился призрачным светом,

в котором растворились или стали едва приметными голубые звезды. Чудится, что и туман отразил небесные свечения, что недвижимая его масса отливает глубинным светом матового халцедона.

Ничего этого не видит Сухоруков, спиной чувствуя присутствие притихшего, но не смирившегося парня, который теперь, конечно, не простит и как-нибудь доберется до него... Но когда? Бегство Катьки тоже бесит его — бегство, похожее на предательство, как он думает, потому что убегающая от мужа жена — это что-то противоестественное, как противоестественно бегство сестры милосердия от больного.

«Отпуск начался совсем неплохо,— думает он с нарочитым цинизмом.— Есть уже баба, нашлась бутылка и повернулся тот, кому можно набить морду... Совсем хорошо! Полный набор удовольствий. Главное теперь — не отступить».

— А где и кем вы работаете, Вася?— спросила его на следующий день Жанна Николаевна, добавив: — У вас очень хорошая улыбка. Я, например, все улыбки разделяю на три типа. Одни улыбаются так, что видны верхние зубы: веселая, смелая улыбка. У других видны краешки верхних и нижних зубов: это улыбка холодная и злая. А у третьих — одни лишь нижние зубы видны. Это улыбка добряцкая, простецкая. У вас улыбка первого типа... Смелая. Может, и глупо, но, когда я училась, я считала это открытием. Мне хотелось писать портреты. Увы!

— Готов поработать натурщиком,— ответил Сухоруков, отметив про себя, как она быстро забыла про свой вопрос: «Где вы работаете?» Ей до этого никакого не было дела.

Жанна Николаевна проснулась в хорошем настроении, и первой ее мыслью была мысль о том, что сегодня обязательно должен прийти Сухоруков... или, как она прозвала его про себя, гидальго Сухоруков. Себя она хотела видеть в это утро владельницей замка, а его — странствующим рыцарем.

В голубой раме неба были собраны ярко-белые облака, которые можно было при желании сосчитать. Каждая былинка на земле, каждый листик, цветок — все растущее, зреющее, летающее, прыгающее было так ясно освещено

солнцем, что казалось особенно ярким и объемным, глаза как будто бы обрели необыкновенную способность видеть красоту живого мира в цвете, объеме и картинности.

С утра она вложила намоченную бумагу в подрамник, и теперь полотно ее уже высохло, барабанно натянувшись в подрамнике. Очень хорошая, грубая, с рытой поверхностью бумага для акварели требовала цвета, мокрой кисти, маня своей нетронутостью.

Но пришел Сухоруков.

— У вас есть коса?— спросил он.

— Коса?— Жанна Николаевна подумала о своей прическе.— Ах, коса! Траву косить? Где-то была... Конечно, есть!— восторженно сказала она.— Вы хотите скосить траву? Вы умеете? Невероятно!

А когда он, кое-как наточив заржавевшую косу, обкашивал ею, а точнее сказать, обрубал старую траву вокруг сухих яблонь, а потом около разросшейся вдоль забора малины, оголяя землю, Жанна Николаевна пожалела, что дала ему косу. Хотя и понимала, что трава уже глушила самое себя и надо было, как это когда-то делал отец, пустить в рост отаву.

Сухоруков разделся по пояс, худая, ребрастая его грудь с длинными ключицами играла мышцами при каждом взмахе; длинные руки, от плеч до кистей перевитые продолговатыми мускулами и вздувшимися венами, неустанно и как будто бы привычно махали косою. Торс его лоснился от пота, поблескивая в солнечном освещении.

Это был совсем другой человек!

Ржавая коса, почерневшая от травяного сока, наконец остановилась, застряла в жестких стеблях голубого цикория, Сухоруков поднял ее вверх, подхватив пучок травы, которым он по-крестьянски точно и сноровисто обтер мокрое от сока лезвие.

Жанна Купреич, с запровленной в волосы скошенной ромашкой, всплеснула руками, не веря своим глазам.

— Откуда это вы научились, где?— спросила она с таким удивлением, словно только что стала свидетельницей фантастического фокуса.

А Сухоруков, запыхавшийся от работы, прерывисто засмеялся, оскалив большие верхние зубы.

— Всё умём!— сказал он в радостном смехе.— Всё умём! Косить, рубить, рубанить, хорохорить!— скороговоркой выпалил он, не переставая смеяться.— Косить, рубить, рубанить, хорохорить.

Жанна Николаевна, не понимая, что с ней происходит, подошла вплотную к этому красивому в работе человеку и, опьяненная запахами травяного сока, запахом разгоряченного тела, сказала ему в ослепительном каком-то сумасшествии, удивленно и испуганно:

— Вы мне очень нравитесь... Слушайте, вы мне очень нравитесь! Честное слово!

— Я знаю,— смеясь, ответил ей Сухоруков.— Вы мне тоже, черт побери!

Она смотрела на него в растерянности, будто что-то старалась вспомнить и не могла этого сделать. Что-то очень важное надо было вспомнить! Но память отшибло. А он разглядывал ее так, как если бы только что увидел. Нос в первую очередь бросился ему в глаза: узенький, он, казалось, торчал на ее лице, обращая на себя внимание плоскими, сплюсненными с боков ноздрями, точно она носила на кончике своего носа зажимку для белья, которую недавно сняла. Некрасивый, в сущности, слишком выдающийся на лице нос, который, как это ни странно, так гармонично вписывался в пластику лица, что именно он, некрасивый нос, делал женщину особенно привлекательной, придавая ей черты какого-то очаровательного любопытства, будто все в жизни ей было интересно, будто она и жила на свете только для того, чтобы узнать, почувствовать, ощутить что-то новенькое, еще не изведенное ею.

— Ладно,— сказал Сухоруков, опираясь на косу.— С нами все понятно. Я вам нравлюсь, вы мне нравитесь. Но вот вам подарок! Оглянитесь, идет свидетель вашего молочного детства, ваших слез и первого «агу».

Старик подошел и зверски оглядел полураздетого Сухорукова, опиравшегося на косу.

— Кого-то вы мне напоминаете,— проворчал он.— Вам бы еще саван.

— Ха!

Но старик уже не обращал на него внимания, вычеркнув из сознания. Он поцеловал Жанну в щеку, взял ее под локоток и, приглашая пройти, почувствовал вдруг ее сопротивление, хрипло прокашлялся, сказал:

— Ну ладно... Это ничего... Вот говорят: «человек он ищущий». Это, может быть, и так. Но бывает, человек не себя, не свое место в жизни ищет, а талант, которым он, увы, не одарен. Талант ведь не найти, если его нет. И получается, что человек становится лишним на земле. Почему ты не смеешься?— спросил он в ворчливой своей манере раз-

говаривать.— Ведь о человеке-то все с почтением говорят: «Он ищущий!» А кто воистину одарен, ходит неприкаянным. Я еще прошлым летом хотел тебе об этом сказать, да забыл... А ты, например, можешь себе представить врача, ушедшего на пенсию?

— Я знаю таких!— удивленно ответила Жанна, не скрывая нетерпения.— А что вы имеете в виду?

— Так это значит, он никогда не был врачом! Калечил людей, а не лечил! У истинного врача только-только накапливается опыт с шестидесяти. Я тоже знал, так сказать, врачей, мечтающих о пенсии. Это ж кошунство!

— Вячеслав Иванович! Вы так загадочно высказываетесь, что я ничего не могу понять. Ничегошеньки!— сказала она, оснащая слова свои неестественным смехом.

Старик почувствовал это, разозлился, уставился почему-то на Сухорукова.

— Можно понять людей, обученных только условным рефлексам!— сказал он и стал очень похож на сухую, колючую пальму в кадке.— Их жалко, конечно! Они приспособлены только для частной жизни: условный рефлекс — вершина их мозговой деятельности. Что ж тут поделаешь! Жалко! Они не достойны большего. И мы тоже туда!— крикнул он Жанне Купреич и взмахнул палкой.

Видно было, что Жанна Николаевна давно уже привыкла к стариковской грубости, к его необузданной вспыльчивости, но на этот раз была смущена: ей в конце концов надоело быть похожей на подопечную, на этакую овечку, оберегаемую добровольными пастырями.

«Мне нужна собака!— хотелось вскричать ей в гневе.— Мне нужна собака, но только такая, какая мне нужна!»

К счастью, она сумела побороть в себе злость и сумела спросить:

— А разве хорошо, когда рефлекс не срабатывает?— И даже сумела хорошо улыбнуться.— Это ведь говорит о полной безнадежности? Или я опять ничего не поняла?

— Жанночка, милая!— взмолился старик.— Я прошлым летом шел по улице, а сзади меня шли молодые ребята с девушками и орали под гитару: «Был брюнет-нет-нет, стал седым-дым-дым и погиб-гиб-гиб от вина!» Ты все правильно поняла! Там дальше такие слова: «Не качай мне вслед, головой-вой-вой...» Как тебе нравится? Кто-то пишет эти, с позволения сказать, песенки, кто-то сочиняет «вой-вой», а раз так — надо брать гитару и повторять «вой-вой, гиб-гиб, дым-дым...». Условный рефлекс! Он сра-

ботал! И ребята эти не падшие, нет... Они обыкновенные, потому что нет, как известно, падения у тех, кто не способен на взлеты. Я не могу учить людей... Жизнь так коротка, что человек не успевает набраться опыта, чтобы учить других. Молодой или старый — это понятие относительное... Все мы молодые и даже юные! Все! И я тоже не успел ничегошеньки и, как ты говоришь, ничегошеньки не понимаю! Ты умница, ты очень искренно призналась мне в своем непонимании. Я молодею день ото дня и тоже ничего не стал понимать. «Ничего не стал понимать!» Разве можно так говорить? Это все равно, как сказала одна иностранка, изучавшая русский язык: «В ближайшее будущее время»... Так вот, Жанночка, я тоже, наверное, «в ближайшее будущее время» сойду с ума оттого, что перестал понимать жизнь. Или я всего-навсего вырождаюсь?

— Вам, наверное, не удалась...— начал было Сухоруков, но старик злобно и быстро прервал его и спросил:

— Жизнь? Э-э, нет, молодой человек. Жизнь мне удалась! У меня было много радостей в жизни. Я не знаю, не имею права сказать о себе, что я был счастлив. Но я пытался всегда оставаться человеком даже в самых тяжелых условиях существования. Разве есть радость выше этой? Звук радости — это, конечно, смех, но смех — еще не радость. Кто-то хорошо сказал: фотография, конечно, искусство, но искусство — не фотография. Так и тут! Смех, веселье, всякие там «гиб-гиб, вой-вой» — это не радость, а самое примитивное веселье. Это можно и спьяну орать! А радость и пьянство — вещи несовместимые! У меня же было много радостей в жизни... Вы говорите — не удалась! Я же считаю, удалась! Обо мне люди могут сказать, что я был счастливым человеком. Но я на это не имею права, потому что счастьем награждают люди, а радостью — мое общение с высшей материей, общение с прекрасным. Вот что я вам доложу, молодой человек.

— Я имел в виду книгу,— отчеканил холодно и бесстрастно Сухоруков.

— Какую книгу?

— Которую вы не написали... Вы ведь начали ее?

— А почему я должен был написать книгу? Что за чушь! Впрочем,— старик взмахнул руками, стукнул палкой о землю.— Впрочем, вы что-то такое сказали. Книга! В каком смысле книга? Бросьте, пожалуйста, косу!— крикнул он раздраженно.— Что вы ухватились за нее, будто ре-

шились натворить бед? Книга? А что книга? Лозунг первых символистов знаете?

— Нет.

— Вот! А они говорили так: «Мир создан для того, чтобы привести нас к хорошей книге». Ни больше ни меньше! В году триста шестьдесят пять дней, и все они, представьте себе, все — только для того, чтобы подвинуть какого-то психопата к написанию своей книги. Кошмар! А ведь психопаты, как правило, составляют кучки. Это здоровый ум способен обходиться без костылей, а те нет: они роятся, табунятся, размножаются... им нужен весь мир, чтобы прийти каждому к своей книге... Это же выродки! Пограничные жители — на грани здравого смысла и помешательства. Наполеоны! Проститутки! У них у всех нравственное помешательство... Неужели вы этого не понимаете, когда говорите, что мне не удалась книга? Какая книга?! Вздор! Навоз! Уши вянут!

Старик раскричался, лицо его покраснелось, как у настоящего воина; он был, видимо, очень еще здоров, если в свои годы позволял себе так напрягать нервную систему, мозг и сердце, мог так злиться, кричать и при этом сверлить зверским взглядом своего противника, коим нежданно-негаданно оказался Сухоруков. Он стоял перед стариком с поднятой косой и, бледный от непонятого, тревожного какого-то страха перед этим взбесившимся дьяволом, пытался его остановить словом, но, кроме «да нет», «да я», ничего не мог сказать и оттого тоже начинал злиться.

Жанна Николаевна стояла в безмолвии и переводила взгляд с одного на другого, не в силах понять причины всеобщей злости, какую вызывал в людях этот приятный и горделивый человек, которого она видела второй раз в жизни. «Странствующий рыцарь», как она окрестила Сухорукова, сильно действовал на людей, а точнее сказать, на мужчин, таинственным образом возбуждая в них агрессивность. Она еще никогда не видела Вячеслава Ивановича в таком бешенстве. Казалось, будто в поле зрения старика попал давно искомый объект, на котором он хотел выместить всю свою ненависть, накопленную за долгие годы жизни, будто Сухоруков был олицетворением зла, его сверкающим самородком, и именно он должен был поплатиться за всеобщее зло, рассыпанное крупинками по грешной земле.

Неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы на корт не пришли Антоновы.

— А вы не заметили, молодой человек,— визгливо сказал вдруг иссякший в своей злобе старик,— что все наши модные поэты, пик их славы совпал с тем временем, когда были модны мини-юбки? Совпадение или мистика? Если вы того же сорта, вы безнадежно опоздали. Мини-юбки теперь вульгарны. Подумайте об этом!

— Я из другой фирмы,— ответил с дрожью в голосе Сухоруков.

— Ах, ах, ах! Все понятно! Это я слышал прошлым летом,— кривляясь, проворчала пальма, раскачиваясь в кадке.— Одна пятилетняя девочка рассказывала о папе-строителе. «Папа так измучился... Погибает совсем на своей стройке... Один с шестого этажа упал за своим валенком...» — «Как это за валенком?» — «Валенок упал с ноги, а он за валенком». — «Разбился?» — «Погиб совсем... А другой позвонил папе и говорит, я не могу прийти на работу, у меня сегодня дети родились... Старый! Уже сорок лет! А у него дети родились». Чудесная девочка! И мысли и чувства — все в ее рассказе. А что есть предмет поэзии? Человек с его образом мыслей и чувствами.

— И с валенками,— сказал Сухоруков, тут же пожалев об этом.

Старик примолк ненадолго, а потом сказал, махнув рукой и как бы подводя итог:

— Девочка маленькая, чуть побольше валенка, а ведь знает о жизни больше, чем мы с вами. А вы говорите — книга! Простите, а где же ваша милая супруга? Что-то я ее не вижу.

— С ней все в порядке,— ответил Сухоруков, умолчав о том, что Катя вчера вечером уехала в Москву.

— Вы молодец,— благодарно шепнула Жанна Николаевна.— А я боялась, сорветесь. Молодец!

Старик здоровался с Антоновыми, те делали вид, что ждут откровений, улыбались ему, застыв со своими ракетками и сумками, перестав жевать яблоки.

«А жизнь я знаю,— думал тем временем Сухоруков, с угрозой глядя в большую круглую спину, обтянутую малиновым джемпером.— Я знаю такое, о чем тебе, книжная душа, и не снилось!»

— Кто он?— тоже шепотом спросил он у Жанны Николаевны, не спуская глаз со старика.

— Критик.

— А фамилия?

— Садиков. Когда-то его знали и боялись. Вы попали в больное место. Я понимаю: нечаянно, но это самое больное... Ему действительно не удалась, как вы сказали, книга. Но он добрый! — тихо воскликнула она. — И очень любит меня, ведет себя, как мой опекун.

— Что он добрый, я догадываюсь, — сказал Сухоруков очень серьезно. — А я дурею от обиды, если меня не любят добрые люди. Какой-то рок! Меня не любят именно добрые люди. Мне самому хотелось бы их любить, но они не любят. В чем дело? И этот, вчерашний, как его зовут, тоже ведь добрый малый, если разобраться... Почему бы, спрашивается, быть ему злым? Вы тут живете все, как в инкубаторе. Вы обязаны быть добрыми, черт возьми! Клевать и попискивать, клевать и радовать всех, кто берет вас на руки... Откуда же такая злость?! Кто вас обидел? Этого, Садикова, например? Фамилия интересная, — добавил он, снимая усмешкой грусть. — Садиков! Казалось бы — сад, от слова с а д, а слышится — садизм...

— Мне это не приходило в голову... Бросьте вы, в самом деле, свою косу! Вы и так уже погубили столько цветов. Вот, например, видите, какой голубенький? Это цикорий... Для вас, наверно, всё — трава. Траву, конечно, не жалко, а если у каждой травинки есть название? Если это — цикорий, а это — ромашка, или это, например, — козлобородник, а это — это я не помню, как зовут. Знаю, но не помню, — Жанна Николаевна подняла из скошенной травы лиловато-бурый, невзрачный цветок, похожий на ольховую шишечку, задумчиво поднесла к длинному своему носу. — Как же его имя? Ах, да! Черноголовка!

Сухоруков усмехнулся и недоверчиво посмотрел на цветок.

— Название знакомо, — сказал он.

— Черноголовка?

— Нет, я имею в виду ромашку. А это — первый раз слышу! У меня дед, между прочим, был крестьянином, работал в колхозе, пока не убили на войне... Для меня всё — трава. А цветы дарят женщинам. Я еще не успел выродиться. Хорошо или плохо? Не знаю, но не успел.

— Опять рисуетесь? — с вежливой укоризной спросила Жанна Николаевна. — Вас надо уводить подальше от людей. Пойдемте-ка со мной на этюды...

И он согласился.

Они ушли незаметно, оставив дом нараспашку, их хва-

тились только в сумерках, забеспокоились, но, не зная, что подумать и как себя вести, разбрелись по домам, осуждая и Жанну Купреич, и Сухорукова, которые могли бы, конечно, предупредить, что уходят и чтоб их не ждали. Всем было очень обидно еще и потому, что наступал понедельник, а вечером в воскресенье Жанна Николаевна обычно звала всех на чай, и всегда в этот вечер было весело. Люди чувствовали себя так, будто их надули, будто бы то, что по праву принадлежало им всем, присвоил себе чужой человек.

— А кто он такой?— спрашивали у Антоновых, которые были расстроены больше других. Спрашивали так, точно именно они были во всем виноваты.

— Мы сами ничего не понимаем!— отвечал Антонов.

— Мы сами ничего не понимаем,— отвечала Антонова.

И оба они при этом были предельно искренни, ибо знали Сухорукова чуть ли не со школьных лет, знали, что у него две правительственные награды и сколько-то номерных патентов, знали, что он работает там, куда не проникал еще ни один журналист, а уж тем более литератор, хотя и призывают критики их писать о людях дела, знали Сухорукова так хорошо, что им и не важно было, где он работает, чем занимается конкретно. И были по-своему правы. А уж коль оказался в поле нашего зрения старый критик, которого когда-то боялись и знали, я позволю себе, уважаемый и терпеливый мой читатель, отвлечься немного от рассказа и задаться естественным в данном случае вопросом: как же мне быть со своим героем? Я ведь тоже совершенно не представляю себе, чем он занимается у себя на работе. Не бросать же мне этого, по-моему, интересного человека на полдороге только потому, что в силу объективных причин я не имею права знать о нем как о человеке дела. Хотя я и догадываюсь, что Сухоруков занимается чрезвычайно важным и нужным для страны делом, от которого, может быть, зависит наше будущее, особенно если учесть современную обстановку в мире. Меня, признаться, не раз уж обвиняли критики, что я ухожу от этого важного в характеристике человека, основополагающего звена жизни, обозначая очень неопределенно род занятий персонажей своих рассказов и повестей. С критикой нельзя не соглашаться, и это известно каждому нашему человеку. Но представьте себе, пожалуйста, мое положение! В жизни своей я досконально знаю одну лишь профессию, тонкостям которой когда-то учился у старых, ныне покойных уже мастеров, и если не ахти как преуспел в ней, работая лепщиком-

модельщиком с восемнадцати и до двадцати пяти лет, то все-таки сделал своими руками довольно много моделей, среди которых были и весьма сложные. На некоторых фасадах московских зданий я до сих пор вижу свои барельефы, пилястровые капители, кронштейны и гирлянды, которые сам когда-то устанавливал, хотя большая часть моих моделей предназначалась для отделки интерьера — всякие там потолочные розетки, «порезки», как мы называли лепные карнизы, протянутые по периметру комнат под потолками, увидеть которые мне, увы, уже никогда, наверное, не удастся... Есть мои работы и в Ангарске. И когда однажды побывал там, будучи уже литератором, я был печально удивлен, увидев на фасаде здания давние свои работы... Но что же мне делать теперь? Я, например, считаю, что рассказывать людям, не искажая правды (а это является главным критерием оценки любого сочинения), можно только лишь о том, что ты сам знаешь так хорошо, как мало кто другой знает. А ведь не вам мне говорить, уважаемый мой читатель, что для досконального знания какой-либо профессии, самой что ни на есть простой, самой доступной для понимания, нужно все-таки хотя бы годик отдать ей, а уж потом написать о людях этой профессии, да так, чтобы ни один специалист не усомнился в правде. Такой путь возможен, конечно, особенно если у литератора нет за плечами никакой профессии, кроме его занятий литературой. Но что-то мне не верится, что человек, поступивший на какую-либо работу с целью изучить ее тонкости, сумеет в конце концов написать что-нибудь интересное и нужное людям. Он наверняка увязнет в подробностях технологии производства, которые ему, человеку со стороны, будут казаться чрезвычайно важными и интересными, он наверняка будет похож в своей будущей литературной работе на человека, впервые знакомящегося с достижениями мировой культуры и мнящего себя энциклопедически образованным просветителем. Вы, наверное, и сами встречались с этими милыми людьми, которые при всяком удобном случае стараются во что бы то ни стало рассказать вам о своих новых знаниях, свежесть и непрочность которых говорит только о простодушии новоявленного миссионера. Но бог с ними! Любые знания полезны, и надо только приветствовать тягу к ним. Другое дело — писатель!

Неужели серьезные критики моих несовершенных сочинений толкают меня к тому, чтобы я писал лишь о той далекой поре, когда я работал на стройках лепщиком-модельщиком, зная и дело, и психологию людей, занимающихся

этим делом? Жизнь так многообразна, люди, среди которых я живу, так интересны, а мне — только лепку, только лепщиков, профессия которых, можно сказать, давно уже стала одним лишь воспоминанием! Неужели не будет никакой пощадь? Не может этого быть! Я скорее соглашусь с неприятным и ворчливым типом, фамилия которого Садиков и который когда-то наводил страх на писателей и поэтов. Не его, конечно, формулировка, но раз уж именно он произнес эту фразу, то я и повторяю за ним, потому что, мне кажется, она заключает в себе серьезный подход к делу. Я просто процитирую Вячеслава Ивановича Садикова. «А что есть предмет поэзии?» — спросил он, имея в виду, конечно, аристотелевское значение слова поэзия. И сам себе ответил: — Человек с его образом мыслей и чувствами». И я с ним согласен, потому что он очень тонко подметил, сказав именно об образе мыслей, а не просто о мыслях. Образ мыслей ведь может вовсе и не обозначать сами мысли? Может быть, нам интереснее порой наблюдать, как и коим образом мыслит человек, а не о чем он мыслит? Может быть, Садиков, произнося чужую эту фразу, именно это и имел в виду? А что значит: как и каким образом мыслит человек? Ответ на этот вопрос чрезвычайно прост. То есть правильно, с точки зрения наблюдателя, или неправильно мыслит тот или иной человек, соотносясь с действительностью. Вот вам уже и связка между людьми. Вот уже и интерес к ним. Ведь, по совести говоря, всякому ли читателю, берущему в руки книгу после основной своей работы, интересно следить за развитием чистой мысли? Он, наверное, взял бы в таком случае не беллетристическое сочинение, а, например, какое-нибудь социологическое исследование, не роман, не повесть, не рассказ, а, например... Ну я не знаю, что, например! А уж если он взял беллетристическую книгу, то захочет, конечно, увидеть, почувствовать, каким именно образом человек размышляет, какой этот человек, захочет понять, правильно ли он ведет себя по отношению к другим людям или ошибается, и к чему приводят его ошибки...

Впрочем, все это вы, уважаемый мой читатель, и сами хорошо знаете, и не мне вам объяснять отличие беллетристического сочинения от любого другого. Тем более, надо сказать, что уже известный нам критик Садиков, помнится, тоже высказал... Впрочем, боюсь, что и на этот раз не свою собственную мысль, но все-таки высказал, о чем я просто не успел по ходу рассказа сообщить вам, решив, что это ни к чему... Он сказал в тот вечер, помните, когда все пили

чай и Сухорукову было не до старика, что... дай бог памяти! Ах да, он тогда пытался объяснить разницу между наукой и искусством. Он говорил, что художник (тоже имея в виду аристотелевское значение) задает вопросы действительности и сам же на эти вопросы, как умеет, отвечает. А ученый, дескать, тоже задает вопросы действительности, но путем сложных исследований и опытов получает ответы от самой же действительности. Так что, дескать, изучать реальность, основываясь на каком-нибудь художественном произведении, невозможно, потому что мы изучим в таком случае только лишь самого художника и его душу. В то же время как с помощью науки мы можем эту реальность изучить. И что, мол, поэтому искусство всегда субъективно, а наука объективна.

Обидно, конечно, слушать такое, но трудно не согласиться! Хотя, как вы знаете, есть у нас и такие писатели, которые успешно применяют в своей работе научный метод в подходе к реальной действительности и, используя беллетристические приемы, создают такие произведения, прочитав которые читатель может получить вполне объективное представление о том отрезке нашей истории, какой интересовал автора по тем или иным причинам. И писателей этих становится с каждым годом больше, хотя ворчливый Садиков и слышать не хочет о них, уверяя, что если ему будет нужно, то он обойдется без художественной обработки, а изучит события истории прямым путем, по документам, какие использовал сам автор книги, и что, дескать, это будет гораздо интереснее и, главное, полезнее.

Не знаю! Тут мне трудно судить, я никогда не работал с архивами и не умею это делать. Но все-таки согласиться полностью с мнением Садикова не могу, потому что подобные книги, конечно же, расширяют знания людей, а раз так, то и слава авторам, которые просвещают народ. И пусть они по сути своей ученые, а не художники! Ведь согласитесь со мной, много ли найдется людей, которые по первоисточникам будут изучать интересующий их период истории или историческую личность? Нет, конечно. Авторы же популярных книг значительно упрощают проблему, если, конечно, сами добросовестны до щепетильности.

Да, но все это я говорю лишь кстати, как бы между строк, хотя, признаюсь, и с некоторой хитростью, потому что вдруг подумал: найдется ведь критик, который опять прикнопит меня за то, что я не обозначил, не раскрыл профессию своего героя. А как, спрашивается, я могу рас-

крыть, если Сухоруков никогда не рассказывает ничего о своем деле, а попасть в то учреждение, где он работает, мне невозможно? Человек же он для меня интересный, а раз интересный, то и симпатичный... Сколько таких! Хотя есть люди интересные, но несимпатичные... Вон даже Садиков, прочитавший за свою жизнь огромное количество книг, и то говорит, приводя опять чьи-то слова, что, дескать, человек существо интересное, но несимпатичное. Впрочем, кажется, и сам он не согласен с этим, потому что терпеть не может афоризмов, уверяя, что афоризмы уводят человека от истины и тормозят процесс мышления, что, дескать, это палки в колесах мысли... Но уж это, по-моему, слишком суровое суждение! Он вообще любит оригинальничать, и ничего тут с ним не поделаешь. Он, например, уверяет, что Чехов, говоря о краткости, которая приходится сестрой таланту, задурил головы многим нашим современникам. Неловко даже повторять за ним эту не продуманную до конца мысль, но он всерьез уверяет, что Чехов имел в виду совсем другое, объясняя это «другое» на очень сомнительном примере. Дескать, стальная пружина, состоящая из трех витков, может быть в сто раз длиннее пружины, состоящей из пятнадцати витков, если эта трехвитковая пружина расслаблена, не напряжена. И что, мол, напряженная пружина, состоящая хотя бы из пятидесяти витков, короче и энергичнее, чем вялая трехвитковая. Понять это, конечно, можно, но все-таки Садиков опять тут, наверное, ополчился на высказывание Чехова только лишь потому, что оно афористично, а он этого терпеть не мог.

Кстати сказать, когда Жанна Николаевна и Сухоруков ушли из дома, не предупредив никого об этом, Садикова уже не было на участке. Он ушел в свой дом, который стоял рядом, за забором, и железная крыша которого была темно-малинового цвета, как и джемпер на плечах самого хозяина. Джемпер ручной вязки, давно уже протертый на локтях, был заштопан черной шерстяной ниткой, но и штопка тоже протерлась до дыр. Комочки свалявшейся шерсти, распущенные нитки, пух превратили джемпер в какую-то грязновато-малиновую вытертую шкуру, и пахло от этой шкуры, как полагается, застарелой кислятиной: Садиков словно бы и спать ложился в джемпере. Походка у него была торопливая, но, увы, ходил он очень медленно, часто переставляя ноги, делая при этом коротенькие шажочки и как-то судорожно подергивая чуть откинутыми назад и в стороны мощными руками. Палку свою он как бы только

носил с собой, а не опирался на нее в ходьбе. Она так же судорожно волочилась по земле и по асфальту, издавая чиркающие звуки металлическим наконечником. И при всей этой мнимой торопливости шага, при всей, казалось бы, старческой беспомощности таилось в его сутулой фигуре сверхъестественное сильное начало... Особенно заметно это было, когда он начинал ходьбу, когда делал первый шаг. Создавалось у всех такое впечатление, будто он уходил с твердым намерением дошагать пешком до Москвы, будто это какой-то тяжелый, одетый панцирем жук, с трудом передвигающийся по земле, но в любой момент готовый раскрыть свой панцирь, выпустить прозрачные крылья и, загудев, полететь. Именно энергия жука и смущала всех, кто знал этого старика, непонятная и пугающая энергия насекомого.

В темноте деревянный дом, нагретый солнцем, чернел на взгорье тенью, какую кладет лишь лунный свет. В эту тень вошли двое, поднявшиеся из тумана по тропинке, их поглотила теплая тьма, пропахшая старым сухим деревом... Ощупью, не зажигая света, поднялись они по полукружью лестницы на второй этаж... И когда поднимались, какой-то твердый предмет стучался о перила, издавая резкий звук, да скрипели ступени.

Нетрудно, конечно, догадаться, что это были Жанна Купрейч и Вася Сухоруков. Почему они не зажигали света, сказать трудно, но, видимо, Жанна Николаевна, ошеломленная всем, что произошло, боялась теперь света, боялась обнаружить себя рядом с молодым мужчиной, который оказался гораздо более решительным, чем она могла ожидать.

В комнате, куда они поднялись, или в верхней гостиной, как называлась эта комната большого дома, висело на стене овальное зеркало, металлически-холодно в темноте отразившее смутный свет ночного неба над Москвой.

— Я ни черта не вижу,— сказал Сухоруков, наткнувшись коленом на стул, который с грохотом упал.

Щелкнул выключатель, и вспыхнула яркая трехрожковая люстра, осветившая коричнево-красный щелястый потолок.

Сухоруков увидел женщину, держащую его за руку, и, жмурясь, огляделся. Пейзажи в деревянных некрашенных рамах, зеркало, стол, продавленный диван, кресло, стекла, в которых отражалась люстра,— летняя комната с дощатыми стенами.

Он был очень голоден.

— Садись, я сейчас,— сказала ему Жан, тоже жмурясь от света и улыбаясь при этом так, будто стояла под душем, стыдясь своей наготы.

Он увидел себя в зеркале и нахмурился, подумав о всех тех неприятностях, какие ждали его завтра. Мусорная яма возникла в сознании, в которой копошились все эти неприятности, похожие на серых, шуршащих, царапающихся, попискивающих крыс. Он никак не мог избавиться от ощущения, что в комнате, в которой он остался один, есть еще кто-то, притаившийся в пространстве. Увидел свое отражение в волнистом черном стекле, подумал, как далеко сейчас видно это освещенное голое окно, каким ярким четырехугольником сияет оно во тьме ночи, и сел на диван, на оранжевое пикейное покрывало, чувствуя тошноту и головокружение. Рядом с ним на диване лежал светло-желтый плоский этюдник. Лестница, которую он видел вчера из нижней гостиной, тихими услужливыми ступенями простиралась у его ног, сбегая в потемки. Проем, который он тоже видел только снизу, теперь темным пространством, обрамленным прочной деревянной полустенкой, разверзся пропастью под ним... На двери пейзаж: весенние кусты цветущего орешника с длинными червячками сережек на ветках. Какие-то птички с оранжевой грудкой сидят на ветке. Непонятно было, куда вела эта дверь с пейзажем. Вспомнил почему-то человека, с которым давно отдыхал в Крыму. Тот выпивал по несколько бутылок пепси-колы в день, гладил себя по животу, в котором все время бурчало, и говорил: «Кому чего надо, то и берет,— печенка свое, селезенка свое... работают!» Тогда, живя с ним рядом, готов был убить его, а теперь, вспомнив, внутренне улыбнулся, проглотив голодную слюну.

И вдруг, как ему почудилось, стал заваливаться набок, стена с пейзажами шатнулась, поплыла куда-то вбок... Он испугался, но еще больше испугался, когда понял, что это медленно открывается дверь в стене и оттуда, из дверного проема, выходит женщина в длиннополом, белом, тяжелом купальном халате, держа в руках поднос... Распушенные волосы...

— Это что такое? Откуда вы?— спрашивает он, ничего не понимая.— Ты откуда?

— Я могла бы войти и оттуда,— с улыбкой отвечает Жанна Николаевна, кивая куда-то в угол, за диван, на

котором сидит ошеломленный Сухоруков, слыша, как сердце частит в груди.

В углу тоже едва заметная, такая же дощатая, некрашенная, как и медвяно-коричневые стены, узенькая дверь, на которой тоже висит пейзаж: темные елки на последнем снегу.

— Я прохожу сквозь стены,— певуче говорит счастливая Жан, шутливо объясняя свое неожиданное появление.

А Сухорукову и в самом деле страшно смотреть на нее, будто она и не думает шутить.

— Да,— говорит он, чувствуя себя неважно.— День чудес!— Тошнота усиливается, и голова забита шуршащим мусором.

Ему даже не хочется встать и посмотреть, откуда она пришла. На подносе винегрет в глубоких керамических посудинках, желтые лепестки сыра, хлеб, вчерашняя бутылка с коньяком. Это как раз то, что сейчас ему просто необходимо, он с жадностью думает, что коньяка маловато. Слишком трезвый какой-то день, слишком трезвые чувства и дела...

— Ну и ну!— говорит он, бодрясь.— Она у тебя бездонная. Я ведь вчера откушал, и чтоб после меня не показалось донышко? Позор на мою голову. Может быть, ты колдунья?

— Может быть, и так,— отвечает Жан. Складки на ее халате волнуются, плывут бледно-голубые махровые узоры... Она садится в кресло, откидываясь на высокую спинку, кивает на поднос.— Ухаживай за мной,— говорит она в счастливом изнеможении.

Рядом с креслом тумбочка, старая, с облезлой фанеровкой, а на тумбочке журнал и фарфоровый ночник — ушастенькая белая сова.

— Что с тобой?— слышит Сухоруков голос женщины, послушаться которую он уже не смеет.— Почему ты закрыл глаза? Голова?

А он закрыл глаза, потому что разбегающееся, мерцающее сияние появилось вдруг в периферийных зонах зрительного поля, которое не исчезло, когда он закрыл глаза, а стало как будто еще сильнее сиять и искриться.

— Все в порядке. Барахлит одна системка. Чепуха!— задумчиво говорит Сухоруков, открыв глаза и замечая, как сияющий этот круг сужает пространство перед широко раскрытыми глазами. С ним было однажды такое, он сидел на конференции в зале, освещенном большой люстрой, слу-

шал чье-то выступление, и вдруг подкралось напугавшее его тогда сияние. В тот раз он охладил виски водой, и искрение постепенно прошло. Он тогда понял, что это случилось от переутомления. Теперь, наверное, тоже. Глаза как будто горели, подоженные разлетающимися в стороны искрами.— Перегрелся один приборчик,— повторяет он бодреньким тоном.— Надо бы охладить. Где у тебя вода? Внизу?

Он сидит в искрящемся мире, потрясенный всем, что случилось, и, забыв о Катьке, будто ее и не было никогда, чувствует себя летящим с бешеной космической скоростью в плотных слоях неземной какой-то атмосферы, от столкновения с которой обшивка его начинает гореть.

Жанна Николаевна сбегала вниз, сует ему в руки тонкий стакан с голубой холодной водой. Он льет мягкую эту воду на ладонь, прикладывает мокрую ладонь к вискам и ко лбу, к глазам, жжение в которых настолько сильно, что грозит аварией.

— У меня эта системка,— с ухмылкой говорит Сухоруков,— начинает барахлить в самые неподходящие моменты. Вроде бы рассчитана на перегрузки. Кстати, ты слышала, как теперь называют страх? Нет? Говорят: эмоциональные перегрузки... Совсем не страшно, хотя и длинновато, может быть. Надо же, залил тебе пол... Вот такая у меня реакция на просьбу поухаживать... Придется все-таки заняться тебе,— говорит он, вытирая лицо платком.— У тебя это лучше получится... Все знаменитые шеф-повары мужчины, но когда меня кормит мужчина, я с этим не соглашаюсь. Из женских рук вкуснее.

— Тебе надо отдохнуть,— шепчет ему Жанна.— Ты устал.

— Да? Приятно слышать,— откликается Сухоруков.— Мне еще никто не говорил, что я устал. Оказывается, это приятней слышать, чем «давай, давай». Ты все знаешь,— задумчиво говорит он, вглядываясь в лицо этой женщины, которая на корточках сидит перед ним, положив руки на острые его, костистые колени.— Все знаешь...

— Ты очень несовременный,— слышит он ее ласкающий голос, и почему-то ему тоже приятно это слышать, хотя он и сопротивляется.

— Не-ет,— говорит он.— Не-ет, увы...

— Я всю жизнь мечтала о таком решительном и сильном, как ты.— Она вдруг легко и пружинисто взлетает над ним, обдавая душистым воздухом, включает фарфоровую сову,

которая желтым комочком светится на тумбочке. Стремительно и бесшумно перелетев к стене, щелкает штепселем и опять опускается перед ним на корточки.— Очень яркий свет,— говорит она, упираясь подбородком в его колени.

Она выключила люстру, но Сухорукову чудится, что света от этого не убавилось... Комочек пустотелого фарфора отдаленно, точно где-то за темным окном, желтеет в искрящемся сиянии. Он смотрит на этот ночник, который и близко и далеко, и вдруг с каким-то вялым удивлением, с расслабляющим страхом видит на освещенном кресле; где недавно сидела Жан, темную, неподвижную глыбу сидящего живого старика с морщинистой шеей и обрюзгшим лицом.

— Кто это?— спрашивает он, отводя глаза от страшного видения, которое словно бы вместе с движением глаз перемещается, не пропадая из поля зрения. Серый, лысый череп с крутыми складками кожи за ушами, и словно бы из-за ушей, больших и острых, тянутся лохматыми толстыми плетями серые руки... Темный и неподвижный в сияющих брызгах ослепительного света.— Садиков,— говорит Сухоруков, слыша свой бред, и растерянно ищет лицо, которое одно лишь способно спасти его сейчас от кошмара, привидевшегося ему.

— Что Садиков?— спрашивает переливчатый голос.

Напряжением воли Сухоруков вглядывается в то пространство, из которого звучит живой голос, и видит сквозь прозрачное пламя, сквозь струящийся, волнистый воздух зыбкое лицо молоденькой женщины с нечеткими очертаниями, коричневое на фоне далекого желтого света, и понимает, что это Жанна Николаевна и что мозг его галлюцинирует, что рецепторы мозга подводят его, выстраивая перед ним колдовские какие-то видения...

— Ты спишь?— слышит он опять колокольчатый голос.— Ты очень устал?

— Нет, нет,— отвечает он, встряхиваясь душой и выкарабкиваясь из сна или видения. Видит с закрытыми глазами лицо юной девушки, плавающее в раскаленном воздухе, в газообразном мерцающем пространстве, и ему интересно и очень приятно смотреть на юную красавицу, лицо которой похоже на тень, набежавшую на солнечный диск. Протуберанцы плещутся за этой смеющейся тенью, похожей на огненные гребни закрученных волн или на огненных змей Горгоны, роковое лицо которой закрыто смеющейся тенью другого лица...— Я не сплю,— говорит

Сухоруков, протягивая руки. И лицо тотчас превращается в теплое лицо Жанны, а волосы в плотные, прохладные потоки осязаемой материи.

Жан заливчато смеется...

— Ты спал!— говорит она.— Я тебя никуда не отпущу! Ты мой! Тебе нужен настоящий отдых, ты будешь жить в этом доме, будешь хозяином, понимаешь? Ты будешь делать всё, что тебе хочется, я дам тебе полную свободу — делай что хочешь! Только будь со мной. Хотя бы иногда, чтоб я знала: ты мой, могла надеяться, что придешь и что я обязательно увижу тебя завтра или через год — все равно... Но я должна знать, что ты мой. Я понимаю, я говорю не то, но мне сейчас все равно, что ты обо мне подумаешь. Я тебе скажу даже так... Слушай, я тебе скажу, я тебе скажу, я не боюсь... Это не цинизм, нет! Это, если хочешь, просто расчет. Я много пережила, и мне ничего не стоит сказать тебе... так, чтобы не было между нами неясности...

Сухоруков внимательно смотрит на нее, радуясь, что видит и слышит, что опять на земле, и мир, в котором живет, прочен и надежен, что лицо взволнованной женщины, которая сидит с ним рядом,— лицо Жанны... Он благодарно гладит ее скользкие, как шлифованный, прохладный камень, плотные волосы, и ему радостно ощущать удивительную, живую прохладу...

— Я тебе скажу,— говорит она в мучительной нерешительности.— Я понимаю, ты можешь плюнуть мне в лицо, я вытерплю и улыбнусь с благодарностью.

— За что же?— удивленно спрашивает Сухоруков.— Давай-ка все-таки что-нибудь пожую! У меня поморочка была, наверное, от голода. Я, знаешь... то ли спал, то ли что-то со мною было, но я сейчас... на этом кресле,— говорит он, с опаской поглядывая на темное, пустое кресло,— видел будто бы черт знает кого...

— Ах, господи!— восклицает Жанна.— Что же мне делать?! Я боюсь сказать тебе то, что хочу сказать... Поморочка! Я сама в поморочке! Вся беда в том, что я не смогу тебе этого сказать. Тебе хорошо со мной?— спрашивает она с надеждой.— Сейчас, сию минуту, тебе хорошо?

— Хорошо,— отвечает Сухоруков.

— Женись на мне, Вася,— говорит она с ужасом во взгляде, пугаясь слов, которые решила произнести вслух.— Тебе никогда не будет плохо со мной, я тебе обещаю. Я буду делать все, чтобы ты чувствовал себя лучше всех на свете. И все: этот дом, эта земля — все это будет твоим, ты

будешь тут полным хозяином... Прости меня!— прерывает она свой тихий крик ужаса.— Я понимаю, как мерзко все, что говорю. Но и ты пойми, я устала. Я женщина, мне нужен покровитель. О, боже мой! Что я говорю!— Она закрывает лицо руками и валится на диван, рыдая.

Хуже положения, чем то, в какое попал Сухоруков, трудно себе представить. Он посмотрел на часы: время уже перевалило за полночь. Можно еще уйти. Но как оставить плачущую женщину, которую он влюбил в себя? Он отчетливо теперь понимает, что все его поступки, все его чувства и мысли, или весь образ мыслей, как говорит Садиков, были направлены на то, чтобы эта женщина влюбилась в него. Зачем это ему нужно, он не знал и тем более не знает теперь. Теперь, когда он в растерянности гладил плачущую женщину, стараясь успокоить ее. «Да, конечно,— думал он, представляя себя хозяином дома и земли, этого царского подарка, который преподнесла ему капризная судьба,— мне было бы совсем неплохо... Невеста богатая!»

— Да, конечно, Жанна,— сказал он.— Я тебя ни в чем не обвиняю... Зачем же ты плачешь?!

— Но ты же не любишь свою жену!— сказала ему Жанна Николаевна, повернув к нему заплаканное и жалкое лицо со змеиным носом.— Не все ли равно тебе, кого не любить — меня или ее? Но у меня ты будешь жить лучше! Тебе больше удастся сделать в жизни, чего-то достичь, потому что... Ты будешь обеспечен и тебе не надо будет думать о быте, ты всего себя посвятишь науке...

— Чудачка,— ласково сказал он ей.— Ты меня хочешь подкупить? Но ведь подкупить можно только того, кто знает себе цену. А я не знаю. Может быть, я стою дешевле этого дома, а может быть, дороже... Чудачка! Разве в этом дело?

— Ты думаешь, мне стыдно? Думаешь, ты устыдил меня? Я тебя вижу насквозь. Ты из тех, кто сам не умеет любить, но кто не может жить без любви женщины. Я готова. Вот, видишь, я готова с тобой договориться обо всех условиях нашей будущей жизни. Ты меня не любишь... Не любишь в том классическом смысле слова, когда тебе твоя личная свобода становится помехой... Ведь когда человек любит, ему не нужна свобода... Для него главное — подчинить себя любимому человеку, быть с ним рядом, как

можно чаще видеть, слышать, дотрагиваться до него... Наверное, так! Ты согласен со мной?

— Я не знаю.

— Согласись, потому что я, к сожалению, знаю. А ты будешь полностью свободен, как сейчас ты свободен от своей жены. Я не ставлю тебе никаких условий. Ну скажи, ты ведь человек дела, для тебя главное — дело, спасительный разум; скажи мне, разве я предлагаю тебе не дело? Ведь страдающей стороной буду я, а вовсе не ты. Ты просто сменишь обстановку, у тебя будет вместо двухкомнатной отличная трехкомнатная квартира в центре, что тоже удобнее, чем жить на окраине, а кроме того, будет эта дача с огромным земельным участком, которого у тебя никогда не будет, если ты не женишься на мне. Вот видишь, какая я циничная баба. А ты говоришь, я хочу тебя подкупить. Нет! Я хочу тебя сделать счастливым. А когда живешь со счастливым человеком, то немножечко счастья перепадает и тебе самой. Все очень просто! Мне хочется быть немножко счастливой. Ты думаешь, я разрешила ребятам из поселка сделать корт потому, что я очень добрая? Нет! Я хотела, чтоб рядом со мной были счастливые, ничем не озабоченные люди... А они именно такие! Ничем не озабоченные, играющие в мяч, смеющиеся, уверенные в себе. Мне хорошо с ними! Но если ты захочешь, мы на месте корта посадим сирень. Я на все согласна!

Сухоруков слушал ее так, как слушают во сне, когда не слышно слов, а понятен только смысл желаний того, пригрезившегося человека, с которым ты в той или иной ситуации общаешься во сне. Сейчас ситуация, в которую он попал, была, пожалуй, фантастическая и в некотором роде мистическая, если учесть видение того сияющего, искрящегося мира, из которого он вышел ошеломленным.

— Я на все буду согласна,— продолжала Жан, опять опустившись перед ним на корточки.— Ты можешь думать обо мне все, что угодно, я не обижусь... В своей жизни я перенесла такую обиду, что мне после этого все обиды кажутся детскими. Я не рисуюсь перед тобой. Это правда. Но ты подумай, что я тебе предлагаю! Я тебе предлагаю свободу действий и счастье, которым ты иногда, если захочешь, будешь делиться со мной. Но я и без этой дележки буду счастливой рядом с тобой. Я буду горда, что у меня такой муж! Разве твоя жена способна на такое? Хотела сказать: на такие жертвы! Нет! Это не жертва, это будет очень выгодная для меня и для тебя тоже сделка. Ты никогда в бу-

душем не услышишь от меня ничего подобного, ни единого упрека, ни единой слезинки — я просто буду ждать тебя и надеяться, что если ты не пришел сегодня, то придешь завтра, а если не придешь завтра, то, может быть, спустя немного времени ты все-таки придешь и скажешь мне: здравствуй. Я хорошо поняла тебя, и никаких иллюзий по отношению к тебе у меня нет, уверяю тебя. Но я буду все-таки знать, что ты не променяешь меня ни на одну из тех женщин, которым ты понравишься и которые, может быть, полюбят тебя. Я не очень-то доверяю чистому разуму, — говорила она, развивая чудовищную идею женитьбы. — Я начинала жизнь с надеждой на искренность, на неподкупность чувства, во всем доверяя любимому человеку... Я и теперь живу больше чувствами, чем разумом. И говорю все это потому, что почувствовала в тебе того человека, о котором мечтала всю жизнь. Испугалась вдруг, что ты появился так неожиданно и так же неожиданно уйдешь из моей жизни навсегда. С точки зрения здравого смысла, я ничтожная, отвратительная, я подлая тварь, казнить меня за это надо! Я знаю, что ты вправе подумать так обо мне, и я ничем не смогу оправдаться перед тобой. Ты можешь меня растоптать и будешь прав. Я понимаю. И все-таки говорю тебе — женись на мне, будь моим мужем. Ты слышишь меня?

Он не знал, что ей сказать и как дальше вести себя с ней. Он понимал, что нечаянно вызвал в ней сильную любовь, которая вовсе не нужна ему. Она ошиблась, говоря, что ему нужна любовь женщины! Любовь, которой тщетно добивались миллиарды, миллионы, тысячи, сотни мертвых, истлевших, забытых живыми людьми мужчин; любовь, из-за прихотей которой стрелялись страстные юноши; любовь, из-за которой пролито столько крови и которая принесла столько страданий сонму отвергнутых, давалась ему в руки с такой удивительной покорностью, ему так легко всегда было заставить избранную женщину полюбить его, он настолько привык к своим легким победам, что и представить себе не мог, что кто-то другой или другие были отвергнуты женщиной, которая с поразительной легкостью отдавала ему свою любовь, что кто-то страдал и мучился, смирившись с участью несчастного. Он никогда бы не мог поверить в это. Ему казалось, что люди притворяются, придумывая себе страдания на почве неразделенной любви. Он, конечно, допускал, что любовь существует, и она выражается в том, что оба человека — он и она — любят или, во вся-

ком случае, не могут жить друг без друга. Но он отчетливо понимал, что если один человек любит, а другой нет, то это не что иное, как простая ошибка. А если это ошибка, то ни о какой любви не может идти и речи. Надо как можно быстрее исправить ошибку, то есть вычеркнуть из памяти человека, которого не любишь, чтобы не вводить его в заблуждение, а себя не ввергать в ложь. И ничего не было проще для него поступать всегда именно так.

Да, конечно, Жанна Николаевна абсолютно права в том, что он не любит Катю. Живет он с ней потому лишь, что она помогает ему или, во всяком случае, никогда не мешает. Слезы ее неприятны, но терпимы. Впрочем, она, кажется, тоже не любит его, если способна сбежать и сутками не объявляться, не рассказывая потом, где была, ночевала, что делала... Но он и не спрашивал никогда. Он ненавидел ее лишь в минуты, когда она уходила от него. А потом забывал о ней и жил, как будто ее и не было, спокойно занимаясь делами, которые были гораздо важнее ничтожных обид. Когда же она приходила, он встречал ее с радостью, зная, что жизнь его снова облегчится и ему не надо будет опять заботиться о приготовлении пищи.

Теперь же он был обескуражен, мучительно обдумывая ту программу, какая была заложена в его мозг. Во-первых, что-то дьявольское было в этом предложении, в этой сделке. Он с удивлением теперь думал, что дьявольщина эта началась сразу же, как только они поднялись с Жанной на второй этаж. Привидившийся ему серый был, конечно же, дьяволом! Юное лицо, затмившее лицо Жанны, было делом его рук, свисавших мохнатыми плетями из-за серых ушей... Во-вторых, свобода, какую предлагала ему Жанна, очень сомнительна. Да, конечно! Вот оно, готовое решение, появившееся на перфокарте,— точное и не подлежит никакому сомнению, потому что оно научно обоснованно и, стало быть, объективно. Нет, дорогая Жанночка, чувствам доверяться нельзя, если ты умеешь пользоваться разумом. Разум — великое дело!

— Жан, дорогая,— сказал он, обретя уверенность и зная, что ошибку надо срочно исправлять, пока не поздно.— Ты ошибаешься.

— Знаю, что я ошибаюсь,— ответила она.— Я иду на это сознательно.

— Ты ошибаешься гораздо глубже, чем думаешь. Ошибка твоя в главной посылке... Ты мне предлагаешь свободу?

— Абсолютную! Полную свободу.— Она опустилась вдруг на колени, сказав: — Видишь, я произрастаю перед тобой на коленях и клянусь, что ты будешь свободен.

— Щедрость твоя не знает границ,— сказал он, предвкушая свою победу над дьявольщиной, словно ему предстояло сейчас перечеркнуть лженаучное какое-то выступление.— Жанночка, милая, не произрастай! Встань, пожалуйста!— попросил он, беря ее под мышки и поднимая с пола.— Ты ошибаешься в главном. Ты не свободу хочешь мне дать, а кабалу... Или, как это сказать, закабалить хочешь. Вот представь, что я стал твоим мужем, хозяином этого дома, этой земли. Ты говоришь, освободишь меня от забот. Не-ет! Что ты! Наоборот. Первое, чем я займусь в новой жизни, которую ты мне предлагаешь, будет ремонт дома. Если я хозяин... Если я хозяин?— с прежним своим смехом сказал он, наливая наконец в рюмку теплый душистый коньяк.— Мне придется маяться, доставать, носиться по всяким базам, того нет, этого не будет никогда, придется доставать слева, рисковать репутацией, переплачивать, влезать в долги... Ну хорошо! Все это сделал, сумел как-то выкрутиться и с ремонтом, и с деньгами. Крыша не течет, венцы крепкие, дом что надо! Можно жить-поживать и добра наживать.

— Я понимаю, что ты хочешь сказать,— отчужденно произнесла Жанна Купреич, как бы выходя из игры.

— Нет, ты еще не понимаешь. Ведь после того, что я сделаю, я становлюсь истовым хозяином. У меня дорогостоящая бесценная собственность. Я завожу злую собаку, боюсь пожаров, боюсь, что нас рано или поздно обчистят, начинаю подозрительно поглядывать на прохожих, особенно на молодежь... Именно от подростков я буду ждать самой главной пакости, какую они рано или поздно...

— Хватит,— сказала Жанна Николаевна и поморщилась.— Если ты способен подчиниться вещам, если они могут завладеть твоим воображением, нам, конечно, не о чем говорить. Почему ты не налил мне коньяку?— оживленно спросила она, играя волнуемой улыбкой, которая ложится на заплаканное, некрасивое ее лицо.— Мы останемся друзьями, надеюсь?

Она поднимает хрустальную рюмочку, из какой когда-то пили ликеры и коньяки ее покойные родители, и, не чокаясь, пригубливает.

— Кажется, Лютер,— говорит она, хмуря лобик, вспоминая, вероятно, Садикова, который рассказывал ей, конечно, и о Лютере,— кажется, он сказал когда-то, что че-

ловек — это осел, запряженный или богом, или дьяволом... Так вот, Васенька, ты запряжен дьяволом. Он делает с тобой все, что захочет. Рядом с тобой и я-то сошла с ума.— И она смеется, щуря глаза, в которых уже копится тихое бешенство.

— Я бы сказал иначе... Мы с тобой распряженные ослы, выпущенные пастись на лужок. Ни богу, ни дьяволу справиться с нами не удалось. Так будет точнее. А насчет того, что мы с тобой останемся друзьями, я не сомневаюсь.

— Ну и хорошо!— говорит Жанна Купреич, словно только это теперь и волнует ее.— А почему ты не играешь в теннис?

— Если честно — некогда. За четыре года впервые в отпуске. Точнее, меня прогнали в отпуск, Антоновы затащили к себе на дачу. Вот так я и пришел к вам, то есть к тебе. А вообще-то у меня и без тенниса такие мячики в глазах скачут по вечерам! Что-то с глазами.

— Надо сходить к врачу.

— Надо. А у тебя симпатичные пейзажи... Кстати, что это за птичка?

— А-а!— отмахивается Жанна Купреич.— Это я хотела написать зяблика на цветущем орешнике. Ходила весной по лесу, ветерок гулял. Дубовые листья, как мыши, как живые играли с этим ветерком... А потом, смотрю, на веточке орешника поет зяблик. Но не получилось ничего.

— Не знаю, может быть, я сам психопат, пограничный житель, как говорит Садиков, поэтому, наверное, люблю живопись нормальных, талантливых, здоровых людей. Мне нравится.

Жанна Купреич смеется, на этот раз с откровенной радостью.

— Ты хитрющий лис,— говорит она, грозя ему пальчиком.— Ужасный хитрюга!

— Почему?

— Ох, Васька, Васька! Что ты наделал!— говорит она, переводя дыхание и грустно глядя на человека, который так далек и непонятен ей, что она даже не знает, как о нем думать, хорошо или плохо.— Ты хоть понял, что я разыгрывала комедию с женитьбой?

— Конечно, понял,— соглашается с ней Сухоруков.— Иначе я, может, подумал бы о твоём предложении. Заманчиво все-таки. Речка, туман, утки. Я бы стрелял с террасы, или как это называется — галерея? С галереи стрелял бы по уткам. Ха-ха!

За окном уже светает. Кажется, будто это туман поднялся с речной долины. Сухоруков подходит к окну, распахивает дребезжащие рамы. Слышно, как комары влетают в комнату.

Внизу, за черными стволами старых деревьев, которые стоят мокрыми от росы, белесое половодье. Под этой туманной подушкой сверлящим каким-то звуком раздается непрерывный крик далекого, чуть слышного коростеля.

— Если я сейчас приду к Антоновым,— говорит Сухоруков,— они меня съедят вместо белого налива. Придется, наверное, ехать в Москву.

— А Катя в Москве?

— А черт ее знает, где она! Часами может стоять на голове, сутками ничего не есть... Йога! Мы с ней в разных измерениях.

Он уходит, когда встает уже солнце, окрашивая туман розовым цветом; целует Жанну Николаевну в щеку, напряженно склоняя голову, просит простить...

А ей вдруг хочется перекрестить его, она остро чувствует в себе это странное желание.

— Вы знаете,— говорит она удивленно,— я не религиозный человек! Нет. Хотя и крещеная. Так хотела бабушка... Дело не в этом. Но меня почему-то все равно волнуют православные иконы и оставляют совершенно равнодушной иконы, которым поклоняются католики... Я, наверное, великая грешница! Не вы, а я... Меня простите!

— Это грех, милая Жанночка? Если это, то что же тогда самонаводящаяся ядерная боеголовка?— спрашивает он, и лицо его искажается страданием падающего, подстреленного на ходу, невинно убиенного человека.

Она слышит топот бегущих по лестнице легких его ног и кусает губы, чтобы не расплакаться...

«Ах да!— думает она в отчаянии.— Я забыла ему сказать... Забыла сказать, что жизнь — приятная привычка. Нам было бы легче, если бы я сказала... Ему бы понравилось».

Подбородок ее дрожит, слезы щекоют длинный нос — она задумчиво плачет. Так плачут, когда горе.



Чертоги любви

Мазни клеем. Дай тогда лизну! Или сам лизни. Не хочешь? А-а-а. А вам что, бабуся? Так... Засекайте время. Через десять, нет, через пятнадцать минут. А потом хоть в космос. Что? Какие гвоздочки? Молотком? Я уже дал одной женщине молоток. Дай, говорит, молоток, пожалуйста. Дал. А она этим молотком другой женщине по лбу — хрясь! Проломила вот тут череп, яму такую сделала.

— За что же это она?

— А та ее оскорбила, назвала... не буду говорить, бабуся. Нехорошее слово. Вот так: одна языком, а другая молотком.

— Господь с тобой, сынок. Мне молоток не нужен.

— А нам теперь приказ: ни ножей, ни молотков — ничего не давать. Нужен не нужен — мы теперь это как оружие храним. Мы ведь вокруг ботинка чем работаем? Клеем, ножом и молотком. Наше вооружение! — громко говорит парень в офицерской, защитного цвета, рубашке,

обрабатывая на машине старенький женский сапожок, место которому давно уже на свалке.— Торопишься, торопишься, даже нос вспотеет, потому что от трения с воздухом предмет нагревается. Капля на носу вот такая! А печки нет посушиться. Вот и живи, как хочешь — посушиться негде.

Работает он весело и быстро, приятный на вид, живой и, видно, отчаянный парень с темными пятнами засохшего клея на рубашке, с почерневшими от резины, клея и грязной обуви пальцами.

— Видала, бабуся, сколько работы! — обращается он к старушке, кивая на груди изношенных черных, коричневых, бежевых ботинок, туфель, сапожек и босоножек.— Даем угля стране. Другим не понять, а вы, бабуся, должны понять — у вас глаза добрые. Вот у моей бабуси был диван старый с высокой спинкой, а на спинке деревянная полочка. Раньше такие делали, чтоб это... Сядешь, а тебе ваза по голове — хрясь! Бабуся моя: ах-ах, опять забыла убрать. У нее там на полочке две вазы по бокам из зеленого стекла. Тяжелые! А в вазах ковыль крашенный... Степнячка! Как про этот диван вспомню, голова болит.

В мастерской гудят, завывая, электрические моторы, резко пахнет ацетоном и кожей, раздаются тупые постукивания молотков по резине. Очередь не убывает, дверь в мастерскую то и дело хлопает, дребезжа тугой пружиной, молодые ребята работают без передышки, перекидываясь шутками, что-то рассказывают друг другу, намазывая подошвы тягучим, цепким клеем, посмеиваются по-хозяйски, как будто работа для них удовольствие, а люди, стоящие за барьером, желанные гости.

Возле окна большой куст цветущего розана в деревянном ящике. За окном улица, и, как на витрине, мелькают там машины, проходят люди под зонтами, краплет дождичек, царапая широкое полотно стекла. Осень на улице теплая пока и приятная, с небольшими дождиками, с солнцем и туманами.

Под розаном сидит на стуле девушка, усталая и грустная, в бледно-зеленом, как мыло, плаще, цвет которого словно бы лег и на лицо ее. Лицо одутловато-бледное, точно она недавно проснулась или совсем не спала, глаза навывкате, прозрачно-коричневые, а голубые тени на веках положены слишком густо и придают лицу нелепое, клоунское выражение подчеркнутой глупости, губы выкрашены красновато-бурой помадой, и так безвкусно, как если бы девушка эта специально скрывала от людей свое естество,

свою не ахти какую, но все-таки милую чистоту юного лица.

Смотрит, не отрывая взгляда, на парня в офицерской рубашке, следит за ним то с улыбочкой, которая печально оттеняет бессмысленно-внимательные глаза, то с деловитой озабоченностью притаившегося в засаде зверька.

Парень старается не глядеть на нее, шутит по-прежнему, балагурит с клиентами женского пола... И не замечает, как девушка, выждав удобный момент, оказывается возле барьера, в том месте, где сидит кассирша, принимающая от мастеров квиточки о сделанной работе.

— Игорек,— говорит она чуть слышно,— можно тебя на минутку?

— Ну что? — обреченно отзывается парень и смотрит на нее в упор.

— Можно тебя на минутку?

— Некогда мне! — говорит он, словно бы втолковывает ей простую истину, которую она никак не может усвоить.— Некогда, понимаешь? Видишь, сколько работы!

— Игорек,— ноющим голосом просит девушка.

Он облакачивается на барьерную стойку, слыша запах духов, которыми насквозь пропитана девушка, и ждет, что она скажет ему. Лицо его даже в спокойном состоянии кажется улыбающимся, точно он только и ждет от людей чего-то смешного; он, наверное, и спит с этой хитроватой гримасой вечной улыбки.

Девушка косится на кассиршу, смущается, мнетя в нерешительности и опять произносит его имя, вытянув обиженно губы, страдальчески изогнув брови:

— Игорек...

— Ну что «Игорек»? Ну «Игорек», а дальше-то что?

— Можно тебя на минутку?

В детстве Игоря Черёмина звали чертом, и он охотно откликнулся на это прозвище, расплываясь в добродушно-хитроватой ухмылке. Ничего общего во внешнем облике у него, конечно, не было с мифическим существом, и кличка, вероятнее всего, была связана с начальными буквами фамилии. Но он и теперь, услышав от старых приятелей свою кличку, с той же хитроватостью взглядывал на человека, произнесшего это магическое слово. В душе его как будто распахивалось чердачное окошечко, в таинственной темноте которого начинало что-то возбуждающе похихатывать, приплясывать, искрить во мраке игривым зрачком, разгоняя по жилам кровь, горяча душу и сердце. Черёмину нрави-

ласть кличка; хотя и не пристало ему, женатому человеку, откликаться на нее, как мальчишке. Однако же глаза его истекали при этом греховной тоской, воля его и самообладание, вся его нацеленность на что-то важное в жизни, все его лучшие человеческие качества бесследно исчезали, уступая место бессмысленной жажде услужливого какого-то веселья. Так получилось и на этот раз. Он совсем уже было рассердился на девушку, которая никак не хотела мириться с тем, что ему некогда разговаривать с ней.

— Не могу, понимаешь?!— шипящим криком ответил он.— Видишь, сколько народу! Иди домой...

И вдруг услышал, как девушка все тем же ноющим, молящим голосочком произнесла:

— Ну, чертушка, ну, пожалуйста...

Он весело нахмурился, блеснув зубами, посмотрел на часы, вытащив их за ремешок из кармана рубашки, и обмякшим голосом сказал:

— Могу только через... сорок, нет, пятьдесят минут... Ты, Нель, иди погуляй, а через пятьдесят минут или через час подходи. Только это... не сиди тут. Ты же мешаешь мне! Я отвлекаюсь и могу получить производственную травму, поняла? Иди, иди, иди. Погуляй.

— Дождик, Игорек.

— Да, дождик,— согласился он.— А вообще-то разве это дождик? Зайди в магазин, посмотришь чего-нибудь. Ладно? Ты же не хочешь, чтоб меня на носилках увезли отсюда? Вишь, какое у нас производство сложное! А ножи? Что ты! А машина? Зверь! Сорвется рука, считай — инвалид. Двадцать один год, а уже инвалид. Нет, Нель, лучше погуляй.

— Почему вчера не пришел? Я ждала, мама пирог пекла... Твой любимый, с мясом.

— Ты даешь! «Почему не пришел»,— громким шепотом воскликнул он, удивленный до глубины души.— Потом поговорим! Сиди или гуляй — все равно, только не смотри на меня — отвлекаешь.

И опять он весел и готов балагурить, принимаясь за работу. В руки ему попадают мужские полуботинки финской фирмы «Топман», черные и совсем еще новые, а каблуки стесаны так, что душа болит. Ну что тут скажешь! Как объяснишь человеку, что хорошую эту вещь делали люди, и можно было бы уважить их труд — поставить набойки вовремя. Громко, чтоб слышал хозяин «топманов», рассказывает ребятам:

— Тут бабуся одна кино смотрела по телевизору. Говорит, только теперь поняла, что мужа своего никогда не любила. Прожила жизнь, а телевизор посмотрела — и все поняла. Жалуется, что поздно: муж на кладбище, а самой под восемьдесят. Во что искусство с человеком делает!

— Душа молодая,— откликается хозяин «топманов».

— Душа-то молодая, а что с вашими каблуками делать, вот вопрос. Тоже поздно вспомнили.

В назначенный час — договорившись заранее с ребятами, которые знают про его беду,— он видит за окном бледно-зеленый плащик, и жалость пополам со злостью терзают его. Ладно, хоть дождик перестал, ветки деревьев закачались от ветра — может, разгонит тучи.

Небо, виднеющееся над домами, между высоких их стен, заболочено дождевыми облаками. На улице тепло и мокро. Сквозь облака пробивается вдруг голубая полынья чистого неба, а потом и солнце вспыхивает, освещая стены дальних домов. От тротуаров поднимается пар.

Неля Солдатенкова жметя к плечу, подхватив Игорька под руку, и, как подарком, любитя им, заглядывает снизу в его лицо, спрашивает:

— Почему вчера не пришел? Ты ведь так и не ответил ничего...

— Не мог,— хмуро отвечает Игорь Черёмин и вдруг взрывается: — Я ведь женатый человек! У меня ребенок! Сама подумай, могу я или нет распоряжаться своим временем? Давай не будем об этом, а то я разозлюсь.

— Игорек, но ты же знаешь...

— Что я знаю? Ну что я знаю? — Он даже останавливается и, развернувшись всем корпусом, смотрит на нее, дожидаясь ответа.— Что я должен знать? Сколько раз тебе говорить, что у меня жена и ребенок, что я не могу с тобой встречаться! Неужели не понятно? Ну что с тобой делать? Ты как ненормальная все равно!

— Ну почему? — обиженно спрашивает Неля, вцепившись в его руку с такой силой, будто тонет и в панике готова утянуть с собой под воду своего спасителя.— Нет, чертушка, ты не прав. Я все понимаю, к сожалению. Но ведь мне ты обещал... А ей нет. Значит, я нормальная, потому что ждала тебя. Я ведь тебя ждала. Она не ждала, а ты все равно женился...

Он молчит в отчаянии, не зная, что ей сказать, как ответить на ее лепет. Когда-то они вместе учились и жили через дом друг от друга; когда-то была компания, ве-

чера с бутылочкой, любовь, обещания, гоньба на велосипедах. Он сажал эту Нельку на раму своего велика, чувствуя себя похитителем на коне, умыкающим невесту, и, всем телом ощущая ее близость, выезжал на улицу, пугая водителей автомашин. Когда-то были проводы в армию, ее слезы, его обещания. Теперь об этом не хочется вспоминать: мало ли что бывает! И если как следует разобраться, то вины его перед Нелькой почти и нет никакой, потому что, женись он на ней, как обещал, была бы у них жизнь — хуже не придумаешь.

Но Неле Солдатенковой как будто бы нет до этого никакого дела. Что-то замкнулось в ее душе, и ничего она не может поделывать с собой, не представляя себе жизни без этого «чертушки», как звали его в классе. Будто бы засело в ее душу горе матери, потерявшей сына на войне, и никак не хочет она поверить, что он уже не вернется к ней.

Игорь Черёмин чувствует черное ее роковое горе, которое не на шутку пугает его. Воображение рисует ему страшные картины: видит он Нельку то повесившейся от горя, то утопившейся, то лежащей на трамвайных рельсах. Боится теперь ее и, как только увидит, знает, что придется ему вести переговоры с погибающей от любви, с настырной до бесстыдства, бесчувственной к обидам и словно бы лишившейся рассудка слабоумной дурочкой.

— Игорек,— говорит она, вкрадчиво улыбаясь.— А у меня пятерочка есть.

— Ну и что? У меня тоже есть.

— Как «ну и что»! Можно посидеть где-нибудь, поговорить... А тут бара какого-нибудь пивного нет? Посидели бы культурно, выпили бы пива... Тебе хочется пива?

Он отвечает ей не глядя, обессилев говорить с ней и что-то доказывать:

— Моему ребенку четыре месяца, а жена с ним одна. Мы с ней по очереди с ребенком. Можешь это понять или нет? Какое же пиво! Я же не могу пьяный к ребенку прийти. Ночью он просыпается, а я пьяный, да? Ох, Нелька!

— Ну почему обязательно пьяный? Просто посидим... поговорим...

— О чем? Обо всем уже переговорили сто раз.

— А мне все равно интересно,— говорит она в мечтательном восторге.— Мне все интересно, что ты ни скажешь. Вот сейчас идем, а мне так интересно, просто не могу тебе передать. Если бы я тебе все рассказала, сколько я думаю о тебе. Я теперь ночью тоже просыпаюсь от-

чего-то! Ой, как интересно! Это, наверное, ты просыпашься, а мне передается — я тоже просыпаюсь.

— Я тут не знаю никакого бара,— говорит Игорь Черёмин.— Есть один ларек пивной, но там не посидишь. Очередь там, как за «вечеркой», нацепит какая-нибудь мокрая губа на каждый палец по кружке с пивом, сядет под акацию на землю, пиво тоже на землю и доволен. Я не хожу туда. У меня настроение портится. Обидно за людей.

— А давай сделаем так: сядем сейчас на троллейбус и поедem. Может, где-нибудь есть пивной бар.

— Какой бар, Нелька? Какой бар? Ты как с луны свалилась,— говорит «чертушка», еле сдерживаясь.

Но садится покорно в троллейбус, входя в него вслед за оживленной, расторопной, озабоченной и словно бы окрыленной Нелей Солдатенковой. Стоят они на задней площадке троллейбуса, около кассы, в которую падаёт и падают монеты, позвякивая и проваливаясь.

Троллейбус мчится по проспекту Мира, в сторону ВДНХ.

— Простите, пожалуйста,— в который уж раз обращается Неля Солдатенкова к новым пассажирам, которые кажутся ей добрее других.— Вы не знаете, где тут есть пивной бар? Такой, чтобы можно было культурно посидеть и отдохнуть.

Люди недоуменно смотрят на нее, пожимают плечами.

Игорь Черёмин смотрит в окно, делая вид, что к этой чокнутой не имеет никакого отношения. Проехали уже Рижский вокзал, троллейбус с подвывающим мотором летит по широкому мосту. За мутным окном струны рельс, игрушечные вагончики вдалеке, плавно изогнутые товарные составы, стоящие под паутиной проводов, нависших над рельсами,— широкое, коричневое от ржавчины полотно железной дороги с золотисто сияющими рельсами, рельсами, рельсами.

— Простите, пожалуйста,— слышит он голос Нели Солдатенковой.— Вы не подскажите нам, где тут есть какой-нибудь пивной бар?

— «Богатырь»,— читает он название магазина.— «Океан», «Цветы»...

— Игорек,— слышит он свое имя.— Может, до ВДНХ доехать? Погуляем... Там уж наверняка чего-нибудь найдем... Вон и товарищ говорит, что там есть пивной бар.

Он чувствует на себе любопытные взгляды пассажиров, нормальных людей, удивленно разглядывающих стран-

ную девушку, которой понадобился пивной бар, и готов застонать от стыда и тоски.

— Хорошо,— отзывается он, не отрываясь от окна, в холодное стекло которого он уперся лбом, остужая жар.— Ты бы спросила сначала у меня, чем брать интервью у каждого. Тоже мне — телевидение.

— Какое телевидение?— удивленно спрашивает Неля.

— Ладно, помолчи. Постой спокойно. Отдохни,— просит он, едва скрывая раздражение.

— Я не устала, Игорек. Я так давно не была на ВДНХ, что даже интересно погулять, правда! А там, конечно, всякие кафешки, всякие ларьки...

— Отдохни,— просит Игорь Черёмин, вцепившись неотмытыми своими пальцами в поручень с такой силой, что они побелели у него.

Не доезжая до ВДНХ, он решительно идет к дверям, зная, что Неля не отстанет от него, и на остановке выходит. Следом за ним выпрыгивает и Неля. На одутловатом ее лице испуг и удивление, выпуклые глаза с подсиненными веками вопросительно смотрят на «чертушку», который, заметив ее испуг, улыбается снисходительно, но говорит при этом мстительно и зло:

— Надо с тобой кончать.

— Ну почему? — тянется обиженный звук из ее мясистотемных, вытянутых губ.

— Ты мне мешаешь.

— Ну-у... Игорек... Не говори так. Собрались на ВДНХ... У тебя такие нервы, просто ужас!

Она едва поспевает за ним, не видя ничего вокруг, бежит, как собака за возом, лишь бы не отстать.

— Надо кончать,— слышит она мстительные слова впереди себя.— Надо кончать.

— Игорек!

— Ну что?

— Почему ты обиделся на меня? Разве я что-нибудь тебе сделала плохое? Скажи, разве я виновата?

— А как ты думаешь? — спрашивает он, позволяя ей опять ухватиться за руку: сил у него нет бороться с ней — машины несутся по проспекту, прыгнет, чего доброго, на мостовую, визг тормозов, удар... Лучше уж потерпеть.— Как ты сама-то думаешь? Все-таки я человек женатый. А ты прилепилась ко мне, как будто я тебе что должен. Нельзя ж так человека мучить. Разве я виноват в чем-нибудь перед тобой? Ладно, если бы у нас с тобой чего

было, а то ведь просто невозможно ничего понять! Другой бы на моем месте давно отвязался от тебя, и все. Это я такой мягкий. Вот ты и пользуешься...

— У тебя хороший характер. Мягкий,— вторит она ему, прижимаясь плечом.

— Не беспокойся! — задиристо говорит он.— Мягкий, потому что никто не осмеливался мне свой характер показать. Вот и мягкий поэтому. А кто покажет — узнает, какой у меня характер на самом деле.

Они идут вдоль тяжелых стен больших домов, среди торопливых людей, идут в обратную сторону, удаляясь от ВДНХ. Неля Солдатенкова смирилась. Ей все равно, куда идти, лишь бы рядом с «чертушкой», лишь бы чувствовать его тепло, чуют неистребимый запах клея, исходящий от его рук, слышать насмешливый или сердитый, добрый или удивленный голос. Проходят они мимо дома, фасад которого только что ремонтировали, тротуар под ногами еще белесый от недавних работ. К цоколю дома привален тяжелый электромотор, белый от извести, только вентиляционные щели, похожие на акульки жаберные щели, чернеют на его округлом корпусе. Лежит под ногами никому как будто не нужная, ценная вещь.

— Киловатт тридцать,— машинально говорит Игорь Черёмин, окинув взглядом мотор.

— Чего тридцать? — услужливо спрашивает у него притихшая Неля.— Я не расслышала. Игорек, а куда мы торопимся? Давай погуляем.

— Арбуза захотелось,— отвечает Игорь, подходя к овощному магазину, за углом которого торгуют арбузами, наваленными темно-зеленой, полосатой грудой прямо на землю. Бурые гири на весах, клацанье металлических тарелок, дребезг механизма перегруженных, измученных тяжестью голубо-белых весов.

— И мне тоже захотелось,— слышит Игорь Черёмин радостный голосок Нельки, которая поняла наконец, почему они вышли из троллейбуса, не доехав до ВДНХ.— Ой, как хочется арбузика! — чуть ли не поет она, держась за «чертушку», который встал в очередь.— Игорек, а как же мы его будем есть? Его ж надо разрезать. Ножик нужен.

Он хмыкает удивленно и качает головой. Арбузом он вовсе и не собирался угощать Нельку, а с утра еще знал, что ему надо привезти домой арбуз. Ему даже авоську жена сунула в карман, чтоб он купил арбуз.

Стоит и улыбается с насмешливым отчаяньем во взгляде.

Торговала молодая женщина, а ей помогал парнишка лет тринадцати, который стоял, широко раздвинув ноги, между зелеными, лаково поблескивающими глыбами арбузов и выбирал из них спелые, сноровисто похлопывал по липкой полосатой коже, определяя, видно, по звуку, как терапевт, какой из них сладкий, а какой еще нет. Откладывал некоторые в сторону, а другие передавал в руки женщине, невнятно бормоча слюнявыми губами:

— Етут будют у норме... Етут хороший.

Вид у него, будто он напился вполпьяна и оттого такой старательный, разговорчивый, слюнявый и косноязычный. Люди, стоящие в очереди, а особенно женщины, хорошо его знали, потому что просили выбрать арбузик, называя по имени. И он старался для них.

— Я уваюю людёй,— говорил, блаженно улыбаясь.— Потому што один сам. Мать умюрла, а сестра замузем... Один совсем.

Говорил он это между делом, кивая на женщину, торгующую арбузами, которая, видимо, приходилась ему сестрой. Женщины посмеивались, жалели дурашливого Колю, как звали мальчика, а он тянул свое:

— Я уваюю людёй. Один совсем, без матери...

Старая, насмешливая женщина громко и по-бабьи игриво сказала:

— Одному лучше, Коля.

— Одному-то? — удивленно переспросил он, будто ослышался.— Без матери? — И, страдая душой, жалостливо посмотрел на женщину, не понимая, шутит она или говорит всерьез. Взгляд у него был такой беззащитный, такой бесхитростный, что обмануть его — великий грех.

— А что! — сказала старая.— Никто не скрежещет рядом.— И засмеялась довольная.

— Мать-то скрежещет?— с изумленной, недоверчивой улыбкой спросил он, догадавшись наконец, что женщина не шутит, и согнулся, сгорбился над своими арбузами, похлопывая их грязной ладошкой и прислушиваясь.— Не-е,— глухо и виновато промычал он.— Одному плохо. Сестра замузем... Один совсем.

«Чертушка» прислушивался к каждому слову, переводя быстрый, цепкий, как клей, внимательный взгляд со старухи на мальчика, с мальчика на старуху, а когда умолк мальчишка, звонким, не своим голосом выкрикнул:

— Бабуся, ты из какой подворотни? Тебя в детстве не пороли, наверное! А если пороли, то мало! Тебя бы за

такие штучки по толстой твоей... по арбузу твоему... сейчас бы выпороть! Чему ты молодежь-то учишь? Дожила до сивой головы, а мозги куриные! Как были куриные, так и остались. Небошь ведь молодежь ругаешь! Не нравится молодежь-то? Внук-то еще не бьет? Подожди! Будет бить и правильно сделает. Накудахчешься тогда! За что мальчишку обидела?

Игорь Черёмин стал серый лицом от нахлынувшей злости, а старуха в ответ, онемев было, раскричалась на него, называя и хулиганом, и бандитом. Злости в ней было бы человек на десять! И всю эту злость она обрушила на Черёмина, к которому жалась испуганная Неля Солдатенкова, готовая заградить собой в случае надобности бедного «чертушку». Она, правда, не могла понять, за что так разозлился Игорек на старую женщину, зачем так оскорбил ее. Больше всего она боялась теперь, что та позовет милицию, и Игорька заберут, потому что, конечно, не надо было обижать старенькую. И главное — за что? Чего она такого сказала?!

Женщины в очереди тоже расшумелись, но трудно было понять, на чьей они стороне. Ладно хоть «чертушка» больше не лез, словно весь этот шум не касался его.

Но когда подошла его очередь, мальчик долго, дольше обычного, выбирал заказанные им два арбуза.

— Етут будют у норме,— сказал он с доброй улыбкой.— И етут хороший.— И смотрел, как сестра взвешивает их, точно следил за ней, чтоб она не обманула.

— Сам ты из подворотни!— кричит старая, не уставая в злом своем деле.— С дурой своей крашеной. Ишь ты! Бандит несчастный! Нахал какой! Самого тебя пороть надо! Из подворотни! Сам ты из подворотни,— кричит она в спину Игорю Черёмину, уносящему в растянувшейся авоське два арбуза и не обращающему внимания на старушку.

Опять троллейбус гудит электромотором, увозя Черёмина с Нелей от опасности, которая грозила ему. Неля радостно жметя к нему поневоле, потому что людей в «девятке» много и в салоне тесно.

— Давай подержу арбузы,— говорит она «чертушке», прижатая к его груди.— Рука, наверно, устала.

Пахнет от нее духами и помадой, лицо ее совсем рядом, глаза прозрачные, как топазовые камушки, и ничего в них, кроме глубинного света радости. Говорит она тихо, с интимной той интонацией, какая возможна только в пол-

ной уединенности. Живая масса людей, сдавившая, их со всех сторон, словно бы только на руку ей, как ночная тьма, в тишине которой можно говорить чуть слышно, зная, что все ее слова прольются в душу любимого человека.

— Надо же, какая злая женщина,— говорит она, наслаждаясь полной уединенностью и зная, что они снова едут в сторону ВДНХ, что «чертушка» с ней рядом и так близко, так плотно прижат к ней, что, может быть, в нем сейчас тоже туманятся в голове воспоминания о прошлой их любви, о такой же вот близости, когда они целовались с ним под цветущей сиренью, на лавочке, около старого деревянного дома, который давно уже сломан и на месте которого построен «универсам».

— Ладно, что злая,— отвечает притихший и, видимо, недовольный собой «чертушка»,— главное, вредная. Парень дурашливый, недоразвитый, может, отец был алкоголиком, а и то умнее ее. Разве можно о матери так говорить! Наглая, как чекушка. Маленькая, а вредная.

— Ты, Игорек,— говорит Неля с придыханием, кто-то уж очень сильно давит ей в спину.— Ты тоже, конечно, погорячился.

— А я зверею, когда люди злые к людям. Не могу! Какой урок она парню преподнесла! «Мать скрежещет. Одному лучше». Надо же такое сказать! Когда слышу такое, у меня душа, как тот самый парашют, который не раскрылся. Падаю и ничего не могу поделать. Знаю, что падаю и разобьюсь обязательно, за кольцо дергаю, а душа не раскрывается. Все в комок сжато.

— Мне страшно за тебя было. Я думала, она сейчас милицию позовет.

— Ну и что милицию! В милиции тоже не дураки. Хотя, конечно, старая женщина, а я пацан по сравнению с ней. Обвинили бы, конечно, меня.

— Вот я и боялась.

— А тебе-то что? — с ухмылкой спрашивает он, отстраняясь от ее лица, от которого так резко пахнет белой сиренью, что трудно дышать. Смотрит на нее, откинув голову.— Тебе-то зачем?

— А ты не знаешь? — грустно отвечает Неля Солдатенкова.— Ох, чертушка, чертушка!

Садовая скамейка с выгнутой спинкой окрашена в зеленый цвет. Краска облупилась на планках. Но зато сухая и теплая от солнца. Над скамейкой нависли тяжелые

гроздь оранжевой рябины. Арбуз, разрезанный перочинным ножом и нарезанный большими ломтями, душист и сладок, красный с чернеющими, отшлифованными зернами, он в самой середке искрится сахаристым инеем.

Сидят молча на этой теплой скамейке, греясь в горячих лучах солнца, и едят, нет, пьют, давя языком нежную, тихо пошептывающую во рту ломкую и сочную красноту спелого арбуза, сплевывая зерна в кулак, бросая корки в цементную урну, стоящую рядом со скамейкой. Изредка поглядывают друг на друга, оба с мокрыми от арбузного сока, порозовевшими щеками.

— Ты небось и вкуса-то его не чувствуешь,— говорит «чертушка».

— Почему?

— Что ты за почемучка такая? Неужели непонятно?! Губы в помаде, руки духами пахнут. Какой же тут вкус? Ты раньше вроде бы не красилась.

— Сейчас это модно. Я привыкла,— отвечает Нелька без всякой обиды в голосе.— Я теперь не замечаю совсем, как пахнет помада.

— А зачем тебе это нужно?

— Я ж говорю, модно! Не старуха еще.

— Тебе не идет. Глаза синькой намазала? У тебя ж они карие, а ты синей краской. Ешь арбуз!

— Я ем. А какой же надо?

— Не знаю. Посоветуйся с кем-нибудь. Я тебе не советчик. Или, например, волосы. У тебя они раньше рыжеватые были. А теперь черные. Тебе черный цвет совсем не идет, если уж честно сказать.

— Какой ты вредный, оказывается.

— Я тебе как друг говорю. Хочешь, слушай, хочешь, нет. Тебе никто другой про это не скажет. И не обижайся. Ешь арбуз.

— Я не обижаюсь, Игорек.

И она опять утопает лицом в большом ломте арбуза. Руки от его сладости липкие, лицо тоже липкое. Желтые осы вьются над арбузом и над урной.

— Видала, какой арбузик парень подобрал. А я сам никогда не умел. Принесешь домой, а он розовый и не сладкий совсем.

— Надо по хвостик у выбирать. Если хвостик высох, значит — спелый. Игорек,— говорит она, глядя на него подслащенным взглядом выпуклых глаз.— Я тебя все время спросить хочу. Ты меня часто вспоминаешь?

— Еще бы!!

— А что значит «еще бы»? Ты как-то так сказал, что вроде бы... не знаю... Нехорошо как-то сказал.

— Вспоминаю, вспоминаю. Попробуй тут не вспомни! Ты, Нелька, зря все это тянешь, влюбись в кого-нибудь. Хочешь, я тебя с одним хорошим парнем познакомлю?

— Ну, Игорек,— опять с укоризной тянет она.

— Пойми, у меня жена, у меня ребенок. Я семейный человек. Чего ты добиваешься? Хочешь разбить семью? Не получится. Ты ж меня знаешь. У меня ж ребенок!

Неля Солдатенкова смотрит на осу, которая суетливо толчется на мякоти арбузного ломтя, который она держит в руках, глаза ее наливаются слезами. Одна, две, четыре крупные слезинки падают вниз.

— Нет,— говорит она.— Ты не думай, я не плачу. Это просто так. Я, Игорек, и сама не знаю, чего я добиваюсь. У меня никакой жизни нет без тебя. Ну никакой! Я даже думаю иногда, и даже мне смешно, когда слышу, что люди боятся умереть, что они боятся смерти. А я совсем не боюсь. Я даже не понимаю, чего хорошего в жизни, если тебя нет со мной. Я только и живу, когда тебя вижу.

Зубы у нее чистые, голубые, и кажется, что они у нее ненастоящие. Что-то в ней есть очень привлекательное, если как следует взглядеться. Она одна из тех женщин, с которой если долго ехать в одном купе или работать вместе, то рано или поздно начинает нравиться, начинает казаться единственной в своем роде красавицей. Но слишком она старается быть красивой! В заботах этих красота ее тает.

— Не знаю, что тебе сказать на это,— выдавливает из себя смущенный и совершенно убитый ее признанием Игорь Черёмин.— Хочешь еще арбуза? Ты на меня не смотри, ешь, я наелся, больше не могу.

— Спасибо, Игорек, я тоже не могу больше. А ты это не выбрасывай,— оживленно говорит она, отбирая у него чуть ли не половину недоеденного арбуза.— Давай я его понесу. Сейчас где-нибудь купим газету, завернем, и ты принесешь домой. Такой вкусный арбуз — и выбрасывать! Может, другой и не такой вкусный. А насчет этого...— со вздохом говорит Неля Солдатенкова, обуянная разрушительной любовью к своему «чертушке»,— мне ничего не надо говорить. Тут словами не поможешь. Я ведь все понимаю.

Она и жалостливо, и благодарно взглядывает на него, как на чудо, которое вот-вот готово обернуться из яви в сон, и поднимается со скамейки, многозначительно качая головой.

Гудят электромашины, стучат молотки, остро пахнет сапожным клеем в мастерской срочного ремонта обуви. Парень в офицерской рубашке с засученными рукавами мажет придиристым, густым клеем зачищенные подметки мужских ботинок, хохмит и веселится между делом, будто работа для него наслаждение, отдых от житейских забот, улыбка не сходит с его лица. Лицо его, заметное среди других лиц, хоть и не значительно, не отягощено глубокой думой, но красота его в том-то и заключается, что он не знает и не догадывается о ней. Рассыпает направо и налево грубоватые свои шутки, зная, что ни у кого не вызовет неприязни и никому не нанесет обиды.

— Чем мы работаем вокруг ботинка? Молотком, ножом и клеем. Засекайте время. За секунды не ручаюсь, а в минутах не ошибусь. Зато потом хоть в космос! Вот вам газета, девушка! Газеты читаете? Ну и хорошо. Значит, уже прочли, можете постелить ее на пол, пока вы босикомая. Ковер вчера в химчистку отдали... персидский, тыщу двести рублей стоит, а пока нет ковра, у нас пол бесковерный, а люди приходят, и нет чтобы по потолку, идут по полу.

Болтает эти глупости, а сам работает, как заведенный, то жмет на кнопку машины, то мажет клеем, то стучит молотком.

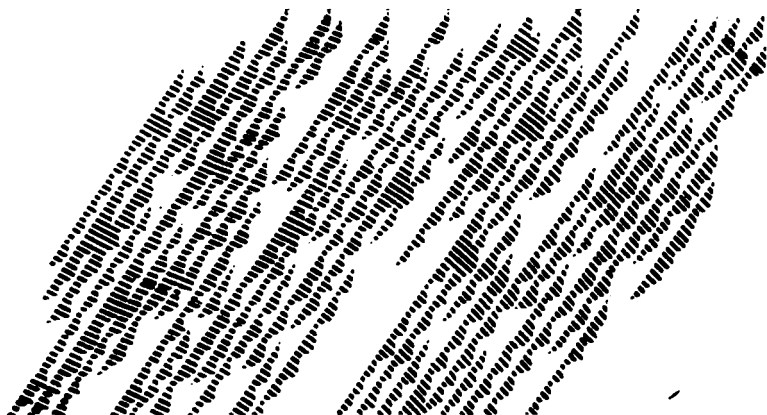
Но наступает день, и под розаном, на старом стуле, появляется его беда. Вглядывается в нее, замирая от тоски и волнения. Так и есть — она. Волосы огненно-рыжие, блестят, как у ирландского сеттера, брови выщипаны, губы бледно-розовые и тоже блестят, лицо обработано тонирующим кремом под южный заггар.

Парень хмурит брови, улыбается и опять хмурит брови.

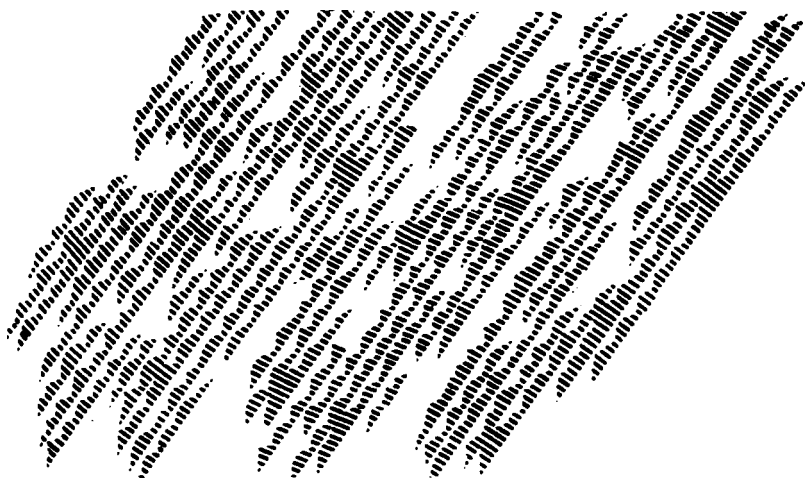
— Ножи у нас! Острые, как бритва,— говорит он очередному клиенту.— Страшно в руки взять! Тут бабуся одна рассказывала, как у них в подъезде цыган жену зарезал кухонным ножом. Бабуся говорит, теперь страшно в темноте в подъезд входить. Во страсти какие рассказывают клиенты! Работать после этого — руки дрожат от страха.

Неля Солдатенкова не сводит с него глаз, улыбается, очаровывая его прежним своим цветом, о котором он по глупости напомнил ей, и, улучив момент, подкрадывается к нему, заставляя его как бы врасплох, и ноющим, вянущим на лету голоском говорит, наводя на него истинный страх:

— Игорек, можно тебя на минутку...



ПОВЕСТИ





Жасмин в тени забора

Ж

1

ак-то вечером, когда солнце, уйдя за облако, похожее на гроздь спелого винограда, готовилось покинуть землю, в тишине цветущей речной долины раздалась ритмическая музыка. Чуть слышная, будто из-под земли, она скоро обрела источник — магнитофон устаревшей конструкции. Его нес черногривый цыган. Он шел один по шоссе, держа в руке звучащий пластмассовый ящик, и, наверное, слушал ритмы, которые помогали ему идти. Шаги его по асфальту тоже ритмично вплетались в танцевальную мелодию.

Цыган был одет в светлый костюм и бежевые полуботинки. В золотистом цвете вечера лицо его и руки казались масляно-коричневыми, а черные волосы, спадающие на плечи, отливали синевой.

Узенькое шоссе, бегущее под горку, а потом взбирающееся на пологий холм-тягун, было совсем пустынно. Кончился рабочий день, и грузовые автомашины разъехались по базам.

Залатанное, потрескавшееся шоссе после каждой весны

требовало ремонта. Подземные воды вспучивали асфальт, тяжелые машины разрушали полотно, дырявили его.

Но в хорошие летние дни далеко была видна с холма вогнутая его полоса, и казалась она монолитной. Светло-песчаные обочины оттеняли свинцовую тяжесть укатанной дороги, пролегавшей между цветущих кюветов, березовых перелесков, и чудилось тогда, будто не люди проложили нешумную дорогу, а сама она с удовольствием разбежалась среди мягких холмов и пестрых лесов, игриво перекинувшись через тихую речушку.

В этот вечер тишина стояла такая, что слышно было, как похрустывали песчинки под подошвами бежевых ботинок, как неверный шаркающий звук порой выбивался из четкого такта шагов, слышно было, как повизгивали стрижи над речкой и звенели кузнечики в траве. Одна лишь музыка казалась чужеродным дребезгом.

Она гасла, не успев разгореться, чадила в душистом воздухе, шипела и была, как это ни странно, беззвучна под небесным куполом и ничтожно мала, словно бы это не музыка, а брнчание вилок, ножей и ложек в мойке было записано на пленке.

Но цыгану, видимо, нравилось это, иначе он вряд ли бы нес с собой тяжелый магнитофон. Походка его была бесовски легкая и уверенная. Перед ним далеко виднелась шоссе-ная полоса, уходящая вверх, завораживающая вправо, в зеленеющие белые частоколы березовых лесов.

Куда шел цыган со своей музыкой и что ожидало его впереди — кочующий табор с костром и спутанными лошадьми на лугу или оседлость в далекой деревне?

Шаги его затихли, музыка подзенькала и тоже умолкла, фигура уменьшилась до размеров пингвина, а покачивающийся этот пингвин превратился в маленького воробушка, который вспорхнул и как будто улетел куда-то.

Женщина с букетом лесной герани, ромашек и дикой астры, смотревшая не отрываясь на странного цыгана, вздохнула и подумала, что есть еще на свете загадочные люди. Они не отвыкли жить на земле и ходить по ней, как по своему жилищу, у которого нет углов, потолка и пола, а есть лишь распахнутое в мир окно. «Хорошо это или плохо? — подумала она, отводя взгляд от шоссе. — Могла бы я так, или это страшно?»

Женщине было двадцать семь лет, звали ее Георгиной — Гешей. В двадцать один год она вышла замуж, но в двадцать три — развелась, взяла годовалого сына и переехала к

родителям, взамен оставив в семье мужа плохое воспоминание о себе. С тех пор она думала лишь о сыне, растила его умником, обожала и возвысилась в своем представлении о мироздании до гордыни, презирая попытки женщин устроить свое счастье с помощью мужчины. Стремление это казалось ей ложным, и она перестала любить женщин, думая о них как о глупых существах, обреченных на несчастья.

Когда-то у нее была подруга, которая тоже вышла замуж и тоже развелась, оставшись с дочерью. Однажды Геша встретила с ее матерью.

— Как ты живешь? — спросила та, едва узнав в Геше худенькую девочку, с которой дружила ее дочь.

— Отлично! — ответила Геша, сияя радостью.

— Замуж вышла?

— Ни в коем случае! Никогда! Ни за что! — сказала Геша, брезгливо выпятив нижнюю губу, и глаза ее замутились презрением, хотя она и не переставала открыто улыбаться.

— А что? — спросила женщина, вглядываясь в глаза Геши. — Предлагают?

В тот день Геша была недовольна собой: она не смогла ответить на вопрос и при этом заметила, как грустно улыбнулась стареющая женщина. Геша себя чувствовала чуть ли не оскорбленной такой бесцеремонностью, как будто мать бывшей подруги заподозрила ее в обмане, в лукавой игре, в делании из себя счастливицы, ибо счастье для страдающей матери вязалось только с семьей, с семейным благополучием и уютом, и она представить себе не могла счастливую женщину, у которой нет любящего и заботливого мужа.

Геша разозлилась в тот день на весь белый свет, словно не только эта женщина обидела ее, но и все люди грустно улыбнулись, заметив ее смущение. Неприятный вопрос долго не давал ей покоя, точно кто-то насмешливый и грубый сказал ей в глаза: «Кому ты нужна, дурочка».

Впрочем, случай этот укрепил ее в сознании своей исключительности, и, хотя она не собиралась становиться при удобных обстоятельствах «девочкой для развлечений», раз и навсегда все-таки решила избавиться от предрассудков.

Она считала, как всякая уважающая себя женщина, что обладает утонченным вкусом, сильным характером и, разумеется, достаточной красотой, чтобы покорить любого мужчину и подчинить его своей воле. С этим ощущением

потенциальных своих возможностей она и пустилась в плавание по житейскому морю, испытав уже одно крушение, которое, как Геше казалось, придало ей силы и уверенности в себе.

Житейское море, крушение, утонченный вкус — все эти понятия, пахивающие бабушкиным нафталином, были близки Геше и естественны для нее, наполнены свежим ветром, который будоражил душу и сознание. Она любила думать о себе, как о родившейся не в свое время и что в этом мире не было и не могло быть достойного мужчины, способного оценить ее добродетели, ее красоту и высокий полет мысли и чувства.

— Читать вредно, — говорила она с уверенностью завязанного книгочея. — Книги рожают иллюзии, которые мешают жить. Я боюсь за сына — он очень любит книгу. Нужно отучить его от вредной привычки. Чтобы никаких иллюзий. Я мать, а какая же мать хочет зла своему сыну? Я вычислила: чем лучше книга, тем больший вред она приносит. В том смысле, что порождает глупые иллюзии... Зачем они современному человеку?

Но это она говорила только в тех случаях, когда попадала впросак, обнаруживая незнание известной книги, которую стыдно было не знать. Она вообще отличалась способностью защищаться в самых невероятных ситуациях, когда, казалось бы, надо покраснеть или просто смутиться, признать свое невежество, и, если даже мозг отказывался идти на выручку, помогала интуиция, которая, помимо воли, подсказывала ей правильный путь и всегда выводила из затруднений. Она безоговорочно верила в свой инстинктивный ум, в охранительный этот орган души и тела, выручающий в самые критические минуты.

В жизни ее были потрясающие случаи, необъяснимые с точки зрения всех признанных наук. Так, например, однажды она вышла из дома в ветреный день. Сажены липки гнулись под губельными порывами ураганного ветра, потрескивали ломающиеся ветви тополей, по мостовой мчались сорванные листья. Она, пригнув голову, шла вдоль стены восьмизэтажного дома, и вдруг какая-то сила толкнула ее вправо, в дверь продовольственного магазина, которая захлопнулась за ней с оглушительным, как ей показалось, грохотом. Она остановилась в недоумении, не понимая, зачем зашла в магазин, когда ей надо было торопиться по делу... И тут же увидела за стеклянной дверью ужасную картину. Грохот, который она приняла за двер-

ной, изошел от упавшей, сорванной ветром тяжелой балки с листами ржавой жести, громоздящейся именно на том месте, где Геша только что проходила. Под балкой, под гвоздистой, рваной жестью лежала старая женщина, придавленная и, может быть, убитая сорванным перекрытием. Геше стало плохо, и она с трудом устояла на ногах.

Зачем, почему, каким образом очутилась она в тамбуре магазина? Кто подсказал ей об опасности? Привычка заходить в магазин? Но она торопилась! Ей нельзя было заходить в магазин. У нее для этого не было ни минуты свободного времени. К тому же она не просто свернула в дверь, как это обычно делала, а ее словно бы кто-то с силой толкнул в эту дверь — самое же мгновение, когда она очутилась за дверью, выпало из памяти, будто она сделала это бессознательно.

Подъехала «Скорая», Геша попросила нашатырного спирта, чувствуя, что силы оставляют ее. Изуродованное лицо бедной старушки с жалобной укоризной взглянуло на Гешу из-под приспущенных век... Волосы, блестящие от крови, ровный рядок искусственных зубов...

— Как же это? — спросила она у медсестры, нюхая нашатырь. — Как же? Может быть, это я? Я только что здесь... И вдруг... так. Почему?

— Успокойтесь! — резко оборвала ее медсестра. — Возьмите ватку. Некогда с вами... Возьмите!

«Скорая», мигая тревожно-синим, пронзительным маячком, умчалась с сиреной. К утру убрали груды жести и тяжелые балки, показавшиеся в тот день Геше железным птеродактилем, рухнувшим на тротуар из допотопного, доисторического неба. А сама она, успокоившись, подумала с изумлением, что с ней произошло чудо — волшебная сила, заключенная в ней самой, толкнула ее в дверь магазина и спасла от увечья или от гибели. И она решила после этого случая, что в ней живет таинственный хозяин, имя которого неизвестно, но силы — неисчерпаемы. Его можно, конечно, назвать инстинктом, но инстинкт есть у всех живых существ. У нее же он особенный, очень сильный и по-звериному чуткий. Она даже стала прислушиваться к себе по ночам, как прислушивается женщина к жизни ребенка во чреве, но лишь сердце отзывалось ей своими ударами. Маленький же хозяин исчез бесследно, затаился в засаде, следя рысьим взглядом за блуждающей в мире опасностью, замер в ожидании нового случая, когда понадобится опять его волшебство.

И случай этот, как говорится, не заставил себя ждать.

Но прежде необходимо сделать небольшое отступление. Дело в том, что отец Гешиного мальчишки родом был с Каспия. Он страдал опасной болезнью, посвятив свою жизнь и свое умение, все природные способности добычи денег. Был рискованно богат, скрывая от жены источник добычи, уверяя ее, что все теперь так живут, как живет он. Был европейски воспитан, когда оставался с Гешей наедине, и по-восточному деспотичен, если в доме появлялись гости. Даже высокая температура не спасала Гешу от обязанностей покорной рабыни, подающей чай на серебряном подносе сомнительным личностям, с которыми муж был вежлив, не замечая при них своей жены, как будто она была на несколько порядков ниже любого из них.

Когда она развелась с мужем, родители которого сыграли в этом скандальном и неинтересном деле важную роль, не простив сыну легкомысленной женитьбы, он, помня о европейском своем воспитании и желая разойтись с женой миром, отдал ей автомобиль «Жигули». К тому времени она закончила местный университет, получив право преподавать французский язык, научилась ездить на автомашине и, бросив мужу с презрением все золотые цацки, все камушки, приняла белую машину, к которой привыкла, как если бы она была красивой и умной лошадью, и увезла на ней своего годовалого сына. Четыре дня ехала до дома, принималась много раз плакать вместе с сыном. Останавливалась кормить его, как цыганка, на дороге, вывалив из разреза кофточки голубую молочную грудь, к которой припадал проголодавшийся ребенок, чернея челочкой липких от пота волос и лия слезы из черных глаз. Звали его Эмилем. Чем дальше увозила она его от Каспия, тем горше ей становилось при мысли, что сына зовут Эмилем.

Она, полуживая, въехала в родной город на запыленной машине, с темным от дорожной пыли и горящим лицом, с грязными руками, от которых пахло бензином, и с грязным, измученным, плачущим Эмилем. Когда же вошла в родной дом, то чуть не упала, увидев ужас в глазах матери, ничего еще не знавшей о разводе.

— Мапочка,— сказала она, привалившись к дверному косяку и протягивая матери плачущего сына,— это Эмиль, а там, во дворе, моя машина... Больше у меня ничего нет. И пожалуйста, ни о чем не спрашивай, иначе я сойду с ума. Мапочка, прости! Я тебя обманывала в письмах. Я была в рабстве. Сбежала! Теперь я свободна, и ты не плачь...

Не плачь! Все хорошо. Это Эмиль. Вот, возьми... Твой внук.

Было жаркое лето, от Каспия до северных широт — всюду светило солнце. Геша стояла, возвышаясь над матерью, в узеньких длинных джинсах из золотистого вельвета, протершегося на складках, в кофте из белого полотна с украинской вышивкой и с маленькими тесемочками на груди. Лицо ее было бледно под пылью, большая нижняя губа, пересохшая и полопавшаяся от слез и от зноя, казалось, кровоточила. Взгляд истощенных, выцветших глаз болью своей чуть не убил растерявшуюся мать, которая в бессилии ахнула, увидев дочь, и едва оправилась от потрясения, ничего не понимая и только чувствуя, что с дочерью случилась беда.

А Геша, не помня себя от усталости, опустилась, скользнув спиной по косяку, на пол, острые ее коленки поднялись выше головы, которую она уронила между ног, плечи ее задрожали, из-под каштановых, крашенных волос оголилась худенькая шея с коричневой родинкой.

— Ничего не спрашивай,— сквозь слезы шептала Геша, еле выговаривая слова.— Все хорошо... Я очень устала. Я не знаю, как доехала... без сна четверо суток... В глазах темно... я потом... Ты накорми... Эмиль плачет... Господи, почему же он? — спрашивала она, не в силах бороться с обморочным, тяжелым и страшным сном, в который погружалась, как в воду, теряя ощущение собственного веса и самой себя в мире.

Покойный отец Геши, много лет работавший на Каспии, говорил ей, когда она выходила замуж: «Смотри, Георгина, два гнета ты не выдержишь!» — не объяснив тогда, что имеет в виду.

Теперь она понимала, что отец был прав. И хотя муж ее тоже закончил университет, изучив европейскую культуру, родительская власть над ним была сильнее любви к жене и к сыну, не говоря уже о власти денег, которым он отдал душу. Денег было так много в доме, что взгляд обязательно натыкался на сиреневые, зеленые или красные купюры, которые лежали на столе, в шкафу, на полках, как в иных домах лежат книги. Муж делал вид, что презирает деньги, вытаскивая из карманов брюк скомканные, смятые двадцатипятирублевки, и не поднимал их с пола, если они выпадали из кармана, когда он доставал носовой платок.

«Ибрагим, откуда у тебя столько денег? — со страхом

спрашивала иногда обеспокоенная Геша.— Где ты их берешь?»

«В тумбочке,— с улыбкой отвечал черноокий муж с яблочным румянцем на смуглых щеках.— Знаешь анекдот? «Где берешь? В тумбочке. А в тумбочку кто кладет? Жена. А жене кто дает? Я даю! А ты где берешь? В тумбочке».— И он смеялся, блестя чистыми, сильными зубами, умея вдруг согнать с лица веселую браваду и превратиться в разгневанного, взбешенного тирана, цедающего сквозь те же чистые и сильные зубы проклятия: — Еще раз услышу этот вопрос, загрызу».

Машину свою он отдал, конечно, не по доброте душевной, а из соображений престижных или, может быть, желая таким образом заткнуть ей рот, о чем, впрочем, в то время Геша не догадывалась, зная только, что при разводе супругов имущество делится поровну, и, взяв машину, она понимала, что доля эта принадлежит ей по праву. Хотя, разумеется, если бы закон вмешался в деятельность ее бывшего мужа, то машина наверняка была бы конфискована, как приобретенная на нетрудовые доходы. Но спроси Гешу, каким образом муж ее добывал такие суммы денег, она со всей искренностью ответила бы: «Не знаю»,— он ее не посвящал в свои дела, украшая золотом и драгоценными камнями со страстью маньяка, жена которого должна быть красивее и богаче, чем все остальные жены на свете. «Не забывай, чья ты жена! — говорил он угрожающе, если она выходила на улицу или появлялась перед гостями в затрапезном виде.— Не позорь меня!»

«Не позорь моего сына,— вторила ему свекровь, которая без тени смущения твердила Геше, что Ибрагим ошибся, женившись на ней, и что сама она всегда была против этого брака. Когда же Геша напоминала об Эмиле, она отмахивалась и криком отвечала ей: — Другая жена народит Ибрагиму десять таких сыновей! Еще лучше, чем этот!»

Через несколько месяцев после развода Ибрагим женился на молоденькой, утешив наконец своих родителей, воле которых он на сей раз безропотно подчинился. Но, как ни странно, известие это совсем не тронуло Гешу, как будто речь в письме подруги шла о постороннем человеке, общем знакомом, который когда-то нравился ей своей щедростью и лаской. Она даже не вспомнила в этот момент, что Ибрагим — отец Эмиля.

Город в то время был укутан снегом, завален сугробами. Белая долина широко и далеко раскинулась под городом,

под стеной старинного монастыря, красный кирпич которого, украшенный снежными гривами на зубцах, мрачно темнел в метельные дни, укрепившись башнями на глинистом обрыве. Ветер трепал на стенах голые ветви бузины. Черные бойницы угрюмо смотрели в белую степь, заштрихованную грифельными полосками лесов.

— Почему я люблю метель? — спрашивала Геша у матери. — Я себя чувствую счастливой, когда на улице метет. Это ненормально? Или мне опостылело солнце? В метель идешь и радуешься, что в лицо тебе снег, снег, снег с ветром... Ах, как хорошо! Я слышу Грига, когда метель, когда снежинки снизу вверх и все сугробы дымятся. Если б ты знала, как я истосковалась!

Она все эти месяцы жила в восторженном состоянии, ее радовало в жизни буквально все. Даже синицы, прилетавшие на заснеженную террасу, на кормушку, приводили ее в тихий восторг.

— Ты знаешь, мама, — говорила она полушепотом, каким рассказывают детям таинственные сказки, — я совсем недавно жила, как эта синица! Возьмешь зернышко и оглядываешься, нет ли врага. Как будто я тоже прилетала на кормушку... Так нельзя жить человеку! Теперь я, может быть, слишком расслабилась, не оглядываюсь, не боюсь ничего — хорошо ли это? Но это пройдет, я знаю, хотя жить и ничего не бояться... Если бы ты знала! Как это приятно — жить и не оглядываться! Но ты посмотри, какая красивая синица! Мама, посмотри! — говорила она, смущая неумемной восторженностью и словно бы требуя от матери полной взаимности и подчиненности своему состоянию.

— Ну, конечно, красивая, — отвечала мать, искоса поглядывая на дочь с тревогой.

— А где?.. Ты помнишь, у нас, у папы, была когда-то... Я очень хорошо помню! Коллекция ночных бабочек. Где она, ты не знаешь? Я помню коробки со стеклянными крышками, а под стеклами пушистые бабочки с большими глазами, с такими крохотными хрусталиками... Это я хорошо помню. Не знаешь где?

— Не знаю, Гешенька. Прошло столько лет!

— Я хотела отнести в школу. Надо поискать.

Она с осени работала преподавателем французского в школе и, в отличие от всех преподавателей иностранных языков, была очень довольна своими учениками, едва лепетавшими непонятные слова.

— Нет, мама, в моей комнате будут только книги...

Вообще, моя ближайшая задача — купить письменный стол, стул-вертушку, книжную стенку до потолка. Можно заказать, если будут деньги... И больше ничего. Ну, конечно, настольную лампу и торшер возле кровати. Чтобы ничего лишнего. Чтобы Эмка с детства привыкал к рабочему столу и книгам... Как ты считаешь, мама? Меня это беспокоит. У нас не было книг. Вернее, книг, которые... Ну, ты сама понимаешь! Книга должна всегда смотреть с полки. А наши отворачивались от нас и прятались. Их как будто и не было. — Геша задумчиво хмурила брови, морщила чистый лоб. — У нас был, — говорила она, глядя в пространство, — каменный дом... И люди в нем каменные, окаменевшие. Сплошные окаменелости. Книги тоже, как камни, — одни дороже, другие дешевле. Нет, мама! Надо что-то делать.

— Но что? — спрашивала мать.

— Не знаю, но что-то надо! Надо так наладить жизнь, чтобы каждая вещь излучала тепло и звала к труду, к занятиям, а мальчика к играм. Чтобы не было... Ну, ты сама понимаешь! Я боюсь за Эмку! Он очень похож на отца. Ты словно не хочешь понять меня! Никакого участия!

— Ты, Гешенька, сплошное электричество! Не искри, не искри, — говорила мать, всю жизнь прожившая с инженером-электриком. — Иди-ка ты в туман, ну тебя! — добавляла она с кокетливой улыбкой не старой еще женщины, мягко отталкивая от себя дочь.

Геша была права, говоря, что все это пройдет. Хотя, конечно, нельзя всерьез относиться к нынешнему ее взгляду на книги, когда она говорит, что чтение вредно, — это своего рода реакция на собственный опыт, на крайность, с какой она выстраивала умозрительную модель жизни сына и своей собственной. Жизнь пока еще никому не удавалась без чего-то лишнего. Иной раз даже именно это нечто лишнее и становилось единственным украшением праведной жизни, в конце которой человек с нежностью и душевным трепетом вспоминает о таких пустяках, что даже сам диву дается, как это он мог при своей трезвой расчетливости допустить милую глупость — завести, например, собаку и прожить с ней лет пятнадцать, не совсем ясно понимая, кто кого ведет на поводке и кто хозяин: собака или он сам. А сколько лишних вещей производит всякое общество, без которых могли бы обойтись здравомыслящие люди. Да и что значит — лишнее? С чьей точки зрения лишнее? Лучше уж не размышлять на эту тему. Логически рассуждая, можно прийти к такому абсурду, что и сама жизнь человека по-

кажется лишней, потому что все равно придется рано или поздно умереть — так не лучше ли совсем не рождаться? И так далее и тому подобное. Чепуха все это!

А тот случай, который, как известно, не заставил себя ждать, произошел с Гешей сравнительно недавно. Ей самой до сих пор кажется, что все это случилось с ней вчера, так остро она почувствовала опасность, когда в хороший, прохладный летний день ехала со скоростью сто километров в час по загородному шоссе, которое только что открыли после реконструкции, превратив в прекрасную автостраду с двухрядным движением в каждую сторону и с огражденной камнем разделительной полосой. Полоса эта, правда, не была еще закончена — глинистая земля, измятая строительными машинами, высохла на солнце и представляла собой нагромождение бугров и ям, глубоких вмятин, превращенных солнцем в керамический хаос, который требовал многих еще усилий, чтобы со временем там выросла газонная трава. Но покрытие было превосходным. Не заезженный еще, черного цвета, крупнозернистый, обладающий надежным сцеплением с протектором шин жесткий асфальт однотонно гудел под колесами. Машина шла ровно, и сидеть за рулем было приятно, тем более все они — Геша, Эмиль и бабушка — ехали в деревню к родственникам на выходные дни, зная, что в лесу пошли белые грибы.

Бабушка с внуком разговаривали на заднем сиденье, Геша улыбалась, слушая их, а сама тем временем изящно, как ей представлялось, обгоняла попутные машины, делая это по правилам дорожного движения, хотя и нарушала эти правила, превысив скорость на десяток километров. Но ее тоже обгоняли! И если уж кого-то штрафовать, так это лихачей, которые мчались со скоростью сто двадцать в час. Сама она в общем-то шла в потоке, не отставая, но и не вырываясь вперед. Машин на шоссе было много, как всегда перед выходными днями. Солнце уже стояло над лесом, положив на шоссе тени высоких елок. Солнечный свет и резкие тени мелькали перед глазами, чередуясь с неравномерной периодичностью, как вспышки магния, бьющие по глазам и гаснущие, но вновь возникающие на мгновения. Нельзя сказать, что это мешало следить за дорогой, но все-таки приходилось напрягать зрение. Обстановка на автостраде не предвещала никаких неожиданностей.

Впереди, натужно ревя мотором, тянулся автокран, занимающая середину дороги. Заметил быстроходную «Ладу», блистающую в солнечных лучах чистым кузовом, и стал,

замедляя ход, прижиматься к правой обочине, то есть, как поняла Геша, останавливаться. Она включила левую мигалку и, легонько прижав педаль акселератора, с ускорением решила обойти тяжелую машину... И вдруг!

Нога сама прыгнула на тормозную педаль, раздался пронзительный визг заблокированных колес, скользящих по асфальту. Стрела крана, качаясь, развернулась хоботом поперек дороги, темная туша машины, загородившая шоссе, стремительно приближалась... Столкновение неминуемо — деваться некуда! Тормозной путь слишком велик — тормоза не в силах были остановить разогнавшуюся машину... Мгновение — и Геша, бросив тормозную педаль, свернула влево, на разделительную полосу. Машина с резким ударом выскочила на сухие колдобины. Земля — небо, земля... — удар, удар... Руль бешено вертелся в руках то влево, то вправо... Опять нога ударила по тормозу... Руки, неспособные удерживать руль, освободили баранку, и она, бешено скользя под напряженными пальцами, стала дергаться, крутятся то в одну, то в другую сторону, а Геша лишь подправляла, лишь фиксировала очень сильной ухваткой пальцев взбесившийся руль, стараясь удержать машину, не дать ей опрокинуться. Стрела с тросами промелькнула над ветровым стеклом — водитель, видимо, затормозил тяжелый автокран. Бухающие удары, прыжки, провалы — Геша, не помня себя, делала что-то такое, чего никогда еще в жизни не приходилось делать: машину кидало вправо, она тут же крутила руль вправо, машина вставала с ударом на дыбки — резко вертела рулевое колесо влево, выправляя движение, фиксировала руль в прямом направлении и в конце концов выпрыгнула из ураганной тряски на асфальт и, притормаживая, остановилась на обочине. Ничего не понимая, ничего не слыша и не видя, она распахнула дверцу и, заметив автокран, который, нарушая правила, пересек автостраду, съехал на старую, узенькую дорогу и удалялся по ней, побежала за ним, размахивая рукой и что-то крича вослед. Но, сообразив, что не догонит, вернулась к машине, увидела пыль, поднятую в воздух, остановившиеся машины, заметила сочувствующие, уважительные взгляды, посмотрела на мать и сына, которые, не шелохнувшись, сидели, обняв друг друга, испуганно ожидая от нее чего-то.

— Что? — спросила Геша. — Ах, скотина! — воскликнула она, озираясь вокруг.

Колеса были на месте, кузов не помят, ничего не подтекало, мотор работал в привычном ритме, постукивая из-

носившимся расpredвалом. Она никак не могла понять, что ей надо делать? Неужели опять садиться за руль?

Подошли двое мужчин, свидетелей смертельного трюка, вежливо поздоровались.

— Все живы? — спросил один. — А машина что?

Другой сказал, присев на корточки и заглядывая под днище:

— Кажется, в порядке... Подвеска, конечно... развал, сходимость...

— Что? — спросила Геша, слыша, как гудят голоса.

— Регулировочку! Не видели, что ли?

— Что?

— Как он налево...

— А что я должна? Здесь только прямо.

— Все правильно. Вы молодец! Я думал... Пьяный, наверное.

— Кто? Может быть. Так, ГАИ, конечно, нет... Всегда так. — Она пнула узеньким носком туфли в резину и, презрительно выпятив губу, сказала с шоферской бравадой: — Могла стать гробиком. Удовольствие повышенного риска. — И виновато улыбнулась.

Она только теперь вдруг почувствовала острый, тошнотворный испуг. С трудом заставила себя сесть за руль, захлопнуть дверцу, пристегнуться ремнем.

— С богом? — спросила она у матери. — Эмиль, не ушибся, мальчик? Нет! Ну и хорошо!

Мать спросила, почему она кричала так громко. Испугалась?

— А что я кричала? — удивленно спросила Геша.

— «Спокойно! Спокойно!»

— Странно... Я совершенно не помню. Когда?

— Перепугала до смерти. «Спокойно! Спокойно!» Кричала, как будто на нас с Эммочкой. Не ври, пожалуйста. Помнишь! «Спокойно!» Громко, во весь голос! Когда куврыркались...

— Правда, не помню, — отвечала Геша и улыбалась, довольная собой и своим «хозяином», который, видимо, и кричал вместо нее, заставляя делать то, чего она не умела и не делала никогда. — Это не я кричала... Это меня кто-то учил и успокаивал...

— Нет, Гешка, ты сплошное электричество!

Позже она прочитала или услышала где-то, что в подобных ситуациях нельзя держать руль, а надо, чтобы он скользил в руках и чтобы руки при этом были готовы в

любой момент сделать нужную поправку и вывести машину из опасного крена. Это она и делала, как если бы опыт пришел к ней в мгновение ока. Она знала, что такого не бывает, и никому не поверила бы, не испытай сама на деле странное наитие, спасшее жизнь матери, сыну и ей самой.

Теперь она была безусловно уверена, что в ней живет заботливый и мудрый хозяин, который может даже прикрикнуть на нее в экстремальных ситуациях, заставить сделать то, что надо сделать немедленно, когда разум уже не в силах помочь, не в состоянии что-либо вычислить и подсказать. Именно в этот момент и выходит на сцену хозяин, заранее знающий все, что она должна сделать. И сделать при этом с виртуозностью мастера, движения которого доведены до автоматизма, потому что в подобных случаях времени остается в обрез.

— Очень странно! — тихо говорила она с тех пор и улыбалась, когда разглядывала себя в зеркале. — Очень странно... — Не сомневаясь в том, что природа наградила ее особенными, редкими способностями, которых лишены все остальные люди.

Неестественно набухшая рубиновой кровью толстая губа придавала лицу брезгливое выражение, как будто она специально выпячивала ее, высказывая свое отношение к людям. Высокие ее плечи, откинутае назад, как если бы она замерла в сладостном потягивании после утреннего пробуждения, придавали всей ее фигуре жеманность и ту приятную женственность, какую ждут в бессознательном своем поиске женолюбивые мужчины. Руки она обычно держала согнутыми в локтях, а кисти с длинными пальцами, как бы надломленными в запястьях, безвольно были опущены вниз. Она любила носить джинсы и туфли на очень высоком каблуке, сменяя каблуки только за рулем, когда они мешали. Презирала тапочки и халаты. Прически себе делала сама, вполне овладев этим тонким искусством. Любила шоколадное мороженое с рюмочкой ликера «Мокко». И не могла жить без черного кофе: у нее было пониженное давление.

Женщины, не знакомые с Гешей, почему-то сразу же злились на нее, видя в ней хищницу, озабоченную одной лишь низменной страстью, в чем, кстати, виновата была ее заметная, чувственно разбухшая губа, за что злоязычные ненавистницы дали ей кличку «грибастая».

Слово это, видимо, имеет происхождение древнеславянское, ибо по-чешски, например, губы — грибы. Но каким-то

образом люди отыскали его в современном русском языке и прилепили к Геше.

Когда Геша впервые услышала свою кличку, она обиженно улыбнулась, вскинула взгляд в поднебесье, пожала плечиком и горестно вздохнула.

— Мне никто не говорил этого в глаза, — сказала она. — Чепуха какая! А вообще-то древние еще знали: войну может развязать и трусливый. Но закончить способны только смельчаки, сильные духом и телом. Сделать это труднее, чем развязать. Но зато почетнее. Я готова! Хотя, господи, что я говорю! Какая война? С войнами можно было мириться в век пороха и даже динамита. Теперь не то! Есть, конечно, людишки со способностью маленького лесного зверька замирать: «Меня здесь нет». Маленькие. Всякий может обидеть и даже съесть. Какая-нибудь крупная птица поймает и съест. Надо замирать, исчезать, прятаться. Но то зверьки! А когда это люди — противно. У меня вообще странное отношение к людям... Я, например, увижу человека с зонтиком и думаю: хороший человек. Почему? А потому что с зонтиком. По-моему, плохие с зонтиком не ходят. — И она неестественно весело рассмеялась. — При чем тут зонтик?

Ей очень не понравилась кличка. Она понимала, конечно, что отметить или поменять ее не удастся никогда.

Второй год она работала в горисполкоме. Ее уговорили перейти сюда из школы, включив в комиссию по работе с молодежью, а точнее сказать, по борьбе с некоторыми вредными привычками, грозящими здоровью подростков. Теперь она вплотную была связана с органами внутренних дел. Хотя комиссия, в которой она работала штатно, не обладала никакой властью. В задачу ее входило выявление неблагополучных молодых людей, к чему была привлечена общественность: директора школ, ПТУ, заводов. Геше приходилось много времени тратить в районном управлении внутренних дел, убеждая работников милиции в неизбежности совместной борьбы с коварным злом, методы и способы обнаружения которого не были еще как следует разработаны и внедрены в практику.

Когда знакомые любопытствовали, где она работает, она отвечала однозначно: в горисполкоме, не вдаваясь в подробности. И вид у нее при этом бывал такой, что казалось, ей неприятно говорить о своей работе.

Но это было не так. Она страстно увлеклась новым делом, понимая всю его чрезвычайную важность, и, по привычке думать о себе в высоком стиле, считала себя

сражающейся за идеалы общества на самом переднем крае тихой войны. Это ей придавало энергию и уверенность. И она с удивлением вспоминала о прошлой своей работе, жалея о зря потраченном времени. Впрочем, французский язык пригодился ей и на новом месте: в старинный город нередко наезжали иностранные туристы. Геша очень старалась быть хорошим переводчиком, развивая в себе артистические способности и совершенствуясь с каждым разом в искусстве общения с людьми. Она не испытывала при этом ни тени страха или сомнения. Бывала естественна и обаятельна, наученная еще Ибрагимом улыбаться гостям даже в те минуты жизни, когда хотелось плакать.

Разумеется, все эти вынужденные превращения нужны были лишь для того, чтобы пресечь, если понадобится, контрабанду «дури», источники проникновения которой в известную среду молодежи были непредсказуемы и требовали тщательного поиска.

В сложных этих занятиях проходила теперь вся ее жизнь. Она много читала специальной литературы, включая и медицинскую, и часто задумывалась, откладывая книгу, вперившись невидящим взглядом в пространство, в зыбком свете которого возникал вдруг образ Ибрагима, многорукого красавца с яблочным румянцем, заваленного разноцветными купюрами денег и внешторговских чеков. В душе ее звенела в эти мгновения электрическая струнка, издавая предельно тонкий, как мышинный писк, пронзительный звук, словно в сознании ее включался экран испорченного аппарата, искажающего изображение до неузнаваемости. Мозг ее, отключившись от будничных дел, начинал играть, рисуя воображаемые картины мести с изощренностью малолетнего садиста, не укрепившегося в нравственных принципах. «Так-так,— говорила она, злорадно усмехаясь и дрожа ресницами,— значит, из тумбочки? Так и запишем — из тумбочки»... И почему-то пистолет оказывался у нее в руке, и почему-то свекровь падала на колени. «Не убивай моего сына! Не убивай моего сына!» — умоляла она, сцепив костистые пальцы с молочно-белыми, длинными ногтями. «Мама, не мешай! — требовал сын, лицо которого взялось землистым цветом.— Я заслужил!» — «Он отец твоего сына! — стонала свекровь, ломая руки.— Пожалей моего сына!» — «Он убийца», — спокойно говорила Геша, прижав к бедру руку с пистолетом. И так, с бедра... Нет! Тут картина вдруг пропадала, и Геша не слышала грохота выстрелов. Она только видела страдальческую улыбку на землистом лице Ибрагима.

Оцепенело смотрела на себя в зеркало, и ей казалось в эти минуты, что она похожа на врубелевскую Тамару. Сердце ее бешено колотилось, дыхание было затруднено. «Нужны сирени, — думала она. — Огромные мокрые цветы, какие мог писать лишь Врубель. Такие цветы только на его полотнах, такие не бывают в жизни, они лучше, чем в жизни... Боже мой, с каким наслаждением я положила бы его в эти сирени! Какая я была курица!»

В небольшом ее кабинете, под настольным стеклом, рядом с распластанным календарем, глянцево блестела фотография Эмиля, сидящего на трехколесном велосипеде. Он был очень похож на отца. И только на переносице, между густыми бровями голубел, как чернильный штрих, тонкий кровеносный сосудик, который с невероятной точностью передался ему от матери: Геша до сих пор смущалась, когда кто-нибудь путал этот сосудик на ее переносице с мазком синих чернил. «Ты чернилами испачкалась, — говорили ей иногда мужчины, любившие ее. — Послюнявь платок».

А мужчины любили ее с той великолепной забывчивостью, какая свойственна, пожалуй, только людям женатым, обладающим в полной мере чувством долга и верности, — любили, как любят дети цветы, солнечный восход, не зная еще о том, что вся эта красота, данная им словно бы в награду, вечна, а сами они, увы, ненадолго прописаны на земле. Георгина Сергеевна, или Геша, словно бы одним своим взглядом отпускала грехи и заставляла без всякого усилия со своей стороны забыть о бренности всего живого на земле, как если бы обладала, сама того не подозревая, таинственным даром омолаживать души и заглушать вопли и стоны страдающей памяти, напоминавшей о глухой толще прожитых лет. Мужчины старше сорока млели в ее присутствии и готовы были согласиться на все, что требовала от них эта добродушная красавица. Работники РУВД, встречая Гешу, распускали на лицах улыбки, и даже самые строгие из них не могли побороть в себе чувства восхищения, ломая свои привычки, если она заходила в их кабинеты. Они плыли в выжидательной полуусмешке, как будто хотели предупредить ее, что с ними она не сумеет справиться с той легкостью, с какой удавалось ей это с менее стойкими товарищами, но в конце концов тоже расслаблялись и всячески хотели оставить о себе приятное впечатление.

— Георгина Сергеевна, — говорил ей седой подполковник, доверительно прикасаясь кончиками волосатых пальцев к ее руке, — вы умница. Вы расставляете все точки над

«і», и это хорошо... При условии... При единственном условии! — восклицал он, с отеческой улыбкой глядя на Гешу. — Если существует само это «і»... Понимаете меня?! Не ставите ли вы точки над пустым местом? Надо прямо сказать, проблема эта не придумана вами, но, может быть, вы преувеличиваете?

Она тоже улыбалась красивому подполковнику, волосы которого, переняв цвет мундира, казалось, отсвечивали голубизной, и говорила как будто бы совсем о другом, не имеющем никакого отношения к делу:

— Я знаю одну знаменитую оперную певицу... У нее голос — божественный... Но знаете, чего ей не хватает? Легкости вдоха. Слышно, как она набирает воздух на вдохе. На выдохе у нее все прекрасно. А на вдохе... Тайна пропадает, загадки нет... Все есть, а этого нет и не будет никогда. Так и вы тоже! На выдохе у вас все хорошо, а на вдохе — шумно.

— Не понял вас...

— Что же тут непонятного?! Не хотите всерьез — то есть легко и просто! — взяться за новое дело. Поете хорошо, а на вдохе тяжеловаты, не можете легко набрать воздуха в грудь. Вон она какая у вас широкая! А вы не хотите... Я вас вычислила, работы вам хватает. Но и вы нас поймите. Что мы без вас?

Подполковник усмехался, хотя и слыл гневливым человеком.

— Тогда и я вам тоже издаleка, — говорил он, откидываясь на стуле. — Вчера иду мимо универмага, а в урне торчат хорошие туфли, которые лет тридцать пять назад стоили больших денег. Вы не помните, к счастью. Вы другие люди — молодежь. Купили новые, а старые тут же выбросили. Это, наверное, хорошо. Так и надо. Но моя супруга да и я сам тоже никогда бы этого не сделали. Привычки нет. Я привык ремонтировать обувь. Износились туфли, их бы выбросить, а я несу в мастерскую и, признаюсь, радуюсь, когда получаю хорошо починенные: еще на несколько месяцев сгодятся. А вы что предлагаете? Плюньте на старье и давайте обнову. Завидую вам: вы многого не знаете. Вы не знаете, что значит чинить старую обувь, которая не жмет ногу. Я ведь не от скупердяйства, а потому, что люблю старую обувь, привык к ней. Это, знаете, как охотник пошел на охоту в новых сапогах и убил ноги вместо дичи. Нет, Георгина Сергеевна! Прежде надо хорошенько все обсудить, а уж потом, как вы говорите, воздуху

в грудь без шума набрать. Для меня важно, как я выдохну и что выдохну. А как вдохну — это дело личное. А вообще, вы умница. Работаете в правильном направлении. Будем откровенны! Сбросим шелуху,— говорил он, свысока поглядев на свою собеседницу.— Я люблю думать и всегда думаю, что занимаюсь карающими операциями. Я воин, оберегающий отечество от внутренних врагов. Значит, в руках у меня карающий меч. Красиво! Но верно. Поговорка есть такая: куда дерево клонилось, туда и повалилось. Покажите мне это дерево! Но не предлагайте, чтоб я его исправил... Это не мое дело. Не современно? Понимаю. Но мое дело вырубить это дерево, чтоб оно не портило лес, а не ставить подпорки. У меня старая закалка. Знаете, как я в свое время карманников вылавливал в городском парке? Провоцировал! Незаконно? Верно. В пиджачонке в толпу воткнулся, а вот сюда, в верхний кармашек, тридцаточку суну, красненькую... Раньше тридцаточки были, вы не помните... Рука в карман, а я за руку. Куда клонилось, туда и повалилось. Я караю, Георгина Сергеевна, караю! И не хочу знать ничего лишнего! Это мне мешает. Я человек дела. И меня в обмашку не возьмешь!

— Слово какое-то непонятное... В обмашку,— говорила Геша сердясь.

— А очень просто... Обманным путем.

— Ах, это старина! Конечно! Очень важно не забыть, помнить всегда... «В обмашку»... Это в старину тоже говорили: «Супруге, прошу покорнейше, напомнить о себе»,— говорила Геша, поднимаясь и чувствуя, что на лбу у нее под волосами выступил пот, которого она всегда боялась... — «Прошу покорнейше!»

— Перестаньте, пожалуйста. Сядьте! Сядьте, сейчас же! — говорил осерчавший подполковник, хватая ее за узкое, хрупкое, непривычное запястье, выбить из которого руку ничего не стоит, никаких усилий... — Что вы от меня хотите?

— Помощи! Господи, простой, человеческой, запрограммированной помощи! Ничего больше, честное слово!

— Что значит запрограммированной? — сердито тоже спрашивал подполковник, глаза которого становились похожими на глаза невыспавшегося человека.— Говорите яснее, Георгина Сергеевна.

— А то! Ваша обязанность, ваша программа — помощь, а потом уже кара.

— У нас что получается... Вы на каких-то иностранных оборотах обходите меня. Я на наших, русских. Что такое?

Вы русская? Русский язык знаете? Говорите со мной просто, по-русски... Что надо? Я скажу да или нет. Надоело!

— А что это вы так со мной разошлись? Я к вам не с улицы!

— Не с улицы. А я как с товарищем. С товарищем ругаюсь! Надо прямо сказать. С улицы придут,— говорил подполковник, меняя гнев на милость и улыбаясь опять отечески,— я с ним знаете какой вежливый. Положение обязывает. А мы с вами, Георгина Сергеевна, товарищи по оружию, нам не грех и поругаться ради выяснения позиций. Думаю, что мы с вами сработаемся... Шефу своему привет. Кстати, как ваша машина бежит? Если что надо, скажите, поможем. И вот что еще помните,— говорил он, вставая из-за стола и кладя на спину Геши теплую руку, под ладонью которой волновались, как птичьи крылья, Гешины лопатки.— Помните, Георгина Сергеевна, вы занимаетесь серьезным делом. Будьте осторожны. Чтоб никакой самодеятельности!

— Но вы-то сами понимаете? — спрашивала Геша, ощущая обжигающе-горячее прикосновение руки.— Ухожу от вас ни с чем.

— Как это ни с чем? — изумленно воскликнул подполковник.— А голова? Надо прямо сказать. Она битком набита информацией! Будем думать! Разве этого мало? Набросали столько вопросиков, а говорите — ни с чем! Будем думать. Ах, лет на тридцать помоложе бы! — говорил он, провожая Гешу до дверей.— В нашей молодости таких красавиц не было. Таких красавиц мы не видели, нет. Удачи вам! И не забывайте старика. Вот что еще напоследок хотел я сказать вам, уважаемая Георгина Сергеевна! Вы ведь знаете, есть самолеты туполевские, а есть ильюшинские... Какая разница, знаете? А та, что туполевские идут в небо круче, чем ильюшинские. Ту — сразу нос задирает, а Илы постепенно набирают высоту. Если же летчик с Ту на Ил переседет, может по привычке и Илу тоже нос после взлета задрать... Что получится, знаете? Самолет рухнет. Так вот, я вроде бы по характеру как ильюшинский самолет, а вы, девочка моя, туполевской конструкции. Понятна разница? Давайте летать, как положено: вы по-своему, а я уж по-своему, как привык. Хорошо?

— Хорошо.

— Ну вот и умница. Надо прямо сказать — умница.

Подполковник носил сапоги из хрома высокого качества, сшитые, видимо, по заказу. Они всегда блестели у него, какая бы ни была погода на улице, делая ноги похожими на

стеклянные бутылки. Этот секрет раскрывался просто: подполковник держал в кармане тюбик пасты и маленькую сапожную щеточку в чехле, ни одной капельки грязи никогда не оставляя на поверхности черной кожи.

А на улице тогда моросил тихий дождик. Белая машина, на которой всюду ездила Геша, была грязна, как белая охотничья собака, набегавшаяся по болоту. Два полукружия на ветровом стекле чернели в глинистой мути. Геша тоже терпеть не могла грязную машину, как подполковник нечищенные сапоги, ей даже казалось, что мотор хуже тянет, а она сама хуже управляет, когда машина испачкана по самую крышу.

Была весна. Снег растаял. Только кое-где лежали еще пласты черного спрессованного льда. Дворники долбили его ломami, разбрасывая колотые куски сочащейся черноты на мостовую, полагая, что колеса автомашины раскрошат их вдребезги. Приходилось тормозить и объезжать ледяные выбросы.

Старые дома тесно стояли вдоль улицы, желтея крашеной штукатуркой. Улица шла под уклон. Внизу блестели мокрые крыши старого города, двухэтажных особняков, обветшалых и требующих постоянного ремонта. Когда-то перед фасадами этих купеческих и мещанских домиков зеленели палисадники, пестрела булыжная мостовая, пропахшая лошадиным навозом, чирикающая воробьями, каркающая и звонко вскрикивающая воронами и галками. Тучи их чернели в небе, кружились над куполами церквей и шпилями колоколен. Теперь асфальт, как полая вода, подошел под самые цоколи домов, затопив улицу серой массой, в безликости которой выстроились вдоль тротуара американские клены. Над покатыми крышами домов торчали бесчисленные телевизионные антенны всевозможных конфигураций, а над мостовой натянуты провода троллейбусов и уличных фонарей. Теперь особняки кажутся очень старыми, а архитектурные их достоинства — фронтоны с лепными лавровыми венками, перевитыми лентой, с летящим ангелом или каким-нибудь вензелем, похожим на герб; лепные карнизы или даже колонны с капителями — все эти особенные лики домов теперь представлялись жителям и гостям города приятной достопримечательностью, воплощенной в камень и пробуждающей ностальгические чувства.

В горисполкоме давно уже спорили о будущем этой улицы или, точнее, многих улиц, составлявших исторически сложившуюся центральную часть города. В последние годы

побеждало мнение, что дома эти надо сохранить, благоустроив жилища людей, мечтающих переехать в те новые кварталы, которые видны были из любого места города. Они белой массой возвышались над старыми домами в дневные часы и светились в ночи бесчисленными окнами, как горы горячей, тлеющей золы с пробегающими тут и там искрами.

Геша жила в деревянном доме и не хотела никуда переезжать. Дом этот стоял в переулке с булыжной мостовой и с булыжными тротуарами, между камней которых зеленела трава. Рядом с домом сохранились тяжелые деревянные ворота, висящие на ржавых петлях, и калитка, открывавшаяся с визгливым пением. За калиткой был дворик с тремя дощатыми сарайчиками, по числу семей, живших в доме. По договоренности с соседями Геша ставила машину во дворе, возле самых ворот, где под травой глыбились вдавленные в землю булыжники. Во всех уголках дворика росла густая курчавая трава. Пахло тут влажными дровами, а летом жареной или вареной пищей. У всех жильцов была своя квашеная капуста, которую они шинковали или рубили поздней осенью во дворе, на широкой, врытой в землю скамейке. На этой же скамейке грелись на солнышке старики или играли дети. Играла когда-то и Геша.

Деревянный дом, обшитый выгоревшей, потемневшей вагонкой с шелушащейся краской, был похож на большую голубятню. Застекленные террасы, поблескивая мутными квадратиками, громоздились и на втором его этаже, поддерживаемые толстыми кирпичными тумбами, между которыми, в свою очередь, тоже блестело стекло террас первого этажа. Чудилось порой, что не люди строили этот растрепанный дом, а сам он вырос тут, как растут деревья, горы мусора или грибы.

Дом страдал неистребимой жаждой, пропуская все дожди через свое нутро. Профиль крыши был так изломан, что вода обязательно находила себе какую-нибудь щелку и просачивалась в комнаты второго этажа. Но этот дом искусно спроектирован, у каждой семьи была небольшая квартирка с отдельным входом и при этом одна комната размещалась на втором этаже, а две и кухня на первом: было где спрятаться от капли. Террасы тоже были у каждой семьи, как будто кто-то когда-то позаботился о том, чтобы в доме этом люди чувствовали себя независимыми друг от друга хозяевами, у которых общим был только двор, место для встреч и разговоров о жизни, о делах, о детях, о войне и международной политике. Люди так привыкли к своему

жилищу, так ругали его и так любили, что слухи о сносе дома приводили их в уныние. Забывались тогда протекающие потолки и гулькающие звуки капель, падающих в тазы и мешающих спать по ночам. Люди себя чувствовали так, будто им хотели предложить взамен на старенькую беличью шубку синтетическое великолепие. Особенно горевали, конечно, старики и старухи, которые представить себе не могли жизни в многолюдном гиганте и заранее ругались, ворчали, спорили заочно с местными властями, отстаивая свое право спокойно закончить жизнь в родном доме. В общем, старобытная жизнь в деревянном доме устраивала всех без исключения, и никто никуда не хотел уезжать.

К вечеру вместо дождя полетел снег. Как всякий весенний снег, он казался бессмысленно веселым и, точно глупец, пытающийся развлечь своими шутками умных людей, был пушист и настырен, битком набив воздух белой кашей. Поднявшийся ветер взвирывал лохматые снежинки, они празднично и светло носились в воздухе, пугаясь мокрой земли и мокрого асфальта, соприкосновение с которыми грозило им гибелью. Снег этот, как всякий весенний снег, красовался в воздухе и пропадал на земле. Только крыши холодных автомашин, крыши сараев и стебли прошлогодней травы давали ему временный приют.

Но утром город проснулся в черно-белых тонах, как будто глупый снег сумел договориться с темным ночным морозцем и настоял на своем назло умным людям, которые знали, что этого не должно было случиться.

Рано утром Геша проснулась с острой тоской на душе. Тоска эта словно бы мучила ее всю ночь, а теперь совсем расслабила волю. Ей хотелось плакать, и она с трудом сдерживала раздражительность.

По радио говорили о трудностях. О трудностях полеводов и животноводов. Дикторша, читавшая текст, упивалась трудностями, известными ей понаслышке, выдерживала паузы, горестно вздыхала, украшая текст соответствующей интонацией.

— С ума, что ли, сошли! — злым полупшепотом воскликнула Геша, выключая приемник. — Трудно, трудно, трудно! Лентяю и неумёхе все на свете трудно! За что ни возьмется, все трудно! Безобразие какое! Скоро договоримся до того, что жить тоже трудно... Совсем обалдели! Тоску на людей нагоняют, нагоняют! Кто это все пишет? Зачем? Радоваться совсем разучились...

Она это говорила, ни к кому не обращаясь, с механичес-

кой, нервной торопливостью жуя пережаренную яичницу, о которой вдруг вспомнила, и резко отодвинула от себя горячую сковородку, бросив вилку, звякнувшую об стол.

Этот звякнувший звук вилки, которая, стукнувшись об стол, упала на пол и тоже дребезжаще звякнула, совпал с неожиданным и продолжительным звонком в дверь.

— Да что это такое! — сказала Геша, плаксиво морщась. — Иди открой, мама. Но только никого не пускай. Всех к черту! Подожди, я уйду наверх.

Уже сверху она слышала, как мать открыла дверь, как мужские голоса шумно ворвались в дом, как тяжело затопали по полу чьи-то ноги, неся кого-то в этот ранний час в полусонное ее жилище с той решительностью, какая бывает только у людей, имеющих право войти в чужой дом.

У нее зашло сердце в предчувствии непонятной беды, но на ум не приходило ни одно мало-мальски подходящее предположение, кто бы это мог быть.

И вдруг она услышала имя сына, произнесенное мужским голосом. У нее закружилась голова, на лбу выступил пот, она опустилась на жесткий диван и стала с силой растирать виски, ничего не понимая, находясь в полуобморочном состоянии, из которого никак не могла выкарабкаться.

«Идите все к черту! — хотелось крикнуть ей вниз, но сил у нее не было. — Все к черту! Убирайтесь!»

Вот уж кого не ожидала она в этот день в своем доме, так это Ибрагима. То есть не то чтобы в этот день! Она вообще не думала, не могла себе представить, что он ворвется в ее жизнь спустя столько лет почти полного забвения.

Она была очень смущена. И больше всего потому, что в это утро плохо выглядела, не успела причесаться и была слишком раздражена, чтобы выглядеть счастливой и вполне независимой. Она была истинной женщиной и знала, что раздражительность и красота — несовместимые понятия. Заперлась в комнате и принялась приводить себя в порядок, то и дело выпячивая нижнюю губу и поглядывая исподлобья с задумчивой хмуростью. Она знала также, что если прическа, какую она задумала, не получится с первого раза, то и нечего больше стараться — все равно ничего не выйдет. У нее были послушные волосы, и она легко собрала их в пучок на макушке, оголив шею и оставив на ней только два-три тонких полупрозрачных завитка. Она знала, что и небрежность в прическе должна быть хорошо продумана и отлично исполнена, — и ей это удалось. Такие же тонкие пряди она оставила на висках, а на лоб пустила

густую челку, тоже как бы небрежно упавшую с темени. Легкомысленное выражение, которое не замедлило появиться на лице, она усилила, выбросив локон, отделив его от массы вьющихся на лбу волос и придав горячими щипцами, которые были у нее под рукой, игривое движение. Она со всех сторон оглядела свою голову, сделав это с помощью небольшого овального зеркальца, и осталась довольна собой. Тенями она никогда не пользовалась, но на этот раз, чтобы скрыть заспанность на лице, едва заметно тронула надглазья коричневым тоном. А на губах усилила блеск бесцветной помадой. Она помнила, что Ибрагим любил, когда от нее сильно пахло хорошими духами. У Гешы были хорошие духи, которыми она не пользовалась с той далекой поры.

Ей, конечно, хотелось бы усилить блеск коричневой радужки глаз, чтобы получились три сияющих пятна на лице, составленных из глаз и темной губы. Но она была и так уже хороша необыкновенно. Волнение, которое охватило ее, прибавляло теперь красоты: ресницы вздрагивали, ноздри тоже, взгляд был тревожен и робок, даже губа и та волновалась, когда она, надев на себя строгий костюм темно-зеленого цвета, спустилась вниз. Она спускалась по крутой деревянной лестнице, придерживаясь за скользкое перильце с таким чувством, будто выходила впервые в жизни на большую сцену. Нога ее в узенькой туфле тянулась к следующей, к нижней ступени с той грацией, с какой, быть может, только Наяда ступала обнаженной ножкой в прозрачный ручей, вода которого холодна и быстротечна, а дно каменисто.

Голоса умолкли, когда она вся появилась на нижнем этаже, изображая крайнее удивление.

В комнате, которая считалась гостиной, сидели трое мужчин. Все они поднялись со стульев. Ибрагим поздоровался, склонив голову, и, ошалело улыбаясь, громко сказал:

— Что я говорил?! — обращаясь к тем двоим, с которыми приехал. — Красавица! Я им говорил: первая моя жена — красавица! Не верили! — сказал он, как бы извиняясь перед Гешей. — Это мои друзья.

Геша подняла брови и посмотрела на друзей Ибрагима. Один из них с ярко-белой лысиной и оттого высоким лбом, под которым прятались в бровях и ресницах пронзительно-голубые глаза — некрасивое, но умное лицо. Второй — каких много: бесцветный, с седеющими волосами, тяжелая голова на короткой шее, подбородок упирается в узел галстука,

воротник рубашки чуть ли не до ушей — невзрачный и, наверное, равнодушный. Поднялся со стула, потому что все поднялись, поздоровался, потому что так полагается, увел взгляд, потому что ему все равно, красива или нет первая жена Ибрагима. В темном клетчатом пиджаке, из обшлагов которого багровели налитые силой и тяжестью руки, он первый уселся на стул и как бы исчез из поля зрения.

Геша качнула глазами, здороваясь со всеми, и, овладев собой, сказала матери:

— Напоила бы чаем, что ли... Ранние гости — наказание.

— Мы с аэропорта, — вежливо сказал Ибрагим. — Прилетел посмотреть на Эмиля. Имею право.

— Если хотите травмировать мальчика, скажите, что вы его отец, — сказала Геша, не глядя на Ибрагима, и добавила презрительно: — Имеете право.

Вместо Ибрагима ответил лысый:

— Что-нибудь придумаем, — придвинувшись слишком близко к ней.

— Кстати, — обратилась Геша к нему, — вы с аэропорта. Очень хорошо! Но у меня не харчевня и не гостиница!

— Не позорь меня, — взмолился Ибрагим. — Я говорил, ты красивая, интеллигентная женщина! Я пришел к сыну. Ты его мать, я отец. Зачем так?! Мы остановились в гостинице. Э-э, нехорошо! В жизни бывает всякое, но об этом не надо знать Эмилю. Зачем ты меня обижаешь? Разве я не понимаю! Я подарки привез! — сказал он обидчиво, как избалованный ребенок.

Голос его дрожал, когда он жалобно и страстно говорил все это.

Она сказала:

— Надеюсь на твое благоразумие. А как ты... что ты ему скажешь? Он спросит, а ты?

— А что говорила ему ты?

— Я говорила? Говорила, что папа живет очень далеко и что когда... потом... Я говорила, что ты когда-нибудь приедешь... Вообще он не спрашивает. Ты можешь передать ему привет от якобы отца... Что он якобы очень занят... Что-нибудь в этом роде, я не знаю... А разве тебе обязательно разговаривать с ним?

— Где он сейчас?

— Спит. В соседней комнате. Если мы не разбудили.

— Я подумаю, — сказал Ибрагим.

— Могу подвезти до гостиницы. Всех! Я тороплюсь.

Мне бы не хотелось, чтоб все это произошло без меня. Извини. Я этого очень боюсь. Вы надолго в наш город?

— Я нет. Вот они — да. Что значит надолго? Все относительно.

— Выходит, ты с ними. Ну ладно. Не они с тобой, а ты с ними. Попутно.

— Надо поговорить.

— Поговорим по дороге.

Лысый, самый вежливый и умный из троих стал надевать кожаное пальто. Поднялся и Серый, не выражая никаких эмоций.

— Хорошо,— сказал Ибрагим и тоже стал одеваться.

Запахло новой кожей. В помещении потемнело от тесноты, громоздкости мужских тел.

Геша долго грела мотор, долго соскабливала обледеневший снег со стекол грязной машины. Мужчины о чем-то азартно, но тихо спорили, не обращая на нее внимания. А для Гешы было самым главным сейчас увезти эту троицу из дома и, может быть, потом, уже на нейтральной территории, встретиться с Ибрагимом, если он будет настаивать. Прийти с Эмилем, если этого нельзя избежать, и все сделать так, чтобы Эмиль не догадался, кто этот красивый мужчина.

Лысый стал отворять ворота. Вытащил деревянный, круглый и гладкий засов, с усилием раздвинул широкие створки, примерзшие к снегу, потащил в сторону сначала одну, проводя на заснеженной земле циркульный след, потом другую. Бугристый переулок белым светом хлынул во двор.

Из окон смотрели соседи, прячась за занавески. Все они, конечно, могли подумать, что трое мужчин ночевали в ее доме.

— Выезжайте, я закрою,— сказал Лысый, пряча в черных ресницах васильковую синеву.

Сказал так, будто успел затесаться в друзья, понимая больше, чем кто-либо другой, ее волнение и невольную грубость. «Что-нибудь придумаем»,— словно бы говорил его взгляд.

Ибрагим, усевшись рядом с Гешей, критически разглядывал постаревшую машину. В моторе громко барабанил распределительный вал. Когда-то на черной панели приборов была наклеена яркая тигриная морда с ощеренной клыкастой пастью. Геша заметила, как он погладил пустое место, глазам своим не поверив, что такая красота бесследно исчезла.

— А где же тигр? — спросил он, задумчиво улыбаясь.

— Слиял.

Лысый затворил ворота и, скользя, подошел к машине, вытряхивая из-за шивороты снег, упавший с наверхия ворот. На ногах у него были тонкие, на коже, черные ботинки знаменитой фирмы «Саламандра» — пешком этот человек не ходил.

— Итак, — сказал он, колыхнув машину грузным телом. — Путь открыт... Все за семафором! За рулем цветок по имени Георгина. Машина старая, как печка, а в салоне Чудо. Нет, Ибрагим, ты Емеля-дурак! Из русской сказки. Я как человек за семафором могу тебе это прямо сказать, и ты не обидишься. Знаете, — обратился он к Геше, приблизив дыхание свое к самому ее уху, — мужчина в командировке — это мужчина за семафором.

— Вы мне мешаете, — сказала она, отстраняясь.

Тяжело груженная машина требовала газа, но скользкую дорогу держала лучше. Геша подъехала к гостинице и, остановившись, молча ждала.

— Чего или кого ждем? — спросил Ибрагим.

— То есть? — спросила Геша, скосившись.

— Ха! — воскликнул Лысый. — Но это не та гостиница! Ничего, ничего! Мы зайдем и сюда. Выходим! Как раз время завтрака. Все выходим!

— У нас другой, — сказала Геша, стараясь скрыть удивление, — нет.

— У вас — нет, у нас — есть, — загадочно пояснил Лысый, намекая как бы на что-то такое, о чем не надо всем знать. — У нас особая гостиница, закрытая.

Ибрагим задержался.

— Надо поговорить, — сказал он и повернул ключик в замке зажигания.

Улица шумела. Автомашины опять, как зимой, вертели пушистыми хвостиками пара, люди словно бы почернели, одевшись в зимнее, торопились по белым нетающим покровам тротуаров. Геша смотрела сквозь боковое стеклышко, вслушиваясь в хруст шагов и жесткий гул резиновых скатов, катящихся по мостовой.

— Вы, оказывается, в командировке... — сказала она с усмешкой. — Или опять не имею права спрашивать? Не загрызешь?

— Надо поговорить, — сказал Ибрагим с упрямством в голосе.

— О чем? — воскликнула она, оборачиваясь к нему всем корпусом.— Ты бы спросил, хочу ли я говорить с тобой? Для начала. Нам с тобой не о чем. Надо тебе или нет — мне все равно. Не о чем говорить!

— Я отец Эмиля.

— Слушай, сделай так, чтоб я тебя искала! Уйди за горизонт! — вырвалось у нее чужое, вновь приобретенное, хлесткое, как ей казалось, выражение.— Сделай, пожалуйста! Какой ты отец! Ты просто алиментщик. Знаешь лучше меня. Иди к черту!

— В школе научилась? Или где ты сейчас?

— А что за люди с тобой? Сначала поговорим о них, а потом уж... Что у них за дела?

— Большие люди. Что они делают в городе, знают только несколько человек. Тебе не обязательно,— сказал Ибрагим, снисходительно поглядывая на Гешу, которая вдруг улыбнулась ему и, меняясь на глазах, изобразила на лице растерянность, сказав при этом:

— Неудобно получилось. Надо заранее предупреждать. А не лучше ли встретиться вечером? Я тороплюсь. Извинись, пожалуйста, перед ребятами... Я себя плохо чувствую... Приходи сегодня часиков в семь. Можешь с друзьями. Вот тогда и поговорим.

Ибрагим внимательно посмотрел на нее.

— К тебе? — спросил он осторожно.

— Легкий ужин. Ничего больше. С вилками, конечно. Ну, что-нибудь! Я кое-что вспомнила,— сказала Геша и поняла, что Ибрагим слишком внимательно вглядывается в ее глаза.— Нарушаю планы? — спросила она, перестав улыбаться и с тревогой уже понимая, что совершила какую-то ошибку, вызвавшую подозрение Ибрагима.— Как хочешь. В конце концов надо это тебе, а не мне. Придете вместе, Эмиль ни о чем не догадается. Так будет лучше. Как зовут твоих ребят?

— Ребята? Они тебе сами назовутся,— сказал Ибрагим с внезапной злостью в голосе и вынырнул из машины, оставив дверцу незапертой.

В смущении она потянулась к дверце, и ей стало вдруг страшно. Она испугалась не за себя, ей стало страшно за то, как она глупо ошиблась. Слишком круто изменила свое отношение к Ибрагиму и его друзьям. Раскололась, сделав вид, что поверила. Будь на его месте другой! Но он-то, зная ее, не мог же всерьез говорить о какой-то секретной работе «больших людей». Она промахнулась на шутке.

Ибрагим хотел замять неприятный вопрос, пошутил: «Закрытая гостиница! Важное задание!»

«А я, дура, сделала вид, что поверила, — думала она с небывалым смущением и страхом за свою очевидную ошибку. — Догадался? Что-то новенькое. Такая вдруг злобная подозрительность! Вечером будет нелегко. Надо думать».

Она завела мотор и тронулась с места, но тут же затормозила, услышав сзади пронзительный сигнал черной «Волги», из-за стекол которой что-то грубое прокричал ей парень; она легко представила себе все, что он кричал, и опять смущенно улыбнулась, понимая свою вину и чувствуя: кровь приливает к голове, обжигая глаза стыдом.

Ибрагим не мог, конечно, забыть, как она беспокоилась, подозревая его и требуя объяснений, откуда в доме деньги, и, разумеется, понимал — она не такая дуручка, чтобы принять его за сотрудника, выполняющего какое-то задание, о котором знают очень немногие... Такого быть никак не могло.

Геша снова и снова возвращалась к своему испугу, мозг ее напряженно работал, словно бы ощупывая каждую черточку поведения Ибрагима и двоих его спутников, находя все больше и больше подозрительного в той, как ни странно, подозрительности, с какой эта троица относилась к ней. Ей казалось странным, что Ибрагим, приехав взглянуть на сына, не захотел посмотреть на него спящего, то есть не настоял на этом, а легко согласился дожждаться вечера. Станным казался ей слишком ранний визит и чрезмерная вежливость Лысого, молчание Серого, как будто все они, нагрянув с аэродрома к ней, путали след, с удовольствием согласившись тут же уехать на автомашине. И наконец, подозрительность Ибрагима, который словно бы обжегся вдруг, наткнувшись на ее нелепую, хотя и очень естественную игру в доверчивую дуручку...

Обедать она собралась чуть раньше обычного, уже не сомневаясь к тому времени, что приезд Ибрагима с друзьями имеет тайную цель, отнюдь не связанную с Эмилом, о котором якобы вспомнил любящий отец. Эмиль в этом деле играл, по всей вероятности, роль надежного прикрытия.

Расставив в своем уме все эти вопросы, Геша была озабочена лишь одним, очень важным обстоятельством: ей необходимо было успокоиться и взять себя в руки. Но сделать это было не под силу — она очень волновалась.

Днем растаял весь снег, было грязно, светило солнце, ослепительно блистая всюду, куда попадали его лучи. Геша

бросила машину в переулке, рядом с воротами, и, не оглядываясь, чуть ли не бегом пошла домой. Эмиль играл во дворе, руки у него были испачканы в земле. Мать встретила Гешу очень встревоженно.

— Ну что? — с порога спросила она, испуганно глядя на дочь.

— Что — что?

— Ты его видела?

— Кого?

— Ибрагима. Он только что ушел. Я решила... Не дождался и ушел. Сказал, вы условились.

— А зачем он приходил? Когда он пришел? А Эмиль? Подожди, подожди... Что-то я ничего не понимаю. Приходил Ибрагим, и что?

— Пришел часа два назад или час. Сидел; спрашивал... Ждал тебя. С Эмилем говорил... Но какой-то странный. Удивился, что ты не в школе. Интересовался... По-моему, я что-то не то сделала, — призналась вдруг мать, теребя пальцами мочку уха и виновато глядя на дочь. — По-моему, я зря ему все рассказала.

— Мамочка! — ласково воскликнула Геша, жалостливо улыбаясь. — А что же ты могла ему рассказать? Что значит — все? Или я ничего не понимаю, или мы с тобой сошли с ума! — Она скинула мокрые туфли и босая вошла в комнату, плюхнулась на диван и, по-мальчишески расставив коленки, опять спросила, глядя на мать снизу вверх: — Что же ты рассказала, интересно? Все это очень интересно. Расскажи. Пришел Ибрагим... и что? Ну так что же? Пришел Ибрагим... Дальше что? — говорила она как можно спокойнее, чтобы мать не пугалась. — Расскажи, пожалуйста.

Рассказ матери был сбивчивым, она волновалась. Беспокойство дочери, с которым та не сумела справиться, приводило ее чуть ли не в ужас, словно она ненароком совершила против нее преступление и только теперь начинала понимать глубину пропасти, какая открывалась перед ней по мере того, как она с подробностями рассказала, что произошло.

Ибрагим объяснил свое возвращение смиренным желанием скорее увидеть сына. Он был настолько деликатен, что, любуясь Эмилем, ничем не обнаружил особенного отношения к нему и даже, делая знаки растерявшейся женщине, спрашивал, как зовут мальчика, сколько ему лет, расхваливая его за общительный нрав, за что и подарил

зеленый танк с электромоторчиком, очень похожий на настоящий, умеющий ползать на резиновых гусеницах, поворачивать в разные стороны и двигаться назад. Эмиль в восторге убежал с игрушкой в другую комнату, в детскую, как называла ее Геша. А Ибрагим посмотрел на часы и сказал, что Геша должна вот-вот прийти, потому что у нее сегодня мало уроков и она освободится рано. И что мать удивленно спросила, какую школу имеет он в виду. Она давно уже не работает в школе. Он что-то путает. И, решив набить, так сказать, цену дочери, рассказала ему о новой ее работе, не скрыв от него тех подробностей, какие слышала сама от Геши, о связи ее с органами внутренних дел, доказывая таким образом Ибрагиму, что бывшая его жена прекрасно обходится без него, ни в чем не нуждается, занимаясь очень серьезным и важным делом, с чем, безусловно, согласился Ибрагим, не уставая восхищаться Гешей, за которой раньше не замечал способностей общественной деятельницы. А потом опять посмотрел на часы, хлопнул себя по коленке, сказал, что не сумеет дожидаться, торопливо оделся и, не простившись с сыном, вышел из дома.

— Я ему сказала, — говорила мать, — что ты вот-вот придешь обедать, а он сказал, что вспомнил о каких-то делах, заспешил и убежал. А я только потом поняла, что он мне соврал: ведь не могла же ты ему сказать о школе. Как подумала об этом, так у меня сердце опустилось от страха. Что-то он мне очень не понравился. Все выпытывал, вынюхивал... А эти друзья его! Особенно этот, молчун...

— Да, мамочка, — сказала Геша с вялой улыбкой, — ты, конечно, умница. Я, кстати, тоже не отличаюсь большим умом. А насчет страха преувеличиваешь. Пусть боятся они. Нам-то чего?

— Ты так думаешь? — нерешительно спросила мать.

Она с некоторых пор очень изменилась, смягчила властный нрав, уступив незаметно для самой себя первенство дочери, считая ее теперь главной решающей силой в семье. Геша, тоже незаметно, приняла это как должное, разговаривала теперь с матерью добродушно-насмешливым тоном, как с бывшим диктатором, ушедшим в отставку.

— Ну, хорошо, — сказала Геша, тяжело поднимаясь с дивана, со старческой сутулостью и словно бы ломотой в ногах идя по комнате. — Кофе и коньяк с бананами отменяются.

У нее была узкая продолговатая ступня, струнно напря-

женная сухожилиями. Нерастоптанная пятка, совершенно не приспособленная для ходьбы босиком; на ходу Геша гулко постукивала по полу, не умея ходить без каблука, или шла на цыпочках.

— Скажи мне, что все это значит? — просила мать. — Я не могу взять в толк.

— Кто-то сказал, — отвечала Геша, — эмансипированная женщина — как собачка, умеющая ходить на задних ногах... Ходит плохо, но все восхищаются. Вот и я тоже похожа. Мне бы за ребенком смотреть и котлеты жарить. Сегодня страшный день! С самого утра все не так, все кувырком! На всякий случай, сделай к вечеру какой-нибудь салатик. Майонез? Банка, по-моему, оставалась. Огурцы соленые привезла. И, как дура, купила коньяк. Ибрагима я ждала вечером. Он меня опередил. Не знаю, но догадываюсь, зачем. Ах ты осьминог! — говорила она, словно бы восхищаясь бывшим мужем. — Все рассчитал. Но, я думаю, вечером они не придут. Почти уверена.

— Я отказываюсь! — сказала мать.

— Что?

— Встречать их без тебя. Мало ли что на уме!

— Я буду дома. Не бойся, они не придут. Мы их спугнули.

В верхней комнате отсырел в углу потолок. Крупная капля навернулась в ржавой его сырости, образовалась, как драгоценная жемчужина в цветистом перламутре. В комнате книжный шкаф, приобретенный еще отцом вскоре после войны, когда мебельная промышленность только разворачивала свою деятельность: фанерные дверцы, волнистое стекло, буковая конструкция, грубо покрытая лаком, — он был дорог Геше своими воспоминательными достоинствами, точно шкаф этот все время возвращал ее в детство, к первым романам и повестям, которые до сих пор стоят на липовых полках. Отец считал лучшим романом «Белую березу» Бубеннова; Геша тоже привыкла так думать и говорила, что лучше этого романа она ничего не читала в современной литературе. Но из современной отечественной прозы она вообще почти ничего не читала, интересуясь «Иностранкой», зарубежным романом и детективом. К развлекательному жанру относилась с некоторой насмешкой, как бы признавалась людям в своей слабости, ребячестве, если несла домой потрепанную книжку, обещавшую ей недреманные часы полуночного чтения. Но была, кажется, создана для подобного чтения, и ничто не доставляло ей такого удо-

польствия, какое она получала от густо наперченного заграничного детектива.

Она, конечно, преувеличивала значение книг в своей жизни. Ее высказывания о литературе никак нельзя назвать серьезными. Но все-таки шкафчик был и книги любимые тоже.

Две картинки на стенах, одна чеканка авторской работы поблескивала над письменным столом, похожим на туалетный: тут и зеркало, и всевозможные склянки, и грешки, и бигуди... Платяной шкаф, на крышке которого рулон бумаги, вентилятор, китайский термос в малиново-серебристом футляре и всякая всячина, ненужная и давно забытая, лежащая там до первой серьезной уборки. Зеленый палас под ногами, колючая жесткость которого доставляла странное удовольствие, когда Геша ходила босая. Все тело начинало как будто искриться, словно босые ноги впитывали в себя неведомые токи, рождающие наслаждение. Кожа на ступнях была тонкая, как у детей, точно Геша до сих пор порхала над землей, не касаясь ее, и не успела сбить ненагруженные ноги.

В этот день не хотелось ничего делать: обедать, ехать обратно на работу, что-то кому-то говорить. Она легла на кровать и стала разглядывать широкую в окружности, плоскую каплю, думая про нее, что капля эта может упасть, а может и высохнуть на потолке, оставив еще один след, ржавое колечко. Скорей всего останется след, если не хлынет дождь, который, конечно, нужен всем, но только не ей.

«Только не мне,— думала она отрешенно.— Дождь теперь для меня сигнал тревоги. Надо что-то делать. Неужели нельзя как следует починить крышу? Худая крыша не просто худая крыша — это путь к эгоизму. Всем нужен дождь, а мне не нужен. Надо все-таки,— неожиданно подумала она, поднимаясь с постели,— обязательно позвонить подполковнику».

Ноги с нежностью приняли колючую массу паласа. С голого дерева за окном слетел воробей.

— Я поехала,— сказала она матери.— Ничего не бойся. Быстро вернусь. Смотри за Эмилем.

Подполковника не было на месте. Это показалось Геше хорошим знаком: все-таки надо дожидаться вечера, а утром дозвониться.

Вечером никто не пришел, хотя Геша надеялась, прислушивалась к шагам во дворе, к тормозящим автомашинам, к хлопающим дверцам. Эмиль допоздна играл со своим

танком. Танк грозно гудел и лязгал, дергался вправо и влево, ворочая длинным пушечным стволом, наезжал на препятствия, давил пластмассовых солдатиков, которых выстраивал на его пути Эмиль.

В гостиной низко над круглым столом висел оранжевый абажур с густой бахромой, от которой на крашеном полу шевелились длинные тени. В этих золотистых тенях играл Эмиль, не заподозривший, что подарок ему сделал отец: Геша была благодарна Ибрагиму за то, что не сподличал.

Утром она доела остатки салата, выпила чашку кофе и умчалась на работу. Сказала шефу, что едет в РУВД по делам, тот велел передать привет друзьям. «Ты что-то зачастила,— сказал он лукаво.— У подполковника жена — министр».

Сияющая, уверенная в себе, как крупная, смелая собака, она вышла из грязной машины и, ловя приветные взгляды знакомых ребят, стоящих поодаль, сказала им, любуясь собой в это раннее утро:

— Здрасьте, юноши!

Голос ее ломко прозвучал в прохладном воздухе, и воздух, казалось, радостно вздохнул, приняв в себя глоток нежных звуков.

«Юноши» отозвались не очень весело, не подошли здороваться, а виновато потупились, как будто не поняли ее.

Подполковник принял ее тоже неласково, посмотрел на часы, намекая на время, которого нет у него. Часы старенькие, стальные, с черным циферблатом, что-то вроде «Победы».

— Слушаю вас, Георгина Сергеевна,— сказал, как в телефонную трубку.— Вы, конечно, знаете о случившемся...

— Что случилось? — спросила Геша, чувствуя, как не в меру екнуло сердце в груди и как разлилась слабость по жилам. — Не знаю...

Ей хотелось вскрикнуть: я знала, что-то должно случиться. Вчера еще знала! Неужели?

— Сотрудник ГАИ,— сказал подполковник и поморщился.— Только что скончался в больнице. Стоял на посту... Знаете парк? Прекрасно. Там, вчера вечером... Жил всю ночь. Успел кое-что сказать. Короче, какая-то мразь! Там, говорят, в кустах драка, женщину бьют два подростка. Тот и побежал, а эта мразь за ним... Никакой драки. Обрезок трубы. Этим обрезком по голове лопушка нашего. За пистолетом охотился! Ушел с пистолетом. Вот так. Слишком доверчивыми стали! Непонятная история. Распространяться

об этом не нужно,— предупредил подполковник и внимательно взглянул в глаза побледневшей женщине, которая, как ему показалось, едва удерживала себя на стуле.

Ужас! — чуть слышно сказала Геша.— Какой ужас! Боже...— И вцепилась в угол столешницы...

А очнувшись, пришла в себя уже под распахнутым настежь окном. В ушах шелестели как будто катящиеся по слякоти шины. Над ней озабоченные лица, погоны на серых мундирах. Шелест шин обрел вдруг глубокий звук, который упруго, как резиновое колесо, покотился по стенам и по потолку. Звук этот дошел до слуха тревожным вопросом:

— Что? Обошлось?

«Кто это говорит?» — подумала она и прошептала:

— Простите, я что-то...

— Лежите, лежите,— сказал опять голос.— Сейчас придет врач.

— Не надо.

— Обязательно.

— Нет, нет, все хорошо. Я бы не хотела, не надо. Я себя хорошо... — вяло говорила Геша, поднимаясь с дивана, обитого холодным липким дерматином.— Окошко... очень душно...

Ее бил озноб. Пальцы были холодными, ногти поглубели. Она подумала, что на переносице сейчас синее чернильное пятно... Ей не хватало зеркала, и она, как раздетая, смутилась вдруг, увидев над собой лица мужчин. Дрожащими пальцами застегнула пуговицы на груди, постаралась улыбнуться и заметила насмешливую улыбку подполковника...

— Что с тобой, девочка? — спросил он подчеркнуто бодрым, отеческим тоном. — Ушиблась? Пощупай голову — шишку, наверно, поставила. Затылком об пол. Напугала!

— Нет,— ответила Геша, подчиняясь и ощупывая затылок.— Немножко... Вот здесь... Почти не больно.

Пришла молодая женщина в отглаженном халате с чемоданчиком в руке. Теплым, ухоженным пальцем мягко нажала на боевую жилу в запястье, прислушалась.

— Ничего страшного,— сказала.— Простой обморок. Раньше случалось?— спросила она, поглядывая на переносицу Гешы.— А это что?

— Это с детства... У меня и у сына... тоже. Не знаю. Спасибо. Я себя чувствую хорошо.

Ей было стыдно, что она заставила понапрасну волноваться людей, и виновато сказала:

— Извините, пожалуйста... Мне очень неловко.

— Ну, хорошо, хорошо. Сейчас мы вас отвезем домой, дома полежите...

— Нет, я сама,— сказала Геша, вспомнив об автомашине.— Тут я вам не подчинюсь. У меня дела.

Женщина-врач промолчала и, словно бы обидевшись, ушла. В кабинете остался один лишь подполковник.

— Сейчас,— сказал он,— нам принесут чаю. Я заказал покрепче. Правильно?

Он был явно озабочен, и Геша хорошо это понимала.

— А вы, девочка, что-то скрываете от меня,— сказал он и весело улыбнулся, будто очень хорошо пошутил.— Все-таки чай в стакане, по-моему, вкуснее, чем в чашке... Как вы думаете? Смотрите, какой цвет, почти красный.

— Я привыкла к кофе.

— Нет, я чаевник! — так же весело сказал подполковник, обжигая губы горячим напитком.— Что же у нас с вами? Какие дела? Не поговорили. Я слушаю вас. Только, чур, больше не падать! Что случилось?

Она подумала и решила ничего пока не говорить подполковнику: слишком близко находились две точки — провести черту между вчерашним визитом и преступлением очень заманчиво, прямая черточка — самый короткий путь от одной точки до другой, но именно это и остановило Гешу. Она сказала, не притрагиваясь к чаю:

— Очень устала. Хотела поговорить, а о чем не помню. То есть я, конечно, никогда не забываю о своих делах! А тут вдруг такое отчаяние, хотела ругаться с вами. А вы меня убили новостью. Лобовое столкновение. Я и свалилась. Страшно почему-то сделалось и очень жалко... «Доверчивый»... Это хорошо, что доверчивый.

— Сначала проверь, а потом доверяй,— возразил ей подполковник.— Чай остынет, пейте.

— И все-таки! Сначала доверяй, а уж потом, если понадобится... Иначе какие мы люди? Это собаки сначала обнюхиваются, рычат, шерсть дыбом, а уж потом дерутся или хвостом виляют.

— Не то говорите! — прервал ее подполковник.— Разве можно! При чем тут собаки? Случай из жизни знаю поучительный: врач молодой напился на банкете, а работал в ведомственной железнодорожной поликлинике. Напился и стал твердить, что все железнодорожники, простите, суки. Начальник поликлиники услышал и говорит: «Вы хотите сказать, что вы ветеринар?» А пьяненький: «Хочу сказать,

что сказал». — «Значит, вы ветеринар, если утверждаете это. А нам ветеринары пока не нужны. Зайдите завтра с извинением». Тот наутро приходит и кается, обещает исправиться, ругает себя и водку. А начальник стоит на своем: «Ним ветеринары не нужны». И вынудил в конце концов уйти молодчика этого. По-моему, правильно сделал.

Слава богу, вы не мой начальник, — сказала Геша и поднялась. — Спасибо за чай.

Ох, Георгина Сергеевна! Как все близко к сердцу! Что же вы от меня скрываете? Не хотите рассказать. Что?

Каждая женщина — актриса, — ответила она с нарочитой кокетливостью и осторожно пошла к двери, пока не убедилась, что ноги крепко держат ее на прочном полу, и потом и на серой лестнице, марши которой тоже прочно впились в свое место, в ярко-синие, пахнущие свежей краской стены.

«Все хорошо, — подбадривала она себя. — Все так, как надо. Это, конечно, не они. У них что-то другое. Я это чувствую. Мозг меня обманул: он дурак. Надо верить чувству».

На что надеялась, она и сама не знала. Но что-то ей подсказывало, что поступила правильно, отложив свой рассказ о встрече с черной троицей. Скажи она подполковнику, тот, по всей вероятности, пошел бы по ложному следу. Уж очень все очевидно! В жизни так не бывает: Ибрагим, военный танк, Эмиль, а потом убийство. Нет, тут что-то другое.

И она стала ждать. Ездила, ходила по городу, сидела ли дома или в своем кабинетике, стояла ли в магазине — где бы ни была, ее не покидало ощущение, что она лежит в тишине, внимательно вглядываясь во тьму, вслушиваясь в тишину, уверенная, что рано или поздно встретится взглядом с одним из тех трех, которые стали мерещиться по ночам.

Земля к тому времени затянулась зеленой травой, деревья влажно зашумели листьями, зацвела черемуха. Все это образовалось так быстро и так незаметно, что порой даже чудилось, будто ветры, согнавшие с лица земли холод и принесшие тепло, были сами зеленого цвета — оттого и окрасилось все вокруг в этот цвет, запахло смолистым соком, забылось в жарком, торопливом цветении. Всего-то прошла неделя, а люди уже оделись в летнее платье, город умылся первыми дождями, река успокоилась и вода в ней прояснилась. И хотя не прилетели еще стрижи и ласточки, весна была уже сделана.

В чистой, отполированной машине, в двигателе которой заменили износившийся распределительный вал, Геша ехала домой обедать.

День был солнечный. Ветровое стекло было так прозрачно после мытья специальной жидкостью, что казалось, будто его не было совсем перед глазами.

Она плавно остановилась перед светофором, благо издали заметила, как погас зеленый и загорелся желтый сигнал, подумала (в который раз!), что никогда не любила и не любит проезжать перекресток на зеленый, если этот зеленый горит так долго, что вот-вот перельется в желтый, улыбнулась, поймав себя на этой мысли, и с улыбкой огляделась. Рядом стоял синий «Москвич» с большим самодельным багажником на крыше, на котором были привязаны проволокой старые доски, испачканные в извести. Небритый мужчина обнял обод руля, навалился на него грудью, нетерпеливо глядя на светофор, в который били солнечные лучи, испепеляя свет электрических ламп. Доски везет, наверное, на садовый участок, собрал их на какой-нибудь стройке и ждет теперь не дожидается, когда пустит в дело. Какое-то дело у него впереди! Приедет, загонит машину на крохотный участок, снимет с багажника доски, сложит их аккуратно...

Зеленый сигнал отвлек ее, и она навсегда забыла о случайном соседе в потоке. Неторопливо тронулась с места, наслаждаясь приятной ездой; по левой стороне тоже двинулись навстречу нетерпеливые машины. И вдруг!

Краем глаза, скольльзящим, неверным взглядом узнала в мужчине, который сидел в такси... Нет, не узнала! Ей показалось. Рядом с шофером сидел, белея крутой лысиной, тот самый, который...

Она вела машину на второй передаче и, не помня себя, вдавила акселератор в пол. Машина взвыла и рванулась, визжа резиной, буксующей на асфальте. До разрешенного поворота было слишком далеко, и Геша, уловив удобный момент, круто заложила руль влево, ретиво сделала крутой разворот... С трудом справилась с управлением, едва усидев на месте, ибо ее по инерции потащило вправо, но удержалась на сиденье, вывернула руль воющей машины, разогналась, не видя ничего вокруг, перешла на третью, на четвертую передачу и, в отчаянии, слыша милицейский свисток, крикнула:

Иди к черту! Потом!

Догнала такси, пристроилась, превратившись в комок нервной энергии, прилипла к заднему бамперу, видя перед собой знакомую лысину. Шофер такси пытался оторваться от слишком рискованной дурочки, но она не отставала и наконец, перестроившись, пошла с правого борта, взглядылись в незнакомого мужчину, который вместе с шофером внимательно смотрел на нее, не понимая действий красавицы. Шофер, мельком поглядывая и не упуская из виду дороги, ткнул себе в висок указательным пальцем и повертел им, словно ввинчивая в голову.

Сам дурак,— незлобиво сказала Геша и отстала от такси, понимая, что милиционер, торопливо идущий ей наперерез, уже предупрежден по радию о грубом нарушении. Он очень удивился, увидев перед собой взволнованную и чертовски красивую женщину, лицо которой показалось знакомым.

Ошиблась,— сказала Геша, предъявляя документы.— Нищу одного типа. В этом все дело. Понимаю, нарушила...— И страдальчески воскликнула: — Очень похож! Думала: он!

Понятно,— нерешительно сказал инспектор.— А что за тип?

- А вот найду, тогда и расскажу. Да сделай ты мне просечку, наконец! — крикнула она вызывающе.— Время дорого, обед кончается.

И тот, смутившись, вернул удостоверение, попросив сидеть поосторожнее.

Что бы там ни говорили об особенностях женского ума, как бы ни относились к его возможностям, а все-таки не отнимешь у него редкого дара предугадывать грядущие события, предчувствовать их даже тогда, когда, казалось бы, нет никаких внешних и внутренних причин для этого, и всякий здравомыслящий человек, обладающий аналитическим умом, только руками разведет. А женщина, не понимая своих душевных импульсов, но слыша и чувствуя их, с удивительной порой точностью угадывает то, что должно произойти, словно бы и в самом деле чуткое сердце что-то говорит ей и надо лишь внимательно прислушаться к его голосу.

Предчувствия не обманули Гешу: Ибрагим с друзьями приезжал в город по важному и весьма загадочному делу, не имеющему никакого отношения к убийству.

Пока она ждала их и разыскивала, произошли странные события.

Серый, как про себя назвала его Геша, а по паспорту — Сергей Федорович Круглов, сорок седьмого года рождения, был коренным жителем города, состоял на учете в наркологическом диспансере. Недавно вернулся после отбытия двухгодичного наказания. Несколько месяцев назад въехал, за неимением других претендентов, в маленькую комнатку на первом этаже старинного особняка. Плохо видел, плохо слышал, но очки не носил. «Мерил,— говорил он сердито,— на мартышку похож. Не буду». Поэтому и вел себя необычно: не отвечал, когда с ним здоровались, и сам тоже проходил мимо, не удостаивая никого даже кивком. Походка была, как у пьяного: зрение подводило его и здесь, хотя не только зрение, конечно, было виновато, но и алкоголь. Работал на местной фабрике грузчиком: физические силы пока позволяли Круглову справляться с нелегким трудом.

Жил замкнуто и бесшумно, ничем не мешал соседям: никогда не включал ни радио, ни телевизор, ни магнитофон, потому что ничего этого не было у Круглова. Никто не знал, дома он или нет. И лишь вечером, в потемках можно было догадаться об этом по светящемуся окну, наполовину загороженному картоном упаковочной коробки, в которой когда-то были бутылки пива, о чем гласили надписи почешски «Праздрой», видные с улицы. Впрочем, стекла были настолько пыльные и грязные, а лампочка светила так тускло, что никаких занавесок вообще не требовалось. К тому же прежний хозяин, скоропостижно умерший в этой комнатке, обнес окно с внешней стороны металлической решеткой. Круглов увидел прочную решетку, мрачно усмехнулся и сказал себе под нос: «Это вполне...» — и поселился тут.

В комнату он привез старую железную кровать с сеткой, два стула, тумбочку, полушерстяное одеяло и подушку. Матраса не было. Он настелил на панцирную сетку такой же картон, каким загорожено было окно, набросил на него одеяло и стал жить. Скучный свой гардероб развесил на гвоздях, которые вколотил в стену: зимнюю куртку и шапку-ушанку, пиджак из букле, брюки, не знавшие утюга. Обедал в столовой, а ужинал дома, на тумбочке, залитой лиловыми чернилами. В комнате всегда были две-три пустые бутылки из-под портвейна — неприкосновенный запас на тот случай, если в доме не останется ни копейки.

Круглов с детства испытывал отвращение к никотину и

никогда не курил. Но в комнате тем не менее настоялся густой и очень неприятный запах, который исходил от самого Круглова, от его грязной и потной одежды; от куска хозяйственного мыла, лежавшего на тумбочке в замыленном бачонке рядом с тощей кисточкой для бритья; от черного хлеба, черствеющего на той же тумбочке; от огрызка соленого огурца, лежавшего тут же и успевшего покрыться плесенью.

Впрочем, сам Круглов никакого запаха не замечал, как не замечает человек, наевшийся чесноку, своего чревоуханья.

Вся эта обстановка не заслуживала бы такого подробного рассказа о ней, если бы не одно чрезвычайно интересное явление, какого, пожалуй, не знало еще человечество, накопившее в своей истории множество из ряда вон выходящих случаев, записанных любознательными людьми со слов свидетелей, что, конечно, не умаляет достоинств этих правдивых и очень интересных записей.

Надо и то сказать, что Сергею Федоровичу Круглову повелось родиться и вырасти в нашем обществе. О нем, бывшем осужденном, наказанном за непростительное хулиганство, заботились с таким бескорытием и с такой заботливостью на исправление, что не только устроили на работу но и выделили жилье, вполне отремонтированную, побеленную и оклеенную новыми обоями, с поблескивающим дубовым прочным паркетом комнату. Где еще могло произойти такое чудо, как не у нас?

А винить общество в том, что Круглов не в силах был укротить пагубные страсти, конечно же, нельзя. Он всегда отличался распушенностью и врожденной ленью да к тому же ещё агрессивностью, которая привела его когда-то на скамью подсудимых.

Ирина Васильевна Круглова, ища защиты у людей, рассказывала в былые времена, не унимая легких слез: «Всегда с ножиком ходил, грозился: все равно никуда не уйдешь. Разве я вышла бы! Всех ребят разогнал и заставил... У него отец такой же. Всю жизнь живет с женой, не разводится и мучает ее всю жизнь. И этот тоже в отца. Я ему и нужна, чтобы мучить. Как войдет... Ой, вспомнить страшно! «Ага! — говорит. — Сейчас всех, кто тут есть, убивать буду»... Страшно! А мы с дитем, если сбежать сумеем, то у соседей ночуем. Сколько так-то ночевали!»

Теперь это в прошлом. Жены с ребенком нет, и мучить теперь некого. Посторонних людей он никогда не трогал и даже побаивался, будучи пьяным. Подлая его натура слов-

но бы спряталась в потемках, Круглов успокоился и, как думали люди, знавшие его раньше, исправился. А потому и шли ему навстречу. Так уж у нас принято поступать с заблудшими овцами: одна из ста заблудится — девяносто девять бросаем, и все на поиски этой одной-единственной, как будто лучше ее нет и не будет никогда. Привычка! Потерять боимся, а что имеем, не ценим. К чему все это приводит, видно на примере того же Круглова. Живет он теперь на свете так, как если бы его очень обидели, и он в этой своей обиде волком смотрит на людей, живущих по человеческим законам, и словно бы грозит отмщением.

Однажды он пришел домой, усталый и голодный, без копейки денег в кармане, отворил дверцу тумбочки, посмотрел на зеленые бутылки, стоявшие там, но, скинув ботинки, завалился спать. Усталость сморила его. Он даже свет не сумел выключить и, ворочаясь на скрипучей, вздрагивающей сетке, злился на желтый свет, мешавший спать.

Было, наверное, часов семь вечера, на улице завывала метель, сквозь потолок слышался бубнящий голос диктора, слова которого стуком большого барабана доносились до слуха. Сон никак не приходил. В углу комнаты, слева от окна, под стояком отопления, опять, как и вчера, кто-то старательно и задорно грыз жесткое дерево. Круглов, прислушиваясь к этому хрусту, улавливал тонкие, цокающие звуки, бившиеся в металлической трубе, точно вместе с горячей водой там проскакивали мелкие камушки, ударяясь об металл. Он вскоре понял, что не иначе как кто-то царапает когтями трубу или пробует зубами на прочность. Крыса, конечно...

И с этим неприятным для себя открытием уснул. Или, во всяком случае, ему показалось, что уснул. Потому что через некоторое время хруст и металлические звуки прекратились, а вместо них послышался требовательный и громкий писк, заставивший Круглова свеситься с кровати и взглянуть туда, откуда раздавался визгливый голос.

Он увидел большую крысу с голым, неуправляемым хвостом, который непонятно для чего служил наглому животному. Крыса стремительной тенью пробежала в тусклом свете комнаты, приблизилась к тумбочке, на которой лежал кусок черствого черного хлеба, встала на задние лапы, вытянулась и попыталась забраться по древесине вверх. Это ей не удалось, она ловко, как мячик, упала на пол, не ушиблась, но, увидев Круглова, шмыгнула в угол и пропала в черной дыре, которой совсем недавно еще не было там.

С этими животными Круглов встречался не впервые, и потому не испытал никаких особенных чувств, подумав лишь о том, что крысу надо изловить и сжечь во дворе в изгнание другим, а дырку законопатить минеральной ватой. Можно, конечно, позвонить в санэпидемстанцию и вызвать там кого надо, чтоб отравили вездесущее племя ядом.

Но все-таки, продолжая смотреть в угол, где была дырка, он с интересом ждал, что будет дальше: заберется крыса на тумбочку или не сможет — хлеб она, конечно, учуяла и теперь не оставит попыток стащить его. На всякий случай поднял тяжелый, как камень, сырой ботинок с пола и удобнее улегся на кровати, чтобы метнуть ботинок правой рукой в крысу: авось попадет.

Ждать пришлось недолго. В углу, а вернее, в утробной его глубине, послышалась возня и непонятный бумажный шорох. Он напряг слабое зрение и в полутьме увидел что-то шевелящееся и шуршащее... Что-то засветлело в углу, как если бы оттуда вылезала белая или розовая крыса или кто-то выпихивал из дыры какую-то бумагу... Происходило что-то непонятное. Круглов опустил ботинок, пытаясь понять, что происходит. Он явно слышал хрустящий бумажный шорох, очень знакомый и желанный, видел подозрительно розовый шевелящийся комок, который то показывался, увеличиваясь в размерах, то словно бы исчезал. Наконец эта бумага (а это была, конечно, бумага!) как будто выпрыгнула из черной дыры и, скользнув по лакированному паркету, сгорбилась, замерев на полу, напоминая что-то очень знакомое. А следом за ней высунулась острая морда крысы, и Круглов увидел блеснувший глаз животного. Крыса несмелыми толчками вынесла свое податливое тело из узенькой норы и, как бы образовавшись из ничего, уселась возле бумаги и стала грызть ее, ухватив краешек и шурша.

Неясная догадка сбросила Круглова с кровати, крыса исчезла, а он, тяжело топая, подошел к розовой бумаге, нагнулся, взял ее нерешительно и не поверил своим слабым глазам: в руке была десятирублевая денежная купюра — червонец. Непослушными руками расправил десятку, поднес к лампочке, взгляделся. Десять рублей! Бумага почти новая, хрустящая, с отгрызанным уголком, номер на месте...

Круглов улыбнулся (а это случалось с ним очень редко) и подумал с удивлением, что такого чудного сна никогда не видел в жизни. Понял, что проснулся, хотел открыть глаза, но... Глаза были открыты. Кровать пуста. Он стоял посреди комнаты. В руках — червонец. Он в ужасе посмот-

рел в угол комнаты и с перехваченным дыханием увидел там черную дыру. Не поверил самому себе, подошел, опустился на корточки, пощупал шершавые края дырки, поднес пальцы к свету, заметил древесные крошки, прилипшие к ним, ощутил их кожей, потерев палец о палец...

И услышал музыку. Она слетала к нему с потолка, как будто кто-то играл на аккордеоне, а женский голос пел. Словно был летний вечер, пахло цветами, а все вокруг было так хорошо, как никогда еще в жизни Круглова не случалось... Слишком хорошо! Это его испугало, и он, не выпуская из руки червонца, зажал уши, словно музыка, звучащая в нем, звучала во сне. Он ведь не спал, черт побери! При чем тут музыка? И не сошел с ума! Почему же музыка?

Он прижал ладонь к левому уху и стал, как это делают, выгоняя воду из уха, нажимать на него ладонью и отпускать. Попрыгал на левой ноге, свесив голову набок. Прodelал то же самое с правым ухом. Но ничего не помогло. Музыка звучала очень глубоко, не в ушах, а словно бы в самой голове, забравшись под лобную кость, под глаза и пугая своей непроходящей, очень нежной и красивой мелодией, которую Круглов никогда раньше не слышал.

Он с отчаянием подумал, что все-таки, наверное, спит и чудеса эти снятся ему. Осторожно положил десятку на тумбочку, шатаясь, подошел к кровати, снял с себя брюки, погасил свет и в страхе спрятался под шершавым одеялом, глуша музыку скрипучей сеткой.

Утром проснулся с головной болью, вспомнил необычный сон, прорывал со злостью и звучно зевнул. За окном едва синело утро, окрашивая комнату в пепельный цвет. Зевота мучила его. Но он, свесив ноги на пол, чувствуя, как холод входит в теплые ступни, долго еще зевал, лочесывался, поглаживая колючую щетину на подбородке, и, как всегда, тянул до последней минутки...

Свет слабой лампочки брызнул в глаза, Круглов зажмурился, а когда огляделся вокруг, зевая и почесывая грудь, оцепенел в крайнем изумлении и с раскрытым ртом.

На тумбочке лежала новенькая, помятая десятка. Горбушка черного хлеба бесследно исчезла. В углу чернела дыра.

Он схватился за голову, за уши, потому что снова услышал аккордеон и мелодичный голос, поющий на очень высокой, комарино-тонкой ноте. Подташнивало и кружилась голова. Понял, что с ним происходит что-то нехорошее. Подумал о медицине. Испугался, сердце его заколотилось с

такой частотой, что он даже вспотел и едва перевел дыхание, поглядывая в углы комнаты с мистическим ужасом и небывалым душевным страданием. Он уже не сомневался, что заболел, и это ввергало его в глубокую тоску.

Машинально оделся, машинально зашнуровал ботинки, не понимая, зачем это делает, если все равно сошел с ума.

Он вышел из дома и, словно забыв, куда ему нужно идти, вспомнил вдруг, что не взял с тумбочки...

«А что не взял? — спросил сам себя Круглов. — Разве там что-нибудь? Может, там и не было ничего? — размышлял он, возвращаясь в дом и отпирая всякий замок на двери комнаты. — Конечно, не было».

Но там, на тумбочке, была все-таки десятка. Он взял ее двумя пальцами с легкомысленной усмешкой, понимая, что берет пустоту, которая ему чудится. Но все-таки взял, ощутив плотность бумаги, и сунул якобы во внутренний карман пиджака, с сожалением посмеявшись над собой, как над окончательно чокнутым, пропащим человеком, хотя и почувствовал при этом скомканную жесткость бумаги на груди.

Круглов даже вспомнил бога и прочувствованно обратился к нему, беззвучно шевеля губами: «Господи, прости меня, грешного, старого, недостойного. Прости. Да будет воля твоя. Грешен я, господи!»

Был он человек не религиозный, но о боге иногда помнил, мня его своим защитником, а порой даже крестился украдкой, стыдясь самого себя, будто совершал что-то непристойное.

После вчерашней метели, как это часто бывает, небо прояснилось, ветер совсем утих, снежные наметы островерхими волнами белели тут и там, скульптурной своей пластикой являя людям великое мастерство хозяина зимних ветров. Еще не утоптаные языки снега лежали на тротуаре, чередуясь с голой чернотой соленого асфальта.

Круглова пошатывало. Ему казалось, что он идет по шпалам, то и дело сбиваясь с шага: то поскользываясь, то увязая в сыпучем снегу, то семеня по твердому покрытию — ноги его привычно, по-зимнему, осторожничали, мышцы их были напряжены, как бы сами собою ожидая коварной ледяной дорожки. В сумерках, будь они утренние или вечерние, глаза совсем плохо видели.

На автобусной остановке, слушая свою бесконечную музыку, которая угнетала его, как похоронная, Круглов покаш-

лял предупредительно и, тронув рукой плечо пожилой женщины, стоявшей к нему спиной, спросил смущенно:

— Где бы это... самое... Вы не знаете? Зайти бы надо... Медпункт какой-нибудь... А?

— Чего? — отозвалась женщина с испугом, как спр-сонья.

— Медпункт какой-нибудь... Не знаете где? Поблизости есть какой-нибудь или нет? Зайти надо.

— Болит чего?

— Да так, надо... Музыка какая-то мешает... Не пойму сам...

— Давление, что ль?

— Не знаю, — ответил Круглов с надеждой. — Может, и оно. Никак чего-то... Трясу башкой, а она, как пчела в волосах...

— Сходи, сходи. Проверься, конечно, — сказала женщина. — То циклон, то какой-то антициклон... Крутит, вертит — ничего не поймешь.

— А где это? Медпункт-то...

— А тут рядом! Вон, по Никольской пойдешь, под горку спустишься, красный дом увидишь, а налево голубой. Вот в этом голубом «Приемный покой». Там увидишь. Там «скорые» стоят. Зайдешь и спросишь, где дежурный... Я почему знаю, потому что зуб рвала ночью как-то... На стенку лезла! Пошла, а мне тут же и вырвали. Рубль даю, а он обиделся. Ты, говорит, что это?! Ты лучше, говорит, пойди и медсестре дай, а мне не надо. А за чтой-то медсестре? Что она, помогала, что ль? У меня у самой зарплата не больше ее. Спасибо сказала, и ладно... А ты не шути, молодой еще, иди, иди...

Подошел автобус, засипел пневматическими тормозами, заблокированные колеса его, скользя по накатанному льду, опасно понесли всю огромную тушу автобуса на людей, которые попятились на тротуар, а колеса стукнулись резиной о бортовой камень и остановились на поблескивающем ледяном панцире.

Круглов похлопал себя по ушам, растянул рот в принудительной зевоте, стараясь избавиться от звучания аккордеона, и пошел по Никольской, под горку, боясь поскользнуться, чувствуя себя так, будто крутая эта улица тянет и тянет его вниз, как пропасть, над провалом которой он едва держался, цепляясь испуганными ногами за земную твердь.

Небо над крышами окрашивалось в голубо-алый цвет.

Стены казались лиловыми. Стайка сизых голубей паслась на тротуаре, подбирая крошки, брошенные из окон. Разбежались из-под ног, как куры. Один взлетел, задев маховым пером, обдав лицо морозным ветром.

Круглов увидел красный дом, а наискосок от него, через улицу, купоросно-голубой фасад больничного типа. Приемистый длинный дом со стеклянной вывеской, предупреждающей пешеходов о выезде машин. Выстрелом хлопнула в морозном воздухе входная дверь на пружинах, из нее вышел парень, держась за щеку. Видно, зуб...

Круглов к нему.

— Эй, мужик! — окликнул он. — Погодь малость!

Тот остановился, блаженно глядя и улыбаясь перекошенным лицом. В уголочке разбухших губ запеклась свежая кровь, в глазах — счастье, во рту зажата окровавленная вата.

— Ну как? — спросил Круглов. — Отпустила?

— Не говори, — ответил тот, улыбаясь, будто встретил старого друга.

— А где тут это... вход-то? Здесь, что ли?

— Здесь... Войдешь, и потом направо. Иди, там нет никого. Без очереди.

— А ты не знаешь, тут это... Чего-то у меня музыка в голове какая-то, — сказал Круглов, повертев возле виска растопыренными короткими пальцами. — Слушай, как думаешь, а? Помогут?

— Помогут! — воскликнул добродушный парень, которому весь белый свет казался в радужном сиянии.

— А слушай, а это... Вот посмотри-ка, — сказал Круглов, протискивая руку за пазуху. — Извини, я тут это... Чего-то ничего не пойму... Вот это вот, видишь, что это? — спросил он, достав и показывая смятую десятку. — Как думаешь?

— Ты даешь! — с неловким, ватным смехом отвечал парень. — Как чего?! Червонец!

— Точно?

— Сомневаешься, давай мне, — проговорил он, не переставая смеяться. — Тебе не сюда, наверное, — махнул он рукой на дверь, — а куда-то еще надо. Тут первая помощь...

— Закатай губы...

— Чего ты говоришь?

— Губы, говорю, закатай, — мрачно повторил Круглов и, расправив десятку, засунул ее обратно в карман.

Странная догадка осенила его, ознобом пройдясь по всему телу.

— Так,— сказал он, глядя на обескураженного парня.—
Хвосты рубаются.

— Что?

— Уйди, перемычка, скройся в тумане... Чего ты? Или машинка закаточная нужна? Чего ты так губы раскатал? Уйди,— говорил он нахраписто, хотя на самом деле вовсе не злился на парня, а был даже очень благодарен, говоря с ним по-своему шутливо и задушевно. Иначе он не умел, не мог говорить с людьми, у него не получался разговор, а вылетали бранчливые блатные словечки, понятные далеко не всем, и окрашены были эти слова в черный как будто цвет.— Не обижайся,— сказал он парню и похлопал по плечу.— Фотография у тебя веселая.

А когда остался один, вынул опять таинственную десятку, разглядел ее всю от краешка до краешка, заметил даже следы крысиных зубов и дырочки от острых когтей, тонкие проколы.

Душа его возликовала, он понял, что свершилось чудо, что крыса откуда-то из подполья принесла ему червонец за краюху хлеба и что грех будет, если от эту дурную денежку не прогуляет.

Музыка его утихла, отдалилась, как улетевший комар. Но теперь Круглову и самому захотелось петь, душа просила шумной радости. Он посмотрел на купоросный фасад «Приемного покоя», посторонился, пропуская «скорую», и потихоньку пошел пешечком обратно в горку, безумновато бормоча себе под нос:

Как рыба корюшка,
Ты рыбка жадная...
Ах, Оля-Олюшка...
Любовь площадная...

Голуби опять бежали из-под ног, трещали крыльями. Ему было жарко, душа горела радостью, ликовала, избавившись от смертельной тоски: он давно не чувствовал себя таким здоровым и беспечным, рожденным как бы для веселья и музыки:

Как рыбка корюшка,
Ты рыбка жадная...

...Домой вернулся поздно и никак не мог попасть ключом в замочную скважину, сопя у закрытой двери. А когда все-таки справился и зажег в комнате свет, первым делом прошел в угол. Там, как и утром, чернела дыра, которая на этот раз показалась ему более широкой. Медленно опустился на корточки, придерживаясь рукой за стену, достал

из кармана небольшой кусок сала с жестким просоленным клочком кожи и, невнятно напевая «Как рыбка корюшка», положил его около норы.

Еще принесешь,— ласково говорил он в дырку,— чего-нибудь... Поняла? Биксы жареной с луком хочешь? Накормлю. Как хочешь! «Мы рады вам, но больше рады мы», — запел он снова и едва не пустил слезу от умиления.— Надаю на хвост. Тишина! Гоп! Тишина.

Улегся в кровати, провалившись в сетке, как в люльке, и утром, не помня извилистого своего пути домой, знал только, что нес в кармане кусочек сала и очень берег его.

Чудо есть чудо. Оно, может быть, и случается в жизни, но — без свидетелей. Это уж потом о чуде рассказывают, ссылаясь на якобы свидетелей, и даже описывают иногда в популярных газетах и журналах, не говоря о старинных книгах и тех далеких временах, когда чудеса происходили гораздо чаще, чем теперь. Теперь любое «чудо» можно объяснить и поставить на место с помощью научных достижений нашего времени — всегда найдется образованный человек, который четко и ясно все объяснит, обоснует и легко развеет суеверия невежественных людей. И хотя даже умным людям порой не хочется верить образованному человеку, истина от этого не страдает. Во всяком случае, все чудеса, происходящие в последнее время, не повторялись, не давали повода для серьезных размышлений; возникнув в чьем-то воспаленном сознании, давали испышку, капсюлировали, так сказать, взрыв всевозможных слухов, толков и рассказней, а спустя немного времени благополучно забывались, как забываются интересные сны. Можно даже сказать, что самое чудесное чудо — это всего лишь навсего загадочный сон наяву, сон определенных общественных кругов, а вовсе не целого народа... Сны эти у каждого круга разные. Здесь все зависит от воспитанности, образованности и даже чувствительности того или иного слоя людей. Чем выше интеллект, тем грандиознее чудо. Только раньше были чудеса, захватывавшие сердца и умы всех общественных слоев... Но это говорит лишь о том, что раньше люди были талантливее — как сочинители, так и читатели.

А вот случай с крысой, которая прогрызла дыру в комнате Круглова и принесла в обмен на черный хлеб десятку, можно, наверное, назвать из ряда вон выходящим, потому что тут, как это ни странно, было продолжение.

В субботнее утро проснулся ничего не помнящий Круг-

лов, напился воды из пол-литровой банки, и взгляд его упал на крысиный лаз, возле которого опять лежала смятая десятка...

Витиевато выругался шепотом и, вспомнив вчерашнее, удивленно поднял с пола свеженькую, хрусткую купюру, на которой в этот раз не нашел следов когтей или погрызов.

Нужно ли объяснять, как кстати пришелся в этот день подарок! Круглов не знал, кого благодарить! Дрожащая его душа плакала в счастливом забытьи, мозг отказывался что-либо понимать, но при этом не утратил способности правильно мыслить, подсказывая Круглову, что нужно сейчас же отправляться в магазин или на рынок за салом. Нельзя же остаться в долгу перед животным, которое кое-что соображает.

Крысы всегда отличались острым умом и необыкновенной храбростью. Но этим они отличались и тысячелетия назад. За долгие века они, конечно, поумнели, а крыса, которая вышла на Круглова, была самая умная из всех, какие когда-либо жили на свете.

Так примерно подумал обескураженный Круглов. Сердце его, словно бы обдуваемое холодным ветром, зябко колотилось в груди. Радость и таинственный страх — все перемешалось в нем, сбивая с толку. Смелые мечты о будущем бросали в пот. Он чуть ли не падал, подкошенный слабостью, когда думал о завтрашнем дне или сегодняшнем вечере, потому что, как он полагал, животное к вечеру вполне может проголодаться.

В нем впервые в жизни проснулся заботливый хозяин. С этого дня он стал прислушиваться к каждому шороху, ибо животное, очень быстро сообразившее, что требуется от него для получения лакомого кусочка сала, выносило денежные купюры по нескольку раз за вечер. Круглову оставалось только подбирать деньги с пола и, расправив, прятать в карман. Был один вечер, когда животное вынесло к нему семьдесят рублей!

И если в первые дни, когда Круглов подбирал деньги и, относясь к ним как к чему-то случайному, неверному, тратил не считая, хотя, конечно, не забывал и о своем животном, то спустя некоторое время он уже всерьез задумался над загадочным явлением. Бросил пить, торопился с работы домой, запирался в комнате и, громко шурша бумагой, в которой приносил сало, а приносил он всякий раз небольшой кусочек, считая, что в комнате нельзя оставлять шмат

шла без присмотра, посвистывал весенней синицей, клал кусочек шпига возле засалившейся норы и ждал выхода животного. Ждать ему приходилось недолго.

Сначала показывалась остренькая горбоносая мордочка с поблескивающими бусинками умных глаз, потом лоснящееся животное, которое со временем стало казаться Круглову красивым, без опаски уже хватало кусок сала и проваливалось во тьму подполья. Все затихало, но вот раздавался шорох, царапанье жесткой бумаги о неровные края отверстия, и из черноты, как из брюха живородящей рыбы, появлялась денежная купюра.

Новый кубик сала между тем уже лежал перед дырой. Животное отпихивало от себя бумагу и с торопливостью прессированного циркача, исполнившего нелегкий номер, хватало лакомство, тут же по-тюленьи ныряя, словно в воду, во тьму подполья.

Теперь наступала очередь Круглова, и он тоже торопливо хватал новую десятку, будто бумага, как животное, тоже могла ускользнуть от него в подпол. В долгие часы невероятной этой охоты он забывал обо всем на свете, во рту пересыхало, а взгляд был прикован к темному отверстию, возле которого белел следующий кусочек жирного сала. Иногда он тихонечко посвистывал, умея это делать самым превосходным образом: свисточки получались тоненькими и ласковыми, похожими на птичье пение. Это всегда помогало. Животное с любопытством высовывалось и как бы спрашивало у него, сидящего на стуле: звал? Но, как ни странно, не каждый раз соблазнялось салом, а бывали даже случаи, что на свист она вытаскивала десятку, выпихивала ее из норы и снова удалялась во свояси.

В этих случаях Круглов проявлял благородство и, забрав червонец, больше не тревожил свою благодетельницу. Остатки же сала, разрезанного заранее на маленькие кубики, оставлял перед дырой. Утром еще одна десятка лежала на полу.

Лишь однажды животное огорчило его и вынесло клочок полуискрошенной купюры с обгрызанными краями. Была купюра старая, грязная, пропахшая чужими карманами, сумочками и бумажниками. Впрочем, к тому времени, когда это случилось, Круглов уже так обогатился, что только усмехнулся, ругнув про себя несознательное существо, съевшее старенькую десятку, от которой, наверное, вкусно пахло.

К тому времени он собрал довольно большую сумму денег, так что сумел купить себе приличный костюм темно-синего цвета, свитер, теплое, на ватине, пальто с цигейковым воротником, югославский плащ, ботинки и необходимую мелочь. Купил ватный матрас, подушку и два комплекта постельного белья, купил платяной шкаф, сделанный на той самой фабрике, где работал, и, конечно, обеденный стол. Кроме того, он купил по объявлению старый холодильник «Саратов», купил кое-какую посуду, хорошие ложки из мельхиора, складывая все это звенящее богатство на полках холодильника, в котором, кстати, держал и сало, не мотаясь теперь в обеденный перерыв по магазинам и не заходя на рынок, где покупал раньше, как побирушка, сто граммов шпига.

Но и после всех этих приобретений у него оставалось рублей семьсот — восемьсот, к которым каждый вечер и каждое утро прибавлялись новые суммы денег. Он никогда не вел строгого учета сумасшедшим этим деньгам: суеверие останавливало его, и Круглов только приблизительно знал, сколько их у него.

Он, конечно, понимал к тому времени, что сообразительное животное (он никогда даже в мыслях не называл его настоящим именем) приносит деньги из какого-то тайника, и он мог бы, разумеется, разобрать паркет и обнаружить клад. Но, поразмыслив, решил не делать этого и оставить все как есть, потому что, во-первых, это было бы уголовным преступлением: узнать о тайнике и присвоить себе шальные деньги, на которых, возможно, была чья-то невинная кровь; а во-вторых, он уже так нежно полюбил животное, что не хотел нарушать мирной его и сытной жизни.

Частенько по утрам видел на полу мелкий, черный, как семена репейника, помет животного, которое по ночам бегало по комнате, а однажды даже спало у него в ногах, на кровати, как избалованный теплолюбивый песик. Он улыбался и, укоризненно покачивая головой, заботливо подметал веником эти семена сытной жизни, хотя и ворчал иногда на бестолковое животное, если находил испражнения в неподходящем месте, в ботинке, например, или в носке, особенно если обнаруживалось это неудобство, когда он уже натягивал носок на ногу или надевал ботинок.

Перед Восьмым марта в солнечный, но морозный день Круглов увидел на рынке, куда пришел за салом, алые тюльпаны. В цветочном ряду на дощатых столах светились большие, похожие на террариум ящики из органического

стекла. За прозрачными их стеклами лежали влажные, большие цветы. У них были сочные листья, которые казались голубыми. А в глубине распахнутых багрово-алых цветов ярко желтели венчики, окружая бархатную черноту тычинок и пестиков.

В прозрачных этих теплицах горели свечи. Озябшие на холоде продавцы переминались с ноги на ногу, невзрачные рядом с роскошным, нездешним садом, согретым стеариновым пламенем свечей. Они как будто были приставлены здесь для охраны зимнего чуда, как будто не хозяевами были, не искусными цветоводами, а слугами холодных, равнодушных цветов, красующихся на виду у прохожих в стеклянных своих дворцах.

Цены на цветы были баснословно высокими — три рубля за штуку. Но никто не роптал.

Возле запотевшего стеклянного чертога, в сияющей туманности которого грудились цветы, Круглов остановился. Тюльпаны, казалось, были фарфоровыми. Он подумал, что за такую красоту на месте хозяев запросил бы в три раза дороже. Велел подать один цветок, не совсем понимая, что делает.

Здоровый сивый мужик в напяленном на шубу белом халате поднял крышку ящика, осторожно вынул, словно опасаясь разбить, верхний цветок и аккуратно завернул его в прозрачный целлофан. Щеки у мужика были свекольного цвета.

Тюльпан, похожий на красотку в нейлоновых одеждах, очутился в руке у Круглова. Он очень смутился, впервые почувствовав рукой хрупкую невесомость цветка, и торопливо пошел прочь.

— А деньги! — услышал он сиплый голос мужика.

Круглов остановился, понимая, что это относится к нему, махнул рукой, нахмурился и, вернувшись, вынул червонец, который подобрал сегодня утром в углу своей комнаты.

— Совсем чего-то, — сказал он виновато, слыша шорох целлофана, напоминавший привычную уже азартную охоту за деньгами. — Извини. Ум за разум... Гоп, тишина!

Он спрятал покупку за душевой пазухой, а дома развернул шумно хрустящий поблескивающий целлофан и бросил цветок на пол, к норе, почувствовав головокружение. Сказал насмешливо:

— Это тебе витаминчики... Любви все возрасты покорны, — забормотал он и улыбнулся, как пьяный, — но денег больше — и любовь сильнее... Пригодятся. Гоп, тишина!

Растение лежало цветком к норе, нижний лепесток, ударившись об пол, безжизненно подвернулся. Животное высунулось на шорох и, увидев цветок, испугалось красной его пасти. Но любопытство взяло верх, осторожное животное, скрывшись было, снова посунулось и вытащило себя из норы, подкралось к тюльпану, привлекая за собой дохлый хвост, обнюхало цветок и, опять чего-то испугавшись, нырнуло во тьму.

— Не нравится? — спросил Круглов. И ногой отшвырнул цветок к батарее отопления.— Ну ладно! Я тебе сейчас сала отрежу. Видал, какого купил!

Два дня и две ночи Круглов ходил, как лунатик, не спуская глаз с черного отверстия в углу своей комнаты. Кусочек сала лежал нетронутый. Животное не являлось и на посвист, видимо, тюльпан так напугал его, что оно глухо затаилось под полом. Или обиделось на Круглова, который вместо сала подкинул ему растение.

Он, конечно, уничтожил, измял тюльпан, изорвал и спустил в уборную. Протер кусочком сала даже место на полу, где лежал цветок, уничтожив запах, который мог опять напугать животное. Он проклинал себя и свою дурь, мучился, не выходил из дома, сбегал только в поликлинику, за больничным листком, который ему выписали, взглянув лишь на истощенное тоскою лицо с безумноватым взглядом покрасневших глаз. Ему снились страшные сны, как будто он спускался в мокрое и холодное подземелье, полз в полумраке по осклизлым камням, и, задыхаясь, просыпался в поту и предсмертном ужасе, потому что подземелье кишмя кишело пищащими и верещащими крысами, но не было среди них той, какая сдружилась с ним.

Ему было очень плохо. Жизнь потеряла всякий смысл, и хотя он понимал, конечно, что запасы подпольных денег не бесконечны, ему все-таки чудилось, что там их очень и очень много. Но, спугнув добродушное животное проклятым цветком, он их никогда не увидит, животное же прогрызет себе нору у соседей и погибнет, отравленное ядом.

Он боялся уснуть, прислушиваясь к малейшему шороху в спящем доме — до слуха доносились храпы и сонный бред людей, скрипы и стоны, дремотный топот босых ног и шум воды в трубах. И чудилось тогда Круглову, что он лежит во чреве каменного существа, которое переваривает в ночной тишине дневную пищу. А он потягивался с зевотой и слушал, как происходит эта таинственная работа.

Он очень страдал, умоляя животное вернуться, и так

измучился, что когда вдруг услышал знакомую возню в подполе и верещанье с писком, то вскочил с кровати, упал на колени, закрыл лицо руками и хотел заплакать. Очень хотел! Но слез не выдавил.

— Пришло,— шептал он дрожащими губами, слыша бумажный хруст и шорох.— Ах ты, господи! Тащит... Ну-ну... Где ты скиталось? Чудо заморское!

Но замолчал, увидев светлеющий клин нарождающейся купюры, которую толкало перед собой вернувшееся животное,— он никогда не мешал серьезной работе, тем более в этот раз.

Тем более в этот раз! Ибо перед умиленным взором растроганного Круглова сиреневой гроздью расцвела купюра достоинством в двадцать пять рублей. В два с половиной раза больше, чем до сих пор! Он, как рыбак, привыкший подсекать и вываживать на берег хороших подъязков, зацепил вдруг крупного язя, в дугу согнувшего упругое удилище, и, с трудом справляющийся с охватившим его волнением и с рыбой, молил теперь небо, чтобы добыча не сорвалась, чтобы все до конца было удачно и рыба оказалась бы у него в садке.

Выпихнуть из норы эту крупную купюру животному было труднее. Круглов хорошо понимал это и с перехваченным дыханием следил за нелегкой работой, с трудом сдерживая себя, чтобы не ринуться на помощь животному.

Но наконец-то измятый комок сиреневого цвета выпрыгнул из норы, скользнув по паркету, добродушная морда животного хитро блеснула веселым глазом, туловище выскользнуло из тесноты шершавой дырки, желтые зубы вонзились в кусочек сала — и животное исчезло.

Круглов, истосковавшийся по добыче, тихонечко, на цыпочках подошел к норе, поднял с пола четвертную и возликовал.

— Ах, рыбка корюшка! — воскликнул он сдавленным шепотом.— Ах, Оля-Олюшка! Ты смотри, что получается! Глубоко копаем! Та-ак! Срочно сало! Гоп, тишина!

Свежий кубик сала вновь забелел в углу комнаты. Проголодавшееся животное, словно учуяв его, вынырнуло из-под пола и с молниеносной быстротой схватило свою добычу.

В жизни Круглова начиналась новая эпоха. Он даже подумал, грешным делом, что животное, израсходовав все червонцы, может быть, сомневалось, нужны ли человеку новые бумаги; может быть, эти бумаги пахли не так, как прежние, и оно мучилось там у себя в потемках, голодало,

но не решалось предложить их в обмен на сало, и только голод заставил поступиться совестью и вынести эту нехорошую, по его мнению, бумагу доброму человеку. Может быть, все так и было, а он напрасно подумал, что животное испугалось тюльпана?

Но, как бы то ни было, вечер оказался рекордным — животное наградило Круглова тремя сиреневыми купюрами. А еще одну он обнаружил утром, выспавшись наконец и воспрянув духом.

Соседи отпраздновали Международный женский день, отшумели, отсмеялись; жизнь опять вошла в привычную колею. Круглов богател, но ни один человек на свете не догадывался об этом. На мебельной фабрике он работал истово, стал еще более молчалив и замкнут и вел себя чуть ли не как глухонемой, зная свои обязанности и исполняя их самым добросовестным образом. Даже женщины, работавшие в цехах, обратили на него внимание, прослышав, что человек бросил пить и взялся за ум, приоделся, обедать ходил в ресторан, который, правда, кормил комплексными обедами почти за ту же цену, что и столовая, но, в отличие от столовой, блюда на стол подавались официантами. Каждый месяц Круглов получал небольшую премию, и, если его приглашали «обмыть» ее, он молча доставал из бумажника трешницу и совал в карман приглашавшему.

— Выпей за мое здоровье. Гоп, тишина! — говорил он мрачно, будто ему неприятны были слова и вообще всякий звук, вылетающий из собственного рта. И торопился домой.

Он с детства знал, в юности чувствовал, в зрелых годах надеялся: в жизни его произойдет когда-нибудь что-то такое, что ни с одним человеком на всей земле не могло и не должно было произойти. Теперь, когда это с ним произошло, он понимал, почему никогда никакое учение или профессиональная работа не представляли для него интереса; почему он лениво учился, лениво работал и смотрел на трудолюбивых людей свысока, как на обыкновенных неудачников, которым ничего не светит в их скудной жизни. Все эти радости казались ему неестественными, и он их презирал. Хотя и бездельников тоже не любил, потому что знал, чувствовал, был уверен, что ничего примечательного, достойного у них уж тем более никогда в жизни не случится, что пробудут они свой век в безделье, так и не поняв, для чего и зачем были рождены на свет.

Себя же он всегда причислял к избранныкам судьбы и

теперь безусловно знал, что не ошибся. Единственное, что угнетало его,— это вынужденное молчание, безвестная слава избранника, о котором никто, ни один человек на земле ничего не знает и даже представить себе не может, что он уже есть, этот избранник, живет, ходит в простой одежде, ест простую пищу, ютится в маленькой комнатенке и поневоле делает вид, что он такой же, как все, трудяга, хотя без зарплаты и премий может спокойно обойтись, позволив себе жизнь богатого бродяги, знающего толк в наслаждениях и презирающего человеческий труд.

Круглов иногда еле сдерживал себя, чтобы не проговориться. Были случаи, когда под ярким солнышком душа его оттаивала и, возбужденный думами о себе, он начинал вдруг издавать кряхтящий стон, с хмурой усмешкой глядя в глаза одутловатого собрата по работе.

— Чего? — спрашивал тот, греясь на весеннем солнышке.— Живот, что ли?

Круглов, перебивая себя, вздыхал в отчаянии и говорил с мучительным стоном:

— Дурак ты, вот чего...

Но умный собрат по труду был уверен, что он не дурак, и не обращал на слова Круглова никакого внимания.

— Отказываться от привычки вредно,— нравоучительно замечал он.— Есть даже смертельные случаи. Организм знает, что ему нужно. И отказывать ему не надо — это вредно. Вот у меня, например, два сына, младший в меня пошел — любит соль. А старший в мать — огурцы и помидоры ест без соли. Соль, конечно, вредна для почек, но я люблю соль. И не отказываюсь от нее никогда, потому что, значит, так надо.

А Круглов смотрел на него, корчась от желания ошеломить самоуверенного «дурака», рассказать ему о чудесах, которые свалились на Круглова кучей денег.

— Да ты разве,— говорил он, с трудом разжимая стиснутые зубы,— от чего-нибудь откажешься?

— А ты? А ты-то?

— Гоп, тишина! — мрачно заключал Круглов.

На фабричном дворе пахло стружкой и ацетоном, на пологой крыше отделочного цеха грелись сизые голуби, спали на солнышке, распушившись и вобрав головы в мягкое перо межкрылий, и были они похожи на маленьких кошечек, разомлевших в тепле.

Денег у Круглова скопилось так много, что стало уже опасно держать их дома, хотя окно и было забрано ре-

шеткой. Висячий замок на двери тяжел и внушителен, но отпереть его ничего не стоило даже новичку в рисковом том деле. Круглов врезал внутренний, номерной, оставив и висячий. Но душа его была беспокойна в дневное, рабочее время. Ночью теперь не чистят квартиры, а вот день, когда все на работе, стал опасен. Хотя если подумать: кто же полезет в убогую комнатенку одинокого мужчины, в которой холодильник — и тот старой марки? Но именно за холодильником, с тыльной его стороны, в старом детском портфельчике, найденном во дворе, Круглов и прятал свое богатство, перевалившее уже за третью тысячу. Круглову и не снились такие деньги! Конечно, это еще не «Жигули», но ведь и животное не отказывается от сала.

Умное, сообразительное животное! Оно все отлично понимало и тоже по-своему было, наверное, довольно беспечной, сытой жизнью. Мех его приобрел кротовый лоск, выражение носатого лица, когда животное дремало в комнате, возле теплой батареи, было хоть и брезгливо и злобно, как и положено всякому представителю неистребимого племени, но Круглов, однако, находил в нем некоторую благообразность и, что самое главное, глядя на лоб, видел таинственный ум, который как бы отражался на лице брезгливостью к бессильным и глупым обитателям земли, в том числе и к нему, к Круглову, внушая к себе уважение. Рядом с этим животным он порой себя чувствовал неуклюжим бегемотом в вольере, на которого животное поглядывало добродушно, но в то же время высокомерно, как на существо низшего порядка.

Это сопоставление вызывало в нем улыбку, и он, восхищенно глядя на спящее животное, тихо бубнил себе под нос:

— У-у, дракон рогатый! Нажрался... Спишь! Хорошо тебе, перемычка! — (Никогда не зная, какого рода этот дракон, мужского или женского, Круглов думал о нем уважительно как о животном вообще). — Разлеглось тут! Всю комнату загадило, заразюка.

Мир да гладь царили в эти минуты в душе умиленного Круглова, хотя и смешно ему было отвлечься порой от действительности и взглянуть на себя со стороны. Здоровый мужик в тренировочном костюме, толстоногий, с мощными ляжками, распиравшими синий трикотаж, с железными от переноски тяжестей мышцами плеч, груди и живота, он и в самом деле попал в кабалу к своему животному, был зависим от его загадочного рассудка, который

в любую минуту мог выкинуть что-нибудь неожиданное, какое-нибудь такое совершить действие, которое то ли в уныние ввергнет, то ли в радость — никогда не угадаешь. Круглов очень устал от всех этих нервных забот, от бессонницы и от физической нелегкой работы. Иногда общее утомление сказывалось так ощутимо, что он чуть ли не в обморок падал, теряя всякие силы и едва добираясь до постели, чтобы провалиться в мертвецки тяжелый сон. И в конце концов он понял, что ему необходим отдых.

А весеннее солнце тем временем уже растопило снег не только в городе, но и в окрестных лесах. На вечерних зорях над розовыми теплыми березняками тянули вальдшнепы, встречая выстрелы охотников с безразличием фанатиков, умолкая лишь на короткое время, если вдруг сноп визжащей дробы просекал воздух слишком близко. До темноты в лесу красиво и гулко пели дрозды-дерябы. Рябинники со своим сплошным щебетом умолкали, а дерябы пели до первых звезд, затихая сразу, как по команде, незадолго до окончания вальдшнепиной тяги.

Тишина весеннего леса, нарушаемая журчащей водой, была сродни той мерцающей звездами небесной тишине, в просторах которой высоко пролетали звенящие далекими турбинами, холодные, неземные самолеты. Последний вальдшнеп в земных пределах пронзительными высвистами врывался с запоздалой своей страстью в лесную тишину и, невидимый, призрачный, тянул в потемневшем небе над оцепеневшими березами, похрипывая в любовном азарте и резко высвистывая таинственную песнь в молчаливый лес, — один во всем подзвездном мире славящий весну.

А поляя вода меж тем скатилась уже в реку вспучив ее и замутив; перелетные птицы, осев в окрестностях, занялись строительством гнезд и брачными игрищами; перезимовавшая под снегом трава радовала глаз, уставший от зимней белизны; на солнечных припеках светились желтые низкорослые цветочки мать-и-мачехи, а в городских скверах и парках набухли и позеленели на дымчатых ветвях почки сирени.

Круглов надел свой югославский плащ цементного цвета, накинул на короткую шею шелковистый шарф, сунул руки в шелковистые карманы и пошел по улице, поблескивая новыми ботинками.

Ему нужен был почтовый конверт и бумага.

Терпение лопнуло. Он больше не мог скрывать свою тайну и понял, что настало время попроситься в отпуск,

махнуть куда-нибудь подальше и, набив карманы деньгами, пожить немножко так, как положено богатому и нестарому человеку. У него имелся заветный адресок, оставленный когда-то человеком с юга, с которым он работал в одной бригаде на арматурном заводе. Он помнил запах железной окалины, игольчатые ее уколы, когда она отскакивала в лицо со сгибаемой в станке проволоки, помнил красные от ржавчины рукавицы, дребезжащий грохот железной арматуры, однообразный запах горячего обеда и тяжелый храп лысого южанина, спавшего рядом. Куда ни посмотришь, всюду зеленели, золотились масляными стволами густые сосны, от запаха которых Круглову делалось тошно. Он не любил вспоминать о том времени и о тех местах, сумев в конце концов сделать так, что вычеркнул из памяти, из жизни те годы, обманул себя и поверил, что ничего этого не было.

Был только южанин, его рассказы о богатой жизни в теплой стороне, о Каспийском море и о терпких, густых винах. Звали его Саша, Александр Борисович Кантонистов, единственный человек, которому Круглов, по старой памяти, мог доверить тайну.

Надежды, правда, было мало, что тот откликнется, придет, поживет в его комнатенке, но все-таки Круглов, давно не писавший, старательно выводил строчки письма: «Хорошо тебе бичевать, а тебе дело человек предоставляет. Делом пора заняться. Дело такое, в письме не напишешь. Вместе будем в зените славы. Приезжай, сам увидишь. Поживешь в моей лачуге и уедешь довольный. Дело чистое. Даже смешное. Приедешь, увидишь сам. Брось телеграмму, буду ждать. Поговорить надо. Прошу тебя», — писал он, сидя за казенным столиком на почте.

Опустил письмо в ящик с таким чувством, будто сделал что-то не так, очень растерялся, когда услышал, как письмо стукнулось о доньшко: теперь уже не вернешь. И стал ждать телеграмму.

Но Александр Борисович неожиданно приехал сам и привез с собой товарища, имя которого было Ибрагим. Когда Круглов увидел Кантонистова, радость его омрачилась — перед ним стоял холеный, подозрительный белолобый мужчина в дорогом кожаном пальто. Сашка, как привык называть его Круглов, не бросился в объятия, не проследил, а холодно подал руку, на безымянном пальце которой тяжело блеснула золотая печатка.

— Тебе повезло, — сказал он. — А вот мой друг, у него

гут сын, скажи ему спасибо,— уговорил. Времени нет! Ну, здравствуй... Нет времени совсем! Тебе повезло!

Круглов обиженно сказал:

— Тебе, может быть, тоже.

— Ах, чудной человек! — воскликнул неузнаваемый Сашка и рассмеялся добродушно. — Извини, но в прошлое дороги нет. Задний ход я не даю. Что у тебя за дело? Где зенит нашей славы? Ну?! Это все, что ты имеешь? — спросил, окидывая взглядом убогое жилище. — Хижина! Вижу, что хижина, а это уже хорошо — не обманул. Ты честный человек.

— Да уж не трепач,— с усмешкой сказал Круглов. — Не пожалеешь, что приехал.

Кантонистов был ошеломлен, когда увидел чародейство Круглова. Ибрагим сидел с пылающими щеками, не веря в чудеса, и долго не мог прийти в себя, ощупывая купюру, принесенную животным. Кантонистов поглядывал на Ибрагима, Ибрагим — на Кантонистова, а вместе они с недоверием смотрели на Круглова, который скромно торжествовал.

Была глубокая ночь, когда все это произошло. Приехали они перед полуночью и, конечно, шумом шагов и разговорами смутили животное, и оно не сразу откликнулось на призывное посвистывание.

— Я готов,— сказал Кантонистов, пронзительно глядя на Круглова, когда на улице стало уже рассветать. — Я согласен. Ибрагим поедет с тобой, а я останусь. Ты хорошо отдохнешь. Договорились? А теперь,— добавил он, постучав ногтем по часам,— теперь зайдем к одной красавице, посмотрим на мальчика и примемся за дело. Времени, товарищи, нет! — воскликнул он, играя роль деятельного распорядителя.

После бессонной ночи они и заявили к Геше, сказав, что нагрянули прямо с аэродрома, с неба, так сказать, на голову. Подозрение Геси, которая заметила странное их поведение, оказалось ложным: они устали и торопились отдохнуть после дороги и всякой чертовщины, от которой гудели их возбужденные головы. Другое дело Ибрагим! Его поведение было, конечно, странным, и Геша имела основания заподозрить его в преступных намерениях. Но вот в каких? Об этом она ничего не знала и даже не догадывалась, пока перед ней не раскрылась тайна, повлекшая за собой, увы, опять трагедию.

Однажды теплым вечером, когда окно было настежь распахнуто, Геша, делая последние мазки на весеннем, порыжелом своем лице, услышала звонок в дверь. Звонок мелодичным колокольчиком вплелся в веселье радостных звуков, которыми были наполнены комнаты: в доме звенела джазовая музыка, а за окном, на позолоченных ветвях распускающегося тополя чирикали и поцелуисто пели воробьи. Казалось, будто чирикали сами нежно-зеленые лопнувшие почки. Из музыкальной этой шкатулки Геша не сразу услышала звонок, а только со второго раза, хотя и ждала его.

На ней было лилово-дымчатое платье с перламутровой брошкой в виде большой и тоже темно-лиловой бабочки: Геша себя чувствовала в этот светлый, розовый вечер созданной для повелительных взоров и жестов. Веснушки, которые высыпали рыжеватым загаром на окрылках носа, только молодили ее лицо и, притуманенные пудрой, казались искусственным оттенком матовой кожи, как если бы изощренная модница нанесла их в минуту озарения тонкой кистью фантазии и удивилась сама своей удаче.

Она знала, что тот, кто сейчас увидит ее, будет поражен, и, сбегая вниз, часто-часто щелкая каблуками по деревянным ступеням, словно бы слышала себя и видела со стороны — легкую, лилово-дымчатую, душистую и очень красивую.

В этот вечер она не могла ошибиться!

Человек, который заехал за ней, был смущен и озадачен, точно встретился с незнакомой и очень красивой женщиной, выдававшей себя за Гешу, и мучительно думал теперь, что ему нужно делать и как себя вести с ней: верить или не верить. Так, примерно, ощутил себя рядом с Гешей капитан Корольков, никогда не упускавший случая что-нибудь приятное сказать ей в былые дни, которые далеко отодвинулись теперь, убежали длинным эшелонном в туманную даль и, отгромыхав, уступили место тихому празднику.

Боже, боже, где те легендарные мужчины, которые при виде такого чуда припадают на колени и, покорно склоня голову, ждут приказаний госпожи своего сердца?! В каких дебрях истории затерялись они? Или изощренный ум поэта извлек этот образ из своего сердца, отдав ему кровь и душу, чтобы он вечно напоминал живущим на земле об упу-

ценных человечеством возможностях? Или о заблуждениях, о падении нравов и обнищании душ, не способных торжествовать над бездной унылых будней... Может быть, Геша не зря говорила, что чтение художественной литературы вредно? Может быть, и в самом деле оно порождает иллюзии, утрачивая которые человек разочаровывается в жизни?

— Нет слов! — только и сказал капитан Корольков, когда Геша, источая нежнейший аромат, шла с ним рядом к ожидавшей автомашине.

Нет слов и у нас продолжить описание той прелестной, притягательной красоты, которая в этот вечер несла на своих крыльях возбужденную и жаркую, податливую на внимание мужчин, милую Гешу, приглашенную друзьями в ресторан, чтобы отпраздновать там день рождения диктора местного радио.

В гостиничном ресторане играла музыка, и ее было слышно с улицы. Геше сегодня нравилось, что оркестр играл так громко.

— Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте, — говорил знакомым громким голосом очень вежливый, целующий руку диктор радио, встречая Гешу возле безлюдной в этот час стойки администратора, за стеклами, за деревянным барьером которой сидели молоденькие женщины. Одна из них знала английский, изучив его в институте иностранных языков в Москве, другая — немецкий, одну из них звали Валентиной, другую — Таней. Танечка в этот вечер была тоже приглашена на ужин и зашла за барьер по привычке. Все были счастливы видеть друг друга, всех впереди ожидал долгий и шумный вечер, чуть-чуть похожий, может быть, на карнавал без масок, хотя все они знали, что маски мелькают в ресторане на каждой странице прейскуранта. Это всегда, сколько помнила Геша, было предметом для шуток и смеха. «Беф-бризе, соус-загадка! — говорил кто-нибудь, читая тяжелый прейскурант. — Держу пари, это котлета с рисом, орошенная супом!» Все смеялись, словно каждому было приятно разгадывать французско-русский кроссворд и при этом убеждаться лишний раз, что никакой загадки нет и бризе тоже нет, зато все воочию убеждались в исключительной любви шеф-повара к домашним котлетам и рису. Белая масса отваренного риса выкладывалась на тарелку двумя полусферами, с помощью разрезанного пополам резинового мяча, с розовыми кусочками свеклы на вершинах. Удивительное воображение шеф-пова-

ра повергало мужчин в восторженную истому: недоваренный рис разрушался их вилками со сладострастным вожделением, точно они никогда ничего вкуснее не пробовали в жизни. Котлеты тоже шли за милую душу. Из них торчали веточки петрушки, как будто котлеты были подстрелены поваром в тот самый момент, когда они лакомились зеленью, и, зажаренные, были поданы прямо с зеленого луга за пиршеский стол. Да здравствует беф-бризе! Да здравствует соус-загадка! Древние римляне, возлежавшие на бражном пире в полузабытой истории, никогда не видели такого риса и таких котлет. Что там колбасы, вываливающиеся вместо кишок из зажаренного на веретеле оленя! Что там живые голуби, вырывающиеся из чрева жареного вепря, которому по мановению пьяного хозяина вспарывали брюхо счастливые рабы, гордясь своим кулинарным искусством. Блюда эти давным-давно известны благодаря римским сатирам. И ни один современный интеллигентный человек даже бровью не поведет, окажись он по воле машины времени на том разухабистом и обжористом пиру! Какие живые голуби? Что за издевательство над бедными птицами, упрятыми в душное брюхо свиньи! И при чем тут жареные колбасы? Зачем все эти громоздкие и противоестественные фокусы, когда есть котлета с зажатым листиком петрушки в поджаристой мордочке, есть нежнейшие и белейшие грудки риса со свекольными сосочками и есть неуловимый аромат соуса-загадки? Пируй, веселись, смотри, как блестят женские глаза и губы, кричи на ухо своей соседке любовные слова, благо никто, кроме нее, не услышит, потому что оркестр в ударе, и, еще немножко, музыканты, заложившие беруши в ушные раковины, взорвутся со своими инструментами и превратятся в облако дыма или в конце концов не выдержат бешеного темпа и оборвут на громовой ноте популярную танцевальную музыку.

Интуристская гостиница до полуночи слышит подземный гул, похожий, наверно, на гул землетрясения, и, может быть, даже потихонечку шатается в ритме скорострельного барабана, в пушечном его гуле, зудом ползущем по бетонным перекрытиям полустеклянного, полукаменного здания, на мирных этажах которого сидят за столиками тихие дежурные, кроткие стражи порядка и нравственности.

И как же хочется нырнуть из этой тишины в звенящий грохот и шум, в сверкающее множество белоскатертных столов, в заманчивый и грозный мир, мутящий разум и во-

лю. Так страстно хочется принять добровольную пытку молодым людям, стоящим у стеклянных, запертых дверей.

Но лишь компанию из шести человек — трех женщин, одетых одна другой лучше, и трех обыкновенных мужчин, — провожаемую завистливыми взглядами, пропускают сквозь эти стеклянные двери, как будто срабатывает фотоэлемент, распахивая перед ними прозрачные створы.

Они идут, иронически улыбаясь, как идут люди на пошлое зрелище, отдавая себе отчет в том, что делают, и осознанностью этой возвышаясь над человеческими страстями и слабостями.

То была, конечно, компания, которая праздновала день рождения диктора радио, человека в городе известного и уважаемого.

Накрытый на шесть персон угловой стол мерцал фарфором и стеклом, который лоснился свекольными, морковными, яичными, огуречными изделиями, изображавшими розы и другие фантастические цветы, растущие среди зелени лука и петрушки. В этом ресторане заведено было встречать гостей, заказавших стол, тоже цветами, но только не настоящими, а бумажными, похожими на георгины. Какой-то искусник так наловчился делать бумажные георгины, что, по всей вероятности, получал надбавку к зарплате. По мнению организаторов этой местной традиции, новшество было выгодно всем. Над этой традицией тоже шутили острословы. Не остались в долгу и на сей раз, покачав головами и вздохнув. Но никто не хотел обращать особого внимания на укоренившийся обычай, никто не хотел портить праздничного настроения. Официантка, заждавшаяся гостей, была так вежлива и услужлива, что улыбки вскоре вновь запорхали над овощными розами, над пожелтевшим майонезом, над красным, золотистым, прозрачным сиянием стекла. Конечно, фужеры не для вин, но что поделаешь! Стоит ли огорчаться из-за таких мелочей, когда перед тобой знаменитый диктор радио, которому завтра исполнится тридцать пять лет, когда на тебя посматривают в красноватом полумраке глаза друзей, а черные испанские маслины, жирно поблескивая в белом фарфоре, просятся на зубок!

Но странное дело! Чем дольше тянулся вечер, тем печальнее становилась Геша, хотя она танцевала и с диктором, и с капитаном, и с Танечкиным мужем, и опять с милейшим диктором. У него вместо галстука была коричневая бабочка в белый горошек, он что-то говорил, говорил,

как радиоприемник, который, увы, невозможно выключить, а она улыбалась, улыбалась, улыбалась, чувствуя затылком чей-то внимательный взгляд, неприятный, пронзающий импульс из зала, словно кто-то следил за каждым ее движением, не сводя с нее глаз. Она оглядывалась, но видела людей, занятых только самими собою. Ощущение тревоги росло с каждой минутой, Геша нервничала и с трудом уже управляла мышцами улыбающегося лица, боясь показать тревогу друзьям.

А тут как раз подошла ее очередь произносить тост, и самозванный тамада, не по возрасту полный, розовощекий муж Танечки, заставил ее, растерявшуюся, говорить. Она говорила явную глупость и, говоря, знала это, мучаясь чуть ли не до слез, когда слышала свои слова о том, что она просыпается под голос новорожденного и засыпает тоже под бархатистый его баритон, и что теперь она счастлива лично пожелать ему здоровья и радости в жизни, и что единственным ее желанием является желание сейчас же услышать привычную фразу, которая всегда придает бодрости и уверенности, и что она очень просит сказать его: «С добрым утром, товарищи»...

Диктор был очень тронут, друзья тихонечко похлопали в ладоши, когда он, глядя увлажнившимися глазами на Гешу, сказал дрогнувшим голосом:

— С добрым утром, товарищи!

Геша была смущена, не ожидая от себя такого вопиющего лицемерия, и тряслась в мелком противном смехе, пряча глаза от диктора, который ей напомнил вдруг попугая, сказавшего по ее велению: «С добрым утром, товарищи!» — звенела ножом, старательно нанизывая на вилку зеленый горошек, а сама нервно смеялась, недовольная собой и расстроенная окончательно.

Когда же умолк оркестр, певец, исполнявший ресторанные песенки о любви, объявил на весь зал, что среди гостей присутствует известный всем человек, голос которого каждый горожанин слышит ежедневно, и что человек этот — диктор местного радио — празднует день своего рождения. Певец призвал всех поздравить диктора и пожелать долгих и счастливых лет жизни. Геша совершенно расстроилась, не зная, что и подумать.

Оркестр заиграл выход тореадора из знаменитой «Кармен», публика нестройно зааплодировала, кто-то крикнул: «Ура!», вызвав шумный смех, а диктор стоял и раскланивался, прижимая руки к груди. Он так расчувствовался,

что даже послал воздушный поцелуй оркестрантам, бравадно игравшим в честь его классика, приложил две ладони к губам и словно бы выпустил невидимого голубя, молитвенно разведя руки и устремив их в сторону эстрады.

— Да, да! — нервозно воскликнула неуправляемая Геша. — Очень торжественный момент! Очень! Я просто никогда еще... — говорила она, охлаживая себя и приводя в чувство, — не имела такого удовольствия сидеть за одним столом со знаменитостью... Впечатление на всю жизнь! До гробовой доски. Конечно! — чуть ли не вскрикнула она. — Конечно, Верди — великий композитор, но зачем же... При чем тут ресторан?!

Диктор очень вежливо улыбнулся, правильно оценив накалившуюся обстановку, и с легким наклоном головы заметил:

— Да, разумеется... Верди велик... Но и Бизе, я бы сказал, тоже...

Этого только и не хватало Геше! Она почувствовала, как жар окутал ее глаза и затмил весь свет, а она одна-одинешенька, на виду у всех, такая непросветная дурочка, спутавшая Верди с Бизе, сидит голенькой...

— Господи, — сказала Геша очень серьезно. — С ума сошла. — И тряхнула головой, как подавившаяся утка, из стороны в сторону.

Тишина, воцарившаяся за столом, и то смущение, которое испытывали теперь друзья, сочувствуя Геше, вынужденное молчание, довлеющее над застольем, — все это показалось ей вечностью, провалом в бездну, крошечной тьмой и страшной душевной мукой. Выйти из этого состояния было очень трудно, хотя, казалось бы, ничего особенного не произошло: вспыхнула, ошиблась сгоряча — всего-то! Но у кого из людей чувствительных и самолюбивых не случались в жизни подобные казусы, или, как говорил один летчик-испытатель, обалдения, коэффициент которых равен единице? Он, правда, вывел коэффициент по другому, куда более серьезному поводу, но что-то подобное было и за праздничным этим застольем. Люди как будто потеряли способность управлять своими эмоциями, не могли стронуться с места даже в мыслях, которые как бы увязли в болоте смущения. Нужна была посторонняя помощь, чтобы вылезти из затягивающей все глубже и глубже трясины.

Именно в этот критический момент, когда лица всех присутствующих обрели оттенок идиотизма, Геша резко поднялась со стула.

— Геша! Геша! — воскликнули все.— Георгина Сергеевна! Геша! Куда это? Ну что такое?! Геша!

— С добрым утром, товарищи! — сказал словно очнувшийся после глубокого обморока, обескураженный диктор.— Продолжаем нашу программу...

Он чуть ли не силой усадил Гешу за стол, за которым раскрепощенные, обретшие свободу, вольные в своих проявлениях друзья смеялись так, что стали оглядываться люди с соседних столиков.

Геша тоже стала оглядываться, делая это молниеносным движением шеи, случайно взглядывая на соседей, постреливая глазами и тут же прячась, словно всего-навсего нервно потряхивала прической, откидывая при этом рукой пружинки волос, спадающих на виски. Но взгляд ее был исключительно зорок в эти мгновения. Ей показалось, когда диктор усаживал ее за стол, что в поле ее зрения возникло вдруг напряженно-внимательное лицо, которое она совсем недавно видела в своем доме, а потом гналась на автомашине, спутав это лицо с другим. Неожиданно, как предательский удар, над ухом у нее раздался знакомый голос:

— Я приветствую вас, Георгина Сергеевна...

Перед ней стоял, конечно, Кантонистов, ни фамилии, ни имени которого она еще не знала.

Геша очень испугалась, увидев его.

— Прошу прощения,— сказала она, взглянув на капитана, который удивленно поднял брови, и на всех друзей, разглядывающих незнакомца.— На минуточку...— И, быстро встав, увлекла за собой Кантонистова в гардеробное помещение, где возле окна стояли стулья.

Села, пригласив его сделать то же, и он подчинился. Возбуждение ее достигло опасного предела, она слышала влажный стук сердца, ей было жарко, лицо горело, мысли путались, она не могла объяснить, зачем утащила за собой этого человека, понимая лишь одно: друзья могли принять этого субъекта за хорошего ее знакомого.

— Во-первых,— сказала она, переводя дыхание,— я не знаю вашего имени и фамилии... Я не люблю разговаривать с безымянными предметами... Итак?

— Александр... Кантонистов,— ответил тот, шаркнув кожаной подошвой по полу.— Разве Ибрагим не сказал?

— Нет. Он повел себя странно. Кстати, он тут?

— Он дома. Я здесь один.

Она испытующе оглядела Кантонистова. Воротничок голубой рубашки на перламутровых пуговках, темно-серый,

тяжелый, поблескивающий костюм, галстук в красную вертикальную полоску и, конечно, «Саламандра», начищенная до лакового лоска... На руках надутые жилы под черными волосами. Он доверчиво улыбался, тоже разглядывая ее с любопытством, как если бы сравнивал с той Гешей, которая с припухшими после сна глазами, бледнолицая и недовольная, резкая, встретила их ранним утром.

— Ну, хорошо,— сказала она.— Я верю. Признаться, я не должна была бы... потому что... вы начали знакомство с вранья. Терпеть не могу, когда мужчина врет! Это вызывает физическое отвращение, гадливость. Что тут у вас за дела? Зачем приезжал Ибрагим?

— Ибрагим идиот,— сказал Кантонистов, не слыша ее вопросов.— Расстаться с такой женщиной! Глупый человек,— объяснил он с дружеской, доверчивой интонацией и досадливо причмокнул губами.

— Не хотите отвечать. Что за секреты? Я ждала вас вечером того же дня, Ибрагим почему-то тайно пришел...

— Не тайно! — воскликнул Кантонистов.— Зачем ему тайно, если он хотел посмотреть на сына. Он только для этого и летел сюда. Честное слово! Случайно узнал, что я собрался в этот город,— вот и все! Купил танк, взял билет и полетел. Какая тут тайна?

— А почему не пришли вечером?

— Времени нет! Дела! Никакой тайны, честное слово! — похохатывая, говорил Кантонистов.— Если хотите знать о моих делах, вы не поверите! Я любопытный человек, и все! Меня поманили пальцем, сказали, есть уникальное зрелище, а я любопытный... Я живу в бедной лачуге. Зачем мне говорить вам это? Даже не могу пригласить в гости... Я сиделка... Хозяин уехал отдыхать, оставив вонючее животное, я должен кормить его салом... Вы мне не верите? Ха! Я сам себе не верю! — сказал Кантонистов, хлестко шлепнув тугую свою коленку.— Честное слово!

Судя по его странной, но как будто правдивой исповеди, ясно было, что от Ибрагима он кое-что узнал о ней, и Геша терялась теперь в догадках: почему он так откровенен и зачем ему надо было подойти первым.

— Я вам не верю,— сказала она.— Что значит бедная лачуга, сиделка, животное? Что вы мне голову морочите?

Кантонистов взглянул на часы, постучал ногтем по стеклу, сказал решительно:

— Нет десяти... Я не люблю, когда мне не верят. Бросьте ваших пижонов, поехали, я вам покажу лачугу, животное,

и вы все поймете. Этот хмырь, вы помните, он приходил к вам, так загулял, что его не прогонишь теперь домой. А мне надоело! Он мне подсунил липу! Это очень смешно.

— Во-первых,— строго сказала Геша,— я не знаю, кто вы и зачем вы здесь... И прошу моих друзей не называть так, как вы изволили их назвать. Или только в лицо, если вы мужчина... Иначе это подлость. А во-вторых...— Геша задумалась на мгновение и твердо сказала: — Поехали.

Этого, видимо, не ожидал Кантонистов и взволнованно воскликнул:

— Я гарантирую!

— Что?

— Все! Безопасность, хорошее настроение. Немножко развлеку и привезу обратно, если вы пожелаете... Клянусь!

— Пожелаю, пожелаю...

Геша вернулась к столу, встретила тревожный, вопрошающий взгляд капитана.

— Я на часок,— сказала она, поведя глазами в сторону двери.— Я обязательно вернусь.

Капитан незаметно кивнул ей и, взяв салфетку, стал торопливо вытирать губы.

— Нет, нет,— сказала Геша, обращаясь уже ко всем,— вы оставайтесь, веселитесь, а мне необходимо отлучиться на часок... Это очень важно. До скорого! — Она помахала стиснутыми пальцами, держа руку возле груди, сощурилась в улыбке, как бы прося прощения, и потаенно спросила глазами у капитана: «Что ты хочешь делать? Ни в коем случае, ты мне не нужен».

«Почему? — так же потаенно спросил насторожившийся капитан.— Я это сделаю, как надо».

«Нет, я прошу тебя. Ты можешь все испортить».

«Хорошо, хорошо, я остаюсь»,— ответил капитан и, покорно опустив глаза, положил салфетку на стол.

— Мы вас не отпустим,— сказал диктор.— Я довольно скоро должен родиться, часов через пять или шесть... Как сейчас помню...

Кантонистов ждал ее, надев черную кожу, помог одеться Геше, подержав ее плащ за лацканы, распахнул перед нею дверь, сунув швейцару деньги, взял вскоре частного на «Жигулях», быстро договорившись с ним об оплате. Геша спустилась по ступенькам гостиницы и огляделась по сторонам. Садясь уже в машину, увидела и услышала с нежным чувством облегчения, как на больших оборотах греет-

ся двигатель «Москвича», на котором привез ее сюда капитан.

В новенькой, душистой и уютной «шестерке» звучало радио, машина легко разогналась и бесшумно катила по темной улице, освещая асфальт ближним светом. Геша удивленно улыбалась, видя боковым зрением не отстающего от них, растворенного во тьме «Москвича».

«Чудак,— думала она с волнением,— он ничего не понял. Ровным счетом ничего.— Но ей было приятно, что капитан не понял ее и все сделал по-своему.— Так, а теперь мы свернули на Никольскую,— размышляла она.— Ага, понятно... Но что же он хочет предпринять?»

«Москвич» ехал следом метрах в пятнадцати, и Геше казалось, что Кантонистов в любой момент может обнаружить преследование — так явно и неумело вел свою машину по следу капитан. Но Кантонистов, кажется, дремал, уронив голову на грудь.

Возле старого двухэтажного дома он огляделся и велел водителю остановиться. Геша заметила, как «Москвич», замигав сигналом левого поворота, проехал мимо и свернул в ближайший переулок, темнеющий с другой стороны улицы, наискосок от дома, куда повел Гешу полусонный и молчаливый Кантонистов.

Темный двор, тусклая лампочка над крылечком, полутьма каменной лестницы, ведущей наверх, четыре двери первого этажа, бряцанье и звон ключей, которые Кантонистов вынул из кармана. Одним из них он отпер входную дверь коммунальной квартиры.

Геше стало не по себе, когда он, обняв ее за плечи, подтолкнул в желтый полусумрак длинной и тесной прихожей.

— Соседи,— прошептал он и поморщился.

На деревянной, крашенной в коричневый цвет филенчатой двери висел тяжелый замок.

— Экзотика! — шепотом сказал Кантонистов, отпирая висячий замок, а потом другой, внутренний.

Он был мрачен и казался очень усталым.

— Что это, по-вашему? — спросил он, зажигая свет в маленькой комнатке.— Разве не лачуга?

Геша подумала, что капитан, конечно, заметит свет, зажегшийся в туманном окне, и на душе ее стало полегче.

— Ну, хорошо,— сказала она с усмешкой.— А где животное? Вообще я боюсь собак и ждала какое-нибудь чудовище.

— Подождите,— устало сказал Кантонистов.— Может быть, и увидите... Это действительно чудовище...

Геша брезгливо села на краешек стула с грязной, засаленной обивкой неопределенного цвета и огляделась. Комната как комната, маленькая, рассчитанная на одного человека, и то очень неприхотливого. Окно заложено картоном. Грязное, мутное стекло. Амбарный замок на столе, куда положил его Кантонистов. Кружевной клочок обгрызанной какой-то... нет! Это была не просто бумага! Это был клочок двадцатипятирублевой купюры! Она удивленно взглянула на Кантонистова, а тот, нахмурившись, смахнул его на пол, как мусор, сделав это слишком поспешно и притом постаравшись скрыть это движение от озадаченной Геши.

— Времени нет! — сказал он, разводя руками.— Некогда убираться. Я вам говорил! Всюду мусор. Не привык жить без женщины. Женщина в доме — это всегда порядок. У вас не болит сегодня голова? Какое-то проклятие... А собственно, зачем мы с вами приехали в эту лачугу? Скажу откровенно, меня обманули. Я завтра же улетаю домой. Что будем пить? Здесь нет даже приличной рюмки!

— Пейте, что хотите, меня увольте.

Кантонистов снял пиджак. На покатых плечах, на рубашке маленькие погончики. Взгляд его был потухшим, как будто он обратил его вовнутрь, прислушиваясь к самому себе. Ни улыбки, ни движения на безжизненном, бледном лице.

Достал из маленького холодильника початую бутылку пива, на ходу поддев носком ботинка лежащий на полу кружевной, очень странный клочок купюры, загоняя его под холодильник. Геша заметила это и зябко передернула плечами. А Кантонистов, стоя, кивнул ей, залпом выпил пива из горлышка и зажмурил глаза.

— Вот что интересно! — сказала Геша, поднимаясь.— Вы меня позвали продемонстрировать свое искусство пить из бутылки?

— Подождите,— ответил Кантонистов, махнув рукой.— Мне нужно прийти в себя. Я ж вам говорю, очень устал! Не могу жить, ночевать, спать на паршивой этой постели, боюсь одиночества. Дайте прийти в себя! Мне необходимо с вами поговорить.— И он внимательно, исподлобья, долго смотрел в глаза Геши.

Она с трудом выдержала этот взгляд, чувствуя, как дрожат веки и ресницы.

— Дайте прийти в себя,— повторил он.— Тоска! Вы

знаете, что такое тоска? Женщинам не дано почувствовать. У них другие заботы. Тоскующая женщина — это всего-навсего женщина, которую разлюбил мужчина. Мыльный пузырь. Простите за откровенность, — сказал он, усаживаясь на кровать.

— Бог простит, — отшутилась Геша.

— Никогда так не тосковал. Никому никогда не жаловался. Цените! Что за город такой тоскливый?

— Уже оценила. Что дальше?

— А дальше? Сядьте, пожалуйста. Стул грязен, как капот грузовика. Что я могу? Садитесь на кровать. Здесь почище. Но вы не захотите, знаю... Как же! И правильно сделаете. На кроватях не сидят. Особенно в таком платье. Красивый цвет: не лиловый, не серый... Ибрагим дурак... — сказал он, преодолевая себя. — Мальчишка, ай-яй-яй!

Речь Кантонистова стала медлительней, тупее, а глаза, взгляд которых был направлен на Гешу, сделались совсем каменными — голубовато-серыми халцедонами в пасмурную погоду, когда ни один лучик не светится в глубине.

— Я думал о вас, — сказал Кантонистов. — Ложился на эту, не знаю, как ее назвать, и единственное мое спасение — вы... Все эти дни вы были рядом...

— У вас большое воображение. Чья это комната?

— Я ведь не задал вам еще ни одного вопроса, — едва ворочая языком, ответил Кантонистов. — Мне не хочется слышать и от вас. Устал. Давайте помолчим.

— Глупость какая-то! «Помолчим»!

Перед ней сидел на застеленной кровати дьявольски усталый или мертвецки пьяный человек, принадлежащий к тому кругу друзей Ибрагима, в котором не принято было церемониться с женщинами. Жить просто так из дружеских чувств в «бедной лачуге», не получая выгоды от вынужденных неудобств? Что же его удерживало здесь? Какие-то дела... Почему обрывок купюры валялся на столе?

Все это угнетало Гешу, а деньги, которые опять, как когда-то, бросились ей в глаза, наводили на мрачные предчувствия, словно пробудившийся инстинкт пророчил беду, тревожа Гешу и побуждая к каким-то неясным действиям.

В наступившей тишине она услышала вдруг подозрительный шорох в темном углу комнаты. Пращуровский страх холодным дождем окропил кожу.

— Тихо, — шепотом сказал Кантонистов, подняв указательный палец. — Животное идет. Не пугайтесь.

Темный угол, с которого не сводила глаза обомлевшая

Геша, зашевелился, что-то сдвинулось там, тьма прорезалась светлым пятном и другою тьмой, мелькнувшей в непредсказуемом судорожном движении... Геша попятилась к двери, увидев большую крысу, кинувшуюся в шалом беге к холодильнику... Крик, готовый вырваться из груди, застрял у нее в глотке. Глубоким испуганным вздохом она словно бы загнала этот крик в свою грудь, погасив его ахающей, шепотливой, сиплой струей воздуха.

— Проклятие! — услышала она голос Кантонистова и увидела его бросок к столу, тяжелый и плавный, как погружение в воду моржа или сивуча. — Она смеется надо мной!

Мелькнула рука, схватившая тяжелый амбарный замок. Геша увидела резкий замах и услышала грохот массивного замка, пущенного, как из пращи, в засуетившуюся крысу, которая была отброшена ударом к стене, опрокинута на спину...

— Господи! Что вы делаете?! — воскликнула она, глядя на Кантонистова. — Что это?

— Животное, — ответил он мрачно. — Сушит лапки...

Крыса, вздрагивая в последних конвульсиях, сучила маленькими ножками, словно бежала, бежала в ужасе от мучительной боли, на которую она никак не рассчитывала в этот вполне обычный вечер долгой ее жизни. И не могла убежать.

Все это произошло на глазах у Гешы, и произошло так быстро, что она не успела всерьез испугаться и, не понимая ничего, схватила плащ. Но Кантонистов, ринувшись в угол, поднял что-то с пола...

— Видите, что она делала, — вскричал он, держа это что-то в руке. — Посмотрите! Мне надоело! Еще немножко, и я сошел бы с ума. Она жрала где-то деньги и делилась со мной огрызками. Вот! Эта пятерка... Да — пять рублей... Она издевалась надо мной! Вот! Смотрите. Вы любопытная, хотели все знать... Смотрите во все глаза и слушайте, иначе я сойду с ума.

Кантонистов облизывал сухие губы и казался в самом деле сумасшедшим. В левой руке его трепетал в трясущихся пальцах клочок синеватой бумаги, в правой он держал, как камень, бурый от въевшейся ржавчины тяжелый кусок железа с болтающейся дужкой. Лицо было искажено ужасом, как будто он только что убил человека.

— Вы свидетель, — сказал он, ткнув рукой в сторону дохлой крысы.

Он тяжело дышал, поглядывая то на Гешу, то на за-

мок в руке, в который он вцепился с такой бешеной силой, что побелели пальцы.

— Проклятие! Зачем это нужно? Устал! Честное слово! Вы мне не верите? Вот — убил...

Он взглянул на замок и осторожно положил на стол, огрызок пятерки выбросил на пол. Отряхнул руки, попытался улыбнуться...

И вдруг глаза его подернулись пепельным страхом: дверь в комнату бесшумно отворилась, и человек, стукнув тяжелым чемоданом о косяк, запыхавшись, вошел, возник, образовался, как только что в углу образовалась крыса, валявшаяся теперь с оскаленными желтыми зубами, с мокрой мордой у стены.

Геша метнулась в раскрытую дверь, выбежала из комнаты и, толкнув в коридоре какую-то женщину в тапочках и халате, торопливо прошла, как будто протиснулась к другой, спасительной двери.

На улице хорошо пахло свежим воздухом, тополиными почками и землей. Капитан прохаживался под окном, загороженным картоном, и, увидев бегущую Гешу, поймал ее, схватил за плечо.

— Что? — спросил он. — Этот, с чемоданом, тоже туда? Кто это?

— Не знаю! Я ничего не знаю! Ужас, ужас!

За окном раздался вдруг воплевый рев, который тут же смолк. Грохот сдвинутого стола донесся из комнаты, где только что была Геша, и глухой стук... И наступила тишина.

4

До сих пор Геша не могла без волнения вспоминать дьявольское это дело. Труп Кантонистова она, конечно, видела, чуть не упав в обморок, но в расследовании убийства, разумеется, не участвовала. Подробности дела знала только по рассказам капитана и подполковника, который, кстати, в мае пошел на повышение.

— Дадут папаху, — говорил он, пряча довольную улыбку. — Скорей бы зима, Георгина Сергеевна! Щегольнуть хочется! Перед зеркалом покрасовался — смешной какой-то я в ней, а жена говорит — ничего. Ничего так ничего! Придется теперь каракулеву папаху хочешь не хочешь носить.

Таинственное дело с крысой и деньгами раскрылось

довольно легко. В толстой стене комнаты бывший ее съемщик, скоропостижно скончавшийся одинокий старик, некий Петров Иван Захарович, под видом естественного холодильника вырубил нишу в кирпичной кладке, обшил ее досочками, сделал деревянные полки и дверцы и стал туда ставить кастрюли с супом или картошкой, мясо или рыбу, которые в зимние месяцы покрывались инеем, и прочую снедь... Пока не пришла нужда в тайнике.

Давнее дело с ограблением кассира, с пропажей восемнадцати тысяч рублей, предназначенных для оплаты рабочим текстильной фабрики, лежало мертвым грузом в архивах местной милиции.

Когда тайник был обнаружен и из него извлекли четырнадцать тысяч семьсот тридцать семь рублей, частично превращенных в бумажную труху хозяйственной крысой, устроившей себе гнездо в тайнике, подполковник присвистнул с удивлением, вспомнил, разглядывая фотографию старика, рецидивиста Ивана Захаровича, с которым был когда-то знаком по долгу службы, держа его в памяти под кличкой Ваня-клык, и понял с досадой, что дал промашку, не потревожив в свое время одышливого старичка, поверил Петрову, что тот в глухой завязке и с прошлым своим покончил навсегда. Однажды только этот Петров возник в памяти, удивив подполковника и вновь насторожив его.

Было это в теплый дождливый денек, двенадцатого августа, накануне дня рождения жены подполковника. Гостей позвали именно двенадцатого, потому что число это выпало на субботу. Подполковник в гражданской одежде, под японским зонтиком, в поисках подарка зашел в ювелирный магазин, носивший название «Изумруд», и, минуя отдел изделий из золота, прошел туда, где продавалось серебро и полудрагоценные камни.

В фирменном магазине было жарко и безлюдно. Две милостивые женщины лениво обслуживали старого толстяка, который внимательно разглядывал ожерелье из лазурита. Недорогие камушки васильково-синего и небесного цвета сияли в пухлых его ручках шлифованными, сглаженными гранями. Неторопливо, как четки, перебирал их в пальцах внимательный покупатель. Пестрые осколки окаменевшего неба издавали тихий звон капли.

Продавщицам было скучно в дождливый день. Одна из них сказала сквозь зевоту, рассчитывая на ответную шутку:

— Сначала ожерелье, потом золотые серьги потребует, а там, глядишь, и перстень с бриллиантом.

— Это уж как водится,— ответил старый живчик, раскачиваясь над стеклянным прилавком.— Покажите, пожалуйста, голубушка, другое ожерелье. Может быть, найдется совсем синее. Камни эти бывают изумительного цвета. Лазурит приносит счастье.

— Счастье приносит не камень,— со вздохом откликнулась другая продавщица,— а мужчина!

— Золотые слова! — сказал толстячок со стариковской лаской в голосе.— Я мог бы отстегнуть и покрупнее сумму. Но человек я приметчивый и в счастье свое не устал верить. Вам, красавицам, оно дается легко, а мне всю жизнь пришлось гоняться за ним, как за солнечным зайчиком. А вась, думаю, камушки теперь помогут. Тайна в них огромная... Нам с вами не понять.

Приглядываясь и прислушиваясь к толстячку, который, словно бы смазанный жиром, плавал в тяжелом душном воздухе, кокетничая с молоденькими женщинами, подполковник решил и жене купить в подарок недорогое это украшение. А толстячок все рассматривал, все разглядывал, перебирая в пальцах тяжеленькие, налитые синевою камушки.

Был он в просторном, засаленном костюме темно-елового цвета, в желтой плетеной шляпе и в промокших на дожде, дамских как будто бы туфельках, испещренных черными дырочками.

«Ваня-клык! — чуть ли не воскликнул подполковник, когда тот обернулся к нему, скользнув темным нефтяным взглядом.— Ты смотри, какой привереда! Давно ли в телогреечке вернулся, а уже камушки разглядывает».

— Иван Захарович, не узнаешь? — сказал подполковник с усмешкой.

— Как же не узнаю,— ответил Петров, отрываясь от темно-синего великолепия.— Сразу узнал. Вы еще на улице были, узнал.

— Вон ты какой! Зоркий... Чтой-то тебя на камушки потянуло?

— Нервы поистрепались...

— При чем тут нервы?

— Как при чем?! Камушек за камушком, из руки в руку, один за другим. Это отвлекает. Теплые, живые, приятные на ощупь... И думать с ними легко. А года мои такие, что только и осталось о боге думать. Жизнь была тяжелая, если знаете, если припомните.

— Интересно, какого же ты бога взял на вооружение?

— А ведь я язычник! — удивленно воскликнул постаревший, толстенький Ваня-клык. — Камень найду на улице, увижу в нем что-то, поставлю перед собой на стол — вот тебе и бог. Лавой огненной кипел, лился, как вода, видел начало мира, а теперь у нас под ногами валяется, и никто не замечает. А в нем тайна великая! Вся история земли! Разве не бог? А икону человек написал красками на доске, другой кланяется. Какой там может быть бог, если его человек придумал? Нет, я язычник! Вот куплю лазуриты и буду смотреть на мир синими глазами. Это же счастье. Верно, девушки?!

— Ну, а живешь как? — спросил подполковник. — Что делаешь?

— Я-то ничего... На отдыхе. А вы-то что? Дедушкой стали? Светочка замуж вышла? Хорошая у вас дочка, красивая...

— Внук у меня, и тоже зовут Ваней, но только не в твою честь, конечно...

— Ну уж, это, конечно, — смущенно махнул рукой Иван Захарович. — Поздравляю. Ваня нынче в моде. Хорошее имечко! Здорова ли супруга? Тоже красивая женщина. Сколько я — лет, наверное, восемь — не видел... Ну да восемь лет — разве для нее время! Такая же небось молодая и обаятельная... Откровенно говоря, думал, вы уже где-нибудь в Москве делами ворочаете. Таланты у вас огромные! Могли бы и заметить. Не ценят у нас таланты! Какой-нибудь выскочка заправляет, а истинные таланты сидят в тени и подчиняются. Тормоз это очень серьезный... Помните, как вы мою «куклу» расшифровали? Признаться, я был удивлен...

— А что, Иван Захарович, — прервал его подполковник, — слышал я, будто ты из колонии побег совершить пытался? Я не поверил! Серьезный человек и вдруг такую глупость придумал. Было или нет? Развей мои сомнения.

Иван Захарович Петров потупился красной девицей и пошел потихонечку от прилавка к окну, приглашая взглядом и подполковника. Возле окна он с обидой сказал:

— Зачем же вы при милых женщинах так нехорошо говорите? Я бы не хотел, чтобы посторонние люди думали обо мне плохо. С прошлым покончено, наказание принял с достоинством и отбыл от звонка до звонка, даже лишний год протрубил за побег... Не побег это был, а игра фантазии!

Подполковник слушал, не веря ни одному слову Вани-клыка, а потом сказал назидательно:

— Не знаю, так ли все было. Но вот натура у тебя предная. Почему ж ты человеку не веришь, что он жизнь твою хотел спасти? Жизнь твоя, хочешь ты или не хочешь, — бесценная штука, Ваня. Ты, может, на его месте и не подумал бы, а он подумал об этом. Он хороший человек, а ты, Ваня, как был брехуном и крохобором, так им и остался. Молись на свои камни, а мне с тобой говорить больше не хочется. И лучше не попадайся в другой раз мне в эти вот лапы, а то я человек с пристрастием и рассказ тебе обязательно припомню. Эх, Ваня, Ваня... Старый стал, а как ребенок! Сколько, кстати, лазуриты эти стоят? Мне подарок надо сделать, — добавил от хмура.

— Копейки! — воскликнул Ваня-клык, не ожидавший такой грубой реакции подполковника. — Я, ей-богу, хотел рассмешить вас, а вы не поняли, — говорил он, поспешая за ним к прилавку. — А камушки ничего не стоят, хотя тайна в них сокрыта великая! Это я вам говорю. Я даже удивляюсь: дешево у нас ценят изумительную красоту!

Теперь, при воспоминании о давнишней встрече и разговоре с Иваном Захаровичем, подполковнику казалось, что тот ехидно ухмылялся, поглядывая с фотокарточки, словно говорил насмешливо: «Игра фантазии! Сами видите, деньги все замуровал в стену, не пользовался и копейкой... Я ведь язычник! Сделал все, как вы велели, в лапы вам больше не попался, хотя таланты у вас огромные... А кассу взял от скуки. Извините, пожалуйста... Больше уж точно не буду».

— Старый знакомый, — едко сказал подполковник. — А крысу кто дрессировал? Петров или сама талант проявила? Читал я где-то, что крысы — самые умные животные.

Капитан сказал:

— Да, я тоже по телевизору смотрел. Легко дрессируются. Может быть, и Петров. Но думаю, что это случайность. Счастливая, конечно, для Круглова... Кормилицей была.

— Какая же она для него счастливая? — возразил подполковник. — Он из-за этого животного человека убил! Трагическая, а не счастливая случайность!

— Я тоже так думаю, — сказал капитан. — Я имел в виду эфемерное счастье Круглова.

— Какое?

— Призрачное. Таким людям не везет в счастье. Жить бесчестно — невыгодно.

— Кто это сказал?— спросил подполковник, не веря, что капитан способен на такие формулировки.

— Чернышевский, товарищ подполковник.

— Молодец! Читаешь... классиков! Придется это выражение изъять у тебя для служебного пользования — доклад скоро делать. Кстати, ты это обоснуй на бумаге и покажи. Добро?

— Добро, товарищ подполковник, буду рад помочь.

— Какая же это помощь?! Ты что говоришь-то? Помощи я не просил ни у кого и никогда.

— Я имею в виду коллективный разум, товарищ подполковник.

— Другое дело.

Подполковник был не в духе и выглядел, как это часто бывает с рассерженными деловыми людьми, довольно смешным. Капитан, зная об этой особенности начальника, не вдавался в рассуждения и, конечно, не спорил с ним, заранее зная о неминуемом поражении.

— Как я понимаю,— сказал осторожный капитан,— дело ясное. В состоянии аффекта Круглов нанес удар тяжелым замком по темени Кантонистова за то, что тот убил животное. Во всем признался, и, кажется, нам тут делать нечего. Тем более что Георгина Сергеевна и я были, можно сказать, свидетелями происшествия.

Подполковник, который уже догадывался о папаше, дождавшейся его, криво усмехнулся.

— Почему Георгина Сергеевна,— спросил он как бы между прочим,— и зачем уехала с Кантонистовым из ресторана? Она была знакома с ним. Что за связь? Надо это обработать. Тут может быть ниточка.

— Вы так думаете? — спросил обескураженный капитан.

Подполковник всем корпусом повернулся к нему и строго сказал, повысив голос:

— Уверен!

Именно в этот день, вечером, Геша неожиданно для самой себя прижалась к матери.

— Ты знаешь, мама, я безумно люблю Черное море и Крым! Мне обязательно нужно съездить туда еще раз! Ты меня отпустишь?

— Черное море? — удивленно спросила мать.— Но ты была совсем еще девочкой! Неужели ты помнишь Крым?

— Я вдруг вспомнила! — призналась Геша.— Сначала

думала, что это мне приснилось, а потом поняла, что нет. Я вспомнила, как порезала стеклом руку... Помнишь, порезала палец? Собирала на пляже стекляшки... Море их обкатало, а я уронила на камушки, стала подбирать осколки и порезала себе палец. Я хорошо помню, ты испугалась, потому что кровь стала капать на камни.

— Но тебе тогда было всего три года! — воскликнула мать.— Ты не можешь помнить. Наверное, я тебе когда-нибудь рассказывала, вот ты и помнишь... Или, может быть, папа...

— Нет,— сказала Геша,— я сама. Там был мальчик, который мне нравился. Он смотрел на мою кровь, и морщился, и очень страдал, по-моему... Забыла, как его звали. Помню, он ходил в белой панаме, а на руке следы от ссадин. Около локтя. Корочка отвалилась, и кожа там была светлее. Я хорошо это помню. И море тоже помню. С одной стороны горы и с другой, а там, где мы жили, камушки на пляже, впереди, между горами, море... Все в искорках. Если бы ты знала, как я хочу туда хотя бы на две недельки! Мама. Ты молчишь?

— Это так неожиданно,— ответила мать и погладила Гешу, как маленькую, по голове, или, точнее, по пышным, упруго причесанным волосам, ощутив рукою пружинистую непрочность коричневой волны.

— Только не говори «нет»! — воскликнула Геша.— Я должна знать, что у меня нет никаких преград. Что я совершенно свободна... Пожалуйста, скажи — поезжай. Я тебя очень прошу.

— Поезжай,— сказала мать.

Геша поцеловала ее и шепотом, со слезами на глазах, с дрожью в голосе сказала:

— Спасибо. Я, может быть, никуда не соберусь, но я должна знать, что, если вдруг соберусь, меня никто не удержит дома. Я, наверно, никуда не поеду... Но все равно... Спасибо.

— Тебе надо отдохнуть. У тебя голые нервы.

В этот день Геша была на грани истерики. Она не могла найти себе места, и ей казалось, что она все время плачет, хотя и не плакала.

— Ну почему я не играю на гитаре? — спрашивала она в отчаянии, как будто в жизни ее случилось непоправимое несчастье, и восклицала: — В доме у нас никогда не было гитары! Я так завидую людям, которые играют. Мне кажется, я все вечера проводила бы с гитарой! Ты

говоришь, я не помню Крыма! Как же не помню, если я даже стихи написала:

— Ты? Стихи?

— Не стихи, но я бы под гитару... я бы подобрала музыку и пела бы... Это, наверно, не так уж трудно.

Она целый час просидела за своим столом и написала такие строчки:

Как друза аметистовая
В дымке голубой,
Ты снишься, кипарисовая,
Зимнею порой.
Таврида моя нежная,
Согретая весной,
Вершины твои снежные
И крокус под сосной.

Ей так это понравилось, что она боялась продолжать, хотя и чувствовала — нужно было сказать еще кое-что о Крыме и о себе. Но дальше у нее получалось уж слишком:

К тревоге я приучена
И ветра слышу вой (?).
В груди моей измученной...
Грохочет твой прибой...
Зовут в дорогу дальнюю
С севера на юг,
В страну мою миндальную
Без слякоти и выюг...

Кто зовет? Она не понимала и не могла ничего придумать. А строчка, в которой можно было бы объяснить этот зов, никак не складывалась в голове. «В груди моей измученной...» — повторяла она горькую, как ей казалось, фразу, которая ей очень нравилась! «Корабли, журавли...» — выжимала она из себя рифмы, надеясь, что «корабли и журавли» позовут в «дорогу дальнюю», но они глухо молчали. «Воплем корабли зовут в дорогу дальнюю, на краешек земли...» А как же будет тогда: «В страну мою миндальную»? Эта строчка ей тоже нравилась.

Ей вообще казалось очень интересным это занятие — писать стихи: что-то вроде кроссворда.

— Мне нужна гитара, — говорила она страдающим голосом. — Как ты думаешь, — обращалась она к матери, которая, скрывая тревогу, ласково поглядывала на нее, — очень трудно научиться играть на гитаре? Ну, не играть, конечно, а просто аккомпанировать... Как ты считаешь?

— Другие играют,— отвечала мать с грустной улыбкой.— Значит, и ты сумеешь.

— Ты мой самый хороший друг, мама! — воскликнула Геша, никогда не отличавшаяся излишней чувствительностью.— Ты просто чудо! Спасибо тебе.

Ночью была гроза. Первая в этом году, она обложила все небо над городом тучами и вспыхивала в разных его концах своим электричеством, освещая и тучи, и город, стучащие под ветром ветви бесноватых, белесых под молниями деревьев: рушила на землю, на крыши домов и автомобилей шумящую массу воды, в грохоте которой громы казались веселым треском пастушьего кнута.

Геша никак не могла избавиться от слуховой галлюцинации: тупого стука падающего тела, слыша вместе с ним и вопль смертельно раненного Кантонистова. Неживые его глаза словно подглядывали за ней из-под полуприкрытых синих век... Ужас этой смерти был еще и в том, что на полу рядом с телом лежала дохлая крыса, только что убитая тем же замком. Неужто закон Моисеев — «око за око» — явил тут себя во всей своей жестокости? Смерть крысы приравнялась к смерти человека, словно человек этот был из крысиной породы. Или крыса возвысилась до значения убитого Кантонистова?

Суетные поиски странной закономерности там, где торжествовал случай, не давали ей покоя. Она не спала, измученная бесконечной чередой совпадений, в которые и сама она была вовлечена, путаясь в догадках, какую роль во всем этом происшествии играл Ибрагим, отец ее сына.

— Он меня сведет с ума,— четко сказала она, глядя в темный потолок и слушая, как моросит за окном в тишине успокоившейся ночи дождик. Голос ее прозвучал безучастно, как чужой. Она услышала его, улыбнулась и вдруг поняла, что с ума не сойдет.— Глупость какая! — прошептала она и потянулась в зябком ознобе, прячась под одеяло.

Туманным утром в теплом воздухе пахло молодой травой, тополиными листьями. Земля, напоенная дождем, кротко смотрела в небо чистыми лужами, на дне которых застыли, как впаянные, бурые прошлогодние листья, пронзенные иглами травы. Было тихо и влажно. Небо, залитое молочным светом заоблачного солнца, повизгивало первыми стрижами. Полет был размахист и смел, и глаз не уставал любоваться быстрыми птицами. Летали они низко в это туманное утро, над самыми крышами, стремительно за-

гребая воздух косыми крыльями, юрко отворачивали от натянутых проводов, от телевизионных антенн, словно играли с опасностью, жарким своим визгом оглашая живое небо, праздную возвращение на гнездовья.

Начинался новый день зеленого роста на земле. Росла трава, росли листья, сбросившие с себя клейкие панцири почек, росли цветы мать-и-мачехи, медуницы, одуванчиков, которые в это утро, когда солнце белым шаром висело над крышами, робко прятались в зеленых венчиках, дожидаясь жарких его лучей. Росли и маленькие листья на пепельном невысоком еще кусте жасмина. Матово-зеленые, гладкие, они прорезали острыми вершинками мертвенно-серую кору и зелеными цветами украсили куст, который совсем недавно казался вымерзшим, иссохшим, не перенесшим зимних морозов. Зеленая эта жизнь тянулась к свету, отгороженному от куста глухим забором. Жасмину еще много лет надо было расти и крепнуть, чтобы одолеть извечную тень, в которой ему по прихоти человека суждено было жить. Но в это туманное, паркое утро, когда свет, казалось, проникал всюду, ему было очень хорошо. Маленькие листья, словно тугие лепестки крохотных роз, цепко держали шарики дождевой воды, похожие, как чудилось Геше, конечно же, на жемчуг, отливающий перламутром. Черная земля, в которой рос жасмин, как всякая земля под черным забором, лоснилась многолетним перегноем и, влажная, источала жирный, животворный дух. Трава, хоть и лишенная солнца, росла тут сочная, густая. Зеленые иглы ее начали свой новый рост, устремившись в зенит с извечной силой и самоуверенностью, как будто ничто не могло помешать душистой траве, никто не вправе был нарушить законы, по которым протекала хрупкая ее, ничем не защищенная жизнь, нацеленная, как к магниту, к невидимому солнцу.

— Вы, наверное, рассчитываете на благодарность,— сказал в этот день Геше благодушно настроенный подполковник, который уже точно знал о присвоении ему очередного звания: был звонок приятеля из министерства.

Минут сорок сидели они вдвоем в его бледно-розовом кабинете, пропахшем новым дерматином. Подполковник внимательно выслушал ее, кое-что записывая для памяти и для дела в большой блокнот.

— Вы мне не поверите,— говорила Геша волнуясь.— Не поймете меня! Я стала бояться денег. Больших денег, которые были всюду. Они валялись как что-то не очень нуж-

ное, как, например, валяются иногда книги или детские игрушки, когда их много. Они мне мешали думать, вернее, я жила, оглушенная ими. Вздрагивала от испуга, если вдруг выдвигала какой-нибудь ящичек, а в нем валялась пачка денег, которых вчера еще не было. Я боялась на них смотреть! А что я могла сделать? Этот человек — отец моего сына. Я просто сбежала, и все. Откровенно говоря, я боялась не только денег. Здесь, с мамой, я почувствовала себя опять человеком, и вдруг этот утренний визит! Мне показалось, что он приехал со своими дружками неспроста. Он никогда ничего не делал просто так! Хотя я не имела никакого представления, чем он вообще занимается. А этот Кантонистов, или как его там... Я его никогда раньше не видела. Мне кажется, он очень... он был усталым, как будто ему все на свете надоело и он ждал только смерти. А может быть, он не мог перенести вида полусъеденных денег? Эти люди... у них болезнь наживы. Что ему эти жалкие десятки или двадцатипятирублевки?! Он наверняка ворочал тысячами дома, а здесь вдруг польстился... Что-то тут другое! Чует мое сердце — другое. Нервное потрясение, ужас. Я не знаю, как назвать это состояние, но, видимо, он не мог переносить, когда на его глазах уничтожалось то, ради чего он существовал. Он, наверное, испытывал страшные муки. Какое-то серое ничтожество, хвостатое существо приносит ему, как в насмешку, никуда не годные деньги. Для него это пытка! Пускай хоть три рубля, но они уже ни на что не годны. У него, наверное, сердце разрывалось от ужаса: он ведь больной человек, для него нажива — наркотик! Он наверняка испытывал состояние, какое испытывают наркоманы в период, когда у них нет возможности, нет какого-то там средства наркотического. Они ведь жили могут себе порвать, если не удовлетворят свою потребность. А такие, как Кантонистов, мало чем отличаются от наркоманов. Я наблюдала, я знаю, он вел себя очень странно. У него были мертвые глаза. Я как раз думала об этом сходстве, когда он схватил замок со стола. Потом, правда, испугалась. Он никак не мог выпустить из рук эту тяжелую железку, смотрел на меня и, я почувствовала, с большим усилием заставил себя положить замок на стол. Между прочим, я тогда свалилась в обморок, потому что подумала вдруг, будто это они убили работника ГАИ. Но потом поняла, что болезнь у них другая...

— Болезнь? — с усмешкой спросил подполковник. — Вы все время подчеркиваете, что это больные люди. Только по-

чему-то «больные» тянут денежки к себе, в свой карман или там ящик, как вы говорите, и, уверяю вас, жилы себе не рвут. У вас разыгралась фантазия. Да, вы правы, на этот раз пистолет понадобился не им, у них другой какой-то метод добычи денег. Мы, конечно, разберемся, какой... Но, представьте себе, что метод добычи устарел или был перекрыт контролем, короче, отказал. Почему бы не предположить, что эти «больные» в период простоя не перейдут на открытый грабеж? Вот тут я готов с вами согласиться — нажива равносильна болезни, да. Болезнь эта затягивает, и человек уже не может остановиться. Все верно! Только почему-то этим больным обязательно нужно иметь при себе оружие! Сначала для устрашения, а потом и для убийства. Вы, Георгина Сергеевна, слишком большое значение придаете эмоциям. А у бандюги простой расчет, холодная голова и, главное, никакого понятия о жалости, человечности, гуманизме. Что ж я с ним о совести буду говорить? Он понятия не имеет, что такое совесть. Если он болен, то болезнь эта сначала начисто съедает совесть, потом жалость, потом душу, и человек перестает быть человеком. Становится крысой. О чем же мне говорить с крысой, извините меня?

Подполковник говорил спокойно, стараясь почаще улыбаться, чувствуя свое явное превосходство над растерянной, перепуганной женщиной, которая, конечно же, рисковала, связавшись с этим Кантонистовым.

— Вы, наверное, рассчитываете на благодарность, — сказал он, отечески дотрагиваясь до ее белокожей, с голубыми тенями, долгопалой руки.

— Зачем вы меня обижаете? — спросила Геша, поглядев на него исподлобья. — Это я вас должна благодарить... Вернее, капитана, который был рядом.

— С капитаном я еще поговорю! Отпустить такую хорошенькую женщину, потерять ее из виду, а самому прогуливаться на свежем воздухе. Ничего себе герой!

— Откуда он знал, какие у меня отношения с этим человеком? Я же ему ничего не сказала! Он, слава богу, сам догадался, хотя я не боялась и не хотела, чтобы он ехал за мной. Это уж потом! Не могла же я предположить, что такой ужас... какая-то крыса, а потом этот... Нет, я очень ему благодарна! Я выскочила, как сумасшедшая. Боже мой! — шепотом воскликнула она и жалобно взглянула на подполковника.

— Что такое? О чем вы? — восторженно вскрикнул тот.

— Как я скажу Эмилю, когда он вырастет! — сказала Геша в отчаянии.— Что я ему скажу об отце!

— Об этом еще рано думать,— хмуро ответил подполковник.— Сначала надо во всем разобраться.

А примерно через месяц, в жаркий летний день, поблескивая новыми звездами, он пожал ей руку и таинственно сказал:

— Спасибо, Георгина Сергеевна.

— За что? — не поняла она, качнув ресницами.— Чудесный день!

— Скажу по секрету, наши ребята там, где вы когда-то жили, напоролись на очень большой клубок змей. Или крыс. Это уж как вам больше нравится. Болезнь, надо сказать, неизлечимая, что-то вроде бешенства... у этих животных.

Она стояла перед ним на солнце в полотняной кофточке, расшитой ярким орнаментом, в широкой синей юбке до колен, в алых босоножках на высоком каблуке, ярко освещенная, блестящая и смущенно смеющаяся, как если бы хотела понравиться щеголеватому полковнику...

Улыбка еще играла на ее лице, чувственно-выпяченная губа еще дрожала в радостном возбуждении, но глаза уже потухли, жалость и страдание словно бы свели их судорогой, когда она прошептала самой себе:

— Бедный Эмиль!

Полковник спохватился, нахмурился:

— Простите, Георгина Сергеевна,— сказал он виновато.— Совсем забыл... Не учел!

Но было уже поздно.

— Бедный мой мальчик,— сказала Геша с жалкой улыбкой.— За что ж ему-то такое наказание?

Они стояли на песчаной дорожке, в сквере перед фасадом горисполкома, между алых, как кровь, цветов, двумя кострищами стелющихся перед гранитными ступенями лестницы.

Полковник предупредительно поддержал ее под локоть, видя, как заблестел побледневший лоб и словно бы почернели глаза ее и губы. Голубая жилка явственно обозначилась на переносице.

— Спасибо,— тихо и задумчиво сказала Геша.— Я давно знала, что так... что все это... Давно готовилась... Я знала, конечно... Боже мой! Как я не хотела называть его Эмилем! Правда, это очень смешно для мальчика — Эмма? Его и так-то жалко... А тут... Я-то переживу. Я давно знала. Да. Ну, ладно... Но было и нет. Не было,

нет... не будет. Я знала это.— Она опять жалко улыбнулась.— Спасибо. Я не такая уж слабенькая, как вы думаете. И в обморок не падаю. В прошлый раз я надышалась этой химией... Как вы там целый день сидите? Удивляюсь.

— Поменяйте имя,— сказал полковник.— Назовите, например, как я внука... Ваней... Или, например, Мишкой. Чем плохо? «Ведь ты моряк, Мишка!» А?

— Ну уж это! — обиженно сказала Геша.— Это не ваше дело.

— Я пошутил!

— Это не ваше дело!

— Конечно, конечно...

— Эмиль — красивое имя.

— Конечно.

— Эмиль! Я привыкла. Я ведь люблю-то Эмиля, Эмку... Как же так?!

— Конечно.

Простенький фонтан с круглым бетонным бассейном пришелся очень кстати. Он выстреливал вверх белой струей вспененной воды, мелкие брызги которой относил в сторону несильный ветерок. Под этот ветерок и под летящие пылевые брызги полковник как бы случайно подвел вздыхающую то и дело, ослабевшую, крепящуюся что было сил женщину и стал говорить ей о пользе фонтанов, об успокаивающей силе живой воды, об этих искусственных оазисах, которые просто необходимы в современных больших городах. Говорил о том, что людям порой очень важно остаться наедине с живой водой, уйти в нее взглядом, утонуть в плеске и трепете прохладной струи и забыться, как забываются люди, глядящие на живое пламя, пляшущее в ночи перед задумчивым взором.

— Понятно,— говорила ему Геша, согласно кивая.— Понятно.

В Крым она не собралась, а, как обычно, уехала к бабушке «на дачу», поселившись с Эммой и с матерью в хорошем деревянном домике. «Ты, Эммочка, счастливый! У тебя есть прабабушка! — говорила она сыну.— Такое счастье редко кому достается».

В тот вечер, когда она увидела цыгана, идущего по шоссе, мозг ее уже освободился от печалей и был занят решением новой загадки: хорошо или плохо ходить по земле, не зная дома? Куда шел цыган и что ожидало его

вперед — кочующий табор или оседлость в деревне? Или идет он по земле, как по своему жилищу, у которого ни углов, ни потолка и пола, а лишь одно окно, распахнутое в мир.

В тот вечер, когда облако, похожее на гигантскую гроздь винограда, светилось самоцветом в золотистом небе, Георгина Сергеевна впервые в жизни почувствовала вдруг свою растворенность и счастливую затерянность в огромном мире. В руке у нее нежно пылали лилово-розовые цветы герани, которые быстро, увы, увядают в вазе. Ромашки жарким благоговением кружили голову... Некошенный луг над речкой и лента шоссе, по которой ушел загадочный человек с магнитофоном, — все это всколыхнуло ее душу, и она в восторженном благоговении перед вечной жизнью ощутила всем телом свою малость и необязательность в этом мире. Ощущение это пришло неожиданно и радостно, как будто «хозяин» ее тленной оболочки напомнил вдруг о себе, сказав, что она всего лишь гостя на этой земле и что настанет когда-нибудь час расставания и ей придется навсегда покинуть этот чудный мир, который расстилался перед ней в мудрой простоте и ясности.

Сердце ее сжалось в остром ощущении своей незначительности, блаженство разлилось по телу, словно кто-то пообещал ей бессмертие и вечную радость, и она не знала теперь, кого благодарить за эту щедрость. Благодарить за жизнь, которая показалась вдруг бесконечной; благодарить за прожитые годы и за завтрашнее утро, которое придет, за чудо обновления, которое свершилось в ней, точно она покинула наконец-то свой тесный кокон и, как во сне, полетела над зеленой речной долиной.



Ум лисицы

Местность эта испокон веку называлась Телячьим Бродом. Ни в одном официальном документе такого названия, разумеется, нет: у нас не любят оставлять народные названия, особенно если звучат они с насмешкой, и обязательно переименовывают, переименовывают как-нибудь так, чтобы они ничего не говорили ни уму ни сердцу. Я, признаться, даже и не знаю, как теперь зовут эту местность, и прозываю ее по старинке.

Но что верно, то верно: телят теперь на речку не гоняют. Приречная пойма распахана под капустное поле. Брод заезжен тракторами и автомобилями. Бережок обезображен, а речка погублена асфальтовым заводишком. День и ночь дымит он, грохочет, скрежещет железом, возвышаясь над речкой безобразным чудовищем, окунувшим в воду черный вонючий свой язык. Что-то не слышать пока про могучего витязя, который отсек бы голову безмозглому губителю: то ли лень обуяла, то ли равнодушие. Живет Змей Горыныч, дышит мазутной гарью, полыхает во тьме осеннего

вечера утробным огнем, нарушая тишину грохотом и визгом. Стонут люди, жалуясь на притеснителя, пишут куда надо бумаги, а витязя все нет и нет.

Когда осенью созревает капуста, возят ее из-за речки с утра до вечера на грузовиках, на тракторных прицепах и на самосвалах. Дорога с пойменного луга до самого брода бывает в эти дни белой от раздавленных кочанов, падающих под колеса на ухабах. Гибнет ее здесь великое множество. А те побитые кочаны, что валят в кучи на плодоовощных базах Москвы, гниют под дождями, преют под собственной тяжестью. Научные сотрудники московских НИИ, пригнанные на подмогу, трудятся на холоде, очищая их от гниющих листьев, терпят брань обнаглевших работниц баз, взявших на себя роль злобствующих надсмотрщиц. Но первый морозец ударит ночью, скует мокрые сетки и капусту в них. И опять аврал, опять младшие и старшие научные сотрудники обдирают мороженые кочаны, зачем-то выращенные на пойменном лугу возле Телячьего Брода.

На лугу этом когда-то с весны до осени паслись стада, а еще раньше — гурты пригнанной с юга, отощавшей в дороге скотины. Набирала до первой пороши потерянный вес, входила в тело на сочных кормах, прежде чем попасть на московские бойни, до которых отсюда один дневной перегон.

А нынче — капуста до самого горизонта! Хрустят снегом под ногами раздавленные кочаны, вымостив собой обводную дорогу. Холодный воздух остро пахнет свежей капустой...

В ту осень меня донимала хандра, и все, на что бы я ни смотрел, виделось мне в черном цвете. Работа валилась из рук. Жить стало не вмоготу. Это порой случается даже с самыми крепкими людьми, осененными вдруг смутной идеей гибели всего сущего на земле, от которой они никак не могут избавиться. Сила их улетучивается, а будущее, только что казавшееся лучезарным, сворачивается, как береста, взявшаяся огнем, и горит, потрескивает, чадит черной копотью. Ничто тогда не радует, ничто не приносит облегчения, а былые удачи кажутся обманными. Впереди только смерть, разрушительная ее сила, от которой никому нет спасенья, черви в черепе, черные провалы глазниц...

Все это в полную меру вкусил я в ту осень, пропадая в мрачной тоске, и если бы не случай, не знаю, во что бы вылились тогдашние мои страдания. Смешно вспоминать,

но тогда я страдал, как отвергнутый юноша, думающий о самоуничтожении. Не только духовных, но и физических сил не хватало, чтобы просто двигаться. Я считал, что все для меня кончилось и никогда уже ко мне не вернутся былые радости.

Случай же столкнул меня с душой такого же пропадающего в тоске, отчаявшегося существа, и, как ни странно, чужое это отчаяние, в котором я увидел свое собственное, встряхнуло меня. Я понял вдруг, что вовсе не одинок на этом свете. Мои добрые друзья, окружавшие меня заботой и старавшиеся развеселить, не могли сделать и сотой доли того, что сделал для меня этот страждущий, с душой которого как бы переглянулась моя душа и воскресла.

Приятель мой, страстный рыболов и охотник, как-то сказал мне по телефону:

— Купил себе дом. Дорого, но зато близко. Жуткое дело! Прежний хозяин жил и ничего... Умер... Никто не отобрал. Нужна прописка, понимаешь? А я купил у покойника, который тоже не был прописан, одна лишь страховка на дом. Понял теперь?

Я разозлился на него, потому что терпеть не могу этих штук: «купил у покойника»... Какого черта разыгрывать из себя дурака, если и так не отличаешься умом... Что-то в этом роде я ему и высказал в трубку, но он рассмеялся и стал уговаривать, чтобы я месячишко пожил в этом доме, потому что вместе с домом ему досталась и собака, а времени у него теперь нет, да и собака старая, привыкла к дому, жалко выгонять, а в Москве у него и так лайка, которая, конечно же, из ревности загрызет старушку.

Я знал его собаку, она и в самом деле могла загрызть кого угодно. Но я опять наорал на него, что он-де не обо мне думает, а о собаке, которую надо кормить, что на меня ему наплевать, что ему нужен лишь сторож. Но в конце концов неожиданно для самого себя крикнул в отчаянии, что согласен наняться в сторожа и в собачьи няньки. Когда же узнал, что деревня расположена поблизости от Телячьего Брода, утвердился в своем обещании и через два дня переехал. То есть домовладелец заехал за мной на машине погрузил мои вещи и выбросил меня с ними рядом с деревянным домом в три окошка, под которыми росли еще не облетевшие кусты сирени.

Дождик моросил в этот день; приятелю хотелось уехать

засветло, он торопился. Правда, кое-что он мне объяснил: где магазин, где телефон, где амбулатория...

— Там дрова,— говорил мой приятель,— вот печка, а там, за печкой, бумага на растопку...

— А где же собака?

— В конуре на цепи...

— И тебе не стыдно?! На цепи! Сейчас же, аферист, приведи ее сюда и познакомь со мной!

— Я сам с ней незнаком! — заявил оскорбленный домовладелец, махнул рукой и, не дав мне опомниться, уехал.

— Сукин сын! — крикнул я чуть ли не со слезами — все-таки рассчитывал на прием, на какой-нибудь горячий чай... Как же иначе?!— Хоть бы велел взять горячий термос!

Крик мой утонул в сумерках пустого, промозгло-холодного дома, где все показалось враждебным мне и захватанным чьими-то жирными руками. Все углы словно бы лоснились в голом свете одинокой лампы под потолком.

— Аферист! — опять воскликнул я.— Даже не сказал, как зовут собаку! Живодер!

Я понял, что сгруппил, согласившись на эту убогую жизнь. Сердце мое бешено заколотилось, страх перед неизвестностью помутил рассудок, и я решил, пока не поздно, уехать домой. Московская квартира показалась мне отсюда роскошной, каждая вещица в ней драгоценной, и я, привыкший к теплоте освещения торшера или настольной лампы, которые высвечивали для меня письменный стол или журнальный, за которыми так приятно было когда-то работать, чуть было не сиганул через окошко из мертвого этого дома. Заперев дом трясущимися руками, сбежал по ступенькам крыльца, помня сквозь дикий испуг, что до станции отсюда километра четыре или пять. На улице было еще светло, хотя и очень пасмурно. Я вполне успевал до темноты и направился было к калитке, но какая-то сила задержала меня и заставила оглянуться.

Из черного проема конуры на меня смотрела собака. Именно ее взгляд я и почувствовал затылком, именно он и остановил меня.

Сощуренные ее глаза в слабой надежде слезились старческой немощью. Большая голова, скуластая, беспородная, с толстыми, на хрящах висящими ушами, приподнялась, звеня цепью, словно собака увидела или учуяла сострадание

в моем сердце. Седые брыли ее растянулись в улыбке, и собака выкарабкалась из конуры. Была она статью своей и цветом отдаленно похожа на русскую гончую, с черным чепраком и рыжеватыми подпалинами. Грудастая и прочная, на костистых ногах, она встряхнулась, и, заколотив по гачам жестким хвостом, радостно, звучно зевнула и, поскуливая, запросилась ко мне, видимо, по-своему, по-собачьи, вычислив меня, уловив во мне жалость.

Пришлось отстегнуть карабин, и, когда собака набежала, позвал ее в дом; она послушалась с превеликим удовольствием.

Конечно, она была голодна, но не настолько, чтобы есть пустой хлеб. От нее сильно запахло псиной, когда она улеглась напротив горячей печки. А печка гудела, трещала сухими дровами, капая, как раскаленным металлом, красными углями сквозь колосники в золу поддувала. Собака давно уже не испытывала такого блаженства, и, когда я отворял топку, она чутко открывала огненно-красные, дрожащие глаза, в которых отражалось бушующее пламя, и сквозь дремоту улыбалась, будто ей снился счастливый сон.

Это ее состояние меня стало беспокоить, и я сердито сказал:

— Не я купил дом, глупая! И ни на что не надейся. Все это мираж! Я не хозяин твой, а обманутый дурак...

Но она застучала хвостом по полу, как палкой, и в зевоте показала мне старые свои зубы и огненно-красное ребристое небо, освещенное пламенем.

Радиоприемник наигрывал музыку, печь гудела, согревая жилище, большая собака лежала раскинувшись на досках крашеного пола. А за печью свалены были бумаги. Это были старые газеты и журналы. Среди них попадались «Наука и жизнь», «Здоровье», «Огонек», которые я откладывал в сторону, чтобы полистать перед сном. Все они были безнадежно устаревшими, а потому, если я даже читал их, в памяти моей ничего не сохранилось. Иногда смешно и грустно бывает листать старые иллюстрированные журналы, видеть знакомые лица, слава которых казалась немеркнувшей, читать речи и воскрешать в памяти подробности отшумевшей жизни.

«А почему он сказал «старушка»? — подумал я, отвлекаясь и разглядывая собаку. — Он старик! Как-то ведь надо его назвать... Наян?»

— Наян,— тихо сказал я, и собака тут же подняла голову, прислушиваясь.— Ты Наян? Не может быть. Спи давай, балбес. Я завтра все равно смогаюсь отсюда. Ничего не жди.

И собака уронила башку, стукнула сырой костью по полу. Я даже услышал тяжелый, глубокий ее вздох, как если бы она все поняла. Видно, привыкла к человеческому голосу и улавливала интонации. Цепная собака на это не способна.

Широкий диван, обитый грязной, засаленной, почерневшей на сгибах узорчатой тканью, был ужасен. Жесткие бугры пружин упирались в ребра, и от боли избавиться не было никакой возможности. Они не скрипели подо мной, а скрежетали, ухали, стреляли. От дивана пахло плесенью. В доме стало так жарко, что пришлось настезь открыть окно. Во тьме моросил дождь.

Я испробовал все способы, какие только знал, чтобы уснуть, но сон не приходил. Меня пугало одиночество, мне грезились кошмары, я со стоном вздыхал, на что Наян откликался глухим сквозь сон рыком.

— Спи,— говорил я ему, радуясь, что можно кому-то это сказать.— Спи, несчастный. Не знаешь, что надо спать, и спишь, а я знаю, а потому и не сплю. В этом наша с тобой принципиальная разница. Да-а, Наян, да, дорогой...

В темноте сквозь мокрый шепот дождя я слышал, что Наян слушает меня. Это было очень странное, новое для меня состояние: слышать слушающую душу, ее внимательную затаенность во тьме чужого дома.

Это было очень трогательно. Мне даже почудилось вдруг, что какой-то замочек, висевший в моей груди, масляно шелкнул механизмом, дужка откинулась и замочек соскользнул во тьму, отворив во мне дверцу в былой мир радости. Я понял, что уснуть мне в эту ночь не удастся... И готовился встать, зажечь свет и одеться... Увидел опушку елового леса, такого темного, что казался он черным в солнечный день. А перед опушкой расстился спелый серебристо-желтый овес, как будто высыпанный с небес в зеленую чашу леса. Над чашей этой голубизна, а в голубом сиянии — стада облаков, гонимые верховым ветром. В небесной бездонности они плыли на небольшой высоте. Светящиеся по краям, они тоже казались голубыми, прозрачными, как перья белых птиц. Маленький соколик —

пустельга — трепетал крылышками, зависнув над овсяным полем. Тени от облаков гасили вдруг яркую желтизну овсов и, скользя, накидывали на поле сеть. И тогда ели на опушке становились зелеными, но не надолго. Солнце опять уже озаряло поле и во мрак погружало еловый лес, из которого когда-то на это поле выходили тетерева. Теперь тишина. Ни грохота взлета, ни мелькания тяжелых, кургуzych птиц...

Я открыл глаза и понял, что это был сон. Так много радости сулили светлые его картины, что я с удивлением ощутил свое дряблое тело, лежащее на бугристом диване, и ужаснулся, ибо время, которое я здесь без смысла тратил, напомнило мне вдруг о других заботах, о других страданиях и муках, как если бы я неожиданно брошен был опять в пучину жизни, исполненную животворящих и гибельных страстей.

Восторженное это и возвышенное состояние, какое испытал я, придало мне сил, я поднялся, зажег свет, оделся и, чувствуя звериный голод, сказал Няяну, чтоб он катился к чертям собачьим со своими ласками, распахнул ему дверь в дождливую ночь, а сам поставил чайник на теплую еще плиту и принялся снова растапливать печь. Я знал в эти странные минуты, что теперь мне все удастся сделать в жизни; я без всякого уже сомнения знал, что брошу курить и опять радостные силы наполнят мои мышцы, отравленные никотином. Мечтательный дух вошел в меня, горло мое перехватило от сознания, что впереди еще много будет счастливых дней, я понимал себя в эти блаженные минуты так, будто поднялся с постели после тяжелой и опасной болезни, которую победил. Я был победителем!

В общем, чувствовал я себя, если говорить всерьез, довольно скверно, потому что состояние мое было сродни истерике, то есть я легко мог сорваться в слезы, перевозбудив себя бессонницей и затянувшейся хандрой, и то, что казалось мне тогда освобождением, было другой, не менее опасной крайностью, когда жизнь моя стала мне казаться суетным, торопливым и восторженным движением к стремительной победе. Я думал черт знает о чем в эти тревожные минуты!

На ум пришла вдруг сумасбродная идея начать новую жизнь, женившись на красавице литовке; поселиться на берегу какого-нибудь рыбного озера, в добротном доме, ловить рыбу в благословенном краю, вжиться в обычаи и привычки хуторянина, обрубить все концы, связывавшие ме-

ня с прежним существованием. И видел я себя человеком как будто бы совсем еще молодым, а потому и в жены себе выбирал молодую... Чудилось мне, что нет на свете женщин милее белокурых литовок. Настороженный и горделивый их взгляд манил мою душу, омолаживал и бередил несбыточной мечтой.

Дрова в печи между тем приняли огонь сгоревшей бумаги, и печь, сначала медленно и туго, но с каждой минутой все сильнее разгораясь, загудела окрепшим огнем. Клочок бумаги, который я держал в руке, не понадобился — пламя уже обнимало все поленья.

В пальцах у меня трепетала пожелтевшая страница какого-то рукописного текста. Почерк был необыкновенно красив: каждая буква, написанная с любовью и той витиеватой легкостью, которая говорит о привычной руке, была строго наклонена вправо, все заглавные начинались с лихо росчерка, словно человек, писавший их, щеголял своим умением, но в то же время и о читателе думал, берег его глаза и нервы, строго выписывая каждую линию, каждый завиток. Так теперь никто почти и не пишет. Во всяком случае, именно эта каллиграфия и привлекла меня к листу бумаги, который я держал в руке.

Делать было нечего. Наян, вернувшийся с прогулки, опять улегся на теплый пол перед топкой, а я присел к столу и, слыша, как сипит чайник с водой, начал читать.

С первой же строки я понял, что это литературное сочинение или, точнее сказать, продолжение его, потому что наверху страницы стояла цифра три, тоже начертанная с необыкновенным изяществом, напоминая стремительной своей линией зигзаг крохотной черной молнии. Я с трудом разыскал в бумажном хламе еще несколько десятков подобных страниц, разложил их по порядку, но начала, увы, найти не смог, хотя и перерыл все бумаги. Видимо, я растопил им печь. Зато был конец. На страничке так и было написано: «Конец».

Я заварил в фаянсовой кружке крепкий чай, закурил и, затагиваясь дымом, увлекся чтением. Да так, что и про чай забыл. Передо мной была рукопись искреннего человека, который писал свою повесть, по-видимому, не для печати,— все, о чем он рассказывал в ней, не ложилось в рамки привычных публикаций.

Впрочем, судите сами.

...Всякий раз она задумывалась, уходила взглядом в пустоту и курила, курила, ненавидя все вокруг и саму себя в первую очередь. Молоденькая эта развратница несла в себе разрушительное начало и не могла, не имела сил бороться с ним, как больной человек, которому нельзя есть копчености, но он их ест вопреки запрету, а потом страдает, как и пьяница, не умеющий бороться со своей привычкой, мучается, идя в магазин за спиртным. Всякий раз она зарекалась покончить со старой и начать новую жизнь, но голова у нее кружилась опять от одного поцелуя, жадность распирала ее, хватчица одерживала верх над монашенкой, и рассудок ее мутился. Она как бы жила без прошлого и без будущего, без всякой привязанности к реальному миру, ибо сама становилась этим реальным миром, от начала его и до конца, от дней творенья до вселенской его гибели. Все эпохи, прошлые и будущие, сжимались в напряженную пружину и сообщали ей свою безумную энергию, с которой она и шла на Голгофу, помня лишь о воскрешении, которое ждет впереди.

Она делалась очень красивой, глаза ее блестели и лицо пылало, движения замедлялись, словно она впадала в сомнамбулическое состояние, губы шептали бог знает какие признания, а температура тела, кажется, поднималась до критической отметки. Никто не мог удержаться под напором ее страсти; всякого своего избранника она приводила в состояние полной подчиненности, и каждый из них тоже, как и сама она, забывал все на свете, как если бы тоже терял связи с прошлым и будущим.

Такая уж она была искусница!

Впрочем, это я теперь так-то вот анализирую и пытаюсь все ее поступки объяснить с точки зрения логики или, во всяком случае, здравого смысла. А тогда! Господи, я сам был безумцем. Не понимал и не хотел понимать, что со мной происходит, и даже не задумывался, к чему все это может привести.

Взволнованный ее голосок (а он был всегда очень взволнован) даже на вздохе звучал рвущейся серебряной стрункой, вздох был кратким, и в мгновении его чуть слышался, как от внезапного испуга, айкающий звук, придававший речи особенную прелесть.

Волосы рыжие, тусклые, измученные всякой химией.

Смотрит на меня бледными ледышками, как будто сейчас расплачется. И вот говорит однажды:

— Слушай, Васенька (она меня прозвала Васенькой, хотя имя мое не Василий), я к тебе с просьбой огромной, и ты мне не имеешь права отказать, иначе я не знаю, что со мной сделается. Я могу даже погибнуть.

— Что такое?

— Мне... Ты только, пожалуйста, не отказывай. Мне очень, мне просто необходимо завтра же уехать в Ленинград. И ты мне должен дать на поездку сто рублей. Эта поездка равносильна, я не знаю... Она для меня все! От этой поездки зависит, буду я счастлива или нет.

— Да что у тебя за необходимость такая? Скажи, если не секрет.

— Секрет, Васенька! Я ж просила тебя... Будь милосердным! И ни о чем не спрашивай, пожалуйста. Ведь, кажется, можно понять!

Я больше не сказал ей ни слова, взял сберегательную книжку, на которой было в то время чуть больше ста рублей, и повел свою истязательницу с собой.

Деньги она у меня из рук взяла так, будто я ее покупал за эти сто рублей: глаза опустила, пальцы холодные. Руки у нее были слишком уж детские: ни плавности линий, ни эластичной кожи. Кисти пятиклассницы, вечно вроде бы озябшие и такие жиденькие, что даже страшно иной раз бывало брать их в свои руки — слишком уж слабенькие.

— Ты хоть не забудешь меня? — спрашиваю у нее. — Надолго ли ты уезжаешь?

— Я сама ничего не знаю, — отвечает. — Я в Ленинграде никогда не бывала. А тебе — спасибо. Ты единственная моя опора в жизни. И уж это такая беда, если я тебя забуду! Мне нельзя. Я без тебя погибну. Зачем только говоришь такое...

Вот за что я обожал ее, так это за выражение крайней искренности, хотя и скрывала она от меня, утаивала многое. Но скрывала ведь тоже искренно! Этим-то она и изумляла меня; я терял всякое представление о том, что хорошо в ней, а что никуда не годится, будто терял рассудок от распиравшей меня радости. Кому ж не радостно чувствовать себя опорой для любимого человека, особенно если этот милый человек смотрит тебе в глаза и словами своими, речью своей как бы вливает в твою душу веру, что ты и в самом деле единственный.

Это приятно очень и обязывает ко многому.

Хотя и то истинная правда, что не одному мне дарила она подобные откровения. Я знал это гораздо лучше, чем мне хотелось. Да Мария и не скрывала! Она приходила ко мне, к своему Васеньке, и жаловалась на кого-нибудь, а то подшучивала; другой раз злилась и словно ждала от меня совета, как ей быть в том или ином случае. Чего она только не делала со мной! Уверен, что каждого своего возлюбленного она тоже изумляла своим странным поведением, то есть сводила с ума, лишала здравого рассудка, истязала своей откровенностью, делая, как и меня, своими опорами в жизни, награждая всякого такими высокими качествами, какими ни я, ни мои соперники никогда, увы, не обладали.

Что уж такое она из себя представляла, я даже до сих пор не могу понять. Вполне возможно, что и надо мной она тоже посмеивалась в чьих-нибудь объятиях. Хотя злиться или жаловаться на меня у нее, кажется, не было причин. Судить, конечно, не мне, но зла я ей не делал, и это утешает меня теперь, когда Марии нет в живых.

А вот взять, например, ее мужа, Станислава Наварзина. Я хорошо с ним сдружился в ту пору жизни. Что тоже, конечно, очень странно и, разумеется, не делает мне чести, потому что я обманывал его, но при этом вел себя так, как если бы его общество было приятно мне.

Ростом под двухметровую отметку, молодой этот человек по первому впечатлению мог показаться добродушным малым. Но он ко всему на свете относился с некоторой долей недоверия и даже подозрительности, делая вид, что его мало интересуют люди как таковые. Взгляд его цементных глаз блуждал с лица на лицо, и трудно было понять, что он думал обо мне или о других друзьях жены. Иной раз чудилось, что он все о нас знает, играя таинственную роль в этом греховном круговороте: жена ему все рассказывает, и они вместе смеются над нами. Что-то в глазах его, опущенных густыми серыми ресницами, говорило иной раз об этом, и мне становилось страшно, когда он глуховатым баском приветствовал меня и кланялся с подчеркнутой церемониальностью, загадочно улыбаясь при этом. «Как будем драться, сударь? Оружие выберем или по физиономии врезать?» Что-то в этом роде я порой читал в его глухом взгляде, которым он обласкивал меня при встрече. И мне стоило больших усилий непринужденное поведение.

Зачем я, спрашивается, ходил в этот дом, зачем ломал

комедию перед Наварзиным, которого я, разумеется, считал гораздо лучше самого себя, чище, доверчивее и умнее? Зачем я все это делал, мне и до сих пор непонятно. Вот уж верно так верно — бес попутал!

Я забыл все свои прежние девизы, свое место в жизни среди людей, свои принципы, почувствовал себя свободным от всех негласных, но строгих правил, которые я соблюдал с щепетильностью немца, и лег, что называется, в дрейф. Или, точнее сказать, был втянут в орбиту небесного тела, гравитационное поле которого было сильнее моего, и включился в очень странный, непонятный, но приятный эксперимент, где я исполнял роль счастливого любовника. Мне иногда даже казалось, что Наварзины бросили вызов всему свету и, решив соединиться браком, доказывали вместе, что семья в наш суетный век не несет никакой цементирующей силы, а скорее является ширмой для прикрытия всевозможных, так сказать, шалостей. Мне было и страшно и радостно; я не испытывал никаких обязательств, не чувствовал никакого долга перед этими людьми, лепетал что-то вместе с ними об искусстве, о науке, о мировых и внутренних событиях, старался не ударить в грязь лицом, напрягая свой интеллект. Все, как правило, соглашались со мной (в этом доме вообще не бывало разногласий), никто не спорил, не возражал, поддерживая во мне уверенность, что я блестяще умен и достоин любви.

А надо сказать вот что! Это была, как я теперь понимаю, оригинальная формула внутренних отношений в доме Наварзиных, коль умен, так будь любим. В доме этом не прощалась только глупость. Во всяком случае, шла подспудная, жестокая борьба с дуростью, с невежеством, и пощады ждать не приходилось никому. Добродушный Наварзин скалил зубы в презрительной усмешке и (уж не помню теперь подходящего примера) расправлялся с простофилей, поражая меня всякий раз бесцеремонностью, с какой он набрасывался на человека, оплошавшего, по его мнению, и показавшего недалекий ум. Человек мог быть гостем или гостьей, это могло быть изображение на экране телевизора или голос в радиоприемнике, это могло быть лишь воспоминание о знакомом человеке — все равно рискованно-резкое замечание или усмешка перечеркивали его, как будто это была муха, залетевшая в окно, которую Наварзин прихлопывал мухобойкой и тут же забывал о ней. Брезгливая мина искажала бесстрастный его взгляд, серые ресницы смыкались на какое-то мгновение в едва

заметной дрожи, но это мог уловить только наблюдательный человек.

Это я лишь теперь понимаю, что своей жестокостью с людьми, не угодными ему, он старался как бы нарастить элитарный слой на клубок своей жизни, удобрить эту жизнь, аристократизировать с помощью постороннего интеллекта, считая, видимо, что умному человеку необходимо обособиться, и, если не возвыситься над массой, то хотя бы позволить интеллектуалам некоторую вольность, недоступную прочим, то есть раздвинуть поведенческие рамки, презреть убогую нравственность и брать нектар с любого цветка, дабы показать, что интеллект завоевал себе право на свободную любовь, ибо не в ней истинное наслаждение, а в творчестве. А если так, то какого же лешего распускать нюни там, где нет ничего, кроме питательной среды для восхождения духа к высотам творчества.

Не знаю, верны ли мои запоздалые размышления, а они не что иное, как догадка, но, признаться, меня и раньше беспокоили эти постоянные шпильки, брезгливые замечания, хладнокровное отрицание многого из того, что для меня было если не свято, то уж, во всяком случае, заповедно. Хотя, впрочем, частенько он бил, конечно, в точку, некоторые, так сказать, вольности с его стороны имели право быть. Как сейчас слышу резкий, глуховатый голос Наварзина: «Не говорите, пожалуйста, плоскости». Но и в самом деле — как не возмутиться, если при тебе какой-нибудь с виду нормальный человек скажет, например, с экрана телевизора: «Пункты массового потребления продуктов питания» вместо того, чтобы сказать «столовые» или, смотря по тому, что он имел там в виду, «магазины».

Приятно ли, когда в твою комнату вламывается экранный краснбай и говорит, например: «Полны решимости выполнить решения». Ведь тут и думать не приходится! Ну почему бы не сказать: «Постараемся выполнить решения», — скромно, точно да и по-русски к тому же.

Но не только это пустозвонство бесило спокойного с виду Наварзина, который, будучи добродушным человеком, всякое проявление неуверенности или застенчивости, всякий намек на скромность тоже готов был высмеять, фыркнуть с презрением в лицо, вычеркнуть негодного из сознания, из памяти и как бы из жизни вообще.

Я противоречу себе. И делаю это невольно. Я не могу избавиться от естественного чувства неприязни к человеку, который, если хладнокровно рассуждать, родился, навер-

ное, слюняем и фригидным малым, не наделенным от природы даром любить, ревновать, вообще увлекаться, то есть забывать о себе во имя другого человека. Ах господи! Что я говорю? Кто во мне говорит это, какой подлец?!

Не он ли, живя со своей Марией, страдал, может быть, как никто другой на свете, вынужденный терпеть увлечения своей возлюбленной, если тем более представить себе, что он догадывался или даже доподлинно знал о неумных, болезненных страстях своей супруги, которую он, вероятнее всего, безумно любил! А я вполне допускаю это, потому что не любить Марию, рыжую женщину с ледяными глазами и молочной кожей, было невозможно...

Сам Наварзин отличался поразительной одноцветностью, словно его выкрасил маляр-самоучка, не знающий, как смешивать краски и привыкший малевать только заборы и цоколи оштукатуренных зданий. Льяная холстина и та по яркости своей превосходила общий бледный колорит Станислава Наварзина. Одними только рубашками, галстуками, костюмами он и скрашивал скупость своей палитры, имея тяготение к цветистым одеждам, особенно к красным рубашкам, которые теперь для меня приобрели почти мистическое значение... Даже ресницы и те у него были, как я уже сказал, серые, как, впрочем, и жесткие волосы цвета соли с молотым перцем.

Наверное, он обладал острым умом, хотя сердцем я и не принимаю такой ум. Однажды в каком-то плавном и, как часто бывает, банальном разговоре о музыке (как можно говорить о музыке не банально?) я задал ему, естественно, банальный вопрос. Мне тут же пришлось пожалеть об этом, и я согласился с Наварзиным, признав свою глупость, но, однако, вопрос был задан.

— Музыка? — переспросил он с брезгливым подергиванием бледных губ. — Какой она имеет для меня смысл? Никакого, конечно. Приятные и неприятные звуки, и все. А зачем мне искать в наслаждении какой-то смысл? Вы что это, всерьез спрашиваете? Что вы, право, задаете такие глупые вопросы? Всюду хотите найти смысл, все хотите принизить объяснениями. Зачем? Что за век такой практичный! Яблоку с ветки упасть нельзя — сразу вспоминаем Ньютона.

И он посмотрел на меня с таким сожалением, будто усомнился, что я был избранником его несравненной Марии, которая была рядом и тоже, кажется, устыдилась за меня.

— Все надоело, как манная каша, — говорила она мне по-

том, глядя в одну точку, словно в огонь.— Мы теперь с мужем включаем телевизор, смотрим этот... художественный какой-нибудь. Чтоб поиздеваться, язычок поточить. «А вот сейчас начнется любовь,— говорит муж.— А потом она порвет с ним, потому что он консерватор и не пускает новое в жизнь». И вот что удивительно! Не было случая, чтоб не угадал... Так хочется правды! Рассчитывать на терпение народа можно, даже на долготерпение. Но до каких же пор? Мне кажется, наступил момент, когда даже при всем желании народ уже не в силах терпеть ложь. В любом ее проявлении. Понимаешь, Васенька? В любом! Конечно, ярче всего это среди молодежи... Может быть, опять проблема отцов и детей? Но только не та, о которой нам в школе... Нет! А более серьезно! Отцы многое вытерпели, привыкли терпеть, а молодежь уже не может. Даже если бы очень хотела — не может. Как будто предки прививку сделали, впрыснули нам такую дозу терпелина какого-нибудь, что он умертвил всю нашу способность терпеть, у нас пропала иммунная система. Это очень серьезно! Даже страшно делается. Говорим, говорим, а ведь молодежь-то не слушает. Она думает. Задумались так глубоко, что ничего вокруг не видят и не слышат. А что тут сделаешь? Посмеялись над тем, что было свято, а теперь попробуй убеди, верни-ка их... Раз уж посмеялся — все! Нужна правда! Такая, чтоб перья летели, синяки под глазами, кровь из носа, но — чтоб правда. Истосковались! Не хочется ничего смотреть, читать — никто уже не верит в это... в литературу, в кино. Правды нет никакой. А если есть, то она для таких, которые привыкли: «Ах, как смело!» А какая там смелость? Смешно! Что-нибудь про удои молока, про пахоту, про цех какой-нибудь. Это кому же все нужно-то?! Вот уж манная каша! Так все надоело — сил нет.

Это, конечно, влияние Наварзина, думал я, стараясь развеять ее пасмурное настроение.

— Я не понимаю тебя. Может быть, я состарился? Но я не знаю ни одного человека, который заведомо говорил бы ложь. Разве ты знаешь таких?

— Нет, я тоже не знаю,— соглашалась она.— Но ты не хочешь меня понять. Ты хитрый.

Настроение ее так быстро менялось, что без улыбки я об этом и вспомнить не могу. Только что она говорила о задумавшейся молодежи, имея в виду, вероятно, себя в первую очередь и Наварзина, а уже и следа не осталось от искренней тревоги, с которой она думала о судьбе народа.

— Что-то странное происходит с моим слухом! — восклицала она в необыкновенной радости и даже смеялась. — Я иногда вдруг начинаю слышать, что говорят на первом этаже или на втором, а то и вообще под крышей. Страшно интересно! А другой раз с обонянием: чую вдруг, где что готовят, и даже знаю, вкусно или нет. Удивительная какая-то способность! Вот я иногда думаю: в сказках своих люди учитывали, например, ум лисицы... Вообще каждого зверя награждали такими способностями, которые вполне соперничали со способностями человека. Может быть, раньше люди знали язык животных?

Взволнованная ее речь опять словно бы увядала, трепетала на холодном ветру, когда Мария перескакивала на другую тему:

— Я на работе так устаю! Так изматываюсь! Приходится столько нервов тратить, потому что заставить кого-нибудь что-нибудь сделать — это надо совсем потерять все силы. Так наругаешься за день, придешь домой и даже приятно, что муж командует. Наконец-то, думаешь, опять женщиной стала... Но если б ты знал, как мне скучно жить!

Смотрит на меня тающими глазами и, кажется, испытывает: верю я ей или нет. Я-то хорошо ее знаю, меня ей трудно обмануть, но и то тоже знаю, что ей неважно это. Для нее гораздо важнее придумать что-нибудь такое, во что бы я безусловно поверил или, во всяком случае, сделал вид, что поверил. Иногда мне кажется, она и любит-то меня за то, что я верю во все, о чем она рассказывает мне, играя всякий раз новую роль передо мной.

— Сегодня на заре,— говорит она, например, потупив очи,— я чуть не умерла. У меня остановилось дыхание. Я вдруг забыла, как надо дышать и что для этого нужно делать. Это так страшно! Всегда знала, а вдруг забыла. С тобой бывало такое? — спрашивает она и, не дожидаясь ответа, продолжает: — Мне приснилось, что ты меня целовал, так впился в мои губы, что я перестала дышать, не могла. Проснулась — все равно не могу. Лежу как мертвая.

— Ну что ты говоришь... Я и целоваться-то так не умею. Ты же знаешь.

— А вот выходит, умеешь,— говорит она, поглядывая на меня исподлобья.— Мне было приятно...

С ума меня сводила своими выдумками.

А то начнет о муже рассказывать, о Станиславе, которого звала Стасом, и всем своим видом, голосом, взгля-

дом велит мне, чтоб я обязательно верил и не спорил с ней.

— Ты его, Васенька, совсем не знаешь. Он талантлив, как бог. Только не любит об этом распространяться. Ты хоть знаешь, что он физик-теоретик? Вот в том-то и дело. А знаешь, какой он удивительный хозяин? Видит, что я ноги еле волочу — и все хозяйство на себя берет. Я в своей жизни не купила даже кастрюльки какой-нибудь. Это его забота. Он в командировку едет и обязательно домой что-нибудь привезет: то сковородку, то кастрюлю, то чайник со свистком. Ножи какие-нибудь купит или вилки. Не может без этого. Если хозяйственный магазин видит, обязательно зайдет, все осмотрит и непременно что-нибудь купит: клей или наждачную бумагу, а то и молоток или отвертку. «Зачем тебе, Стас?» — «Нужно», — говорит. Как-то притащил электрическую дрель со всякими приставками. Сверлил где надо и не надо, точил ножи, полировал что-то. Потом надоело, опять заскучал: мне, говорит, очень хочется маленький токарный станочек купить. «Вот уж будет красота! — говорю. — Заводской цех вместо квартиры». А он без всякой улыбки смотрит на меня, как будто не слышит, а в глазах такая тоска по этому станочку! «Зачем тебе токарный станок?» — «Нужно». Вот и весь ответ. Я тогда еще не догадывалась, какая у него идея в голове. Сам он никогда ничего толком не расскажет; ты, наверное, заметил, он не улыбается, с ним бывает не так-то просто — очень серьезный. Но ведь знаю, что не нужен ему никакой станок! Что на нем точить?! А он все равно купит, притащит и начнет что-нибудь точить. И это не упрямство. У него великая идея в голове. Потому я и мирюсь со всеми его капризами. Женам великих всегда было трудно. А он великий, я знаю. Я готова у него на побегушках служить. И мне, ты знаешь, это бывает очень приятно. Попробуй мне кто-нибудь на работе сказать: «А ну, Мария, слетай-ка за сигаретами!» Да я такому нахалу... А Стас попросит, я и бегу. Дождь не дождь, знаю, что он «Яву» за сорок копеек курит, ищешь, ищешь эту «Яву» по всей Москве. И удовольствие получаешь, потому что он доволен будет: ждет, волнуется — куда пропала! А я целый блок этой «Явы» притащу, он что-нибудь приятное мне: «У-у-у». А мне больше и не надо ничего... Я ж понимаю, я очень виновата перед ним! Какая уж мне благодарность... На душе так приятно, так радостно! Сижу, смотрю, как он дымит, и чуть не плачу от удовольствия.

Нижняя челюсть у Марии чуточку выпирает, мелкие зубы крепко сидят на изогнутой, крутой дуге розовой десны. Если долго смотреть на ее веселенький ротик, то невольно начинаешь улыбаться, улавливая сходство с ротиком какой-нибудь красавицы газели. Лицо в эти минуты нежно окрашено, как будто над ним колдовали искусные гримеры. А в глазах черт знает какая радость влюбленной женщины. На нескольких человек хватило бы с избытком, а тут вдруг одной досталось, и она не знает, что с ней делать.

Даже во сне лицо ее выражает удовольствие. Все черты его загадочно сплетены в неоконченную улыбку, которая как бы выражает радостный испуг перед жизненной силой, перед всемогуществом этой силы. Перед ней она крохотная частичка, зеленый листик на ветке, но тоже, как этот листик, имеет право на все те радости, какие дарит солнце или лунный свет, дождь или пушистый снег среди зимы. «Я очень люблю! — как бы говорит она всему окружающему миру, зная, что мир этот хороший, а потому и она в нем тоже хорошая. — Люблю! Мне больше ничего не надо. Я очень счастлива».

В этом смысле она похожа на подрастающего ребенка, который только-только стал сознавать себя жителем Земли, приспособлявая мир к себе, маленькому человеку, способному в жестоком и могучем мире выжить, если только все остальные существа будут хорошими, добрыми и любящими его: медведь, волк, баба-яга и кашей бессмертный...

Мария мне рассказывала, что еще девочкой она без тени страха ходила в потемках по безлюдным переулкам, без боязни шла навстречу мрачной кучке парней, если они попадались на пути, и, зная, что они не только не тронут ее, но и не оскорбят грубым словом, проходила мимо, заставляя умолкнуть даже самых бесцеремонных, как если бы шла перед ними в сияющем ореоле.

— Э-э! — услышала она однажды несмелый оклик.

Мария остановилась, плавно повернулась всем корпусом к четверке больших, как баскетболисты, рукастых и ногастых ребят, которые ошеломлены были и обескуражены своим смятением, и с легким, едва заметным полупоклоном улыбнулась им.

— Кто сказал «э-э»? — спросила она и так весело и так громко рассмеялась, что ребята совсем растерялись.

Тьма казалась коричневой в этот час. Под хлипким асфальтом тротуара дышала мокрая, оттаявшая земля, просачивалась сквозь трещины кремовой жижей. Дворы меж-

ду старыми домами едва светились корявыми стволами спящих еще тополей.

Парень, который окликнул ее, был Станиславом Наварзиным.

Я, признаться, не хотел верить, слушая Марию, хотя вполне реально представлял себе апрельский вечер, московский переулок где-нибудь в районе Самотеки и этих парней... Я даже представлял себе Марию в демисезонном пальтишке, которая смеялась, и мне отчего-то распирало грудь страхом за нее, такую доверчивую и такую смелую, что только диву можно даваться, как она не погубила себя в те юные годы. Уж я и не знаю теперь, что о ней думать. Все ли, о чем я слышал от Марии, она выдумывала или кое-что из ее рассказов было правдой! Иногда мне даже кажется, будто вся ее правда в том и состояла, что она такая фантазерка. Что ж тут поделаешь! Иногда обман, проистекающий от обыденной невнимательности, дороже всякой правды. А я был невнимательным, то есть я не хотел вдаваться в размышления о ней: я просто любовался ею, получая наслаждение, и жаждал только видеть ее и слушать, как музыку, ласкающую слух. Тут уж, конечно, прав Наварзин, сказав, что нет никакого смысла в музыке; я с ним сразу же согласился. Да и кто остановит, нацелит наше внимание, которое торопливо скользит в буднях жизни, ни на чем особенно не задерживаясь! Так, наверное, на судьбе у меня написано — скользить по жизни в поисках эфемерного счастья. И я, признаться, совсем не жалею об этом. Может быть, у меня низкое качество жизни? Может быть, я деревянный, как древний город, который много раз сгорал дотла от пожаров, а потом заново отстраивался?.. Но сердце мое и до сих пор не окаменело, хотя города со временем становились каменными. Наверное, я глуп. Но мне и всей жизни не хватит понять, что я глуп. Вот ведь в чем дело, оказывается! Всей жизни не хватит. А зачем же тогда пытаться думать, что ты глуп? В этом моя маленькая хитрость, и я ее унесу с собой в могилу. Пусть меня считают умным: мне так проще. Это обо мне, наверное, мудрый сказал: мы растем, но не зреем.

Я и теперь плачу, как только вспоминаю о счастье, которое приносила мне эта удивительная женщина!

Впрочем, счастье ли? Оно ведь просто так на голову не падает. Ничем не заслужил я такого положительного внимания. Роюсь теперь в памяти, как погорелец на пожарище, и никак не могу найти малости, которая мне нужна.

Так нужна, что тоска гложет душу, будто я в будничной суете забыл имя матери. Не лицо Марии хочу увидеть или слово какое-нибудь вспомнить, не событие восстановить в подробностях — все это пока цепко держит нетерпеливый мозг. Никак не вспомню, не уловлю в памяти благоухание той жизни, таинственный ее аромат, сотканный из множества забытых теперь запахов, которые и составляли мое мимолетное счастье. словно бы жизнь моя окрашена была пахучими, благовонными веществами, обметана, как крыло бабочки, нежнейшей пылью, которая и позволяла мне летать... Теперь пыльца осыпалась, и без нее я беспомощное насекомое, обреченное на гибель. Жизнь посмеивается надо мной, и одна лишь смерть способна избавить меня от мук.

А дни между тем становятся холоднее, опадают листья. Близится зима. На карнизы садятся синицы и заглядывают в окна, постукивают клювами по стеклу, смотрят на меня черными бусинками. Пытаюсь глазами этих пташек сам посмотреть на себя и никак не могу увидеть. Все мне кажется — до старости еще жить да жить; строю планы на будущее, словно живу во сне.

Лес прояснился, запестрел листьями, упавшими на землю, траву, на зеленые замшелые бугры гниющих стволов, проредился, вознес в вечернее небо полуобнаженные свои ветви. Тихий, он прощается с прожитым днем, который и дождем его посыпал и снежной крупкой и согревал солнцем, озарявшим его зеркальными, холодными лучами. Так и в Москве бывает на закате, когда солнечный свет, отражаясь в стеклах противоположного дома, отбрасывает в погасшие уже окна, входя в восточную мою комнату, нежно-зеркальные блики. Зеркальным отражением мерещится теперь и мокрый лес, блестя зеленой еще листвой лещины, темнея побуревшими листьями черных лип и пронзительно сияя березами в синеве неба. И холодно и тепло.

Из-под ветвей старой ели неслышно выпорхнула находившаяся птичка с пепельно-оранжевой грудкой, посмотрела на меня и так же неслышно спряталась в бурых колючках. «Чего тебе надобно, старче?»

Привиделась мне однажды странная картинка, и я решил предаться фантазии. Сохлый дуб, убитый молнией, стоял на краю деревни, неведомо как и когда выросший тут, а я будто бы взлетел на верхние его сучья, захлопал крыльями и закукарекал на всю деревню. И чувство у меня такое появилось, точно я в ребенка превратился; страх у меня

на душе только мистический, а конкретного нет — ни высоты не боюсь, на которую взобрался петухом, ни ножа, которым мне голову отсечь всякий может. Сижу, распеваю, как на дождь, а страх исходит лишь от неизвестности... Что уж потом вышло из всей этой чепухи, я не помню, но только и в жизни я порой напоминал себе этого фантастического петуха на сохлом дереве — так же возбуждался, пылая сердцем и умом, кукарекал что-то на всю округу, не замечая своего лица и той отвратительной самоуверенности, которая, как известно, проистекает от невежества. Так я теперь думаю о себе, ругаю себя, проклиная тот час, когда жизнь свела меня с той, которая убила во мне стереоскопическое зрение: все я стал видеть в одной плоскости, и только Мария сделалась для меня живой природой, заменив собой все прежние радости, все увлечения и все чувства. Я катастрофически быстро старел. Всякое явление в жизни заключает в себе множество разных граней. И надо быть слепцом, чтобы не видеть их блеска... Я же перестал видеть эти грани, мне даже стало казаться, что средневековые схоласты были правы, утверждая, что Земля плоская, а на небесном куполе развешаны звезды-игрушки.

Кстати, когда Мария говорила о хозяйственных способностях мужа и о своем невмешательстве в эти дела, она, конечно же, выдавала желаемое за действительное. Уж кто-кто, а она была при всей кажущейся своей несобранности и расхристанности очень властной и настойчивой проводницей необыкновенных замыслов. Двухкомнатная кооперативная квартира, которую я ощущал, как частичку самой Марии, была, по моим представлениям, вершиной художественного и функционального совершенства. По прошествии времени я переменял свое мнение об этом жилье, но в те годы мое восхищение было беспредельно.

Представьте себе комнату привычной кубатуры с невысоким потолком, из которой при всем желании не сделаешь, кажется, ничего из ряда вон выходящего, потому что дверь и окно крадут сразу две стены. Но Мария сумела обмануть пространственное убожество и сделала из одной комнаты две.

Именно в то время я и услышал от нее, что человек всегда учитывал в своей прошлой действительности ум лисицы. Она не раз повторяла это, уходя взглядом в пустоту и как бы обмирая от загадочного значения сказанного, будто раскрывала мне по секрету очень важную тайну, которую берегла в своей душе и ужасалась содеянному.

Что она имела в виду, говоря про этот ум лисицы, я не знаю, но уж, конечно, не простонародное представление о хитрости, не подвиги в курятнике, а что-то гораздо большее и значительное, как если бы она и в самом деле старалась вспомнить лисий язык, который знала когда-то, уходя теперь всякий раз во тьму времен и пугаясь там, в той пещерной тьме.

Да, так вот представьте себе комнату, одна стена которой оклеена от угла до двери фотообоями и превращена как бы в осенний, золотисто-охристый лес. Обои эти были обрамлены дубовой аркой, создающей перспективу. На передний план вынесены были кашпо с ниспадающими растениями, сиренево-розовые листья которых создавали иллюзию объемности и пространственной глубины сияющего леса. Особенно эффектно смотрелся этот пейзаж вечером, когда из-под потолка направленный луч освещал цветы и осенний лес, журнальный столик и низкие мягкие кресла, подниматься из зеленых объятий которых так не хотелось мне в поздние часы. Эта полукомната отделена была от другой половины тяжелой гардиной шоколадного цвета, косо свисающей с потолка. Гардина напоминала складками огромное знамя, была подобрана в двух местах тесемками, так что при желании можно было чуть ли не полностью перегородить комнату, обособив уютную столовую возле окна, в которой стояли раздвижной стол, стулья с мягкой обивкой и стеклянный буфет, купленный, видимо, в комиссионном магазине, потому что он похож был на терем, возвышающийся почти до потолка. На стене тут висел писанный маслом натюрморт с арбузом, сиреневый абажур над столом и светильники на стенах в виде старинных подсвечников, которые, как мне помнится, зажигались в самых торжественных случаях, в часы званого какого-нибудь ужина.

Словом, комната была обставлена в типично немецком, бюргерском духе, хоть малы ее объемы, а все-таки Мария умудрилась раздвинуть стены всевозможными ухищрениями, и надо было, конечно, побывать в этой комнате и провести там вечерок, чтобы до конца оценить удобство и иллюзорную ее многоплановость, которая умиляла меня и расслабляла, ввергая в состояние полного блаженства. Чувствовал я себя в этом жилище так, как если бы приходил к любимой женщине, чтобы остаться у нее навсегда.

Кухня, ванная комната и бело-розовая спальня ничем

особенно не отличались, если не считать многочисленных зеркал, в которых многократно отражались белые египетские кровати или кафель.

Кабы не Мария, разве я запомнил бы обстановку этой разукрашенной квартиры, разве мог бы с умилением уходить взором в фотографические дали леса, сидя в глубоком кресле за чашкой чая, который подавала Мария на журнальный стол. Плиточный шоколад, наломанный в вазочку ее пальцами, был необыкновенно вкусным и источал такой аромат, какой исходит, может быть, только от горячего шоколада.

Что говорить, влюблен я был безумно! Музыкальный ее голосок, так сказать, *cantabile*... Стоило мне только услышать... Что со мной делалось! Смущался и глупел, становился ослом — ничего не понимал в первые минуты, а только созерцал самого себя, то есть, я хочу сказать, созерцал ее в самом себе. Видел и слышал ее в своем сердце, а потому и чудилось мне, будто я открыт всем взорам и всем ушам. Всяк, кому не лень, мог заглянуть в глубину моей души и все там прочесть до последней буквы. Вот говорят про влюбленных: он с нее глаз не сводит. Чепуха! Я посмотреть на нее боялся, как все равно в глаза смерти заставлял себя взглянуть — приговора ждал. А она это понимала: ей нравилось, что я боюсь ее. Смотрит на меня и словно бы шалееет от нежности. Нос у нее, прямо скажем, немножечко смешной, как приклеенный к лицу, но неправильно, вкривь. Узенький во всей своей продолговатости, он на кончике округлялся картофелинкой, придавая некоторую глуповатость лицу. Но в то же время удивительную приманчивость, какой порой не обладают даже писанные красавицы. Смотрит на меня рыжей дурочкой, глаза нежно-грустные, умные — все понимала.

Вот сидим мы как-то раз... Гостей собралось у Наварзинных человек пять или шесть.

— Я, например,— говорит один,— верю в неизведанные силы человека. Себя, например, считаю приемником. Мне люди почему-то любят исповедоваться, доверяют самые сокровенные тайны, мысли всякие, какие другому, даже близкому человеку, не доверяют никогда. Если я приемник, то другой, например, передатчик. Он передает на расстоянии, может внушить, например...

— Все правильно,— перебивает его невозмутимый Наварзин.— Вы приемник, а перед вами вот — чайник.— И показывает глазами на меня.

Такая уж у него была манера шутить. Сидит, молчит, переводит взгляд с одного говорящего на другого, глаза равнодушные, без единой живой искорки. Был он хорошо натренирован, вся его физиологическая система работала в отлаженном ритме, он мог подолгу сидеть неподвижно, находиться рядом и в то же время как бы отсутствовать, если ему совсем неинтересно слушать наш разговор. И вдруг словно бы выглядывал из своего далека, губы его кривились в усмешке, и он делал шутливые или язвительные замечания, нападавая из своей засады на зазевавшегося.

Что тут поделаешь? Смеюсь вместе со всеми над тем, что я чайник, а сам чувствую, что краснею, и не могу справиться с глазами, которые меня выдают с ног до головы. Кажется мне, что неспроста Наварзин назвал меня чайником.

— А что это вы смеетесь? — спрашивает вдруг Наварзин и холодно смотрит на меня. — Почему вам смешно?

— Потому, вероятно, что, — отвечаю ему, а сам не знаю почему, — потому, что я чайник. У чайника крышка есть и ручка, за которую держат его. — Говорю, а у самого взгляд плывет, ничего не могу поделать с собой. — Ведь если я вас как-нибудь назову, вы мне не поверите, конечно, если я вас кофейником, например, назову... Вы ведь не кофейник. Зачем же всерьез принимать это?

— А может быть, я вас оскорбить таким образом хочу? — говорит Наварзин и не сводит с меня испытующего взгляда.

— То есть вы хотите сказать...

— Да, именно... хочу...

Тут уж все за столом примолкли и потупились, не понимая, что все это значит.

— Вы хотите сказать, — говорю, а сам чувствую, как дрожит во мне душа, холодея от одной мысли, что сейчас придется встать и навсегда покинуть этот дом. — Вы хотите оскорбить? Это очень странный способ: пригласить к себе, чтобы оскорбить... И что значит оскорбить? Повергнуть меня в скорбь... Я действительно буду скорбеть, если вы не шутите. Я привык к вашим шуткам и привык не придавать им значения... Однако!

— О боже мой! — сказал Наварзин. — До чего ж все это плоско. Конечно, я пошутил. Сидите, пожалуйста. У меня сегодня слишком хорошее настроение.

В разговор наш вмешивается Мария и взволнованно говорит, обращаясь ко мне на «вы», как всегда на людях,

такая уж у нас игра, я ее тоже на людях величаю на «вы».

— Вы не обижайтесь... У него с утра сегодня хорошее настроение. Он меня, знаете, как сегодня назвал? Сказать? — спрашивает она у мужа.

— Нет,— отвечает он без всякого выражения на лице.

— Вот видите, он не разрешает, а то бы вам всем тоже было смешно. Он сегодня в очень хорошем настроении! Господа,— обращается она к нам с улыбкой,— что же никто не притронулся к этому блюду! Это же тресковая печень с луком! Нет, господа, вам придется ее съесть.

Она, кстати, сделала своей привычкой обращаться к гостям с этим устаревшим: «господа», желая, видимо, подчеркнуть свое особое уважение к ним, и у нее это получалось, надо сказать, очень естественно, как если бы иного обращения она и не знала.

Так же бывает, когда смотришь на человека, как он орудует ножом и вилкой,— видишь сразу, что этот с детства приучен, а другой хоть и справляется, а все равно заметно, что науку эту освоил недавно, что ножом пользуется только в гостях или на официальных каких-нибудь обедах, а дома забывает про нож и одной вилкой, одной правой ест и мясо и картошку какую-нибудь, уткнувшись носом в тарелку; так и хочется сказать: да уж ешь, хватай прямо зубами, зачем вилкой-то, брось и вилку.

А я между тем смотрю на Наварзина и не могу понять, о каком таком хорошем его настроении говорит Мария, в чем оно выражается и как мне его разглядеть. Сидит истуканом, сонливо приспустив веки, сжав бесцветные губы. Но вот что странно! Чувствую, что у него и в самом деле хорошее настроение. Но и сомнение гложет: может быть, они оба смеются надо мной, называя мрак светом, велят мне поверить в это и для чего-то ввести в заблуждение.

Впрочем, вся моя жизнь в те годы была сплошным заблуждением. Это я теперь понимаю, но все равно сердцем тянусь к тем счастливым денечкам и рад бы опять заблуждаться, пусть даже Наварзин опять упражняется в странном своем остроумии. Сидит, например, в мертвенном оцепенении, а потом ни с того ни с сего скажет:

— Когда русский человек роняет честь на моих глазах, я этого человека вычеркиваю из сознания, для меня он с этого мгновения труп.

А я опять мучаюсь, опять думаю: «Это по мою душу»,—

хотя и стараюсь уверить себя, что у него и в самом деле очень хорошее настроение.

Мария тоже любила ставить меня в тупик. Говорит однажды:

— Надо стать развратной, чтобы почувствовать себя святой. Да, Васенька? Все человечество на этом держится. Сколько уже тысячелетий считает себя святым, потому что не отказывает себе в разврате. Ты, наверно, скажешь, это гибельный путь? Но зато какой прекрасный! Да ведь и другого не дано. Или он есть, другой путь? Может быть, есть, но только я не знаю. По-моему, все так думают, как я, что путь, мол, этот есть, но его за всю жизнь не отыскать. Верно, Васенька?

Что я мог ответить ей? Мне, конечно, надо было бы сказать: «А почему бы не попробовать быть святой, чтобы не быть развратной?» Что-нибудь в этом роде, коль уж она затронула такие категории. Но как ей скажешь? Сидит, упершись подбородком в колени, и смотрит на тебя с надеждой, что ты понимаешь ее лучше, чем все люди на свете. Длинные руки ее обхватили голени, скрестились возле щиколоток, а кисти с набухшими венами замерли в страдальческом бессилии. На плечах рассыпаны веснушки...

Наварзин, кажется, не понимал, каким сокровищем одала его судьба. Мне же было приятно думать, что он этого не понимал, потому что он как бы развязывал мне руки, то есть я словно бы получил право на Марию, совесть моя оставалась чистой перед ее мужем, с которым, по странной прихоти Марии, приходилось встречаться.

— Ты не представляешь, какой он талантливый физик, — говорила о нем Мария. — Тебе трудно понять, ты гуманитарий и ничего не смыслишь в физике. А я понимаю и говорю тебе — это гений. Я тебе рассказывала? Нет?! Господи! Ну так слушай, Васенька. Он изобрел принципиально новый лазер... Ты хоть знаешь, что такое лазер? Слышал... Ну и то ладно. Дело не в этом. Меня обида за него измучила совсем! Он ведь этот лазер собрал из подручного материала, администрация института не пошла навстречу. Просил, умолял: «Дайте мне хоть корпус сделать приличный». А они: «Ничего, и так сойдет!» Лазер решили на выставке экспонировать. А на выставке один американец захотел купить этот лазер. Понимаешь, что получилось? Лазер, конечно, сразу засекретили... Теперь мужу приходится выписывать специальный пропуск, чтоб подойти к своему собственному лазеру. Можешь себе представить,

Васенька?! Абсурд! А сколько, ты думаешь, он за свое изобретение получил? Двести рублей! И все... Руки опускаются. Он такой талантливый, а его никто не ценит. Нагрузки такие дают, что работать некогда. Там лекцию прочти, там с людьми поговори, там, глядишь, в обществе «Знание» надо выступать. И все это на него одного нагружают. Это уж у нас такое правило, сам знаешь. Тянет, давай еще один мешок на телегу, еще один, пока не упадет.

Говорит, а у самой чуть ли не слезы на глазах от обиды за мужа: так ей жалко его. Я молчу в полном недоумении, не зная, что и подумать, как себя вести в этой ситуации. Тем более что не верю ни одному ее слову: насколько мне известно, Наварзин никогда не занимался лазерами. Но думаю: раз уж ей так хочется, зачем рушить ее иллюзии. Да и неловко напоминать, что совсем недавно она же говорила мне про Наварзина, будто тот работает с машиной, с ЭВМ... Я-то ведь помню, как она говорила, захлебываясь от восторга:

— Они там заняты своими машинами, ничего не видят и не слышат вокруг, смотрят только на свои машины! Ах-ах! Что-то она молчит?! Почему ничего не выдает? А! Наконец-то! Пошла! Защелкала! Время летит — ужас! Не успеваешь оглянуться, а уже конец рабочего дня. Кто был рядом, зачем? У них асексуальный институт! Только одни машины. Математическая модель кровеносной системы. И ничего больше. Я у него спрашиваю: а душа есть? Нет, говорит. Во всяком случае, наука об этом ничего не знает. Если завтра душу откроют, тогда я скажу, что душа есть. А пока нет. Пока открыли только гормоны удовольствия в мозге. Ты можешь себе представить, Васенька? Гормоны удовольствия! А зачем их надо было открывать, если каждый и без науки знал, что они есть. Правильно? А души, говорит, нет пока. Есть сердце, кожаный мешок, а души нигде нет. Я говорю, а почему же тогда этот кожаный мешок рвется, зачем бы не рваться, например, желудку или другой какой-нибудь емкости? Рвется-то ведь от горя почему-то сердце! Если это просто кожаный мешок, простой насос, как он говорит, с чего бы ему рваться!

Мария дышит, как после бега,— так она волнуется, рассказывая про мужа, споря с ним, восхищаясь его педантизмом. Неосознанное возмущение рвется из груди, но она словно бы на лету окрашивает его восторженной улыбкой, пытаясь скрепить узами противоборствующие чувства, распирающие ее.

Она меня совсем запутала, и я даже не пытался уточнить, чем занимается в жизни Наварзин. В конце концов, какое мне до этого дело? Хотя с каждым ее рассказом о нем он вырастал в моих глазах, образ его укрупнялся, а тот флер таинственности, которым был окутан Наварзин, придавал каждому его слову многозначительную силу.

Однажды погода испортилась, навалилась вдруг такая буря с грозой, что слышно было сквозь грохот, как вскрикивали сломанные елки в лесу на опушке: «Крах! Крах!» А у меня в душе тоже этот крах, как будто тоже что-то ломается, рушится и грозит катастрофой. Твердил, помнится, себе в тот смутный, ветреный день осени, когда о грозе уже забывают люди, что главное в жизни — идти к одной цели, выбранной раз и навсегда, единственной и неизменной. Продолжал спор с Наварзиным, которого я не сумел убедить в открытом диалоге. Я ему, в общем-то, сказал, вызывая посостязаться в софистике:

— Убеждения можно менять, а цель никогда, — зная, что с этим не согласится Наварзин, и не ошибся.

— Вы путаете два несовместимых понятия. Цель в жизни — одно, а убеждения — другое.

— Нет, это вы не хотите понять меня, — возразил я ему. — С помощью убеждений я выбираю себе цель и стремлюсь к ней. Я убеждаю себя, что именно тем или иным путем я всего надежнее дойду до цели, то есть сделаю свою жизнь осмысленной и сумею чего-то достичь. Если же обстоятельства заставляют поменять убеждения, если вдруг оказывается, что путь выбран неверно и ведет в болото, то почему бы не остановиться и не пойти другим путем? Убеждения, что путь и цель выбраны правильно, оказались ложными. Зачем же мне верить слепо и лезть в болото? Я постараюсь переубедить себя и пойти к цели другим путем.

— То есть вы пойдете против своих убеждений. А это последнее дело.

— Почему же против, почему последнее дело? Мне до цели дойти надо! А если даже против своих убеждений, так что же? Я ведь не изменяю цели. Я убежден, что цель прекрасна и достигнуть ее надо во что бы то ни стало. Но чтобы дойти до нее, нужно уметь менять убеждения... Что-то я не знаю таких счастливицков, которым сразу бы удалось по ковровой дорожке добраться до цели. Каждый путь надо пройти до предельной возможности,

только тогда победишь. Угадать же короткий и единственный — это все из области фантастики.

— Нельзя идти против собственных убеждений,— сказал Наварзин и прищурился.

— А если они ложны? Убеждения всего лишь стимул к поиску кратчайшего пути к цели. Не более того!

— Это называется: цель любыми средствами,— говорил Наварзин, не слушая меня.— В понятие «любые средства» входят и недозволенные, а, значит, ваша цель, как бы прекрасна она ни была, не стоит того, чтобы к ней идти.

Мы с ним зашли так далеко в этом беспредметном споре, что у нас и дети уже появились окровавленные, через которых якобы шагал я, поменяв убеждения. И даже янтари!

— Янтари,— говорил я горячась,— в грязи попадают! Волны поднимают грязь, гниль всякую, а в ней янтари... Другие волны прозрачны — несут только песочек и камушки, а янтарей нет. В таком море хорошо купаться, но янтарей найти невозможно.

— Я на море езжу не за янтарями,— отвечал мне Наварзин.— Купаться.

— У каждого своя цель.

— Вот именно. У нас с вами сейчас никакой,— сказал он и безобразно зевнул, разинув розовую пасть с белыми мощными зубами.

Я его ненавидел в эти минуты, и мне с трудом удалось прекратить спор. Я собрался уходить и очень удивился, когда он, пожимая мне руку, сказал:

— Мы хорошо поговорили. Мне было приятно. Спасибо. Но люди несовершенны, каждый в одиночку не может ставить перед собой какой-либо цели. Да и что такое цель? Не могу ж я поставить перед собой цель стать Рафаэлем. А вы имеете в виду нечто в этом роде. Какие ошибочные пути могут быть у человека, если он поставил перед собой цель стать токарем или инженером? А вот убеждения менять, увы, нельзя. Иначе это уже не убеждения.

Мария вторила, успокаивая меня как маленького:

— Сейчас все проще. Сейчас все не так,— ласково напевала она.— Все проще стало.

Я уходил от них в тот вечер совершенно разбитым и одуроченным. Так, наверное, бывает с человеком, который несказанно поражен поэтическим видением, какое нахлынет вдруг на него на вечерней заре над текущей среди

ивняка золотой рекой, и покажется ему, будто он никем не признанный поэт, какого еще не знало человечество. Вся поэзия мира покажется ему в эти минуты детским лепетом. Так высоко верит, так пронзительно ощущает он небывалое величие зрелища, которое потрясло его душу, что всякое напоминание о том, кто он есть на самом деле, звучит для него в эти мгновения страшнейшим оскорблением. И он взрывается. И ничего нет на свете — ни заката, ни реки, ни поэзии. «Пойдите вы все от меня! — кричит он в пустоту вокруг. — Уйдите, я ненавижу вас всех!» Кого и за что он ненавидит, он и сам не знает, но смотрит зверем, потому что понял, что никогда не быть ему поэтом.

Что-то в этом роде испытывал и я, чувствуя спазмы в горле. А тут еще буря с грозой в неурочный час, треск деревьев, трагические их вскрики, бьющие по нервам.

Я только теперь понимаю абсурдность своего положения и горько смеюсь над собой, лишь вспомню, как ненавидел я человека, перед которым был виноват. Вина моя была непростительная, мне бы на глаза ему не попадаться, бога молить о прощении, а я, поди ж ты, ненавидел Наварзина за его же доброту ко мне.

Впрочем, и то надо сказать, что не все было так просто, как я теперь рассуждаю. И не оправдания ищу я теперь, а лишь причину моей лютой ненависти к этому холодному человеку. Передо мной была думающая система, лишенная всяких эмоций и нравственных принципов.

В числе других я был приглашен однажды весною, в мае, кажется, месяце на празднование пятилетия со дня наварзинской свадьбы. Мария лично вручила мне праздничную открытку, на обложке которой была изображена тисненая гроздь цветущей сирени. «Мы имеем честь пригласить Вас...» — и так далее и тому подобное, что обычно пишут в таких случаях.

— Мне-то прилично ли появляться в этот день? — спросил я у Марии. — Не будет ли это слишком? Вряд ли я сумею...

— А в чем дело, Васенька? — удивленно откликнулась она.

И я увидел, что она не понимает и не разделяет моих сомнений.

— Мы тебя любим, и ты будешь желанным гостем.

— Да, но ведь... я должен буду вас поздравить... И его тоже... А с чем?

— Только ради бога никаких подарков! — воскликнула

Мария, совершенно не понимая меня.— Все эти подарки — предрассудки. Купи цветов! Сейчас время цветов, это тебе не будет дорого стоить.

— Я не о подарке. Прости, но... При чем тут цветы?

— Ах, ты имеешь в виду... Да? — наконец-то догадалась Мария.— Жизнь, Васенька! Не делай себя лучше, чем ты есть... Не делай этого, пожалуйста...

Она посмотрела на меня глазами, полными слез, которыми мгновенно посеребрились серые радужки, и страдальческим шепотом спросила, едва владея дрожащей губой:

— А ты обо мне подумал?

Я долго вымаливал у нее прощения, она плакала, обвиняла меня в эгоизме, а я ей клялся, что никогда она больше не услышит от меня ничего подобного, говорил ей, что я негодяй, и в конце концов сам убедил себя в этом. Но вот что странно! Я негодяем себя чувствовал лишь потому, что усомнился — нужно ли мне идти к ним на годовщину, а вовсе не потому, что согласился пойти и обещал купить огромный букет цветов.

Да, конечно, это была середина мая, и я невольно подумал тогда, что раньше в мае свадьбы не игрались: маяться всю жизнь. А цветов на рынке было очень много: продавцы протягивали их мне, когда я шел между цветочными рядами. Я готов был купить все цветы, какие тут были, и все их бросить к ногам Марии. Истратил почти все деньги, букет у меня получился огромный, он шуршал прозрачной пленкой, разваливался в руках на букетики, пока я не освободил цветы от синтетической упаковки. Тут были и алые розы, и нарциссы, и тюльпаны, и сирень — все, что мне нравилось, и я, никогда ранее не державший такой букет, боялся его измять, изломать, чувствовал себя очень смущенным на улице, потому что все люди смотрели на меня и, наверное, догадывались, что раньше я не носил цветов: я нес их, как несут ребенка.

Для всех моих цветов в доме Наварзиных не нашлось достаточно места, я своим подарком вызвал переполох — сирень пришлось пока оставить в ванне. Ветви ее с тяжелыми гроздьями невесомо плавали в зеленоватой воде и казались мне самыми красивыми ветвями сирени, какие я когда-либо видел прежде, хотя в моей деревне, куда я не успел съездить, она цвела не хуже.

Мария совсем сошла с ума! Когда мы остались в ванной комнате одни, она обняла меня и поцеловала в губы. С этого момента от меня пахло французскими ее духами,

запах этот мучил меня, как будто я был клеймен неистребимым ароматом и каждый мог теперь догадаться о происхождении тончайшего благоухания, исходившего от моей одежды.

В доме собрались, как я понимал, главным образом друзья Марии или, во всяком случае, люди, которые знали Марию лучше, чем ее мужа. Наварзин внимательно приглядывался к каждому из них, вежливо отвечал или спрашивал, и по всему было видно, что с некоторыми из них он познакомился только сегодня. Хотя понять этого человека мне так и не удалось до конца: вполне возможно, что я и ошибался и все его гости были давними друзьями, любили его и, зная манеру поведения своего друга, уважали эту особенность Наварзина. Всем им было лет по двадцать пять, и выглядели они молодцами: я откровенно любовался ими, словно бы своими младшими братьями.

В сумерках, когда в комнате включили все светильники и по квартире поплыл запах кофе, гости возбужденно разговорились, и я с завистью вслушивался в неведомые мне радости незнакомцев, двое из которых, как я понимал, с жаром обсуждали своего бывшего, видимо, руководителя.

— Помнишь, а? — азартно спрашивал белокурый красавец с полупрозрачными серебриющимися усами и такой же бородкой. — Если электронный блок собран и сразу работает, значит, он неправильно рассчитан и неправильно собран. Во логика!

Засмеялись оба, с полуслова понимая друг друга и еще что-то такое, что для меня навсегда останется тайной. Другой умиротворенно говорил, поглядывая выпученной сиңевой глаз на своего друга:

— А ему больших знаний и не требовалось. Ну что он там по образованию... телефонщик. А когда уходил, я плакал. Слезы лил. Буквально. Как он хорошо знал людей и понимал их работу! Вот я, например, разработчик. Он что? Он понимал: подгонять меня нельзя. Понимал, что можно, например, сказать: ты медленно копаешь, пота мало... А как, например, скажешь: ты медленно думаешь? Он это хорошо понимал.

— Человек был! Я тоже очень жалею.

— Такие люди все и двигают. И вот смотри: ушел, а за собой никого не потянул. А то ведь как: предприятие работает, коллектив сложился, все хорошо. Уходит руководитель, у него, конечно, вакансии на новом месте, он и тянет туда своих, и наплевать ему на старый кол-

лектив — рушится, и черт с ним. А этот нет. Ушел один. Красиво!

— Умница человек. Его все у нас любили. А теперь отчетов — марафон!

Я слушал их, завидовал, как можно завидовать счастливым людям, и не уставал любоваться красотой одного и некрасивой породистостью другого, понимая себя сиволапым рядом с этими аристократами, интеллект которых протянулся своими щупальцами в какую-то такую сторону человеческой деятельности, какая мне вовсе неизвестна и даже не снится.

Струющаяся женщина с вычурной прической, которая черным крылом закрывала один глаз, отчего смотрело это создание на мир как бы боком, как бы через монокль, села на подлокотник кресла рядом с белокурым, попросила «хорошенькую сигарету» и, откинувшись, заложила ногу за ногу.

— У тебя есть, я знаю,— сказала она, протягивая ломкие пальцы худой руки.

— Ты разве куришь? Что-то не замечал.

— А что? Длинная нога, длинная рука, длинная сигарета... Иногда.

На меня они, увы, не обращали никакого внимания, а мне хотелось, чтобы эти самонадеянные люди узнали, как нравятся мне они и как мне хочется быть с ними. Одна лишь Мария одаривала меня иногда долгими, нежными взглядами, подбадривая и выводя из душевного оцепенения, в каком я невольно пребывал, чувствуя себя в этот праздничный день Наварзиных чуть ли не лазутчиком в стане врагов: только и делал, что притворялся.

Но именно в этот день я и о Марии задумался, не понимая ее роли во всей той праздничной суете, какая царила в доме. Ни музыки, ни танцев, ни пения — ничего этого, конечно, не было у Наварзиных, но все равно, однако, чувствовалась та самая суета, которая кружит людям головы, томит душу неисполненными желаниями, спирает сердце радостным ожиданием чуда, как это бывает только в юные годы.

Гости — а их было человек десять — говорили о делах, а я, ничего почти не понимая, любовался неясным, но явным их аристократизмом, заметным даже и в том, как и с каким выражением, с какой интонацией эти люди говорили о делах, бравирова свои знаниями. На моих глазах происходил словесный турнир современных рыцарей, оружие ко-

торых — блистательный ум, профессиональная выучка и обостренное внимание друг к другу. Удары их были направлены в ту область общественного нашего устройства, которая своим бюрократическим цинизмом тормозила науку и прогресс вообще, грозила бедой. И удары эти были беспощадны, ибо наносили их остроумные, насмешливые, знающие люди.

Я был радостно возбужден вместе с ними, как будто тоже участвовал в разоблачении косности бюрократов, прикрывающихся расхожей фразеологией общих мест и общих слов... И казалось нам всем, что мы ворвались в блиндажи этих крепко и прочно засевших на перекрестках науки и культуры демагогов и в рукопашной схватке уже одержали верх над ними, освободили пути от нагромождений, очистили завалы и теперь все вместе празднуем свою победу. Все мы очень остро чувствовали свой верх, свою справедливую силу над силами мрака, пока нас всех не отрезвил ледяной голос Наварзина.

Он прозвучал в нестройном хоре голосов как удар грома, заставив всех разом замолчать.

— Курица запела петухом,— говорил он механическим голосом.— Первый и последний раз.

Он стоял в дверях, скрестив руки на груди, которые безукоризненно белели на пурпурно-красной рубашке, сшитой, видимо, на заказ, потому что я, например, нигде не видел таких в продаже. Лицо его, более бледное, чем обычно, оставалось бесстрастным, и только глаза приобрели вдруг сизый, дикий цвет.

Никто не мог понять, к кому именно обращался этот большой и очень сильный человек, хотя каждый невольно подумал о себе, потому что слова его прозвучали так, будто он хотел выразить свое презрение к нашей радостной болтовне, будто он со своих высот презирал нас за то, что мы столь страстно ведем бой с ничтожествами, тратя порох не по делу.

— Ей рубят голову,— хрипло добавил он и медленно повел головой, точно его мучила нестерпимая боль и он боялся резких движений, приносящих страдания.

У меня все похолодело внутри от предчувствия страшной беды: мне почудилось, что взгляд его, гасящий радость, затмил вдруг и во мне весь свет, смутил мой разум и лишил воли. Я сидел без движения, точно парализованный, и с ужасом ждал своей участи.

Мария поднялась и рыжей тенью прошла через всю

комнату, теребя пальцами жемчужное ожерелье, которое она, помнится, называла маргаритовым. Опустив голову, она вышла... Я заметил испуг в ее глазах и ненависть маленького зверька, покоровшегося силе. Не помня себя, с перехваченным горлом я гаркнул вдруг с небывалой злобой, захлестнувшей меня:

— На что вы намекаете?! Вы... как вас по бабушке?

Наварзин с неожиданным удивлением взглянул на меня, пожал плечами и спокойно ответил, поражая своим хладнокровием и назидательным тоном, с каким он обратился ко мне:

— Я никогда ни на что не намекаю. Намек — удел интригана. Я не пользуюсь этим. А зовут меня Станиславом Александровичем.

Я смешался, мой запал бесследно исчез, как если бы мне щелкнули по носу и уличили в непристойности.

— За что вы ее так? — сказал я с досадой тем жалким голосом, каким обычно обезоруженные ищут примирения с сильными.

— Что с вами? — строго спросил Наварзин. — О чем это вы?

Я огляделся, ища поддержки у гостей, но увидел, что каждый из них, глядя на меня с укоризной, угрюмо возмущен моим поведением — люди хмурились, а некоторые даже покачивали головой в знак осуждения.

Наварзин уселся уже в кресло. Лиловые листья, ниспадающие из кашпо, отбрасывали сиреневую тень на его щеку. Пурпур его рубашки, на которую падал луч светильника, горел ярким огнем, окрашивая отблеском поблескивающую поверхность фотообоев — тень на лесном пейзаже, на корявом стволе дуба тоже была красной. Резкие, темные тени лежали на его лице, контрастируя с освещенной поверхностью лба. Что-то неестественное было во всей этой картине, словно Наварзин превратился в принадлежность фотообоев, был, так сказать, передним планом, был задуман художником именно в этой позе и в такой яркой одежде, с такими глубокими и мрачными тенями на лице.

Я и тогда отчетливо сознавал, что мне оставалось только одно: встать и постараться с достоинством уйти. Но страшная обида пригвоздила меня к стулу: я не мог найти в себе сил подняться. Жажда мести затмила мой рассудок, и я остался.

Мария вошла в комнату и, лучезарно улыбаясь, словно

душа ее ликовала, развела руками и с детской наивностью, с милой застенчивостью сказала:

— Что же вы, господа, приуныли? Сейчас будет готов свежий чай! В этом нет, конечно, ничего особенно интересного,— продолжала она, одарив и меня своей улыбкой,— но вряд ли кто-нибудь из вас знает, откуда произошло Кунцево. А я знаю.

— Откуда же? — спросил Наварзин с тайной иронией.

В тот миг я понял, что он считает Марию очень глупой женщиной. «Негодяй!» — подумал я с отвращением.

Она вся повернулась к нему, будто встав на цыпочки, и с полупоклоном ответила:

— Раньше было село, а в селе жили птицеловы... Синицу раньше называли кунцей... Кунца! — сказала она взволнованно и, глядя на меня, засмеялась. Смех ее превратился в весеннюю трель синицы, или кунцы. Все во мне ожило, я видел только Марию, слышал только ее голос, переливы ее удивительного, чистого голоса! — Отсюда и Кунцево,— услышал я, не сводя с нее глаз, как будто ища спасения в ней.— Вот видите, как интересно! А вы этого не знали...— Она опять взглянула на Наварзина и с ласковым подбострастием тихо сказала ему:— Ты тоже.

На ней в тот вечер была легкая и просторная белая блузка из шелковой ткани — белый мешок с широким, от плеча до плеча, вырезом для шеи и с двумя проймами для рук. На ногах такие же шелковые шаровары, стянутые на щиколотках. Одежда не украшала ее, она в ней казалась бесформенной куклой. Это, видимо, понимали все и в том числе Наварзин.

Один только я, наверное, понимая это, с еще большей нежностью наслаждался смешной неуклюжестью поглупевшей как будто Марии, наряд которой никогда не имел для меня никакого значения. Более того — чем хуже она выглядела, чем измученнее было ее лицо, тем сильнее она нравилась мне, словно бы в лучшие свои минуты, когда ее красотой мог любоваться всякий, она отдалялась от меня, между нами возникала стена отчуждения. Я как бы чувствовал себя недостойным обладать такой красотой, предназначенной для молодых красавцев, и ждал ее болезненной усталости, ее плохого настроения и отчаяния, чтобы вернуть ее к жизни в своих объятиях.

Особенно остро я понял это свое чувство в тот вечер или, вернее, в тот миг, когда она прошла через всю ком-

нату, теребя маргаритовое ожерелье. Меня поразила ее испуг! Ее незащищенность! Подобострастный тон ее голоса, когда она сказала Наварзину: «Ты тоже», — на что он только хмыкнул презрительно и даже не взглянул на нее.

Ослиное упрямство, которое покинуло меня вместе с юностью, вновь поселилось во мне. С неожиданной уверенностью я вдруг понял, что имею право и обязан оставаться в доме у Наварзиных, чтобы отомстить всем, кто находился в нем, то есть самому Наварзину и его гостям, посмевающим осудить меня и выразить неудовольствие, когда я одернул нахала. Мое возмущение казалось мне благородным, а реакция гостей — презренным и низким равнодушием, льстивым компромиссом, каким отличаются люди, младенческие годы которых прошли в детских садах, а не под надзором добрых и внимательных бабушек; меня бесила их всеядность.

Честь моя была поставлена на карту: я не имел права уходить из дома неотомщенным, — это я твердо знал и решил действовать. А тот испуг и смятение в глазах Марии, которые я с болью увидел, когда она проходила мимо, подогревали во мне, кипятили жажду мести. Бог знает, какие грехи валил я на головы ничего не подозревающих гостей! Все они казались мне бездушными машинами, в памяти которых зачем-то хранится множество знаний, практически не нужных человеку в повседневной жизни. Я, например, не сомневался, что сам Наварзин или его гости с уверенностью ответили бы на мой вопрос, какую дань брал хан Батый с Древней Руси, назвав такие подробности, о которых не помнят профессиональные историки; или без запинки назвали бы всех знаменитых исполнителей рок-музыки, спроси я у них об этом. Я не сомневался, что знания их не имеют границ, что тренированный мозг, этот хорошо отлаженный инструмент добычи, способен вместить еще уйму новых знаний, не потеснив при этом старых, записать их со скрупулезностью машины на таинственную пленку, которую в любой момент каждый из этих ученых людей может прокрутить в своем сознании, чтобы выудить из нее и обработать в мгновение ока ту информацию, которая им потребуется. Способности эти казались мне в тот вечер преступными, и я, невежда, искал в возмущенном своем разуме пример, который мог бы неоспоримо доказать преступность накопления знаний, уже приведших человечество на грань ядерной, химической или биологической катастрофы. Мне хотелось крикнуть все им в лицо,

что народы не хотят, не могут кормить своих ученых и свою науку кровью будущих поколений, не могут без конца вить веревку, в петле которой гибнет будущий народ, хватит!

И вдруг мне показалось, что я нашел, придумал изощренную месть. Сердце мое заколотилось с перебоями, мне стало жарко от волнения, я почувствовал себя охотником в засаде, на которого шел черный на белом снегу грозный и свирепый вепрь. Жизнь этого вепря была теперь в моих руках — я не должен был промахнуться. Я выждал, когда кабан повернулся ко мне левым боком, прицелился под лопатку и, затаив дыхание...

Сказал дрожащим от волнения голосом, когда поймал на себе равнодушный взгляд Наварзина:

— Слушаю вас и поражаюсь... Что происходит? Вы, конечно, помните Метерлинка?

Мне почудилось вдруг, что в глазах Наварзина, которые он уставил на меня, засуетились непонятные мне, захлестывающие друг друга красные, раскаленные нити цифр, выражавших как бы крайнее удивление. Может быть, он очень устал от гостей и не чаял, когда мы все поднимемся и уйдем, и оттого глаза его казались красными, но только в тот миг мне виделись проклятые эти цифры, сменяющие в беспорядочной скорости одна другую и что-то непонятное говорящие мне.

— А что же происходит? — спросил Наварзин, обращая на меня внимание гостей.— При чем тут Метерлинок?

— У него в сочинениях есть одно очень странное эссе, — отвечал я, подкрадываясь к главному.— Ничего подобного я не рассчитывал найти у автора «Синей птицы». Он был одним из первых автолюбителей в мире и очень хорошо изучил мотор и полюбил его. Я это узнал потом, когда уже прочел эссе... Или оду двигателю внутреннего сгорания. Но вот что я подумал сейчас! Это было странное признание в любви к мотору. Он так любил его, что не мог не очеловечивать. Карбюратор сравнивал с сердцем. Я уже не помню всего, но у мотора он обнаружил все органы человеческого тела. Он очеловечил машину! Он был не только писателем, он был ученым, его работы о пчелах или о цветах... Помните? «Разум цветов». Теперь происходит все наоборот. Мы все сошли с ума! Мы стали омашинаживать человека! Это преступно. Мы преступники.

Наварзин не сводил с меня немигающих усталых глаз, в которых, убей меня бог, я видел в те мгновения торопливо

бегущие цифры, без всякой последовательности сменяющие друг дружку.

— Мы все преступники,— повторил я с заемным пафосом.— Будущий народ не простит нам этого. Ум человеку дан для созерцательной деятельности, а мы его используем... вот именно — используем! Как инструмент добычи, как изощенный механизм для добычи все новой пользы и только пользы. А польза эта оборачивается во вред. Зачем все это? Мы нарушили гармонию добычи и отдачи. Мозг — это инструмент добычи, а душа — отдачи. Мы преступили этот закон! Нам ничего не остается, как только омашинивать человека. Ну да, конечно! Математическая модель человека, его кровеносной системы... А что дальше? Мы все превратились в метеопатов, потому что слушаем прогнозы синоптиков, а они говорят нам: во второй половине дня давление будет резко падать... Зачем мне это знать? Я жду этого резкого падения, и даже если синоптик ошибся, сосуды мои, вся моя нервная или там кровеносная система поднимут мне давление, потому что я его ждал, мне предсказали его ученые! На кой черт?! Я превращаюсь в машину, хочу я того или нет. Она срабатывает помимо моей воли. Именно во второй половине дня она реагирует на резкое падение атмосферного давления, то есть даже в том случае, если давление атмосферы остается в норме. Нет, дорогие мои! Наука зашла слишком далеко. Нельзя омашинивать человека! Сердце — кожаный мешок, меха, качающие кровь, насос... И не смотрите на меня уничтожающе. Вас много! Но попробуйте оспорить мою правду. Вас много, вы как мелкие суденышки в гавани, а я как лайнер, прижатый к пирсу,— говорил я, увлекаясь настолько, что уже терял ощущение реальности.— Вы, конечно, маневреннее меня в тесной гавани! Можете продырявить меня — я в ваших руках... Но это в гавани! А я теперь вышел в открытое море — вы мелюзга, на которую я не обращаю даже внимания, и не попадайтесь на моем пути — раздавлю в щепки.

Я был так возбужден, душа моя так ликовала, торжествуя победу, что нервный, дробный смех вырвался из моей груди, и я, захлебываясь им, жалел уже по доброте душевной обескураженных своих противников, которые явно не ожидали от меня такого спича. Все они удивленно переглядывались и, как мне показалось, чувствовали себя и в самом деле мелкими, тихходными суденышками, скорлупками рядом с высоченными бортами океанского лайнера, который,

набрав ход, резал носом могучую волну. Мне даже стыдно было перед всеми этими умными людьми, которых я засунул за пояс с легкостью необыкновенной; мне даже хотелось в смущении добавить что-нибудь такое, что в какой-то мере ослабило бы сокрушительный мой удар, сказать хотелось нечто приятное, подбодрить их, чтобы они не очень-то уж огорчались и не смотрели на свою деятельность с этого момента как на сплошное вредительство.

Теперь мне и вспомнить стыдно дурацкое свое торжество, а тогда я хотел, как самый мелкий себялюбец, гордо подняться и, поклонившись, выйти одиноким океанским лайнером в открытое море, то есть хлопнуть дверью.

По натуре своей я не игрок и никогда не стремился к победе над человеком — зачем она мне? Оттого только и не ушел, что хотел как-то умалить свое превосходство, ослабить впечатление от невольной победы, которую я так легко одержал над Наварзиным. Мне даже жалко его стало. Зачем уж так-то жестоко?! Я сделал серьезное лицо и, откашливаясь, добродушно сказал примирительным тоном:

— Это очень серьезно все... Наука, конечно...

— Вы успокоились? — прервал меня Наварзин с бесцеремонностью хладнокровного наблюдателя.

Мария, на которую я взглянул, сидела потупившись, и я заметил розовые уши, вернее, одно ярко-розовое ухо, торчавшее из-под палевых волос. Она не смотрела на меня и, кажется, была очень смущена. Как, впрочем, и гости, едва сдерживающие улыбки и как бы дурачившиеся в странных, ни на что не похожих ужимках. Они, я заметил, смущенно переглядывались и были явно обескуражены происшедшим.

Наварзин опять спросил меня, на этот раз грубо и резко:

— Вы успокоились, господин лайнер? Вернулись на землю? Пришвартовались?

Я подумал, что чертовщина эта чудится мне: голос Наварзина, ужимки насмешливых, смущенных гостей — вся эта нереальная, фантастическая картина встала передо мною так неожиданно, что затуманенный мой мозг, празднующий победу, не скоро сумел оценить обстановку. «Каков!» — думал я и ошеломленно глядел на своего противника, который, кажется, собирался напасть на меня. Или я промахнулся? И тридцать граммов свинца, пущенные под левую лопатку, только царапнули по коже? Невозможно! Но что же он делает, наглец? Откуда такой тон?

— Не понял,— сказал я, усугубив и без того смешное свое положение.

Наварзин, откинувшись на спинку кресла, презрительно смотрел на меня, алая рубашкой, полыхавшей в свете голубоватого от сигаретного дыма шевелящегося луча. Глаза его казались мне полуприкрытыми, сонными, лишенными какого-либо признака интеллекта. «Доколе же я буду с вами, ничтожные человеки?» — как бы спрашивал он, со скукой разглядывая меня и не находя во мне ничего достойного внимания.

— Вы человек правополушарный,— сказал он, заставляя всех прислушаться.— Балуете себя сердечным лепетом, наслаждаетесь им. Это вы, наверное, сказали... Впрочем, вам все равно не понять. Не дано. Что вы там про Метерлинка? Какой еще Метерлинк?! Ученый... Сейчас с воровством надо кончать, а вы — Метерлинк! С казнокрадством. Люди привыкли, сжились с пороком. Попробуй перевоспитаешь... Слово-то какое нескладное. Пере... Как будто он воспитан был, а его теперь надо перевоспитывать. Смешно! Переделать надо, а он еще не сделан. Переделать несделанное... Да. Зарылись в глупостях. Человек, человек! Ставят сейчас на заправочных станциях автоматы и правильно делают: автомат не приучен воровать. Автоматы при общественном распределении ценностей незаменимы! Коррупция, по-старому — казнокрадство, будет изжита полностью, если человек доверится автомату, умной машине. А что такое сердце, в самом деле? Кожаный мешок, да! Машина. А знаете ли вы, уважаемый поэт...

— Какой же я поэт?! — воскликнул я с негодованием. Но он не слушал меня.— Вы хотите обидеть!

— Знаете ли вы, дорогой мой стихотворец, что такое рибосома? Крохотная машина. Не подвергалась за миллионы лет какой бы то не было эволюции. Она сделана! Кто ее сделал? Не знаю. Но сделал! Нужно было абстрагироваться, подумать и сделать эту машинку. Сначала рассчитать, а потом сделать и запустить в массовое производство. Сине-зеленые водоросли в каменных отложениях, то есть окаменевшие эти водоросли древнейшей геологической эпохи состоят, увы, дорогой мой поэт, точно из таких же рибосом, что и мы с вами. Или вот эта ветка зелени,— кивнул он на лиловые листики растения,— тоже состоит из таких же точно рибосом, что и вы со всеми своими нелепостями. Тончайшая, мудрейшая машина, а вы хотите, чтобы я ее очеловечил... А возьмите клетку! Да, конечно,

интимные превращения происходят в этом черном пока еще ящике, человек не в силах еще до конца разгадать все ее процессы... Тоже машина! Высочайшего класса! Как я ее очеловечу? С ума сошли не мы, а вы, дорогой мой. Вы смотрите на мир через окна, на рамах которых натянуты бычьи пузыри. Вы еще на стадии дикости... Человек с его ничтожными эмоциями, со всеми его гиперболами, аллегориями,— такой человек погубит мир, а спасти может только машина. Об этом надо думать сейчас, а не болтать плоскости, от которых болит живот. Ваше невежество бесит! — говорил Наварзин, распаяясь, и, как сказал бы старый мой сосед, выкладывал такие ватрушки, что у меня все переворачивалось от возмущения.— Сейчас каждый третьеклассник умнее и дальновиднее вас. А именно этим ребятам, хотите вы того или нет, принадлежит будущее, именно они будущий народ, они биологически перспективны, а не вы... Ваши ностальгические чувства и все эти рассуждения об очеловечивании машины — бред, песок в буксах, мракобесие и черт знает какой грех перед будущим народом. Он свят, наш будущий народ, во имя его можно и голову положить... Да, я омашинаиваю человека, если вы уж так хотите выразиться. И делаю это с сознанием долга и ответственности за завтрашний день. Ваш Метерлинк...

— Такой же ваш, как и мой! — вскричал я.

— Ваш Метерлинк слыхом не слыхивал о такой массе народа на планете! Ум его не в силах был представить пятнадцатимиллионный город! Ему неизбежно надо было... Надо! Слышите? Надо было очеловечить машину. Он умнее в тысячу раз, чем вы думаете! Конечно! Он хотел, вольно или невольно, приучить человека к ощущению машины как еще одного рецептора нашего мозга. Он чувствовал неизбежность этого. А вы говорите — очеловечивал! Он вынужден был прибегнуть к такой форме пропаганды машины. Люди в массе своей думали и думают до сих пор, что машина — развлечение, как птичка в клетке, поющая вам песенку. Вы о птичке тоже вынуждены думать, что она счастлива в клетке. Верно? Иначе вы изверг, если будете знать истинное ее положение. Так и машину в ту пору держали в клетке, как развлечение, старались думать о ней, как о покоренном великане, которому приятно быть помощником человека. Люди и подумать не могли, что наступит время, когда сам человек придет к машине на поклон. Время это наступило! Вот истинное-то положение! Мы теперь про-

сим машину ответить на вопросы, решать которые сами уже не в силах. Теперь мы с вами птички в клетке, да! Без машины, которая кормит нас знаниями, мы уже и шага сделать не можем! Вот истинное положение дел! Пожалуйста, очеловечивайте машину, но учтите: она накопит эмоции, станет капризной и неуправляемой, как человек, и время на земле остановится, все мы погибнем. А я не хочу этого. Я лучше возвышусь до уровня машины. В философском, конечно, значении. Но никогда не унижусь до очеловечивания ее, до превращения себя в придаток машины. Кстати, поменьше эмоций! Это вредно в наш век. Машина, какая она есть теперь, в руках эмоционального человека может тоже стать убийцей. Массовый психоз — это эмоции, овладевшие толпой. Страшнее нет явления на земле. А вот машина этому не подвержена. Каждая машина в некотором смысле личность, независимая от себе подобной машины. Они мирно уживаются друг с другом и совершают одно великое дело освобождения человека. Машины свободны, а мы учимся у них этой свободе и независимости. Разве плохо? Разве мир наш не исстрадался от неволи? Разве человек не устал, не истрепал себе нервы от многоступенчатой зависимости? Разве плохо, если у каждого человека, по сути ребенка, будет дядька, свой мудрый слуга, который предостережет его от необдуманного поступка? А вы заметили, кстати?..

— Тоска по каннибализму! Вот что такое, в философском тоже смысле, ваша машина! Сам не ем человечье мясо, пусть ест машина. Сколько гибнет в мире от машины! Вам мало? Война не уносила раньше столько людей. А сколько еще погибнет?!

— Чепуха! А заметили вы... Кстати, а что это вы про каннибализм? Кровопускание имеете в виду? Пока человек подвержен своим эмоциям, будет литься кровь. Это неизбежность. С этим приходится считаться. Гибнут беспомощные люди, у которых не мозг в голове, а манная каша. Они доверяют сердцу, а не разуму. Перебегу, не перебегу; успею, не успею — успею! Тормоза, если вы имеете в виду автомобиль, не для того созданы, чтобы перед бегущим человеком останавливать машину. Не в этом их главное назначение. Они нужны, чтобы остановить машину перед светофором или перекрестком. Идет естественный отбор наиболее приспособленных к современному темпу людей. Ни больше ни меньше. В этом отборе участвует машина. Самая пока примитивная, с двигателем внутреннего сго-

рания, которая сжигает много кислорода и отравляет воздух вредными химическими элементами. Знаете, сколько сжигает машина кислорода за тысячу километров пробега? Ровно столько, сколько надо для целой жизни одного человека. Но ведь я не об этих машинах говорю! Дни ее сочтены. Нас ждет термоядерный синтез. Что же прикажете делать с дураками, которые, увы, и за рулем пока сидят и по мостовым бегают? Они самоуничтожаются, оставляют жизненное пространство для более приспособленных. Страшного в этом ничего нет. Канныализм? Нет. Это вы зовете к каннибализму, очеловечивая машину. Кое-кто из ученых тоже мечтает создать машину, обладающую человеческими эмоциями. Это гибельный путь. Машина должна быть кристально чистой, объективно справедливой и, если хотите, должна любить и уважать человека, своего создателя, то есть не причинять ему никакого зла. Я за такую машину. Главная ее задача — ни в чем не походить на ленивого, субъективного в своих оценках, лицемерного и циничного человека. Для машины нет понятий: добро и зло. И это очень хорошо! Именно в этом спасение человечества, если оно будет стремиться брать пример с такой машины. Машина не умеет и никогда не научится улыбаться одному и хмуриться другому. Но при этом она должна в неприкосновенности оберегать все человеческие, духовные ценности, чтобы мерзавец или какой-нибудь мизантроп не мог воспользоваться ее силой во вред человечеству. Современная машина, а особенно машина будущего — это обширнейший и глубочайший ум, оставляющий, а вернее, освобождающий человеку место в этом мире для реализации, материализации своего нравственного «хочу». Мечта всех мудрецов прийти к материализации этого самого «хочу»! Пока что мы с вами живем на уровне понятия «надо». Субъективизм этого «надо» порой ведет к гибели. «Хочу», наполненное сознательной нравственностью, откроет перед человеком небывалые возможности реализации своих способностей. И только моя машина, та, о которой я говорю, способна дать эту возможность человеку. А давайте-ка отвлечемся с вами. Перетрясем все мифы! Кто, по-вашему, если обратиться к христианству, кто, по-вашему, был Христос? Человек, который никогда не улыбался. Во всяком случае, нигде не засвидетельствована его улыбка. Это был никто иной, как машинизированный, омашиненный, если хотите, человек, отрицавший все слабости человеческого рода. Я думал об этом! Он действительно никогда не улы-

бался, ему не свойственна была эта слабость, потому что он попал в мир слабых существ, гибнущих от собственных эмоций. Робот, реализованный на биологических материалах, он не мог испытывать, например, сыновнего или братского чувства. Для него не существовало — мать или брата; только идея. Он их даже не подпускал к себе... Единотробие — пустой для него звук! Фикция! Заблуждение человечества. Эти понятия, брат или мать, он переносил на своих сподвижников, то есть на тех, кто шел за ним в попытке разрушить эмоциональную паутину, в которой застряло человечество и обессилело в тщетных попытках вырваться на свободу. Может быть, это вообще была высочайшего уровня машина, которая способна была биотоками, пока не известными науке, выгнать, например, бесов из человека, то есть излечить его от умственного мрака, от того же каннибализма, когда человек пожирает себя самого. Эта машина, призывавшая к любви, в общем-то ненавидела род человеческий, видела в людях только зло, заключенное в них неразумной Природой. Себя эта машина в образе человека ставила выше всех и правильно делала, черт побери! Даже ближайших своих учеников уличала в человеческих слабостях, в подлости, в предательстве. Помните про петуха? Прежде чем пропоет петух, трижды отречешься... Отрекся любимый ученик от своего учителя! Потому что был несовершенным человеком и не мог, разумеется, состязаться с машиной! Понтий Пилат спрашивает: «Что есть истина?» Это он у машины! Чудак! А в ответ — молчание. Почему бы, вы думали? А потому, что он не истине пришел учить людей. Истина — понятие субъективное, лишенное научных основ. Люди бились над разрешением этой задачи: что есть истина. А истина только лишь разъединяла их, уводила от любви друг к другу, ибо истина — это то, что есть, простая наличность. В любом образе — истина. Истина даже в том, что у меня, например, очень мало денег. Вот и промолчала машина. Человек бы ответил, а машина — нет. Она даже не поняла, наверное, о чем ее спрашивал Пилат, этот трижды человек, обремененный властью, то есть осуществленной мечтой всякого человека. Власть — удел человека. И вообще животного. Миф о Христе — это воспоминание о машине, созданной, может быть, — что вряд ли, — вселенской цивилизацией на биологической основе. Мы еще только подходим к эпохе великих биологических открытий, к веку биологии, мы переживаем век физики. Нильс Бор говорил в своих лекциях,

что он видит будущий век веком биологии и что физические законы уступят место законам, еще не известным человечеству, о которых люди еще только догадываются, только нащупывают пути к ним. А та цивилизация, которая способна была запустить к нам физиологическую машину в образе человека, была в расцвете своих сил. Жизнеобеспечение этой машины было дублировано. Может быть, оно было многократное. Отсюда идея воскрешения, то есть восстановления, или, вернее, самовосстановления в случае аварии или поломки. Но скорее всего, ничего этого не было никогда... Никакой машины! Люди, измученные, уставшие от распрей, уходили от самих себя в своей фантазии, от своих необузданных страстей, которые грозили гибелью, и вот создали идеал для поклонения. Идеал же этот — машина. Высокой организации машина, вознесенная над смертными, не достойными сидеть по правую или по левую сторону от совершенной этой мечты, которая в самом деле способна спасти мир, если ей поклоняться...

Я забыл о своей неприязни к Наварзину и внимательно слушал его. Говорил он гудящим голосом, так, как говорят в телефонную трубку, не видя собеседника, — взгляд его был направлен в пустоту и ничего не выражал в эти напряженные минуты, кроме умственного усилия, которое проявлялось живыми складками на коже лба: поблескивающая в луче кожа то морщилась над переносицей, то разглаживалась, придавая лбу младенческую непорочность и чистоту. Он продолжал после короткой паузы:

— Только прошу не думать, что, говоря о машине, я имею в виду автомобиль или самолет. Я говорю о принципах подхода к жизни человечества, вкладываю определенную идею в понятие «машина», как и в понятие «человек». История подошла к обрыву. Человек своим интеллектом установил время, открыл, можно сказать, время, которого до человеческой цивилизации не было, не могло быть — все было бессрочно. Пришел человек, а вместе с ним появилось время. Он как бы с самого начала своего существования задумался: надолго ли он на Земле? Словно бы предчувствовал или знал о начале и конце. Установил сроки жизни на земле и тем самым привязал себя к кресту, который несет до сих пор на лобное место. Человек теперь на краю гибели. Надежды на воскрешение нет ни у кого. Во имя чего гибнуть? Жизнеобеспечение равняется нулю. Во имя же чего гибнуть? Что может спасти человечество? Кто? Машина! Неудавшиеся актеры, поэты, художники, придя к

власти, становятся дьявольски опасными, они загоняют машину в угол, руководствуются эмоциями, которые у них гипертрофированы, как у всякой художественной личности. Пока не было термояда, человечество не находилось в такой опасности, как теперь. Теперь это страшно! Я потому и говорю о спасительной миссии машины или, как вы говорите, о машинивании человечества, и человека в частности,— это может еще спасти мир. Я думал об этом. Любой политик должен в первую очередь обладать качествами машины, чтобы остановить процесс гибели цивилизации.

— А что это такое, по-вашему,— цивилизация?— вставлял я свои вопросы, но он не слушал их, занятый собой и своими мыслями.

— Эмоции насаждают в нациях шовинизм: если я лучше, значит, он хуже; если я велик, значит, он ничтожен и мне ничего не стоит наступить на него и растереть подошвой. Машине чужды эти понятия: велик — ничтожен. Для нее человек вообще велик, она не знает национальности, цвета кожи; она признает только человеческий интеллект, общается только с ним, именно с тем, кто способен задавать ей вопросы и расшифровывать ответы. Разве это не любовь? Невежда для нее пустое место. Своим молчанием и холодом она презирает его, к какой бы национальности или расе, к какому бы социальному слою тот ни принадлежал. Вот что такое машина, дорогой мой поэт! Я мог бы бесконечно прославлять ее... Но только не для вас,— сказал Наварзин, и взгляд его вперился в меня с уничижительной бесцеремонностью. Мне даже почудилось, что серые его, померкшие глаза запахли едким дымом, как тлеющая обмотка проводов: с такой ненавистью смотрел на меня Наварзин.— Не для вас! — повторил он и даже выставил вперед ладонь, как бы отталкивая меня от себя.— А я, между прочим,— обратился он к затаившимся гостям,— читал недавно книгу, которая называется «Искусство программирования». В первом томе, а их, как вы понимаете, несколько, в первом, об основных алгоритмах, эпиграф: «С нежностью посвящается машине,— я запомнил это наизусть,— посвящается машине единица ВМ шестьсот пятьдесят, некогда установленной в Кейсовском технологическом институте, в обществе которой я провел много приятных вечеров». Это ли не поэзия?! Книга посвящается любимой... Что там Лаура? Машина! Вот предмет обожания. А мне говорят — машина! Знали бы хоть, что такое машина, черт

бы их всех побрал! И вот что опасно! Таких миллионы, ничего не смыслящих невежд. Страшные люди!

Я остался на месте, не взбесился от гнева, я ждал, когда он умолкнет, чтобы одним махом, одним уколом разделаться наконец-то с Наварзиным. У меня был в запасе маленький аргументик в свою защиту или, точнее, в защиту Человека, как я тогда понимал, и я ждал момента, чтобы наверняка, резко и четко реализовать этот шанс. Момент почти наступил, когда Наварзин умолк, явно довольный собой. Не в силах скрыть своего возбуждения, он на сей раз вглядывался в лица гостей, ища поддержки, и, кажется, находил ее в избытке: гости сидели или стояли, подавленные его загадочной речью в защиту машины, которой все они отдали часть своей жизни. Сам я, впрочем, тоже отдавал должное Наварзину, его фантазии, основанной вроде бы на научных данных, и его хладнокровию. Я с серьезным вниманием вслушивался в многозначительную монотонность гудящего его голоса, похожего на тревожный сигнал, которым оповещают людей об опасности. Сигнал этот был в меру продолжительным, чтобы заморозить слушающих его. И вот он умолк. Я выждал некоторое время, чтобы сила воздействия Наварзина на слушателей ослабла или, во всяком случае, чтобы сознание их переключилось... А потом с улыбкой побежденного и признавшего свое поражение сказал:

— Вы интересно рассуждали о мифологии. Фантазия ваша так глубока и оригинальна, что вам можно только позавидовать. Куда там поэты! Они черепахи, земноводные, пресмыкающиеся по сравнению с вами. Но вот про сердце... Вы говорите, кожаный мешок. Я слышал и более прозаические определения: мотор, например. Или гиря, которая опустилась до пола...

— Какая гиря? — резко спросил он.

— Часы остановились. Гиря опустилась, и часы остановились.

— Ходики, что ли?

Я посмотрел на него с сожалением и тихо сказал:

— Ходики, ходики. Они самые. Называете сердце кожаным мешком... Ну что ж! Можно и так. Только почему в минуты страшного горя, или отчаяния, или чрезмерного нервного напряжения мешок этот рвется? Вот вопрос! Да, конечно, души нет, наука не открыла ее — пока! Но все-таки почему же рвется именно кожаный мешок, а не дру-

гая емкость, не желудок, например, или известный вам пузырь? Почему?

— Какая плоская шутка,— брезгливо сказал Наварзин.— Нет, это невозможно! Вы себе представляете кровеносную систему человека? Давление крови в этой системе? Что это такое? Представляете себе? Если не знаете, не говорите плоскости! Зайдите в свою поликлинику — там вам все объяснят. Вам надо начинать с азов.

Гости, собравшиеся уходить, засмеялись. И смех их был очень жесток: они смеялись деликатно, с сочувствием, как бы щадя во мне живое существо, которое они не хотели рвать на куски, понимая себя людьми, а не голодными, одичавшими собаками. Живи, как бы говорили они мне, но не суйся со своей глупостью, если не дорос до серьезного спора. Я был старше всех, и насмешливость их особенной обидой рвала мне грудь. Я едва сдерживался, провожая их взглядом и раскланиваясь с подчеркнутой независимостью, когда они прощались со мной.

Одна лишь Мария, измученная бесплодным спором, страдальчески взглядывала на меня, несчастная и сочувствующая, будто я был на глазах у нее разодран в клочья. И слышал я в ее взгляде упрек: зачем ты ввязался в этот безумный спор?!

Глаза ее провалились и потемнели, как лед на московском дворе в дни апреля, спина сгорбилась, хрупкие ключицы под белым шелком смертным перекрестием сошлись на груди... Она была некрасива, как только может быть некрасива женщина, оскорбленная за любимого человека, то есть униженная вместе с ним, растоптанная чванливой чернью. «Ну что ты наделал?! — спрашивала она всякий раз, когда взгляды наши соединялись, и мы понимали друг друга без слов.— Зачем тебе это нужно?»

Я из последних сил улыбался, стараясь подбодрить ее, и, пока не ушли все гости, делал вид, что победа осталась за мной.

Настал и мой черед. Наварзин, возвышаясь надо мной, хмурился. И вдруг протянул большую свою руку ладонью вверх, словно прося подаяния. (Розовые складки на белой коже, не тронутой физическим трудом, четко прочерчивали размашистую букву «м».) Протянул руку, в которую я охотно вложил свою, ощутив крепкое пожатие, и сказал неожиданно ласковым голосом:

— Надеюсь, вы понимаете мое доброе расположение к вам.

Взгляд его был затянут словно бы паутиной, в центре которой поблескивало нечто похожее на брюшко зеленой мухи. Он опутал меня этой паутиной и, продолжая сжимать руку, говорил:

— Резкий мой тон не принимайте близко к сердцу. Если хотите, к кожаному мешку. Я отстаивал свои убеждения. Я их не меняю. Цель моя вам теперь тоже известна. Для пользы дела я употребил некоторую резкость, чтобы вам яснее была понятна моя цель. Когда человек разозлится, он лучше соображает, мозг его возмущается и начинает работать. Важно только не пересолить. Я рассчитываю на ваше благоразумие. Мой самый приятный оппонент — это вы. Приходите к нам почаще и не сердитесь на меня. Мара,— сказал он Марии, которая, кажется, была счастлива видеть нас опять вместе,— может быть, проводишь гостя? Смотри, какая ночь за окном! Погуляешь, подышишь свежим воздухом — тебе это полезно. Вы не против? — спросил он у меня с едва заметной усмешкой.— Я вас перевозбудил, вам тоже полезно. А мне еще надо поработать сегодня. Завтра читаю. Мара, погуляй с гостем. Я тут все приберу, перемою посуду и сяду за работу. Я люблю,— сказал Наварзин, не выпуская моей испуганной, ослабевшей руки,— мыть тарелки, чашки, вилки, ножи... Реальное дело! Видишь результаты труда. А это очень полезно — видеть тут же, сию минуту результат. В науке удастся немногим. Почти никому. Вы заметили, кстати: гении часто умирают непризнанными? За что такое наказание?

Мы расстались друзьями. Мне даже показалось вдруг, что предложение прогуляться с Марией вовсе не случайно: этот жест доброй воли должен бы показать широту его натуры и в то же время подчеркнуть полную объективность по отношению ко мне, чтобы я и подумать не смел, будто бы в наших разногласиях играет роль женщина. Благородство кольнуло меня, приглушило мою радость, но мне ничего не оставалось, как только отшутиться, что я и сделал с блеском тайно торжествующего любовника, хотя Наварзин не заметил игривых моих слов.

— В эту майскую ночь я постараюсь стать машиной... без эмоций.

Слова мои повисли, как дым, в воздушной тишине, и, когда я снова прокрутил их в своем сознании, мне стало стыдно за них, потому что они, вылетев на веселеньких

крылышках, вернулись ко мне бесформенным комом грязи: пришлось убедиться, что слово и в самом деле не во-робей.

Эта короткая ночь, легкая, как вздох, была подарена мне судьбой. Я запомнил ее в мельчайших подробностях, мог бы и теперь по карте прочертить извилистый путь, который мы проделали с Марией, встретив рассвет на Крымском мосту. Я был почти дома, когда наши гулкие шаги утихли и мы остановились, увидев утреннюю зарю. Ничего подобного не испытывал я в юные годы, хотя бывали, наверное, такие же кроваво-мрачные зори, как в ту незабываемую ночь. Мясисто-бурые облака возникли на красном небосклоне. Река отразила тревожный цвет и, явившись из туманного небытия, зашевелилась в своем течении, как будто вода густой раскаленной лавой потекла с небес в безлюдный город, дома которого казались испепеленными руинами.

Мы были настолько одни и так далеко от спящих миллионов, что не чувствовали какой-либо связи с людьми, которые незримо толпами окружали нас, стоящих на мосту. Перед нами было лишь красное небо и такая же красная река. Лицо Марии было тоже окрашено багрянцем. Глаза ее блестели, словно в них отражался пылающий костер.

Я не понимал, что происходит со мной. Душа моя обмирала от восторга, как если бы опять родители мои показывали мне, маленькому мальчику, переводную картинку, и я, зачарованный, видел, как из-под сырой, мутной бумаги проявляется яркая лужайка, заросшая цветами и залитая солнцем, — лаковая картинка, крохотное это чудо, заставлявшее меня затаив дыхание смотреть на колдовское рождение небывалой, неземной красоты. Так и Москва все ярче и цветистее раскрывалась перед очарованным взором, теснила мою грудь восторгом, словно я видел ее впервые или счастливая случайность сделала меня свидетелем ее чудесного появления на берегах огненной реки, льющейся с красных небес.

Никогда в жизни я не любил этот город так, как на зыбкой грани той тьмы и углисто-красного цвета, разгорающегося на востоке. Мне чудилось, будто любовь моя вознесла меня над великим городом, башни и шпили которого были уже озарены невидимым еще солнцем. Сердце мое наполнилось ледящей душу гордостью, что волею судеб я рожден был в каменном его чреве и что я один из

тех его сыновей, отцы и деда когорых строили по кирпичику могучую его твердь.

Много городов и весей разбросано по великой России! Есть изумительной красоты маленькие старинные города, есть деревни, милые сердцу каждого русского, не утратившего чувства прекрасного. Счастье — родиться в любом из этих поселений. Может быть, даже большее, чем быть коренным москвитянином, ибо только маленький городок по крупицам собирает славу своих сыновей, терпеливо и истово разыскивая ученых, художников, поэтов и полководцев, ставит памятники землякам, которые короткой строчкой промелькнули в истории русской культуры, блеснули звездочкой на ее небосклоне. С родительской заботой добрые люди городов этих пестуют память о своих сынах, преувеличивая порой значение в российской истории какого-нибудь поэта или живописца, творят легенды вокруг имени, собирают в музеях все, что связано с ним, и на всю страну в серебряные трубы возглашают славу творца или храброго воина, родившегося и выросшего в глухом городке России.

Как не поклониться добрым людям, собирающим золотые крупы, из которых мудро выращивают они самородки в назидание живущим ныне и еще не родившимся народам.

Одна Москва, гордясь великим своим предназначением в мире, мало тяготеет к собственным талантам; каменной поступью мнет золотые песчинки, обращая внимание лишь на сияющие самородки или драгоценные алмазы, которые нет-нет да и встретятся ей в ее дальнем и нелегком пути. Имя, которое признала мудрая Москва, знает весь мир, все цивилизованные народы, пускай не всегда произносящие это имя с любовью и тем уважением, какое воздает своему сыну Москва. Да ведь и то правда, что не всем гостям приходится по сердцу и сама знаменитая Москва, добывавшая свою славу не только пером или скрипкой, но и клинком, разящим бесчисленных врагов вечного города, не раз возрождавшегося из пепла военных пожаров.

Леденящая гордость охватила меня, когда я с тревожным восторгом вглядывался в багровые облака над расцветной Москвой, и испытывал я в эти мгновения чувства, которые принято называть священными, хотя к ним примешивались и тихое любованье, и ласка, с какой я разглядывал сиреневые дали теснящихся домов, представляя себе спящих своих земляков, ничего не знающих о нас

с Марией и не ведающих, что какой-то чужак, гуляя с чужой женой, остановился на мосту и зябнет от пронизывающей гордости за великий город, приютивший когда-то его далеких предков.

Слезы до сих пор застыли от меня свет, который дробится и сверкает в глазах, лишь только я вспомню священный свой трепет перед каменным тираном, взявшим всю мою жизнь без остатка и вселившим в меня любовь к себе взамен этой пропавшей в его холодных камнях жизни. Я любил этого тирана, преклонялся перед ним, и не было большего оскорбления для меня, если кто-нибудь нападал на него, в жалкой гордыне грозя ему проклятием; я готов был целовать каждый камень, хранивший память о древней его жизни, я искренне надеялся быть полезным ему и, не рассуждая, исполнить любое его желание.

Но он не заметил меня, и вот я плачу. Не от обиды лью свои слезы, которые стали с годами тяжелыми, как постоянная усталость тела,— вовсе нет! Я с еще большим восторгом созерцаю бессердечного этого тирана, подмявшего меня каменной своей поступью, и, понимая его величие, равного которому нет на свете, умиляюсь своей малостью и своей безмерной преданностью, которую он походя принял от меня, шествуя в будущие века, и, не заметив, расплющил, как букашку.

Иногда я думаю, что, может быть, я и рожден был на свет для той единственной ночи, которая распахнула передо мною рассветную Москву и вселила в мою грудь раблепную любовь и преклонение, переполнявшие с той поры мое сердце. Не знаю! Но только именно в те минуты, когда разгорался рассвет над Москвой, я, не помня себя, бросился на колени перед Марией и, целуя ее руки, в безумстве умолял ее стать моей женой. Я просил ее, клянчил, не стыдясь своих слов и своего положения, словно пустыня окружала нас. А она, растерявшись, тянула меня вверх, просила подняться и успокоиться, руки ее бессильно скользили по моим плечам, и я сам ощущал свинцовую тяжесть своего тела, поднять которое не могла никакая сила, кроме живой силы единственного ее слова согласия. Боже мой, как я был глуп!

— Васенька, что с тобой? — говорила она испуганно. — Перестань, пожалуйста! Не пугай меня... Мне странно слушать тебя. Что ты говоришь? Разве можно? Подумать страшно, что ты говоришь,— шептала она, стараясь изо всех сил справиться со мной и поднять с колен.— В конце концов

это смешно. Встань, пожалуйста, я тебя прошу. Васенька, милый, встань!

Как я поднял себя — не помню. Я только помню, что, поднявшись на ноги, с пугающим вожделением смотрел в сиреневые тени, в спокойную и мягкую розовость осветившейся реки, манящей меня, усталого ребенка, в свою прохладную колыбель.

— Ну что с тобой, что? — слышал я пустые вопросы, которые Мария с волнением задавала мне, будто и в самом деле никак не могла ничего понять.— Что это с нами, Васенька? — говорила она, судорожно поглаживая мое лицо, откидывая волосы со лба и приглаживая их, целуя мои руки и грудь в том месте, где билось сердце.— Разве так можно? Опомнись! Ты сегодня очень возбужден. Я понимаю причину, но ты все забыл... Все забыл, Васенька!

— Что я забыл? — чуть ли не со стоном спросил я.

— Все забыл... Кто я, кто ты... Разве тебе плохо? Или я не люблю тебя? Что ж ты, Васенька?.. Разве нам плохо с тобой? Эх ты, дурачок!

Проехал хлебный фургон, и зудящая дрожь сотрясла подвесной мост, перейдя словно бы и в меня своей зыбью: мне стало холодно, и меня забил озноб.

— Успокойся, пожалуйста,— ласково пела Мария.— Все хорошо... Успокойся.

— А чего хорошего? — останавливал я ее ласки.— Ничего хорошего. Я больше не могу без тебя. Я устал таиться. Ты не понимаешь, как тяжело. Не хочешь понять. Грех мучает меня.

— Ну вот видишь, ты тоже... Ты не прав... Сейчас все проще, Васенька, все не так. Все гораздо проще... Ты не обвиняй меня... Подумай сам, как же я могу оставить мужа, если я люблю его?! Это жестоко с твоей стороны в такой день... Ты все забыл... Ты вспомни, какой сегодня день!

Речь ее была искренна, а взгляд, устремленный в мои глаза, так страдальчески растерян, столько недоумения было в этом ищущем моего сочувствия взгляде, что я, казалось мне, понял наконец-то странную женщину и с наименьшим недоумением смирился с самим собой, оставив все надежды и заглушив боль.

Май в моей деревне нежил меня солнцем и блеском холодной и сочной травы; стрижи щебетали под коньком

моего дома, вылепивая новое гнездо; кусты сирени мешали открыть оконные рамы — ветви упруго сопротивлялись и с живым шелестом бросали к моим рукам тяжелые и душистые багряно-лиловые цветы, прохладным запахом которых наполнен был дом.

Мне бы забыть в этом земном раю все свои горькие страсти, а я, несчастный, только и думал о том, под каким бы предлогом увидеть Марию, как ее соблазнить цветущей сиренью и стрижами под коньком. Я звонил ей по телефону, но она, ссылаясь на занятость и усталость, отказывалась от всех моих предложений увидеться.

И лишь однажды она почти закричала в трубку:

— Васенька, наконец-то! Я ждала, ждала, а ты целую неделю не звонил мне! Ты мне нужен! Срочно. Я пропадаю, Васенька... Спаси меня! Жду тебя. Я без тебя пропаду! Срочно приезжай. Все брось!

Мы условились о встрече, и я примчался. Я пришел раньше назначенного времени, но Мария уже нетерпеливо ждала меня, прохаживаясь возле табачного киоска, и, когда увидела меня, пошла навстречу, в отчаянии воскликнув:

— Что же ты опаздываешь? Я жду, жду... Ну как не стыдно?!

— Прости,— сказал я, видя ее состояние и не узнавая ее.

Прошел уже месяц после нашей встречи, лето было в разгаре, клонящийся к вечеру день пропитался выхлопными газами. Тополиный пух мешал дышать, создавая ощущение огромной, полупрозрачной сети, накинутой на город. Люди барахтались в ней, как белые рыбы, и не находили выхода.

Тревога, которую вселила в меня Мария, усугубляла ощущение безысходности. Я повел ее прочь от шумной площади, помня о скамейке во дворе городской больницы, на которой когда-то сживал с Марией в полуночный час, как юный любовник, целуя и обнимая ее на виду у скорбных корпусов старой больницы.

— Ты помнишь мое ожерелье? — грустно спрашивала она, поспешая за мной.— Маргаритовое... Это был жемчуг... Ты помнишь?

— Да, конечно,— отвечал я, зная, что не это заставило ее вызвать меня.— А почему ты спрашиваешь?

— Тогда, на мосту... Помнишь? Наверное, на мосту... Нитка оборвалась и жемчуг рассыпался. Я и не заметила. Ты тоже? Я не хотела тебя огорчать... Бог с ним! Это было бабушкино ожерелье,— говорила она жалостливым го-

лосочком, задыхаясь от волнения.— Я его надевала, как амулет, верила в силу его. Такая вот блажь. Потеряла, а теперь и сама пропадаю! — воскликнула она в отчаянии.— А все это ты виноват, Васенька! Кому нужен этот театр? Какой ты странный все-таки человек! Несовременный...

— Прости,— сказал я и тут же забыл об ожерелье, не чувствуя ни малейшего движения совести, как если бы она уснула.— Прости,— повторил я машинально.— Но что случилось? Расскажи.

— Я, Васенька, пропала! — откликнулась она.— Я должна тебе все рассказать. Все, все! Ничего не скрывая. Ты единственный поймешь меня. И скажешь, что делать! Куда же мы так спешим? Почему не к тебе? Поехали к тебе, Васенька! Очень прошу, поехали. Я должна рассказать! Я в ужасном положении и не знаю, чем все это кончится... Ты себе представить не можешь, как я несчастна!

Вырванный из деревни, где я проводил свой отпуск, и брошенный в душную Москву, я задыхался в тополиных сетях, и, кажется, впервые Мария раздражала меня.

На витрине рыбного магазина я однажды увидел на эмалированном подносе лобастые задумчивые профили плоских морских существ, которых по ошибке называли рыбами. Крутые их лбы, нависая над задумчивым взглядом умерших глаз, решали как будто сложнейший вопрос вселенского бытия. Лица этих морских обитателей вспомнил я на горячем тротуаре, остановленный просьбой Марии, которую впервые мне не хотелось исполнять. Я догадывался, какое «несчастье» случилось с ней, и не знал, как мне поступить. Тяжелый и горестный вздох вырвался у меня из груди, и я с сожалением спросил:

— Мужчина?

— Да! — плаксиво откликнулась она.— Но ты ничего не знаешь! Я вижу, ты не хочешь меня выслушать. Васенька! Это жестоко! Умоляю... Поехали! Я тебе все расскажу. Ты ужаснешься! Я, Васенька, гибну! Я чувствую, мне недолго осталось жить. Ты должен меня выслушать!

Пишу эти строчки, а сам плачу, вспоминая растерянность на измученном лице: вижу тусклые клочья рыжих волос с пушинками тополя, страдальческие глаза, глубоко запавшие в смертельной тоске. И не могу поверить, что в те минуты мной овладели сомнения. Если бы та встреча могла повториться! Я бы на руках понес ее и был бы счастлив лишь оттого, что исполнил волю моей повелительницы. Не

могу примириться с тем своим равнодушием, какое испытывал я в летний жаркий день, хотя и знаю, конечно, что ничем все равно не мог бы помочь Марии. И все-таки клянусь себя, посмеявшегося в тяжелый час усугубить горе любимой, суть которого любой здравомыслящий человек окрестил бы, наверное, другим словом и, может быть, даже плюнул в гнев или ударил страдающую женщину, проклял бы ее, как бессовестную распутницу. Что-то в этом роде чувствовал и я, раздраженный ее видом и летящим пухом, который мешал мне дышать, словно я был пойман, как задумчивая рыба, в невидимую сеть и не мог найти выхода на волю.

Увы, случилось непоправимое. Ничего теперь не вернешь, осталось только мучиться, как если бы в несчастье, в беде этой я играл одну из главных преступных ролей и, избежав наказания, сам себя навеки наказал угрызениями совести.

В тот душный день на мои знаки остановился помятый «Москвич» медицинской службы, в нем пахло валериановым корнем пополам с бензином. Через полчаса мы были в перегретой моей квартире, в которой под вечер хозяйничало солнце.

— У меня беспорядок, — бросил я дежурную фразу, когда поднимались на лифте, — не обращай внимания.

Но это мягко было сказано — квартира представляла собой вопиющее безобразие. Неубранная, скомканная постель; старые носки посреди комнаты; банка с квасом, в шафрановой мути которого плавали бледно-зеленые лепешки плесени, похожие на миниатюрные листья или цветы тропических болот; журнал, валяющийся на полу возле кровати; чашка со следами высохшего чая. Черт знает что! И так-то я никогда не отличался аккуратностью, но то, что я увидел в тот день глазами Марии, заставило меня содрогнуться от жгучего стыда.

Мои оправдания, впрочем, никак не подействовали на гостью, будто она ничего не увидела, занятая только собой. Села возле открытого мною окна, из которого вместо свежего воздуха плавно и таинственно вплыли в комнату тополиные пушинки.

Она давно перестала стыдиться меня, и, когда я поцеловал ее в плечо, рыже-красная кожа которого была солоноватой на вкус, она вздрогнула и, словно бы придя в себя, сказала с мольбой в голосе:

— Ты лучше не подходи ко мне. Я плохая, Васенька! Нет ли у тебя холодной воды?

Я достал лед, который всегда держал в холодильнике, налил в стакан воды из-под крана и бросил туда два кусочка.

— Все, что есть,— сказал, подавая ей стакан с прозрачными ледышками.— Погоди немножко, пусть охладится.

Но она не послушала и выпила воду, а лед разгрызла и съела.

— Дай еще кусочек,— попросила она.

— Горло застудишь... Нельзя в такую жару. Заболеешь.

Она посмотрела на меня с жалобой во взгляде и вдруг зарыдала. Мне и самому с трудом удалось сдержать слезы, но Марию я успокаивать не стал, дожидаясь, когда она выплачется. В голову лезли всякие страхи, и я боялся, что опасения мои подтвердятся, как только Мария расскажет о своей беде.

Лед я ей все-таки принес, и она стала его грызть, делая это с безумоватой отрешенностью, как будто нутро ее горело огнем; зубы у нее были прочные — лед хрустел на них, как сахар, а из глаз лились и лились слезы. Я смотрел на нее, и улыбка появилась у меня на лице, потому что и в самом деле смешно было видеть ее плачущей и грызущей лед. Мария и сама вскоре улыбнулась сквозь слезы, утерла распухший нос, свою картофелинку, порозовевшую от плача.

— Ну так что же случилось с тобой? — спросил я.— Расскажи, пожалуйста. Кстати, в прошлый раз я забыл спросить... Помнишь, ты встала и вышла, когда он сказал про курицу, которая запела петухом... Какая кошка пробежала?

— А! — отмахнулась она.— Мелочи жизни!

— И все-таки?

— Язык мой, господи! Услышал, как я рассказывала про его лазер, рассердился... Он не велел никому рассказывать, как будто я могу открыть какую-нибудь тайну... Все это мелочи, Васенька. Я, конечно, слишком болтлива, он терпеть не может эту черту во мне. Но ведь имею же я право гордиться мужем? Господи! — жалобно воскликнула она, хлюпнув носом.— Теперь все кончено! Теперь я ни на что не имею права. Я гибну, Васенька! Ты один только можешь пожалеть меня.

— Почему же именно жалеть? Я не вижу причины жалеть тебя. Ты плачешь, мне тебя жалко. Но ты ничего не хочешь сказать. Только вздыхаешь, жалуешься, а ничего толком не говоришь. Что за беда с тобой приключилась? Скажи.

Она вздохнула, грудь ее поднялась и опустилась в глубоком этом вздохе, руки упали на колени, глаза, вперившись в меня, осветились неживым ртутным блеском.

— Думаешь, это так легко — сказать? — спросила она чуть ли не с упреком и злостью.

Меня всегда поражала ее непосредственность, граничащая порой с полной неспособностью отдавать отчет своим поступкам, но я прощал ее, и мне даже нравилась в ней эта бесшабашность. Но в тот день неприятно было слышать в ее голосочке злой упрек, будто пытался выведать ее тайну я, а не сама она хотела облегчить страдания исповедью. Она и раньше испытывала страстную потребность в исповеди, доверяя мне любовные свои увлечения, то есть мучая меня такими подробностями, что невольно приходила мысль, будто я имею дело с отчаянной эротоманкой, наслаждающейся нравственным падением, рассказ о котором доставляет ей не меньшее удовольствие, чем сами поступки.

— Как хочешь,— сказал я, пожимая плечами.— Если так трудно... Мне твой рассказ... Сама пойми, зачем мне?

— Ну хорошо, хорошо! Не сердись! — раздраженно сказала Мария, будто в конце концов я уломал ее; я даже усмехнулся, покачал головой в знак удивления, но она не обратила на это никакого внимания, потому что опять была далеко от меня.— Представь себе, Васенька,— со вздохом сказала она,— чудесный майский вечер... У меня, между прочим, разболелись зубы от твоего льда. Хорош кавалер! Ледышками накормил.— Она смотрела на меня, и я понял, что Мария уже переменила свой взгляд на беду, только что мучавшую ее; улыбнулась под солнышком, и ласково поблескивала бегучей водицей привычная серость, которая в палево-рыжем окружении казалась голубой, как небо в желтых листьях клена. Вся она опять светилась и была так красива, так естественна и приманчива, что я простил ей все былые и будущие прегрешения, кинулся к ней и стал целовать. А она как будто только и ждала этого...

— Нет, ты все-таки представить себе не можешь, какой это дикий дурак! — говорила она, восхищенно глядя на меня, но не видя ничего перед собой, кроме воображаемого «дурака», о котором не успела рассказать мне.

— Черт с ним... Не хочу я ничего слышать.

— Нет, Васенька, ты послушай! Красив, как бог! Стою на тротуаре, на краешке, жду, когда можно перебежать улицу. Машины — одна за другой! И вдруг черная «Волга».

«Садись»,— говорит. Я говорю: «Мне никуда не нужно». А он: «Садись, садись». А я: ну и что, подумашь! Села, а он меня спрашивает: «Не узнала?» Сразу как старой знакомой. Я посмотрела. Ну просто красавец! Губы как у Давида, кудри, а взгляд — нет, Васенька, все-таки взгляд дурака это взгляд дурака, в нем все как на ладошке. Скрыть ничего невозможно. Я говорю: «А откуда вы меня знаете?» — «Я живу,— говорит,— в одном с вами подъезде». — «Неужели? И давно вы там живете?» Я, Васенька, почему-то очень испугалась, я подумала, что это провокация. А он засмеялся, говорит: «Ровно столько же, сколько и ты. И каждый день наблюдаю, как ты выходишь из подъезда и идешь на работу». Я говорю: «Вы шутите, конечно». — «Нисколько! Тебе сейчас домой? Ну так вот поехали, я только,— говорит,— заеду в магазин, заказ возьму шефу. Надоело все, но приходится». И такое мне порассказал о своем шефе, которого он возит, такие пакости, что просто страшно. Он о своем шефе знает столько, что я на месте этого шефа боялась бы своего шофера... Мы подъехали к магазину, он мне велел сидеть, а сам ушел и вернулся с сумкой. Из сумки колбаса копченая, курьи ноги, хвост рыбий. «Во,— говорит,— на сорок с лишним дублонов... Икорка, балычок для моего Мухомора». До чего ж он, Васенька, развратен! Ужас!

— Кто? — спросил я.— Мухомор?

— Нет, Саша этот. Его Сашей зовут. Молодой, а развращен до невозможности. Циник! Прислуживает, а сам издевается над хозяином, как лакей. Противно. Все его разговоры только о заказе, о шефе, о всяких фокусах... Все знает! Видит изнанку, грязное белье и плюет на это, но все равно работает, потому что и ему тоже перепадает. Квартуру построил. Пригласил меня пиво чешское пить. А я подумала и согласилась. Если б ты видел, как он красив! Я не виновата, Васенька! Он такой искренний, взгляд телячий, ума никакого... Но, Васенька... что ж мне теперь делать? Он совсем меня свел с ума! Это добродушное животное. Он теперь заезжает за мной, катает на «Волге»... Я боюсь его и не могу отказать. Он такой самоуверенный, с ним невозможно спорить. Ты должен с ним поговорить. Ты не представляешь себе, как я несчастна! Я боюсь теперь собственного дома, я все время чувствую присутствие Саши, измучилась от страха, что все это рано или поздно откроется... А Станислав, ты знаешь, он не простит. Он сов-

ременный человек, но он не простит, что я связалась с дураком. Он физически не может терпеть дураков. Ты, наверное, заметил. Мне он никогда не простит. А дурак этот такой наглый стал! Звонит чуть ли не каждый день. Если бы ты, Васенька, поговорил с ним! Я его очень боюсь. Он меня и не слушает. Я попала в жуткую историю, ты мне должен помочь. Я только на тебя теперь могу надеяться, кроме тебя, у меня нет друзей... Ты понимаешь, Васенька? Нет никого. А ты можешь, я знаю, ты можешь на него повлиять... Он тебя послушается,— говорила она, и в голосе ее я слышал капризные нотки, как будто ее, невинную, несчастную жертву, шантажировал негодяй, а я этого не понимал.

— Ты просто чудо у меня! — сказал я в сердцах. — Ты хоть подумала о последствиях разговора с этим Сашей?

— А что? Какие последствия? Зачем ты меня пугаешь? — воскликнула она с новой тревогой, охватившей ее.

— Я не пугаю.

— А что же? Ты разве боишься? Я не понимаю! Почему ты не хочешь выручить меня? — спрашивала она с удивлением.

— Ну хорошо! Ты не понимаешь... Какую же роль определила ты мне в этой миссии? Я кто — твой дядя? Не отца же мне разыгрывать перед ним! Да и будет ли он вообще слушать меня?! Я что же — неживой совсем? Машина, что ли? Или рыба?

В тот душный день я и в самом деле чувствовал себя пойманной рыбой. Бессмысленность всего происходящего раздражала меня. Я никогда не считал себя трусливым человеком, но теперь мне трудно было доказать это Марии, которая отказ мой расценила бы только как трусость. Простодушие ее, коим всегда любовался я, распростерло свои щупальца слишком далеко, стало агрессивным; Мария пугала меня своей вопиющей наивностью, отсутствием всяких сдерживающих начал или хотя бы некоторой щепетильности, некоторого уважения ко мне. Она не чувствовала никакой вины и лишь боялась наказания, которое ей представлялось несправедливым и нелепым. Она вела себя так, будто некто незаслуженно обидел ее, а я, ее лучший друг, откладываю в защите и покровительстве. Я изнемогал от безумной сумятицы, какую она внесла в мою голову, и сам себе уже казался осторожным и трусливым ничтожеством. Хотя здравый смысл подсказывал, что это совсем не так и что просьба Марии безрассудна, как и все, что она на-

творила в маниакальной своей погоне за развлечениями.

— Ах Васенька! — со слезами пропела она. — Вот не ожидала! Я думала, я всегда считала, что ты не такой, как все. А ты... ты тоже только о себе. А я-то... Ну прости, прости дорогой...

Немало сил пришлось затратить на то, чтобы разубедить Марию и вернуть доброе ее расположение: она плакала, я успокаивал ее, обещал сделать все, что она только захочет, клялся в преданности.

Расстались мы с ней друзьями — она даже квартиру принялась убирать, но разбила чашку, собрала осколки, сказала:

— Все из рук валится. — И ушла, поцеловав меня на прощанье.

Это был сумасшедший день в моей жизни. Поручение, которое я вопреки логике принял от Марии, нависло надо мной и ни на минуту не давало освобождения, словно я был приговорен к дуэли с неведомым противником. То оружие, какое вложила в мои руки Мария, было так непривычно и настолько чуждо мне, что я заранее знал о своем поражении и бесславном конце.

Но делать было нечего: согласие я дал, час назначен, и мне ничего не осталось, как только попытаться у судьбы счастья. Жизнь, которая голубеньким лоскутком трепетала за пределами отпущенного мне времени, казалась бесконечно прекрасной. Я думал о ней, как думает обреченный человек о несбывшихся мечтах. Не надеясь на помилование, я оплакивал свою судьбину, в водоворот которой был так глупо вовлечен ненасытной своей страстью, чрезмерным поклонением рыжему идолу, не ведавшему ни жалости ни истинной любви. В момент отчаяния я готов был столкнуться с пьедестала золотую эту бабу, но слабость доставляла мне еще больше мучений, я отметал ее с презрением и опять оставался один на один с бесцеремонным и грубым противником, который, конечно же, не пощадит меня.

Вспоминая теперь то прошлое противоборство с самим собой, я с грустью улыбаюсь: ничтожными кажутся мне все мои страдания, но гложут душу мольбы Марии о помощи. Знаю теперь, что не о помощи она взывала, а молила о пощаде, предчувствуя близкую кончину, которую так рано уготовил ей рок. Да только кто же мог подумать тогда, глядя на беззаботную пожирательницу жизни, что первый снег станет последним ее снегом, белым ее саваном, окрашенным мученической кровью.

А я не спал, я обдумывал каждое слово, каждый жест,

я готовил себя для предстоящего поединка, понимая себя жертвой, принесенной на алтарь великой любви, хотя дело-то это не стоило выеденного яйца.

Как часто мы жалеем себя, свои нервишки, спасаем душу во имя высших порывов, которые якобы ждут нас впереди, мелочно спасаем сомнительный комфорт и покой, приобретенный праведными трудами; как оскорбленно мучаемся, если этот комфорт нарушается страждущим, просящим о помощи; как трудно отвлекаемся от высокой цели, куда направлены все наши помыслы, чтобы сделать всего лишь шаг навстречу погибающему! Сколько сомнений, сколько «за» и «против» будоражат нашу совесть, пока мы сделаем этот шаг, быть может, единственный верный в жизни шаг, который очеловечивает нас и спасает от забвения!

Печально думать об этом, когда ничего уже нельзя поправить.

День, на который выпала встреча, выдался, на мое счастье, дождливым и приятно прохладным. Воздух пропах мокрыми тополями, черный асфальт блестел, я шел, ничего не видя и не слыша вокруг, и только прохлада бодрила меня.

В условленном месте остановился — это был задний двор гастронома, в котором я тоже когда-то что-то покупал. Асфальтированная площадка; внутренние, обшитые оцинкованной жестью двери магазина; женщина в белом халате, разговаривающая с шофером продуктовой машины; две «Волги», несколько «Жигулей» стояли тут и там. Я огляделся, но ни в одной из машин не увидел Марии, хотя время было мое. Она должна была именно в этот час окликнуть меня. Сердце бешено колотилось в груди, я понимал, что слова, которые я заготовил для Саши, прозвучат не очень-то веско и убедительно, я, скорей всего, накричу на него, находясь в таком возбужденном состоянии, и, стараясь успокоиться, подумал, что обстановка заднего двора, мирный разговор шофера с женщиной, улыбки, играющие на их лицах, никак не располагали меня к агрессивности. Признаться, мне и самому не хотелось с кем бы то ни было ругаться в этот приятный свежий день, когда с неба невесомо летели крохотные капли дождя, едва заметно касаясь кожи лица; когда старые домики горбатого переулка туманились в отдалении, желтые и кирпично-красные их стены, покатые крыши акварельно таяли, размытые дождевой далью, и словно бы отдыхали, нежились во влажном воздухе, напоенном чуть ли не весенним запахом

отсыревших тополей., Светофор на перекрестке ритмично мигал огнем, делая это с задумчивостью и сонливой забывчивостью старого человека, занятого праздным подсчетом пешеходов.

Я совсем уже было собрался сбежать со своего поста, прождав бесполезно около четверти часа, как вдруг с перекрестка, взвизгнув резиной, резко свернула направо и метнулась ко мне темно-вишневая «Волга», внутри которой я никак не ожидал увидеть Марию, ибо ждал машину черного цвета.

Но, к удивлению и отчаянию своему, увидел: она была весела, смеялась и, высунув руку из дверного оконца, шевелила пальчиками, приветствуя меня. Улыбался и шофер, глядя на меня через ветровое стекло. Он резко затормозил в полуметре, так что я даже почувствовал волну горячего воздуха, обдавшего меня запахом разогретого масла, услышал торопливый перестук клапанов под капотом, забрызганным грязью.

Оба они — и Мария и шофер — вышли из машины. Парень был толстоватый для красавца, курчавая голова на жирной шее, ярко-голубые улыбчивые глаза, женственные губы. Тьфу ты господи — Давид!

— Вот и мы! — озвучилась сияющая Мария.— Познакомься, это Саша,— сказала она как ни в чем не бывало.— Гнал сейчас!.. Думала, за нами погоня. Долго ждешь? Ты без зонтика! У тебя что же, зонтика нет? Ты промок? Что ж ты стоишь под дождем?!

Я ничего не понимал, и вид у меня, наверное, был глуповатый, потому что даже Саша, бренча ключиками от машины, с ухмылкой оглядел меня с головы до ног, окропив васильковой синевой.

— Сухой твой Васенька, сухой,— сказал он сочным баритоном.— Не смущай человека.

Снисходительный тон и словечко это, прозвучавшее как гром среди ясного неба, привели меня в чувство, мне показалось вдруг, что я наконец-то все понял и что более дурацкого положения, чем то, в какое попал, не бывает: Мария за что-то жестоко посмеялась надо мною.

— Вот именно,— сказал я, ворочая шершавым языком,— не смущай.— Во рту пересохло, как у диабетика, слова застревали и, корявые, были невнятны и хриплы, мозг отказывался что-либо путное подсказать мне. Я прохрипел сквозь кашель: — Стою тут, считаю пешеходов. Восемьдесят четыре за пятнадцать минут. Не много. Теперь вот вы,

значит, восемьдесят шесть. Интересное занятие. Выйду на пенсию — займусь. А вы, я вижу, — сказал я, гневно взглянув на Марию, — весело проводите время?!

И вспомнил вдруг, как говорила когда-то Мария, что люди в давние времена учитывали ум лисицы; мысль эта обожгла сознание скрытым смыслом, словно я сделал открытие, значение которого еще не понял до конца. Лисица улыбнулась черными губами, выказала зубы в лукавой ухмылке, прищурила прозрачные злобные глаза. И сказала человеческим голосом:

— Ты все забыл, Васенька... Где твоя голова? О чем ты?

Саша нетерпеливо брякнул ключами, сунул их в карман облезлой кожаной куртки коричневого цвета. Такие коротенькие по пояс курточки носят, кажется, офицеры военно-воздушных сил. Такая курточка осталась несбывшейся мечтой моей юности. Вытертая до белесости на складках, она как будто бы тоже усмехнулась вместе со своим хозяином.

— Ты тут разберись, — сказала курточка, — где его голова, а я пока сбегая за товаром.

Круглые ягодицы, обтянутые лоснящейся тканью, торопливо запрыгали мячиками. Походка у «Давида» была напористая, не знающая преград и препятствий: встретится — он перепрыгнет, юркнет в сторону лисицей и дойдет до цели, чего бы ни стоило это. Все его тело, налитое удачливой силой, было создано для стремительных бросков в случае надобности и ленивой полудремы в долгие часы безделья, когда темно-вишневая «Волга» с остывшим мотором мокла под дождем или грелась под солнцем, белела под снегом в ожидании хозяина — Мухомора, как называл его синеглазый живчик.

— Поздравляю, — сказал я Марии и подумал, что оба они в чем-то похожи друг на друга, как дети одного сада. — Такая вот простокваша. Кажется, делать тут нечего мне.

— Но это нечестно, Васенька! — воскликнула она. — Ты обещал! Ты теперь видишь, какой это человек? Разве он послушает меня? Я очень боюсь... Ты пойми, пожалуйста, и не осуждай. Знаешь что! Ты сделай так... Ты подружись. Постарайся, пожалуйста! А Стасику я скажу, что это твой друг. Он рвется в мой дом. Ему мало! Он хочет, господи! хочет, чтобы я открыла ему дверь. Он так это говорит, будто имеет право. Я боюсь разозлить, он способен на все. Ты понимаешь?!

— Понимаю. Спасибо за друга.

— Но что же мне делать, Васенька?! Ты хочешь моей погибели? Нет же? Скажи мне...

Рука ее легла мне на грудь, я увидел острый казанок за запястьем, белую косточку, бугорком выступающую под кожей. Косточка эта, делавшая руку Марии похожей на угловатую руку незрелой девочки, расслабила меня, словно бы именно в ней я увидел всю хрупкую непрочность рыжей женщины, и крепко прижал эту руку к своей груди.

— Что же я могу для тебя сделать? — спросил я с состраданием, которое вновь охватило меня при одном лишь прикосновении ее тепла к моему сердцу.

Я чувствовал ее тепло с необыкновенным удивлением, точно не рука, а что-то гораздо более значительное и действенное, как если бы это был солнечный лучик, согревало пульсирующую глубину грудной клетки. Мне было очень приятно ощущать этот живой огонь, растекающийся по телу.

— Что-нибудь! — слышал я стонущие звуки ее голоса. — Придумай, Васенька, хотя бы, что тебе нужна вобла, обещаю ему что-нибудь... Он угощал этой воблой, говорил, что может... Попроси! Пообещай редкую книгу... Детектив какой-нибудь. А потом, когда подружишься, объясни ему, пожалуйста, что так нельзя, что я не какая-нибудь... Он ничего не понимает! Ему все равно. Преследует! Разговаривает со мной так, как будто я обязана ему подчиняться. Я ненавижу его и боюсь. Мне иногда кричать от страха хочется. Проснусь среди ночи, вспомню, что он где-то спит неподалеку, и схожу с ума. Страшно сказать, но я даже смерти ему желаю... Думаю, вот хорошо, если бы разбился, врезался в какой-нибудь самосвал... Ты понимаешь, до чего дошло! Мне обязательно надо помочь, я одна не справлюсь. Слышишь, Васенька?!

Гулко хлопнула оцинкованная дверь, Мария вздрогнула, рука ее скользнула вниз. Саша с двумя пакетами в руках резво прыгнул через лужу и напористо, по-хозяйски зашагал к машине. Он заметно косолапил, точно в ногах у него катился послушный футбольный мяч. Радость и задор были в каждом его движении; здоровое тело играло на ходу всеми мускулами; глаза, когда он поднял их, ошастливили нас заоблачной синевой, засияли в солнечной улыбке самого хорошего человека на свете. Тугие губы пиявками плавали в змеящейся улыбке.

Передо мной был человек, готовый любого, кто только изъявит желание, заразить своим душистым, как черный хлеб, грубым здоровьем, своим простым, как жизнь, ощу-

щением счастья пребывания на земле среди себе подобных. Но почему-то желания этого не возникало во мне, как если бы жизнь, не имеющая никакого смысла, только отталкивала от себя, будила в темных подвалах сознания пещерные страхи вперемешку со звериной, рычащей злобой.

Я поставил себя на место бедной Марии и ужаснулся: быть в объятиях этой жизнерадостной биомассы — что еще отвратительнее может предложить самое изощренное изображение?! Во мне, конечно, говорила страшная ревность, какую я никогда и не подозревал в себе, но все-таки разве это возможно, чтобы моя загадочная, туманно-золотистая Мария, из-за которой я претерпел в своей жизни столько страданий, познал столько блаженных минут, была покорна и безропотна, была распластанно-нежна в руках этого сгустка диковатой энергии, безумно направленной чьей-то злой волей к единственной цели: взять от жизни все, что только можно, все, без остатка, запихать в бездонный свой живот...

— Ну как? — спросил я, чтобы что-нибудь спросить. — Все в порядке? — В голосе своем я уловил веселые нотки.

— Еще бы! — ответил Саша. — А как же? У нас всегда порядок.

— Неужели всегда? — веселясь, спросил я, почему-то сразу поверив, что он именно так и думает.

— А как же?!

— Ну вот как хорошо! Позавидовать можно.

— Еще бы!

Я услышал заискивающий смех Марии; она во все глаза смотрела на Сашу, помогая ему размещать пакеты на заднем сиденье, подчиняясь с готовностью прислуги, боящейся хозяйского гнева.

— Не сюда, — говорил он строго. — Сюда сядет твой Васенька. Сколько еще пешеходов насчитал? — спросил он у меня и громко засмеялся. — Считал?

— Что? — переспросил я, не веря своим ушам.

— Считал пешеходов? Сколько еще протопало?

Нет, он не хотел обидеть меня: ему просто было очень весело, и он целиком отдавался этому веселью, питая свою массу необходимыми современному человеку положительными эмоциями, а масса эта наверняка вырабатывала в эти мгновения необходимые ей витамины, запускала их в дело, чтобы не оскудели силы.

— Считал, Сашенька, считал, — ответил я, пораженный, — но вот таких веселых, как ты, что-то не заметил.

— Еще бы! — воскликнул он с особой залихватостью в голосе, словно ему очень нравилось это многозначительное, многосмысленное сочетание простых словечек, похожих на междометие.

Веселье его объяснилось несколько позже, когда мы уже куда-то поехали: Мухомор с семьей укатил отдыхать на море, заказы поручил еженедельно брат Саше, снабдив его деньгами, но для себя велел оставлять только икру в фирменных баночках, остальное приказал съесть Саше.

— Он у меня, знаешь, какой! Так посмотришь — хмырь хмырем. А душа есть. Провожал на вокзал, — рассказывал Саша, разогнав машину до ста километров, — провожал на вокзал... Приказ, говорит: жри все, что получишь, а теперь, говорит, просьба — пришлю телеграмму, не опоздай к поезду... Все наоборот! Там он приказать должен, а здесь попросить... А наоборот! Ох, Мухомор... Поцеловал и говорит: «Иди». Жена его: «Сашенька, Сашенька...» Знала бы она!

Попутно он поругивал частников, мешавших ему маневрировать. Вел машину рискованно, но дело свое знал: ограничение скорости до шестидесяти в час словно бы не касалось его — видимо, надеялся на особые номерные знаки, наверняка известные инспекторам ГАИ.

— Везу, например, к бабам, — продолжал он с неизменной улыбкой. — А их у него три, кроме жены, конечно. Нет, вру! Две теперь только. Одна в Сокольниках, а другая недавно переехала в Теплый Стан. Хоть бы жили поблизости, а то в разных концах! Смешно. На совещание, говорит, в Теплый Стан. Ты, говорит, Сашок... Да что ж ты делаешь, гад! — выкрикивал он, бросая ногу на тормоз. — Видал, что делает?! — Но тут же успокаивался и опять улыбался. — Ты, говорит, Сашок, доверие вызываешь, жена тебе верит, ты ей почаще говори, сколько у нас заседаний всяких и совещаний. Вот тебе, говорит, четвертной. Что ж он тормоза-то так отрегулировал! — опять злился Саша. — Чужая машина! Я сейчас в отпуске. Взял в гараже... Старуха! Моя в капремонте. Ну вот... Еще бы! — говорю... Я ей при всяком удобном случае. А она доверчивая, как курица. Сашенька, Сашенька, вот тебе пирожок с мясом, сама пекла. Ох, Мухомор! Старый, а ходок тот еще! Два часа совещание, а то и три... А я тем временем еще четвертной.

Мария сидела с зацепеневшей улыбкой, боясь оглянуться на меня.

— Туда, сюда, глядишь, и шуршат... А как же! — весело рассказывал Саша. — Люди торопятся, такси нет, а я пожалуйста... Кому любовь, а кому это самое, кислород. Верно? Хоть бы собрать всех вместе: жен и этих баб! Посмотрел бы на Мухомора!

За веселеньким этим разговором я и не заметил, как мы подкатили к дому Наварзиных.

— Ко мне, ко мне! — с неубывающим весельем приказывал Саша. — Пиво будем пить. «Золотой фазан». Из холодильника! Вобла есть... Э-э, Васенька! Ты брось... Я приглашаю... Отказов не терплю. Тут же в зубы и к стоматологу!

Кого-то он мне очень напоминал, разудалый этот Сашок, не знающий, куда девать свою молодую необузданную энергию. Опять он покатил свой мяч-невидимку, а мы с Марией покорно, с измятыми, смущенными лицами поплелись за ним, мямля, как в том анекдоте: «Может быть, все-таки в реанимацию?» — «В морг, в морг»... С невероятным усилием воли я остановился и как можно решительнее сказал:

— Нет, Сашенька, я все-таки не пойду. У меня и времени нет на это... Да и пиво я не люблю... Золотое оно или серебряное... Не пойду.

Но услышал стонущий голос Марии, увидел побледневшее ее, осунувшееся лицо:

— Ну как же так?! Вместе так вместе. Я одна тоже... Нет, Васенька, я умоляю, пошли... Ты опять все забыл!

— А что пиво?! — чуть ли не вскричал наш весельчак. — Не любишь, не надо! У меня вон закуски сколько! Думаешь, жидкостей мало? Чего хочешь, то и пей. Отказов не принимаю. Все! Верно, Маш? Слушай... Твой дома? Может быть, пригласить? А? Чего ты боишься? — спросил он у побледневшей, обесцветившейся вдруг Марии, одичавший взгляд которой заострился и судорожно ударил блеснувшим наконечником в синие до невероятности глаза бесшабашного соседа.

— Нет! — шепотом крикнула Мария. — Отстань, я никуда не пойду! Если будешь еще...

Я ненавидел себя, присутствующего при этой позорной сцене, смотрел со стороны и презирал хилую свою улыбку, потупленный взгляд робкого свидетеля; словно обмерли, затаились в норках, как трусливые грызуны, все мои прежние представления о чести, совести, о мужском достоинстве, которое было раздавлено жизнерадостной, но тупой силой веселящегося человека. Я чувствовал панический страх, про-

кравшийся в душу, как если бы непредсказуемая эта сила вытравила во мне волю к сопротивлению.

Что-то похожее на сон испытывал я, входя вместе с Марией в голубую кабину лифта, которая и прежде возносила меня на известный этаж, где собирались под сенью золотого леса завзятые интеллигенты. И эта же кабина, с таким же гудением мотора, с тем же беспрекословным усердием подняла меня на другой этаж и любезно предложила выйти, раздвинув голубые дверцы.

И я вышел. Поморщился, отдав должное обстоятельствам, втянувшем меня в неприглядную историю. А когда отворилась обитая искусственной кожей дверь квартиры, похожей на мою, я со вздохом обреченного шагнул в полутемную прихожую и услышал за собой клацкающий звук такого же, как у меня, шестирублевого замка.

Впрочем, я успел подумать и о том еще, что поступком своим, который казался мне, конечно, жертвенным, выручаю из беды несчастную женщину, спасаю ее от хама, то есть иду несмотря ни на что к намеченной цели, изменив убеждениям, а это соответствует моим принципам — все вроде бы складывается у меня не так уж и плохо. Размышляя так, я впитывал в себя кондитерский запах чужой квартиры. Даже пошутил, как полагается гостю:

— У тебя, Саша, конфетами пахнет. Любитель?

— Это нет! Не конфеты. Новый ковер! Что ты! Какие конфеты? А вообще — есть. Если хочешь... Ты алкоголик, что ли? Это алкоголик — хоп, конфеткой. А нам зачем? Верно, Маш?

— О боже мой! — простонала Мария.

— Два на три на пол кинул, а другой полтора на два на стену. А ты конфеты любишь? Есть. Сейчас разберемся,— говорил он уже на кухне, сваливая тяжелые пакеты и суетясь, как обычно суетятся хозяева в таких неординарных случаях жизни.— Сейчас,— слышал я его голос,— все будет. Все! А как же?!

— Васенька,— шепнула мне полуживая Мария,— не оставляй меня. Под любым предлогом, ладно?! Ты слышишь?

Я кивнул ей и приложил палец к губам.

Скучно вспоминать о пустом времяпровождении в гостях у Саши, еще скучнее рассказывать о том, как ступили мы на ковер «два на три», посмотрели на тот, что «полтора на два», отпробовали всяких яств и, собравшись с духом, поднялись из-за стола. Тут произошло некоторое замеша-

тельство: Саша явно хотел выпроводить меня и оставить Марию.

Я наконец взбесился. Со мной это бывает: рву пелену, застилающую душу, и, словно бы задыхаясь, хватаю ртом свежий воздух, который возвращает меня к жизни.

— Стоп,— сказал я, когда он силой стал удерживать Марию.— Ты, Сашок, большой кретин! Я достаточно наблюдаю за тобой и сделал выводы. Дела твои плохи, Сашок! Ты кретин,— говорил я так спокойно, что еле дышал.— Ты не учел малости. Твоего шефа я хорошо знаю... И если ты еще одним пальцем дотронешься, слышишь? дотронешься до этой женщины, если ты еще раз попробуешь шантажировать ее, твой шеф, или, как ты говоришь, Мухомор, а заодно и его жена будут знать о тебе все.

Брезгливо-испуганная улыбка дрожала на лице обескураженного парня, пиявки змеились, вытянувшись поперек бледнеющего лица, глаза щурились и темнели. Я протянул руку и резко, неожиданно для самого себя, ударил его пальцами по щеке. Он не пошевелинулся, сморгнув, как слезу, эту пощечину. А мне уже было все равно. Я понес его со всем безрассудством, на какое был способен в эти отчаянные минуты.

— Ты сволочь и негодяй! — говорил я, задыхаясь.— Лакейская душонка! Я тебя убью, как комара, если ты еще раз...

— Ошибаешься, дядя,— сказал вдруг опомнившийся Сашка.— За оскорбление, знаешь... Это ведь как поглядеть... Освободи помещение! — закричал он благим матом и побежал зачем-то на кухню, загремел там чем-то железным.

Мы были уже возле двери, когда он, взбешенный, вылетел и со звериной злобой замахнулся на меня трехкилограммовой гантелью. Он, конечно, убил бы меня, если бы хватило мужества и решительности и если бы Мария не кинулась между нами, завизжав так громко, что визг ее услышан был в доме. Я тоже, увы, вел себя не лучшим образом и, вместо того чтобы выбежать из квартиры и рвануть на себя обезумевшую Марию, отпихнул ее и сделал шаг навстречу одичавшему Сашке.

— Не подходи! — услышал я сопящий его голос и — не знаю, животным, наверное, чувством — понял в это мгновение, что он боится больше, чем боюсь я... Боится не меня как такового, а тех последствий, какие ждут его в случае исполнения угрозы.— Убью! Не подходи!

— Ты все понял? — спросил я у него, не отдавая отчета,

зачем мне это нужно.— Хорек! — сказал, как выплюнул в лицо, со всем презрением, на какое был способен. Все, что накипело, вложил я в это обидное слово: и ненависть к самому себе, и злость на Марию, втянувшую меня в эту историю, и презрение к торжествующей биомассе, трящейся передо мной с занесенной чугуновой чушкой в руке.

Скучно и обидно все это вспоминать, потому что не так хотелось закончить дело, не криком и угрозами, а изящным укором, от которого поумнел бы, может быть, простодушный и наглый дурак, и не злобу затаил на меня, а проникся ко мне почтительным уважением. Но чего не было, того не было: все окончилось самым пошлым образом — хорошо еще, бескровно, а то вспоминал бы сейчас всю эту свару, кабы остался в живых, с мучениями, равных которым трудно себе представить.

Когда Мария меня спросила, придя в себя, почему я сказал, что хорошо знаю его шефа, я усмехнулся, пожал плечами, ответил не задумываясь:

— Кто-то говорил про ум лисицы. Не помнишь?

— А-а-а! — протянула она с благодарностью.— Видишь! Ты мой рыцарь! Я всю жизнь буду гордиться. Неужели тебе не было страшно? — спрашивала она, как восторженная девочка, с ужасом в приглушенном голосочке.— Я себя укусила за палец, когда ты... Ты, наверно, не видел его лица?

А я и в самом деле не видел, будто передо мной тряслось нечто неопределенное, безликое, а потому и не очень страшное, ибо нет для меня ничего страшнее умного человеческого лица, охваченного благородным гневом.

— Забудем про это,— говорил я с наигранным хладнокровием и беспечностью, как будто мне ничего не стоило подойти к Сашке еще раз, когда он был в бешенстве, и назвать хорьком.— Забудь. И ничего не бойся. Дыши полной грудью! — У самого еще нервная дрожь не прошла, а уже играл приятную роль героя, забыв минуты постыдного малодушия и растерянности.

Слаб человек! Удалось одержать победу — подавай славу. Хоть маленькую, хоть какую-нибудь! Вынь да положь. А зачем и для чего? Особенно если, как в моем случае, победа эта одержана лишь над самим собой, а побежденный впустил в себя кровожадного хорька и еще больше озлобился. Победа — это когда стронешь в душе человека лед равнодушия, растопишь его добрым теплом и увидишь над полой водой первую чайку. Запугать, унижить, ударить

человека — это умели делать и полудикие наши пращурь. Не в славе бы купаться, а в слезах. Не гордиться собой, а оплакивать человека, погубленного злобой и ненавистью.

Одно лишь утешало меня, что не видел я человека в облике этого Сашки и не против разума шел, а поднялся на драку с чудовищной материей, растерявшей в своем развитии отличительные свойства человека.

Но вот что мучает меня до сих пор!.. Скрывал от себя, прятал на донышко душевных подвалов, не выпускал на свет, как безобразного уродца, ехидный вопросец с подковырочкой, который упрямым ростком в солнечные мои дни пробивал чудодейственной силой асфальт захламленной памяти, ломая камень пушистой своей вершинкой, и сквозь трещины высывался на свет зеленой загогулиной, напоминающей знак вопроса: скажи-ка, старче, чем это ты особенно отличался от той презренной биомассы, как ты обозвал синеглазого парня, пребывая в состоянии высокомерной гордыни. Чем это ты лучше его? Какие такие заслуги перед обществом давали тебе право возвышаться своим духом над ним? Не оба ли вы с ним хитрые лисицы, у которых рыльца в пуху?

Терпеть не могу этот вечный свой вопросец! И нет у меня ответа на него, да и не будет, наверное, никогда. Чем я лучше? Почему лучше? Кто сказал? По какому праву?

Попроси я наварзинских друзей, здравствующих и поныне, рассудить меня с этим Сашкой, вряд ли кто-нибудь из них отдал бы мне предпочтение. Вряд ли! Хмыкнули бы презрительно, начни я оправдываться и перечислять свои достоинства. Они не любили меня никогда, а за что — не знаю. Да и не хочу, откровенно говоря, знать! Пропади он пропадом, этот гнусный вопрос! Что за чушь лезет в голову! Сашка ли? Я ли? При чем тут мы, когда нет ни Марии, ни Станислава, которые одни только и вправе были бы осудить меня. Если бы я захотел суда! Вот именно — если бы захотел. А я не хочу. Идите к черту, не хочу о нем слышать и знать! К черту, к черту, к черту! Я сам себе судья!

Вредный сорняк, пробивающий асфальт, боится солнечных лучей, которые жгут его. Пусть он погибнет и не раздражает душу колючим своим упорством. Пусть его сожрут улитки и гусеницы, если он сладок для них. Пусть истопчут дети, не знающие душевных мучений.

Нет ответа! В путанице жизненных случаев, как в пу-

танице трав, тянущихся к солнцу и дождю, нет такого, о котором можно было бы сказать, что это именно он причина следствия или что именно этой траве надо дать преимущественное право для роста, а та пусть гибнет... Все сплетено в жизни в тугой узел, который можно рубить, а не распутать. Жизнь как белый цвет, белая дуга, вобравшая в себя радужное разноцветье. Все в ней едино и все многозначно.

В тот прохладный, дождливый денек, когда я вырвал Марию из рук негодяя, ничто, однако, не омрачало мою душу — я торжествовал победу. Я был доволен собой, хотя и скрывал, как мог, от Марии свое самодовольство. Но мне льстило ее восхищение моей храбростью.

Впрочем, почувствовал я себя в безопасности только тогда, когда, еще не отдышавшись, очутился вместе с Марией за надежной дверью ее квартиры. Она не позволила мне уйти, боясь нашествия разозленного и опасного зверя, каким представлялся ей в воображении недавний «Давид», красавец и дурак, превратившийся в злобного, трусливого хама. Я же готов был сражаться до конца. Тем более что теперь со мной был сам Наварзин.

Он вышел навстречу в шелковом красном халате, вертикальные складки которого, подпоясанные тесемкой на талии, пылая, ниспадали до пола, до легких сандалий на босу ногу, — величественный и неожиданно смешной, как декоративный кесарь римской старины. Меня он никак не рассчитывал увидеть и смешался, нахмурился, хотел уйти, но передумал и выставил свою руку ладонью вверх.

— Алый цвет, — сказал он, — не дает лениться мозгу. Не ждал, но рад, — добавил, кладя руку на мою спину и легонько подталкивая в комнату. — Кофе? — спросил Наварзин.

— Кофе, — ответил я. — Если не составит труда. Извините, ради бога.

— Сейчас будет кофе...

Мария прижалась на мгновение к лоснящемуся шелку на его груди, он мимолетным движением руки коснулся палевых ее волос и удалился на кухню, погасив алую зарю в комнате, прошелестевшую ветренным шепотом шелка. В померкшей комнате впору было включать электричество — летние сумерки прокрались в ее углы.

Я в блаженстве опустил в глубокое кресло и, укрощая дыхание, глубоко вздохнул, закрыл глаза и улыбнулся. Как же я любил в эти мгновения празднично-яркого,

сдержанного в своих эмоциях, спокойного человека, которого впервые увидел в безумно-алом халате! Как я завидовал ему, не знающему страха и, по всей вероятности, не испытывавшего неуважительного, панибратского к себе отношения. Почему я совсем не похож на него? Мне бы хоть капельку его выдержки, его комфортного, притягательного благородства. Как просто он сказал: алый цвет не дает лениться мозгу. Халат и он — несовместимы! Но почему-то именно в триумфаторской этой алости Наварзин явился мне человеком со всеми своими слабостями и причудами, понятный и чуточку смешной, близкий...

Я готов был признаться в дружеском расположении, в любви к нему и, как Мария, прикоснуться щекой к шелковой его груди.

Но как же я жалел его в блаженные эти минуты — ничего не видящего и не слышащего, обманутого мудреца, доверчивого в пингвиньей своей отрешенности от житейских склок громадного общежития, замкнутого в себе и занятого ему только одному понятной идеей поклонения машине. Я расслабленно думал о своем ничтожестве и наслаждался, казня себя и каясь, вымаливая прощения у Наварзина, который, наверно, считал меня искренним другом Марии, а стало быть, и своим. Мне казалось, что я наконец-то понял его и что все мои прежние домыслы о нем, как о человеке, отрицавшем устоявшиеся привычки людей, в том числе и привычку семейной верности, — все эти мои плюгавые мыслишки обернулись позором и жгли мне совесть, и я в ожидании крепкого кофе, который варил для меня сам Наварзин, клял свои низменные страсти, купался в этом самобичевании, хотя и знал наперед, предчувствуя особенную нежность Марии, таинственную ее улыбку, ее любовь, предназначенную только мне, рыцарю и сообщнику в ее заговоре против всех негодяев в мире.

А она, бедняжка, натерпевшись таких унижительных страхов, явилась вдруг ко мне, в мои мечтательные сумерки, бесшумно села напротив, утонув в объятиях кресла, и с молчаливой улыбкой не мигая смотрела на меня в ласковой задумчивости, как смотрят на добрую и послушную собаку, не мешающую жить. Ни ей, ни мне не нужны были слова — мы все понимали без них, и кажется, нам обоим нравилась такая запретная, беспокойная жизнь. Мария была бесконечно счастлива и любовалась мною, а я позволял ей это, как если бы и в самом деле был собакой, шерсть которой гладила своей душистой рукой хозяйка.

Кофе в доме Наварзиных варился по-турецки, но подавался в больших чашках; комната пропитывалась кофейным ароматом, звоном серебряных ложечек и приятным благополучием. Это было как раз то, чего мне так не хватало в течение последних дней.

Лампы по просьбе Марии не стали зажигать. Небо за окном, затянутое сиреневым июньским ненастьем, светилось на закате лиловым перламутром. Полированная поверхность журнального столика отражала этот призрачный свет. Глаза Марии блестели на потемневшем, лоснящемся в сумерках лице, как глаза черноокой смуглой цыганки. Я не сводил с нее своих глаз, которые тоже, наверно, возбужденно блестели отраженным светом вечернего неба. Шелковые складки халата отливали густым багрянцем, Наварзин неподвижно сидел в углу, задумчиво держа чашку возле подбородка, и изредка прикасался губами к ее краешку, словно молитвенно целуя крепкий и вкусный напиток.

Кто-то должен был нарушить затянувшееся молчание и ту московскую тишину влажного вечера, в которую вплеталось множество звуков, создающих стройный гул из шума моторов и человеческих голосов, похожих на крики птиц.

И как ни странно, это сделал Наварзин.

— Я живу под впечатлением сна... А может быть, и не сна,— сказал он с обычным своим гудящим безразличием в голосе.— Много работы, мозг устал, выдал причудливую картину, но вот что любопытно...

Я внимательно прислушался, потому что ни разу не видел Наварзина, рассказывающего сон, но услышал его глубокий, почти бесшумный вздох, словно он усомнился вдруг, надо ли рассказывать.

— Но вот что любопытно,— повторил он из потемок.— Я не давал мозгу никакой программы. Гиацинт, любимец Аполлона... Я ничего не могу понять. Гипербола? А что такое гипербола? Это кривая линия от пересечения конуса по оси плоскостей... Или риторическая фигура? Да... Все это любопытно. Мальчик Гиацинт... Я помню, его звали Гиацинтом.

Глаза Марии выпуклыми, полированными камушками вперились в багряно-черные очертания мужа.

— Ну и что? — взволнованным шепотом спросила она, тоже, как и я, удивленная откровениями Наварзина.

— Ну и что,— повторил он задумчиво.— Аполлон разгневался, убил Гиацинта и превратил в цветок. Но, может быть, я видел Аполлона до гнева, пока он еще любил Ги-

цинта? Это я про легенду. Мальчик был живой. Или подросток, светлый и очень... Он весь как на пружинках. Очень избалованный. Я это знал, когда видел его. Но кто отец? Все-таки не Аполлон, потому что, во-первых, Аполлон не отец Гиацинта, а во-вторых, он был в годах, у него была курчавая, в кольцах борода, на нем были тога и сандалии. А мальчик строен и гибок, как юный тореадор. Каменный сад... Стена из неотесанного, дикого камня... Дворец... И всюду каменный плющ, всюду камни, руины античных изваяний и даже деревья и другие растения каменные. Пространство замкнутое, но и бесконечное, обозримое, но и распростертое во времени. Все это я знал как данность. Свет, например, не солнечный, но и не искусственный. Типичная ситуация сновидения. И вдруг, как на дисплее, передо мной притчевая сцена. Господин, то есть отец, посылает раба, а он появляется среди камней, огромный и полуобнаженный, покорный, как собака,— отец посылает раба за сыном, который играет на лужайке среди освещенных каменных растений. В руке у мальчика тросточка или что-то в этом роде. «Тебя зовет отец»,— говорит раб. Но в ответ увлеченный игрой мальчик, то есть Гиацинт, с гневом набрасывается на раба и что-то грубое говорит о нем, о своем отце. Тогда раб бьет его по щеке и говорит: «Это от имени вашего отца». — «Ах, ты так!»— кричит мальчик и замахивается тростью. Но раб изловчился, схватил трость и сломал ее. «Это я от имени вашего отца делаю». Мальчик взбешен и бежит, прыгая через камни, к дому, грозя убить раба. «Я тебя убью!»— кричит он, а раб понимает, что он побежал за оружием, спешит к своему господину, который стоит возле ступеней дворца торжественный, как римская скульптура. «Хозяин! — кричит раб.— Сын дурно говорил о вас, и я дал ему за это пощечину от вашего имени». — «Ты предан мне»,— властно говорит патриций. А раб сгибается в поклоне: «Ваш покорный слуга,— и продолжает: — Он поднял на меня трость, но я сломал от вашего имени и трость». Патриций торжественно кивает головой, довольный поведением раба. И — поощрительно: «Ты предан мне безмерно»,— и даже руку поднял, как будто благословлял раба, который опять: «Ваш покорный слуга. Но, господин, ваш сын побежал за оружием и хочет меня убить». Тогда патриций кладет ему руку на голову и вещим голосом произносит: «Ты предан мне! Умри».

Наварзин умолк и в тишине, наступившей в полутем-

ной комнате, прикоснулся губами к остывшему кофе; я понял, что у него дрожат руки — раздался чуть слышный шелчок зуба, ударившегося о фарфор.

— Это чудо,— прошептала Мария.— Это не сон, нет...

Я сидел бездыханно и благодарил провидение, что электричество не включено,— чувствовал я себя расплюснутым, почему-то приняв на себя загадочный смысл притчи.

— Да,— выдавил я,— это что-то очень интересное. Типичная притча с троекратным усилением.

— Вот именно,— бесстрастно проговорил Наварзин.— Именно притча и притом классическая.— И он повторил ее, сделав как бы выжимку:

«Сын дерзко говорил о вас, я ему дал пощечину от вашего имени».

«Ты предан мне».

«Он поднял трость, я от вашего имени сломал и трость».

«Ты предан мне безмерно».

«Но он побежал за оружием и хочет меня убить».

«Ты предан мне. Умри».

Мария опять шепотом сказала:

— По-моему, это чудо. Или ты слышал или читал что-нибудь подобное? Я не могу поверить! Что это?

— Да,— мрачно сказал Наварзин.— Меня странно мучает эта информация, ее железная логика: «Ты предан мне. Ты предан мне безмерно. Ты предан мне. Умри». Не могу понять значения! Практического смысла притчи. Не могу найти, расшифровать. Ну хорошо: отец, раб, сын...

— Ну как же! — воскликнула Мария.— Все понятно. Ты предан мне, ты все правильно сделал, но дойди до края, умри во имя меня. Оскорбил моего сына моим именем. Ой, как это интересно! Да! Конечно. Я почти все понимаю... Почти все! Нельзя оскорблять сына именем отца! Это так понятно!

— Надо понять все до конца. Почти — я тоже понимаю. Мне не хватает особой точки зрения, чтобы заглянуть в глубину и редуцировать, низвести до полного понимания. Впрочем, все это, наверное, игра усталого мозга. Он развлекался. В пересказе все не так интересно, как наяву.

— Ты спал или не спал? — тихо спросила Мария.— Это очень важно. Что значит наяву?

— Спал и не спал,— ответил Наварзин.— В пересказе мешают эмоции, на дисплее — там математическая формула.

Мне очень хотелось перевести все в шутку, я начал понимать, что Наварзин вовсе не имел в виду меня,

рассказывая свой сон не сон, и, успокоившись, хотел что-нибудь смешное придумать — сидел и улыбался. Хотя и мне тоже показалась интересной эта логически строгая притча, я тоже, как ни напрягался, не мог заглянуть в темную глубину намертво сцепленного, связанного в узел иносказания. Наварзины же были так серьезны! Мария ахала и восхищалась, а муж ее, придавленный неразрешенной задачей, пребывал в полном изнеможении, измучившись в напрасных догадках,— только это и останавливало меня от шутки: я не мог разрушить таинственный мир, царивший в их душах, и лишь улыбался, любуясь Наварзинными, которым было уже не до меня.

Я раскланялся, попросил не провожать и через час был в лесу на пути к своей деревне, шагал по глинистой, скользкой дороге, в колеях которой покоились во тьме лужи, отражавшие светлое небо короткой, душистой и очень простой, немудреной июньской ночи.

Мог ли я подумать тогда, что таинственная притча, или, как я полагал, бредовая заумь перетрудившегося Наварзина не раз еще ляжет холодным камнем на сердце!

Мятущаяся душа Марии приводила меня в отчаяние. Я перестал искать с ней встреч, но она находила меня сама, и когда врывается ко мне с радостным недоумением на лице, я старался все сделать для того, чтобы ей было хорошо у меня. Я угощал ее чаем, который она всегда нахваливала, считая, что я великий специалист по заварке; терпеливо выслушивал жалобы на жизнь, наблюдая с необычной для себя трезвостью за ее манерой рассказывать, и частенько ловил себя на мысли, что мне не нравится вычурная ее манера с изысканными, заученными приемами лицедейства, которыми она оснащала всякую свою речь, касалось ли это чая, магазинов, науки, людской неблагодарности, человеческих страстей или пресловутых проблем молодежи, коими занимались во все времена все народы, не продвинув их ни на йоту за многовековую историю цивилизации. Я, к счастью, хорошо понимал бесполезность всевозможных нравоучений и выслушивал Марию со спокойствием любознательного исповедника, задавая ей лишь уточняющие или наводящие вопросы. Не скажу, что все мне было интересно, но кое-что волновало и меня, потому что Мария касалась иногда очень острых ситуаций, беря на себя порой непосильный умственный труд.

С улыбкой вспоминаю я, например, как она с неизменным своим жеманством серьезно говорила мне о манной

каше, которая, как я успел заметить, обозначала в доме Наварзиных все надоевшее, изжившее себя и вызывающее одно лишь отвращение.

— Люди с детства видят и слышат по телеку... Ты, Васенька, знаешь их... Что-нибудь разоблачительное, какой-нибудь безобразный образ жизни в Америке или где-нибудь на Западе... Сколько лет подряд с детства до усов одно и то же: это плохо, это еще хуже, это никуда не годится, а уж это и вовсе из ряда вон. То хиппи, то наркоманы, то воры, то бог знает что... Пишут об этом в газетах, говорят по радио... Все плохо, плохо, ужасно! И ничего хорошего. Нигде. Все хорошо только у нас. Уговаривают, уговаривают. А вот если бы мне с детства говорили — родители, бабушки, тетки всякие, — что манная каша очень плохая, что ее нельзя есть, что от манной каши человек становится неуправляемым, что она разъедает душу и все на свете губит, я еще не знаю, как бы я к этому отнеслась! О сигаретах говорили бы, что они полезные, что человек от них становится умнее и живет до ста лет. Ну допустим! Не улыбайся, я вполне серьезно... Я, может быть, и курила бы, но без всякого удовольствия, а манную кашу мне хотелось бы попробовать. Я бы тайком ела манную кашу.

Мария не выдерживала серьезного тона и раздражалась смехом, который, как это ни странно, был всегда у нее неестественным, напоминая визгливый вопль. Соседи за стенкой, если до них доносился ее смех, вполне могли подумать, что у меня в квартире происходит что-то ужасное. Мария, кстати, и сама, вероятно, знала об этом своем недостатке и смеялась только в минуты нервного перевозбуждения, когда уже не в силах была владеть собой.

— Ну перестань, — мягко и очень вежливо просил я ее, боясь обидеть, — ну что тут смешного? Я тебя с интересом слушаю. Ну перестань, пожалуйста!

Она успокаивалась и, покрасневшись, просила сигарету.

— Ты разлюбил меня, Васенька, да? — спрашивала она, шурясь от дыма. — Ответь мне, пожалуйста, разлюбил? Тебе со мной плохо?

— А тебе хочется меня помучить? — вопросом отвечал я на вопрос и с наигранной грустью добавлял: — Безнадежная любовь! Я с тобой превратился в отшельника. Стал бояться женщин. Соблазна. Холостой мужчина моих лет... Но я все отвергаю! Ради тебя. Ты меня когда-то, помнишь, спросила: разве тебе этого мало? Вот и я тебя спрашиваю.

Она внимательно смотрела мне в глаза и, все понимая по-своему, вскидывала вдруг с голубиной опаской головку, словно в вышине неба тень ястреба затмевала солнце, и быстро говорила мне с внезапными слезами в улыбающихся глазах:

— Ты не умеешь врать, Васенька. За это я тебя очень люблю. Я почему-то очень люблю дурачков.

Шуточки ее, надо сказать, тоже бывали не первого сорта, особенно если она перевозбуждалась.

— А что ты там про манную кашу хотела сказать? Ела бы тайком, да? Манную кашу на молоке с ванилью... Я не совсем тебя понимаю. Манная каша — это...

— Не понимаешь — и не надо. Я ведь не про манную кашу! Ты не видишь молодежь, не знаешь, а я знаю и пока еще, надеюсь, очень хорошо ее чувствую. Мне хочется кому-нибудь подсказать, что надо делать... Но даже ты, Васенька, даже ты смеешься. Думаешь, что я злопыхательница и говорю глупость. Я же вижу тебя насквозь!

— Ты напрасно так думаешь, — возражал я ей. — Я очень серьезно отношусь к твоим словам и никогда не смеюсь. У тебя сегодня, наверное, трудный день, ты нервничаешь. Успокойся. Я тебя слушаю.

— Я не про манную кашу, Васенька! — говорила она дрожащим голосом. — Пойми ты наконец!

— Конечно! Но что же, по-твоему, надо делать, что ты можешь подсказать? Это интересно!

— А то, — отвечала она с полудетской капризной ужимкой на плачущем лице, — а то, что надо показывать не только отрицательные стороны! Что ж, по-твоему, в Америке нет симпатичных и умных ребят? Надо показать, как они живут, о чем думают, чтобы наши мальчики тоже знали: хорошие люди есть везде. Ругают, ругают: джаз на уме, диски, как будто в этом дело! Если Борька какой-нибудь у нас Боб, то тоже ругают. А почему он Боб? Или Дик, например... Вот ты улыбнешься опять, а я тебе все равно опять скажу: люди когда-то учитывали ум лисицы... А мы разучились совсем. Совсем разучились! Сам подумай: если он Боб и ему это нравится, значит, он, у него... Нет, Васенька, ты прав... У меня сегодня трудный день. Я ничего не сумею объяснить. Но что-то надо делать! Так больше жить нельзя... Если этот Боб хочет подражать американцам, пусть подражает, но дайте ему хороший пример, а не плохой. А мы только усугубляем... Развращаем наших мальчиков. Они же глупые еще! А пускай задумаются. Надо пока-

зывать, понимаешь меня? Если уж они хотят... Показывать, как работают американцы... Хотя бы! Что ж они, плохо работают? Хорошо. Пусть наши поучатся. А то показывают, будто они все там бездельники. Дураки наши и думают, что так и надо... Разве я не права?

Я вздыхал с многозначительной и всезнающей улыбкой, как будто изъездил всю Америку, насмотрелся на заморские чудеса, а теперь удивлялся наивности некоторых наших поклонников заокеанской жизни и не хотел даже вступать в бесполезный спор с ними, жалел время.

— Конечно, ты во многом права, но надо учесть,— начал я снисходительно,— что и они тоже... Разве они показывают наши положительные стороны? Наоборот! Это же факт. Они вообще создали стереотип русского...

Мария со страдальческой жалостью посмотрела на меня и как ребенку сказала:

— Бог с ними, Васенька! Бог с ними! Зачем же нам соревноваться в злом умысле? Мы не должны этого делать! Если мы лучше их — тем более. Зачем же нам брать с них пример?! Пусть им будет стыдно,— говорила, вытянув шею и приблизив ко мне свои губы, говорящие это, свои глаза, просветленные страдальческой улыбкой. Кончиками пальцев она прикасалась к моей груди, словно выпрашивала у меня согласия или хотя бы понимания того, что она мне внушала.— Неужели так трудно быть лучше их? Мы должны быть великодушнее, чем они... Как же ты не понимаешь этого? Даже ты, Васенька! Зачем тогда жить? Ты говоришь, трудный день... А у кого он легкий? Разве у тебя легкие дни? Никогда не поверю. Но мужчины никак не могут понять: нельзя соревноваться в злом умысле. И женщины тоже. Но мужчины особенно... Пусть их говорят о нас все, что им хочется, пусть мешают с грязью. Нам за ними все равно не угнаться в этом зле. Мы ведь совсем другие!

Лицо ее было так близко, я так явственно чувствовал душноватое тепло воздушных порывистых толчков, исходящих изо рта, что не мог уже ни говорить, ни думать об Америке, которая далась же ей в этот день, на мое горе!

— Согласен,— зашептал я ей,— согласен. Мы совсем, совсем другие... Совсем...

Кажется, в тот день, если я не ошибаюсь, был сильный дождь, он рушился из темных небес, и с улицы не доносилось ни одного постороннего звука, кроме гудящего однозвучия ливня. А может быть, я ошибаюсь. И в памяти остался шум и плеск горячих водяных нитей, под кото-

рыми стояла Мария, окутанная паром и звенящей в счастливом и стремительном падении воды, сквозь которую кожа ее казалась эмалированной и не такой уж белой на фоне запотевшего белого кафеля.

Я всегда удивлялся, как она могла терпеть огненно горячую воду, а она отвечала, что горячий душ снимает усталость и успокаивает нервы. Наверное, так оно и было, потому что она словно бы возрождалась всякий раз для новой жизни. Разгуливала в больших моих тапочках нагишом по квартире, шаркала ими по полу и, розово-умиротворенная, задобренная и усталая, посматривала на меня с кокетливой укоризной, любуясь собой в моем очарованном взгляде. А потом долго и старательно расчесывала короткие свои волосы перед мутным от пара зеркалом, забыв наконец-то про всяких американцев.

Странная она была женщина. Даже сам Наварзин и тот как-то рассказывал, веселя гостей, хотя и говорил обычным своим бесцветным баритоном, что Мария, с которой они любили отдыхать в Прибалтике, не могла дважды пройти по одной и той же тропинке или дороге в лесу. «Мы уже ходили по этой, пошли по той», — говорила она. И ей не важно было, куда вела новая тропинка. Она избирала приблизительное направление и шла не сворачивая, хотя тропинка могла увести совсем не в ту сторону, куда нужно было прийти. Но это ее никогда не смущало. «Смотри, куда мы вышли! — говорила она. — Какая тут красота!» Из-за этой ее прихоти они часто опаздывали к обеду или к ужину, но это ее тоже не смущало. Наварзин всегда подчинялся ей, даже если они с трудом потом находили дорогу к своему временному жилью.

Я хорошо представлял себе эту пару в однообразных сосновых лесах Литвы или Эстонии, среди мягких мшистых увалов, когда вокруг одни только дымчато-желтые, залишаенные стволы, а иглистые ветви закрывают, как паутиной, небо, и всегда с улыбкой думал: легко ли было Наварзину уживаться с такой беспокойной женщиной?

Болезненные спазмы стискивают мою грудь, когда я вспоминаю о них, и всякий раз мучаюсь от запоздалого раскаяния, вытирая далеко не скупые, как говорится, а ставшие привычными жалкие, жиденькие слезы, тепло которых я даже не чувствую теперь кожей щек. Капнет одна на стол, капнет другая, заболит душа, в глазах зарябит, заискрится свет — значит, плачу. Вот и все. Иногда спрашиваю себя в недоумении: неужели бывали и такие дни,

когда я избегал встреч с Марией? Неужели она искала меня, а я... Нет, думаю, что-то я здесь путаю. Что-то забыл... Глупел, что ли, я по временам, если мог допустить такое? Не иначе глупел, делался дураком. Другой причины просто не вижу. Да и как еще можно объяснить эту тьму души?

Все понимаю. Признаю все свои странные прегрешения, приемлю самую злую хулу, ибо несправедно жил, а теперь, чуя близкую кончину, особенно остро чувствую это и даже прощения ни у кого не прошу, потому что не может мне быть прощения от людей. Знаю это и не боюсь умереть непощеным. В бога я никогда не верил, в загробный мир тоже, но смерти все равно не боюсь. Чувствую, что заслужил ее — такую неприглядную, нечистую, не освященную слезами остающихся на земле. Положат меня в землю или сожгут — мне равным счетом все равно. Я и не думаю об этом. Исчезну, как исчезали до меня сонмища безвестных жителей Земли — людей, птиц, рыб, насекомых, растений.

Об одном только жалею, а оттого и плачу, что память о Марии уже выветрилась из сознания знавших ее. А если кто и вспомнит всуе, улыбнется, скажет: «Как же не помню!» А на лице при этом такое нарисуеться сальное выражение, что и слов никаких не надо — все без них понятно. Да и сам-то я лучше ли?

Горько до слез! И за нее обидно. Ушла из жизни, приняв напоследок горькие муки, а ничего не заслужила, как только вот такое воспоминание о себе: распутница.

Нашли ее раздетую, со смертельными ножевыми ранами, в подмосковном лесу на лыжне среди елочек и старых берез. Труп запырошен был снегом.

Никаких следов не оставил дьявол, надругавшийся над моей Марией. Будь он проклят, проклят!

Я потерял дар речи, когда обезумевший, пепельный от горя Наварзин кое-как рассказал мне, сбиваясь и торопясь, про ее кончину. Он вцепился в мое плечо, и пальцы его окаменели... Я едва разжал мертвую эту хватку.

— Да, да, я тороплюсь,— говорил он, глядя мимо меня, как слепой.— Я... сеанс... сегодня... вчера тоже... Я не верю, нет... Наложение рук... Но — эмоции, эмоции! Меня мучают. Помните? «Ты предан мне. Умри...» Нужна ли была эта информация? Я тоже не знаю. Никто не знает! Этот господин... У меня нет никакой веры... Причем он уверяет, что мое биополе совпадает с его собственным... Не могу понять! Но он предлагает работать с ним вместе. Ка-

кая самоуверенность. Скажите на милость! Биополе ему понадобилось!

Он был крайне возбужден. А через четыре дня после нашего разговора, который происходил в опустевшей его квартире, Наварзин выбросился из окна.

Об этом узнал я тоже с опозданием и уж не помню теперь точный текст записки, которую оставил Наварзин. Кажется, так: «Он взял мое биополе. Жить не могу. Нет сил». Кто взял? Какое биополе?

Так никто и не узнал тайны.

Делались всякие предположения, и лишь одно из них показалось всем заслуживающим внимания. Я сказал, что, вероятнее всего, он ходил к экстрасенсу и тот ему что-то внушил, а Наварзин был в таком состоянии, что на него это очень подействовало, он воспринял все не так, как надо...

Сказать-то я сказал, но у меня из головы не выходила роковая фраза, которую он вспомнил в полубредовом своем рассказе: «Ты предан мне. Умри». Я не стал об этом никому говорить, потому что не сумел бы ничего толком объяснить, а только запутал бы людей, меня тоже сочли бы за сумасшедшего. О Наварзине так и думали, что он не перенес горя и сошел с ума, всем это было ясно как день. Мое предположение всколыхнуло умы наиболее впечатлительных, пошли разговоры, как круги по воде от камня, но вскоре поверхность жизни разгладилась, и об этом перестали вспоминать.

Все прошло. Я с грехом пополам доживаю свой век, забытый всеми навсегда. У меня оборвались как будто все связи с людьми, и только мой сосед, древний старик, всю жизнь проживший в деревне, заходит ко мне иногда... Сядет и сидит. Спрашиваю:

— Как здоровье, Степаныч?

А он не расслышит с первого раза. Ответит, шамкая и глуповато улыбаясь:

— Какое здоровье в мои года... Земля пока держит, а потом лягу в землю. Куда денешься?

Пошевелит губами, помолчит, а потом добавит с кроткой усталой улыбкой:

— Так во всем мире устроено... Не только у нас. Везде так...

И жалко мне его до слез, и смех берет... Ах, как плаксив и слаб я стал! Тут недавно расплакался, разрыдался и никак не могу успокоиться... Мелодию услышал. Грустную и очень красивую. И мужской голос пел... Так пел,

что я... Слова такие трогательные, и так они душу всколыхнули! Плачу и плачу...

«Увял и поблек мой цветочек...»

Конец.

Была еще тьма за окном, когда я закончил чтение печальной повести. Дождь, кажется, утих. В темном углу шуршала мышь. Собака дергала лапами: ей грезилось, что она кого-то догоняет, потому что брыли ее тоже вздрагивали и из глотки рвался чуть слышный стонущий писк.

В бока мне упирались пружинные бугры, но усталость взяла свое, я еще раз взглянул на собаку, зябко поежился, улыбнулся и уснул. Похоже, что снился мне приятный сон, очертания и звуки которого бесследно испарились, оставив лишь радость на сердце и неясную надежду.

В окошко светили косые лучи солнца. Они ложились на мои ноги под одеялом и согревали их. Возле моей головы настороженно и пристально вглядывались в меня соломённые, как у совы, пронизанные до донышка светом глаза собаки. Няня терпеливо ждал моего пробуждения и, когда мы встретились взглядом, завилял хвостом, потянулся в нервной зевоте и полез ко мне, норовя лизнуть в лицо.

В доме царил ясный свет, воздух излучал праздничное сияние, как если бы не только солнце, но и еще один неведомый источник включился в торжественное освещение убогого жилища.

Я услышал чмокание и перестук капель с крыши, увидел посверкивающее их падение и понял, что ночью похолодало, вместо дождя полетел снег, который и укрыл землю. Бесчисленные ледяные звездочки, каждая из которых преломляя солнечный свет и поблескивая желтым, алым, зеленым синим лучиком, наполнили воздух этим радужным сиянием и родили у всех живущих на земле ощущение великого события, происшедшего в мире.

Осенний этот снег, от которого, конечно же, не останется и следа, заразил и меня радостью. Это было не совсем понятно мне, потому что, казалось бы, печальная история, прочитанная ночью и закончившаяся на такой безысходной ноте, должна была повергнуть меня в уныние и заставить задуматься над бренностью жизни и всего сущего на земле. Казалось бы, ночуя в доме, в котором жил автор этой повести, чувствуя на себе пристальный взгляд собаки, которая с такой же преданностью недавно смотрела на бывшего своего хозяина, я должен был бы испытывать естест-

венное в таких случаях смущение и даже некоторую робость, а то и вовсе мистический страх.

Но случилось нечто неожиданное. Тело мое налилось свежими силами; я был исполнен благодарности автору за правдивую исповедь, словно он своей искренностью вселил в меня веру в возможные перемены в моей жизни к лучшему; я любил его собаку и словно бы видел в глазах ее запечатленный образ незнакомого мне человека, одаренного любовью к женщине, созданной не для материнства и семейного благополучия, а истратившей себя в вечной погоне за ускользающими идеалами, смутные призраки которых мерещились ей там, где их не было. Я с нежной благодарностью думал об этом человеке, словно он излечил меня от опасной болезни, вернув к новой жизни, и очень жалел, что не могу пожать ему руку и высказать свое сочувствие. Почему-то я не сомневался, что повесть эта невымышленная и в ней нет ни слова неправды.

Литературное сочинение вообще загадочная вещь. Порой самое печальное, самое, казалось бы, тоскующее слово несет людям таинственную радость, и они не устают из поколения в поколение любоваться страданиями человека, который жизнью своей и, может быть, даже гибелью отстоял в беспорядочном хаосе людского общежития высокое свое достоинство или свою любовь. В то время как самое жизнерадостное и счастливое слово, зовущее человека к свершениям и победам, оставляет людей равнодушными и даже раздражает их.

В чем тут секрет — не знаю. Но только повесть, которую я прочитал ночью, утолила мою жажду и укрепила дух.

Возможно, кто-нибудь и не согласится со мной и даже наверняка отыщутся люди, которым эта повесть покажется не заслуживающей внимания. И это вовсе не будет означать, что недовольные повестью люди не обладают в достаточной степени эстетическим чувством или черствы и не отзывчивы по характеру, не способны к сопереживанию или сочувствию. Нет, конечно!

Но это не будет и означать, что повесть так плоха, что ее даже не стоило печатать. Найдется немало благородных умов, которые смогут увидеть ее достоинства и заметить недостатки, от которых не избавлены даже профессиональные, известные, читаемые публикой писатели. Россия не оскудела умными сынами — в этом я абсолютно уверен, а потому и предлагаю повесть для прочтения, ибо сам автор или не успел, или не решился это сделать.

СОДЕРЖАНИЕ

РАССКАЗЫ

- 4** *Отраженная в чистой воде*
- 29** *Торопит коня человек*
- 67** *Отсутствие внимания*
- 86** *Земные пути*
- 109** *Жертва истории*
- 144** *Калманок*
- 154** *Вальс*
- 165** *След собаки*
- 189** *Запах сгоревшего пороха*
- 212** *Приятная привычка*
- 270** *Чертоги любви*

ПОВЕСТИ

- 286** *Жасмин в тени забора*
- 376** *Ум лисицы*

Георгий Витальевич Семенов

УМ ЛИСИЦЫ

Рассказы, повести

Редактор Л. Костина
Иллюстрации М. Лисогорского
Оформление В. Боброва
Художественный редактор А. Дьянов
Технический редактор В. Тушева
Корректоры О. Добромysłова, И. Рудакова

ИБ № 4809

Сдано в набор 16.09.86. Подписано к печати 30.03.87 А 07074. Формат 84x108¹/₃₂. Гарнитура литер. Печать офсетная. Бумага офсет. № 2. Усл. печ. л. 24,36. Усл. краск.-отт. 49,14. Уч.-изд. л. 27,18. Тираж 100 000 экз. Зак. 236. Цена 2 руб.

Издательство «Современник» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли и Союза писателей РСФСР. 123007, Москва, Хорошевское шоссе, 62

Полиграфическое предприятие «Современник» Росполиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 445043, г. Тольятти, Южное шоссе, 30

